

Д.Л. МОРДОВЦЕВ





Д.Л. МОРДОВЦЕВ



Собрание сочинений

в четырнадцать
томах



МОСКВА
«ТЕРРА» — «TERRA»
1995

Д.Л. МОРДОВЦЕВ



Собрание сочинений

Том
первый



МОСКВА
«ТЕРРА» — «TERRA»
1995

ББК 84Р1
М79

Оформление художника
Б. ЛАВРОВА

Вступительная статья
И. ПАНКЕЕВА

Мордовцев Д. Л.
М79 Собрание сочинений: В 14 т. Т. 1. — М.: ТЕРРА,
1995. — 559 с. — (Библиотека исторической прозы).
ISBN 5-300-00241-0 (т. 1)
ISBN 5-300-00170-8

Даниил Лукич Мордовцев (1830—1905) в середине XIX — начале XX века был одним из самых популярных исторических писателей. Отличительная особенность его творчества заключается в воссоздании «низовой» истории народа и в ратовании за братство славянских народов.

В первый том включены три исторические повести: «За чьи грехи», «Сагайдачный» и «Господин Великий Новгород».

М 4702010100-276 Подписное
А30(03)-95

ББК 84Р1

ISBN 5-300-00241-0 (т. 1)
ISBN 5-300-00170-8

© Издательский центр «ТЕРРА», 1995

ЛЕТОПИСЕЦ

(Д.Л.Мордовцев. 1830—1905)

Трудолюбие этого человека поистине уникально.

Его умение видеть цель, идти к ней и добиваться ее само по себе достойно и должно быть примером.

Познания его в самых различных отраслях человеческой деятельности, но более всего в истории, в языках и в жизни народа столь обширны, что могут быть названы энциклопедическими.

Личность Даниила Лукича Мордовцева и его творческое наследие таковы, что его имя невозможно предать забвению; вынув из литературной пирамиды все, созданное им, мы тут же обнаружим зияющую нишу, которую ничем более заполнить нельзя.

Имя Мордовцева привлекает не только потому, что он был одним из самых плодовитых и читаемых исторических писателей второй половины прошлого века и начала века нашего, хотя его перу принадлежит более ста значительных произведений, а А. Кауфман в своих воспоминаниях утверждал: «Литературного наследства Д.Л.Мордовцева хватило бы на известность и славу целой дюжины писателей».

Имя Мордовцева тут же, равновеликой звездой вспыхивает как только речь заходит о Костомарове, Шевченко, Пыпине, Ламанском, Миллере, Бауэре...

Его ценили и к его услугам прибегали виднейшие писатели, ученые и мыслители, будь то Тургенев или Герцен, Срезневский или Михайловский, Краевский или Венгеров.

Карл Маркс и Фридрих Энгельс тоже имели в своих библиотеках исторические монографии Мордовцева.

Одно лишь перечисление имен тех, кто писал о Мордовцеве и с кем Мордовцев был связан, заняло бы несколько страниц; и все это имена значительные, оставившие глубокий след в истории.

Правда, современная критика не очень баловала писателя признанием и похвалами. Но читательская публика ориентировалась не на критические оценки, а на романы Мордовцева.

И уже после его смерти, предваряя в 1914 году собрание сочинений писателя, П. В. Быков отмечал, что спрос на эти произведения «идет непрерывно и до сих пор и несомненно не остановится и в грядущих поколениях».

Так и случилось. Отдельные книги Даниила Мордовцева продолжали издаваться и спустя десятилетия, пользуясь при этом неизменным спросом.

Сейчас, наконец, читатель имеет возможность получить девятитомное собрание сочинений и составить собственное представление о вкладе Мордовцева в историческую беллетристику, в публицистику, в историческую науку, — вкладе, который мог сделать только разносторонне и глубоко одаренный человек, значительный ученый и талантливый писатель.

Родился Даниил Лукич Мордовцев 19 декабря 1830 года в казачьей семье (в то время — крепостной), в бывшей Области войска Донского, в слободе Даниловке Усть-Медведицкого округа. Отец, крепостной крестьянин, который все же был управляющим слободы, сумел выкупить себя и семью из неволи. Одновременно Лука Андреевич внес изменение и в родовую фамилию, которая дотоле звучала как Слепченко-Мордовец. Украинское звучание объясняется тем, что предок будущего писателя был казацким сотником малороссийских войск. Когда в петровские времена украинское казачество стало притесняться, он обосновался с семьей в Даниловке, где затем, спустя много лет управляющий Лука Андреевич и дочь священника Дионисиева создали семью, в которой пятым ребенком, после трех братьев и сестры и родился Даниил.

Отца «последыш» не помнил — Лука Андреевич умер, когда младшему сыну не было года. Увы, не долго ощущал мальчик и счастье материнских ласк — мать тоже вскоре умерла.

Но в Даниловке, где все знали друг друга и где свято чтились традиции казачества, не принято было оставлять сирот на произвол судьбы. Опекун над Мордовцевыми взяли на себя казак Иван Устенко и нянька Оксана. Естественно, что в новой семье царила украинская речь, явленная в песнях, сказках, преданиях; до девяти лет Даниил вовсе не знал русского языка, хотя стараниями племянника матери, дьячка Федора Листова в пять лет обучился читать на старославянском, а в семь написал первые стихи. Причем, стихи были на украинском языке, но записанные выученными вместе с Листовым старославянскими литерами.

Украинские переселенцы, среди которых прошло детство Даниила, и в первую очередь, конечно, опекун Иван Устенко, много рассказывали не только о походах, о казаках, об Украине, о народных героях, но и о семье самого Мордовцева, поскольку прадед Даниила был близок с самим Мазепой и имел доступ к тайнам гетмана.

Ясно, что родственники Даниила со стороны матери, священники, были людьми грамотными. Грамотными, любившими чтение, были и родственники со стороны отца — дед имел богатую библиотеку, что по тем временам было значительной ценностью; затем эту библиотеку унаследовал отец Даниила, о котором говорили, что он «начетчик, любитель древней письменности».

Обученный грамоте, Даниил обнаружил однажды в этой библиотеке, хранившейся в старом сундуке, книгу Мильтона «Потерянный рай» на русском языке. Поэма так поразила его и образами, и новым, но столь же понятным и красивым, как и украинский, языком, что мальчик выучил ее наизусть. Так русский язык тоже стал для него родным.

В 1840 году девятилетнего Даниила и старших братьев отдали в окружное училище, расположенное в станице Усть-Медведицкой. Здесь он испытал и тяжесть незаслуженных обид, и унижения, и разочарования. Мало того, что учащиеся говорили на более чистом русском языке и дразнили Мордовцева «хохлому», но и почти все они были из более богатых помещичьих семей, что постоянно старались подчеркнуть. К тому ж, за каждую провинность в училище наказывали, и это тоже ранило душу выросшего в совсем иных условиях Даниила.

Но, несмотря на то, что обстановку в училище, в котором пробыл до четырнадцати лет, он охарактеризует как «умственный застой, глушь, дичь невыносимую», Мордовцев именно здесь впервые проявил и свой твердый характер, и свои творческие наклонности. Имея менее серьезную начальную подготовку, он, благодаря трудолюбию, сумел в краткий срок не только сравняться в успехах с прочими учениками, но и оставить их позади, став одним из лучших и получив похвальный лист.

Что касается творческих наклонностей, проявившихся в это время, то Я. Я. Полферов в 1906 году вспоминал о них так: «Данило Лукич с юных лет был известен как увлекательный рассказчик и «сочинитель»... Казакам Данило Лукич рассказывал про казацкие подвиги, татарам, появлявшимся на ярмарке, про Казань, про Золотую Орду, а своим сородичам,

холам, про Тараса Бульбу на родном малорусском языке. И все слушали его с одинаковым увлечением... Он, вместо одного сочинения на заданную тему, подал учителю русского языка описание плеса Дона, против хутора Затонного, где по преданиям скрывался одно время Гришка Отрепьев. Описание было настолько талантливо, что учитель сначала не поверил, что это мог написать ученик, но вскоре сомнение его исчезло, и очерк Мордовцева был прочтен в кружке местной интеллигенции. Впоследствии это описание в более обработанном виде вошло в известный роман Даниила Лукича «Лжедмитрий».

Если годы пребывания в Усть-Медведицком окружном училище нельзя назвать слишком плодотворными и радостными, то последующее обучение в стенах саратовской гимназии дало Мордовцеву многое из того, что затем осталось с ним на всю жизнь. В первую очередь — достаточно широкий и полезный круг знакомств.

Поступив в августе 1844 года сразу во второй класс гимназии, Даниил Лукич в ближайшее же время проявил свои многочисленные таланты — колоссальную память, литературные способности, склонность к самостоятельному анализу, трудолюбие.

Именно это не в последнюю очередь позволило ему сблизиться с такими лучшими гимназистами, как Павел Ровинский и Александр Пыпин.

Удивительный этот триумvirат впоследствии прославит скромную саратовскую гимназию, в которой в те годы, вероятно витал какой-то особый дух — достаточно вспомнить, что вместе с Мордовцевым, Пыпиным, Ровинским там в это же время учился и будущий знаменитый врач Г. А. Захарьин.

Но будущее — как солнце: оно сияет, однако никто не различит в его слепящем глаза диске конкретных очертаний. Так и в саратовской гимназии, несмотря на то, что имена этих гимназистов-отличников красовались на «золотой доске», никто не мог предположить, что двоюродный брат Н. Г. Чернышевского, Александр Николаевич Пыпин станет автором четырехтомной истории русской литературы («История славянских литератур») и академиком; Павел Аполлонович Ровинский — знаменитым ученым-славистом, автором «Черногории в ее прошлом и настоящем», а Даниил Лукич Мордовцев — популярнейшим писателем и известным историком.

Забегая вперед, можно сказать, что именно в эти годы сформировалась та прочная связь Мордовцева с Саратовом, которая длилась долгое время.

Здесь, благодаря Пыпину, он познакомился с Чернышевским, тогдашним студентом духовной семинарии.

Здесь, будучи уже в старших классах, сблизился с Анной Никаноровной Пасхаловой, ставшей затем его женой.

Здесь же познал первый успех и обнародовал первые свои произведения в рукописном журнале, выпускавшемся в гимназии.

Круг друзей, трудолюбие и, в лучшем смысле слова, тщеславие дали замечательные результаты — он изучает латинский, немецкий и французский языки; лучше него никто из гимназистов не знает древнегреческий, с которого он свободно переводит; к тому ж, самостоятельно он изучает не только татарский и калмыцкий, но и древнееврейский.

Когда к 1850-му году обучение в гимназии было завершено, встал вопрос о дальнейшем образовании. Конечно, нужно было поступать в университет. Но в те годы это было не так просто сделать. Как пишет Ю. В. Лебедев об этом периоде «русское правительство, напуганное размахом революционных событий в Западной Европе, ужесточает до предела условия приема. Число своекоштных студентов в университетах России ограничено в 300 мест (нет ограничений только на медицинские факультеты). Изучение гуманитарных наук стеснено суровыми мерами. Учеба в университете даже для дворянской молодежи (а Мордовцев был «приписан» к купеческому сословию. — И. П.) считается излишней: ей рекомендуется «поступать в военно-учебные заведения или прямо в ряды войск». В число казенно-коштных студентов можно попасть лишь за особые успехи только со второго курса. А. М. Скабичевский, поступивший на первый курс филологического факультета Петербургского университета в 1856 году, с удивлением обнаружил, что «второй курс состоял из трех студентов, а третий из одного!»

Решив, что шансов стать студентом-гуманитарием у него нет никаких, Мордовцев подает документы на физико-математический факультет Казанского университета. Но талант не скроешь. И словесники, принимавшие у него вступительные экзамены по языкам, по достоинству оценили глубокие знания абитуриента и настояли на том, чтобы он продолжал заниматься лингвистикой на филологическом факультете.

Надо сказать, что Мордовцеву в известной степени везло на общение с талантливыми, оригинальными людьми. Всякий знает, насколько важна для творческой личности интеллектуальная «подпитка» в виде бесед, споров, взаимных открытий. И если в саратовской гимназии Мордовцеву счастливо повез-

ло с друзьями, которые затем еще не раз помогут ему, то в такой же, если не в большей степени, повезло ему и в Казанском университете, где славянские наречия он изучал под руководством профессора-слависта В. И. Григоровича.

Авторитет Мордовцева-исследователя достаточно велик и в студенческой среде, и среде преподавателей. Так, именно к нему, отдавая дань его познаниям, обратились с просьбой перевести русский фольклор на латынь, с чем он успешно справился.

Но одно дело — Казань, даже и с ее прекрасным университетом, и совсем иное — столица, Северная Пальмира, нельская жемчужина. Другой круг, другие возможности, другой уровень.

Может быть, Мордовцев вполне смирился бы с казанской жизнью (тем более, что и об этом университете недавно мог только мечтать), но друг Пыпин, годом ранее окончивший саратовскую гимназию и теперь обучающийся в столичном университете, подбивает к переезду в Петербург. Каково Мордовцеву постоянно читать в пыпинских письмах о лекциях автора трехтомного «Словаря древнерусского языка» Измаила Ивановича Срезневского! Тем более, что Срезневский — непревзойденный знаток истории столь милого сердцу Мордовцева южного славянства, украинского быта и языка.

Понимая, что перевестись из Казани в столичный университет не так просто, Пыпин предпринимает достойный дружбы шаг — он предлагает Мордовцеву перевести на украинский язык с чешского «Краледворскую летопись», которая нужна в это время Срезневскому, и затем показывает ученому филигранный стихотворный перевод. Благодаря последовавшей реальной поддержке Срезневского казанский студент вскоре стал второкурсником историко-филологического факультета столичного университета, в котором преподают лучшие историки, философы и филологи. Энергия молодости, помноженная на приобретенные знания, заставляет Мордовцева серьезно задумываться о собственном пути, о самостоятельном выборе. И, наряду с классическими дисциплинами, он начинает с увлеченностью заниматься исследованием народного быта, собирает славянский фольклор, работает над исторической поэмой «Кзаки и море», в которой размышляет о героическом прошлом запорожского казачества. Одновременно Даниил Лукич занимается в студенческом кружке, объединившем будущих знаменитых филологов и историков, очень много читает и пишет научную работу «О языке «Русской правды». Это сочинение, создан-

ное студентом Мордовцевым под непосредственным наблюдением профессора Срезневского было удостоено золотой медали.

Казалось бы, при таких академических успехах и достижениях двадцатитрехлетнему человеку впору задуматься именно о научной деятельности, благо, к этому есть и интерес, и некоторые возможности.

Но, завершив университетское образование, Даниил Лукич покидает Петербург, так многое давший ему, и едет «в глушь», в Саратов.

Ни кандидатская степень, ни блестящие филологические познания, ни, тем более, древнееврейский и латынь в Саратове по большому счету, ни к чему. В первую очередь надо думать о хлебе насущном, о крыше над головой. А значит — чем-то зарабатывать на жизнь. Мордовцев зарабатывает частными уроками и репетиторством.

Говорят, что отказ Мордовцева от столичной карьеры ученого и его возвращение в Саратов в немалой степени связаны с тем, что в эти годы в Саратове отбывал ссылку ниспровергатель авторитетов, знаменитый историк Николай Иванович Костомаров, возможность плодотворного общения с которым, как магнит, притягивала Мордовцева.

Но в равной мере таким же «магнитом» в этом городе, где у Мордовцева было не слишком много знакомых, могла стать и Анна Никаноровна Пасхалова, в доме которой, кстати, будучи еще гимназистом, Даниил Лукич и познакомился с Костомаровым.

Анна Никаноровна была на семь лет старше Мордовцева, вдовая, с детьми от первого брака. Женщина образованная, сама свободно говорившая на семи языках, писавшая стихи и научные статьи, она, конечно, была яркой для замшелого Саратова личностью. К тому же, ни для кого не было секретом, что она дружна с Костомаровым, а еще дольше — с Чернышевским, который учил ее старшего сына.

И Мордовцева в свое время Анна Никаноровна пригласила в качестве репетитора к детям. Затем, когда дети продолжали образование в столице, она, навещая их, навещала и Даниила Лукича.

Логично, что, вернувшись в Саратов, Мордовцев сначала квартировал в доме Пасхаловой, а затем, в том же, 1854 году, женился на ней.

Второй «саратовский период» в жизни Даниила Лукича Мордовцева — это во многом период его духовного становления, окончательного формирования основных принципов,

взглядов на историю. Влияние Костомарова в данном случае было определяющим.

И личный пример Костомарова, и его интерес к «низовой истории», и идея славянского братства, которую ученый разрабатывал наравне с идеей украинской народности, — все это было принято и разделено Мордовцевым безоговорочно, чтобы затем оформиться в окончательное убеждение, что нужна история, «которая не занималась бы исключительно войнами, генералами, законодателями, а поставила бы перед нами весь русский народ с его нуждами и стремлениями».

В опубликованном в 1868 году романе «Знамена времени» Мордовцев выскажет кредо, зародившееся в годы саратовского сотворчества с Костомаровым: «Работайте, работайте, неустанно работайте!.. Не верьте отживающим поколениям, которые говорят, что вредна ваша работа, что бесполезно ваше надрывание груди над этою работою, что, сидя над бумагою и книгою, не иссушите вы слез, невидимых вам, которые льются у людей и во мраке ночи и при блеске солнца, что не заглушите вы глубокого вздоха чужой боли и чужого горя... Не верьте — и работайте: осушатся этою работою людские слезы, заглушатся глубокие вздохи чужой боли и чужого горя...»

Этот пламенный призыв можно в одинаковой мере отнести и к самому автору, и его учителю, который даже в ссылке не предал идей Кирилло-Мефодиевского братства, основанного им в Киеве в 1846 году и разгромленного весной следующего года. Ибо и в Саратове Костомаров продолжал отстаивать свои взгляды, право народа на историю: «Отчего это во всех историях толкуют о выдающихся государственных деятелях, иногда о законах и учреждениях, но как будто пренебрегают жизнью народной массы? Бедный мужик, земледелец-труженик как будто не существует для истории; отчего история не говорит нам ничего о его быте, о его духовной жизни, о его чувствованиях, способе его радостей и печалей?»

Эта мысль станет затем основной и в творчестве Даниила Лукича Мордовцева, который в одной из полемик ответит, что сознательно «предпочтительное внимание отдавал голытьбе, забытой историю».

Многие интересы, которые писатель пронесет затем через всю жизнь, и многие творческие замыслы, которые потом он реализует в романах, зародились именно благодаря общению с Костомаровым, в доме которого Мордовцев впервые из ар-

живных источников узнал о народных бунтах, о раскольниках, о пугачевщине и разинском восстании. Убедившись в том, что «низовая», «областная» история и есть истинная, самобытная, писатель отстаивает это убеждение и в научных работах, и в публицистике, и в художественном творчестве.

Прожив полтора года в Саратове без постоянной работы, Мордовцев, наконец, к лету 1856 года, с помощью Костомарова, получает должность в губернском статистическом комитете. Одновременно он становится сотрудником «Саратовских губернских ведомостей» (редактирует неофициальную часть этой газеты) и работает над «Малороссийским литературным сборником».

Официальная служба дала Мордовцеву возможность знакомиться с уникальными архивными документами, повествующими о жизни крестьян, об экономике, об истории края. Путешествуя по губернии, он дополняет эти сведения живыми свидетельствами, рассказами очевидцев о Пугачеве и о Разине, о помещичьем произволе.

В результате в «Губернских ведомостях» публикуется цикл публицистических статей и документальных материалов, со временем дополненных и ставших отдельными книгами — «Картины судоходства по Медведице и по Дону», «Несколько данных из материалов для статистического описания Саратовской губернии», «Саратовская губерния в прошлом веке в отношении к нынешнему ее составу» и т. д.

Однако, как уже говорилось, наряду с исследовательскими материалами, талантливо и ярко преподнесенными автором, в «Малороссийском литературном сборнике» появляется его поэма «Кзаки и море» на украинском языке, созданная под впечатлением творчества Тараса Шевченко; в акасовском «Парусе» печатается «Самозванец Богомоллов»; в столичной «Русской газете» публикуется исторический рассказ «Медведицкий бурлак», а позднее, с 1860 по 1862 год, в «Русском слове» и в «Русском вестнике» — «Понизовая вольница», «Самозванец Ханин», «Атаман Брагин и разбойник Зубакин».

А несколько раньше имя Мордовцева стало широко известным в связи с опубликованным им фельетоном, вызвавшим резкую реакцию самого Александра II, который еще недавно, взойдя на престол, обещал значительные перемены. Писателя даже вызывали в столицу, но все обошлось благодаря заступничеству министра внутренних дел, взявшего на себя труд разобраться в конфликте.

В эти же годы, благодаря обширным, ярким публикациям не только в местной, но и в столичной («Отечественные за-

писки», «Современник», «Дело») прессе, а также при участии Пыпина и Костомарова Даниил Лукич получает предложения занять кафедру русской истории в Петербургском университете.

К удивлению друзей, он отказывается. О том, что это был не случайный, а принципиальный отказ, можно судить и по тому, что подобным же отказом Мордовцев ответил и редактору «Русского слова», настоятельно приглашавшему писателя перебраться на берега Невы.

Впрочем, в 1864 году уехать из Саратова все же пришлось — на три года, в столицу. Но не в университет, не в редакцию. Видимо, недавнее заступничество министра внутренних дел сказалось, и Мордовцев получает должность в хозяйственном департаменте внутренних дел, где продолжает заниматься земской статистикой.

Наряду со службой в департаменте, Даниил Лукич с присущей ему энергичностью и отдачей много пишет. Помимо прочего, над чем работал, он за эти три года опубликовал более ста статей. А. А. Краевский, отдавая должное публицистическому таланту Мордовцева, писал об этом времени: «Именно Мордовцев придал «Голосу», особенно в фельетонной части, разнообразие и остроту, ту идейность полемического свойства, которая создала авторитет этому органу».

Приверженность статистике, дающей возможность анализировать, обобщать, и, в конечном итоге, видеть неприкрытую правду, Мордовцев сохранял долгие годы. Не случайно, снова вернувшись в Саратов, он занимается земскими учреждениями, собирая материал для «Десятилетия русского земства», а затем становится секретарем статистического комитета и исполняет обязанности правителя дел губернской канцелярии.

Нельзя сказать, что служба в канцелярии была верхом мечтаний писателя. Скорее наоборот — она изматывала, требовала достаточно много времени и сил. Однако Мордовцев не только терпел ее, а и добивался. И дело тут не столько в хроническом безденежье, сколько в доступе к документам, к цифрам, к статистике, — к тому, что давало возможность писать правдивую картину жизни народа.

Именно такую цель преследовал он, начав публиковать в журнале «Дело» очерки «Накануне воли».

Обнаружив в архиве материалы о предреформенных годах (перед «волей» 1861 года), Мордовцев, известив, что «мы ничего не приукрашиваем, не прибавляем и не убавляем», стал печатать очерки о жестоком отношении помещиков к крестьянам: о том, как «отнимали для насилия их жен», заставляли «работать

семь дней в неделю», «секли до смерти», «подвешивали на веревке» и т. д. Следуя букве документа, писатель оставлял неизменными и фамилии помещиков, почти все из которых к тому времени здравствовали. Естественно, разразился скандал. Мордовцев был уволен из канцелярии, очерки были запрещены (когда уже в 1889 году писатель сумел издать их отдельной книгой, весь тираж был сожжен; впрочем, это не единственный случай с книгами Мордовцева — ведь одиннадцатью годами ранее сожгли и его «Славянские драмы»).

Точно также был запрещен и изъят из библиотек и принесший Мордовцеву славу роман «Знамения времени», опубликованный в 1869 году.

Но, несмотря на столь резкое отношение властей, писатель продолжает упорно и много работать, совмещая занятия публицистикой и беллетристикой с исследовательской и собирательской деятельностью.

Десятки произведений Даниила Лукича Мордовцева, чье имя уже у всех на слуху, продолжают появляться в ведущих газетах и журналах как под истинным именем, так и под многочисленными псевдонимами. Этому способствует и то, что, перебравшись после скандала 1872 года (вокруг запрещенных очерков) в столицу, писатель снова работает в статистическом отделе, на сей раз — министерства путей сообщения.

Трудолюбию Мордовцева, которое не иссякло и к семидесятым годам, можно только поражаться. Напечатав в 1866 году в «Вестнике Европы» «Пугачевщину», в следующем же году он издает в двух томах статьи о бунтовщиках «Самозванцы и понизовая вольница», в 1868 — повесть «Новые русские люди», в следующем — роман «Знамения времени», в 1871 — «Политические движения русского народа»; между ними, в 1870 — «Гайдаматчину»; в 1874 году — сразу две значительные работы: «Русские исторические женщины допетровской Руси» и «Русские женщины нового времени»...

Поднимая столь важные и острые проблемы, Мордовцев, как честный историк, прежде всего освещал их, знакомил общественность с фактами, а не призывал к конкретным действиям. Один из его героев так и говорит: «Мы идем в народ не с прокламациями, как делали наши юные и неопытные предшественники в шестидесятых годах... мы идем не бунты затевать, не волновать народ и не учить его, а учиться у него терпению, молотьбе и косьбе... Мы не верим ни в благотворность французских и испанских революций, ни в благотворность удобрения земли человеческой кровью. История научила нас не верить этим пустякам...»

К концу семидесятых годов меняются взгляды Мордовцева на собственное предназначение. Он понимает, что историческая наука, которой было отдано столько сил и времени, все же является уделом немногих. Для того, чтобы донести мысль не до десятков, а до тысяч соотечественников, надо писать художественные произведения — доходчивые, увлекательные, имеющие большую аудиторию.

Эти мысли писателя совпали и с общественной потребностью. Обращаясь к историческому прошлому, читатель пытался более полно понять события настоящего. К тому же, исторические романы того времени, с неприменным элементом авантюристичности, действительно привлекали публику.

Сохраняя приверженность основной идее — воссозданию «низовой» истории народа — Мордовцев пишет роман «Великий Раскол» (вот когда «аукнулись» архивные рукописи, читанные в саратовском доме Костомарова), повесть «Соловецкое сидение», романы «Идеалисты и реалисты», «Двенадцатый год».

«Великий раскол» был высоко оценен Венгеровым, Панавым, Шелгуновым и другими видными деятелями того времени. Роман имеет широкий географический охват, насыщен героями, в нем точно поняты и характер раскола, и сама по себе историческая драма. Естественно, много места в романе отведено образам Степана Разина, протопопа Аввакума, боярыни Морозовой, — тем, кто стал своего рода примером. Не зря даже устами Никона автор высоко оценивает возможности Разина: «Чуть полгосударства, словно краюху хлеба, не отмахнул... чуть все государство вверх дном не поставил...»

Не поддерживая полностью фанатизм вождей раскола, Мордовцев все же положительно относится к их убежденности и стойкости, к их влиянию на народ. И главное, быть может, в этом произведении то, что С. А. Венгеров определил словами: «...Он верно отнесся к народной душе».

В «Великом расколе» Мордовцев, как и в других произведениях, активно выступает против насилия. В данном случае он в художественной форме осуждает попытку насильственных реформ, стремление нарушить естественный ход истории вмешательством сверху.

Тема раскола Мордовцевым не исчерпывается только в одном романе. «Сидение раскольников в Соловках» («Соловецкое сидение»). Историческая повесть из времен раскола на Руси), «За чьи грехи?», «Фанатик», «Социалист прошлого века» — эти и другие произведения продолжают развивать тему. И снова здесь главный герой — народ, его отношение

к происходящему, его трагедия, его корни и традиции, на которые покушались. Писатель в очередной раз подчеркивает важность для него именно «народной» истории: «Народ... имеет свои знаменитости, обходя без внимания официальных героев... Я с самого детства помню стоящие рядом имена: Стенька Разин, Емелька Пугачев, Гришка Отрепьев, Ванька Каин, Маришка Безбожница. Этот, именно этот приговор народа, бессознательный, по-видимому, влечет меня исследовать причины популярности, которая поставила рядом Маришку и Ваньку Каина».

Что касается временного, исторического охвата в творчестве Даниила Лукича Мордовцева, то он достаточно велик. Писателя интересует древний Восток, старая русская история («Мамаево побоище»), времена Петра Великого («Идеалисты и реалисты»), прошлое милой его сердцу Украины («Сагайдачный»), смута, раскол, бунты... И практически везде он исторически точен, что свидетельствует об использовании документов, фактических свидетельств.

Не все романы Д. Л. Мордовцева равнозначны. Критики поругивали автора то за непрописанность образов, то за стиль. Иногда звучали и резкие оценки, как, к примеру, по поводу «Идеалистов и реалистов»: «Как роман, произведение г. Мордовцева совсем слабо...» Но те же критики безоговорочно признавали, что всегда остается «историческая канва».

Казалось бы, особняком стоят в творчестве Мордовцева «восточные романы» и путевые заметки. Но это впечатление поверхностно. Создавались они, во-первых, потому, что писатель в восьмидесятые годы много путешествовал, и, во-вторых, потому, что в них проводилась все та же идея «низовой» истории и осуждения насилия. Это ярко проявилось в «Замурованной царице», где симпатии автора на стороне обездоленной Лаодики.

Что касается древней истории, то на ее основе Мордовцев создал восемь значительных произведений: «Ирод» и «Погибель Иерусалима» — о древних евреях (не зря еще в отрочестве изучал он древнееврейский язык); «Замурованная царица», «Мечь жрецов», «Богиня Изида — сваха» и «Говор камней» — о древних египтянах; и — «За всемирное владычество», «Жертвы вулкана. Из последних дней Помпеи» — о древних римлянах.

Кроме этого вышли книги (составленные из очерков, публиковавшихся вначале в газетах и журналах), названия которых не нуждаются в комментариях — «Поездка к пирамидам», «По Испании», «По Италии», «Поездка в Иерусалим», «На Арарат».

За всем этим стоят реальные поездки писателя в Египет, по Европе, в Палестину. Он остается верен принципу достоверности, документальности. В 1895 году вышла книга «Говор камней», составленная из четырнадцати «египетских» рассказов. О названии книги Мордовцев в предисловии писал так: «История Египта — вся в камнях: испещренные иероглифами стены храмов, пирамиды, обелиски, «стеллы» (памятные плиты — «памятные камни»), саркофаги, гробницы, сфинксы, начертания на скалах — только они и говорят о прошлом Египта, да немного — папирусы. Оттого я и назвал свои египетские рассказы — «Говор камней».

Несмотря на то, что книги выходят одна за другой, Даниил Лукич постоянно нуждается. Средств не хватает, потому что велики расходы — необходимо дать образование приемным детям, надо поддерживать тяжело больную жену. Писатель работает очень напряженно, печатается во всех мыслимых изданиях, хотя порою и чувствует неудобство от этого («не хотел бы отдавать Суворину — больно совестно там печататься.»).

Признанный, читаемый, авторитетный, но не накопивший денег и не имевший состояния, он находит в работе не только возможность заработать на жизнь, но и великое утешение.

Однако, два события, случившиеся в середине восьмидесятых, подкосили и этого работоспособного человека. В 1885 году покончил с собою его приемный сын. Талант музыканта Виктора Пасхалова был столь заметен, что его оценили Стасов и Мусоргский. В возрасте сорока четырех лет он добровольно ушел из жизни. Анна Никаноровна, и без того болевшая, не оправилась от этой трагедии и тоже вскоре умерла.

Потеря близких и связанные с этим переживания привели Даниила Лукича к мысли расстаться со службой в железнодорожном ведомстве и покинуть столицу. К счастью, на выручку пришел старший брат. Когда-то записавшийся в купцы (и Даниила Лукича приписавший к купеческому сословию), он к тому времени имел свое дело в Ростове-на-Дону и был достаточно состоятельным человеком.

Так по приглашению брата Мордовцев перебирается на Дон, где и живет затем до самой смерти — почти двадцать лет.

В Ростове-на-Дону, живя в особняке брата (сейчас там висит мемориальная доска), писатель продолжает работать над историческими вещами, в местной печати под псевдонимами появляются его публицистические статьи, очерки; он серьезно изучает историю донского казачества.

По-прежнему его интересует все, связанное с Украиной. В Петербурге продолжают действовать основанные им «Украинские вечера», его не покидает «украинофильство» ярко вспыхнувшее в душе благодаря общению с Костомаровым. Приверженцы и последователи идей Мордовцева прислали ему однажды такое, о многом говорящее письмо: «Высокоуважаемый Даниил Лукич. Прошло сорок лет с того времени, как вдохновенная казачеством и любовью к родному краю душа ваша вылилась в поэме «Кзаки и море»... С того времени и по сей час ежегодно являются ваши... сердечные повести и рассказы, в которых так тепло, правдиво и мастерски рисуется Украина с ее историей, ее литературою, ее горькою долею и неумирающей надеждою; живуча эта надежда у вас, живет она и у нас, и слава вам, наш друг, наш отец, за то, что вы, имея талант и счастливую долю, поддерживаете в нас эту надежду».

Действительно, Даниил Лукич Мордовцев одинаково много сделал как для России, так и для Украины, внося значительный вклад в культуру того и другого славянских народов.

Когда в апреле 1905 года, за три месяца до смерти писателя, широко праздновался полувековой юбилей его литературной деятельности, в «Историческом вестнике» появилась большая статья, посвященная Д.Л.Мордовцеву, в которой, в частности, отмечалась и эта грань его дарования: «После Гоголя никто из наших деятелей печати так не послужил культурному братству обоих разветвлений великого восточного славянского племени, как Даниил Лукич, и вот почему он должен быть дорог этим обоим разветвлениям».

После юбилейных торжеств, в течение которых семидесятипятилетний писатель услышал немало добрых, теплых слов о себе и своем творчестве, Мордовцев сразу решил вернуться в Ростов-на-Дону. Причина была проста — обострилось воспаление легких, что в таком возрасте особенно опасно.

Отложив работу над повестью «Посошков», которая так и осталась незавершенной, Даниил Лукич едет в Кисловодск, надеясь там привести в порядок пошатнувшееся здоровье.

Но надежде этой не суждено сбыться. Ранним утром 10 июля 1905 года писатель умер в Кисловодске.

Похоронен он в Ростове-на-Дону.

О себе и своем творчестве Д.Л.Мордовцев писал немало — объясняя, полемизируя, отстаивая. Но одно из наиболее

емких признаний — в собственноручной записи, оставленной им в альбоме Данилевского: «Благая природа вложила в мою душу не целый «талант», а лишь несколько «динариев», и хотя я разменял их, может быть, на мелочь, на медные «лепты», но — вспомните! — и «лепта вдовицы» была когда-то принята как большое приношение. Пусть же и то, что мною высказано в жизни, будет этою «лептою вдовицы». В утешение себе скажу одно: моя «лепта», мое «слово» принесено на алтарь народного развития и торжества правды от чистого сердца: этому богу я отдал все, что имел».

Иван Панкеев.



За чьи грехи?

ПОВЕСТЬ ИЗ ВРЕМЕН
БУНТА РАЗИНА

I. ЦАРСКОЕ СИДЕНИЕ

В Грановитой палате, в столовой избе, у великого государя с боярам «сидение».

Это было 5 мая 1664 года.

С раннего утра, которое выдалось таким ярким и теплым, обширная площадь около дворца запружена каретами, колымагами и боярскою дворовою челядью с оседланными конями в богатой сбруе. Экипажи и кони принадлежат московской знати, нахлынувшей во дворец к царскому сидению: обширное постельное крыльцо, словно маковое поле, пестрит цветною и золотою одеждою площадных стольников, стряпчих и дворян московских.

Эта пестрая и шумная толпа поминутно расступается и поклонами провожает знатных и близких бояр, которые через постельное крыльцо проходят прямо в царскую переднюю. Это уже великая честь, до которой стольникам, стряпчим и дворянам высоко, как до креста на колокольне Ивана Великого.

Но и передняя уже давно полна: кроме бояр, в ней толпятся, по праву, окольничие, что удостаиваются великой чести быть иногда «около» самого государя, равно думные дворяне и думные дьяки.

Наконец, в самой столовой избе, в «комнате», — высшая знать московская, самые сановитые бородачи. Тут же и великий государь, царь и великий князь Алексей Михайлович, всея Руси самодержец. Он сидит в переднем углу, на возвышении со ступенями. Под ним большое золоченое кресло. Столовая изба так и блестит золотом и серебром изящной, а чаще аляповатой московской работы: на одном окне, на золотом бархате, красуются рядом четверо серебряных часов-курантов; у того же окна серебряный стенной «шандал»; на другом окне — большой серебряник с лоханью, а по сторонам его — высокие рассольники; на третьем окне, на золотом бархате — другой серебряный рассольник, да серебряная позолоченая бочка, «мерою в ведро». На рундуке, против государева места, и на ступенях постланы дорогие персидские ковры; около столпа, упирающегося в потолок столовой из-

бы, — поставец: на нем ярко горят под лучами весеннего солнца всевозможные драгоценные сосуды — золотые, серебряные, сердоликовые, яшмовые.

Едва царь уселся в кресло, как на постельном крыльце произошло небывалое смятение. Послышался смешанный говор, из которого выделялись отдельные голоса:

— Хохлы! Хохлатые люди едут!

— Это черкасы, гетмановы Ивана Брюховецкого посланцы на отпуск к великому государю.

— Смотрите! Смотрите! Каки усищи!

— И головы бриты, словно у татар.

— Только у татар хохлов нету, а эти с хохлами.

Действительно, из-за карет и колымаг, запрудивших дворцовую площадь, показалась небольшая группа всадников. Это и были гетманские посланцы, всего пять человек. Их сопровождал стрелецкий сотник, а почетную свиту их составляли три взвода стрельцов от трех приказов, только без пищалей, как полагалось по придворному церемониалу. Своеобразная, очень красивая одежда и вся внешность украинцев, столь редких в то время гостей на Москве, не могли не поражать москвичей. Высокие смушковые шапки с красными верхами, лихо заломанные к затылку и набекрень выпущенные из-под шапок, словно девичьи косы, чубы-оселедцы, закинутае за ухо и спускавшиеся до плеч длинные, ниспадавшие жгутами, черные усы; яркие цветные жупаны, отороченные золотыми позументами; такие же яркие, только других, еще более кричащих цветов шаровары, пышные и широкие, как юбки, и убранные в желтые и красные сафьянные сапоги с серебряными «острогами» и подковами, — все это невольно бросалось в глаза, вызывало удивление москвичей.

Посланцы сошли с коней и направились к постельному крыльцу.

— Потеснитесь малость, госпóдо стольники и стряпчие! Дайте дорогу посланцам его ясновельможности гетмана Ивана Мартыновича Брюховецкого и всего войска запорожского низового, — говорил стрелецкий сотник, проводя посланцев через постельное крыльцо.

— Добро пожаловать, дорогие гости! — слышались приветствия среди толпившихся на крыльце.

Посланцы вступили в переднюю, а из нее введены были в столовую избу пред лицо государя. Их встретил думный дьяк Алмаз Иванов. Бояре, чинно сидевшие в избе и почтительно уставившие брады свои и очи в светлые очи «тишайшего», так же чинно повернули брады свои и очи к вошедшим.

Полное, добродушное лицо царя и особенно глаза его осветились едва заметною приветливою улыбкой.

Посланцы низко поклонились и двумя пальцами правых рук дотронулись до полу. Это они ударили челом великому государю, по этикету. Но все молчали.

Тогда выступил Алмаз Иванов и, оборотясь к лицу государя, громко возгласил:

— Великий государь царь и великий князь Алексей Михайлович, всея Руси самодержец и многих государств государь и обладатель. Запорожского гетмана Ивана Брюховецкого посланцы, Гарасим Яковлев с товарищи, вам, великому государю, челом ударили, и на вашем государском жаловании челом бьют.

Посланцы снова ударили челом.

— Гарасим! Павел! — снова возгласил дьяк, обращаясь уже к посланцам. — Великий государь царь и великий князь Алексей Михайлович, всея Руси самодержец и многих государств государь и обладатель, жалует вас своим государским жалованием: тебе, Гарасиму, — отлас гладкой, камка, сукно лундыш, два сорока соболей да денег тридцать рублей.

Гарасим ударил челом на государском жаловании и поправил оселедец, который, словно девичья коса, перевесился с бритой головы на крутой лоб запорожца.

— А тебе, Павлу, — продолжал дьяк, обращаясь к Павлу Абраменку, товарищу Гарасима, — тебе — отлас, сукно лундыш, сорок соболей да денег двадцать рублей.

И Абраменко ударил челом.

— А вас, запорожских казаков, — это дьяк говорил уже остальным трем запорожцам, стоявшим позади посланцев, — и твоих посланных людей, — это опять к Гарасиму, — царское величество жалует своим государским жалованием от казны.

И остальные ударили челом.

Царь, сидевший до этого времени неподвижно в своем золотом одеянии, словно икона в золотой ризе, повернул лицо к Алмазу Иванову и тихо проговорил:

— Сказывай наше государское слово.

И дьяк возгласил заранее приготовленную и одобренную царем и боярами речь.

— Гарасим! Великий государь царь и великий князь Алексей Михайлович, всея Руси самодержец и многих государств государь и обладатель, велел вам сказать: приезжали есте к нам, великому государю, к нашему царскому величеству, по присылке гетмана Ивана Брюховецкого и всего войска запорожского с листом. И мы, великий государь, тот лист выслушали, и гетмана

Ивана Брюховецкого и все войско запорожское за их службу, что о нашей царского величества милости ищут, жалуем, милостиво похваляем и, пожаловав вас нашим царского величества жалованием, велели отпустить к гетману и ко всему войску запорожскому. И посылаем с вами к гетману и ко всему войску запорожскому нашу царского величества грамоту. Да к гетману ж и ко всему войску запорожскому посылаем нашего царского величества ближнего стольника Родиона Матвеевича Стрешнева да дьяка Мартемьяна Бредихина. И как вы будете у гетмана, у Ивана Брюховецкого, и у всего войска запорожского, и вы ему, гетману, и всему войску запорожскому нашу царского величества милость и жалование расскажите.

Проговорив это, Алмаз Иванов, по знаку царя, приблизился к «тишайшему», взял из рук его грамоту и тут же передал ее главному гетманскому посланцу, который, почтительно поцеловав ее и печать на ней, бережно уложил в свою объемистую шапку.

Затем дьяк, опять-таки по знаку царя, обратился снова к посланцу:

— Герасим! Великий государь царь и великий князь Алексей Михайлович, всея Руси самодержец и многих государств государь и обладатель, жалует вас, посланцев гетмана и всего войска запорожского, к руке.

Гарасько-бугай, как его дразнили в Запорожье товарищи за его воловью шею и за такое же воловье здоровье, тихо, но грузно ступая по полу своими желтыми сафьянными сапожищами с серебряными острогами, приблизился к ступеням, которые вели к государеву сидению, осторожно поставил ногу на первую ступень, как бы боясь, что она не выдержит воловьего груза, потом на вторую и, перегнувшись всем своим массивным корпусом, бережно приложился к белой, пухлой, «як у матушки игуменьи» (подумал он про себя), выхоленной царской руке, словно к плащанице. За ним приложились и остальные посланцы. Только последний из них, Михайло Брейко, поцеловав царскую руку и почтительно пятясь назад, оступился на ступеньке и грузно повалился на пол у подножия государского сидения.

— Оце лихо! Николи с коня не падав, а тут, бач, упав! — неволью вырвалось у него.

Наивность запорожца рассмешила «тишайшего», а за ним рассмеялась и вся столовая изба.

Молодец, однако, скоро оправился и стал на свое место, а дьяк Алмаз снова выступил с отпускнуей речью.

— Герасим! — возгласил он. — Великий государь царь и великий князь Алексей Михайлович, всея Руси самодер-

жец и многих государств государь и обладатель, жалует вас своим государским жалованием — в стола место корм.

Посланцы в последний раз ударили челом на государеве жалованье — на корму — и удалились.

— Какие молодцы! — весело сказал Алексей Михайлович, когда за казаками затворилась дверь. — С таким народом любо жить в братской приязни и любительстве.

В это время из-за широких боярских спин, с задней скамьи, поднимается стройный молодой человек и выступает на середину избы. Одежда на нем была богатая, изысканная, какую носила тогдашняя золотая молодежь. Из-под кафтана темно-малинового бархата ярко выделялся зипун из белого атласа с рукавами из серебряной объяри; к вороту зипуна пристегнута была высокая, шитая, разукрашенная жемчугом и драгоценными камнями «обнизь» — род стоячего воротника. Кафтан, скорее кафтанец, на нем был такой же щегольской: запястья у рукавов кафтанца были вышиты золотом, по которому сверкали крупные зерна жемчуга, а разрез спереди кафтанца и подол оторочены были золотною узкою тесьмою с серебряным кружевом; шелковые шнуры с кистями и массивные пуговицы с изумрудами делали кафтанец еще наряднее.

При виде нарядного молодого человека Алексей Михайлович приветливо улыбнулся. Тот истово ударил челом — побожески: поклонился до земли и коснулся лбом пола.

— А, это ты, Иван Воин, — приветствовал его государь.

Молодой человек поднялся с полу и откинул назад курчавые волосы. Лицо его рдело от смущения, хотя он и ответил улыбкой на улыбку царя.

— На отпуск пришел? — спросил последний.

— На отпуск, великий государь, — был ответ.

Алексей Михайлович обратился к Алмазу Иванову.

— Все готово к отъезду?

— Все, государь, — отвечал дьяк, — все в посольском приказе.

— И грамоты к послам, и наша царская казна?

— Все, великий государь, как ты указал и бояре приговорили.

— Хорошо. Поезжайте же, — Алексей Михайлович обратился к молодому человеку, — поезжай с Богом, да кланяйся от меня отцу. Простись со мной — и ступай с Богом.

Молодой человек поднялся к царскому сидению и горячо поцеловал государеву руку. Алексей Михайлович поцеловал его в голову, как родного сына.

— Учись у отца служить нам, великому государю, — сказал он в заключение.

Молодой человек вышел из столовой избы весь взволнованный.

II. А СОЛОВЕЙ-ТО ЗАЛИВАЕТСЯ!..

Вечером того же дня, с которого началось наше повествование, по одному из глухих проулков, выходявших к Арбату, осторожно пробиралась закутанная в теплый охабень высокая фигура мужчины. Легкая соболевая шапочка так была низко надвинута к самым бровям и ворот охабня так поднят и с затылка и выше подбородка, что лицо незнакомца трудно было разглядеть. По всему видно было, что он старался быть незамеченным и неузнанным. По временам он осторожно оглядывался — не видать ли кого-либо сзади. Но переулок, скорее проулок, был слишком глух, чтоб по нем часто могли попадаться пешеходы, особенно же в такой поздний час, когда Москва собиралась спать или уже спала.

Но северные весенние ночи — предательские ночи. Они не для тайных походов: ни для воров, ни для влюбленных. Впрочем, глядя на нашего незнакомца, смело можно было сказать, что это не вор, а скорее политический заговорщик или влюбленный.

По обеим сторонам проулка, по которому пробирался таинственный незнакомец, тянулись высокие каменные заборы, с прорезями наверху, оканчивавшиеся у Арбата и загибавшиеся один вправо, другой влево. И тот, и другой забор составляли ограды двух боярских домов, выходявших на Арбат. При обоих домах имелись тенистые сады, поросшие липами, кленами, березами и высокими рябинами, только на днях начавшими покрываться молодой яркой листвой. Из-за высокой ограды сада, тянувшегося с правой стороны, по которой пробирался ночной пост, неслись переливчатые трели соловья. Незнакомец вдруг остановился и стал прислушиваться. Но не трели соловья заставили его остановиться: до его слуха донесся через ограду тихий серебристый женский смех.

— Это она, — беззвучно прошептал незнакомец, — видно, что ничего не знает.

Он сделал несколько шагов вперед и очутился у едва заметной калитки, сделанной в ограде правого сада. Он еще раз остановился и прислушался. Из-за ограды слышно было два голоса.

— Только с мамушкой... Господи благослови!

Тихо-тихо щелкнул ключ в замочной скважине, и калитка беззвучно отворилась, а потом также беззвучно закрылась. Незнакомец исчез. Он был уже в боярском саду.

Русские женщины, особенно жены и дочери бояр XVI и XVII века, жили затворницами. Они знали только терем да церковь. Ни жизни, ни людей они не знали. Но люди везде и всегда люди, подчиненные законам природы. А природа вложила в них врожденное, роковое чувство любви. Любили люди и в XVII веке, как они любят в XIX и будут любить в XX и даже в двухсотом столетии. А любовь — это божественное чувство — всемогуща: перед нею бессильны и уединенные терема, и «свейские замки», считавшиеся тогда самыми крепкими, и высокие каменные ограды, и даже монастырские стены!

А если люди любят — а любовь божественная тайна, — то они и видятся тайно, находят возможность свиданий, несмотря ни на какие грозные препятствия.

Недаром юная Ксения Годунова, заключенная в царском терему и ожидавшая пострижения в черницы, плакалась на свою горькую долю:

Ино мне постритчися не хочет,
Чернеческого чина не здержати,
Отворити будет темна келья —
На добрых молодцов посмотри...

Хоть посмотреть только! — да не из терема даже, а из монастырской кельи...

— Воинушко! Свет очей моих! — тихо вскрикнула девушка, когда, сбросив с себя охабень и шапку, перед нею словно из-под земли вырос тот статный молодой человек, которого утром мы видели в столовой избе и которого царь Алексей Михайлович назвал Иваном Воином.

Девушка рванулась к нему. Это было еще очень юное существо, лет шестнадцати — не более. На ней была тонкая белая сорочка с запястьями, вышитыми золотом и унизанными крупным жемчугом. Сорочка виднелась из-за розового атласного летника с широкими рукавами — «накапками», тоже вышитыми золотом с жемчугами.

— Вот не ждала — не гадала...

Пришедший молчал. Он как будто боялся даже заговорить с девушкой, и потому обратился прежде к старушке-мамушке, вставшей со скамьи при его появлении.

— Здравствуй, мамушка, — тихо сказал он.

— Здравствуй, сокол ясный! Что давно очей не казал?

Пришедший подошел к девушке. Та потянулась к нему и, положив маленькие ручки ему на плечи, с любовью и ласковой посмотрела в глаза.

— Что с тобою, милый? — с тревогой спросила она.

— Я пришел проститься с тобой, солнышко мое! — отвечал он дрогнувшим голосом.

— Как проститься? Для чего? — испуганно заговорила девушка, отступая от него.

— Меня государь посылает к батюшке и к войску, — отвечал тот.

Девушка как подкошенная молча опустилась на скамью. С розовых щечек ее медленно сбегал румянец. Она беспомощно опустила руки, словно плети.

Теперь она глядела совсем ребенком. Голубые ее с длинным разрезом глаза, слишком большие для взрослой девушки, смотрели совсем по-детски, а побледневшие от печали губки также по-детски сложились, собираясь, по-видимому, плакать вместе с глазами.

— Для того я так давно и не был у тебя, — пояснил пришедший, — таково много было дела в посольском приказе.

Девушка продолжала молчать. Губы ее все более и более вздрагивали. Пришедший приблизился к ней и взял ее руки в свои. Руки девушки были холодны.

— Наташа! — с любовью и тоской прошептал пришедший.

Девушка заплакала и, высвободив свои руки из его рук, закрыла ими лицо.

— Наташа! — продолжал он с глубокой нежностью. — Если ты любишь меня...

При этих словах девушка быстро встала, как ужаленная...

— А ты этого не знал?.. — глухо спросила она, вся окорбленная в своем чувстве этим «если».

— Прости, радость моя! Мое сердце кровью исходит, ум мутится, — быстро заговорил пришедший, — сил моих нету оторваться от тебя... Коли ты любишь, ты все сделаешь.

Девушка вопросительно посмотрела на него. Но он, по-видимому, не решался продолжать и стоял, потупив голову, словно бы прислушиваясь к соловью, который изливал свою безумную любовь в страстных трелях любовной мелодии.

— Наташа, обвенчаемся ныне же, сейчас! И поедем вместе к батюшке! — вырвалось у него признание, как порыв отчаяния.

Девушка, казалось, не поняла его сразу. Только глаза ее расширились.

— Я уже и священника знакомого условил, — продолжал пришедший, — я уже совершен возрастом — могу делать, что Бог на душу положит; а мне Бог тебя дал, сокровище бесценное! Мы обвенчаемся и поедем к батюшке — он благословит нас: он знает тебя.

Безумная радость блеснула в прекрасных глазах девушки, но только на мгновение. Русая головка ее, отягченная огромною пепельного цвета косою, опять беспомощно опустилась на грудь.

— А мой батюшка? — с тихим отчаянием прошептала она. — Как же без батюшкова благословения?

— Твой батюшка опосля благословит нас.

Девушка отрицательно покачала головой.

— Бежать отай из дому родительского... отай венчаться без батюшкова, без матушкова благословения... да такого греха небывывало, как и свет стоит, — говорила она словно во сне.

Молодой человек опять взял ее холодные руки.

— Не говори так, Наташа. Вон, в польском государстве — сказывал мне мой учитель, из польской шляхты — в ихнем государстве молодые боярышни всегда так делают: отай повенчаются, а после венца прямо к родителям: повинную голову и меч не сечет. Ну, назад не перевенчаешь — и прощают, и благословляют. Так водится и за морем, у всех иноземных людей.

Девушка грустно покачала головой.

— Али я бусурманка? Али я поганая еретичка? — тихо шептала она. — Беглянка — сором-от, сором-от какой! Как же потом добрым людям на глаза показаться? Да за это косу урезать мало — такого сорому и греха и чернеческая ряса не покроет.

— Наталья, не говори так! — недовольным голосом перебил ее молодой человек. — Это все московские забобоны — это тебе наплели старухи да потаскушки-странницы. Мы не грех учиним, а пойдем в храм Божий, к отцу духовному: коли он согласен обвенчать нас, какой же тут грех и сором?.. А коли и грех, то на его душе грех, не на нашей. Ты говоришь — сором! Сором любить, коли сам Спаситель сказал: «любите друг друга, любите!» Но сором ли то, что мы с тобою любилась в этом саду, аки в раю, сердцем радовались! Ах, Наташа, Наташа! Ты не любишь меня.

Девушка так и повисла у него на шее.

— Милый мой! Воин мой, свет очей моих! Я ли не люблю тебя!

— Ты идешь со мной?

— Хоть на край света!

— Наташа! Идем же...

— Куда, милый? — не помня себя, спохватилась девушка.

— В церковь, к венцу.

— К венцу! — девушка опомнилась. — Без батюшкова благословения?

— Да, да! Нони же, сейчас, со мной, с мамушкой!

— Нет! нет! — и девушка в изнеможении упала на скамейку.

Молодой человек обеими руками схватился за голову, не зная на что решиться.

А соловей заливался в соседних кустах. Песня его, счастливая, беззаботная, рвала, казалось, на части сердца влюбленных. Мамушка сладко спала на ближайшей скамье, свесив на бок седую голову.

— Наташа! Ласточка моя! — снова заговорил молодой человек, нагибаясь к девушке и кладя руки на плечи ей. — Наташечка!

Что, милый? — как бы во сне спросила она.

— Всемогущим Богом заклинаю тебя! Святою памятью твоей матери молю тебя, будь моею женой — моим спасением.

— Буду, милый мой, суженый мой!

— Так идем же — разбудим мамушку.

— Нет, нет! Не тяни моей душеньки! Ох, и без того тяжко... Владычица, сжалась!

— Так нейдешь?

— Милый, суженый — о-ох!

— Последнее слово — ты гонишь меня на прощание?

— Воинушко, родной мой, не уходи!

Девушка встала и протянула к нему руки. Но он уклонился с искаженным от злобы лицом.

— О, проклятая Москва! ты все отняла у меня... Прощай же, Наталья, княженецка дочь! — словно бы прошипел он. — Не видать тебе больше меня — прощай! Жди другого суженого!

И схватив охабень и шапку, он юркнул в калитку и исчез за высокой оградой.

Девушка протянула было к нему руки — и упала наземь, как подрезанный косою полевой цветок.

А соловей-то заливается!..

III. БАТЮШКА И СЫНОК

Молодой человек, собиравшийся похитить девушку из родительского дома и так презрительно отзывавшийся о московских обычаях, был сын известного в то время царского любимца Афанасия Лаврентьевича Ордина-Нащокина, по имени Воин.

Воин представлял собою только что нарождавшийся тогда в московской Руси тип западника. До некоторой степени западником был уже и отец его, любимец царя, Афанасий.

За несколько времени до того Нащокин послан был на воеводство в Псков, в его родной город. А по тогдашним обычаям, московским, воеводство — это было в буквальном смысле «кормление»: такого-то послали воеводою туда-то «на кормление», другого — в другой город, третьего — в третий, и все это — «на кормление»; и вот для воеводы делаются всевозможные поборы: и хлебом, и деньгами, и рыбою, и дичью; даже пироги и калачи сносились и свозились на воеводский двор горами.

Нащокин первый восстал против этих «приносов» и «привозов». По тому времени это уже было новшество, нечто даже богопротивное с точки зрения подьячих и истинно русских людей.

Мало того, Нащокин перевернул в Пскове вверх дном весь строй общественного управления, урезав даже свою собственную, почти неограниченную, воеводскую власть.

Ему жаль было своего родного города, когда-то богатого и могущественного, гордого союзника и соперника Господина Великого Новгорода. Как пограничный город, стоявший на рубеже двух соседних государств, Швеции и Польши, Псков еще недавно богател от заграничной торговли с этими обоими государствами. Войны последних лет почти убили эту торговлю. Между тем вся экономическая жизнь города и его области сосредоточилась в руках кулаков, богатых мужиков-горланов, положительно не дававших дышать остальному населению страны.

— Я не хочу только кормиться от моей родины, — я сам хочу ее кормить! — говорил новый воевода в съезжей избе во всеуслышание

— Как же ты ее, батюшка воевода, кормить станешь? — лукаво спрашивали мужики-горланы.

— А вот как, господо старички: с примеру сторонних, чужих земель...

— Это с заморщины-то, от нехристей? — ухмылялись в бороды лукавые старички.

— С заморщины и есть: за морем есть чему поучиться. Так вот я и помышляю в разуме, что как во всех государствах славны те только торги, которые без пошлины учинены, то и для Пскова-города я учиню такожде: быть во Пскове-городе беспошлинному торгу раз с Богоявления по день преподобного Евфимия Великого, сиречь по 20-е число месяца января; другой раз — с вешнего Николы по день мученика Михаила Исповедника.

— Так, батюшка воевода, так! Да какая же нам-от с той беспошлины корысть будет, да и казне-матушке? — лукаво спрашивали горланы-мужики, по нынешнему консерваторы.

— А вот какая корысть: то, что вы нони, стакавшись промеж себя, продаете в три дорога молодым и черным людям и рольникам, то у иноземных гостей они купят за полцены.

— Что ж, батюшка воевода, это корысть токмо подлым людишкам, смердьему роду, а казне-ту-матушке пошлинная деньга плакала, — твердили свое старые лисицы.

— И казну не обойду, — отражал их доводы ловкий воевода. — Ноне, ведомо вам буди, по всей матушке Руси торговые люди плачутся на иноземных гостей: гости-де, стакавшись промеж себя, как и вы вот, мощной своей — а у них мощна не вашей чета! — мощной своей всех наших торговых людей задавили. Вы сами не левой ногой сморкаетесь...

— Хе-хе-хе! — отвечали на шутку воеводы старики. — Шутник ты!

— Нет, я не шучу а вы сами ведаете, что иноземные гости, чтобы пронести ложку с русской кашей помимо ваших ртов, стакались с вашим же братом, которые победнее, задают им деньги вперед, на веру, а то и по записи, и на эти-то деньги ваш брат, который победнее, и скупает на торгах, и по пригородам, и по селам товар малою ценою — и все это им же, толстосумым гостям. Вот от такого-то недержания русские люди на иноземцев, на их корысть, торгуют ради скудного прокормления и оттого в последнюю скудость приходят, а которые псковичи и свои животы имели, то и они от своих же сговорщиков с немцами для низкой цены товаров также оскудели.

— Правда, истинная правда, боярин, — соглашались старички и удивлялись: — И откуда это ты, боярин, в нашем торговом деле таково стал дотошен?

— Откуда? Я не из княжего роду, не из богатых бояр: знавал и я, почем ковш лиха, да и ноне цены тому ковшу не забыл.

— Так-так... Да как же ты, боярин, этого ковша изведешь, чтобы нас то есть немцы не заедали?

— А вот как: чтобы не было такого тайного сговора с немцами, чтобы маломочные псковичи не брали у них в подряд денег и не роняли цены русским товарам, вы, старички и молодые, лутчие торговые люди, распишите сами, по свойству и по знакомству, во Пскове-городе и по пригородам, всех маломочных людей, распишите их по себе, и ведайте их торговлю и промыслы, а во место того, что они брали деньги у немцев и на них работали, на их колеса воду лили, будем давать им ссуду из земской избы. Когда таким изворотом маломочные люди на земские деньги накупят товару, то пущай везут его во Псков, к примеру, в декабре месяце, сдают товар в земскую избу, в амбары, где и записываются все подвозы в книги, а вы, лутчие люди, должны принимать тот товар каждый у своего, кто за кем записан, и давать им цену с наддачею для прокормления, и чтобы к маю месяцу они накупили новых товаров — к самому никольскому торгу; после же торгу вы, лутчие люди, продавши товары свалом иноземцам, должны заплатить маломочным людям ту цену, по какой сами продали.

— Ну и дока же наш воевода, — твердили после этого псковичи.

Но Нащокин в своих преобразованиях пошел еще дальше, урезав свою собственную власть, и опять-таки по образцу западному — «с примеру сторонних, чужих земель».

Собравши в земской избе всех «лутчих людей» Пскова, он держал к ним такую речь:

— Господо псковичи, лутчие люди! Уверились ли вы, что я хочу добра Пскову-городу?

— Уверились, уверились! — слышались голоса. — В торговом деле ты уже утер носа немцам.

— Спасибо! Так сотворите теперь сами доброе дело Пскову-городу и пригородам. Доселе воевода судил вас во всех делах и обидах; но воевода не всеведущ, вы свои дела и обиды лучше знаете. Так выберите из себя пятнадцать человек добрых людей на три года, чтобы из них каждый год сидело в земской избе по пяти человек. Эти пятеро выборных должны судить посадских людей во всех торговых и обидных делах, а ко мне, к воеводе, отводить только в измене, разбое и душегубстве. Ежели же случится тяжба между дворянином и посадским, то судить дворянину — кто будет у судных дел — с выборными посадскими людьми. Пошлины же с судных дел, решенных пятью выборными, держать в земской избе для градских расходов. Люба ли вам моя речь? — закончил воевода.

— Люба-то, любя, только дай нам малость подумать, — был ответ.

— Думайте, думайте.

За этими думами Псков разделился на две партии: меньшие люди все примкнули к «новшеству» Нащокина, «лутчие» — уперлись на старине, что для них было выгоднее.

Так и в ином другом Нащокин шел несколько впереди своего века. За это его и не любили старые бояре и подьячие.

Оттого, когда сегодня утром молодой Нащокин, Воин, шел из столовой избы через переднюю, его провожало злобное шипение приверженцев старины:

— Вон, из молодых да ранний — весь в батюшку.

— А что батюшка! От него старым людям житья нет: все бранится, всех укоряет... все, по его, делается не хорошо... толкует о новых порядках, что в чужих землях!

— Знамо! А каки-таки эти порядки? Что он завел во Пскове? Приедет воевода в город, а ему там и делать нечего, всем владеют мужики!

— Да что ж будешь делать! Великий государь его жалует: грамоты шлет ему прямо из приказа тайных дел, и он, Афонька, пишет туда же. Уж коли заведен приказ тайных дел, так всякому бы можно писать великому государю, что хочет, обносить кого хочет — никто не сведает.

— И чему дивиться! Был бы из честного старого роду, а то откуда взять?

— Умный человек! — ядовито замечает кто-то.

— Умный! Никто у него ума не отнимает, да как будто все другие глупы?

— Ну, а сынок, поди, шагнет еще выше! Вон и сейчас у великого государя у ручки был.

Действительно, сынок пошел дальше отца, только несколько в другом роде.

Во многом приверженец Запада и его общественных порядков, Афанасий Лаврентьевич Ордин-Нащокин, проникнутый благоговением к европейскому образованию, пожелал и сыну своему, Воиньке, дать по возможности отведать этого роскошного плода. Но какие были средства для этого в тогдашней московской Руси? Ни университетов, которыми давно гордилась Европа, ни высших, даже средних образовательных училищ, ни даже учителей — ничего этого не было на Руси. Даже для царских детей приходилось брать учителей из Малороссии. Но Малороссию Ордин-Нащокин не любил. Он был приверженец монархических порядков. Не будучи сам знатного рода, он душою льнул к древней родовитости, к ари-

стократизму. Он презрительно отзывался даже о Голландии и ее республиканском управлении.

— Голландцы — это наши псковские и новгородские мужики-вечники, те же горланы! — отвечал он Алексею Михайловичу, когда тот желал знать его мнение о союзе французского и датского королей с голландцами против Англии.

Понятно, что он не долюбливал и Малороссию с ее выборным началом.

— Эти хохлатые люди еще почище наших вечевых горланов! — говорил он о запорожских казаках. — Они своих кошевых атаманов и гетманов киями бьют, словно своих волов.

Зато сердце его лежало к полякам — к аристократической нации по преимуществу.

И вот из поляков, попавших к русским в плен, Ордин-Нащокин выбрал учителей для своего балованного сына Воина. Не удивительно, что, вместе с мечтательной любовью к Западу, учителя эти посеяли в сердце своего пылкого и впечатлительного ученика презрение к Москве, к ее обычаям и порядкам, даже к ее верованиям. Все московское было для него или смешно, или противно.

Под влиянием западноевропейских воззрений на жизнь он решился на самый отчаянный по тому времени шаг — похитить любимую им девушку. Однако все усилия его разбились в прах об унаследованное московской боярышней от матерей и бабушек понятие о женской чести и стыдливости. Ни любовь, ни страх вечной разлуки, ни страдания оскорбленного чувства — ничто не могло заставить девушку переступить роковую грань обычая. Она не перенесла страшного момента разлуки — и потеря сознания облегчила на несколько минут ее муки, ее ужасное горе — первое после потери матери великое горе в ее молодой жизни.

Когда она пришла в себя, то увидела склонившееся над нею ужасом искаженное лицо мамушки.

— Где он? Что с ним? — были первые ее слова.

— Не знаю, дитяtko, словно он сквозь землю провалился. А что с тобой, мое золото червонное?

Я ничего не помню, мамушка: только он сказал, что мы больше с ним не увидимся.

— Ах он злодей! Да как же это так? — встревожилась старушка. — Что тут у вас вышло? Чем он тебя обидел, ласточка моя?

— Он ничем меня не обидел: он только сказал, что нам больше не видаться на сем свете.

— Владычица! — всплеснула руками старушка. — Да что с ним, с окаянным, подеялось?

Девушка молчала. Даже старой мамке своей она не могла выдать того, что она считала святою великою тайной.

А соловей все заливался...

IV. ТАИНСТВЕННОЕ ИСЧЕЗНОВЕНИЕ МОЛОДОГО ОРДИНА-НАЦОКИНА

Прошло недели две после 5 мая, и по Москве, среди бояр и придворных, разнеслась весть, что молодой Ордин-Нащокин, Воин, пропал без вести.

Стало также известно, что царь лично отправил его с важными бумагами и большою суммою денег к отцу, который вместе с другими боярами, с Долгорукими и Одоевским, находился на польском рубеже для переговоров с польскими послами о мире.

Одни говорили, что молодой Нащокин кем-либо на дороге был убит и ограблен. Враги же Нащокиных распускали слух, что Воин, прельстясь деньгами, которые были ему доверены царем, и будучи учеником коварных польских панков, с царскими денежками и с важными бумагами улизнул за рубеж и там протирает глаза этим денежкам.

Известие об исчезновении молодого Нащокина, естественно, очень смутило Алексея Михайловича, и он тоже начал думать, что молодой человек был увлечен в сети злоумышленниками и погиб безвременно. Он даже упрекал себя в том, что дал серьезное поручение такому неопытному юноше и ему же доверил значительную сумму денег. Алексей Михайлович тотчас приказал отправить гонцов во все концы; но все напрасно: молодой человек словно в воду канул.

Как громом поразила эта весть девушку, с которою он виделся накануне отъезда из Москвы. Она винила себя в гибели своего возлюбленного. Точно окаменелая бродила она по переходам своего терема и по саду, где видела его в последний раз и где, казалось, на дорожке, ведущей от скамейки к калитке, оставались еще следы его ног. Как безумная припадала она к этим кажущимся следам и все звала своего милого. Она глухо кляла теперь свой напрасный страх, свою нерешительность. Что для нее людские толки и пересуды, если б около нее был ее суженый? Тогда она боялась идти с ним под венец, а теперь с ним охотно бы пошла на плаху. Зачем же ей теперь жить? Для кого? Ведь только для него светило это солнце,

для него синел этот свод неба, для него раздавались эти трели соловья. А соловей пел и тогда, в тот чудный и ужасный вечер, когда она, безумная, оттолкнула его от себя.

Она не могла даже плакать, не могла молиться. По целым часам она сидела на той скамейке, на его месте, неподвижная, холодная.

Старая мамушка насильно увела ее из сада и уложила в постель. К вечеру девушка вся разгорелась, а ночью бредила, говорила бессвязные слова, или вздрагивала, прислушиваясь к трелям соловья.

Больше недели оставалась она таким образом между жизнью и смертью. По ней служили молебны, кропили ее крещенскою водою, к ней приносили из церквей чудотворные иконы, приводили знахарок со всей Москвы. Все напрасно!

Страшно поразило отца исчезновение любимого сына. Он также думал, что его Воин погиб от руки злоумышленников. В несколько дней он осунулся, постарел. Переговоры его с польскими послами о мире шли вяло — он, казалось, утратил сразу и ум, и энергию, и находчивость, и дар слова, которому прежде все завидовали.

Между тем розыски пропавшего без вести производились самым тщательным образом. Исследован был весь путь от Москвы вплоть до польского рубежа, до того местечка над рекою Городнею, где отец пропавшего, Афанасий Ордин-Нащокин, и другие русские послы вели переговоры с польскими комиссарами о мире. Расспрашивали в каждом попутном селе, в каждой деревеньке, по кабакам и корчмам — не проезжали в такие-то и такие дни такой-то, на такой-то лошади, с такими-то примета. И почти везде отвечали, что видели такого-то, проезжал-де, а кто такой — того не ведают. И вдруг след его пропал как раз у рубежа, в пограничном лесу, где змеились три расходившиеся в разные места дорожки. Тут он исчез бесследно. За рубежом, на польской земле, его уже не видали.

Как и чем объяснить это таинственное исчезновение? Все теряли головы и никто не мог ничего придумать.

Несчастный отец остановился на одной ужасной мысли: сына его убили.

Но где убийцы? Кто? Для чего? Для грабежа? Но кто знал, что у него деньги? Ведь гонцы часто ездили и из Москвы, и в Москву, — и ни один не пропал. Пропал его единственный сын, гордость и утеха его старости, его надежды!

Он убит — и Афанасий знает, кто его убийцы. Враги отца, завистники — они наложили злодейскую руку на его

сына. Они видели, как 5 мая великий государь жаловал его к руке. Они знали, куда он едет и с какими поручениями. С ним были бумаги из ненавистного им приказа тайных дел. Надо захватить эти бумаги и отмстить высокомерному отцу в его единственном сыне.

Они подослали убийц к невинной жертве. За ним следили по пятам до самого рубежа, и в последнюю ночь, в этом порубежном лесу — убили, зарезали!

Но где же труп несчастного? Труп зарыли или бросили в Городню с камнем на шее.

«Это тебе, Афанасий, за твою гордыню, за царские милости, за приказ тайных дел!»

Вот что теперь они говорят промеж себя усмехаясь в бороды. А у Афанасия сердце кровью исходит, мозг сохнет под черепом.

Недаром этот «Тараруй» — князь Хованский — все теперь переделывает на свой лад во Пскове, что сделал там он, Афанасий. Так этого мало — надо сына отнять!

Хоть бы кости его найти да похоронить по-христиански!

И Нащокина часто видели бродящим в лесу, где — он был уверен — зарезали его сына.

Раз он набрел там на старика, сдиравшего лыки на лапти.

— Здравствуй, старичок! — сказал он. — Бог в помощь. Ты здешний будешь?

Старик был глуховат и не расслышал слов незнакомого боярина. Он только кланялся. Нащокин заговорил громче и повторил свой вопрос.

— Тутошний, тутошний, батюшка боярин, — отвечал старик, — грешным делом лычки деру на лапотки — только лапотками и кормлюсь.

— Доброе дело, — ласково заговорил Нащокин, — Бог труды любит.

— Чаво баишь, бояринушко? — не расслышал старик.

— Бог, говорю, любит труды, а ты вот трудишься.

— Тружусь, батюшко, кормлюсь лапотками. А ты, чаю, на зайчика?

— На зайчика, дедушка.

— Вор зайчик — молоденьку корочку грызет, божье деревцо портит зря.

— А что, дедушка, не опасно здесь на рубеже, в лесу? Не шалят, бывает, польские, а то и русские людишки тут?

— Бывает, батюшко, бывает — пошаливают.

— И убивства случаются?

— Попускает Бог — убивают. Вот и нынешней весной, сказывали, убили тут боярского сынка.

Нащокина словно что ударило под сердце.

— Боярского сына, говоришь, убили? — спросил он с дрожью и голосе.

— Убили, бояринушко, попустил Бог. Я, поди, и злоде-ев-ту этих видел, да невдомек мне было, что это злодеи. Опосля уж смекнул — да поздно.

— Расскажи же, дедушка, когда и как это дело было? — Нащокиным овладело страшное волнение. — Припомни, де-душка: может, злодеи и сыщутся.

— А так было дело, бояринушко. Однава этта весной, перед вешним Миколой, замешкался я в лесу с лычками — ночь захватила.

— Так перед вешним Миколой, говоришь? — переспро-сил Нащокин. «Так — перед Николой и должно быть», — с ужасом соображал он. — Ну, что же?

— Позамешкался я этта тады в лесу, надрал лычек эдак свеженьких охачочку, да грешным делом и ковыляю домой. Ан глядь — вон там, из лесу, и выезжают на конях неведо-мые люди, да туда вон, прямо за рубеж и повеялись.

— Трое, говоришь?

— Трое, бояринушко, трое.

— А обличья ты их не разглядел?

— Где разглядеть, батюшко! — Далече ехали. А что ме-ня в сумление ввело, батюшка, так конь у них, у злодеев, лишний: два, как и след, верхами, а один-от злодей — о-дву-конь: другово-ту коня в поводу вел. Для че им лишний конь. Знамо, не их конек, а из-под тово боярского сынка, что они, злодеи, убили в лесу и ограбили: теперича этта я так мекаю, а тады и невдомек было — украли, думаю, конька, злодеи, да и за рубеж. А дело-ту вышло во како: душегубство, а окаянных-ту злодеев и след, чу, простыл.

Теперь для Нащокина стало несомненным, что то были убийцы его сына, убийцы, подосланные его врагами из Москвы. Ясно, что они следили за ним по пятам, до самого польского ру-бежа, и тут, совершив свое гнусное злодеяние, перебрались за рубеж, чтоб воротиться в Москву уже другою дорогою. Ло-шадь убитого они не могли оставить в лесу, а увели ее с собою и, вероятно, продали в каком-нибудь польском местечке.

Нащокин дал старику несколько алтынов и пошел к тому месту леса, где, по его мнению, был убит его сын. Но и там не нашел он никаких следов преступления — ни подозритель-ной насыпи, ни следов борьбы или насилия.

А лес между тем жил полною жизнью, какую только может жить природа в весеннее время, когда говором и любовным шепотом, кажется, звучит от каждого куста, когда говорят ветви и листья на деревьях и трава с цветами шелестит любовным шепотом. Все так полно жизни, блеска и радости, все дышит любовью и счастьем, которое слышится в этом неумолчном говоре птиц, в этом жужжаньи пчел, в этом беззаботном гудении и каком-то детском лепете неуловимых глазом живых тварей, — и среди этой жизни, среди этого блаженства природы — смерть, наглая, ужасающая смерть в самом расцвете молодой жизни!

«И за что, Боже правый! — шептал несчастный старик. — Не за его — за мои прегрешения! За что его, а не меня, Господи!»

Он упал лицом в траву и беззвучно заплакал. А над ним было такое голубое небо, такое ласковое утреннее солнце.

V. В СВОЕЙ СЕМЬЕ

На Москве между тем дела шли своим порядком.

Патриарх Никон, поссорясь с царем, давно сидел безвыездно в Воскресенском монастыре, и на все попытки государя примириться с ним отвечал глухим ворчанием. Алексей Михайлович с своей стороны, мешая государственным делам с бездельем, тешил себя тем, что, проживая в селе Коломенском, от скуки каждое утро купал в пруду своих стольников, если кто из них опаздывал к царскому смотру, то есть — к утреннему выходу¹.

Но сегодня почему-то не занимало его это купание стольников. Он вспоминал о своем бывшем «собинном» друге Никоне, и его грызло сознание, что он был слишком суров с ним. Но и Никон не хотел идти на примирение.

А тут еще это исчезновение молодого Ордина-Нащокина. По его вине он погиб! Каково же должно быть бедному отцу?

«А все я — всему я виной, — грызла ему сердце эта мысль, — от меня все исходит — и горе, и радость... А

¹ Государь сам писал об этом стольнику Матюшкину: «Извещаю тебе, что тем утешаюся, что стольников купаю ежеутр в пруде. Иордан хороша сделана, человека по четыре и по пяти, и по двенадцати человек, за то: кто не поспеет к моему смотру, так того и купаю; да после купания жалую, зову их ежедневно, у меня купальщики те едят вдоволь, и иные говорят: мы-де нарком не поспеем, так-де и нас выкупают да и за стол посадят...»

кому радостно? Больше слез я вижу, чем радостей... Бедный, бедный Афанасий! Не пошла я малого, он бы жив теперь был... А то на! Обласкал своею милостью — и малого не стало...»

В такие грустные минуты Алексей Михайлович любил заходить к своей любимице, к маленькой царевне Софье. Она своими ласками, своим детским щебетанием развлекала его, отвлекала от дум.

И Алексей Михайлович задумчиво побрел по переходам к светлице своей девочки.

Уже перед дверью светлицы он услышал ее серебристый смех.

— Блаженни! — тихо, с грустной улыбкой проговорил он, — их бо есть царствие Божие.

И он тихонько вступил в светлицу. От этого светленького теремка, от всего, что он увидел, так на него и повеяло чистотой детства, невинности, счастьем неведения. Девочка сидела у стола над какой-то книгой и теребила свои пышные, еще не заплетенные волосы. А в сторонке, у окна, сидела ее мамушка и что-то вязала.

— Ах, мамка, как это смешно, как смешно, — повторяла девочка.

— Что смешно, моя птичка? — вдруг услышала она за собою голос отца — и вздрогнула от нечаянности, потому что ноги Алексея Михайловича, обутые в мягкие сафьянные туфли, тихо ступали по коврам, не делая ни малейшего шума.

Девочка вскочила и радостно бросилась отцу на шею.

— Батюшка! Государь! Светик мой! — обнимала она его, лаская руками шелковистую бороду родителя.

— Здравствуй, здравствуй, птичечка моя, ясные глазыньки! — любовно целовал и гладил он девочку. — Здравствуй и ты, мамушка.

— Сам здравствуй, светик наш, царь-осударь, на многие лета! — кланялась мамушка.

— Что это вы тут смешное читаете? — спросил Алексей Михайлович. — Не сказку ли какую?

— Нет, батюшка, не сказку, — отвечала царевна, и опять ее голосок зазвенел смехом, точно серебряный колокольчик. — Вот эта книга, она называет «Книга глаголемая Лусидариус или златый бисер»¹. Тут обо всем писано — и о звездах, и о земле, и о зело дивных людях в земле индейской. Вот послушай.

¹ (Циклопесы — циклопы). Книга эта имеется у автора.

И девочка нагнулась над раскрытою книгой, писанною полууставом.

— Слушай, — читала она, — «тамо есть люди, именуемые силокпеси (циклопесы — циклопы), имеют только по единой ноге и рыщут борзее птицына летания, а егда сядет или ляжет, тою ногою от зноя и от дождя закрывается». Как же это, батюшка, об одной ноге? — удивленно посмотрела она на отца.

— А так, дитяtko, чудеса Господни неисповедимы, — отвечал царь серьезно.

Девочка как бы смутилась немножко, но снова нагнулась над книгой и что-то искала в ней.

— А вот, смотри, — сказала она торопливо, — слушай: «Тамо же есть люди безглавнии, им же есть очи на плечах, и вместо уст и носа имеют на персех по две дыры». Как же это, батюшка? Разве без головы можно жить? — спросила она.

— Не знаю, милая но у Бога все возможно, — задумчиво говорил Алексей Михайлович. — А где ты взяла эту книгу? — спросил он.

— Мне мама дала ее почитать, а маме ее подарил протопоп Аввакум.

— Аввакум, — повторил про себя Алексей Михайлович.

Он опять задумался, опять что-то укором подкатилось к его сердцу. «Может быть, за правду и этот страдает, — думалось ему, — но где правда, где истина... Истина! Иисус же ответа не даде! Боже великий!»

При имени Аввакума он вспомнил, что этот мученик религиозного фанатизма, по его же повелению, прикован на цепь в одной из келий монастыря Николы на Угрешу. А кто прав? Он ли, Аввакум, Никон ли? Двуперстное или троеперстное сложение? Где же истина?

«Иисус же ответа не даде», — ныло у него на сердце.

Видя грустную задумчивость отца, юная царевна стала робко ласкаться к нему, и ему представилась другая такая же сцена: юный Воин ласкается к своему отцу; а теперь этот отец осиротел, и осиротил его он.

Желая отогнать мрачные мысли, Алексей Михайлович машинально берет подаренную царице Аввакумом книгу и читает вслух.

— А, вон оно что! О нашей Европе тут пишется — вишь ты! — Европой ее именует: «Вторая часть сего мира зовется Европа, яже простерся по горам, тамо язык германский, Готфы, тамо же величайшая река Дунай...»

— Вишь ты! — перебил он сам себя. — Дунай, а мою Волгу-ту и забыли? А може, мы не в Европе живем? — Посмотрим, что дальше будет: «А от моря язык благоизбранный и людие храбри словенстии, яже суть Русь!..» — Вишь ты! — улыбнулся он. — Не забыли и нас — спасибо! Ну, ин дале: «Таможе бриляне» — это еще что за бриляне? Не вем... «чехи, ляхи, поляки, воринганы (варяги, надо бы думать), фрязи, микияне (таких не знаю), дауцы, керенгвяне (и таких не слышал), Фрисляндия, и инныя многие земли. На другой половине тоя же Европы земли: Остерляндия, Сунгория, Бесемя, галове, греки, та страна даже до моря».

Книга так заинтересовала Алексея Михайловича, что он присел к столу, а юная царевна взмогилась к нему на колени и обвила рукою его шею.

— Ах ты, девка! Тяжелая какая стала! — ласково трепал он волосы у девочки. — И не диво — тринадцатый годок уж пошел.

— Нет, батюшка-царь, четырнадцатый! — поправила она отца.

— Ой ли? Ну, совсем невеста — пора замуж.

— Я замуж не хочу!

— Ну, захочешь... Сиди смирно! Посмотрим, что там дале книга пишет.

Он нагнулся и стал читать:

— «И земля Дамасия, в ней же есть источник дивный, иже от него зажигаются свечи...» Дивны дела твои, Господи! — перебил он себя. — «Тамо и великая гора Олимпус, ее же высота превыше облак, от той же горы начинается земля Италия, тамо украина именуемая Рим...» Точно — Рим, где папеж живет... «И Галлия, Вритания, тамо Венеция, юже созда царь Ипутус, отголе вышла река Рын¹, и течет по французской земле; подле той реки прилежат мнози велиции украины — Кастилия, Колония (Каталония), Местиния, Страстборх, Стерн, потом начнет-ся Испания, к ней прилежат широкие страны, Картеза-град и иные многие. Сие испанское государство лежит все подле моря. К тому государству близ страны, иже есть Вритания и Англия, губерния Канатос; из сих стран вывозят золото. Тамо же на запад край моря страна нарицаемая Схоттия: тамо пришед солнце от восток, скрывается; то есть место, глаголемое запад тамо же в море близ остров, на нем же дресеса, которые растут, отнюдь не повалятся тамо же есть Мерзлое море; в том месте толика студеность, еже тамо невозможно человеку быти».

¹ Рейн, конечно.

— Вот, батюшка, — перебила его Софья, — ты все воюешь с поляками — на что они тебе? А ты б завоевал нам рай.

— Какой рай, птичка? — удивился Алексей Михайлович.

— А где великая река Ганг.

И царевна стала перелистывать книгу.

— Ах, все твоя борода мешает, — отвела она рукой пушистую бороду отца, — вот: «Там же есть люди в велицей реке Ганги, — начала она читать, — яже из рая течет» — видишь? Из рая... «Те люди имеют овощи, иже из рая плодут, и от тех овощей питаются живыми ядрами, а иные пищи не требуют, и те овощи осторожно вельми у себя блюдут того ради, понеже они zelo боятся злосмрадного всякого обоняния, и теми овощами защищают живот свой; аще, если которой из них обоняет какую злосмрадную воню, а тех вышеупомянутых овощей при себе иметь не будет, то вскоре умирает и жив быти не может, яко рыба на суше». Вот, видишь, где рай?

— Вижу токмо, дитятко мое, что дивны творения рук божьих, — задумчиво проговорил государь, — а где уж нам, грешным, рая достигнуть в сей жизни! Хоть бы после смерти Господь сподобил нас рая пресветлого своего.

Он замолчал. Слышны были только благочестивые вздохи мамушки.

— Что, мамка, вздыхаешь? — спросил ее государь.

— О грехах батюшка-царь, — отвечала старушка.

Послышался шорох атласного платья, и в дверях светлицы показалась царица Марья Ильишна, как ее тогда называли, а не Ильинишна.

Софья соскочила с колен отца и бросилась к матери.

— Ах, мама! Что мы тут с батюшкой читали! И об рае, и об Европе, и об людях без голов! — торопилась, почти захлебываясь, будущая правительница русской земли.

— Где ж это вы таки чудеса вычитали? — улыбалась Марья Ильишна.

— А в той книге, что ты мне дала — «Книга глаголемая Лусидариус».

— Так и есть таки люди, что без голов? — недоверчиво спросила царица.

— Есть, мама; только у них очи на плечах, а вместо уст и носа — на персях по две дыры.

— А чем же они едят?

— Должно быть, мама, этими дырами.

— А где они живут?

— В Индейской земле, мама. И есть там люди об одной ноге.

Алексей Михайлович тоже подошел к царице.

— Что, Маша, слышно о протопопе Аввакуме? — как-то робко спросил он, не смея взглянуть ей в глаза.

— Во узах сидит мученик-святитель — на цепи у Николы на Угрешу! — как бы нехотя, но с нервной дрожью в голосе отвечала царица.

— Ты спосылала к нему?

— Спосылала не раз.

— От меня?

— От тебя и от себя: твоим царевым словом умоляла.

— И что ж он?

— Стоит так, чепью окован, руки горе, не соединюсь, говорит, со отступниками: он, говорит, мой царь, мой! Я, говорит, не сведу с высоты небесных рук, дондеже Бог его отдаст мне! И ручки так к небу простирает: не сведу, говорит, рук с высоты! Не сведу!¹ Это он к тому, что будто тебя у него отступники отняли.

— Ох, Маша, тяжел мой крест — крест царев! — горько покачал головой Алексей Михайлович. — Тяжела шапка Мономаха! Кто прав? Где истина? — повторяю я с Пилатом. «Что есть истина? Иисус же ответа не даде». Помнишь это, Маша?

И царь, задумавшись, повернулся и направился к себе.

— А что молодой Ордин-Нащокин, так и не сыскали? — кликнула ему вслед царица.

Но Алексей Михайлович ничего не ответил.

VI. СТЕНЬКА РАЗИН В ГОСТЯХ У АВВАКУМА

Что же, в самом деле, было с Аввакумом, которого участь так горячо принималась к сердцу всею царскою семьей и из-за которого у царя с царицей были иногда очень горькие препирательства?

Он, действительно, сидел на цепи у Николы на Угреше. Ему, впрочем, не привыкать было к этим цепям, к битью плетью, палками, к тасканию за волосы, за бороду.

А теперь и таскать было не за что. У него отрезали его святительскую бороду, остригли его иерейское украшение — волосы.

— Видишь, — говорил он посланцу царицы, князю Ивану Воротынскому, — полюбуйся, как окарнали меня! Волки,

¹ «Житие протопопа Аввакума». Изд. проф. Тихонравова.

а не люди оборвали меня, горюна, словно собаки, один хохол оставили, как у поляка на лбу. Да что говорить! Бог их простит. Я своего мучения на них не спрошу — ни в сей век, ни в будущий, и буду молиться о них — о живых и о преставившихся. Дьявол между нами рассечение положил.

Теперь он был один в своей темнице, лежал на полу, на связке соломы, и бормотал что-то про себя. Он был страшно изможден, худ, как скелет, но в живых, совсем юношеских ясных глазах светилась детская радость. Чему же он радовался? А радовался своим мукам, истязаниям, которым его подвергали в жизни за идею — за двуперстное сложение, за трегубую аллилуйю, за букву *И* в слове *Исус*, а не *Иисус*... Он теперь лежал и с детской радостью припоминал все эти истязания.

— Это тогда, когда воевода у вдовы отнял дочь девицу, а я них заступился, — и он воздвиг на мя бури! У церкви его слуги мало до смерти меня не задавили. И аз, лежа мертв полчаса и больше, и паки ожив божьим мановением; но его опять научил дьявол: пришел в церковь, бил и волочил меня за ноги по земле в ризах, а я в то время молитвы говорю. Это раз.

Но ему помешали продолжать перечисление испытанных им истязаний.

Кто-то постучался в железную дверь его тюрьмы.

— Господи Исусе Христе Сыне Божий, помилуй нас! — проговорил за дверью чей-то незнакомый голос.

— Аминь! — с удивлением отвечал Аввакум, потому что к нему в тюрьму никого не впускали, даже посланцев от царицы.

Загремели ключи, три раза щелкнул замок, заскрипела на ржавых петлях дверь и в тюремную келью вошел неизвестный человек. Аввакум разом окинул его взглядом и даже как будто смутился. Перед ним стоял могучий, широкоплечий мужчина в казацком одеянии, подстриженный в кружало, как стриглись тогда донские и воровские казаки. Широкий лоб обличал в пришельце могучую энергию. Но особенно поражали его глаза: в них было что-то властное, непреклонное; за этими глазами люди идут в огонь и в воду; этим глазам повинуются толпы, — было что-то непостижимое в них, что-то такое, что смутило даже Аввакума, которого не смущали ни плахи, ни костры, ни убийственные очи Никона, ни царственный взгляд царя Алексея Михайловича.

Аввакум быстро поднялся с соломы.

— Благослови меня, святой отец! — сказал пришелец повелительным голосом.

— Во имя Отца и Сына и Святого Духа, — как-то смущенно проговорил протопоп-фанатик. — Ты кто, сын мой?

— Я казак с вольного Дону.

— А как имя твое, сыне?

— Зовут меня Стенькой.

— Раб божий Степан, значит. А по отчеству?

— Отца Тимошкой звали.

— А разве отец твой помре?

— Да. По ево душе я и молился в Соловках да по братней, по Тимофеевой же, что казнили несправедливо.

— Кто и за что? — удивился Аввакум.

— Казнил его князь Юрий Долгорукий. Брат мой старший, Тимофеем же, как и отца, звали, был у нас атаманом и с казаками ходил в поход супротив поляков, в помощь этому князю Юрию. Но окончании похода брат мой оставил Долгорукого и повел казаков на Дон. Мы люди вольные — служим белому царю по нашему хотению, коли казачий круг приговорит. Мы креста никому не целовали на холопство — брат и ушел с казаками домой, а князь Юрий, осерчав на то, обманом заманил к себе брата — и отрубил ему голову.

— Царство небесное славному атаману, рабу божью Тимофею, — набожно проговорил Аввакум. — А куда же ты, Степан Тимофеевич, путь держишь? — спросил он.

— К себе, на тихий Дон, отче святой. Я иду из Соловок.

— Из Соловок! — удивился протопоп. — Немаленький путь сотворил ты, сын мой, во имя божие: подвиг сей зачтется тебе. Как же ты обо мне узнал, миленький?

— Твое имя, отче святой, аки кадило на всю святую Русь сияет, — был ответ.

Аввакум набожно перекрестился.

— Недостоин я сего, сыне: я — пес, лающий во славу божью за святое двуперстие да за истинную веру, — сказал он смиренно, но глаза его разом засветились, — и буду лаять до последнего издыхания — на плахе, на виселице, на костре, на кресте!

Он заходил было по своей тюрьме, но она была так тесна, как клетка, и он остановился, явно любуясь своим неожиданным посетителем.

— Как же ты, сын мой, попал ко мне во узилище? — спросил он гостя. — Вишь, ко мне никого не пускают; даже вон царицыны посланцы — и те со мною разговаривают через оконную да дверную решетку. Онамедни сам царь приходил, да только походил около моего темницы, и опять пошел прочь. И Воротынский бедной, князь Иван, просился же ко мне в

темницу; ино не пустили горюна; я лишь, в окно глядя, поплакал на него¹. А как ты попал ко мне? Чем отпер сердце недреманной стражи?

— Золотым ключом, — был ответ.

— А! Разумею. А что ноне, сын мой, в Соловках творится, в обители святых угодников Зосимы-Савватия? — спросил Аввакум.

— Крепко стоят за двуперстие и Никона клянут.

У фанатика опять засверкали глаза при имени Никона.

— У, Никонишко, адов пес! — всплеснул он руками. — Ты знаешь ли, как он книги печатал? «Печатай, — говорит, — Арсен, книги как-нибудь, лишь бы не по старому». Так-су и сделали! О, будь они прокляты, окаянные, со всем лукавым замыслом своим, а страждущим от них вечная память трижды! Вить ты не знаешь, что у нас делается: за старую веру жгут и пекут, что баранов. Ох, Господи! Как это они в познание не хотят прийти? Слыхано ли! Огнем да кнутом, да виселицею хотят веру утвердить! Хороши апостолы с кнутами! Разве те так учили? Разве Христос приказал им учить огнем, кнутом да виселицею? О, да что и говорить! Зато много ангельских венцов роздали новые апостолы — так и сыплют венцами. А я говорю: аще бы не были борцы, не бы даны были венцы. Есть борцы! Ноне кому охота венчать мученическим венцом, незачем ходить в Персиду, либо в Рим к Диоклетиану, — у нас свой Вавилон! Ну-тко, сынок, — обратился он к Стеньке, — нарцы имя Христово истово — Исус, стань среди Москвы, перекрестись двумя персты, — вот тебе и царство небесное, и венец! Ну-тко, стань!...²

— И стану! — громовым голосом отвечал Разин (это был он), так что даже фанатик вздрогнул и попятился от него. — И стану среди Москвы, и крикну имя Христово.

Он был величествен в своем негодовании и, казалось, вырос на целую голову. Аввакум смотрел на него в каком-то умилении, в экстазе. Он сам был весь энергия и сила, а тут перед ним стояла теперь такая силища!

— Слышишь, Москва? Слышите, бояре? Я к вам приду — я везде найду вас! Ждите меня!

Разин остановился — его душило негодование. Потом он стал говорить спокойнее.

— Я прошел теперь всю Русь из конца в конец — от Черкасска до Соловок: везде-то беднота, везде-то слезы и

¹ См. «Житие пр. Аввакума».

² Подлинные слова из «Жития».

рыдания, везде голод. А тут, на Москве-то, палаты, что твои храмы божьи! Да куда! Богаче церквей! Не так залиты золотом и жемчугами ризы матушки Иверской, как ферязи да кафтаны боярские. А колесницы в золоте, а кони — тож в золоте — сущие фараоны! Там — корки сухой нету, а тут за одним обедом съедают и пропивают целые селы, целые станции. Это ли правда? Это ли по-божески?

Аввакум стоял перед ним как очарованный и все крестил его.

— Ох, сыночек мой богоданный! Степанушко мой светик! — шептал он со слезами на глазах.

Они долго еще беседовали, и Аввакум со всею пылкостью, на какую только он был способен, с неудержимою страстностью своего кипучего темперамента изобразил такую потрясающую картину смутного состояния умов в тогдашней московской Руси, что в пылкой голове Разина созрел кровавый план — завести новые порядки на Руси, хотя бы для этого пришлось бродить по колена в крови.

— Будь благонадежен, святой отец, — сказал он с свойственною ему энергиею, — мы положим конец господству притеснителей.

— Как же ты это сделаешь, чадо мое богоданное? — спросил Аввакум.

— Мы начнем с Дона, Яика и с Волги: тех, что голодают и плачут, больше, чем тех, что объедаются и радуются. Все голодные за мной пойдут, только надо дать им голову. А головой той для них буду я, Степан Тимофеев сын Разин. Жди же меня, отче святой!

— Буду ждать, буду ждать, чадо мое милое, ежели до той поры не сожгут меня в срубе, — говорил фанатик в умилении, обнимая и целуя своего страшного гостя.

Разин ушел, а Аввакум долго стоял на коленях и молился, звеня цепью.

VII. «ЗА КУКЛОЙ — ЖЕНИХ ЗАБЫТ!..»

Миновало лето. Прошло и около половины зимы 1664 года, и о молодом, пропавшем без вести Ордине-Нащокине уже и забывать стали. Не забывали о нем только отец несчастного да царь Алексей Михайлович. Не могла забыть и та юная боярышня, с которой он так грустно простился накануне своего рокового отъезда из Москвы.

Это была единственная дочь боярина, князя Семена Васильевича Прозоровского, шестнадцатилетняя красавица

Наталья. Хотя она и оправилась несколько после постигшего ее удара и тяжкой болезни — молодость взяла свое — однако она в душе чувствовала, что молодая жизнь ее разбита.

Куда девалась ее живость, неукротимая веселость! Правда, ее похудевшее, томно-задумчивое личико стало еще милевиднее, еще прелестнее; но при взгляде на нее, всем, знавшим и не знавшим ее прежде, почему-то думалось, что это милое создание не от мира сего, что такие не живут среди людей и место их среди ангелов светлых.

Отец, боготворивший ее, хотя угадывал сердцем, какое страдание подтачивает эту молодую жизнь, но он слишком уважал святость ее чувства, и с грустью молчал, будучи уверен, что всеильная молодость все победит, что богатства молодости так неисчислимы, так неисчерпаемы, что их никакая сила, кроме смерти, не ограбит, даже не умалит.

Девушка тоже молчала. Чувство ее и ее горе были слишком святы для нее, чтобы в эту святыню мог заглянуть чей бы то ни было взор, даже взор отца или матери.

Однажды, за несколько дней перед Рождеством, отец, желая ее развлечь, купил ей очень много подарков и разных нарядов, самых изящных, самых дорогих, какие только можно было найти в Москве. Девушка горячо благодарила отца, целовала его руки, голову, лицо, обнимала его, но тут же не выдержала и расплакалась, горько-горько расплакалась.

— О чем ты дитяtko мое ненаглядное, радость моя единая, о чем же? — испугался и растерялся злополучный отец

— Батюшка! Милый мой! Родной мой! — плакала она, обливая слезами щеки растерявшегося князя. — Знаешь, мой дорогой, о чем я хочу просить тебя?

— О чем, мое дитяtko золотое, солнышко мое? Проси — все для тебя сделаю!

— Батюшка, светик мой, отдай меня в монастырь!

— В монастырь! Что с тобой, моя ягодка? Мое дитя! Утеха моя!

— Да, мой родной, отдай: я хочу принять ангельский чин, не жилища я на миру, я хочу быть Христовой невестой.

И несчастная разрыдалась пуще прежнего: слово «невеста» точно ножом ее по сердцу полоснуло.

— Да Господь же с тобой, чистая моя голубица! Господь с тобой, сокровище мое! — утешал ее отец. — Обдумай свое хотение — пощади меня, старика: на кого ты оставишь меня?

С кем я буду доживать век, с кем разделю я мое одинокое старчество? Для кого мои добра, мои богатства?¹

И он сам горько заплакал, обхватив руками белокурую головку дочери, как бы боясь, что вот сейчас-сейчас она уйдет от него, улетит на крыльях ангела.

— Хоть погоди малость, поживи со мной до весны, дай мне одуматься, с государем переговорить: он же об тебе спрашивал... ты так ему полюбила... он часто видел тебя в Успенском, как ты молилась там и плакала этими днями. И царевнушка Софья в тебе души не чает: она просила привезти тебя в собор на «пещное действо». Поедем, мое золото, а там подумаем, потолкуем; может... Государь спосылает гонцов в Польшу... может, Бог даст... еще не верно...

Он не договорил, боясь, что зашел слишком далеко. Он сам хорошо понимал, что в доверчивое сердце своей любимицы он забрасывает напрасную надежду; как и все в Москве, он знал, что молодого Ордина-Нащокина уже не воскресить; но ему во что бы то ни стало хотелось подольше удержать дочь от рокового решения... «Молодо-зелено, перегорит, а там еще свежее расцветет», — думалось ему, и он давал понять девушке, что он что-то знает, чего-то — а чего именно, она сама догадается — он ждет, что им-де с царем что-то известно, а что — пусть сама соображает. Он слепо верил во всемогущество молодости и времени: все переживается человеком, всякие душевные раны, даже, по-видимому, смертельные — исцеляет время. Разве он думал, что переживет свою Аннушку, мать этой самой девочки? А пережил. Сколько раз, когда она, такая молоденькая да хрупенькая, умерла у него на руках и он свез ее в Новодевичий на погост, — сколько раз он пытался наложить на себя руки! Так не попустил: не попустил вот этот невинный ангелочек, вот эта самая Наталенька — вся в мать! Наталенька, что теперь тихо плачет у него на плече. Ее было жаль кинуть одну на белом свете, ее, этого чистого ангелочка, и он остался жить для нее. И смертельная его рана зажила, закрылась с годами, хоть по временам и саднит, — ох, как саднит! Переживет и она свое девичье великое горе, заживет и ее кровавая рана — заживет, Бог милостив.

— Вот ужо повезу тебя, дитятко, на «пещное действо», — говорил он, лаская всхлипывавшую у него на плече девушку, — а там с государем перемолвлюсь о вестях неки-

¹ У него было еще два малолетних сына от второй жены; но за какой-то проступок он сослал ее с сыновьями в ее вотчину.

их... кубыть, надо бы надеяться... а Афанасий Лаврентьич, — он знал, что девочка понимает, о ком он говорит, — и Афанасий Лаврентьич, кубыть, повеселее стал малость... Бог милостив, не оставит...

Он чувствовал, как при этих словах у него на груди, под шитою шелками тонкою сорочицею, колотилось сердце его девочки.

— А разве послы наши воротились с польского рубежа? — робко спросила она.

— Воротились, дитятко.

— И Афанасий Лаврентьич?

— И он, золото мое... Сказываю тебе — кубыть, веселее маленечко стал... Вестимо, Бог его, горюна, не оставит: добер уже зело человек.

Все это он выдумал. Ничего веселого он не заметил в старике Ордине-Нащокине. Видел он его в Успенском соборе, как тот служил панихиду по сыне и плакал. Вот все, что он заметил. Но ему нужно было во что бы то ни стало удержал дочь на краю пропасти, к которой влекло ее молодое чувство, ее разбитая любовь и отчаяние.

— Все вот гонцов ждут из Польши — позамешкались они, — на что-то намекал он.

— А далеко, батюшка, эта Польша — Аршав-город? — спрашивала девушка, переставая плакать и отирая слезы шелковою ширинкой.

— Варшава, дитятко, а не Аршав, — поправлял он (тогда наши боярышни в гимназиях не учились), — а далеколькотики, правда, эта Варшава.

— И там все еретички живут, как наша Маришка-безбожница?

— По нашему они еретички, милая, а все ж они христианского закону, токмо латинской, папешской веры.

— Сказывают — все красавицы?

— Не все красавицы, милая, — люди как люди.

Он знал, к чему она гнет, догадывался, что у нее на сердчишке копошилось, но показывал вид, что ни о чем не догадывается.

— А как у них, батюшка, венчаются? С родительского благословения?

— Вестимо, дитятко. Где ж это видано, чтоб без родительского благословения что ни на есть доброе чинилось — упаси Бог! А который человек делает что без родительского благословения, и от того человека сам Господь отвернется.

Мало-помалу девушка успокоилась, и они решили ехать в Успенский собор на «пещное действо».

«Пещное действо» — это в древней Руси был особый церковный обряд, не сохранившийся до нашего времени. Он состоял в том, что за несколько дней до праздника Рождества Христова, и обыкновенно в последнее воскресенье, во время заутрени, в церкви, в присутствии патриарха и царя, если служба шла в Успенском соборе, изображалась в лицах, «лицедейно», известная библейская история о трех благочестивых отроках — Анании, Азарии и Мисаиле, посаженных в горящую печь по повелению халдейского царя за то, что отроки не хотели поклониться его идолам.

Для этого, по распоряжению соборного ключаря, убирали в соборе большое паникадило, что над амвоном, убирали и самый амвон, а на его место ставили «халдейскую печь». Это был большой полукруглый шкаф без крыши, на подмостке и с боковым входом. Стены «халдейской печи» разделены были, по числу отроков, на три части или внутренние стойла, украшенные резьбою, позолотою и приличными «пещному действу» изображениями. Около «печи» ставились железные «шандалы» с вставленными в них витыми свечами.

«Пещное действо» начиналось обыкновенно с вечерни. Это было нечто вроде увертюры или пролога к самому «действию». Начинали благовестом в большой колокол, и благовест отличался особенной торжественностью: он продолжался целый час. Москва вся спешила на это удивительное зрелище, заменявшее ей и наши театры, и концерты, и наши оперы с оперетками, балеты и феерии. Шествовал на это зрелище и царь со своим семейством и с боярами.

Собственно действующих лиц полагалось шестеро, не считая самого патриарха, сослужащего ему духовенства, поддьяков иди иподиаконов и двух хоров певчих: это были — отроческий учитель, три отрока — самые юные и красивые мальчики из детей белого соборного духовенства, и два халдея.

Когда Прозоровские, отец и дочь приехали в собор и вошли в храм, «пещное действо» только что начиналось. Царь и царица уже восседали на державном месте, а около государя светилось детским любопытством оживленное личико его любимицы, царевны Софьюшки. Она с необыкновенным интересом наблюдала за всем, что происходило в соборе, все видела, все замечала, почти всех знала, и поминутно, хотя незаметно, дергала отца то за рукав, то за полу одежды, и передавала ему свои наблюдения, замечания, или спрашивала о чем-либо.

Когда вошли Прозоровские, она, «непоседа-царевна», не преминула толкнуть отца. Царь заметил Прозоровских и ласково поглядел на бледное, задумчивое, но прелестное личико княжны. Она заметила, заметил и сочувственно остановившийся на ней взгляд юной царевны, и слабый румянец окрасил ее матовые, нежные щечки.

Собор горел тысячами огней, которые, отражаясь в золотых и серебряных окладах икон, на лампадах и паникадилах, наконец, золотых и парчовых ризах духовенства, превращали храм в какое-то волшебное святилище. «Пещь», освещаемая громадными витыми свечами массивных «шандалах», смотрела чем-то зловещим.

Вдруг весь собор охватило какое-то трепетное волнение: все как бы вздрогнуло и, оглядываясь ко входу в трапезу, чего-то ожидало.

Это начиналось шествие — начало «действия». Это шествовал сам святитель, блюститель патриаршего престола, Ростовский митрополит Иона (патриарх Никон, после неудачной попытки 19 декабря воротить свое значение, предавался в этот час буйному негодованию в своем Воскресенском монастыре). Впереди святителя шествовали отроки с зажженными свечами. Они были одеты в белые стихари, и юные, розовые личики их осенялись блестящими венцами: что-то было в высшей степени умиленное в этих полудетских венчаных головках.

По бокам отроков шли халдеи в своих халдейских одеждах: они были в шлемах, с огромными трубками, в которые была вложена «плавающая трава», со свечами и пальмовыми ветками.

Процессия двигалась дальше по собору между двух сплошных стен зрителей, напутствуемая тысячами горящих любопытством, тревогой и умилением глаз.

Князь Прозоровский украдкой наблюдал за дочерью. Он видел, что глаза ее блестят, нежные щечки рдеют румянцем. Она была вся зрение. Он глянул на державное место — на царицу, на юную царевну. И у них на лицах такое же оживление и восторг.

«Ох, женщины, женщины! — думалось ему. — Вы до старости дети: дай вам куклу, игрушку, действие — и вы все забыли... за куклою — жених забыт!..»

Святитель вошел в алтарь. За ним вошли и отроки, только северными дверями.

Халдеи остались в трапезе.

Началось пение подъяков, к которому присоединились свежие, звонкие голоса отроков.

VIII. «ПЕЩНОЕ ДЕЙСТВО»¹

Собственно, «пещное действо» совершалось уже после полуночи, в заутрени, за шесть часов до рассвета.

Внутренность собора еще ярче, чем во время вечерни, горит тысячами огней. Царская семья опять на державном месте, но более торжественно разодетая. Духовенство и святитель еще в более пышных ризах.

И Прозоровские, князь и юная княжна, тоже на своих местах. Только у последней глазки немножко заплаканы: «кукла» ненадолго утешила бедную. В молодой душе засело что-то более могучее и оттеснило собой весь остальной мир. Она думает о гонцах из Польши, о последнем весеннем вечере, когда так безумно пел соловей в кустах. Отец видит это и страдает.

Предшествуемый отроками со свечами и халдеями с пальмовыми ветвями, святитель опять проходит между стенами молящихся и входит в алтарь. И отроки входят туда же.

Утренняя служба началась. Хоры певчих с особенною торжественностью и силою исполняли каноны. Собор гремел богатыми, могучими голосами, которые всегда так любила Москва.

Во время пения — седьмого канона, где, как известно, упоминаются три отрока, когда хор грянул — «Отроки богомудрии», и когда ирмосы и причеты чередовались по клиросам, на иконостасное возвышение выступил отроческий учитель и сотворил по три земных поклона перед местными иконами.

Затем, подойдя и поклонившись святителю Ионе, восседавшему на возвышении против «пещи» в сонме соборного духовенства, возгласил:

— Благослови, владыко, отроков на уреченное место предпоставити!

Святитель поблагословил его «по главе» и с своей стороны возгласил:

— Благословен Бог наш, изволивый тако!

Отроки в это время стояли в стороне, лицом к святителю и ко всему собору молящихся.

— Бедненькие! — не вытерпела царица Софья, вся превратившаяся в зрение.

Учитель отошел к отрокам, обвязал их по шеям убрусами, и, когда святитель сделал соответственный знак рукою, передал их на жертву халдеям.

¹ Подробное описание «пещного действия» находится в «Древ. рос. вивлиоф.», VI, 375 и далее.

Халдеи, взяв отроков за концы убрисов, повели их к «пещи»; один халдей шел впереди, ведя первого отрока, за ним два остальные, держась руками друг за друга, а другой халдей позади отроков.

Вот, наконец, отроков привели к «пещи».

— Дети царицы! — громко возгласил первый халдей, указывая пальмовою веткой на «пещь». — Видите ли сию пещь, огнем горящу и вельми распалемую!

— Сия пещь, — пояснял другой халдей, — уготована вам на мучение.

Отрок, изображавший собою лицо Анании, гордо выпрямился и сказал:

— Видим мы пещь сию, но не ужасаемся ее: есть бо Бог наш на небеси, Ему же мы служим, — той силен изъяти нас от пещи сия!

— И от рук ваших избавит нас! — повторил за ним второй отрок, изображавший Азарию.

— А сия пещь будет не нам на мучение, но вам на обличение! — с силою и твердостью заканчивал Мисаил.

— Вот так молодцы отроки! — вырвалось у царицы Софьи. — Не убоайтесь пещи огненной.

Она сказала это так громко, что даже святитель Иона улыбнулся и многие обернулись к державному месту. Софья сидела вся красная, и мать укоризненно качала ей головой.

Между тем протодиакон, стоя в царских вратах, зажигал «отроческие свечи», а отроки, готовясь к мучению, безбоязненно пели: «И потщимся на помощь...»

Свечи зажжены, пение Отроков окончено. Тогда протодиакон с зажженными свечами направился к святителю и вручил ему свечи.

Затем Отроки поочередно подходили к святителю и, получив от него по свече, кланялись и целовали его руку.

Тогда учитель развязал каждого из отроков, и святитель благословлял их на мучение.

Выходили затем халдеи и вели такой разговор:

— Товарищ!

— Чево?

— Это дети царицы?

— Царицы.

— Нашего царя повеления не слушают?

— Не слушают.

— А златому телу не поклоняются?

— Не поклоняются.

— И мы вкинем их в пещь?

— И начнем их жечь!

— Ах, злые, гадкие мучители! — опять вырвалось у юной царевны; но она, спохватившись, сама зажала себе рот рукой.

Тогда халдеи взяли под руки Ананию и втокнули в печь.

— А ты, Азария, чево стал? — обращались они ко второму отроку. — И тебе у нас то же будет.

Брали затем и Азарию и также толкали в «печь». Потом и Мисаила ввергли к братьям на мучение.

Едва отроки ввергнуты были в печь, как выходил очередной звонарь с горном, наполненным горящими угольями, и ставил его под печь. Протодиакон же возглашал:

— Благословен еси Господи Боже отец наших! Хвально и прославлено имя твое во веки!

Отроки повторяли за протодиаконом этот стих, и халдеи, ходя около печи со свечами, пальмовыми ветвями и трубками, бросали из трубок «плавучую траву» и махали пальмовыми ветвями, как бы раздувая огонь.

В это время протодиакон читал «Песнь отроков».

— И прави путие твои, и судьбы истины сотворил еси!

Чтение протодиакона поддьяки сопровождали пением, которое так оживляло и разнообразило оригинальное «Пещное действо».

Прозоровский украдкой взглянул в это время на дочь и увидел, что его девочка опять «нашла свою куклу». Это его успокоило.

— Ты не притомилась, девынька? — шепнул он ей.

— Нет, батюшка, — таково хорошо действо! — был ответ и ласковый взгляд ясных глаз.

Между тем протодиакон возглашал:

— И распалашеся пламень над пещию!

А отроки как бы подкрепляли его возглашение:

— Яже обрете о пещи халдейстей!

В это время выступал из сонма духовенства соборный ключарь и подходил к священнику под благословение.

— Благослови, отче, ангела спущати в печь.

Священник благословлял его, а диаконы брали у халдеев трубки с «плавучею травую» и огнем. Протодиакон же громкогласно возглашал:

— Ангел же Господень сниде купно со Азариною чадиою в печь, яко дух хладен и шумящ!

В этот момент сверху появляется Ангел с крыльями, со свечою в руке, и с громом спускается в печь.

При виде с громом спускающегося Ангела халдеи, которые очень высоко держали пальмовые ветки, разом попадали, а дьяконы опаляли их свечами.

Но скоро халдеи опомнились от ужаса, но еще боялись подняться.

— Товарищ! — заговорил первый халдей.

— Чево? — спросил второй.

— Видишь?

— Было три, а стало четыре...

— Грозен и страшен зело, образом уподобися Сыну Божию.

Отроки же между тем ухватились за Ангела — два за крылья, а один за левую, конечно, босую ногу. Затем Ангел стал подниматься вверх вместе с Отроками, а потом сбрасывал их в пещь обратно.

Протодиакон снова читал «Песнь отроков»; Отроки тоже опять пели в «пещи», им вторили дьяки правого, потом левого клироса.

Халдеи между тем поднялись с полу, зажгли свои свечи и стояли уничтоженные, с поникшими головами. Они были посрамлены.

А с клиросов неслось стройное пение: «Благословите, трие отроцы!»

Ангел снова спускался в пещь «с громом и трясением», а халдеи в ужасе падали на колени.

Наконец, Ангел совсем улетал, и тогда халдеи, ободренные этим, подходили к пещи, отворяли ее, в удивлении стояли без шлемов; давно валявшихся на полу, и вели такой разговор:

— Анания! Гряди вон из пещи!

— Чево стал? — говорил второй халдей.

— Поворачивайся! Не имет вас ни огонь, ни солома, ни смола, ни сера.

— Мы чаяли — вас сожгли, а мы сами сгорели!

Тогда халдеи сами брали отроков под руки, выводили из пещи одного за другим, снова надевали на себя шлемы, брали в руки свои трубки с «плавучею травой» и огнем и становились по обе стороны Отроков.

— Затем протодиакон возглашал многолетие царю, всему царствующему дому и властям.

После словословия протодиакон вместе с отроками входил в пещь и читал там Евангелие.

Так кончалось «пещное действо».

Прозоровские возвращались домой, когда было еще совсем темно. Свет от факелов и фонарей, сопровождавших ка-

реты и пешеходов, возвращавшихся из собора по домам, освещал иногда внутренность кареты Прозоровских и бледное личико княжны. Она сидела с закрытыми глазами, и отец думал, что она, утомленная продолжительной службой, дремлет.

— Батюшка, — вдруг произнесла она, — ты так и не говорил с государем.

Он даже вздрогнул от неожиданности.

— Нету, дитяtko, отвечал он, — когда же было? Действо шло... Вот ужo — на смотру.

Девушка опять закрыла глаза. Факелы опять по временам освещали ее бледное, грустное личико.

«О-хо-хо! — думалось Прозоровскому, — девочка опять потеряла куклу».

— А смотр государев рано будет? — снова услышал он вопрос.

— Рано, ласточка, ты еще почивать будешь.

«Нет, тут не куклой пахнет... О-хо-хо!»

IX. БЕГЛЕЦ ВОИН В ВЕНЕЦИИ

Князь Прозоровский напрасно, однако, тешил себя надеждою, что всеильное время и молодость, которую никогда нельзя ограбить — так она богата и всемогуща, — возвратят ему его прежнюю веселенькую Наталеньку. Время еще не успело затуманить и вытравить из ее сердца светлые образы ее первого девического счастья, которое она сама погубила своим безрассудством, а молодость, на забывчивость которой он надеялся, молодость, которая везде, в самой себе, в самой этой молодости, найдет новые источники счастья, как богач новые капиталы, эта молодость слишком бурно чувствовала пережитое ею счастье, потому что оно было первое счастье в ее жизни, счастье, в первый раз сознанное, как бы открытое на груди того, кого она сама оттолкнула от себя и погубила его, — эта молодость не могла помириться с мыслью, что она уже никогда-никогда не будет трепетать на этой именно груди, давшей ей первые в жизни моменты блаженства, — эта молодость жаждала только его, его одного, со всем пылом страсти. Она ждала только его, и его не было.

Она скоро поняла, что гонцы, посланные в Польшу от царя, что намеки отца на то, что он, которого она погубила, жив, что это — куклы, которыми ее, как маленькую, хотели обмануть, развлечь. Она все поняла — и ей захотелось умереть. Но смерть не шла к ней. Так надо похоронить себя

заживо. Надо уйти от мира, от людей, чтоб ничто не напоминало ей о жизни, о ее радостях, которые она похоронила вместе с тем, кого любила.

Прозоровский, наконец, должен был сознаться дочери, что молодой Ордин-Нащокин действительно пропал без вести: никакие царские гонцы не в состоянии были найти того, кого уже не было на свете.

Девушка, казалось, несколько успокоилась на этом. Странное, но свойственное любящим успокоение: так не достанется же он никому, как не достался ей. Теперь ее уже не будет мучить мысль о красавицах-еретичках, о польках: ее Воин не достанется им.

Не достанется же и она никому! Монастырь, черническая ряса, клобук, темная келья — вот кому она достанется. Там она будет, за него молиться, его ждать в предсмертный час, чтоб там с ним свидеться, там, за гробом.

Она стала торопить отца — отдать ее в монастырь, и именно в Новодевичий, где похоронена ее мать. Как ни плакал отец — она оставалась непреклонна.

— Батюшка, — утешала она его, — все же я останусь твоей дочерью — ты будешь ездить ко мне, видеть меня. Ежели что и переменится — так только имя мое: я уж тогда не буду княжной Натальей, а инокинею или старицею Надеждою.

И она была пострижена, и действительно получила ангельский чин под именем Надежды. Все инокини и белицы навзрыд плакали в церкви, когда ее прелестное бледненькое личико выглядывало из-под черного монашеского покрывала и на возгласы постригавшего ее святителя Ионы: «Откуда еси притекла в обитель сию», или: «Пожаждь ми ножницы сия!» — она кротко отвечала или покорно нагибалась, чтоб поднять бросаемые святителем на пол, по чину пострижения, ножницы.

Но как плакал ее отец — этого словами люди никогда не сумеют передать.

Между тем вскоре после ее пострижения вот что случилось.

В то время, когда у московских послов кончились переговоры с польскими комиссарами о мире, с обеих сторон последовал обмен пленных и беглых.

Обыкновенно партии этих полоняников пригонялись в Москву, в подлежащий «разряд», а из «разряда», после переписки, их препровождали в патриарший дворцовый приказ для допросов: не осквернился ли кто в полону скромною пи-

щею не переменял ли веры, не держал ли там папешскую или иную веру, не бывал ли у «латынского ксенжа» на исповеди или в костеле, не брал ли «секрамент» вместо причастья, или даже «не бусурманен» ли, и т. д.

В числе присланных таким образом в патриарший приказ для допроса был один крепкий старик, который, как оказалось, находился в полону около сорока лет!

Подьячий патриаршего приказа, записывавший его «распросные речи», глазам своим не верил, чтобы можно было вынести то, что вынес на своем веку этот старик, и остался жив и бодр.

Вот что говорил он в своих «распросных речах»:

— Зовут меня Варсунофей старец. Родина моя город Москва. В детстве моем отец взял меня в Киев и отдал учиться грамоте. По возрасту был я во дьячках у Николы чудотворца у Пустынного в Киеве же, а забаловавшись хмельным делом, во дьячках не восхотел быть, служил у желныря у Гулявича в Луцку — отдала меня мать в службу тому желнырю за пьянство. И живучи я у желныря, по середам и в посты мясо и всякую скверну едал, а в Филиппов и в великой пост мяса не едал. А веру держал папешскую и секрамент дважды принимал. И живучи я у желныря, занемог, и обещался опять прийти к Николе на Пустынь, и пришел, постригся в меньшей образ; постригал в церкви на обедне тое-ж Никольские пустыни игумен Иов Непитущей о Троицыне дни. А тот игумен молил за патриарха царяградского за Кирила...

— Как! — удивился подьячий, закладывая перо за ухо. — За царяградского, а не за нашего святителя, за московского и всея Руси?

— Нету, батюшка, как было, так и сказываю, словно на духу.

— Ох, уж эти хохлы! — вздохнул подьячий. — Ну, говори дальше.

— Так молил он, Иов, сказываю, за патриарха Кирила да за архимандрита Печерского за Елисея Плетенецкого, — продолжал допрашиваемый. — А переманатка и манатья на мне не положена, потому что в большой иноческой образ я не пострижен.

— А как там, у хохлов, крестют? — спросил подьячий.

— По-хохлацки, батюшка, по киевской вере: в крещение обливают, не погружают — оттого хохлы и слывут обливанцы, и миром, и маслом омазуют. А постригшися, я не причащался. И я про то отцу своему духовному, что я сакрамент дважды принимал, сказывал, и отец же духовной положил за то на

меня епитимью на два года. А идучи я от Николы в Васильков, и взяли меня в поле в полон нагайские тотаровя, будет тому ноне лет с сорок, и свели меня с прочими полоняники в Крым, а из Крыму свели в Козлов-город, а из Козлова продали на рынке в Кафу, а из Кафы продали в Царь-город, в Царь-городе посадили на каторгу, и был я на каторге лет с тридцать; будучи ж я на каторги, по середам и по пятницам и в великие посты и мясо и всякую скверность едал, а не бусурманен и от христианския веры не отступил. И будучи на каторге в море, отгромили нас шпанского короля немцы, и шпанского короля владетель дука Ференц, дав мне лист, от себя отпустил. И будучи я в шпанской земле, у ксенза бывал и секрамент не раз бирал, и в костел хаживал, по шпанской католицкой вере маливался, по середам и пятницам и в великие посты и в иные посты мясо и всякую скверность едал, а у отца духовного не бывал. А из шпанской земли ушел во французскую землю, а изо французския земли шел берегом в тальянскую землю, в город Лигорны, а из Лигорны в Рим, и был в Риме двенадцать ден, и по папину велению ксенж исповедывал, а секраменту не имал; и будучи в Риме, веру держал римскую и до костела хаживал. Из Риму пошел в осень, о Михайлове дне, в прошлом году, и шел через Венецею, и в Венеции взяли меня на каторгу; да с каторги меня выкупил русской человек, нашего боярина Афанасия Лаврентьича Ордина-Нащокина сын, Воин Афанасьич...

При этом имени как-будто что дрогнуло в приказной палате... У подьячего, записавшего «распросные речи» старца Варсунофия, перо выпало из рук, и он с изумлением, не то с испугом, вскочил с места; сидевший за другим столом и что-то писавший приказный, по-видимому, дьяк патриаршего приказа, сухой и лысый старик, тоже вскочил с места...

— Как! Воин Афанасьич, говоришь? — радостно воскликнул он. — Так он жив?

— Живехонек был, милостивец батюшко, — пошли ему Господь здравия на многи леты, — отвечал допрашиваемый, не понимая в чем дело.

— И ты его сам видел и говорил с ним? — допытывался дьяк.

— И видел, батюшко, и говорил.

— Слава тебе, Господи! — перекрестился дьяк набожно. — Вот радость-то будет благодетелю моему, Афанасью Лаврентьичу! А уж по нем давно и сорокоусты читают по монастырям... Ах, Господи! Да расскажи же, старче, как дело было... Садись, старичок... Проща, дай ему стул!

Подьячий, которого называли Прошей, тот, что записывал со слов старца «распросные речи», метнулся по приказу, достал и притащил стул.

— Садись, садись, старичок, да расскажи по порядку, как дело было, — волновался и суетился старый дьяк, — сказывай.

Старец сел на стул, набожно перекрестился и начал свой рассказ. Все подьячие сбились около него в кучу и жадно слушали.

— Дак вот, милостивцы мои, — говорил старец-бродяга, — будучи ж в Венецее-граде, побирался Христовым именем. Площадь там есть эдакая, что у самого ихнего собора да около дворца, — а дога у них, у венецейцов, как бы во место царя правит. На площади этой столбы высокие каменные стоят, и на одном столбе этта лев поставлен, на другом аки бы ангел. Сижу я этта на ступеньках под ангелом и пою тихонько каличий стих, что у нас калики перехожие поют Христа-ради для милостыньки, — пою про Лазаря убогого. Дело этта было под вечер. Коли смотрю, милостивцы мои, плывет по морю черна лодочка — гондолой у них называется, длинная такая, а на ей храмinka махонька с дверцой и оконцами, словно бы часовенка, вся коврами цветными да кистями золотыми изукрашена. Многое множество в Венецее-граде таких гондол, потому — город на воде стоит, и коней в городе — ни единого, все пеши ходят либо на носилках, а чаще всего ездят по морю и по каналам в этих самых гондолах. Так и плывет, говорю, этта ж гондола мимо тех столбов, где я, горюн-бродяга, сижу. Коли слышу — поет кто-то в гондоле той, да таково сладостно и горько, Владычица Богородица! Меня словно ножом посердцу резануло... Слышу, поет... что бы вы думали, соколики мои! О-ох! Поет: «Как и не белы-то снежки в поле забелелись!» Господи! Что со мной было! Пятьдесят лет, как меня с Москвы свезли — да где пятьдесят! — более шестидесяти лет, мыкаючись по белу свету да по каторгам, не слыхал я этой песни. А уж и пел же он — не пел, а горячими слезами разливался, когда выводил: «А хуть и ночью — всю ночь протоскую!» Как безумный, голубчики вы мои, вскакиваю я из-под того ангела, да за гондолой, бегу и кричу, кричу и плачу: «Остановись! погоди!» Так где тебе! Не дошел мой старческий глас до гондолы, так и скрылась из глаз моих... Что я слез выплакал за ту ночь — и сказать не сумею: на каторге, в крымской и турецкой неволе так не плакивал.

И старик дрожащими руками утер катившиеся по его морщинистым щекам слезы. Слушатели все были тронуты: у них тоже на глазах блестели слезы.

— Ну, и что ж, родимый? — прервал общее молчание старый дьяк.

Бродяга как бы очнулся и заплаканными глазами взглянул на окружавших его подьячих.

— Ну, и как же потом, дедушка? Сыскал того, кто пел? — подсказал один из подьячих.

— Да, точно, милостивцы, — заговорил, снова бродяга, — проплакавши всю ночь, я наутро опять уселся под тем ангелом. А каторга, на котору меня брали, уходила в море через два дня: я и был слободен — бродил на воле, а бежать, коли б и охота была, некуда, потому — море кругом, да и ярлык уж у меня на плече красный пришит был — каторжный, значит: никто б и не перевез меня до берега. Сижу я этта опять под ангелом, пою про Лазаря убогого, кто идет — копеечку даст, то и так послушает, послушает, покачает головой, и пойдет прочь. Коли эдак к полудню подходит ко мне неведомый человек, стал поблиз меня и слушает, да таково вглядывается в меня. А там и говорит по-нашему, по-московски, да таково радостно: «Здравствуй, — говорит, — землячок! Как тебя Бог занес сюда?» Меня от этих его слов точно варом обварило — узнал я глас, что вчера пел «Не белы снежки». Молодой такой, пригожий, черные волосы и борода. А я стою и слова вымолвить не умею: от радости у меня язык отнялся, потому — в кой-то годы человека увидал с родимой сторонунки. Сердечушко во мне заходило, как не выпрыгнет. «Сказывай же, — говорит, — землячок: в неволе томишься? полоняник? каторжный?» Я и расскажи ему все про себя, как на духу — откуда и слова брались! «А ты, — пытаю его, — кто, отецкий сын?» «Я, — говорит, — беженец... бежал с родимой сторонунки... бегун... в бегах обретаюсь, и был, — говорит, — допреж сего сынок Афонасья Лаврентьича Ордин-Нащокина, Воин по имени». «А почто, — пытаю его, — бежал от отца-матери?» «С тоски сердечной, — говорит, — бежал». А с чего та сердечная тоска, про то не сказал. «Как же, говорю, думаешь впредь быть, Воин Афонасьич? Домой воротись, али здесь, на чужбине, останешься?» «И сам говорит, — не знаю: когда я был, — говорит, — на Москве, то она так мне опостылела, что не глядел бы ни на что; я, — говорит, — и бежал, потому — за морем мне такой рай сулили, что я обезумел, — говорит. — А как помыкался, — говорит, — на чужбине — и в польской земле, и во французской, и здесь, в тальянской земле, в Венеции, — да такая, — говорит, — тоска лютая к сердцу подступила, что хоша с мосту да в воду, и то впору». «Дак отчего

ж, — говорю, — не воротиться к отцу-матери?» «Нельзя, — говорит, — этого сделать: мне уж, — говорит, — на Москву путь-дороженька заказана: на Москве, — говорит, меня плаха ждет. А ты, — говорит, — старче, разве не хочешь на родную сторонущку нести старые кости свои?» — «Как, — говорю, — не хотеть? Сорок лет плачу по святой Руси; а вон опять меня ждет каторга да и смерть в море неизвестном». Жаль ему меня стало. «Я, — говорит, — землячок, выкуплю тебя из неволи: иди, — говорит, — на святую Русь да поклонись ей от меня горячими слезами». И сам заплакал, а я за ним. «Поклонись, — говорит, — от меня, блудного сына, батюшке моему рожоному — может, он простит меня. Да поклонись еще, — говорит...» — а кому — так и не кончил: еще пуще залился горячими слезами.

Старик замолчал и задумчиво опустил голову.

— Ну, и что ж, дедушка? — спросил кто-то.

— Выкупил, точно — выкупил меня из неволи, пошли ему Господь здравие и спасение! — отвечал бродяга.

— А сам в Венеции остался? — спросил старый дьяк.

— В Венеции, батюшка, да и в Риме хотел побывать.

— А ты сам как же? — спросили его.

— Я, спасибо ему, Воину Афанасьичу, — он мне и денег на дорогу дал — я из Венеции побрел в цысарскую землю, а из цысарской земли вышел в Польшу, в Аршав-город, а из Аршава-города в Литву, а уж из Литвы на русской рубеж: там меня и взяли за приставы и отправили на Москву, в «разряд», а из «разряду» к вам.

— Ну, спасибо тебе, дедушка, за добрые вести, — сказал старый дьяк. — Ты, Проша, пропиши до конца распросные речи, а я побегу обрадовать благодетеля своего, Афанасья Лаврентьича. Шутка-ли! Схоронил сына, поминал и сорокоусты заказал, а он — на поди! — живехонек... Ох, младость, младость!

Он торопливо вышел из приказа, но опять скоро воротился.

— От радости чуть было не запамятовал, — говорил он впопыхах. — Ты, верно, голоден, дедушка? — обратился он к бродяге.

— Да, батюшка, сам ведаешь, чем мы, узники, кормимся — от Бога да от добрых людей.

— Так вот что, Проша, — сказал дьяк, — пока я сбегаю к Афанасию Лаврентьичу, ты посылай в обжорный ряд, да хорошенько накорми дедушку. Не ровен час, его потребует к себе на глаза Афанасий Лаврентьич, — чтоб он здесь был.

И дьяк поспешно удалился.

Х. «ТВОЙ СЫН — ВОР!..»

Дьяк патриаршего приказа, желая первым сообщить Нащокину радостную весть, чуть не загнал лошадь возчика, которого он нашел около приказа.

— Гони в мою голову! — торопил он его. — Гони, как на пожар, — прибавку получишь знатную!

И возчик гнал, хлестал свою лошадь и кнутом и вожжами, и даже сам привскакивал на облучке.

— Соколик! вывози! — грабют! — кричал он.

Этот окрик на московских улицах никого тогда не удивлял: грабежи на улицах в городе, особенно по вечерам, были явлением обыденным. И оттого лошади приучены были к такому своеобразному понуканию, и когда слышали крик ямщика — «грабют!» — неслись стремглав. Ямщицкое «грабют» до настоящего времени удержалось на наших проселках и даже на почтовых трактах.

— Ой, батюшки, грабют! режут! — вопил извозчик, несясь по Москве...

К счастью для усердного дьяка, Нащокин был дома.

Уже одно появление гостя в неурочный час почему-то взволновало Нащокина, но радостный вид дьяка несколько успокоил его.

— Батюшка Афанасий Лаврентьич! Вам Господь милость свою посылает! — выпалил он, кланяясь и крестясь на передний угол с образами.

— Спасибо, Карп Иваныч, на добром слове, — отвечал хозяин, — Господь и великий государь милостями своими меня не оставляют, токмо...

— Знаю, знаю, батюшка! — бесцеремонно перебил его гость. — Только не эту токму приходится бросить — токму-ту эту.

— Какую токму, Иваныч? — не понял Нащокин.

— Да об ней, об этой самой токме, ты сам сейчас упомянул, — хитро улыбаясь, отвечал гость, — ты говорил о милостях, благодарил Бога и великого государя; токмо — говоришь... Знаю я эту токму — это об сынке, об Воине Афанасьиче — токмо-де его у меня Бог взял... Ан нет! Ноне твоя токма в нетех обретается.

Нащокин начал было уже думать, что дьяк с ума сошел, как тот вновь выпалил:

— Воин Афанасьич живехонек! Поклон тебе прислал!

Нащокин растерялся: жгучая радость охватила было его, но в тот же момент он еще более убедился, что

бедный дьяк действительно рехнулся. Он испуганно попятился назад.

— Молись Богу, Афанасий Лаврентьич, — продолжал дьяк, — сынок твой в Венеции-граде... здоровехонек... поклон тебе прислал.

— Что ты! Что ты! — снова испугался Нащокин. — Так это правда? Господи! да как же это? Ты от кого это узнал?

— Семинут, батюшка Афанасий Лаврентьич, сымал я в приказе распросные речи с одного полоняника...

— С полоняника, говоришь? Кто ж он такой?

— Московской человек — в полону был сорок лет в турецкой земле, и в шпанской земле...

— Ну, а как же сын-от мой?

— Да Воин-от Афанасьич в Венеции! Да ты погоди малость, не сшибай меня с речей — дай толком, по ряду все рассказать. Полоняник-ту этот был в турецкой земле на каторге тридцать лет, да с каторги отгромили его шпанского короля немцы, и жил он в шпанской земле, а из шпанской земли ему отпущение дали, потому — стар человек; и пришел в италийскую землю, в Рим-город, а из Риму по папину велению в Венецию пришел. Вот в этой самой Венеции он и столкнулся с сынком твоим богоданным. Да и сустрелись-ту они чудно таково, божьим изволением — и рассказать тебе, Афанасий Лаврентьич, дак не поверишь... И «не белы-то снежки», и «ночку-ту не ночую...» «а хоть и ночую — всю ночь протоскую...»

Нащокину опять страшно стало: спятил с ума старый дьяк! Как же так? И Венеция, и «не белы снежки», и сын его Воин.

— Он-то, Воин Афанасьич, и выкупил старца Варсунофья с каторги, — продолжал дьяк.

— Да кто этот Варсунофий? — допытывался Нащокин.

— Да полоняник, говорю тебе толком: он и поклон тебе от сына принес.

— Где ж он, полоняник твой?

— У меня, в патриаршем приказе сидит, да теперь, поди, жрет — я велел накормить его с обжорного ряду. Велишь, милостивец, я сам его к тебе приволоку... семинут приволоку... пушай сам тебе расскажет и про «не белы снежки», и про сынка.

Соблазн был слишком велик: Нащокин начинал верить.

— Ну, волокни его ко мне, — сказал он, — да допреж выпей у меня, подкрепишься, пойдем в столовую избу.

Через несколько минут дьяк уже опять гнал по Москве.

— Соколики, грабют! режут! — опять слышалось вдоль Неглинной.

Наконец, полоняник был привезен к Нащокину и вторично рассказал ему свою бесконечную одиссею. С неизъяснимым волнением слушал его Афанасий Лаврентьевич. Надо знать состояние умов тогдашней Руси, смутное и ужасное представление москвичей о заморщине, чтобы понять душевное потрясение отца, узнавшего, что сын его, одинокий, покинувший родину, бродит по этой неизвестной чуждеальной стороне. Если и имелось тогда, даже у относительно образованных москвичей, смутное представление о «Европии», то разве только по «Лусидариусу», из которого москвичи узнавали, что где-то за Аглицкой землей солнце доходит до запада и опускается в море, что великая река Ганг течет из рая и приносит с собою какие-то райские овощи; что есть люди с песьими головами, или одноногие, или даже без голов с глазами на плечах, и т. п. Конечно, Ордин-Нащокин, умный дипломат и по тогдашнему времени западник, был выше этих детских представлений о «Европии», он знал, что такое «Веницея»; но знать, что там где-то, за рубежом, в качестве беглеца и «вора» (по тогдашнему «вор» — государственный преступник), скитается его милый Воин, — это было выше его сил.

— Ну и как же, говоришь ты, старче божий, плакал мой сын, когда прощался с тобой? — спрашивал он своего дорогого гостя.

— Плакал, боярин, горько плакал.

— И велел мне кланяться?

— Земно, говорит, кланяюсь моему богоданному родителю и прошу говорит, его родительского благословения.

— Ну, а насчет сердечной тоски?

— Сказывал и о сердечной тоске, а в чем и с чего та его сердечная тоска — того не сказал.

Нащокин начинал догадываться, что это была за «сердечная тоска». И последнее время он что-то замечал за сыном: его частая задумчивость, томный взгляд, иногда беспричинная ласковость к нему, а потом видимая тоска, — ясно, что у него было что-то на сердце.

«Была зазноба, — решил он теперь в уме, — но для чего было бежать?»

«Блудный сын!» — вспомнилось ему «комедийное действо», которое недавно сочинил Симеон Полоцкий и приносил ему для прочтения.

— Ну, а про то не говорил, чтоб воротиться ему с повинной? — который уже раз спрашивал огорченный отец

— Говорил — как не говорить! Да только, говорит, мне в Москву уж путь-дороженька заказана: не видать-де мне родной стороны.

— Что так?

— А плаха, говорит, ждет меня на Москве

— А про то не говорил, кто его провел за рубеж?

Теперь Нащокину вспомнился прошлогодний рассказ по-рубежного старика, что в лесу над речкою Городнею лыки драл: он говорил, что из лесу тогда, весной, о Николине дне, трое выехало за рубеж, а один из них — о дву-конь. Ясно, что ему указали дорогу за рубеж, у него были соучастники. Но кто? Поляки? Не учителя ли из польских полоняников подвели так? Ну, заплатили за хлеб-соль.

— А про царские деньги ничего не сказывал? — снова допытывался он.

— Нету, боярин, про деньги не было речи; а что мне дал малость на дорогу — это точно, да и меня с каторги выкупил, пошли ему Господь здравие.

Хотел было Нащокин спросить и про бумаги из приказа тайных дел, что царь поручил Воину отвезти к отцу, но раздумал. Конечно, сын его не говорил об этом с полоняником — никакого резону не было. Бумаги, конечно, он уничтожил, если не передал полякам. А если передал, то это усугубляет его страшное преступление. Не потому ли так неподатливы были польские комиссары, коронный канцлер Пражмовский и гетман Потоцкий, при заключении мира в Андрусове? Эта мысль терзала Нащокина. Что может подумать царь, когда узнает о преступлениях и предательстве его сына? Продать отечество! За что? Из-за чего:

«Сердечная тоска...» Тут что-то непонятное... И почему княжна Наталья Прозоровская, такая юная, такая красавица, без всякой видимой причины пошла в монастырь — постриглась в шестнадцать лет? С какой стати сам Прозоровский, князь Семен, так часто спрашивал его о Воине — есть ли какие слухи, жив ли он? Вот откуда эта «сердечная тоска» и это пострижение княжны... Что между ними было? Почему так все сложилось? За что, для чего погубили себя — и тот, и эта?

Но всего больше терзала его мысль о том, что его Воин изменил России, царю, который так был милостив к нему. Как теперь он, Афанасий, покажется на глаза великому государю? Нечего сказать! Воспитал сынка на позор себе, на позор всей России. Что теперь скажут его враги, этот Тараруй и вся его роденька, когда узнают о преступных делах его сына? А они скоро узнают.

Уж лучше бы его, в самом деле, убили! Не было бы тогда бесчестия на его седую голову. Все бы жалели, как и теперь жалеют, бедного отца. А то теперь вся Москва заговорить: «У Афанасия, у царского любимца и гордеца, сын — вор! Воровством ушел за море и за морем ворует! Не фыркать было Афанасию на Москву, Москва-де старыми непорядками держится — надо все новое в ней завести, с иноземного, с заморщины! Вот тебе и завел — родного сынка вором сделал! Во Пскове мужиков во место воеводы посадил. Хороши новшества, нечего сказать! Ай да Афанасий Ордин-Нащокин!»

Казалось, он уже слышал эти укоризны, видел злорадные лица врагов, перешептывания, лукавые улыбки...

И зачем явился этот полоняник? Зачем рассказал все?

— Ах, зачем его не убили! — неволью вырвалось у него отчаянное восклицание.

«Вор, твой сын вор!» — шумело у него в ушах.

Теперь он, казалось, возненавидел этого старца-полоняника, которому сначала так было обрадовался. Он, этот старик, принес ему роковую весть — принес позор на его голову! Он, казалось, ненавидел и дьяка патриаршего приказа, способствовавшего перенесению к нему роковой тайны. Пусть бы лучше служили сорокоусты по его сыне, чем теперь будут благовестить везде о его позоре.

Сказать дьяку, чтоб все это замаял, что никакого полоняника не допрашивали, уничтожить самые «распросные речи», а его самого сослать в такое место, куда ворон костей не занасивал?

Да, сослать, «распросные речи» сжечь, дьяку рот запечатать. Он, Афанасий Ордин-Нащокин, все это может сделать — он силен в московском государстве, он правая рука царя...

К вечеру Ордин-Нащокин слег — он не выдержал страшного душевного потрясения.

В горячечном бреде он шептал: «Как я покажусь на глаза великому государю!.. Он скажет мне: Афанасий, твой сын — вор!..»

XI. «ВОЗЬМИ ОДР СВОЙ И ХОДИ...»

Между тем наверху, у царя, вот что происходило. Алексею Михайловичу в тот же вечер успели доложить, что сынок Афанасия Лаврентьевича не убит и не пропал без вести, а проявился за морем, во граде Венеции; что там он гуляет в

немецком платье, «пьет богомерзкую табакку» и играет в зернь; что словами своими бесчестит московское государство и его, великого государя; что он вывез с собою за море столько денег, что швыряет ими направо и налево и выкупает с каторги полоняников; что, наконец, собирается в Рим, к папе, чтоб перейти там в папину веру, а свою православную веру ногами потоптать. Говорили намеками, что Афанасьевы новшества к добру не приведут.

Вообще, все это говорилось осторожно, с оглядкой — неровен-де час.

Алексей Михайлович слушал все эти подходы, но своего мнения не высказал, хотя и выразил сожаление об отце, обманувшемся в любимом сыне.

Его только одно удивляло — почему сам Афанасий не явился к нему, чтоб лично доложить обо всем, что он узнал.

Потому на другой день, рано утром, государь приказал позвать к себе Ордина-Нащокина. Посланный воротился и доложил следующее: Афанасий Лаврентьевич так убит, что опасно занемог и не может головы поднять с подушки; что всю ночь он метался и в бреду все повторял: как он теперь явится великому государю на очи. Боятся, как бы старик со стыда и горя, когда придет в себя, рук на себя не наложил.

Это известие так встревожило государя, что он тотчас же пошел на половину царицы, чтоб посоветоваться. В таких делах женский ум может иногда скорее разобраться, чем мужской: в деле Нащокина затрагивалась область семьи, область сердца а тут женщина — дальновиднее мужчины и найдет разгадку там, где мужчина, может быть, и искать не будет. Он же так любил Афанасия, что ему страшно было потерять его.

У царицы он застал свою любимицу — Софьюшку. Юная царица все носилась с своим «Лусидариусом». Он ей просто спать не давал — так эта книга волновала ее воображение. Теперь ей не давал спать вопрос о том, где, собственно, находится рай на земле, а что он был на земле — из «Лусидариуса» это ясно как день.

— Как же, мама, — горячилась она, — тут именно глаголет «Лусидариус», что первая часть мира есть Азия, в ней же восходит солнце, от рая же исходит источник един, из того источника текут четыре реки: едина нарицается Виссон; егда же изыдет из рая, тогда именуется Гангия... Ну, видишь, мамочка, на земле рай.

— Кажись бы, на земле, — неуверенно отвечала Марья Ильишна.

— Так, мамочка, — продолжала Софья, — ну, слушай: «Вторая река Гедеон; егда же изыдет из рая, нарицается Нил; третья Тигр, четвертая Ефрат».

— Так, так, милая, — задумчиво соглашалась царица.

— Как же, мамочка, в рай попасть? Можно? — приставала неугомонная девочка.

— Нет, нельзя, милая: вить Бог Адама и Еву изгнал из раю.

— Так что ж, мама! Он согрешил — яблочко съел, а мы не ели.

Царица невольно рассмеялась.

— Дурочка еще ты — вот что.

— Нет, мама, а ты слушай, — настаивала Софья, — тут пишется, что до рая человеку сущу во плоти дойти невозможно...

— Видишь? — перебила ее Марья Ильишна.

— Нет, а ты слушай: понеже, говорит, «облежат рай великие горы и чащи лесные; подле оных лесов великие поля, широты и долготы презельные, и на тех полях много превеликих драконов и иных лесных зверей; потом начнется ближе всех к тем местам край земли — Индия земля и великая река Индус, яже течет из горы Кауказосы и течет в Чермное море. В тое землю трудно дойти человеку, понеже на единой половине в Вендейское море течет река превеликая Индус, и прилежит ко границе великое море, яко невозможно по нем прейти в четыре лета...» Так как же, мамочка, — волновалась Софья, — коли невозможно в четыре лета перейти сие поле, то в пять можно? Говори же, мама, можно?

— За этим горячим разговором застал их Алексей Михайлович.

— Чего Софья-ту из себя выходит? — спросил царь.

— Да все вот рай хочет найти, — улыбулась государыня.

— Рай? — обратился Алексей Михайлович к дочери. — Уж и ты не хочешь ли по Воиновым следам идти?

— По каким Воиновым следам, батюшка царь? — удивилась Софья.

— А сынка Афанасьева Ордина-Нащокина.

— А что, батюшка? — встрепенулась царица.

Она знала, что Воин пропал без вести. Она знала этого Воина, красивого молодца, часто его видела и во дворце, и в церкви, и была к нему, по-своему, конечно, по-детски, очень равнодушна. А потому она очень покраснела, когда отец упомянул его имя.

— Что ж Воин? — не глядя на отца, переспросила она. — Вить его давно нет на свете.

— Нет, дочушка, здравствует, и так же, как ты вот, дорогу в рай отыскивает, — серьезно отвечал Алексей Михайлович.

И царица, и царевна посмотрели на него в недоумении.

— Ты шутишь, государь? — спросила первая.

— Не до шуток мне, матушка-царица, — грустно отвечал царь. — Я пришел к тебе об этом именно и посоветоваться. Воин отыскался, жив и невредим.

— Ах, батюшка! — невольно воскликнула Софья.

— Подлинно говорю жив, — продолжал Алексей Михайлович, — и ноне во граде Венецее обретается. Отай ушел он из московского государства, беженцем, как блудный сын, и своим воровством отца убил: Афанасий, узнав про воровство сынка, зело занемог. Да и каково отцу, и то надо сказать. Всю ночь ноне, говорят, Афанасий-ту огнем горел и метался: как я, говорит, теперь великому государю на очи покажусь? Смерти бедный старик просит.

— Ах он, горемычный! — соболезновала царица.

— И мне его жаль, ах как жаль! — повторял Алексей Михайлович. — А как поправить дело? Что делать — я и ума не приложу.

Царица задумалась. Все молчали. Софья тихо ласкалась к отцу и вопросительно глядела в его задумчивые глаза.

— Как ни как, а старика надоть пожалеть, — сказала Марья Ильишна, — верный старик, царства твоего и твоего государского покоя рачитель — его побережь надоть, утешить.

— И я так думаю, Маша, — согласился «тишайший».

— А с сынком — расправа после, — пояснила царица.

— А что Воину будет, батюшка? — тревожно спрашивала отца Софья.

Она была девочка умная, всегда любила быть с большими, и потому она многое знала, что говорилось и делалось при дворе: оттого, может быть, она и вышла из роду вон — стала небывалым явлением среди женщин XVII века.

Алексей Михайлович не отвечал на ее вопрос, а только погладил ее головку.

— Ты права, Маша, — повторил он, — утешим старика, и понеже, ни мало не помедля: я напишу ему сам, успокою его. А то долго ли до греха! Помрет старик с печали и со страху. Пойду напишу.

И Алексей Михайлович поспешил к себе.

— Вон оно, дочка, что значит рай-ту искать, — сказала Марья Ильишна.

— А разве, мама, он рай искал? — встрепенулась Софья.

— Вестимо. Тесно, вишь, и душно ему стало в московском государстве: пойду-де и я поищу, где солнце встает и где оно заходит. Ишь, новый Иван-царевич выискался — поехал жар-птицу искать да молодежавые яблоки! Живой-ту воды не нашел, а мертвой-от водицы родителю прислал. Утешил старика!

— А что ему за это будет, мама? — робко спросила Софья.

— Ну, не похвалит за это государь.

— Казнить велит?

— Не знаю; а только не похвалит.

— Его, мама, привезут из Венеции?

Софья что-то вспомнила и бросилась к своей излюбленной книге — к «Лусидариусу». Она торопливо перевернула несколько страниц и остановилась.

— Так вон он где теперь, Воин, в Венеции, — сказала она, что-то соображая; потом прочла: «Там Венеция, юже созда царь Упутус, оттоле вышла река Рын, и течет по французской земле...» Ах, мама, куда он зашел! Вот молодец!

— Смотри, как бы этому молодцу не пришлось отвесть этой Венеции в Москве, — заметила царица.

Но Алексей Михайлович оказался добрее, чем думала Марья Ильишна.

Когда Ордин-Нащокин, после мучительно проведенной ночи и тревожного утра, к полудню забылся сном, ему принесли от царя письмо.

Сон несколько подкрепил несчастного старика. Открыв глаза, он увидел перед собою улыбающееся лицо Симеона Полоцкого.

— Великий государь тебе милость прислал, Афанасий Лаврентьевич, — сказал он с южнорусским акцентом, — бальзам на раны.

— Какую милость? — испуганно спросил Нащокин.

— Говорю: бальзам на раны, — повторил вкрадчиво хол, — возьми одр твой и ходи; прочти сие.

Он подал ему письмо Алексея Михайловича.

Руки Нащокина дрожали, когда он распечатывал его; но когда стал читать, слезы умиления полились у него из глаз: царь утешал его, просил не предаваться отчаянию, оправдывал даже его преступного сына.

Нащокин не мог дольше сдерживать себя: он вслух, восторженно прочел окончание царского письма:

— «Твой сын — человек молодой, — читал он, глотая слезы, — хочет создание Владычне и руку его видеть на сем свете, якоже и птица летает семо и овамо, и, полетав довольно, паки к гнезду своему прилетит. Так и сын твой вспомянет гнездо свое телесное, наипаче же душевное привязание ко святой купели и к тебе скоро возвратится».

Нащокин с благоговением целовал послание царя, целовал и плакал.

— Возьми одр твой и ходи, — повторял Симеон Полоцкий.

ХII. СЛЕПЦЫ ВОЖАТЫЕ

Во все время, пока продолжались переговоры русских, или вернее — московских послов с польскими комиссарами о мире, военные действия не прекращались ни с той, ни с другой стороны но; только, если можно так выразиться, боевая линия с весны 1665 года передвинулась гораздо южнее. Война шла почти исключительно, можно сказать, в пределах правобережной Украины, к западу и югу от Киева.

В то время правобережная Украина совершенно отпала от Малороссии и имела своих гетманов, польских или турецких ставленников, как Юрий Хмельницкий, Тетеря и другие. Вся же левобережная Украина и Запорожье находились под главенством гетмана Брюховецкого, посланцев которого мы уже видели в Москве, весною 1664 года, на аудиенции у Алексея Михайловича в столовой избе, где мы в первый раз увидели и Воина Ордина-Нащокина.

Весною 1665 года Брюховецкий с несколькими украинскими полками и великорусскими ратными людьми перешел на правую сторону Днепра. С польской же стороны против него шел знаменитый польский полководец Чарнецкий с не менее знаменитым коронным хорунжим Яном Собеским, впоследствии королем Речи Посполитой, с Махновским, с гетманом Тетерею и другими.

Чарнецкий двигался по направлению к Суботову, некогда бывшему владению Богдана Хмельницкого, где когда-то этот последний держал у себя в плену этого самого Чарнецкого, посла поляков при Желтых Водах.

Брюховецкий же в это время стоял ниже Чигирина, у Бужина, где тогда находился и запорожский кошевой Серко с своими казаками.

Весенний день близился к вечеру, когда один из передовых отрядов польского войска, среди пересекающихся лесных дорожек, троп и болот, как казалось его предводителю, сбился с пути. В это время на одной из боковых троп, из-за болота, показалось трое путников. Это были бродячие нищие, слепцы, которых там называют «старцами» и которые, как великорусские «калики перехожие», бродят по ярмаркам и распевают духовные стихи, думы, а иногда и сатирические песни, по желанию слушателей. Иногда они поют и под звуки лиры, кобзы или бандуры, почему и называются то лирниками, то кобзарями, то бандуристами.

Завидев слепцов, польские жолнеры остановили их. Двое из них были слепые — один старик, другой помоложе, а третий — мальчик, их «поводатырь» или «мехоноша». У всех у них было в руках по длинному посоху, а за плечами крест-на-крест висели сумы для подаяний.

— Вы здешние, хлопы? — спросил их усатый шляхтич со шрамом на щеке.

— Тутошни, панове, — отвечал старший слепец.

— А дорогу до Суботова хорошо знаете? — спрашивал дальше шляхтич.

— Как же не знать, панове, — отвечал младший, — вы сами, бувайти здорови, ведаете, что жебрака, как и волка, ноги кормят: как волк знает в лесу все дорожки, так и слепцы-жебраки.

Некоторые жолнеры рассмеялись.

— И точно волки, а малец совсем волчонком смотрит. Ты чей.

— Ничей, — бойко отвечал мальчик.

— Как ничей? — удивился шляхтич.

— Ничей, пане: моего батька татары зарезали, а мать в полон увели.

— А это за то, что вы против панов все бунтуете.

— Мы не бунтуем, пане.

— Ладно! Так показывайте нам дорогу до Суботова. А сегодня мы туда дойдем?

— Не скажу, — отвечал старший.

— Как не скажешь, пся крэв! — вспыхнул шляхтич.

— Не скажем, — повторили оба слепца.

Шляхтич замахнулся было палашом, чтоб ударить того или другого за дерзкий ответ, как его почтительно остановил один из городовых казаков, родом украинец.

— Они, ваш-мость, не хотят сказать, а не знают, — сказал он, — это такая холопская речь: когда они чего не знают, то говорят — «не скажу».

— Так-так, паньство, — подтвердил старший слепец, — уж такая у нас, у хлопов, речь поганая. А сдается мне, панове, что сегодня вы не дойдете до Суботова — далекомько еще.

— Так марш вперед! — скомандовал шляхтич.

Скучившиеся было около слепцов жолнеры расступились, и отряд двинулся. Где-то позади какой-то хриплый голос затынул:

«Wyszła dziewezyna wyszła iedyna,
Jak różowy kwiat»,

и тотчас же оборвался. Слышны были шутки, перебранки, смех.

— А пусть жебраки запоют какую-нибудь думу — все будет веселей идти, — предложил городской казак с огромной серьгой в ухе.

— И то правда! Пусть затынут свою холопскую думу, — согласились другие. — Эй, вы, слепаки! Затыните-ка думу, да хорошую!

— Какую ж вам, панове, — отвечал старший слепец, не оглядываясь, но ощупывая посохом путь.

— Какую знаете, — был ответ.

Слепцы тихонько посоветовались между собою, и младший из них, вынув из-под полы своей ободранной «свитины» бандуру, стал ее налаживать и тихо перебирать пальцами струны. Скоро он затынул одну из любимейших для каждого украинца думу — «Невольницкий плач», — думу, содержание и мелодия которой хватали за душу каждого, потому что в то время чуть ли не из каждой украинской семьи кто-либо томился в крымской или в турецкой неволе. Скоро и второй голос присоединился к первому, и оба голоса, равно как и мелодия думы, буквально рыдали.

Дума говорила о том, что не ясный сокол плачет-выкрикивает, а то сын к отцу-матери из тяжелой неволи в города христианские поклон посылает, ясного сокола родным братом называет: «Сокол ясный, брат мой родненький! Ты высоко летаешь, ты далеко видишь, отчего ты у моего отца и матери никогда в гостях не побываешь? Полети ты, сокол ясный, брат мой родненький, в города христианские, сядь-упади у моего отца и матери перед воротами, жалобно прокричи, про мою казацкую участь припомни. Пусть отец и матушка мою участь казацкую узнают, свое добро-имущество с рук сбывают, богатую казну собирают, головоньку мою казацкую из

тяжкой неволи вызволяют! Потому что как станет Черное море выгравать, так не будут знать ни отец, ни матушка, в которой каторге меня искать — в пристани ли Козловской, или в Цареграде на базаре. А тут разбойники, турки-янычары, станут на нас, невольников, набегать, за Красное море в Арабскую землю продавать, будут за нас серебро-злато, не считая, и сукна дорогие поставами, не меряя, без счету брать...»

Воодушевление певцов росло все больше и больше. Слушателям, особливо же из городских казаков, которые все были чистейшие украинцы, казалось, что это поют и плачут сами невольники, измученные, ослепленные мучителями-янычарами, что действительно они обращаются к соколу, к ясному солнцу, к небесному своду. Все толпились поближе к певцам и слушали — слушали, затаив дыхание или же украдкой смахивая со щеки предательскую слезу. А они, поднимая свои слепые глаза к небу, пели все с большим и большим воодушевлением. Самая бандура, совсем не хитрый инструмент, и та, казалось, рыдала — и у нее дух захватывало от рыданий.

Потом бандура и голоса певцов как-то обрывались, и этот перерыв еще больше томил душу слушателя: казалось, он ждал, что же будет дальше в этом безбрежном море печали.

А бандура опять тренькала, сначала один голос, потом другой, — и снова раздавался невольничий плач и проклятие:

«Будь ты проклята, земля турецкая, вера бусурманская! Ты наполнена серебром-златом и дорогими напитками, только бедному невольнику на свете не вольно: ни Рождества Христова, ни Светлого Воскресенья бедные невольники не знают, все в проклятой неволе, на турецкой каторге, на Черном море изнывают, землю турецкую, веру бусурманскую проклинают: ты, земля турецкая, ты, вера бусурманская, ты, разлука христианская, не одного ты разлучила за семь лет войною — мужа с женою, брата с сестрою, детей маленьких с отцом и матерью! Высвободи, Боже, бедного невольника на святорусский берег, на край веселый, меж народ крещеный!»

— Поганая песня! Самая холопская! — послышалось среди жолнеров.

— Спойте другую, а то мы уснем. Пойте веселую!

— Вот что, люди божьи, — спойте им про казака, что штаны латает, либо про Пазину! — со смехом отозвался городской казак с огромной серьгой в ухе.

И вдруг неожиданно старый слепец, повернувшись лицом к жолнерам и взяв бандуру у товарища, быстро забренчал и, семеня ногами, запел:

— Кто попа й попадью,
А я Пазину люблю,
Люблю день и в ночи,
Ясне свитло гасючи.
На Пазини корали —
Сто золотых давали.
А ни батько купив,
А ни мати дала:
Сама добра була —
С казаками добула;
Здобула, здобула —
Бо хороша була!

— Ай да дед! Виват! Виват! — кричали жолнеры.

А слепец, серьезно отплясав, снова повернулся и зашагал, ощупывая посохом дорогу.

— Еще веселой! Еще, старче Божий! — не унимались жолнеры.

Старик опять повернулся к ним лицом, повел слепыми очами, в которых видны были только белки, взял у товарища бандуру и, перебирая по струнам пальцами, залихватски затренькал и стал выделывать ногами невообразимые выкрутасы, приговаривая:

— Баба рака купила,
Три полушки дала,
Тричи юшку варила —
Добра юшка була!

Снова взрыв хохота и одобрительные возгласы.

— Да эти хлопы хоть куда! Превеселый народ! Еще говорят, что под польскою властью им не хорошо живется: если б в самом деле было не хорошо, то не выдумывали бы таких песен.

Между тем начинало темнеть. Пора было и привал делать.

— Эй, слепяки! — крикнул шляхтич со шрамом на щеке. — Далеко еще до Суботова?

— Далеконько, пане, — был ответ.

— Засветло не дойдем.

— Где дойти, пане, не дойдем.

— Так делать привал! — скомандовал шляхтич.

Приказ начальника облетел весь отряд. Задние ряды также остановились. Надвигались задние отряды и располагались у опушки густого леса.

Скоро по всей равнине запылали костры. Слышался смешанный гул голосов, ржание коней, хлопанье бичей. У одного из крайних к лесу костров расположились и слепцы, сняв с

себя сумки, и слышно было, как тихо тренькала бандура и так же тихо, монотонно, раздавался голос младшего слепца, который пел:

— Летит орел проти сонця,
Эгорда позирае:
Хто не знае коханячка,
Той счастья не знае.
Плыве козак через море,
В мори потопае:
Хто не знае коханячка —
Той журбы не знае.

Скоро весь польский стан, утомленный продолжительным переходом, спал крепким сном. Скоро и костры потухли.

XIII. ВМЕСТО КАРАСЯ — ЦУКА

Ночь была тихая, теплая, но темная. В такие ночи особенно ярко горят звезды.

Тихо было и в стане. Слышно было, как иногда фыркали лошади, позвякивая путами, но и те, кажется, послули. Не спал только соловей, задорно щелкавший в соседней чаще, да иногда из этой чащи доносился глухой стон «пугача» — филина.

Как ни была темна ночь, но при слабом мерцании звезд хороший глаз мог различить на белом фоне разбитой у опушки леса палатки человеческую тень, которая медленно шевелилась, то нагибаясь к земле, то поднимаясь. Всматриваясь пристальнее, можно было заметить, что от одного из потухших костров, именно от того, около которого расположились на ночлег слепые нищие, тихо отделились две человеческие фигуры и так же тихо поползли по направлению к той палатке, на белом фоне которой шевелилась человеческая тень.

Когда те две тени, которые отделились от костра, неслышно подползли ближе к палатке, то по движениям той одинокой тени они могли различить, что эта одинокая тень молится.

Две тени все ближе и ближе подползают к палатке.

Вдруг эти тени моментально накрывают собою молящуюся тень, наклонившуюся к земле. Произошло какое-то движение, борьба; но ни звука.

Так же беззвучно эти тени понесли что-то в кусты и исчезли в чаще леса. Около палатки одинокой тени уже не было.

В стане опять тихо — ни звука, ни движения. В чаще между двумя трелями соловья глухо простонал филин. Ему ответил, ближе к стану, такой же стон ночной птицы.

Но не ночная птица стонала это. Крик филина раздался из горла одной из человеческих теней, пробиравшихся в глубину лесной чащи и тащивших ту одинокую тень, которая молилась у палатки.

— Не крутись, ляше, не выпустим, — шепотом сказала одна тень, и в этом шепоте можно было узнать голос того слепого нищего, который недавно пел у костра:

«Хто не знае коханячка —
Той счастья не знае».

— Не бойся, ляше, мы тебе ничего не сделаем, — говорил шепотом другой голос — голос другого слепца, — а пуще всего не вздумай кричать — так и всажу меж ребер вот этот нож по самый черенок.

Тот, к кому относились эти слова, силился что-то сказать, но не мог, — у него во рту был кляп.

— Ну, теперь его можно и на ноги поставить, — сказал старший нищий, мнимый слепец, — ну, ляше, иди с нами, а то тебя важно нести.

— Ну-ну, ляшеньку, вставай... держись... мы люди добрые.

Они опустили ношу на землю. Тот встал и набожно перекрестился.

— А! Да лях, кажись, по нашему крестится, — заметил один нищий, — а ну, ляше, перекрестись.

Пленник перекрестился.

— Вот чудо! А побожись, перекрестись, поклянись, что не будешь кричать, и мы у тебя кляп вынем изо рта. Ну!

Пленник повиновался и перекрестился три раза.

Стон филина послышался ближе. Ему отвечал один из нищих таким же стоном.

— Ну, вот теперь ты и без кляпа, ляше.

Пленному освободили рот от затычки.

— Ну, теперь здравствуй, ляше, ваш-мосць! Мам гонор, — шуточно заговорил старший нищий, — сказывай, пан, кто ты?

— Я не поляк, я — русский из московского государства, — отвечал пленный чистою московскою речью.

Те были ошеломлены этой неожиданностью.

— Как! Ты не лях? Оттакá ловись!

— Вот поймали щуку замесь карася! Как же ты попал к ляхам?

— Меня польские жолнеры взяли в полон, когда я из Мультианской земли, от волох, пробирался в Черкасскую зем-

лю, в Киев-град, к святым угодникам печерским, — отвечал пленник.

— Те-те-те, вот подсидели райскую птицу!

— Как же ты, человеце, попал к волохам? — спросил старший нищий.

— По грехам моим... Так Богу угодно было, — уклончиво отвечал пленник.

— Э, да ты, человеце, я вижу, не разговорчив: думаю, что с нашим батьком ты скорей разговоришься.

Они продолжали двигаться лесною тропой. Начинало светать, когда перед ними открылась небольшая полянка среди чащи леса.

— Пугу! Пугу! — раздался вдруг крик филина; но это выкрикнул не филин, а старший нищий.

— Пугу! Пугу! — послышался ответ с полянки.

— Казаки с лугу! — сказали оба нищие.

На этот возглас послышалось тихое, радостное ржание коней.

— Здоровы бывали, хлопцы! С добычею! А какую птицу поймали?

Это говорил показавшийся на полянке запорожец в высокой смушковой шапке с красным верхом, в широких синих штанах и с пистолетами и кинжалами за поясом. С боку у него болталась длинная кривая сабля. Тут же оказался и мальчик «поводатырь» с бандурою в руках и с мешком за плечами.

— И ты уж тут, вражий сын? — заметил ему старший нищий.

— Тут, дядьку, — улыбнулся мальчик.

Это уже были не слепцы, жалкие и согбенные, а молодцы с блестящими глазами, хотя и в нищенском одеянии, ободранные и перепачканные.

Тот, кого они привели с собой, оказался богато одетым молодым человеком, но не в польском, а в немецком платье.

Запорожцы — это оказались они — с удивлением глядели на своего пленника. Они, по-видимому, не того искали.

— Так ты не лях? — снова спросили его.

— Я уж вам сказал, что я из московского государства, — был ответ.

— А в польском войске давно?

— Недели три будет.

— А кто ведет войско — не Ян Собеский?

— Нет, сам Чарнецкий, а с ним и Собеский, и Махновский с гетманом Тетерею и татарами.

— Тетеря, собачий сын! Совсем обляхился! — с сердцем произнес старший запорожец-«нищий». — Попадется он нам в руки, лядский попыхач! А теперь они идут к Суботову?

— К Суботову, а после, сказывали, Чигирин добывать будут, а добывши Чигирина, хотят перепуститься за Днепр.

— За Днепр! Как бы не так! Мы им зальем за шкуру сала.

— А сколько у них войска и всякой потребы? — спросил другой запорожец, что был при лошадях.

— Силы не маленькие, — отвечал пленник, — а сколько числом — того не ведаю.

Запорожцы стали собираться в путь. Мнимые нищие сняли с себя лохмотья и надели казацкое одеяние, которое вместе с оружием и «ратищами» — длинными пиками — спрятано было в кустах. Тотчас же были и кони оседланы.

— Так скажи же теперь нам, человеце, как тебя зовут? — спросил старший запорожец. — Надо ж тебя по имени величать.

— Зовут меня Воином, — отвечал пленник.

— Воин! Вот чудное имя! — удивились запорожцы.

— Вот имечко дали эти москали! Чудной народ! Мы знаем в святцах только одного Ивана Воина. А по батюшке как тебя звать?

— Мой батюшка Афанасий.

— А прозвище?

— Ордин-Нащокин.

— Не слыхали такого. Ну, да все равно: батько кошевой, может, и знает. Ну, теперь на-конь, братцы. Да только вот что, Остапе, — обратился старший запорожец к тому, который оставался при лошадях, — мы, брат, этого воина несли на руках, а ты его повези теперь на коне, потому — у нас четвертого коня не припасено для него.

— Добре, — отвечал тот, — пускай хлопцы подумают, что я везу бранку — красавицу ляшку. Ну, брат Воин, взбирайся на моего коня, да садись позади седла и держись руками за мой черес.

Воин сделал, что ему велели. Перед ним на седле поместился Остап.

— Что, ловко сидеть? Не упадешь? — спросил он пленника.

— Не упаду.

Мальчик «поводатырь» снял свой смятый «бриль» и стал прощатся с запорожцами.

— А, вражий сын! — улыбнулся старший запорожец. — На же тебе золотого.

И он подал мальчику монету. Получив награду, мальчуган, словно лесной мышонок, юркнул в чащу и исчез. Запорожцы двинулись в путь.

XIV. «ОПЯТЬ СОЛОВЬИ!..»

К вечеру этого же дня наши запорожцы вместе с пленником прибыли к войску гетмана, которое расположилось станом у Бужина. В таборе уже пылали костры — то украинские казаки, запорожцы и московские ратные люди варили себе вечернюю кашу.

Завидев приближающихся всадников, запорожцы узнали в них своих товарищей и уже издали махали им шапками.

— Э! Да они везут кого-то: верно, языка захватили.

— Вот так молодцы! У бабы пазуху скрадут, как пить дадут — и не услышит.

Те подъехали ближе и стали здороваться.

— Что, паны-братцы, языка везете? — спрашивали их.

— Языка-то языка, да только язык уж очень мудреный, — был ответ.

— А что, не говорит, собачий сын? Перцу ждет?

— Нет, язык-то у него московский, а не лядский.

— Так не тот черевик баба надела?

— Нет, тот, да уж очень дорогой, кажется.

Все окружили приехавших и с удивлением рассматривали пленника в немецком платье.

Вдруг раздались голоса:

— Старшина едет, братцы! Старшина! Вон и пан гетман и батько кошевой сюда едут.

Действительно, вдоль табора ехала группа всадников, приближаясь к тому месту, где остановились наши запорожцы с пленником. Последние сошли с коней в ожидании гетмана и кошевого. Те подъехали и заметили новоприбывших.

— С чем, братцы, прибыли? — спросил Брюховецкий, остановив коня.

— Языка, ясновельможный пане гетмане, у Чарнецкого скрали, — отвечал старший запорожец.

— Спасибо, молодцы! — улыбнулся гетман.

— Да только, ваша ясновельможность, человек он сомнительный, — пояснил запорожец, — говорит, что он из московского государства, а через волохов простовал до Киева.

Брюховецкий пристально посмотрел на молодого человека. Благородная наружность пленника, красивые черты лица, нежные, незагрубелые руки, кроткий, задумчивый взгляд, в котором сквозила затаенная грусть, — все это разом бросилось в глаза гетману и возбудило его любопытство.

— Ты кто будешь и откуда? — ласково спросил он молодого человека.

— Ясновельможный гетман! — с дрожью в голосе отвечал казацкий пленник. — Я сын думного дворянина московского, Афанасия Лаврентьевича Ордина-Нащокина.

Гетман выразил на своем лице глубочайшее удивление.

— Ты сын Ордина-Нащокина, любимца его царского пресветлого величества! — воскликнул он.

— Истину говорю, ясновельможный гетман, я сын его, Воин.

— Но как же ты находился в польском стане?

— Я возвращался из Рима и Венеции через Мультянскую землю. Я не хотел возвращаться через Варшаву, опасаясь того, что случилось: в Волощине я узнал, что войска твоей ясновельможности и его царского пресветлого величества привернули в покорность московскому государю все города сей половины Малой России, бывшие под короною польскою, и я Подольскою землею направился сюда, — намерение мое было достигнуть Киева; но, к моему несчастью, я попал в руки польских жолнеров и стал пленником Чарнецкого. Не ведаю, ясновельможный гетман, как сие совершилось, но Богу угодно было, чтобы нынешнею ночью меня выкрали из польского стана, и я благодарю моего Создателя, что он привел видеть мне особу твоей ясновельможности.

Гетман внимательно слушал его, и задумался.

— А какую видимость ты подкрепишь показание свое, что ты несомнительно сын Ордина-Нащокина? — спросил он. — Есть у тебя наказ, память из приказа?

— Нет, ясновельможный гетман...

Молодой человек остановился и не знал, что сказать далее.

— Как же нам верить твоим речам? — продолжал гетман. — Тебя здесь никто не знает.

— Ясновельможный гетман! — быстро заговорил вдруг пленник. — Есть ли здесь у тебя в войске твои посланцы, которых в прошлом, в 1643 году, я видел в Москве, в столовой избе, на отпуске у великого государя, — то я узнаю их.

— А кто были именно мои посланцы? — спросил гетман.

— Герасим да Павел, ясновельможный гетман, — отвечал допрашиваемый.

Брюховецкий переглянулся с кошевым Серком.

— Разве и ты был тогда в столовой избе? — спросил он снова своего пленника.

— Да, ясновельможный гетман, был; меня великий государь тоже жаловал к руке.

— Жаловал к руке! Тебя! — удивился гетман.

— Меня, ясновельможный гетман, точно жаловал; великий государь посылал меня на рубеж к отцу, в Андрусово, с его государевым указом, в гонцах.

— Но как же ты очутился в Риме? — спросил Брюховецкий.

Вопрошаемый замялся. Гетман настойчиво повторил вопрос.

— Прости, ясновельможный гетман, — сказал молодой человек, — на твои о сем вопросные слова я не смею отвечать: на оные я отвечу токмо великому государю и моему родителю, когда буду на Москве.

Гетман не настаивал. Он думал, что тут кроется государственная тайна — дело его царского пресветлого величества.

Во время этого допроса вся казацкая старшина полукругом обступила гетмана. Он оглянулся и окинул всех быстрым взором. Среди войсковой старшины он заметил и своих бывших посланцев к царю Алексею Михайловичу — Герасима Яковенка, он же и Гараська-бугай, Павла Абраменка и Михайлу Брейка.

Он опять обратился к своему пленнику.

— Посмотри, — сказал он, — не опознаешь ли ты среди казацкой старшины кого-либо из тех моих посланцев, что ты видал в прошлом году на Москве, в столовой государевой избе?

Тот стал пристально всматриваться во всех. Взор его остановился на Брейке.

— Вот его милость был тогда в столовой избе и жалован к руке, — сказал он, указывая на Брейка.

— Правда, — подтвердил тот. — Як у око влєпив!

— Еще тогда его милость упал и великого государя на-смешил, — пояснил пленник.

— Ова! Про се б можно було й помовчати, — пробурчал великан, застыдившись, — кинь об четырех ногах, и то спотыкается.

В задних рядах послышался смех. Улыбнулись и Брюховецкий, и Серко.

Скоро опознан был и другой великан — Гараська-бугай. Опознан был и Павло Абраменко.

Убедившись в правдивости речей своего пленника и считая вполне достоверным, что молодой человек — действительно сын знаменитого царского любимца и, следовательно, сам по себе особа важная, гетман приказал Герасиму Яковенку провести его в гетманский шатер, а сам отправился дальше вдоль казацкого стана, чтобы сделать на ночь необходимые распоряжения.

Думал ли молодой Ордин-Нащокин, что из Рима и Венеции он попадет в казацкий стан и притом таким необычным способом?

Ему вдруг почему-то припомнилась последняя ночь, проведенная им в Москве, и тот вечер, когда, как и теперь, так громко заливался соловей. Впрочем, всякий раз теперь, когда он слышал пение соловья, этот роковой вечер вставал перед ним со всеми его мучительными подробностями — и томительной болью ныло его сердце. Тогда ему казалось, что девушка не достаточно любила его; но теперь?.. А если она нашла другого суженого? Ужели напрасно он выносил в течение года и более в душе своей тоску, как преступник цепи?

И вчера ночью, когда он в польском стане лежал в палатке Яна Собеского и не мог спать, и вчера так же пел соловей, напоминая ему мучительный, последний вечер пребывания его в Москве. Душа его жаждала молитвы — и он молился, по временам обращая молитвенный взор к далеким звездам, мерцавшим на темном небе, — и вдруг его схватили...

Не божественный ли это Промысл, ведущий его к спасению, к счастью?

Он так был поглощен своими мыслями и так взволнован, что почти не слышал, что говорил ему его спутник, как он вспоминал о своем пребывании в Москве в качестве гетманского посланца, как на прощание царь жаловал их к руке и как упал Брейко.

— Только ж и ночи у вас на Москве! — удивлялся запорожец. — Хоть иголки собирай... А все ж таки и у вас соловьи поют, хоть им, должно быть, и холодненько в вашей стороне...

«Опять соловьи!..»

XV. ПОРУГАНИЕ НАД ПРАХОМ ХМЕЛЬНИЦКОГО

Когда утром в этот день проснулись в польском лагере, то всех поразило исчезновение слепых нищих с поводатырем и — что уже совсем неразгаданно — исчезновение вместе с ними молодого московского дворянина.

Тут только поляки догадались, что под личиною слепцов скрывались казацкие лазутчики, а почему вместе с ними исчез и московский дворянин — это для них так и осталось тайной. Предполагали, что между лазутчиками и молодым москалем существовал таинственный сговор; но где и когда он состоялся? Почему москаль узнал, что то были лазутчики? Значит, и то неправда, что он говорил о себе, о возвращении будто бы из Рима, из Венеции. Несомненно, что и он был подослан или казаками, или москалями.

Ввиду всего этого Чарнецкий строго-настрого приказал усилить в войске предосторожности и рассылал во все стороны разведчиков — нет ли поблизости проклятых запорожцев или даже самого гетмана с войском.

Как бы то ни было, но поляки в этот день достигли Суботова.

Весь этот день, вследствие ли тревог, всегда неизбежных в военное время, вследствие ли просто физических причин, но Чарнецкому весь этот день было не по себе. Он часто задумывался, машинально водя рукою по своим длинным седым усам, отдавал приказания и снова их отменял, а когда показалось Суботово и он увидел суботовскую церковь, где, как он знал, был похоронен Богдан Хмельницкий, странная улыбка прозвенела под его седыми усами, а изрезанное морщинами лицо мгновенно покрылось краскою. Это была краска стыда и негодования. Он вспомнил, как когда-то в этом Суботове он, гордая отрасль древнего рода, всегда претендовавшего на корону польскую, он, Стефан Чарнецкий, был пленником у хлопа, у Хмельницкого! Лицо Чарнецкого побагровело. Рана на щеке, которую когда-то пробила насквозь холопская стрела, во время штурма Монастырища, теперь налилась кровью.

— Я отомщу тебе, быдло! — бормотал он. — Отомщу, хотя тебя и похоронили с царскими почестями. Все это твое дело: ты посеял эти драконовы зубы — они теперь выросли в людей, в разбойников... Но я выбью эти проклятые зубы!

Суботово было занято без сопротивления, так как в нем не оставалось ни одного казацкого отряда. Прежде чем двинуться к Чигирину, Чарнецкий, доведавшись, в каком направлении удалились вчерашние мнимые слепцы, отрядил по этому направлению часть своего войска под начальством Незабитовского и Тетери и приказал им искать Серка с запорожцами, а если Серко соединился с Брюховецким, то не допускать до Чигирина ни того, ни другого; сам же остался ночевать в Суботове.

Чарнецкий приказал разбить свой шатер на холме, откуда виден был весь его лагерь и откуда он мог созерцать Суботово, с которым у него соединялись такие обидные воспоминания. Теперь он смотрел на это местечко, бывшее когда-то гнездом унизившего его врага, с чувством глубокого удовлетворения: он мог превратить его в развалины, в мусор, и разметать этот мусор по полю. При закате солнца он долго сидел у своего шатра, и перед ним проносились воспоминания его бурной, полной тревог жизни. Вся жизнь — на коне, в поле, под свистом пуль и татарских стрел. Постоянно кругом смерть, похороны, стоны. Но он свикся с этим — в этом вся его жизнь. Но где же его личное счастье — не счастье и гордость побед, не слава полководца, а счастье разделенного чувства? Кажется, его и не было.

Нет, было, было! Но так кратковременно... Этот высокий замок во мраке ночи, темный парк, мерцающие и отражающиеся в тихой, сонной реке звезды... Тут было это счастье — и такое мимолетное...

И вдруг налетает с войском этот бешеный вепрь, что теперь лежит под могильной плитой вон в той церкви! Замок в огне, замок разрушен, дорожки парка потоптаны конскими копытами. А та, чей шепот еще накануне сулил счастье, — лежит мертвая, как скошенная белая лилия.

Мрак все более и более надвигается на Суботово и на лагерь. В воздухе душно — быть грозе. Оттого ему и дышится так тяжело, и в душе теснятся одни мрачные воспоминания...

Ночь. Чарнецкий один в своем роскошном шатре. Тускло горят свечи в высоком канделябре. Сон не хочет или не смеет войти в этот шатер, точно он боится часовых, стоящих у входа в ставку старого полководца.

Чарнецкий встает и тушит свечи. Он ложится на походную кровать и прислушивается, как где-то вдали глухо раскатывается гром.

И опять перед ним разворачивается панорама пережитой жизни... Да, пережитой... Только перед смертью встают в душе подобные панорамы. И неудивительно — ему уже 66 лет!

Гроза все ближе и ближе. В порывах ветра слышится не то стон, не то плач...

Это она плачет... это замок горит... ветер бушует в деревьях парка. А он не может ее спасти... не может пробиться с горстью жолнеров сквозь густые ряды казацкого войска.

«Сидите, ляхи! Всех ваших духов, всех князей ваших загоно за Вислу! А будут кричать за Вислою, я их и там найду! Не оставлю ни одного князя, ни шляхтишка на Украине!..»

Это он, разъяренный вепрь, кричит — это Хмельницкий... Он врывается в палатку!..

Чарнецкий вскакивает... его душил кошмар... он слышал голос Хмельницкого... Нет, это удар грома разразился над самую его палаткою.

И мертвый — он не дает ему покоя...

Гроза бушует уже дальше — раскаты грома несутся туда, на восток.

«На восток и Польша понесет свои громы... Я понесу эти громы, — опять забываясь, грезит Чарнецкий, — а там и на север, в Московию полетят польские орлы... Сидите, москали! Молчите, москали!..»

Утром, окруженный своим штабом, Чарнецкий торжественно въезжает в Суботово. Он направляется прямо к церкви, где в то время только что кончилась обедня.

Народ начал было выходить из церкви, но, увидав приближение богато одетых всадников, остановился. Чарнецкий, сойдя с коня, направился прямо в церковь, а за ним и вся его свита. Старенький священник, служивший обедню, еще не успел разоблачиться, а потому, увидев входящих панов, вышел к ним навстречу с крестом.

— Проч, поп! — крикнул на него Чарнецкий. — Мы, не схизматики. Показывай, где могила Хмельницкого.

Перепуганный батюшка пошел к правому приделу.

— Здесь покоится тело раба божья Зиновия-Богдана, при жизни божьей милостью гетмана Украины, — робко выговорил он.

— Божией милостью, — злобно улыбнулся гордый лях, — много чести.

Он подошел к гранитной плите и ткнул ее ногою.

— Поднять плиту! — громко сказал он.

Священник еще больше растерялся и испуганными глазами уставился на страшного гостя.

Чарнецкий обернулся к стоявшему в недоумении народу.

— Сейчас же принести ломы! — скомандовал он.

Бывшие в церкви некоторые из жолнеров бросились исполнять приказание своего вождя.

Ломы и топоры были скоро принесены. Плита была поднята. В темном каменном склепе виднелся массивный дубовый гроб. Свет, падавший сверху, освещал нижнюю его половину.

— Вынимайте гроб! — продолжал Чарнецкий.

— Ясновельможный, сиятельный князь, это святотатство! — с ужасом проговорил священник; крест дрожал у него в руках. — Пощади его кости, сиятельный...

— Молчать, поп! — крикнул на него обезумевший старик.

Жолнеры бросились в склеп, и гроб был вынут.

— Поднимите крышку!

Топорами отбили крышку — и в очи Чарнецкому глянуло истлевшее лицо мертвого врага. Чарнецкий долго глядел в это лицо. Оно уже в гробу обросло седою бородой. Черные брови, казалось, сердито насупились, но из-под них уже не глядели глаза, перед которыми трепетала когда-то Речь Посполитая. Только широкий белый лоб оставался еще грозным...

Чарнецкий все глядел на него...

«А, помнишь тот замок над рекою! Помнишь ту ночь! Помнишь ту белую лилию с распущенною косою, — лилию, которую убил один ужас твоего приближения!» — бушевало у него в душе.

«Сидите, ляхи! Молчите, ляхи!» — А ... не крикнешь уж больше!

Он все смотрел на него. Ему вспомнилась эта бурная ночь, удар грома...

Все стояли в оцепенении. У старого священника по лицу текли слезы. Он отпевал его, он хоронил этого богатыря Украины...

Чарнецкий, наконец, отвернулся от мертвеца. Лицо его было бледно, только шрам на щеке от раны, полученной при штурме Монастырища, оставался багровым.

— Вынести гроб из церкви и выбросить пададь собакам! — сказал он — и вышел из церкви.

За ним жолнеры несли гроб, окруженный свитою Чарнецкого, точно почетным караулом.

На лице Яна Собеского вспыхнуло негодование, но он смолчал...

Едва Чарнецкий вышел на крыльцо церкви, как к нему почтительно приблизился дежурный ротмистр его штаба с двумя пакетами в руке.

— Что такое? — спросил Чарнецкий.

— Гонец с Москвы, ваша ясновельможность! — отвечал ротмистр, подавая пакеты. — Листы от царя московского и от думного дворянина Афанасия Ордина-Нащокина.

Чарнецкий взял пакеты и вскрыл прежде письмо от царя Алексея Михайловича.

Странная улыбка скользнула по его лицу, когда он пробежал царское послание, и обернулся к Собескому.

— Это все насчет того вайделоты, что вчерашнею ночью пропал у нас без вести, — сказал он с видимою досадою.

— Молодого Ордина-Нащокина? — спросил Собеский.

— Да, пане. Царь шлет милостивое прощение.

— Прощение? — удивился Собеский. — В чем?

— Об этом не говорится в письме: пан может сам прочесть его.

И Чарнецкий подал царское послание будущему спасителю Вены и дома Габсбургов, а сам вскрыл послание Ордина-Нащокина.

— Та же песня, — с досадою произнес он, — а где мы найдем этого вайделоту, чтоб объявить ему царскую милость и отцовское прощение?

— Я думаю, — отвечал Собеский, — его надо искать в стане Брюховецкого или у этой собаки — у Серка.

— Так пусть пан ротмистр скажет царскому гонцу, чтоб он искал беглеца у Брюховецкого или у Серка, — сказал Чарнецкий дежурному, — а пан ротмистр прикажет списать копии с этих листов и вручить их гонцу с пропуском моим, — закончил он, передавая ротмистру оба письма.

Между тем за церковью, на площади, слышен был гул голосов, заглушаемый женскими воплями и причитаниями.

То выбрасывали из гроба останки Хмельницкого — «псам на поругание...»

XVI. ОНА УЗНАЛА ЕГО

В один из июльских вечеров, когда уже начинало темнеть, от Москвы по Девичьему полю ехал одинокий всадник по направлению к монастырю.

Судя по богато убранному коню и по одежде, всадник принадлежал к богатому или знатному роду. Низкое, плоское, с вызолоченными луками седло, обшитое зеленым сафьяном с золотыми узорами, лежало плотно на богатом малинового бархата чепраке с серебряною оторочкою, изпод которой виднелся голубого цвета «покровец» или попона, расшитая шелками и с вензелевым изображением на задних, удлиненных концах с серебряными кистями. Вензель состоял из трех серебряных букв: В. О. Н. Уздечка на лошади также отличалась красотой и богатством: «ухваты» и «оковы» на морде коня были серебряные с такими же

цепочками. Ожерелье на шее лошади унизано было серебряными же бляхами, узенькими поверх шеи и широкими снизу. Повыше копыт коня висели маленькие колокольчики, у самых щеток, и при движении издавали гармонический звон, который издавна москвичи называли «малиновым звоном». Сверх всего этого, сзади у седла приделаны были маленькие серебряные литавры, которые при ударе об них бичом звенели, заставляя лошадь бодриться, красиво изгибать шею и вообще играть.

На молодом всаднике был также богатый наряд: и ферязь, и охабень, и ожерелья — все блестело или золотом, или жемчугами.

По небу ходили сплошные тучи, но когда они раздвигались и из-за них выплывал на минуту полный месяц, то в молодом всаднике легко можно было узнать нашего бродягу — Воина Ордина-Нащокина.

Он опять в Москве. Но сколько горя, сколько душевных мук дало ему это возвращение на родину. Он узнал здесь, что та, от которой он в ослеплении безумной страсти бежал куда глаза глядят, бежал на край света, та, мыслью о которой он только и дышал эти полтора года, милый образ которой не отходил от него ни днем, ни ночью, о которой он думал, что она променяла его на другого, не захотев для него пожертвовать глупою девичьею славою, — он узнал здесь и сердцем понял, что она не вынесла разлуки с ним и навеки похоронила свою дивную красу, свое девство, прикрыв свое прелестное личико и свою роскошную девичью косу — черничьею ризой! Сердце его обливалось кровью, когда он думал об этом.

Об этом он думал и теперь. Он ехал туда, где она похоронила себя заживо.

«Все кончено», — ныло у него на сердце. И он с тоской прислушивался, хотя вовсе не хотел этого, как где-то недалеко чей-то хриплый голос, вероятно голос пьяного шатуна, напевал знакомую ему, любимую песню кабацких гуляк. Хриплый голос пел:

— Как рябина, как рябина кудрявая!
Как тебе, рябинушка, не стошнится,
Во сыром бору стоючи,
На болотину смотрячи!

Ему досадно было, что его чистые думы о ней, о том невозвратном прошлом, когда она давала ему свои горячие, хотя стыдливые ласки, что эти святые думы грязнятся этою пьяною песнею. А пьяная песня все терзала его слух и душу...

— Молодица ты, молодушка!
Молодица ты пригожая!
Как тебе не стошнится,
За худым мужем живучи,
На хорошего смотриючи,
На пригожего глядючи.

Он готов был свернуть с дороги и отодрать этого шатуна своим бичом из гибкой татарской жимолости, но его удерживала мысль о той чистой и невинной, о которой он думал и по которой томилась его пораненная душа... Ведь при ней бы он этого не делал — стыдно было, не хорошо было...

А тот все тянул:

— Наварю я пива пьяного,
Накурю вина зеленого,
Напою я мужа допьяна,
Положу его середь двора,
Оболоку его соломою
Да зажгу его лучиною...

— Ишь нализался! — слышится чей-то другой голос. —
Да еще под праздник.

— С радости, милый человек: кто празднику рад — с
вечера пьян, — отвечал певец, и снова гнусил:

— Выду я тоды на улицу,
Закричу я громким, голосом:
«Осудари вы, люди добрые,
Вы суседи приближены!
А ночесь гром-от был,
А ночесь молония сверкала,
Моего мужа убило,
Моего мужа опалило.

— Это тебя-то, видно, пьяницу, жена подожжет лучи-
ною, — опять послышался нравоучительный голос.

— Нет, шалишь, я сам ее за косы! Я сам пропою!
Он допел окончание песни:

— А ты, шельма-страдница
А не гром убил, а не молония сожгла,

А ты сама мужа извела¹.

Пение смолкло. А вот и монастырские стены, ворота. Молодой Ордин-Нащокин сошел с коня, погладил его лоснящую шею, потрепал за гриву и, привязав чумбуром к кольцу, вбитому в стену, сунул монету в руку старика-привратника.

¹ Песня эта выписана покойным историком, С. М. Соловьевым, из столбцов приказного стола, № 3313. См. «Историю России», XIV, 359.

— Пригляди за конем, дедушка, — сказал он, — я пойду ко всенощной.

— Добро, добро батюшка боярин, попригляжу, — отвечал старик.

Воин вошел в ограду. Ему казалось, что он входит в обширный могильный склеп, в котором похоронено все, что только он имел дорогого в жизни. Церковь между тем горела огнями, которые лились на двор сквозь узкие окна с железными решетками.

С глубочайшим благоговением и каким-то страхом Воин вступил в церковь.

Навстречу ему неслось из царских врат: «Слава святей, и единосущной, и животворящей, и нераздельной Троице, всегда, ныне и присно, и во веки веков!»

— Аминь! — как бы дрогнул весь клир тихими ангельскими голосами, и среди всего клира ему, казалось, отчетливо послышался милый, нежный, давно знакомый голос.

— «Приидите, поклонимся Царевни нашему Богу, — опять неслось из алтаря вместе с дымом кадильным, — приидите, поклонимся и припадем Ему!»

Он, действительно, припал горячею головой к холодному полу, а слезы так и лились на этот пол, так и лились... голоса клира звенели под сводами храма, высоко, точно пели невидимые ангелы:

— «Благослови, душе моя, Господа!»

— «Благословен еси, Господи!» — отвечал припевом другой клир.

Воин не поднимал головы от пола: ему казалось, что он весь изойдет горькими и в то же время сладостными слезами, всю душу выльет, а с нею и свое горе...

А дивная мелодия все более и более наполняла своды храма, все неудержимее и неудержимее охватывала умилением растопившуюся в слезах душу...

— «На горах станут воды...»

«О, Боже великий! Для тебя все возможно, ты установил воды на горах, ты растопил мое окаменелое сердце», — шептал несчастный, все еще не поднимая с полу мокрого от слез лица...

За псалмом «на горах станут воды» прошла великая ектения, потом первая кафизма, антифон, и «Господи воззвах», и стихиры, — а он все молился и плакал.

Да, теперь он явственно различает ее голос... Из всего клира выделяется этот чистый голосок, когда клир запел вечернюю песнь «Свете тихий!..»

Снова возгласение: «Господь воцарися, в лепоту облечеся...»

Ему казалось, что все это он слышит первый раз в жизни: так все казалось ему святым, божественным, не от мира сего!

Но мало-помалу он несколько успокоился, слезы незаметно унялись сами собою, и он встал с колен, чтобы искать глазами ту, голос которой, как ему казалось, он узнал. Он глядел на клирос, который весь был занят то черными клобуками монахинь, то такими же черными покрывалами молодых черничек и послушниц. Но все их лица были обращены к алтарю, и только иные вполоборота глядели на местные иконы.

Где же она? Ему до этого казалось, что в тысяче знакомых фигур, не видя лиц, он отличит ее головку, ее плечи, гибкий стан, изгиб белой шейки; но теперь все это было закрыто длинными черными фатами — головы, шея, плечи. Но она там — он это чувствовал и слышал ее милый голос.

А служба между тем шла. Из алтаря уже несло горячее моление: «Услыши ны, Боже, Спасителю наш, упование всех концов земли и сущих в море далече!..»

«Он услышит, он помирует», — беззвучно шептали его губы.

И в этих молениях, стояниях, кафизмах, поклонах, протечет вся ее жизнь! Где же радости, где счастье? И сегодня так, и завтра, и послезавтра а там... старость, усталость духа и тела, — все то же, то же, то же!

А там, глядишь, и последнее возгласение, последние слезы: «Житейское море, воздвигаемое зря напастей бурю...»

Где же бури? И их здесь нет... «Тихое пристанище...» Да, тихое, могильное.

Но вот на клиросе произошло какое-то движение. Несколько темных фигур отделяются и, проходя мимо местных икон, делают земные поклоны. Через несколько времени они возвращаются одна за другою: в руках у них — у одной кружка для сбора приношений, у другой блюдо, у третьей опять кружка, а там снова блюдо...

Что это! У него чуть ноги не подкосились, в глазах потемнело, потом опять просветлело... светлее, кажется, стало в храме... что-то лучезарное блеснуло ему в глаза...

Это она! Это ее лучезарное личико, полуприкрытое полями клобука, ее нежный овал, ее мраморное чело, оттененное клобуком... Совсем, совсем дитя в таком безнадежном одеянии — в саване, в черном саване ребенок!

Он узнал ее. Но она не поднимает глаз от блюда — длинные ресницы опущены.

Они идут посреди толпы, одна за другой, и кланяются. Впереди идет старуха, за ней другая. Последнею идет — она! Слышно: то алтын с глухим стуком упадет в кружку, то копейка или полушка брязнет на металлическое блюдо. И на ее блюдо бросают алтыны, полушки. Но она все не поднимает глаз — все личико ее словно мраморное, ни один мускул на нем не дрогнет.

Но как она изменилась, поблекла!словно полувядший белый ландыш с опущенною головкой.

Неужели не поднимет глаз? Они все ближе и ближе... Вот прошла первая кружка, за нею блюдо, опять кружка... Ее блюдо поравнялось с ним... Она не глядит!

В каком-то безумном отчаянии он с силою бросает крупную золотую монету на ее блюдо. Она дрогнула, подняла удивленные глаза — глаза их встретились на мгновение... Она замерла на месте...

Блюдо со звоном повалилось на пол, и она упала на пол, как подкошенный колос.

XVII. ТОЛЬКО БЫ ВИДЕТЬ ЕГО!

После душевного потрясения, бывшего причиною обморока за всенощной, инокиня Надежда, перенесенная из церкви в свою келью, придя понемногу в себя, почувствовала глубокую, все ее существо охватившую радость. Она помнила только, что он не умер, что она не была причиною его смерти, не убила его, как казалось ей прежде. Он живет, он будет жить. Она будет думать о нем, будет знать, что он есть на свете, видит и землю, и небо, и солнце, а она будет молиться о нем — чего ж ей больше!

Она встала с своего скромного ложа и стала молиться. Она теперь в первый раз почувствовала сладость молитвы. Теперь ей есть о чем молиться — и какою молитвою! — высшими степенями молитвы!

Матушка игуменья, часто беседовавшая с нею о молитве, сказывала, что молитва не одна живет, а есть три степени молитвы: первая степень это «прошение» — просить Бога о чем-либо, о ком-либо, о себе, о прощении грехов, о душевном покое и т. д.; вторая степень, высшая — это «благодарение»: благодарить Бога за то, что он дал нам жизнь и хлеб насущный, и душевный покой, что он печется о нашем здорье, что он все дает нам по нашему «прошению»; это молитва человеческая; но есть еще высшая степень молитвы — молитва

ангельская: это — «славословие»: славословят Бога ангелы на небесах да святые угодники. Этой же благодати удостоены иноки и инокини, потому что они восприняли ангельский чин и носят ангельский образ. Монашествующие, удостоившиеся высшей благодати — ангельского чина, — должны только славословить Бога, а просить и благодарить могут только за других. О чем им просить за себя? Они все имеют, даже больше — они сопричислены к ангельскому чину!

Теперь только юная инокиня Надежда поняла всю глубину поучения матушки-игуменьи. Ей хотелось не только благодарить — но не за себя, а за него, что он жив, что он может жить; но ей теперь хотелось славословить!

И она, радостная, сияющая, распростерлась перед киотой, откуда глядел на нее кроткий лик Спасителя, и славословила, славословила! Ей казалось, что она действительно стала ангелом, она трепетала от счастья, поднималась с полу, поднимала к небу свои нежные руки, точно крылья ангела, и, казалось, неслась в пространстве, неслась все выше и выше, такая легкая, воздушная... Она чувствовала за собою веяние своих крыльев, чувствовала, как она рассекала воздух своим легким телом — и славословила: «Свят, свят, свят, Господь Саваоф, исполнь небо и земля славы твоя!»

Это была какая-то детская радость, чистая, невинная. Расплетенная коса опутала прядями всю ее белую сорочку; ее босые ножки не чувствовали прикосновения к холодному полу; сорочка спустилась с плеч...

Но вдруг она опомнилась. Она — босая, в одной ночной сорочке, с распущенными и растрепавшимся волосами — она славословит Бога! Ей стало и стыдно, и страшно. Матушка-игуменья говорила ей, что на молитву надо приступать с благоговением и непременно в ангельском одеянии, чинно... А она вскочила с постели чуть не нагая и как неистовая поднимала руки, радовалась, трепетала от счастья, летела по небу!

Смущенная, она робко отошла от киоты, оделась снова вся, как бы к выходу в церковь, причесала и заплела косу, надела клобук и стала молиться смиренно, тихо, чинно.

Но и теперь внутри ее kloкотала радость, и она, сама того не сознавая, славословила Бога так же страстно, как и за несколько минут перед этим, когда она была в одной рубашонке и босая.

Наплакавшись потом счастливыми слезами, она уснула как ребенок, не успев даже вытереть мокрые глаза и щеки.

И какие грезы окутали ее спящую! Такого высокого блаженства, такого счастья, от которого дух захватывал, она ни-

когда не испытывала в жизни... Что-то сладостное до истомы, до изнеможения...

Когда она потом утром проснулась и вспомнила томительно-сладостные ощущения ночной грезы, когда ее, уже бодрствующую, охватила эта истома, смутное сознание чего-то невыразимо блаженного, совершившегося с нею, помимо ее воли, в сонном мечтании, «в тонце сне», она вся вдруг зарделась от стыда и счастья — больше от счастья — вся затрепетала... и расплакалась — расплакалась, как ребенок, у которого отняли что-то очень дорогое...

Она долго не могла встать с постели; ей не хотелось покинуть сейчас это теплое ложе, где ночью, в сонном мечтании, она ощутила что-то такое, чего с нею еще никогда не бывало в жизни... И это ощущение, это блаженство он ей дал, он и видимый и невидимый, и осязаемый и неосязаемый...

Когда затем она встала, тщательно, тщательнее чем когда-либо, причесалась, заплела косу, оделась в свое ангельское одеяние и стала молиться, она молиться уже не могла, не умела — не умела и не могла ни славословить, ни благодарить, ни даже просить. Она повторяла какие-то слова, потерявшие для нее силу и смысл, и, распростершись на полу перед киотою, думала только о нем: он здесь, в Москве, он так близко от нее.

Она приподнялась на колени и стала смотреть на лик Спасителя — такой кроткий, милостивый. Она хотела думать только о Спасителе; но его божественный лик мало-помалу затуманивался в какой-то дымке и исчезал, а вместо него вставала ночная греза, сладостное видение...

В этом положении застала ее мать-игуменья. Худая, маленькая, вся сморщенная старушка, но с живыми, серыми большими глазами, она, казалось, видела все насквозь. Она пришла навестить свою любимую духовную дочь, носившую прежде знатное, но суетное имя княжны Прозоровской. Вчерашний обморок и испугал, и огорчил мать игуменью. Она знала, как усердна была к своим обязанностям юная инокиня Надежда, как горячо она всегда молилась в храме, какая она была постница, — и старушка думала, что юная черничка, не привыкшая к суровому монастырскому уставу, изнеженная в родительском доме, что она испостилась и изнемогла.

— Молись, молись, дочь моя, — сказала она, входя в келью юной отшельницы и видя, что она встает с колен, — доканчивай молитву.

— Я кончила, матушка, — сказала девушка, подходя к руке игуменьи.

— Ну что, дитя мое, оправилась после вчерашнего-то? — спросила старушка.

— Оправилась, матушка.

— Ну, и благодарение Создателю. Душно вчера в церкви-то было, ты же усердно — я видела — молилась ну и сомлела. Это Он тебе зачтет, Отец небесный. Что наша жизнь? Тлен и прах: там наше житие, о нем надо думать — о вечном житии.

Теперь почему-то юная черничка смотрела на старушку с каким-то сожалением. Неужели вся ее жизнь протекла в этом? Неужели она...

И девушка почувствовала в душе своей холод — холод от этих стен, от окна с железною решеткой, от всего этого черного, мрачного.

Когда игуменья ушла, девушке стало как будто бы легче. Но это ненадолго.

Что-то холодное и безнадежное стало шевелиться у нее в душе и расти, расти!.. Вчерашнее блаженное состояние прошло. Тогда отуманило ее счастье сознания, что он жив, что она его видела. Но теперь она начала сознавать, что потеряла его навсегда, потеряла радость и счастье всей своей жизни? Для чего теперь ей жизнь? Чтобы ожидать той, другой жизни. Но для нее теперь не было другой жизни, кроме этой, кроме той, от которой она, в ослеплении горя, сама бежала. Но тогда она готова была убежать в могилу, не только за эти мрачные стены. А теперь — вдруг все прошло! Все, все — и не для нее!

Где искать помощи? В молитве? Но после вчерашнего молитвенного порыва она не могла больше молиться. Какою «степенью» молитвы могла она теперь молиться? «Славословием?» Но вчерашнее уже не повторится — оно прошло. Ей вчерашнего мало — ее душа требует большего. «Благодарением?» Но за что же ей благодарить? За то, что она сама оборвала нитку своей жизни? Благодарить! Нет, и эта степень молитвы отнята у нее — но кем? Она сама ее утратила. Остается «прощение». Но о чем просить, когда ничего уже вернуть невозможно.

Где же помощь? К кому обратиться?

Она опять подошла к киоте и стала смотреть на лик Спасителя. С какою тоской она смотрела на этот кроткий, всепрощающий лик.

«Он всех прощал, — шевельнулось у нее в душе, — простил разбойника, простил ту бедную жену, которую хотели

побить камнями, а он простил ее за то, что она много любила...»

И она любит!

Девушка с ужасом поняла, что теперь монастырь стал для нее ненавистен. И так быстро совершился этот переворот в ее душе! Она ненавидит его, как тюрьму, лишившую ее света, счастья. И чем дальше, тем больше она будет грешить этим чувством. Все равно душа ее погибнет — в монастыре ли, или вне монастыря.

Но там, вне монастыря, — он, который пришел вчера с того света, а ночью приходил к ней в видении, «в тонце сне». Там он и наяву придет, как тогда приходил к ней в сад, когда пел соловей и распускалась береза.

Девушка подошла к окну своей кельи, которое выходило на Девичье поле. Перед нею вставал Кремль, золотые маковки церквей, а там, невидимо, на Арбате — их дом, ее девичий терем, сад... Сирень теперь давно отцвела, и соловей, и кукушка давно перестали петь...

Она отошла от окна и, припав лицом к подушке, горько плакала. Но вдруг она увидела себя в церкви... он глянул ей в глаза... Как он похудел и постарел за то время, как она его не видела! Не радостно и ему жилось...

Она услышала шорох за дверью. Вздыхая и крестясь, в келью вошла ее бывшая мамушка. Что-то родное, далекое, навеки потерянное напомнил ей этот приход старушки — и дом отца, и ее светлый теремок, и тенистый сад со скамейкою, на которой он когда-то с нею сживал.

Старушка с благоговением целовала руки своей боярышни.

— Что, мамушка, у нас дома? Что батюшка? — спросила юная затворница.

Старушка еще глубже вздохнула.

— Что, ягодка! Чему у нас быть хорошему? Тот же монастырь, — сказала она.

— А батюшка?

— Все то же — кручинится: осиротел он, как перст один без тебя.

— А матушка и братцы не приезжали?

— Нету, родная; да они словно чужие для него.

Девушка хотела что-то спросить, но не решалась. Ей все же хотелось заговорить о том, что ее терзало. Она заговорила стороной.

— А я, мамушка, вечер у всенощной сомлела, — сказала она.

— Господь с тобой! — встревожилась старушка. — С чего это, ягодка?

— Должно быть, от жару и ладанного духа... Я так с блюдом и грохнулась... И как бы ты думала, знаешь, кого я увидела в церкви?

— Кого, золотая моя?

— Воина Афанасьича... Я, может, с того и сомлела: скзывали допреж того, что он пропал без вести — либо помер, либо убит, — так и поминали его... Каково мне было увидеть его, мертвеца-то, да прямо пред моими очушками! Я не спомнилась, как меня и из церкви-ту вынесли.

Мамушка в знак сожаления качала головой и охала, но для нее не было новостью, что молодой Ордин-Нащокин отыскался. Ее тревожила мысль, как ее боярышня-черничка примет это известие.

Теперь она поняла, почему боярышня ее «сомлела» вчера... Теперь быть беде! Как-то она, голубушка, перенесет это? Затем старушка и явилась в монастырь.

— Не след было ему приходить сюда! — сказала она строго.

— Для чего ж, мамушка, не прийти и сюда? Никому не заказано молиться.

— Не заказано-ту не заказано, — качала укоризненно головой старушка, — да только смущать-ту чистую душеньку грех — ох, грех какой!

— Да это, мамушка, я испугалась только сразу, а вдругорядь не испугаюсь.

— А думать станешь — мысли пойдут мирские...

— Что ж, мамка, о мирском-ту и молиться.

— О-охо-хо! — качала головой мамка. — Смущать-ту грех.

Юная черничка в душе не соглашалась с этим. Как! Отказаться даже от того, чтобы его видеть иногда, когда можно! Одно, что осталось у нее, — это видеть его, как видеть иногда вот ее, мамку, отца, и вдруг отказаться даже от этого!

Но она не знала, что теперь, правда, достаточно только видеть его иногда; но скоро этого будет недостаточно. Она не знала, какое зерно заброшено было вчера в ее душу, что вырастет из этого зерна....

«Нет, нет! Только бы видеть его! Только бы знать, что он...»

С большой тревогой старушка возвращалась из монастыря в город.

XVIII. ОНА БОЛЬШЕ НЕ ЧЕРНИЦА

Не в меньшем волнении, как и юная черничка, возвратился от всеобщей Воин Ордин-Нащокин. Только волнение его было иного рода. После мгновенной радости и потрясения, какие испытал он в момент встречи с бывшей невестой, когда она узнала его и от радости или от неожиданности упала в обморок, им овладело глубокое отчаяние. Этот обморок доказал ему, как много она любила его, а быть может, и теперь любит. Что ж ему из этого? Сознание, что она любит его, еще более увеличивало в глазах его цену понесенной им утраты. Страдания, причиняемые этим сознанием, усугублялись еще мыслью, что его тогдашняя безумная вспышка столкнула его в бездну отчаяния. Что тогда стоило выждать месяц, другой, наконец, целый год при спокойной уверенности, что ожидаемые им минуты полного блаженства только отсрочены? А что он сделал? В ослеплении минутной страсти он сам разбил свое счастье. Он тогда бросил ей в глаза незаслуженный ею укор: «Жди другого суженого!»

И она нашла его под саваном черницы...

Что ж ему оставалось теперь делать? Тогда впереди у него было что-то — много было впереди! Видеть чужие земли, все чудеса заморщины, сбросить с себя родительскую опеку, забыть на время постылую Москву: целый океан неизведанного был у него тогда впереди! И он изведal все это, и кончил тем, что плакал в гондоле, в Венеции, когда вспоминал об этой самой Москве, о брошенной в ней невесте, и пел «Не белы-то снежки», глотая слезы раскаяния.

И вот теперь... Нет, так оставаться нельзя! Теперь для него Москва — пытка: от нее так близок Новодевичий монастырь!

Теперь надо стараться забыть ее, похороненную в стенах монастыря. А как забыть? Где?

Он теперь знал где: там, где люди умирают под гром пушек, под крики победы, под свистом пуль и стрел. Он пойдет туда — к запорожцам, к Брюховецкому, к Косагову, что воюют теперь с поляками, его лютыми врагами, отравившими ему жизнь своею польскою наукою, отнявшими у него счастье, любовь к родине.

А сложит он там голову — тем лучше! Слишком уж тяжело стало носить ее на плечах. Да и кому она нужна? Отцу? У него на плечах государские заботы. Ей? Все равно ей не обнимать уж, не целовать эту буйную головушку, как когда-то она целовала ее.

На другой же день он сказал о своем решении отцу. Старика удивило это внезапное решение: всего дней пять как воротился из долговременной отлучки, после скитания по чужим землям, — и вдруг опять покидать Москву!

— Хочу отслужить вины мои пред государем! — одно твердил он на все доводы отца. — Либо лягу костями в поле ратном, либо со славою возвращусь, дабы тебе не краснеть за блудного сына.

Решение это в то же время и радовало старика... «На путь истинный возвращается малый», — думал он, и доложил об этом государю.

И Алексея Михайловича обрадовало это решение молодого человека. Он полюбил его как сына, особенно после его чистосердечного раскаяния в своем опрометчивом проступке. Отца же, старика Афанасия, он давно любил и высоко ценил его государственный ум.

Он велел Воину явиться к нему — попросту, не во время смотра и купания запоздавших стольников, а в его образную и в то же время рабочую горницу, по нынешнему — в свой кабинет, смежный с моленной государыни.

Царь принял Воина милостиво, хвалил за доброе решение.

— Хочу вины свои отслужить пред тобою, пресветлый государь! — повторял и здесь то же самое Воин, что говорил и отцу. — Либо положу свою голову в ратном поле...

— Зачем же? — ласково перебил его государь, любуясь мужественной его осанкой.

— Батя! Ты знаешь — мы от рода римского кесаря Августа...

Это стрелой влетела в отцовскую рабочую горницу царица Софья, думая, что отец у себя один — и остолбенела, вся вспыхнув: серебристый голосок ее оборвался на «Августе».

Она стояла с тетрадкой в руках, как зайчик, застигнутый врасплох.

Воин низко поклонился ей.

— Что, что? — с любовною улыбкой глядел на нее Алексей Михайлович. — От рода кесаря Августа, говоришь?

— Да, батюшка государь, — несколько оправившись от смущения, проговорила она и взглянула на Воина.

Заметив, что статный молодой человек любит ее, она стала смелей.

— Откудова ж ты это узнала, всезнайка? — спросил отец, продолжая любоваться девочкой.

— А вот в этой книге написано, — прозвенела она и пошла к отцу, — вот, читай: «Выписано из жития преподобного Нила, Столбенского чудотворца...»

— Ну, читай ты, у тебя глазки лучше моих: а тут так бледно написано, — сказал Алексей Михайлович, глядя головку дочери.

— Вот! — и Софья прочла: — «Прииде во обитель преподобного Нила...» Ах! — остановила она себя. — Не с того листа начала... Это о некоей девице, не о кесаре Августе...

Алексей Михайлович рассмеялся и повернул девочку лицом к себе.

— Ты чтой-то путаешь, торопыга.

Софья вспыхнула: она не хотела показаться смешной перед молодым человеком, который ей нравился, когда она была еще совсем «чюпишная», а теперь уже ей почти четырнадцать лет.

— Нет, не путаю! — она перевернула лист. — Вот: «Грань десятая, глава вторая. В лето проименитого и самодержавного царя и великого князя Владимира, просветившего всю российскую землю святым крещением, в храбрости великого князя Святослава, внука самодержавного Игоря и достохвальныя в премудрости блаженныя великия княгини Ольги правнука Рюрекова...»

— Рюрикова, — поправил ее отец.

— Нет, Рюрекова! — настаивала упрямая девочка. — Тут так написано! Смотри.

— Ну, добро, — согласился отец. — Читай дальше.

— «... первовладычествующего в Великом Новеграде и во всей русской земле, не худа рода бяху и незнаема, но опаче проименитого и славного римского кесаря Августа, обладающего всею вселенною, единоначальствующего на земли, во время первого пришествия на землю Господа Бога Спаса Нашего Иисуса Христа, иже нашего ради спасения изволи родитися от без... от безневестныя...»

Девочка остановилась и вопросительно посмотрела на отца.

— Что это такое «безневестныя?» — спросила она.

— Это так Богородицу величают, отвечал Алексей Михайлович.

— Для чего ж «без невесты?» — недоумевала Софья. — На что ей невеста?

— Ну, ин читай дальше! — перебил ее отец.

— «От безневестныя, — покорно продолжала юная царевна, — и пресвятыя и приснодевы Марии».

— Воистину так: при римском кесаре воплотился Сын Божий — при Августе, — заметил Алексей Михайлович. — А вот Воин и сам был в Риме, — указал он на молодого человека.

Юная царевна так, кажется, и облила его с головы до ног светом своих ясных глаз.

Воин скромно улыбнулся: «Точно... сподобился... был в Риме и лобызал каменные ступени лестницы дома Пилатова, по ней же сводили на пропятие Спасителя», — пояснил он.

— А разве она в Риме? — удивился Алексей Михайлович.

— В Риме, государь, — отвечал Воин, — ее перенесли из Иерусалима крестоносные рыцари.

— Эка святыня какая, Господи! — покачал головою царь. — Ну, что ж кесарь Август? — обратился он к царевне.

Та в это время так и пронизывала своими лучистыми глазами молодого Нащокина: «Шутка ли! В Риме был, вот этими губами целовал лестницу Пилатову, следы Христовых ножек», — казалось, говорили ее глаза.

Слова отца заставили ее опомниться. Она нагнулась к книге.

— «Сей кесарь, — начала она снова читать, — Август раздели вселенную братии своей и сродником, ему же быша присный брат, именем Прус, и сему Прусу тогда поручено бысть властодержательство в березех Висле-реке град Мовберок¹ и Турок²-Хваница (?) и преславный Гданск, и иные многие города по реку глаголемую Неман, впадшую, иже зовется и поныне Прусская земля; сего же Пруса семени отъяша выше реченный Рюрек и братия его; егда еще живяху за морем, и тогда варяги именовавхуся и из-заморья имаху дань на чюди, то есть на немцах и на словянех, то есть на новгородцех, и на кривичех, т е. на торопчанех»³.

Кончив чтение, Софья Алексеевна с торжествующим видом посмотрела на отца и на молодого Ордина-Нащокина.

— Так вот откуда мы родом, — улыбаясь, сказал Алексей Михайлович, — а я думал, что мы простого роду, а оно вон куда махнуло — в родню с кесарем Августом! Не махонька у нас роденька! А где ты взяла эту книгу? — спросил он.

— Симеон Ситианович Полоцкий принес мне, — отвечала царевна.

¹ Малброк, Мариенбург.

² Торун, Торн.

³ Из старинной рукописи, принадлежащей автору, а прежде принадлежавшей «лейб-гвардии Преображенского полка бонбордирской роте от мушкетер каптенармусу Михайле Голенищеву Кутузову».

— Балует он тебя, я вижу.

— А потому балует, что я хорошо учу все уроки.

— Добро, добро! Ты у меня умница. Иди же к матери. Алексей Михайлович погладил дочь по головке, и царевна, поцеловав у отца руку, вышла из горницы, с улыбкой кивнув головой Воину.

Скоро государь отпустил и этого последнего, пожаловав к руке и пожелав ему счастья на ратном поле.

Три дня Воин лихорадочно готовился к отъезду: выбирал лошадей, накупал нового оружия, заказывал дорожное и боевое платье.

А на душе у него было очень тяжело. Хотел он было еще раз съездить в Новодевичий монастырь ко всенощной, но решимости не хватило: «Увижу ее — и все прахом пойдет...»

На четвертый день утром, когда отец заседал в царской думе, Воину доложили, что его желает видеть монашка из Новодевичьего. Сердце у него дрогнуло при этом слове. Но он велел впустить: «За сбором, должно быть, на монастырь».

Но сердце у него так и колотилось. Он встал...

В дверях стояла она в своем монашеском одеянии — бледная-бледная...

Он протянул к ней руки. Она бросилась к нему, да так и повисла у него на шее.

— Милый мой! Суженый мой! — шептала она и плакала.

Он сжимал ее в своих объятиях.

— Милая! Наташечка! Да как же ты?

— Я совсем к тебе, совсем! И до гробовой доски! Я твоя... Бери меня как знаешь... в жены, в полюбовницы... все равно я пропала, погубила мою душеньку... Я только твоя, твоя!

— А монастырь?

— Не черница я больше! Не Надежда! Я твоя Наташа! Твоя вся, вся!

Он ласкал ее, шептал всевозможные нежные слова, целовал ее светло-русую головку...

Клобук ее упал с головы на пол. Она больше не черница...

ХІХ. ЛЮБОВЬ СТЕНЬКИ РАЗИНА

Прошло три года.

Был конец августа 1668 года. На Волге, у астраханской пристани, стояла многочисленная флотилия речных и морских судов — стругов. Было уже поздно. Темная южная ночь давно стояла над Волгой и городом; мерцавшие в небе звезды

показывали уже время к полуночи, а между тем в Астрахани было, по-видимому, очень шумно: оттуда доносились веселые голоса, подчас слышалось пение, говор, и от времени до времени ночной воздух потрясаем был пушечными выстрелами с крепостных башен.

При каждом таком выстреле ходивший взад и вперед по одному стругу казак останавливался, прислушивался и скучающим голосом проговаривал:

— Ишь, черти, загуляли, а ты тут слоняйся, как уток по верстатью!

В Астрахани, действительно, гуляли. Астраханский воевода, наш московский знакомый, князь Семен Васильевич Прозоровский, справлял именины своей любимой дочери Натальи, которую мы покинули в Москве три года назад, уже не Натальею, а инокинею Надеждою.

Это и был Натальин день, 26 августа.

Князь Прозоровский назначен был астраханским воеводою недавно — менее года тому назад. Теперь у него шел пир горой. Да и неудивительно: он очень любил свою белокуренькую Наталью, а с другой стороны, он принимал у себя сегодня редких, дорогих гостей. Главным и почетнейшим гостем был славный атаман вольных донских казаков Степан Тимофеевич Разин. Он недавно только воротился с своей флотилией и казаками из морского похода. Слава его громких подвигов наполнила уже всю Россию, и хотя эти подвиги сильно озабочивали московское правительство, однако до поры до времени оно принуждено было не только не показывать своего неудовольствия удалому атаману, предводителю буйного казачества, но как бы и поощрять его подвиги «великого государя милостивыми грамотами».

Действительно, в один год Степан Тимофеевич успел показать, на что он способен. Едва он вышел с своими молодцами с Дону на Волгу и основался ватагой на знаменитом «бугре», как тотчас же разбил весенний караван судов, направлявшийся в Москву с казенными, патриаршими товарами и товарами частных лиц, а также с партией арестантов; начальника стрелецкого отряда, следовавшего с караваном, приказал изрубить в куски, как барана на шашлык, судового приказчика и трех служащих — повесить, арестантов — освободить, чем и сделал их своими слугами, готовыми за него в огонь и в воду. Потом Степан Тимофеевич уже на тридцати трех стругах, пополненных, сверх своих казаков, еще и стрельцами, вышел в Каспийское море, оттуда рекою Яиком дошел до Яицкого городка и обманом взял его, а взявши — велел тамошнему стрелецкому голове, начальным людям и «несог-

ласным» стрельцам поотрубать головы, ушедших же из Яицкого городка — тоже порубить и потопить. Дальше — разгромил кочевых татар у устья Волги и ограбил турецкое судно. Астраханскому воеводе, князю Хилкову, предшественнику князя Прозоровского, присылавшему к нему просить, чтоб он отпустил и стрельцов и всех своих пленников, велел сказать:

— Коли-де придет ко мне великого государя милостивая грамота, тогда отпущу, а теперь не пущу никого.

Когда же князь Прозоровский послал к нему с той же просьбой двух пятидесятников стрелецких, то одного из них, «грубияна», Степан Тимофеевич убил, а другого отпустил живым, но ни с чем.

Затем Степан Тимофеевич с своими молодцами опять вышел в море, и на этот раз уже громил прибрежные владения шахов персидских, потомков царей Кира, Камбиза, Ксерксов и Дариев. Мало того, он послал в Испагань трех молодцов в качестве своих послов, которые и были приняты с честью. А между тем сам Степан Тимофеевич успел уже взять город Фарабад, разграбить его, сжечь до основания, разорить увеселительные дворцы шаха, — и все это в ожидании возврата своего почетного посольства. Но молодцов скоро раскусили в Испагани, и шах отправил против Степана Тимофеевича флотилию из семидесяти судов.

— Плевое дело! — сказал Степан Тимофеевич своему есаулу, Ивашке Черноярцу. — Ребята, громи их!

И ребята разгромили флотилию. Адмирал, командовавший ею, астиранский хан Менеды, бежал с позором, оставив в добычу Степану Тимофеевичу красавицу, тринадцатилетнюю дочку Заиру и сына Рустема.

Когда юную полонянку привели к Степану Тимофеевичу, он, грубый и сильный, человек железной воли и стальных нервов, онемел от изумления: он даже не подозревал, чтобы на земле могла существовать такая поразительная красота! Это смещение чего-то нежного, как лилия, с огнем, с огненным темпераментом, сверкавшим в черных огромных глазах, это личико ребенка с пышною черною косою, гибкость и упругость юных членов, невыразимая грация в движениях — все это отуманило буйную голову атамана. Он полюбил ее всею силою своей огневой души: тигр по природе, он сделался кроток и робок с своею пленницей.

— Ребята! — сказал он своим молодцам. — Ежели кто дотронется до нее пальцем, хоть ненароком, не до нее, а хоть до края ее одежды, — того я зарежу. Знайте это!

И он убрал ее горенку на своем струге с неслыханною роскошью: золото, серебро, жемчуга, алмазы, парчи, атлас — все награбленные сокровища брошены к маленьким ножкам Заиры.

И сам Степан Тимофеевич стал другим человеком. Молодцы не узнавали его. По целым часам он сидел в горенке своей красавицы, и выходил оттуда сначала мрачный и задумчивый, а потом все светлее и радостнее, и ласковее ко всем. Кровь, которую он прежде проливал, как воду, теперь стала для него противна. Он прекратил разбой. Что-то мягкое и тихое стало проглядывать в чертах энергического лица. Казалось, он теперь стыдился того, что прежде считал своею славою. В нем, казалось, опять проснулся тот человек, который пешком прошел чрез всю Россию, от устьев Дона до Ледовитого океана, чтоб только помолиться и поплакать над могилами Соловецких угодников.

В это лето Каспийское море было очень спокойное — ни бурь, ни ветров, и казацкая флотилия иногда по целым неделям стояла в открытом море неподвижно. В тихие, теплые вечера казаки часто пели свои грустные, мелодичные песни, о «тихом Доне», о раздольных степях, о разлуке с милыми.

В это время они часто видели, что их атаман, теперь такой тихий и кроткий, выходил вместе с своею юною пленницею из ее роскошной горенки, и по целым часам в стороне от всех они сидели вдвоем, тихо разговаривая или любясь зеркальною поверхностью моря, в котором отражались звезды. Заира умела говорить по-русски, потому что с детства за нею ухаживала любимая рабыня ее отца, русская полонянка из казачек. В эти тихие вечера, под грустное, мелодичное пение своих молодцов, укрощенный чистою любовью тигр, их «батюшка-атаманушка» Степан Тимофеевич, рассказывал Заире о своем родном Доне — что и там такое же голубое небо, как и у них, в Персии, что и звезды, которые она видела с детства в родной Астирани и в Испагани, такие же и на Дону, над его тихими водами и над широкими полями.

Сначала робкая и часто плакавшая, теперь Заира, по-видимому, свыклась с своим положением. И неудивительно: теперешнюю свою жизнь на море она уже не хотела бы променять на прежнюю, когда она затворницей жила в отцовском серале. Она полюбила своего кроткого и ласкового, подчас бурного в своих ласках повелителя: он теперь заменил для нее весь мир. Она прежде не знала, что такое любовь, а теперь она полюбила первую, чистою и нежною, как она сама, любовью. Зачем же ей Персия, отец, все, что не могло ей

дать того, что дал ей вот этот самый сильный, как лев, и кроткий, как ее египетский голубь, мужчина, этот грозный атаман, победитель ее отца и самого Шаха? Он повезет ее на Дон, он бросит свои разбои и будет атаманом вольного Дона. Он сам говорил ей это, а она, положив свою детскую головку на его плечо, жадно слушала своего богатыря, как она его называла, а он тихо гладил и целовал ее шелковистые волосы. Любовь действительно переродила его.

Вот почему, когда князь Прозоровский выслал против него своего товарища, князя Львова, с отрядом стрельцов, и когда князь Львов, не уверенный в успехе, послал к Разину парламентаря — сказать, что если он возвратит захваченные им на Волге суда и казенные пушки, а также уведенных с собою служилых людей и пленников, то может свободно воротиться на Дон с своими молодцами, — вот почему это страшилище, переродившееся под ласками обожаемой девушки, смиренно склонило перед князем Львовым свою гордую голову: Разин присягнул на кресте и Евангелии, что навсегда бросает ненавистные ему разбои, — и с своей ватагой явился в Астрахань.

Вместе с есаулом и другими казацкими старшинами Разин сошел с своего струга и направился в город, прямо в приказную избу. Заира долго стояла на борте атаманского струга и любящим взглядом провожала прирученного ею тигра: она так любила его!

В приказной избе, где его ждали князь Прозоровский и князь Львов с другими властями города, Разин смиренно положил на стол свой бунчук — «насеку», знак атаманской власти: этим он изъявлял полную покорность.

— Повинную голову не секут, — сказал он кротко со вздохом.

Князь Прозоровский и все бывшие в избе глазам не верили, чтоб это был тот ужасный человек, перед которым все трепетали. Даже во взоре его было что-то мягкое, задумчивое.

— Дивны дела твои, Господи! — шептал князь Прозоровский, всматриваясь в этого непостижимого человека.

XX. КЛЕВЕТА

Вот почему сегодня, в Натальин день, князь Прозоровский с таким торжеством праздновал именины своей любимицы Натальи: он принимал у себя такого дорогого гостя, которому рад бы был и царь Алексей Михайлович — таким

страшным стало на Руси его имя! — и вдруг он — такой покорный, смиренный, ласковый, обходительный.

Одно всех удивляло на этом пиру: Разин, который прежде предавался буйному разгулу, которому понятны были только два наслаждения — резня и попойки, этот Разин теперь почти ничего не пил.

Его угощала из своих рук сама княгиня, мачеха княжны Натальи, взятая мужем обратно из ее деревенской ссылки вместе с сыновьями, когда князя послали на воеводство в Астрахань, — и Разин благодарил любезную хозяйку, но пить — почти не пил.

— Аль в монахи постригся, Степан Тимофеевич? — улыбалась княгиня.

— Точно, матушка княгиня, хочу свой маленький скиток завести, — уклончиво отвечал Разин.

Но это не мешало другим гостям пить и веселиться. Пили здравицы — и каждую такую здравицу сопровождали пушечные выстрелы с крепостных башен, потому что за окном, где происходил пир, стояли махальщики с зажженными факелами, которыми и передавали сигналы на крепостные башни. Пили за здоровье царя, царицы и всей царской семьи. Пили здравицу всему «тихому Дону» и отдельно — «славному сыну его — Степану Тимофеевичу».

С необыкновенным женским чутьем княгиня Прозоровская догадалась, однако, что происходило в душе их дорогого необычайного гостя, с известием о покорности которого уже поскакал гонец от астраханского воеводы в Москву к царю Алексею Михайловичу. Княгиня заговорила с ним о его молоденькой пленнице.

— Она, чаю, беденькая, скучает теперь там одна на струге, — сказала она.

— Нет, матушка княгиня, она привыкла, — отвечал Разин.

— А все ж, чаю, плачет по отцу, по матери.

— Поплакала малость прежде, а ноне нет.

— Ах, глупая я! — спохватилась княгиня. — И невдомек мне послать ей гостинца.

Разина это, видимо, тронуло. Княгиня же между тем взяла серебряный поднос, наложила на него прекрасных груш, винограду и других, большею частью восточных, сластей: кишмишу, рахат-лукума, изюму, винных ягод и пр.

Тогда Разин подозвал своего персидского толмача, Хабибуллу, который был в числе его послов у шаха, приказал отнести поднос с гостинцем на его струг и вручить от имени

княгини Заире Менедовне, как он называл свою пленницу при других.

Черные восточные глазки Хабибуллы почему-то блеснули радостью, когда он принимал поднос из рук княгини.

— Кто идет? — раздался оклик с атаманского струга, когда в темноте на его сходни стала подниматься какая-то темная фигура.

— Это ми, Хабибулла с гастынцам, — отвечал гортанный голос.

— А, это ты, Хабибулка! С каким гостинцем? Ко мне?

— Нэт, Иван Петровичам, не тебе, а ханым Заир Менеды.

— Какой гостинец?

— Кишмиш, инджир, рахат-лукум, грушам.

— От кого? От батюшки Степана Тимофеевича?

— И от батушка, и от матушка.

— От какой матушки?

— От самово княгинь, от матушка воеводиха.

— А что атаман?

— Атаман скучил, ничаво не едил, ничаво не пил, толка хадыл и молчил.

— А наши ребята пьют здорово?

— Ай-ай как пьют! Все болшим кавшам.

Это разговаривали посланный Разиным к Заире с фруктами и другими сладостями его толмач, персиянин Хабибулла, и есаул Разина Ивашка Черноярец, остававшийся на атаманском струге в качестве охранителя прекрасной персиянки.

— А что ханым, скучил адын без батушка? — спросил Хабибулла.

— Вестимо, скучает, — отвечал есаул.

— Тэпер нэ будыт скучил.

И Хабибулла направился к роскошно убранной горенке Заиры, откуда светился огонек.

Заира сидела на богатом персидском ковре с брошенными на него шитыми шелками подушками и играла с маленькой белой собачкой, которую она учила служить на задних лапках.

Робко вошел в уютную светличку Хабибулла и, припав на одно колено, поставил перед Заирой поднос с фруктами.

— А, это ты, Хабибулла, — сказала персиянка на своем родном языке. — От кого это?

— От княгини, от супруги воеводы, — отвечал Хабибулла тоже по-персидски и приложил руку ко лбу и к сердцу.

Прелестное личико Заиры зарумянилось. Она поправила на шее нитку жемчугов и в смущении спросила:

— А разве княгиня меня знает?

— Вероятно, знает от батюшки Степана Тимофеевича, — был ответ.

— А что батюшка атаман? — спросила девушка.

— Он скучает — ничего не пьет, не ест, как ни увивается около него княгиня.

Это известие, видимо, встревожило девушку. Она как-то вся встрепелась.

— Скучает, говоришь? — с боязнью спросила она.

— Скучает, ханым.

— Отчего же? Не болен ли он? Ты не заметил? — продолжала тревожно спрашивать девушка.

— Этого, ханым, не заметил, — уклончиво отвечал персиянин, — а замечаю только, что у нас, с приездом в Астрахань, что-то не ладно пошло дело.

— А что? Разве воевода сердится?

— Нет, ханым, не воевода, а его жена, — загадочно отвечал Хабибулла.

— Что его жена? Она сердится? — живо заговорила девушка.

— Да, и сердится, и льнет к нему, как гурия, — был ответ.

Этот ответ еще более встревожил Заиру.

— А она молоденькая? Хороша собой?

— И молоденькая, и красавица.

Розовые щечки Заиры мгновенно покрылись бледностью. Она, как раненый тигренок, вскочила с ковра. Глаза ее горели.

— Говори все, что знаешь! — схватила она за руку Хабибуллу. — Говори! Он знал ее прежде?

— Знал, ханым, — угрюмо отвечал персиянин.

— И?.. Говори же! Говори все! — страстным шепотом настаивала девушка.

— Что мне говорить!.. Известное дело... они спознались раньше... — воевода стар.

Бедная девушка упала на ковер и горько заплакала, уткнув свое личико в подушку.

У Хабибуллы глаза сверкнули плотоядным огнем. Он стал перед девушкой на колени и, нагнувшись к ней, страстно шептал:

— Не плачь, ханым, не печалься, звезда Востока. Я отвезу тебя домой, в Персию, к отцу. У меня уже и буса изготовлена и снаряжена — богатое и прочное судно, которое и доставит нас в Персию. Завтра же ночью мы и бежим

отсюда. Завтра атаман назначает пир у себя на струге — зовет к себе в гости и воеводу с женой...

— С женой? — как ужаленная вскочила девушка с подушки.

— Да, с женой, — отвечал соблазнитель. — Так ты сделай вот что, жемчужина Востока: русские любят, чтоб на пиру их угощали жены хозяев. Ты здесь хозяйка — ты и угощай их завтра. Завтра атаман будет пить, потому что если хозяин не пьет, то и гости не будут пить. Атаман должен будет пить — и напьется пьяным. Казаки все перепьются и уснут. Уснет и атаман как убитый. Тогда я тихонько приеду в лодке и возьму тебя на мою бусу. А чтоб за нами не было погони — я и это устроил. Я подкупил одного персиянина, моего приятеля, который послезавтра, когда мы уже будем далеко от Астрахани, придет сюда на струг и объявит, что ночью он видел, как с атаманского струга какая-то женщина бросилась в Волгу и утонула, что он кричал, чтоб со струга ей подали помощь, но со струга никто не откликнулся — все спали мертвым сном; что он сам отыскал у берега лодку и бросился искать утопленницу, но так и не нашел — она пошла ко дну. Так бежим, солнце Востока? Все равно атаман разлюбил тебя, променял на прежнюю возлюбленную.

Девушка опять горько заплакала, уткнувшись личиком в подушку. Хабибулла утешал ее как маленького ребенка — гладил ее головку, говорил нежные слова, тешил ее возвратом на родину.

Неопытная, как младенец, она на слово поверила хитрому и своекорыстному обманщику, и ее охватило чувство полной беспомощности. Она очутилась одна вдали от родины. Брата ее, взятого в полон вместе с нею, Разин давно отправил назад к отцу, так как мальчик очень тосковал по родине. Девушка же с детскою верою и с детскою нежностью привязалась к атаману, который был с ней так добр и ласков — добрее и ласковее отца; она скоро полюбила его первым, беззаветным чувством молодости, сосредоточила в нем весь свой мир, — и вдруг! этот ее кумир обманывал ее: он любил другую.

Что же ей остается? Бежать от него? Но она не в силах это сделать: она любит его, он для нее все.

Но вдруг в ней зашевелилось сомнение в искренности слов Хабибуллы. А если он обманывает ее для своих целей, чтоб получить богатый выкуп от отца? К ней воротилась надежда, и она со всей страстью южного темперамента бросается на шею Хабибулле.

— Именем Аллаха и его пророка умоляю тебя — скажи: ты пошутил? Ты выдумал на атамана? Он не любит этой русской женщины? — порывисто шептала она.

И Хабибулла страстно ласкал ее...

Но если б только он видел, что с самого того момента, как он вошел к Заире, Ивашка Черноярцу змеей подполз к освещенному окошечку Заириной каюты и все видел, и все слышал, что там делалось и говорилось, — он окаменел бы от ужаса.

Ивашка знал персидский язык — и все слышал...

Разин воротился с воеводской пирушки очень поздно. Его встретил есаул Ивашка и, отведя в сторону, долго шептал ему что-то. Движения, которые делал атаман, слушая своего есаула, и порывистое дыхание его богатырских легких обнаруживали, что он глубоко взволнован.

Войдя потом осторожно в горенку Заире, он, при свете сильно нагоревших восковых свеч канделябра, увидел, что девушка, горько заплакавшись, уснула тут же на ковре невинным сном младенца. На длинных ресницах ее еще блестели слезинки. Рядом с нею спала собачка — и та не проснулась.

Разин стал перед нею на колени и с глубокой нежностью и тоскою долго смотрел на милое личико ребенка.

Из Астрахани доносился одинокий гул церковного колокола — то на соборной колокольне били полночь. Было тихо кругом. Слышно было только, как журчала волжская вода под килем струга и плескалась около его крутых боков.

Разин с нежностью трижды перекрестил спящую девушку, с глубокой мольбою поднял глаза к небу, встал с ковра, тихо потушил свечи канделябра и неслышными шагами вышел в свою каюту.

XXI. «НА Ж ТЕБЕ — ВОЗЬМИ!»

На другой день все заметили, что атаман был как-то особенно задумчив. Иногда он встряхивал своей курчавой головой, как бы отгоняя от себя докучливую мысль. То иногда подолгу останавливался у борта своего струга и как бы бесцельно глядел куда-то вдаль, ничего не видя.

Он, однако, с утра отдал приказание своему есаулу, Ивашке Черноярцу, все приготовить для предстоящего пира, так как он ожидает к себе в гости воеводу, князя Прозоров-

ского, его товарища, князя Львова, и некоторых других представителей власти.

— Чтобы пир был на славу! — сказал он.

Вчерашнее сообщение есаула о подслушанном им у Заиры и о том, что он вообще видел, глубоко поразило Разина. Конечно, он далек был от мысли, чтобы его маленькая Заира была неискренна, чтобы она обманывала его, — он этого никогда бы не допустил! Она такой ребенок! Так наивна в своих ласках и признаниях, так неопытна. Но это же самое может и отнять ее у него, а он так полюбил этого ребенка. Ведь она же, по-видимому; не понимала вчера, какие чувства заставляли Хабибуллу утешать ее, гладить по головке, обнимать она принимала эти утешения и ласки мужчины, как ласки няни. Но в ней могла проснуться от этих ласк и женщины, как она проснулась в ней от его ласк, — и все это будет в ней невинно, искренно, и сама она не сумеет дать себе отчета в своих чувствах. Как ему обвинить ее за это? Как обвинить ребенка, который тянется к огню, не зная, что такое огонь!

И как же после этого, на такой зыбкой почве основывать свое счастье!

Теперь Разин только в первый раз задался этой мыслью. Конечно, мысль эта в душе казака слагалась в иной форме. Но он, в данном случае, думал так же логически, как и всякий другой умный человек думал бы на его месте: человеческая логика и в XVII веке доходила до известных умозаключений тем же путем, так и теперь, особенно же в области чувства. Разин был, бесспорно, умный человек, богато одаренная натура, которая, смотря по обстоятельствам, могла быть направлена и на величайшее добро, и на величайшее зло.

Случайная любовь к такому невинному, чистому созданию, как Заира, повернула его на добро, разбудила в его богатой душе лучшие, благороднейшие силы. Он разом сделался добр, мягок, возненавидел жестокость, грубость. Он перестал пить.

И вдруг вчерашний случай чуть не разбудил в душе прежнего Разина-зверя. Он шел в каюту своей милой девочки, чтоб растерзать ее за одно прикосновение к презренному татарину-ренегату. Но когда он увидел ее невинное спящее личико с остатками слез на ресницах, он встал перед нею на колени и с материнской нежностью и благоговением стал крепить ее.

Что же будет дальше? Неужели для такого непрочного хрупкого счастья он должен отречься от самого себя, проститься со славою, с властью, с громкими подвигами? Он,

атаман целого войска и брат казненного атамана же, — неужели он должен отказаться от всего, даже от мести за позорную смерть брата, и похоронить себя заживо в глухой донской станице или на каком-нибудь хуторке!

А отказаться от нее, от этой милой девочки, от своего счастья, чтоб это милое дитя досталось какому-нибудь презренному холопу Хабибулле, а не ему — так другому! Он чувствовал, что это выше его сил. Он так любил ее! Для нее он решился пожертвовать славой, для нее он позорно преклонил свой бунчук перед воеводой, которого он мог когда угодно повесить; он все для нее бросил. Когда он держал ее в своих объятиях, а она, ласкаясь к нему, шептала самые нежные слова, он искренно решился всем пожертвовать для нее.

И теперь уступить ее другому! Нет, пусть лучше она никому не достается: та, которую он ласкал, не должна знать ласк другого мужчины.

Муки иного рода переживала теперь и Заира.

«А что, если в самом деле он любит другую?» — думала она, поздно проснувшись в своей хорошенькой каютке. Хотя, по ее восточным понятиям, мужчина мог любить разом нескольких женщин, и она видела это в своем отце, у которого был сераль и который приближал к себе и хорошеньких рабынь, но ее чистая привязанность возмущалась одною этою мыслью. Разве она сама может полюбить кого-либо другого, кроме своего повелителя-атамана? Нет, никогда!

И она робко выглянула из окошечка своей горенки. Атаман задумчиво стоял у борта струга, спиною к ней. О чем, о ком он думает?

В эту минуту, как бы под влиянием ее взгляда, он обернулся. Из окошечка смотрело на него милое личико, — и задумчивое лицо его разом просветлело. Он вошел в горенку Заиры. И на лице девушки отразилась радость, но она не бросилась к нему на шею, как бывало прежде. Она робко подошла к нему, смущенная, краснеющая: в первый раз по отношению к нему в ней заговорила женская стыдливость. Он молча обнял ее, крепко прижал к себе, как бы боясь потерять это нежное существо, и стал ласкать — целовал ее головку, глаза. Он чувствовал, что она дрожит в его объятиях. Но ни он, ни она не говорили. О вчерашнем он не сказал ей ни слова — он ждал, не скажет ли она. Но и она молчала. Он заметил, что присланные ей вчера княгинию Прозоровскою лакомства не тронуты. Поднос с фруктами стоял в стороне на столике.

— Ты, кажись, не дотронулась до княгинина гостинца? — спросил он, заглядывая ей в глаза.

— Мне не хотелось, — чуть слышно отвечала она. Но ни слова о вчерашнем.

Он стал наблюдать за нею, обдумывать ее поведение. Он видел, что она таится от него. В своей грубой совести он так и решил, что она виновата: молчит — значит, боится. Эта совесть не умела подсказать ему, что девушка щадит его спокойствие, что ей жаль видеть человека, которого неминуемо ждет лютая казнь, хоть человек этот и был для нее неприятен — это Хабибулла.

И он и она со вчерашнего вечера вдруг почувствовали, что между ними уже что-то стояло: это что-то и было обоюдное подозрение — черная кошка.

Он сказал, что сегодня у него будут гости — воевода и другие власти города.

— А она будет? — чуть слышно спросила Заира.

— Кто она? — удивился Разин.

— Воеводица, княгиня.

— Зачем ей быть? Боярыне это непригоже — на Москве нету такого звичая, — отвечал он.

«Значит, Хабибулла солгал? Может быть, он и все солгал?»

Девушка крепче прижалась к своему возлюбленному, точно боялась, что у нее возьмут его. Она чувствовала, как стучало его сердце, точно молот.

В это время на струге послышался какой-то говор. Можно было различить, что казаки Разина переговаривались с кем-то на берегу. С берега слышно было: «Хотим видеть батюшку Степана Тимофеича!»

Разин вышел на палубу. Перед стругом стояла группа стариков. При появлении Разина все сняли шапки.

— Здорово, старички почтенные! — ласково сказал Разин.

— Ты здоров буди, батюшка Степан Тимофеич! — послышалось с берега. — Мы пришли к тебе с поклоном: рыбный ряд осетром тебе, батюшке нашему, кланяется.

— Спасибо на поклоне! — отвечал Разин. — Милости прошу пожаловать ко мне на струг — выпить по чаре вина заморского.

Старики гурьбой стали всходить по сходням на струг.

— Уж и осетрище, изволением божьим, попался, батюшка Степан Тимофеич, — говорил один старик с бородой по пояс, — такого осетра не запомню с тех мест, как царила у нас в Астрахани проклятая Маринка-безбожница с Ивашкою Заруцковым. А ноне трех таких пымали наши ловцы: дак од-

ново осетра мы спосылаем на Москву великому государю царю Алексею Михайловичу, а другого — святейшему патриарху, а третьего тебе подносим, батюшка Степан Тимофеевич.

— Спасибо, спасибо за честь, почтенные старички! — благодарил атаман. — А воеводе-то своему вы что поднесете? — улыбнулся он.

— Воевода и севрюжиной будет доволен, — отвечал старик, тоже улыбаясь. — А ну, ребята, покажите чуду-юду! — крикнул он ловцам, бывшим в косной лодке близ струга.

Рыбаки с трудом приподняли над водою громадную голову чудовища, которое так билось в воде, что казалось, лодку опрокинет.

— И впрямь чудо-юдо, — говорил Разин.

А в это время Ивашка Чернойрец с казаками вынесли из трюма огромный бочонок и серебряные стопы, в которые и стали наливать вино.

Разин стал подавать вино гостям.

— Э, нет, батюшка Степан Тимофеевич, — отказывался старейший из депутации рыбного ряда, — не по русскому обычаю, в священном писании сказано: как доносчику первый кнут, так и хозяину первая чара.

Разин выпил. За ним все. Рыбакам молодцы Разина поднесли зелена вина, осетра привязали к одной из железных уключин струга и депутация откланялась.

Разин приказал убить и выпотрошить осетра, а потом сварить его в артельном котле.

Между тем на струге расставляли столы и приборы — серебряные и золотые мисы, стопы и т. д.

К полудню начали собираться гости. Разин был необыкновенно приветлив и оживлен. Казаки давно не видали его таким. Это тем более их удивило, что не далее как сегодня утром он был необыкновенно задумчив и грустен. Что было у него на душе — никто не знал, но многих это тревожило. Иные думали даже, что он испорчен, и что испортила его эта персидская чаровница-княжна.

Началось угощение. В последнее время, особенно когда среди казацкого войска завелась эта чаровница, атаман почти ничего не пил — совсем стал красной девицей. Но сегодня он пил как никогда. Щеки его разгорелись, глаза блестели нехорошим огнем. Казаки это видели — они хорошо изучили своего атамана, чего-то побаивались: быть худу... В иные моменты он как бы забывал все — где он, что он... Глаза его дико блуждали...

Но через минуту он опять овладевал собой, и голос его звучал на всю пристань.

Князь Прозоровский и другие гости ничего этого не замечали и пировали от всей души — ели, пили, смеялись. Всех поразил чудовищный осетр.

— Где это ты, Степан Тимофеевич, достал такого великана? — спросил воевода.

— Шах персидской мне в подарок прислал за город Фарабад, — загадочно отвечал Разин.

Вдруг точно что осенило его. Он встал и пошел в горенку Заиры. Через несколько минут он воротился, держа девушку за руку. Он был бледен. Заира одета была в дорогое персидское одеяние — вся в золоте, в жемчугах: драгоценные камни так и горели на ней. Она была поразительно хороша в своем смущении.

Гости ничего не ожидали подобного, и все встали при ее появлении подавленные, казалось, блеском чего-то невиданного, ослепительно прекрасного.

— По русскому звичаю, — сказал Разин, и нижняя челюсть его задрожала, — по русскому звичаю хозяйка должна поднести из своих рук по чаре доброго вина. Вот моя хозяйка.

Все низко поклонились, точно бы к ним вышла царица.

Разин налил вином стоявшие на серебряном подносе стопы, и Заира, не поднимая глаз, стала разносить вино. Руки ее дрожали вместе с подносом. Все пили и почтительно кланялись девушке.

Разин потом сел и посадил ее около себя.

— Дай Бог тебе, Степан Тимофеевич, счастья и здоровья на многие лета, — сказал князь Прозоровский и встал, — и великий государь не оставит тебя своими милостями.

Помянув имя великого государя, он сел.

— Спасибо, князь, — отвечал Разин. — Я много счастлив, так много, как тот эллинский царь, о котором сказывал мне один святой муж. Счастье того эллинского царя было так велико, что оракул сказал ему: «Дабы тебе не лишиться твоего счастья, пожертвуй Богу то, что есть у тебя самого дорогого». И царь тот зарезал любимую дочь свою — лучшее свое сокровище.

Разин взглянул на Заиру. Он был бледен, она сидела рядом с ним, все такая же прекрасная и смущенная.

— Вот мое сокровище! — сказал он, обнимая девушку.

Потом он встал, шатаясь, и остановился у борта струга, лицом к Волге. Он был страшен.

— Ах ты, Волга-матушка, река великая! Много ты дала мне золота и серебра и всего доброго. Как отец и мать славою и честью меня наделила, а я тебя еще ничем не поблагодарил.

Сказав это, он быстро повернулся, схватил Заиру одной рукой за горло, другою за ноги — и бросил за борт, как сорванный цветочек.

— На ж тебе — возьми!

Что-то яркое мелькнуло в воздухе, послышался плеск воды...

Все в ужасе вскочили. Заира исчезла под водой. Утром рыбаки вытащили из Волги труп Хабибуллы с кинжалом в груди...

XXII. КУПАНИЕ СТОЛЬНИКОВ

Сообщая этот ужасный эпизод из жизни Разина, Н. И. Костомаров полагает, что «этот варварский поступок не был только пьяным порывом буйной головы», с чем, конечно, нельзя не согласиться. «Стенька, как видно, — говорит историк, — завел у себя запорожский обычай — считать сношения казака с женщиною поступком достойным смерти. Его увлечение красивою персиянкою, естественно, должно было возбудить негодование и ропот тех, которым Стенька не позволял того, что дозволил себе, и, быть может, желая показать, что не в состоянии привязаться к женщине, он пожертвовал красивой персиянкою своему влиянию на товарищей».

Так рассуждал историк, приговоры которого всецело обуславливаются тем, что говорят ему находящиеся в его руках материалы или более или менее достоверные источники, документы. Но о подобного рода явлениях, обуславливаемых душевными движениями человека, всего менее говорят документы, как не говорит на суде о своем преступлении тот, кого уличают в нем на основании не вполне ясных улики. У историка в этом случае связаны руки.

Не таково положение романиста. Он должен все знать, даже то, чего нет и не могло быть в документах: он должен знать душу своих героев, знать их тайные думы и помышления.

И романист объясняет ужасный поступок Разина с Заирой так, как он его объяснил на основании психологической критики, которой он подверг своего героя.

Неудивительно после этого, что Разин, смирившийся было перед властью, положивший свой бунчук к ногам этой власти, подружившийся с воеводою и водивший с ним хлеб-соль, вдруг опять превращается в зверя, еще более лютого, чем он был прежде.

Астрахань теперь опостылела ему. Здесь он сам разбил свое счастье — его потянуло домой, на родину, туда, где протекло его детство, когда у него за спиною не было ни воспоминаний, ни ужасных призраков, которые теперь иногда посещали его.

4 сентября Разин покинул Астрахань, чтобы, собравшись за зиму с силой, начать исполнение того, что он, на возвратном пути из Соловецкого монастыря, обещал Аввакуму, когда навестил его в тюрьме монастыря Николая на Угреше.

Между тем, отписки князя Прозоровского из Астрахани о полной покорности Разина вызвали на верху великую радость, и Алексей Михайлович перед осенним возвращением из села Коломенского в город решил в последний раз вдоволь натешиться купанием в пруду стольников, запоздавших к царскому смотру.

Наскоро выслушав доклад дьяка Алмаза Иванова по важным делам и положив по ним резолюции, государь вопросительно поглядел на дьяка, который переминался с ноги на ногу и, по-видимому, еще что-то хотел доложить, но не решался.

— Что у тебя еще? — спросил Алексей Михайлович.

— Пустое, государь: так — челобитьишко одно, — отвечал Алмаз Иванов, — жалобишка непутевая.

— На кого? — спросил государь.

— На твоих государевых воевод, на симбирских да на саратовских с товарищи.

— А чья жалоба?

— Твоих государевых оброшных людишек.

— А ну-ка, вычти, — сказал с неохотой «тишайший», позевывая, — ему так хотелось купать стольников.

— Великому государю царю и великому князю Алексею Михайловичу, — начал, прокашлявшись, Алмаз Иванов, — всяя Руси самодержцу и многих государств государю и обладателю... «Облаададелю» с одним азом, государь, прописка...

— С одним азом? — строго спросил царь.

— С одним — точно: «облаададелю» — во место «облаададелю», государь, — отвечал дьяк.

— А кто учинил прописку?

— Писал, государь, подьячий не у дел Юшка Иванов.

— Так укажи бить Юшку батоги нещадно, — решил Алексей Михайлович¹.

¹ В то время за малейшую описку в царском титуле жестоко наказывали, как за государственное преступление.

Надо заметить, что в царском титуле слово «обладатель» всегда и обязательно писалось с двумя *a* после первого *л*: «облааадателю».

— Читай дальше, — приказал государь.

Алмаз Иванов продолжал:

— Бьют челом сироты твои государевы, симбирские и саратовские татаровя, мурзѣшки и сотничѣшки и мордовские и чувашские людишки, а во всех их место Багай Кочурентьев сын да Шелмеско Шевоев сын: велено нам, сиротам твоим государевым, по твоему государеву наказу, твоя государева пашня пахати за твой государев ясак. И мы, сироты твои государевы, твою государеву пашню пахали многие годы — рожь и ячмень и овес сеяли. И мы твою государеву пашню пашучи, лошади покупали, животишки свои и достальные истоццали. А за твоей государевой пашнею ходячи, одежонко все придрали, и женишка и детишка испроели, и нынече, государь, помираем голодною смертию. А одежонки нам, государь, сиротам твоим государевым, купити не на что и нечем, и мы, государь, сироты твои государевы, погибаем нужною смертию, волочась с наготы и с босоты. А в осеннюю пору, государь, мы ж, сироты твои государевы, на гумна возим твой государев хлеб, и в кладки кладем, и молотим. Да в лютую пору, государь, и в зимнюю ездят в Астрахань твои государевы воеводы, и дети боярские, и казаки, с твоими государевыми делы к Москве и с Москвы, и они, государь, емлют нас в подводы и с судами в летнюю пору, и в зимнюю пору с лошадьми и санями, и у нас, государь, у сирот твоих государевых, в подводах ездячи и ходячи, голодною смертию и нужною с волокиты лошаденки помирают. А которые, государь, из нас татаровя и иные людишки по дорогам у Волги жили, и они, государь, от подвод разбегаются, живут по лесам в незнанных местах. И у нас, государь, у сирот твоих государевых, лучших людишек, у мурзѣшек и у сотничѣшков, в подводах людишки и лошаденки помирают; а другие бегают по лесам от твоих государевых посланников, потому они, государь, посланники твои и воеводы, нас, сирот твоих государевых, всякими пытками пытаются, и поминки с нас всякие емлют, и нас, сирот твоих государевых, грабительски грабят — коровенка и куры, и гуся и утку, и рыбу, чем мы, сироты твои государевы, сыты бываем, емлют насильством же, грабежом, государь, сымают с нас, сирот твоих государевых, с плеч шубы и зипуны, и порты и лапти, а у кого, государь, из нас, сирот твоих государевых, и портов нет, и тех, государь, морят голодом до смерти, а иных, государь, емлют себе в холопы, а жен, государь, и девок...»

Алексей Михайлович нетерпеливо махнул рукой:

— Скоро конец?

— Скоро, государь.

И Алмаз Иванов, пробежав глазами челобитную, продолжал:

— А мастеров, государь, у нас в нашей басурманской веренету, ни дровишек, государь, усечи нечем, ни на зверя, государь, засеки сделать без топора не можно и нечем, а обуви, государь, без ножа сделать не можно же. И нам, государь, сиротам твоим государевым, с студи и с босоты и с наготы голодною смертью погибнуть, и нам, сиротам твоим, жити стало невозможно, и впредь, государь, погибнуть».

— Слышал! — нетерпеливо перебил докладчика Алексей Михайлович. — Ну?

Дьяк продолжал чтение:

— Милосердный царь государь, пощади сирот своих, покажи милость, не помори сирот своих напрасною смертью, вели нам, сиротам твоим, по-прежнему покупати у русских людей топоры, и ножи и котлы, чтоб мы, сироты твои государевы, вконец не погинули и с студи и с босоты и наготы не померли, впредь бы твоего, государева, ясаку не отстали. Царь государь, смилуйся, пожалуй».

Алмаз Иванов кончил и вытер вспотевший лоб ширинкой. Алексей Михайлович вздохнул с облегчением.

— Ну, слава Богу! — сказал он, зевая и крестя рот рукой, «чтоб с зевотой не вошел в рот и в утробу нечистый». — Передай челобитье в думу: коли буду сидеть с бояры, тогда разберу и указ учиню. А теперь пойду на крыльцо: там, чаю, стольники заждались моего купания. Да на их счастье и день теплый выдался.

И царь двинулся на крыльцо.

У крыльца уже давно толпилась дворская челядь — стольники, стряпчие, дворяне московские и жильцы. На самом же крыльце, на площадке, имели право дожидаться только бояре, думные люди и другая знать.

Появление царя вызвало бурю поклонов, земных и поясных. Все заколыхалось, сдержанно кашляло, робко сморкалось «в персы», по «Домостоя», «вежливенько, дабы не рычать носами».

После скучного доклада лицо «тишайшего» просияло при виде порядочной группы стольников, стоявших в стороне от прочих. Это были те, за которыми числилась провинка: они опоздали к утреннему царскому «смотру» — к выходу. Их и ожидало купание в пруду.

— Ну, Алмаз, вели начинать действо, — обратился государь к Алмазу Иванову.

Последний подал знак жильцам, которые стояли около провинившихся стольников: это были «купальные».

«Купальные» подхватили под руки стоявшего впереди молодого стольника, высокого и стройного, и повели к «ердани» — к купальной открытой сени.

— Многая лета великому государю! — едва успел крикнуть стольник, как «купальные» толкнули его в пруд «прямо мордой».

Стольник скрылся под водой, но через несколько секунд вынырнул и, ловко держась на воде, клал поклоны, ударяя лбом о поверхность воды.

— Ай да ловок Еремей! — слышались одобрительные возгласы среди бояр. — И на воде великому государю челом бьет.

— И точно ловок! Ах, язва!

А стольник, видя произведенный им эффект, поднял правую руку и возгласил:

— Спаси, Господи, люди твоя и благослови достояние твое! Победы благоверному государю нашему Алексею Михайловичу на супротивные даруй...

— Ах, язва! И вода его не берет.

Алексею Михайловичу, видимо, понравились проделки стольника.

— Похваляю, похваляю, Еремей! — милостиво улыбался он.

Еремей вышел из воды и, оставляя за собою мокрый след и низко кланяясь, приближался к царю. Тот пожаловал ловкого стольника к руке.

— Похваляю, похваляю, — продолжал Алексей Михайлович, — жалую тебя двумя обедами.

Все с завистью смотрели на счастлинца: его ожидала карьера по службе. Шутка ли — два обеда разом!

Между тем «купальные» тащили уже другую жертву царской потехи. Это был стареньки, сухонький и тщедушный стольничкишко, которому плохо везло по службе. Он никогда не опаздывал к царскому смотру потому, что, с одной стороны, был холопски усерден к службе и верен, «аки пес», с другой он боялся воды, так как во всю свою жизнь не купался, предпочитая холодной речной воде паровую баню с веником; но сегодня, на беду, опоздал, за своею глухотою не расслышав боя часов на одной из кремлевских колоколен.

Он весь дрожал со страху, крестился и жалобно просил:

— Царь государь! Смилуйся, пожалуй! Я отродясь не плавал... я немощен... у меня утин в хребте...

Это тешило «тишайшего», и он смеялся, а бояре вторили ему почтительным ржанием.

«Купальные», подстрекаемые общим весельем, взяли свою жертву за ноги и за руки, и, раскачав в воздухе, бросили далеко в пруд. Тщедушное тело бултыхнуло в воду и пошло ко дну. На поверхности всплыли пузыри...

Ждут, а он не показывается. Еще ждут — нет его, только пузыри вскакивают.

— Ишь, старый, словно тебе выхухоль в воде живет, — слышалось меж боярами.

— Что выхухоль! Настоящий соболь...

А соболя все нет. Алексей Михайлович начинает тревожиться.

— Он шутит, государь, — успокаивают его бояре, — ишь, проказник!

Но проказника все нет, и вода в пруду сравнялась — гладко, как зеркало.

— Ищите его! Вымайте из воды! — тревожно заговорил государь. — Ох, Господи!

Все засуетились, но никто не смел броситься в воду. Слышались только возгласы, оханья. Все столпились у пруда, разводили руками, топтались на месте, как овцы...

Вдруг кто-то протискивается сквозь толпу, крестится и с размаху бросается в пруд.

— Еремей! Еремей Васильевич Сухово! — слышались радостные голоса.

Это был действительно он. Смельчак быстро доплыл до того места, где скрылся под водою старенький столик, и нырнул. Через несколько секунд он вынырнул, держа в одной руке за шиворот утопленника и поддерживая его беспомощную лысую голову над водою, — и скоро достиг «средины».

— Не клади на зем! Не клади! — слышались возгласы.

— Дайте охабень! На охабень качайте, отойдет!

— Ах, Господи! Ах, Господи! — повторял Алексей Михайлович, глядя на посиневшее лицо утопленника.

Несчастливого положили на охабень, качали шибко, сильно. Жалкое маленькое тело в мокрой одежде беспомощно перекатывалось по охабню, руки и ноги болтались, как плети, посиневшее лицо как бы о чем-то просило...

Но его так и не откачали...

XXIII. РОКОВОЕ ПОЖАТИЕ РУКИ

В то время, когда Алексей Михайлович выслушивал доклады дьяка Алмаза Иванова, а потом купал своих стольников, его любимица, царевна Софья Алексеевна, затеяла прогулку в лес по грибы. Она воспользовалась прекрасным, теплым сентябрьским днем и тем обстоятельством, что царская семья и весь двор на днях должны были переехать из села Коломенского в Москву.

Теперь Софья Алексеевна была уже не подросток-девочка, а настоящая девица — «большая»: ей уже семнадцать лет, и она выросла, пополнила и вполне развилась физически.

В это утро, по обыкновению, она училась с Симеоном Полоцким, который никак не мог удовлетворительно объяснить ей, отчего это бывает снег. Хотя он объяснял по-ученому, но ужасно туманно, и это раздражало царевну.

— Егда пара восходит на воздух, — толковал он, — и ветер далече проженет, и та пара отолстеет, обаче же не может в камень смерзнутися, понеже тамо есть мгла посреди: все же строится судьбами Всесотворшего, и идет снег, дождь, и град, роса и иней, мраз и зной, воздухом и солнцем, обаче же токмо един Он всесильный творец весть.

— Ах, Симеон Ситианович, — зевала царевна, — лучше пойдёмте в лес по грибы: вон какое ведро — хорошо, зело хорошо; а то скоро в город передем.

Конечно, учитель охотно согласился прогуляться в лесу с своей хорошенькой ученицей, и они, захватив корзинки, отправились небольшим обществом в рощу, примыкавшую к дворцу села Коломенского: с ними пошли за грибами и старая царевнина мамка, и случайно бывшая во дворце у царицы молоденькая Ордина-Нащокина, Наталья Семеновна, урожденная княжна Прозоровская.

Читатель, может быть, помнит, что княжну Прозоровскую, постригшуюся было с отчаяния, мы видели в последний раз три года тому, когда она вдруг неожиданно явилась в монашеском одеянии к Воину Ордину-Нащокину и решительно заявила, что в монастырь она больше не возвратится.

Происшествие это в свое время наделало много шуму в Москве, особенно в придворных сферах. Сделалось известным, что инокиня Надежда, урожденная княжна Наталья Прозоровская, отпросилась у игуменьи пойти в Успенский собор, во время службы, с кружкой для сбора пожертвований на святую обитель. Ее отпустили с одной почтенной старицей. Но в соборе, среди литургии, молоденькая инокиня Надежда

попросила старицу поддержать на минуту и ее кружку, пока она поставит свечку Николе Чудотворцу, — и тотчас же исчезла! Из собора она поехала прямо к тому, кого она давно любила — к своему Воину.

Многих хлопот стоило родителям их спасти юную беглянку от жестокого наказания по «Номоканону» и по монастырскому уставу. Только личное участие царя в судьбе молоденькой преступницы и его любовь к старику Нащокину отвратили от ее пылкой головки суровую кару. Притом же Алексею Михайловичу проходу не давала его «непоседа», царица Софьюшка, которую он иногда называл «запорожцем в юбке». Она с утра до вечера нудила над ухом: прости да прости Наташу Прозоровскую...

И пришлось простить. Но ее, конечно, по тогдашнему выражению, «обнажили от ангельского чина», другими словами — расстригли. Потом любящаяся парочка сочеталась браком, и с той поры молодая Ордина-Нащокина, жена Воина, глубоко привязалась к царице Софье Алексеевне за ее заступничество пред отцом, и при всяком удобном случае являлась во дворец.

Все шли с корзинками в руках, и Симеону Полоцкому дали огромную корзину, потому что он хвастался, что у них в Полоцке он считался первым «грибонаходчиком».

Дорогой говорили о том, что занимало тогда умы московского общества — о бывшем патриархе Никоне и о заключении его в Ферапонтовом монастыре, о ссылке протопопа Аввакума в Пустозерск, в земляную тюрьму, наконец, об изъявлении Разиным покорности.

— А что он после того, матушка царица, сделал! Не приведи Бог, — заметила молодая Ордина-Нащокина.

— А что такое, Наташа? — спросила Софья Алексеевна.

— Да вот что, государыня царица. Вечер от батюшки с Астрахани гонец пригнал с гостинцами мне от родителя — груши да виноград. Дак сказывал гонец: была-де в полонянках у Разина царская дочь, персичково царя — красавица! ни в сказке сказать, ни пером написать. И полюбись, матушка, та царская дочь атаману Разину — уж так любил ее, так любил! — и берег как зеницу ока. Пришло, говорит, атаману Разину пора-время говеть, и на духу его батюшка пытается: что-де у тебя, раб Божий, дороже всего на свете? А так и так, батюшка, говорит Разин: дороже мне всего, говорит, царская дочь. — «Кинь, — говорит батюшка, — кинь ее в море, как кинул в море царь Соломон свой драгоценный перстень. Ежели, — говорит, — Бог примет твою жертву, то

на третий же день рыба-кит, аки Иону, возвратит тебе царевну».

— Ну, и что ж? — в волнении спрашивала царевна. — Кинул.

— Кинул, государыня, — отвечала Ордина-Нащокина.

— Господи! — всплеснула руками Софья Алексеевна. — Ну, и как же было дело?

— Да так: был, говорит, у атамана Разина пир большой, у него на струге; был у него, говорит, в гостях и мой батюшка. Вышла, говорит, из своей светлицы к гостям и царская дочь — вся в золоте да в камнях самоцветных, поднесла гостям по чаре, как закон велит. Разин и говорит к гостям: «Вот мое сокровище!» Это на царскую-то дочь. «Царь Соломон, — говорит, — бросил в море свое сокровище — драгоценный перстень, а я — ее!» Да с этим словом схватил ее поперек и словно золотой перстень бросил в море!

Все пришли в ужас от этого рассказа, дошедшего до Москвы уже в искаженном варианте.

— Ну, и что ж — рыба-кит не принесла ее на третий день? — спросила Софья Алексеевна.

— Не принесла, матушка царевна.

Симеон Полоцкий полагал, что это просто бабья сказка, и потому больше думал о грибах, чем о царской дочери и ее участи.

— А вот сыроежка! Вот и белый гриб! — радостно воскликнул он, нагибаясь, чтоб сорвать грибы.

Скоро и все увлеклись грибами.

В это время у опушки леса показались два всадника. По всему видно было, что это соколиные охотники, потому что у каждого из них на рукавице сидело по соколу — один в красной шапочке, другой в голубой.

— Да это, никак, князь Василий Васильевич Голицын, — заметила Ордина-Нащокина.

— Он и есть, — подтвердил Симеон Полоцкий.

Царевна Софья Алексеевна почему-то при этом вся вспыхнула.

— Должно, с соколиной охоты едут, — как бы нехотя сказала она.

Всадники подъезжали все ближе и ближе, и вдруг один из них, остановив лошадь, соскочил с седла, передал и лошадь и своего сокола другому всаднику, что-то наказал ему, и то-ропливо пошел к грибоискателям.

Это был действительно князь Василий Васильевич Голицын, мужчина средних лет, широкоплечий и достаточно плот-

ный. Он издали узнал Софью Алексеевну и, приближаясь к ней, почтительно снял шапку.

— Здравствуй, князь Василий! — ласково сказала царица.

— Будь ты здрава, государыня царица, — поклонился Голицын. — Грибным делом тешишься?

— Точно, — отвечала Софья, скользнув глазами по всей фигуре собеседника.

Голицын поздоровался и с другими.

— А князь Василий был на соколиных ложах? — спросила царица.

— Грешным делом, государыня... Что ж я смотрю! — спохватился он. — Позволь государыня, я хоть кошницу буду носить за тобой.

— И то дело, — согласилась царица.

Все занялись исканием грибов, изредка перекидываясь словами: «Ай да рыжик!» — «А у меня волнушка!» — «Грузди!» Усерднее всех лазил по кустам Симеон Полоцкий, желая поддержать свою старую репутацию.

Молодая Ордина-Нащокина, не сильная насчет грибной части, боясь набрать мухоморов вместо рыжиков, держалась профессора по грибной части — старой мамки, и не отходила от нее.

Софья же Алексеевна, порывистая, нетерпеливая, быстро переходила от одного места к другому, и Голицын должен был следовать за ней. Она вся раскраснелась от ходьбы, и грудь ее высоко поднималась. Часто взор ее скользил по лицу Голицына, но как-то украдкой, стыдливо. Она испытывала какое-то радостное волнение вблизи этого сильного мужчины, и ее все дальше и дальше тянуло в глубь рощи.

Они давно потеряли всех из виду, и, кажется, забыли о грибах.

— Вон гриб, государыня! — сказал Голицын, нагибаясь.

Нагнулась и Софья Алексеевна — и глаза их встретились. Что-то горячее сказалось с обеих сторон в этих глазах, и когда рука Голицына потянулась было к грибу, она ощутила не гриб, а другую руку — руку царицы. Руки соединились порывисто, судорожно. Но теперь они не смели взглянуть друг другу в глаза, хотя и чувствовали, что в этот момент они составляют одну душу, одно существо...

— Ау! ау! — послышался голос Ординой-Нащокиной.

— Я не могу откликнуться, — шептал в волнении князь Голицын. — Не хочу!

— И не надо, — прошептала и Софья, вставая и не выпуская из руки руку Голицына.

Из-за ближних кустов показался Симеон Полоцкий. Он торжествовал — в корзине у него были всевозможные грибы.

— А вы? — обратился он к царице и к князю Голицыну.

— Мы нашли всего один гриб, — отвечал последний.

— А Симеон Ситианович помешал нам сорвать его, — добавила Софья, лукаво глянув на Голицына.

— Ау! ау! ау! — повторились ауканья Нащокиной.

— Ау! ау! — отвечала царица, думая про себя: «Теперь пушай ее идет».

Софья Алексеевна давно уже чувствовала влечение к Голицыну, часто встречая его во дворце. Еще девочкой она видела в нем образец мужчины, а чем старше становилась, тем очевиднее для нее самой росло в ней нежное и тревожное чувство к тому, кого она в душе называла Васенькой.

И вот сегодня она в первый раз почувствовала, что одно прикосновение его сильной, мускулистой руки дало ей столько счастья и чего-то такого сладостного, чего она еще ни разу не испытывала в жизни. Это прикосновение точно обожгло ее, и между тем ей хотелось, чтобы он не выпускал ее руку, ей хотелось чувствовать ее теплоту, ее силу, ее близость.

Все, пошли дальше, продолжая искать грибы и уже не разбиваясь на отдельные единицы. Софья Алексеевна теперь стала внимательнее к своему делу, и в корзинку ее, которую продолжал носить Голицын, все чаще и чаще попадали то рыжики, то сыроежки, то и настоящие белые. Она рассказала Голицыну о варварском поступке Разина с своею хорошенькою пленницей, и Голицын тоже принял было это за сказку, если бы рассказ царицы не поддержала молодая Ордина-Нащокина, сказав, что гонец, привезший эту весть из Астрахани, еще не выехал из Москвы обратно и может лично подтвердить все сообщенное князю.

Но пора, наконец, было возвращаться и по домам. Когда они выходили из рощи, у опушки ее, на дороге, ведущей в Москву, Голицына ожидал его сокольничий с лошастью и соколом. Голицын простился и вскочил на коня, взглянув последний раз на царицу.

Софья долго провожала его глазами.

Весь этот день и она, и он постоянно вспоминали, как руки их встретились там, в роще; но они, конечно, не могли предвидеть, какие кровавые последствия в будущем произойдут для России и для них самих из этого рокового пожатия одной руки другою.

XXIV. В КУЛЬ, ДА В ВОДУ

В то время, когда в Астрахани и в Москве происходили описанные нами события, как известно, заключен был с Польшею Андрусовский мир.

Виновником этого губельного для Малороссии мира был старый наш знакомый, Ордин-Нащокин, отец. Этим постыдным миром Малороссия разрезывалась пополам, так сказать — по живому телу: вся правобережная Украина, Вольнь и Подолия, отдавалась Польше вместе с величайшею святынею русского народа — Киевом.

Мало того! Ходили слухи — и не безосновательные, — что Ордин-Нащокин советовал царю совсем уничтожить казачество, как корень всех смут внутри государства и как начало всех несогласий и недоразумений с соседними государствами: долой Запорожье! Долой донское и яицкое войско!

Когда эти слухи проникли на Запорожье и на Дон, тогда все казачество подняло голову.

— Лучше жить в братстве с турками, чем с москалями! — крикнул на полковничьей Раде Брюховецкий, потрясая в воздухе гетманскую булаву.

Это он выкрикнул в Гадяче. Подобный же возглас раздался и на Дону, на небольшом острове Кагальнике.

— Я вырежу до ноги все московское боярство и всех господ и поставлю над Русской землею один казацкий круг! — сказал Разин, когда к нему на Дон явились посланцы от Брюховецкого.

Посланцы эти — наши старые знакомые, которых мы видели, в первой главе нашего повествования, в столовой избе Грановитой палаты, на отпуске у царя Алексея Михайловича: это — Герасим Яковенко или Гараська-бугай, Павло Абраменко и Михайло Брейко, тот самый великан, который растянулся во весь рост на ступенях державного места и восклицанием: «Оце лихо! Николи с коня не падав, а тут, бач, упав!» — вызвал общий смех.

Посланцы привели от гетмана в подарок Разину прекрасного белого арабского коня под богатым чепраком, а для казацкого круга пригнали сто превосходных черкасских волов, рога которых перевиты были красными, голубыми, алыми и зелеными лентами.

— Уж и хохлы дошлые! Словно красных девок волов своих лентами изнарядили! — удивлялись донцы, любуясь прекрасными волами.

Стан Разина в это время, как сказано выше, находился на острове Кагальнике. Стан был обнесен высоким земляным валом, на котором в разных местах поставлены были пушки очень внушительных размеров. За валом вся площадь острова, т. е. внутренняя часть острова, состояла из массы небольших курганов с торчавшими из них плетеными трубами: это были земляные избы, или «курени», в которых помещались казаки Разина и он сам.

— Тебе бы, батюшка Степан Тимофеич, особый куренек срубить, — говорил ему есаул Ивашка Черноярец, когда рыли землянки для войск.

— У Христа и норы лисьей не было, а он был царь над царями, отвечал Разин.

Гетманских послов Разин принял без всяких излишних церемоний, которых он терпеть не мог, говоря, что они служат «для отводу глаз дуракам», и только приказал стрелять из всех пушек, когда послы с берега садились в лодки, чтоб ехать на остров, и когда пристали к острову.

Присланных гетманом волов оставили на берегу, конечно, на время, для корму, а коня перевезли на остров и торжественно провели перед выстроившимися казаками.

Разин тотчас же собрал круг. В кругу стояли: Разин с своим есаулом и три гетманские посла. В руках у Разина была богатая атаманская «насека», или бунчук.

Герасим Яковенко несколько отступил от товарищей вперед и подал Разину «лист» от гетмана Ивана Мартыновича Брюховецкого и всего войска запорожского низового к господину атаману Степану Тимофеевичу Разину и всему вольному войску донскому. Разин взял «лист» — пакет, поцеловал печать, бережно разломал ее и, вынув из пакета бумагу, подал ее есаулу.

— Вычитай, что пишет нам ясновельможный гетман и все славное запорожское войско низовое, — сказал он, несколько преклоняя бунчук в знак почтения к посольству.

В послании говорилось о нестерпимых утеснениях, делаемых Москвою и ее воеводами Украине, об отдаче Киева и всех печерских угодников полякам, о намерении уничтожить все казачество.

Казаки не дали есаулу дочитать послание до конца.

— Не бывать этому! — кричали они, хватаясь за сабли, точно бы враг стоял перед ними на лицо.

— На осину всех бояр! В куль, да в воду! — кричали другие.

Посланцы Брюховецкого объяснили, что заводилой всего этого у царя — Афонька Ордин-Нащокин.

— Он и сына своего, проклятого Воинку, подсылал к нам лазутчиком, — пояснял великан Брейко.

— А наши казаки выкрали его у ляхов. Мы думали, что оно что-нибудь доброе, а оно вон что — змеинное отродье! — добавил Гараська-бугай.

— Мы его и в Москве найдем! — кричали казаки.

— И батюшку и сынка в один куль! — добавляли другие.

Майдан долго волновался, пока Разин не махнул бунчуком. Все утихло.

— Атаманы-молодцы и все вольное войско казацкое! — возвысил голос Разин. — Москва хочет утопить нас в ложке воды, отобрать от нас казацкие вольности...

— Этому не бывать! — опять послышались крики.

— Не бывать! — подтвердил и Разин. — Мы сами зажжем московское государство с двух концов: мы с Волги, запорожские казаки и татары — с Днепра, и тогда посмотрим, кто кого в крови утопит!

— Любо, любо! Только не мы утонем! — кричали казаки

Между тем на кострах, разведенных еще с утра, на пищальных шомполах уже жарились огромные куски черкасской говядины, а из войскового подвала выкатывались бочки с вином.

Скоро на майдане начался пир.

И донские, и запорожские казаки все были горазды выпить, а потому гульня была жестокая.

Чей-то голос вдруг затянул:

«Как у нас на Дону,
Во Чекасском городу...»

— К бесу Черкасской город, — раздались другие голоса. — Там Корнилка Яковлев заодно с Москвою! В воду всех согласников!

Тогда другой голос запел:

«Как у нас на Дону,
В Кагальницком городу!»

— Любо, любо! в Кагальницком городу!

Пьяные голоса перебивали один другого, никто никого не слушал. А какой-то казак с вырванною ноздрей, взявшись в боки, приседал пьяными ногами и приговаривал:

«А как наш-от козел
Всегда пьян и весел, —
Он шатается,
Он валяется...»

Ему вторила другая пьяная, тоже «вырванная ноздря» — из «сибирных», которая, приставив сложенные ладони ко рту, дудела как на дудке:

«А-бу-бу-бу-бу-бу-бу,
Сидит ворон на дубу,
Он играет во трубу, —
Труба точеная,
Позолоченая!»

Между тем Разин, который в это время разговаривал с запорожскими послами, вспомнив что-то, встал на ноги (он сидел и пировал с послами на разостланном персидском ковре) и крикнул таким голосом, который всех заставил очнуться.

— Атаманы-молодцы! Слушать дело! — поднял он бунчук. — Привести сюда бабника с бабой!

Несколько казаков бросились к небольшой земляной тюрьме и вывели оттуда рослого, широкоплечего и мускулистого казака и молоденькую девушку-казачку. За ними еще один казак нес длинный рогожный куль, в котором отчаянно метался и мяукал кот.

Приведенный из земляной тюрьмы молодой казак смотрел кругом смело, вызывающе, дерзко. Юная же подруга его была бледна, как мел, едва стояла на ногах. Молодость и миловидность ее были таковы, что даже грубые, зачерствелые черты убийц при виде ее смягчались.

Несчастные обвинялись в тяжком для «казака в поле» преступлении. Тренька Порядин — так звали молодого казака — нынешней ночью стерег на войсковом лугу казацких коней. Когда же дозорные казаки обходили ночью войсковой табун и проверяли карту, то застали Треньку Порядина с этой девушкой, с Палагой Юдиной, с соседнего хутора. А по казацкому обычаю, «казак в поле» за сношение с бабой подвергался смертной казни: «в куль, да в воду», притом вместе с бабой, если она поймана, и вдобавок — с котом, который бы их цапал в куле.

Когда вины несчастных были сказаны есаулом в казацком кругу перед гетманскими послами, Разин сказал:

— Вершите, атаманы-молодцы! В куль, да в воду!

Говоря это, он не сводил глаз с трепетавшей девушки. В его душе вдруг встал другой милый образ, так бесчеловечно погубленный им. За что, за чью вину? И уже никогда, никогда этот милый образ не явится ему наяву, как он часто является ему во сне и терзает его душу поздним напрасным раскаянием. И его разом охватила такая тоска, такая душевная мука, что он сам, кажется, охотно бы пошел в этот куль, да в воду...

— В куль, да в воду! — повторили голоса в кругу, иные явно неохотно.

Осужденный посмотрел в глаза своему атаману таким взглядом, что даже Разин смутился.

— Тебя, вора, в куль, да в воду! — глухо произнес осужденный. — Ты не по закону жил с персидскою княжной, басурманкой, а Палага моя законная невеста...

Глухой ропот пронесся как ветер по майдану. Разин страшно побледнел и пошатнулся, словно бы от удара. Слезы и судороги сдавили ему горло...

— Он прав... он прав, братцы! — рыдая говорил он. — Вяжите меня в куль... я не отец вам... я не жилец на этом свете... Ох, смерть моя!.. Вяжите! Вяжите меня!..

Разин упал на колени и положил бунчук на землю.

— Простите меня, братцы! — и он кланялся в землю. — А теперь вяжите... вот мои руки... в куль, в куль, да в воду!..

Он говорил точно в бреду. Весь майдан онемел от ужаса...

Наконец, некоторые из казаков опомнились, бросились к своему атаману, подняли его...

— Батюшка! Отец наш! Не покидай нас, сирот твоих, — умоляли они его. — Без тебя мы пропали.

Стон прошел по всему майдану. Разина обступили, целовали его руки, плакали...

Плакал и он... В плаче этом слышалось глубокое отчаяние.

Но потом он быстро подошел к осужденному и горячо обнял его:

— Прости меня, Тренюшка! Прости, родной мой! И ты меня прости, Палагеюшка!

Он поклонился девушке в землю. Та, бледная, все еще растерянная и трепещущая от ужасного над нею и ее возлюбленным приговора, силилась поднять валявшегося в ее ногах страшного атамана.

— Прости! Прости меня! — повторил Разин. — За твой девичий стыд, за мое окаянство — прости!

— Бог всех простит! Бог всех простит! — раздались отдельные голоса на майдане, а за ними в один голос закричало все войско:

— Бог всех простит! Бог всех простит!

Та картина, полная глубокого драматизма, произвела сильное впечатление на запорожцев.

В конце концов осужденные были помилованы и как почетные гости посажены в круге, а ни в чем неповинный кот,

выпущенный из куля, с сердитым фырканием вскочил на ближайшую развесистую вербу и злобно глядел оттуда своими круглыми, горевшими зеленым огнем глазами.

XXV. ЖЕНА РАЗИНА

Посольство Брюховецкого к Разину, как известно, ни к чему не привело. Гетман правобережной Украины Дорошенко в несколько недель покорил под свою власть всю левобережную Украину, и Брюховецкий своею же чернью — «голо-тою» — в несколько минут был забит палками и ружейными прикладами «как бешеная собака», по выражению летописца.

Разину предстояло действовать одному с своими казаками.

Наступал 1669 год. Дон вскрылся рано. Надо было думать о походе....

Вдруг однажды под вечер разинские молодцы, которые ловили в Дону, ниже Кагальника, рыбу, заметили лодку, которая осторожно, среди пустых тальников и, видимо, крадучись пробиралась к казацкому стану. Ловцы настигли ее и увидели, что в ней сидит женщина. На оклик сначала ответа из лодки не последовало, и лодка продолжала спешить к острову.

— Остановись, каюк, стрелять будем! — закричал один из ловцов и выстрелил по подозрительному каюку.

После выстрела каюк остановился. Ловцы подплыли ближе: в каюке находилась только одна женщина средних лет, по-видимому, казачка.

— Ты кто такая и отколь? — спросили ловцы.

— Сами видите, атаманы-молодцы, что я казачка и еду из Черкаска, — смело и даже гордо отвечала неизвестная женщина.

— Видим, что не татарка, — улыбнулся один из ловцов, — а куда путь держишь?

— К атаману Степану Тимофеичу Разину, — был ответ.

— О-го-го! — покачал головой тот же ловец. — Высоко, болезная, летаешь, а где-то сядешь!

— Сяду рядом с вашим батюшкой атаманом! — гордо отвечала казачка.

— Не погневайся, молода-молодка, — заметил другой ловец, постарше, — в наш городок ваш брат, баба, и ногой ступить не может; а то зараз кесим башка!

— Что так строго? — презрительно улыбнулась смелая казачка.

— А так — у нас закон таков: чтоб бабьятиной и не пахло, — отвечал младший ловец.

— Что ж, али баба псиной пахнет? — презрительно пожала плечами казачка.

— Псиной не псиной, а припахивает.

Этот дерзкий отзыв взорвал казачку: она вспыхнула и замахнулась веслом, чтоб ударить обидчика. Тот едва увернулся.

— О, да она и в самом деле с запашком! — засмеялся он.

— Прочь, вислоухие! — закричала вне себя казачка. — Мне не до вас, сволочь! Мне спешка видеть атамана; а задержите меня — завтра ж вас в куль, да в воду!

Она торопливо сняла с своей руки перстень с бирюзой и подала старшему ловцу.

— На! Зараз же покажи этот перстень атаману, мне ждать неколи, а ему и того меньше! — сказала она повелительно.

Все это говорилось таким тоном, и вообще незнакомая женщина так вела себя, что казаки уступили ее требованию и поплыли к острову. Незнакомка следовала за ними. Она так сильно и умело работала веслом, что ее легкий каючок не отставал от казачьей лодки.

Скоро они были у острова. Из-за земляного вала, которым был обнесен стан Разина, кое-где поднимался синеватый дымок к небу.

Лодка и каюк пристали к берегу. Старший ловец тотчас же отправился в стан, а младший с незнакомой казачкой остались на берегу.

— Что ж у вас в Черкасском делается? — спросил было незнакомку оставшийся на берегу ловец.

— Это я скажу атаману, — был сухой ответ

«Фу ты, ну ты!» — подумал про себя ловец, и только пожал плечами.

Скоро воротился и тот казак, который ходил в стан с перстнем.

— Иди за мной, — сказал он незнакомке, — батюшка Степан Тимофеевич приказал звать тебя.

Незнакомка повиновалась. По лицу ее видно было, что волнение и страх боролись в ней с каким-то другим чувством.

Разин ждал ее на майдане в кругу нескольких казаков. Выражение лица его было сурово.

Незнакомка робко подошла к нему и опустилась на колени. Разин молча вглядывался в ее черты.

— Степанушка! Стеня! Али ты не узнал меня? — с нежным упреком произнесла пришедшая.

— Нет, узнал, — сухо ответил Разин.

Но и на его холодном лице отразилось волнение и какое-то другое чувство. Стоявшая перед ним женщина была когда-то его женой. Была! Да она и теперь его жена: вот тот перстенок с бирюзой, который когда-то, в ту весеннюю ночь, он сам надел ей на пальчик. Помнит он эту ночь — они не забываются. Но чем-то другим, какою-то пеленою заслонились воспоминания этой давно минувшей ночи. После нее были другие ночи — не здесь, не на Дону, а на море...

— Встань, Авдотья, — более мягким голосом сказал атаман, — тебе сказали, что у нас здесь нет жен.

— Сказали, — ответила жена Разина, — да я не к мужу пришла, а к атаману.

— Сказывай же, с чем пришла? — спросил тот.

— Я при них не скажу, — указала она на казаков.

— У меня от них тайны нет, — возразил атаман.

— Так у меня есть, — с своей стороны возразила жена атамана, — отойдем к стороне.

Разин нетерпеливо пожал плечами, но исполнил то, чего требовала от него жена.

Когда она передала ему что-то на ухо, Разин сделал движение не то удивления, не то досады. Жена продолжала говорить что-то с жаром. Глаза атамана сверкнули гневом.

— А, дак они вот как! — глухо произнес он. — Ладно же! Я им покажу! Атаманы-молодцы! — громко обратился он к кругу. — Нынче же в Черкасской! Слышите?

— Слышим, батюшка Степан Тимофеевич! Любо! — гаркнули казаки.

— А тебе, Авдотья, спасибо за вести, — сказал Разин жене. — Теперь уходи восвояси: тебе здесь не место.

— Не место! А персидской любовнице было место! — крикнула жена атамана.

Глаза оскорбленной женщины и жены сверкали негодованием. Не такого приема ожидала она от мужа после стольких лет разлуки. А он словно царь какой принял свою — когда-то Дуню, желанную, суженую. В этот момент она забыла, что сама когда-то знать его не хотела, когда он был неведомым бродягой и шатался с такими же бродягами... А теперь он — царь, настоящий царь!.. «Спасибо за вести, а нам тебя не надо... тебе здесь не место!..» Бессильная злоба кипела в ее душе...

И как на зло — бывший ее муж стал теперь еще красивее: седина в курчавой голове так шла к его черной бороде... ког-

да-то она ласкала эту бороду, эту буйную голову... После нее ласкала другая...

Эта была милее, желаннее.

— Не место! Жене не место, а любовнице — место! — повторила она злобным шепотом.

— Авдотья! — тихо, сдержанно сказал ей муж. — Уходи, если не хочешь сейчас же напиться донской воды.

— Хочу! Утопи меня! — настаивала упрямая казачка.

— Ты не стоишь этого! — махнул рукою Разин, и начал готовиться к походу в Черкасск.

Жена бросилась было за ним, но потом, закрыв лицо руками, со слезами ушла с майдана.

Скоро ее каючок отчалил от берега и скрылся во мраке.

«Не солоно хлебала», — сказал про себя провожавший ее до каюка молодой ловец.

XXVI. НА МОСКВУ — ШАПОК ДОБЫВАТЫ

Вести, привезенные из Черкаска женою Разина, были действительно тревожного свойства.

Из Москвы прибыл на Дон бывший недавно в жильцах стольник Еремей Сухово-Евдокимов, который так отличился в прошлом году во время последнего купания стольников и жильцов в Коломенском пруду, что Алексей Михайлович пожаловал его двумя обедами разом. Еще тогда же дворские завистники говорили, что Еремей шибко пойдет в гору после такой «царской ествы, о какой у него и на уме не было».

Действительно, в Сухово-Евдокимове учуяли ловкого малого, который в одно ушко влезет, а в другое вылезет, и раннею же весною ему уже дали серьезное поручение: ехать на Дон с милостивою царскою грамотою, а под рукою разузнать — не затевает ли вновь чего Разин. В Москве уже известно было и о варварском его поступке с дочерью хана Менеды — Заирою, и о том, что он не соединился с прочими донскими казаками, — основал свой особый стан на Кагальнике. Все это очень беспокоило Алексея Михайловича.

Вот с этим-то двойственным поручением и явился в Черкасск Сухово-Евдокимов «с товарищи».

— Я знаю, Еремей, твое усердие: ты и там сух из воды выйдешь, — сказал ему на милостивом отпуске «тишайший», остроумно намекая игрою слов и на его «сухую» фамилию, и на его умение плавать.

— Ну, как бы там из сухого не вышло мокренько, — процедил себе в бороду Алмаз Иванов, который лучше других понимал всю серьезность дел на Дону.

Эти-то вести и сообщила Разину жена, которая оставалась все время в Черкасске, когда муж ее в течение многих лет рыскал с своею «голытьбой» то по Дону и Волге, то по Яику и Каспийскому морю.

В ту же ночь Разин с частью своих молодцов отправился в Черкасск. На Дону в это время начиналось весеннее половодье, и потому удобнее было ехать в Черкасск на лодках. Столица донских казаков, как известно, в половодье была неприступна ни с луговой, ни с нагорной стороны Дона, так как ее со всех сторон окружала вода, и весь Черкасск — его курени, сады и церкви — казалось, плавали на воде.

Утром флотилия Разина неожиданно окружила Черкасск. В станице все переполошились, когда услышали три вестовых пушечных выстрела с атаманского струга, и когда молодцы Разина стали высаживаться на берег и гурьбой, с криками и угрозами по адресу Москвы направляться к соборной площади.

Разин тотчас же приказал бить «сполох», и соборный колокол оповестил всю станицу, что готовится что-то необычайное. Все спешили на площадь — одни, чтоб узнать в чем дело, другие — чтобы только взглянуть на Разина, имя которого успело покрыться так быстро небывалою славою и который представлялся уже существом сверхъестественным: его ни пуля не брала, ни огонь, ни вода, ни сабля; на Волге, например, он расстелет на воде войлочную кошму, сидят на нее и, точно в лодке, переплывает реку; когда в него стреляют, он хватает пули рукою и бросает их обратно в неприятеля.

Но зато станичные и войсковые власти все спешили прятаться от страшного гостя. Войсковою атаман Корнило Яковлев укрылся в соборе, в алтаре, думая, что нечистая сила, с которой знается Разин, не посмеет проникнуть в храм Божий. На соборной площади, или на майдане, собрался между тем круг. Разин вышел на середину круга махнул бунчуком на колокольню, и набатный колокол умолк. Тогда Степан Тимофеевич, с свойственным ему красноречием, с глубоким знанием своего народа и его инстинктов, начал говорить образным, самым пламенным языком о том, как Москва посягает на их казацкие вольности, как бояре задумали обратить весь Дон и все казачество в своих холопий, сделать холопками их жен и дочерей; напомнил им, как князь Долгорукий самовольно казнил их атамана, а его родного брата Тимофея. Он говорил

страстно, убежденно. Это был один из тех народных ораторов, которые рождаются раз в сто лет и за которыми массы идут слепо. Он был грозен и прекрасен в своем воодушевлении, особенно когда говорил о том, что он видел, исколесив русскую землю от Черкаска до Соловков, — что везде страшная бедность, голод, болезни, притеснения, а зато на Москве, в царстве бояр, — какие палаты, какая роскошь! — и все это награблено с бедных, с подневольных, с голодных. И вдруг теперь то же хотят сделать с вольным Доном, с вольными казаками.

Вся площадь, казалось, замерла, слушая страстные речи человека, в котором виделась уже сверхъестественная сила.

Среди слушателей была и его жена. Она робко затерлась теперь в толпе и из-за широких спин казаков жадно и благоговейно глядела на своего бывшего мужа. Она теперь не узнавала его, но зато никогда и не любила так, как в этот момент, хотя он вчера и смертельно обидел ее.

«Степанушка! Степанушка мой!» — молитвенно, беззвучно шептали ее губы.

— Где этот московский лазутчик, что хочет казаков в дурни пошить? — вдруг оборвал свою жгучую речь Разин, обратившись к своим молодцам. — Подать мне его сюда!

Казаки бросились исполнять приказание атамана.

Через несколько минут Сухово-Евдокимова и его товарищей, московских жильцов, ввели в казачий круг.

— Долой шапки! — крикнул Разин. — Здесь вам не кабак!

Оторопелые послы московского царя сняли шапки.

— Ты зачем сюда приехал? — спросил атаман, подступая к Сухово-Евдокимову.

— Я приехал с царскою милостивою грамотою, — отвечал последний.

— Не с грамотою ты приехал, а лазутчиком — за мною подсматривать и про нас узнавать! Так вот же тебе!

И Разин со всего размаху ударил царского посланца по щеке.

— Чего вам от нас нужно? — продолжал атаман. — Али и без нас мало вам с кого кровь высасывать! Мало вам холопий ваших, да крестьян, да оброчников, да ясачных! Мало вам на Москве палат, что на холопских костях сложены! У нас вон нет каменных палат — одни курени да мазанки. Чего ж вам надо? наших голов? Так нет же! Вот тебе грамота!

И он снова ударил посла.

— В воду его! — махнул он бунчуком.

Казачи набросились на несчастного и избивали его до полусмерти. Затем потащили к Дону и, еще живого, бросили с атаманского струга в воду.

— Ну-ка, боярин, полови стерлядей у нас во Дону! У вас на Москве их, слышь, нету, — издевались казаки над своей жертвой.

— Пуцай плавает к туркам — они добрее Москвы!

Искусный пловец тотчас же пошел ко дну.

— Ишь — только ножкой дрыгнул...

— Постой, атаманы-молодцы! Погоди, не топи его! — кричала с берега голытьба.

— Что так, братцы?

— А цветно платье зачем топить? У нас зипунов нету — сымем с боярина цветно платье.

Казачи согласились с доводами голытьбы и тотчас же бросились в другие лодки, чтоб баграми отыскивать утопленного.

Труп скоро был вытасчен из воды, не успев еще окоченеть. Зато тем легче было его раздевать — и его действительно раздели донага.

— Эко зипун завидный! Да и рубаха и порты знатные!

— А то на! Эко добро да в воду! Жирно будет.

— А сапоги-ту! Сафьян рудожолт — загляденье!

— Только чур, братцы — и зипун, и рубаху, и порты, и онучи, и сапоги — все в дуван! — по жеребью.

— А крест тельной? И его в дуван?

— Знамо! Мы не басурманы: на нас, чаю, тоже кресты.

И обнаженное тело московского посла снова бросили в Дон.

— Чать и ракам надо чем-нибудь кормиться.

— Вестимо....

— А Шапка, братцы, боярская иде? — спохватилась голытьба. — шапки не видать!

— Да! шапка! шапка! иде шапка? неужто утопили?

— Шапка, должно, в кругу осталась, там его атаманы били.

Бросились в круг искать шапку.

— Иде боярска шапка? Подавай шапку в дуван!

Разин, увидев мечущуюся голытьбу, лукаво улыбнулся.

— Эх, братцы, я вам на Москве таких шапок добуду! — сказал он задорно.

— На Москву, братцы! На Москву — шапок добывать! — закричала голытьба.

— На Москву! За батюшкой Степаном Тимофеевичем — шапки, зипуны добывать! — стонал майдан.

И среди этой бушующей толпы только одни глаза с любовью и тоскою следили за каждым движением народного героя: то были глаза его жены с намернувшимися на ресницы слезами. Но она не смела подойти к нему.

Вечером того же дня флотилия Разина возвращалась в Кагальник. Но это была уже не прежняя маленькая флотилия: почти весь Черкасск ушел теперь за атаманом, захватив все лодки, какие только были в станице.

С одного струга неслась заунывная песня и грустная мелодия ее далеко разлеглась по воде. Один голос особенно отчетливо выводил:

«Как во городе, во Черкасском,
У одной-то вдовы было семь сынов,
А восьмая — дочь несчастная.
Возлекая-то сестру, все в разбой пошли,
Своей матушке все наказывали:
— Не давай-ка без нас сестру в замужье...»

Вечер был тихий и теплый. Полная луна серебрила и поверхность широко разлившегося Дона, и прибрежные кусты тальника, и развесистые вершины тополей. С луговой стороны неслись по воде трели соловья...

Разин сидел на носу своего струга в глубокой задумчивости: эта песня напомнила ему детство... А теперь? Он грустно покачал головой...

Если б он поднял глаза к нагорному берегу, под которым плыл его струг, то увидел бы силуэт женщины, которая шла за стругом высоким берегом Дона и от времени до времени утирала глаза рукавом.

XXVII. ВАСЬКА УС

Весна и лето настоящего года принесли Алексею Михайловичу много несчастий и огорчений. Тяжел был для него и предыдущий — 1668 год; но то был год високосный — он и не ожидал от него ничего хорошего.

А теперь так и повалила беда за бедою.

В начале марта царица Марья Ильинишна, с которою они прожили душа в душу двадцать лет, умерла от родов. За нею через два дня умерла и новорожденная царевна.

Из Малороссии, с Дона, с Волги — отовсюду неутешительные известия. Малороссию раздирают смуты: там разом борются из-за власти семь гетманов — Многогрешный, Дорошенко, Ханенко, Суховиенко и Юрий Хмельницкий — и кровь льется рекою.

Разин, после зверского убийства в Черкасске Сухово-Евдокимова, уже двигается с своими полками к Волге.

Вдоль всего среднего Поволжья волнуются татары и другие инородцы, которых поднимают против царских воевод Багай Кочюрентеев да Шелмеско Шевоев.

«А еще бояре в думе назвали челобитье их непутевым — и их же батоги бить велено нещадно, — вспоминает Алексей Михайлович свою оплошность, — оплошка, точно оплошка».

И патриарх Никон, сидя в Ферапонтове в заточении, продолжает гневаться — не шлет царю прощения...

«Сердигует святейший патриарх, сердигует... И протопоп Аввакум не шлет с Пустозерска благословения...»

«Ох, быть беде, быть беде!» — сокрушается Алексей Михайлович.

И беда действительно надвигалась.

В начале мая Разин с своими толпищами уже приближался к Волге несколько выше Царицына. Бесконечная панорама этой многоводной реки всегда воодушевляла этого необыкновенного разбойника. Он ехал впереди своего войска на белом коне, которого прислал ему в подарок покойный гетман Брюховецкий.

При виде величественной реки, раскинувшей здесь свои воды по затонам и воложкам почти на необозримое пространство, Разин снял шапку точно перед святыней. Поснимала шапки и ватага его. Разин воскликнул:

— Здравствуй, Волга-матушка, река великая. Жаловала ты нас, сынов твоих, допрежь сево златом-серебром и всяким добром; чем-то теперь ты нас, Волга-матушка, пожалуешь?

Но в то же мгновение он как будто вспомнил что-то и как-то загадочно посмотрел на своего есаула: в душе атамана что-то давно назревало против Ивашки Черноярца.

По Волге между тем двигалась его флотилия с пешею гольтьбою. Вся Волга, казалось, стонала от песни, которая неслась над водою. Гольтьба пела: «Вниз по матушке по Волге...»

В это время из соседнего оврага показалось несколько всадников. Передний из них на поднятой над головою пике держал какую-то бумагу.

Всадники эти при приближении Разина сошли с коней и поклонились до земли.

— Встаньте! Кто-вы? — спросил Разин, останавливая коня.

Всадники поднялись с земли. Это были, по-видимому, татары — всех человек пятнадцать. Впереди них были, как ка-

залось, атаман и есаул: один худой и высокий, другой приземистый.

— Кто вы? — повторил Разин.

— Мы синбирские татаровя, мурзишки, батушка Степан Тимофеич: я — мурзишка Багай Кочюрентеев, а он — мурзишка Шелмеско Шевоев, — отвечал высокий татарин. — Мы к тебе, батушка Степан Тимофеич.

— С каким делом?

— С челамбитьям, батушка.

И Багай подал Разину бумагу. Разин передал ее есаулу.

— Вычитай, — сказал он.

Ивашка Черноярец развернул бумагу и стал читать:

«Славному и преславному атаману вольного войска донского, батюшке Степану Тимофеевичу, бьют челом, и плачутся синбирские татаровя, а во всех их место Багай Кочюрентеев сын да Шелмеско Шевоев сын: жалоба нам, батюшка Степан Тимофеевич, на государевых воевод да на подьячих да на служилых людей; били мы, сироты твои, челом великому государю и плакались, что мы-де, сироты его государевы, его государеву пашню пашучи, лошаденка покупали и животишка свои и достальные истоцали, а за его государевою пашнею ходячи, одежонко все придрали, и женишка и детишка испроели, и нынече, государь, помираем голодною смертью; а одежонко нам, государь, сиротам твоим государевым, купить не на что и нечем, и мы-де, государь, сироты твои государевы, погибаем нужною смертью, волочась с наготы и босоты. И за то челобитье нас, государь батюшка Степан Тимофеевич, сирот твоих, указано бить батоги нещадно. Атаман государь, смилуйся, пожалуй».

Разин внимательно прослушал все челобитье, и брови его сурово сдвинулись.

— Так за это челобитье вас и драли? — спросил он.

— За этам челамбитьям, батушка, наш войвод секил нас батогам нещадным, — отвечал смиренно Багай.

— Добро. Я и до вашего воеводы доберусь, — сказал Разин. — А теперь поезжайте домой и ждите меня, да и всем — и в Саратове, и в Самаре, и в Синбирске скажите, чтоб меня ждали! Я приду...

Татары усердно кланялись. В это время по дороге из Царицына еще показались двое всадников. Разин тотчас узнал их: то были казаки, его лазутчики, которых он предварительно подослал в Царицын, чтоб они заранее предупредили в городе своих единомышленников о скором прибытии атамана с войском. Единомышленники должны были тайно, ночью, отворить городские ворота для незваных гостей.

Разин, да и все казаки с удивлением заметили, что у одного из лазутчиков на седле сидел какой-то ребенок, и казак-лазутчик бережно придерживал его рукой.

— Это что у тебя за пройма? — спросил Разин.

— Да вот сам видишь, батюшка Степан Тимофеевич, — калмычонок, — отвечал казак, — девочка сиротка.

— Да где ты ее добыл и зачем? — недоумевал Разин.

— Да вот, видишь ли, атаман: повернули это мы уже из Царицына — там тебя ждут не дождутся! Коли смотрим — идет навстречу нам калмычка с ребенком на руках; да как увидела нас — и ну улепетывать! — испугалась нас, должно быть. Я кричу этто: «Стой! стой! не бойся!» А бежала она, дура, яром, да к Волге, — а яр-от крутой, она возьми да и споткнись — и полетела вниз с кручи, да прямо в Волгу. Вода-то полая подошла к самой круче — глыбко там, — калмычка-ту и бултыхни в воду, только пузыри пошли. А эта пигалица как-то зацепилась за коренья барыни-ягоды, застряла — орет. Я и взял ее, жаль крошку. Калмычка, должно думать, нищенка, шла из Дербетевых улусов в город побираться; а как увидела нас, ну, знамо, заячий дух напал — и бултых в воду: сказано — дура баба.

Маленькая калмычка, совсем голенькая, точно бронзовая, лет, может, двух или немного больше, во время этого рассказа доверчиво глядела на Разина и усердно жевала изюм, сама доставая его из пазухи своего спасителя, а спаситель этот захватил малую толику изюму в Царицыне у знакомого армянина. Встречая ласковый взгляд своей бородатой няньки, девочка весело улыбалась.

Разин также с доброю улыбкою глядел на черненькое, косоглазое и косматое существо, и в нем заговорило хорошее чувство: он вспомнил, что судьба не дала ему детей от его Дуни, с которою он давно расстался; но, быть может, она дала бы ему эту отраду в жизни от другой, от той...

Он как-то машинально поманил к себе маленькую калмычку, и она с улыбкой потянулась к нему, быть может, потому, что он был в богатом с золотыми кистями кафтане. Он взял ее и посадил к себе на седло, и девочка тотчас же занялась кистями.

Казаки с удивлением, а татары просто с умилением смотрели на эту невиданную сцену: страшный атаман с ребенком на руках!

«Черт с младенцем!» — не одному казаку пришло на ум это присловье.

Но забавляться ребенком не приходилось долго. Разин опять передал маленькую калмычку ее спасителю.

— Куда ж мы ее денем? — спросил он.

— Оставим у себя, атаман, — не бросать же ее как котенка, — отвечал казак. — Все равно — матери у нее нет, а тащиться с нею до Дербетевых улусов — не рука, да и там оно, поди, с голоду околеет; а у нас, по крайности, забавочка будет.

— Ишь ты, бабу в казацкий стан пущать! — улыбнулся есаул.

— Какая она баба. Козьявка, одно слово — мразь.

Разин махнул рукой:

— Ну, ин пущай!

Но едва они двинулись вперед, как справа, по возвышенному сырту замелькали толпы народа — и пешие, и конные.

— Кому бы это быть? — удивился Разин. — Царские рати так не ходят; да это и не воеводская высылка, не разъезд.

И он тотчас же приказал казакам разведать — что там за люди. Несколько казаков поскакали по направлению к сырту. Издали видно было, как там, в неведомой толпе, при приближении казаков, стали поднимать на пиках шапки. Другие просто махали шапками и бросали их в воздух.

— Кажись, наш брат — вольная птица, — заметил Разин.

— Что-то гуторят, руками на нас показывают, — с своей стороны заметил есаул. — Не калмыки ли?

— Нет, не калмыки: ни колчанов, ни стрел — ничего такого не видать.

Теперь посланные скакали уже назад. Они, видимо, чему-то были рады.

— Ну, что за люди? — окликнул их Разин.

— Нашей станицы прибыло, батюшка Степан Тимофеевич! — кричали издали. — Васька Ус бьет тебе челом всею станицей!

— А! Вася Ус, — обрадовался Разин, — слыхом слышали, видна птица по полету! Что ж, милости просим нашей каши отведать: а уж заварить заварим! Он раньше меня варить начал.

— Раньше-то, раньше, — подтвердил Ивашка Черноярец, — да только каша его пожиже нашей будет.

— Кулеш, по-нашему, по-запорожски, — пояснил один казак из бывших запорожцев.

Скоро толпы Васьки Уса стали сближаться с толпами Разина. Гольтьба обнималась и целовалась с гольтьбою и ка-

заками. Шум, говор, возгласы, топот и ржание коней... картина становилась еще внушительнее.

Сошлись и атаманы обоих толпищ. Васька Ус, проникнутый уважением к славе Разина, хоть был и старше его и летами, и подвигами, первый сошел с коня и снял шапку. Это был маленький, худенький человечек, из дворовых холопий, уже седой, с усами неровной величины: один ус был у него выщипан по приказанию его вотчинника за то, что он, будучи доезжачим, раньше своего господина затравил в поле зайца. За этот ус Васька и мстил теперь всем боярам и вотчинникам, и за этот выщипанный ус он и получил свою кличку.

Разин тоже сошел с коня, и оба атамана трижды поцеловались.

— Батюшка Степан Тимофеич! — поклонился Ус. — Прими меня и мою гольтьбу в твое славное войско.

— Спасибо, Василий, а как по отчеству величать — не знаю, — отвечал Разин.

— Трофимов, — подсказал Ус.

— Спасибо, Василий Трофимыч!..

— А я с тобой, батюшка Степан Тимофеич, и в огонь, и в воду.

— И на бояр? — улыбнулся Разин.

— О! Да на этих супостатов я как с ковшом на брагу!

XXVIII. СМЕНА ЧАСОВЫХ

Ночь перед Царицыным.

Полный диск луны и бледные звезды показывают, что время давно перевалило за полночь. Стан Разина, обогнувший с трех сторон городские стены, давно спит; только от времени до времени в ночном воздухе проносятся караульные оклики:

— Славен город Черкасской! — несется с освещенного луною холма, что высится у обрыва над речкою Царицею.

— Славен город Кагальник! — отвечает ему голос с другого берега речки Царицы.

— Славен город Курмояр! — певуче заводит голос с темной стороны предместья.

— Славен город Чиры!

— Славен город Цымла!

Это перекликаются часовые в стане Разина. Им вторит дружное кваканье лягушек, раздающееся в камышах да в осоке по берегу Царицы. Там же от времени до времени раздается глухой протяжный стон, наводящий страх в ночной тиши:

но это стонет небольшая с длинною шеей водяная птица — бугай или выпь!

Безбрежная равнина водной поверхности Волги кое-где сверкает растопленным серебром.

Чудная весенняя ночь!

Разин лежит в своем атаманском намете с открытыми глазами. Ему не спится, его томит какая-то глухая тоска. Как клочья громадной разодранной картины проносятся перед ним сцены, образы, видения, звуки из его прошлой бурной жизни: то пронесется в душе отголосок давно забытой песни, то мелодия знакомого голоса, то милый образ, милое видение, — и опять мрак, или зарево пожара, или стон умирающих...

Но явственнее всего перед ним носится милый образ. В намете у него темно, но он видит это милое личико, точно оно сходит откуда-то вместе с бледным светом месяца, проникающим в шатер через отдернутую полу намета. Он не может его забыть, не может отогнать от себя это видение... Отогнать! Но тогда что ж у него останется?..

Он старается прислушаться к окликам часовых, к ночным неясным звукам. Но среди этих неопределенных звуков слышится чей-то детский плач...

Нет это сонное пение петуха в городе...

— Славен город Раздоры!

— Славен город Арчада!

На светлую полосу в намете, освещенную месяцем, легла как будто прозрачная тень. Разин всматривается и видит, что эта тень приняла человеческие формы...

Что это? Кто это? Но тень все явственнее и явственнее принимает человеческий облик...

— Это она — Заира! Она нагибается над ним, и он слышит тихий укор ее милого голоса: «Зачем ты это сделал? Я так любила тебя...»

— Славен город Курмояр!

— Славен город Кагальник!

Разин в испуге просыпается... Но и теперь его глаза продолжают видеть, и он ясно сознает это несколько мгновений: как легкая, прозрачная, точно дым от кадила, тень отошла за отдернутую полу намета и исчезла в лунном свете. Ему стало жаль, что он проснулся и отогнал давножданное видение. Если бы не эти оклики часовых, она осталась бы дольше с ним.

Он закрывает глаза. Он ждет — может быть, повторится видение... Слышен какой-то свист со стороны Волги, что-то знакомое напоминает этот свист... Да, он вспоминал — вспо-

минал высокие камыши в заводях Каспийского моря, такую же ночь прошлого года и тихо качающийся с морской зыбью струг... Так же и тогда свистела эта ночная водяная птичка — это овчарик... Но тогда он не один прислушивался к свисту этой ночной птички.

Со стороны города опять доносится пение петуха. Это, должно быть, уже третьи петухи. Скоро должны прийти из города те, которые отпрут городские ворота. Но нет, до зари еще далеко.

Не слышать более окликов часовых. Да это и не нужно. Кто же осмелится напасть на спящий стан Разина? Да и кому нападать?

Слышится чей-то вздох, тихий-тихий, как вздох младенца...

Разин открыл глаза... Что это? Опять она! На лице ее грустная улыбка... Он слышит опять ее голос. «Зачем ты ему поверил? Он только хотел погубить меня... Он не хотел, чтоб я была твоя...»

— Кто он? — глухо спросил Разин и сам проснулся от своего голоса.

Но он теперь знал, кто он... Он и прежде это знал. Если бы не его наушничество, она бы и теперь была жива. Это сознание давно его мучило, и он уже давно терзался глухою ненавистью к своему есаулу. Он всему виною!

Разин встал и вышел из шатра. До утра еще далеко.

— Славен город Раздоры!

— Славен город Арчада!

Это опять оклики часовых, но их самих не видать.

Разин обогнул угол своего просторного намета и в тени, бросаемой им от месяца, увидел спящего есаула. Ивашка Черноряец лежал на разостланной бурке. В головах у него было седло, а руки подложены под голову. Он лежал лицом вверх, растянувшись во весь рост.

Разин вынул из-за пояса, из оправленных серебром и бирюзою ножен, длинный персидский нож и по самую рукоятку всадил его в грудь своего есаула, под самым левым сосцом.

Черноряец открыл глаза...

— Атаман! — с ужасом прошептал он.

Разин быстро повернул нож в груди своей жертвы и вынул.

— Это тебе за нее! — глухо произнес он.

Убитый даже не шевельнулся больше.

Тщательно вытерев нож об бурку и вложив в ножны, Разин пошел вдоль своего стана. Казалось, он прислуши-

вался к ночным звукам. Кваканье лягушек умолкло, но вместо них в камышах Царицы заливалась очеретянка. По временам стонала выпь и насвистывал овчарик. На Волге, вправо от Царицына, длинная водная полоса сверкала серебром.

— Кто идет? — слышался оклик часового.

— Атаман, — отвечал Разин.

— Пропуск.

— Кагальник.

Разин шел дальше. Видны уже были очертания городских стен и длинная черная тень тянулась от крепостной башни с каланчою.

— Славен город Москва! — глухо донеслось с каланчи.

— Славен город Ярославль!

— Славен город Астрахань!

Это перекликались часовые на стенах города. И Разину вдруг ясно представилось, как эти города, которые теперь славят часовые, будут его городами, особенно Москва. И он вспомнил маленькую келейку в монастыре у Николы на Угреше и Аввакума, прикованного к стене этой келейки. Бедно и сурово в келье, только солома шуршит под ногами узника. А там, в городе — какие палаты у бояр! Какое убранство на их конях, сколько золота на их одежде! Сколько соболей изведено на их шубы, на шапки!

И этот город будет его городом! Он станет среди Москвы, на Лобном месте, станет и крикнет, как тогда обещал Аввакуму: «Слышишь, Москва! Слышите, бояре!» И услышат этот голос во всей русской земле, за морем услышат!

Из-за обрыва, спускавшегося к Царице, осторожно выюркнула человеческая фигура и, увидев при свете месяца Разина, попятилась назад.

— Кто там? — окликнул Разин и взялся за свой персидский нож.

— Васька Ус, — был ответ, — а в придачу — Кагальник.

— А, это ты, старина? — удивился Разин. — Что полуночничаеть?

— Не спится, атаман, дак ребят поверяю.

— Каких ребят?

— Часовых... Который из их задремит — я того и смеяю.

— Как сменяешь?

— Вот этим самым ножом. — Васька Ус показал широкий нож, на котором видна была свежая кровь. — Который часовой меня не окликнет и я подкрадусь к ему — тому прямо нож под микитки — и баста! Уж тот что за часовой, к которому подкрасться можно — последнее дело: я того и сменяю. Я всегда такту, батюшка Степан Тимофеич, и у меня никогда часовой не задремит — ни-ни! ни Боже мой! Уж это все знают.

— Ну и молодец же ты, Василий Трофимыч! — удивился Разин. — Вот умно придумал! Молодец! Ну, а я не дошел до этого, не додумался...

— Ничего, атаман, Бог простит, — утешал его разбойник.

— Ну и что ж, сменил кого? — спросил Разин.

— Двух сменил-таки — порешил... Другим наука.

— Ну и молодец же ты! — похлопал разбойника по плечу Разин. — Будь же ты за это моим есаулом!

— А Иван Черноярец что? — удивился в свою очередь Васька Ус. — Не хорош?

— Я его тоже сменил, как ты молодцов, — отвечал Разин.

— А-а! — протянул Ус.

Из оврага, идущего от Царицы, послышался протяжный, очень осторожный свист. Разин отвечал таким же свистом, только два раза.

Из оврага вышел человек в поповском одеянии.

— Здравствуй, отец протопоп, — поздоровался с ним Разин.

— Здравствуй, батюшка Степан Тимофеевич, — отвечал пришедший.

К нему подошел Васька Ус и снял шапку.

— Благослови, отче, — сказал он, протягивая руку горстью, как за подачкой.

— Во имя Отца и Сына... — благословил пришедший.

— Ну что, отец Никифор? — спросил Разин. — Уговорил?

— Уговорил — все готово, хоть голыми руками бери город.

В это время в стане послышались голоса, говор, шум.

— Злодеи! Есаула, зарезали!

— Это Васькины ребята! Вяжи злодеев! Где Васька?!

— Батюшки! И часовой зарезан!

Разин с улыбкой переглянулся с своим новым есаулом, и они поторопились в стан.

Начинало светать.

XXIX. ВОЕВОДА ТУРГЕНЕВ НА ВЕРЕВКЕ

Едва первые лучи солнца позолотили кресты и главы царицынских церквей, как казаки двинулись к городу.

Разин и его новый есаул ехали впереди, — Разин с бунчуком в руке, Васька Ус — с обнаженною саблей.

Разинцы подступали к городу двумя лавами: одна шла к тому месту, где пологий вал и городская стена, казалось, представляли наиболее удобств для приступа, хотя эта часть стены и башни была защищена пушками; другая лава подавалась вперед, правее, к тому месту, которое казалось неприступным и где находились городские ворота, прочно окованные железом.

Разин попеременно находился то в голове правой лавы, то в голове левой.

Воевода Тургенев, недавно назначенный командиром Царицына, и стрельцы, его подкомандные, по-видимому, спокойно ожидали приступа, потому что, с одной стороны, уверены были в невозможности взять крепость без стенобитных орудий, с другой — что со дня на день ожидали прибытия по Волге сверху сильного стрелецкого отряда.

Тургеневу и другим защитникам Царицына очень хорошо видно было со стен, как Разин разъезжал впереди своей, казалось, нестройной толпы. Тургенев, высокий и плотный мужчина с сильною сединою в длинной бороде, стоял на стене, опершись на дуло пушки, и, казалось, считал силы неприятеля.

— Дядя, — обратился к нему стоявший рядом молодой воин в богатых доспехах, — дозвожь мне попугать орла-стервятника.

— Какого это, племянник? — спросил воевода.

— А вон того, что на белом коне — самого Стеньку.

— А чем ты его попугаешь?

— Вот этой старушкой! — он указал на пушку.

— Добро — попробуй: только наводи верней.

Молодой воин при помощи пушкарей навел дуло орудия на Разина. Взвился дымок и грянул выстрел. Ядро не долетело до цели и глухо ударилось о глинистую сухую почву.

Разин издали погрозил бунчуком.

Правая лава между тем достигла городских ворот и остановилась. Разин поскакал туда.

Вдруг в городе, как бы по сигналу, зазвонили колокола во всех церквах. Воевода с удивлением глянул на окружающих.

Со стены, ближайшей к воротам, послышались крики:

— Батюшки! Злодеи в городе! Их впустили в ворота.

Действительно, Разин беспрепятственно вступил в город в голове правой лавы: городские ворота были отворены перед ним настежь.

Навстречу новоприбывшим от собора двигалось духовенство в полном облачении, с крестами и хоругвями. Впереди, с распятием в руках, шел тот священник, соборный протопоп Никифор, которого мы уже видели ночью около стана Разина. Рыжая, огненного цвета борода его и такие же волосы, разметанные по плечам, горели под лучами солнца, как червонное золото.

Разин сошел с коня и приложился к кресту. При этом он что-то шепнул на ухо протопопу, и тот утвердительно наклонил голову. Затем стали прикладываться к кресту казаки.

Между тем на площади расставляли столы для угощения дорогих гостей. Сначала робко, а потом все смелее и смелее начали выходить из своих домов царицынцы, и спешили на площадь.

Колокольный звон смолк, и духовенство возвратилось в собор.

Царицынцы со всех сторон сносили на площадь калачи, яйца, всякую рыбу и горы сушеной и копченой воблы. Мясники резали волов, баранов, и тут же на площади свеживали и потрошили убоину. Другие обыватели разводили костры, жарили на них всякую живность и сносили потом на расставленные столы, а с кружечного двора выкатывали бочки с вином.

Всем, по-видимому, распорядился соборный протопоп, отец Никифор. Его огненная борода мелькала то здесь, то там.

— Ишь, как батько-то хлопчет — так и порывается, — судачили царицынские бабы, глаза на приготовления к пиру.

— Да и как, мать моя, не хлопотать горюну. Все это чтоб насолить супостату своему, воеводе жеребцу, за дочку.

— Что и говорить, милая, дочка-то у него одна, что глазок во лбу, а он, волк лихой, и польстись на девчонку.

— Эка не видал, девчонка! — ввязалась в разговор Мавра, известная на весь Царицын сплетница. — Онамедни девка сама к яму, к воеводе-то, бегала.

— Плещи, плещи, язва! — осадил ее первая баба.

— Не плещу я! А ты сама язва язвенная! — окрысилась сплетница. — Ишь, святая нашлась. Сама, своими глазонками видела, как она, Фроська-то, шмыгнула к нему в ворота — так и засветила рыжей косой.

— Тьфу ты, негодница! Помолчала бы хоша, сама была девкой, — отвернулась первая баба.

— Глядь, глядь-ко-ся! мать моя! — удивилась вторая баба. — Чтой-то у того казака на руках? Никак, махонька калмычка.

— И то, милая, калмычка, да совсем голенька. Должно, на дороге подобрали.

— Ах, бедная! Семь-ка я сбегаяю, принесу ей рубашонку от моей Фени.

И сердобольная баба побежала за рубашкой для маленькой калмычки.

Вскоре начался и пир. За почетным столом поместился Разин с своим новым есаулом, а также все казацкие сотники. Их угощал отец Никифор.

За соседним столом восседали на скамьях другие сподвижники Разина, и в том числе Онуфрий Лихой, тот самый, что вчера привез в казачий стан маленькую калмычку. Девочка сидела тут же, на коленях у своего седобородого покровителя, и, беспечно поглядывая своими узенькими глазами на все окружающее, серьезно занималась медовым пряником. Она была явно довольна своей судьбой — как сыр в масле каталась, чего она в своем улусе никогда не испытывала. Теперь она была в чистенькой рубашонке, и даже в ее черную как смоль косенку была вплетена алая ленточка. Все это оборудовала сердобольная баба.

Пир, между тем, разгорался все более и более. Слышно было оживление, громкие возгласы, смех. Разин, разгоряченный вином и подчиняясь своему огневому темпераменту, громко объявил, что он во всей русской земле изведет неправду, переведет до корня все боярство...

— На семена не оставляю! Ордина-Нащокина с сыном Воином на кресте Ивана Великого повешу!

— Марушка! Марушка! Подь сюды, ходи через стол.

Это манил через стол маленькую калмычку казачий пятидесятник, Яшка Лобатый, коренастый увалень, первый силач на Дону. Девочке же дали подходящее имя: ее назвали Марушкой.

— А где воевода? — вспомнил, вспомнил наконец Разин. — Подать сюда воеводу!

— Да воевода, батюшка Степан Тимофеич, заперся с своими приспешниками в башне, — отвечал поп Никифор.

— А, в башне? Так я его оттудова выкурю. Атаманы-молодцы! За мной! — крикнул Разин, вставая из-за стола.

Сотники, пятидесятники и другие казаки, пировавшие поблизости, обступили атамана.

— Идем добывать воеводу! — скомандовал Разин. — Щука в вершу попала — выловим ее!

— Шуку ловить, шуку ловить! — раздались голоса.

— В Волгу ее! Пушай там карасей ловит!

Ватага двинулась к крепостной башне. Впереди всех то-ропливо шел поп Никифор. Полы его рясы раздувались, а рыжие волосы ярко горели на солнце.

— Ай да батька! Ай да долгогривый! — смеялись казаки. — Да ему хоть в атаманы, дак в пору.

Башня была заперта. На крики и стук в башенную дверь в одну из стенных прорезей отвечали выстрелом, никого, впрочем, не ранившим.

— А! шука зубы показывает! — крикнул Яшка Лобатый. — Так я ж тебя!

И он побежал куда-то к площади. Вскоре оказалось, что богатырь нес на плече громадное бревно, почти целый брус.

— Сторонись, атаманы-молодцы! Ушибу! — кричал он.

Все посторонились, а богатырь со всего разбегу ударил бревном в башенную дверь. Дверь затрещала, но не упала. Лобатый вновь разбежался, — и от второго удара дверь подалась на петлях. Последовал третий, сильнейший удар — и дверь соскочила с петель.

— Ай да Яша! Он бы и лбом вышиб! — смеялись казаки.

И Лобатый же первым бросился вверх по лестнице. За ним другие казаки. Разин стоял внизу рядом с попом Никифором.

— Шуку не убивайте, молодцы! — крикнул он вверх.

Оттуда доносились шум борьбы, крики, стоны. В несколько минут все было покончено — никого не оставили в живых. Пошадил только воеводу. Его снес с башни Лобатый словно куль с овсом.

Как безумный подскочил к несчастному поп Никифор и ударил его по щеке.

— Н-на! Это тебе за Фросю! За ее девичью честь! — говорил он задыхаясь, и тут же накинуд на шею воеводы веревку. — На осину его, на осину Иуду!

— Нет, бачка, он не твой, — сказал Разин, отстраняя попа. — Он наш — войсковой; что круг присудит, то с ним и будет. Сказывайте ваш присуд, атаманы-молодцы, — обратился он к казакам.

— В воду шуку — карасей ловить! — раздались голоса. — В Волгу злодея!

— Быть по-вашему, — согласился Разин. — А теперь скажи, воевода, — обратился он к Тургеневу, — за что ты

грабил народ? Али тебя царь затем посадил на воеводство, чтоб кровь христианскую пить? Мало тебе своего добра, своих вотчин? Не отпирайся — я все знаю: про тебя, про твое неистовство и на Дону уж чутка прошла. Кайся теперь, проси прощения у тех, кого ты обидел.

Тургенев молчал. Он знал, что его не любили в городе. Он видел, как сбежавшиеся на шум царицынцы враждебно смотрели на него.

— Православные! — обратился Разин к горожанам. — Что вы скажете.

Все молчали. Всем казалось страшным говорить смертный приговор беззащитному человеку.

— Казни, батюшка, казни злодея!

Все оглянулись в изумлении. Страшный приговор произнесла баба! И то была — сплетница!

— Ах, ты, язва! — не утерпела сердобольная баба, которой стало жаль человека, стовшего перед толпой с безропотной покорностью.

Послышался лошадиный топот. Это прискакал гонец с верхней пристани.

— Стрельцы сверху плывут — видимо-невидимо! — торопливо сказал он.

Разин глянул на Тургенева и махнул рукой. Казаки поняли его жест.

— В воду щуку! К стрельцам на подмогу! — заговорили они.

Один из казаков взял за веревку, которая все еще висела на шее воеводы, и потащил к Волге, к крутому обрыву. Толпа хлынула за ними в глубоком молчании.

Вдруг откуда ни возьмись — молоденькая девушка, которая быстро пробилась сквозь толпу и с воплем бросилась на шею осужденному.

— Сокол мой! Васенька! Возьми и меня с собой! Без тебя я не жилица на белом свете!..

— Владычица! Да это Фрося! — всплеснула руками сердобольная баба!

Это и была дочка попа Никифора: искрасна золотистая коса, жгутом лежавшая на спине девушки, подтверждала это кровное родство с рыжим попом, который весь задрожал, увидев дочь в объятиях ненавистного ему человека.

Тургенев с плачем обнял девушку...

— Бедное дитя, прости меня! — шептал он.

— Меня прости, соколик, — я погубила тебя.

Но казаки тотчас же разняли их.

Обрыв был под ногами — и воеводу толкнули туда. Не успели опомниться, как и девушка бросилась туда же, и Волга мгновенно приняла обе жертвы.

Поп Никифор стоял над кручей и рвал свои рыжие космы.

XXX. СТРУГИ С МЕРТВОЙ КЛАДЬЮ

Разин между тем делал распоряжения о встрече стрельцов, которые плыли сверху на защиту как собственно Царицына, так и других низовых городов.

Все свое «толпище», как иногда называли в казенных отписках его войско, он разделил на две части: одну половину, меньшую, под начальством Васьки Уса, он оставлял в городе, с другою, большею, и сам выступил для встречи московских гостей и для усиления отряда, находившегося на его флотилии.

Есаул должен был выстроить свой отряд вдоль городских стен, обращенных к Волге, и всю крепостную артиллерию расположить так, чтобы она могла обстреливать всю поверхность Волги вплоть до небольшого островка, лежащего как раз против Царицына и заросшего густым тальником и верболозом.

Лодки же, на которые он посадил часть пехоты, он приказал отвести за островок и там укрыть их за верболозом. Он это сделал для того, что когда стрельцы, подплыв к городу и встретив там артиллерийский огонь с крепостных стен, вздумают укрыться за островом, то чтобы там их встретил не менее губительный огонь с флотилии, которая и должна была отрезать стрельцам отступление.

Сам же он с небольшим отрядом конницы пошел вверх берегом прямо навстречу московским гостям.

Скоро показались и струги с стрельцами. Издали уже слышно было, что стрельцы шли с полной уверенностью «разнести воровскую сволочь», и на первом же струге раздавалась удалая верховая стрелецкая песня, до сих пор раздающаяся по Волге от Рыбинска, в то время Рыбное, до Астрахани. Стрельцы пели:

«Вдоль да по речке, вдоль да по Казанке
Сизый селезень плывет!
Ишь ты, поди ж ты, что ж ты говоришь ты, —
Сизый селезень плывет!»

Но стрелецкое пение вдруг оборвалось, когда с берега казаки, среди которых было немало из волжского бурлачья, гаркнули продолжение этой песни:

«Вдоль да по бережку, вдоль да по крутому
Добрый молодец идет:
Он с кудрями, он с русыми
Разговаривает!
Ишь ты поди ж ты, что ты говоришь ты, —
Разговаривает!»

Увидев на берегу небольшой отряд, стрельцы направили свои струги ближе к берегу и открыли по казакам огонь. Казаки отвечали им тем же, и началась перестрелка.

По мере усиления огня, казаки отступали, все более и более приближаясь к городу. Стрельцы из этого заключили, что казаки не выдерживают огня, и пустились за ними вдогонку.

Но в это время со стен города, о взятии которого казаками стрельцы и не подозревали, открыли по стругам убийственный огонь. Пораженные неожиданностью, стрельцы не выдержали артиллерийского огня и повернули от города, чтоб укрыться за островом, но там их встретила такая же убийственная пальба из засады.

Царское войско растерялось, поражаемое с двух сторон и ядрами, и пулями. Но стрельцы все-таки упорно защищались, и только тогда, когда две трети их было перебито, стали просить пощады.

Разин велел прекратить пальбу и привести струги с остальными стрельцами к берегу.

Когда струги причалили к берегу, казаки стали считать убитых и насчитали более пятисот трупов. В живых осталось до трехсот стрельцов.

Они вышли на берег и кланялись победителю. Разин сказал им:

— Коли хотите служить мне, оставайтесь со мною, а нет...

— Хотим, хотим, батюшка Степан Тимофеич! — закричали побежденные. — Мы шли против тебя неволею... Прости нас!

— Добро, — сказал Разин, — оставайтесь с нами. А чтобы воеводам да боярам впредь неповадно было перечить мне, я им покажу, какая ждет их широкая Масленица. Атаманы-молодцы! — крикнул он казакам. — Снарядимте-ка два струга, которые будут залишние, и изукрасим их, как вон в песне поется:

«Хорошо были стружочки изукрашены,
Они копиями, знаменами, будто лесом поросли».

А мы изукрасим их получше, поцветнее.

Казачи, по-видимому, не понимали его и ждали, что будет дальше. Тогда Разин указал на два морских струга из тех, которые им были оставлены прошлою осенью в Царицыне после морского похода и стояли теперь у пристани порожние.

— Вот что, братцы, — сказал он, — снесите всех убитых стрельцов на эти струги, снесите поровну, а там я скажу, что дальше делать. Помогайте и вы, ребята, — сказал он оставшимся в живых стрельцам. — А у кого в кармане сыщите деньги, снесите их есаулу — в дуван пойдут.

Все принялись за работу, не понимая, для чего это, и скоро оба струга наполнены были трупами. Разин взошел на один из стругов.

— Эх, — обратился он к трупам, — жаль мне вас, горюны, да что делать! Коли лес рубят, то и щепки летят... А я — ох какой лес задумал вырубить! — заповедной! Да хочу вырубить дочиста, чтоб и побегов не осталось.

Он задумался, глядя на обезображенные лица мертвецов.

— Ну, теперь, брат, распоясывайте у мертвецов кушаки! — снова заговорил Разин.

Казачи повиновались. Когда было распоясано несколько десятков на том и другом струге, Разин остановил эту странную работу.

— Ну, довольно, братцы: есть чем изукрасить стружочки, — сказал он. — Теперь развешивайте мертвецов по всем снастям — вот как в Астрахани белорыбицу либо осетрину, а то и воблу развешивают вялить да балыки провесные делают... Да чтоб понаряднее были — все бы снасти и мачты, и шесты изнавесить боярскими балыками... Пущай любуются да кушают на здоровье... А я из них таких балыков наделаю!

Только теперь все поняли, к чему клонились эти странные распоряжения атамана.

И вот казаки и стрельцы принялись развешивать мертвецов, подвязывая их к снастям кушаками.

Страшную картину представляло это необычайное зрелище. Из Царицына все население высыпало смотреть на то, что делали казаки. Весь берег был усыпан зрителями.

Разин ходил по стругу, иногда останавливался и задумывался, качал головою, как бы отгоняя назойливые мысли, и потом встряхивал кудрями и отдавал приказания:

— Выше, выше подвешивай! Да шапку набекрень надень... Так, так — ладно... Каковы балыки! Это я моему другу любезному, князю Прозоровскому... Пущай отпишет к Москве тестеньке своему Ордину-Нащокину, каковы-таковы казаки бывают... А то на! — перевести казаков, вольный Дон

да Волгу-матушку перелить в Москву-реку да в Язу... Захлебнетесь Доном да Волгою... Я вам не Ермак дался — не поклонюсь ни Доном, ни Волгою, ни казацкою волею, как тот поклонился — царством сибирским: глуп был батюшка Ермак Тимофеич, не тем будь помянут... Да, отольются волку овечьи слезки... Ей! Этого гладкого на самый верх посадите, на палю, как вон у запорожцев да у турок делают — так, так... ишь, важно на пале сидит! А то на — милостивая грамота... похваляем, а там и в бараний рог, как старца Аввакума... Нет, я вам не Аввакум!..

Когда ужасная оснастка стругов была окончена, Разин обратился к стрельцам:

— А кто ваши головы? — спросил он.

Стрельцы отвечали:

— Были у нас, батюшка Степан Тимофеич, пять голов с нами из Казани послано, да ноне в бою твоими казаками трое из них убиты до смерти, а осталось только двое, — вот они.

Разин подозвал их к себе. Те стояли ни живы, не мертвы.

— Я всех начальных людей, и голов, и бояр, убиваю, — сказал Разин. — Вас я не трону: вы так головами и останетесь; одного из вас я посажу на один струг, другого на другой. Плывите в Астрахань с своими стрельцами, как плыли сюда из Казани, и кланяйтесь от меня астраханскому воеводе, князю Прозоровскому, и скажите, что я ему балыков посылаю... Вон какие осетры висят! Да скажите астраханцам всякого звания людям, что я чиню расправу только над боярами да мироедами, а бедных людей не трогаю: бедные — мои братья, и все мы промеж себя ровня. Слышали?

— Слышали, батюшка Степан Тимофеич, — покорно отвечали стрелецкие головы.

— Так помните, что я вам сказал, и астраханцам всякого звания людям передайте мои речи от слова до слова, как я сказал, — заключил свою речь Разин.

Стрелецкие головы поклонились.

— А теперь, — обратился Разин к казакам, — снесите на оба струга корму всякого и питья на неделю, и больше того, чтоб головам было чем дорогою кормиться. Живо!

Казаки бросились исполнять приказание атамана, и через несколько минут из города принесено было множество калачей, несколько окороков, балыков, копченой воблы и несколько бочонков вина.

— Это вам корм, — сказал Разин головам, — голодные не будете. Да не перепейтесь дорогой!

Головы кланялись и благодарили.

— А чтоб вы не бежали с дороги, я вас обоих велю приковать — каждого к своему рулю, — пояснил Разин: — рулем-то вы будете править, а бежать не бежите... Гребцов вам не надо: сама Волга-матушка донесет вас до Астрахани. Эй, атаманы-молодцы! Принесите две якорных цепи, да подлиннее, и прикуйте господ голов — каждого к своему рулю.

Казаки принесли две цепи и исполнили, что им приказывал атаман: одного стрелецкого голову поместили на одном струге с мертвецами и приковали, другого — на другом, и тоже приковали.

Затем оба струга с мертвой кладью и с прикованными рулевыми отвели на середину Волги и пустили на произвол судьбы.

Струги тихо поплыли по течению...

Зрелище было до того ужасно, что многие стрельцы, те, что остались в живых, глядя, как уплывали их мертвые товарищи, горько плакали.

Разин долго провожал струги глазами и затем молча вошел в город.

XXXI. СТРАШНАЯ ВЕСТЬ

Царь Алексей Михайлович, впечатлительный и мечтательный по природе, поэт в душе, говоря современным языком, очень любил всякую торжественную обрядность и «действие», вроде «пещного действия», а впоследствии и «комедийных действий». Нравились ему и благочестивые зрелища с обрядовою обстановкою, и благочестивое, душеспасительное песнопение странников и калик перехожих, и он охотно слушал духовные стихи о «богатом и убогом Лазаре», «о грешной душе» и т. п.

И теперь, когда он занимался в своей образной горнице с дьяком Алмазом Ивановым, на заднем крыльце Коломенского дворца сидели двое калик перехожих, о которых он слышал от царевен и в особенности от царевны Софьи, что они поют разные «зело предивные стихи».

Дела были неотложные. С нижней Волги с самого ее вскрытия не было вестей, а между тем ходили слухи, что Разин с Дону уже двинулся к Волге. Нужно было озаботиться о снаряжении на Волгу, в «плавную службу», как можно более ратных людей с верхней Волги и с Камы. Поэтому сегодня должен был выехать на Вятку с государевою «памятью» молодой Ордин-Нащокин, Воин, который с ратными

людьми просился в Астрахань — на всякий случай — в помощь к тестю своему, к князю Прозоровскому.

Вот эту «память» и докладывал теперь царю Алмаз Иванов. О взятии Разиным Царицына и о разгроме посланных из Казани стрельцов до Москвы еще не дошли слухи, так как единственный путь для сношения с низовыми городами — Волга — был уже в руках у казаков, один отряд которых, посланный Разиным из Царцына вверх по Волге, овладел Дмитриевском, что ныне Камышин.

— Да, да, настали для нас «злые дни», — говорил Алексей Михайлович как бы сам с собою, пока Алмаз Иванов надевал очки чтобы читать память, — надо торопить с плавной службою. Ну, вычти...

Алмаз Иванов начал читать:

— «Лета 7179-го, мая 30 день, по государеву цареву и великого князя Алексея Михайловича всея Руси указу, память Воину Ордину-Нащокину. Ехать ему на Вятку, для того: по государеву указу, велено быть на государевой службе, в плавной, с боярином и воеводою, со князем с Юрием Борятинским с товарищи, с Вятки ратным людем полтрети тысячи человеком; да велено на Вятке для государевы плавныя службы сделать сто стругов».

— Сто стругов? Не мало? — спросил государь.

— В первую версту, государь, довольно, — отвечал дьяк.

— Добро. Ну?

Дьяк продолжал:

— «А послан из Казани для тех судов Офонька Косых. И Воину, приехав на Вятку, отдать от боярина и воеводы от князь Юрия Борятинскова с товарищи дьяку Сергею Резанцеву с товарищи ж отписку, и говорить им, чтоб они собрали на Вятке ратных людей полтрети тысячи человек тотчас, с вогненным и с лучным боем, и рогатины б у них с прапоры были; а были б ратные люди молоды и резвы...»

— Не то что мы с тобой, — улыбнулся Алексей Михайлович.

— Где ж нам, государь, холопам твоим, тягаться с твоею государевою резвостью! — пробурчал дьяк свой придворный комплимент, и продолжал доклад: — «И из пищалей бы стрелять были горазды, а старых бы и недорослей в них не было. А как на Вятке ратных людей сберут, и Воину с теми ратными людьми ехать в Казань тотчас с вешнею водою вместе, а Офонасью Косых со стругами велеть ехать в Казань тот же час не мешкая, чтоб за тем государеве службе молчания не было. А не пришлют с Вятки ратных людей вскоре, по госу-

дареву указу, всех сполна, а государеве службе учинитца за ними молчание, и вятчан пошлют из прогонов и пеню им учинят по государеву указу».

Алмаз Иванов кончил.

— Быть по сему, — заключил государь. — Пушай же Воин едет без молчания. Все доложил?

— Все, государь, — отвечал дьяк, собирая в сумку докладные свитки.

Дьяк откланялся и вышел, а государь отправился на девичью половину. Там, в покоях царевны Софьи, он застал постоянного посетителя девичьих покоев Симеона Полоцкого, который продолжал заниматься с любознательной царевной, а также приятельницу ее, молоденькую жену Воина Ордина-Нащокина, Наталью Семеновну, и Артамона Сергеевича Матвеева с своею юной воспитанницей, Натальей же Кирилловной Нарышкиной.

— А! И ты, старый, тут с молоденькими, — милостиво поздоровался государь с Матвеевым.

Матвеев стал замечать, что Алексей Михайлович, встречая иногда у дочери юную его воспитанницу, обращал на нее особенное внимание, и, казалось, она ему серьезно нравилась. Это и заставило его учащать к Софье Алексеевне с своею «царевною Несмеяною», как он называл ее за то, что она почти никогда не смеялась и хорошенькие глазки ее были всегда серьезны и задумчивы.

— Да вот, государь, моя-то царевна Несмеяна соскучилась по государыне царевне Софье Алексеевне, я и привез ее, — отвечал Матвеев, кланяясь. — А я у нее и мамка, и нянька.

— Что же, дело хорошее, — заметил Алексей Михайлович, — нам, старикам, чем же иным и быть, как не няньками?

— Помилуй, государь! — возразил Матвеев. — Не тебе бы это говорить, не нам бы слушать! Тебе, великому государю, самая верста жениться.

Алексей Михайлович поспешил замять этот разговор и обратился к Симеону Полоцкому.

— А слышал ты, Симеон Ситианович, что ноне весной было трясение земли в Персиде? — сказал он, садясь около дочери.

— Сказывали, государь, — отвечал ученый белорус. — Был трус и в Греках.

— А отчего оное трясение земли бывает? — спросил государь.

— Я знаю, батюшка, отчего, — отозвалась Софья.

— О! Да ты у меня всезнайка, — улыбнулся государь. — А ну-ну, расскажи.

— Оттого, — начала царевна по-книжному, — егда ветры внидут в скважни под землю и паки оттуда исходят имут, и не могут поразиться вон, и тогда от них бывает трясение земли.

— Так, так... Ну, а с чего эти скважни бывают? — допытывался государь.

— А с того — где земля вельми жестока, там есть на всяком месте вода под тою землею в исподе, и егда та бездна водная подвизается от ветров и вон выразится вода жестокости ради земныя не может, тогда раздирает землю великою силою, и сице ту страну двигает, — скороговоркой проговорила Софья, как заученный урок¹.

Симеон Полоцкий с любовью смотрел на свою ученицу — она не ударила лицом в грязь.

— Да, дивны дела рук Божиих, — задумчиво проговорил Алексей Михайлович и потом, обратясь к молодой Ординой-Нащокиной, с улыбкой спросил: — А что, Наталья, будешь плакать, муженька провожамши на ратное дело?

— Я уж и так, государь, плакала, — вспыхнула молодая женщина. — Я б и сама с ним, коли можно, к батюшке поехала.

— О-о, пряткая! — улыбнулся государь. — А впрочем, что дивить! Уж коли матушки-игуменьи не испугалась — бежала к жениху, дак вора Стеньки и подавно не испугаешься.

Молодая беглянка еще больше покраснела. Но Софья Алексеевна замяла этот разговор.

— Что ж, батюшка, позвать калик? — сказала она.

— Позови, позови, — согласился Алексей Михайлович.

Царевна вышла и вскоре воротилась, но уже не одна: за нею, осторожно ступая, как бы опасаясь провалиться, вошли в светлицу два странника. Один из них, помоложе, был совсем слепой: волосы его, сбившиеся шапкой и никогда, по-видимому, нечесанные, падали на лоб и на слепые глаза. Другой был зрячий старик, но без правой руки. Войдя в светлицу, они разом поклонились земно, а потом, стоя на коленях, проговорили, осенясь крестным знамением:

— Благословение дому сему и всем обитающим в оном.

— Аминь, — набожно сказал царь. — Встаньте, страннички — куда, путь держите?

¹ «Книга глаголемая Лусидариус».

— К преподобным Зосиме-Савватию на Соловки, — отвечал слепец.

— А откуда Бог несет?

— С Астрахани, государь-батюшка.

Этот ответ произвел общее движение. Молодая Ордина-Нащокина даже привскочила на месте.

— Из Астрахани? — переспросил Алексей Михайлович. — А что там слышно? Что воевода, князь Прозоровский?

— Были мы, государь-батюшка, у воеводы, — отвечал зрячий, — он нас милостиво принял, отпустил с миром и с милостынею и велел помолиться святым угодникам о здравии твоём, великий государь, всего государева дома, да велел еще помолиться о здравии рабы божьей Натальи...

— Батюшка, родной мой! — вырвалось у Ординой-Нащокиной.

— Да приказал еще воевода, — продолжал старший калика, — помолиться об избавлении града Астрахани от вора и супостата Стеньки Разина.

— А что об нем слышно, где он? Над кем промысл чинит? — встрепенулся Алексей Михайлович. — Оттудова давно нет вестей.

— Слышно, надежа-государь, сказывали, будто вор город Царицын добыл и воеводу предал лютой смерти, — отвечал чуть слышно калика.

— Боже Всемогущий! — воскликнул Алексей Михайлович, бледнея. — Пощади люди твоя, и грады, и веси, всемилостивый Господи! Что ж еще слышно, сказывайте.

— Ох, надежа-государь! — заплакал старший странник. — Не слышали мы, а сам я своими глазами видел злое дело его — как и глаза у меня не ослепли от того, что видели... Прощли мы это уж Енотаевский город и Черный Яр, идем Волгою, бережочком, коли слышим: птица это каркает, воронье, да коршуны и орлы клекочут, аж страшно стало. Смотрю я: птица над Волгой тучею носится — так хмарою и застилает небо. Дале — боле, надежа-государь, вижу я: кружит та хмара не то над высокими деревьями, не то над островом каким, и то подымается хмара, то спустится к тем деревьям. Дале — ближе, государь-батюшка, вижу я: то не дерева и не острова, а плывут по Волге как бы две посудины — не то расшивы, не то струги большие, а на снастях у тех стругов изнавешено что-то будто красное, а на том красном понасело птицы видимо-невидимо: и коя птица стаями садится на те снасти, да на то красное, а коя птица хмарою

кружит, да каркает, да клекочет — и уму непостижимо! Дале — ближе, надеженька-государь, вижу ясно: плывут два больших струга, а помосты-то у них — вымолвить страшно! — устланы мертвыми людьми — мертвец на мертвце, — и все то стрельцы...

— Стрельцы! — в ужасе проговорил царь.

— Стрельцы, надежа-государь, — продолжал калика, — сотни их там понаметано, либо и тысячи, и на снястях-ту все висят стрельцы: что их там изнавешено, и сказать не умею! А на всем этом трупе сидит воронье да орлы, да коршуны, и клюют те трупы, и дерутся промеж себя за добычу, и каркают, и клекочут, и тучею-хмарою кружат! Волосы ожили у меня на голове, надежа-государь, дыбом встали! Мы стоим, смотрим, да только крестимся. А струги все плывут тихо, все плывут. И слышим мы, надежа-государь, с тех стругов гласы человеческие: «Люди божьи! Помолитесь об нас, грешных, — об рабе божьем Ларивони, да об рабе божьем Панкрате: мы-де стрелецкие головы, посланы были с Казани с ратными людьми для обережения низовых государевых городов, и супостат-вор Стенька над нами-де воровской промысл под Царицыном учинил и всю государеву рать мало не до единого перебил вогненным смертным боем, а нас-де, Ларивона да Панкрата, оставил в живых для того: плыли б мы, Ларивон да Панкрат, с мертвою государевою ратью в Астракань на двух стругах, и поклонились бы астраканскому воеводе, князю Прозоровскому, мертвою государевою ратью, и сказали б воеводе, чтоб он скоро ждал к себе его, вора Стеньки, приходу. А мы-де, — говорят Ларивон да Панкрат, — прикованы к стругам цепью».

Как громом поразила всех эта страшная весть. Алексей Михайлович, бледный, с дрожащими губами, растерянно озирался. Симеон Полоцкий крестил и дул в лицо молодой Ординой-Нащокиной, которая лежала в обмороке. Юная Нарышкина Наталья вся дрожала и плакала. Матвеев Артамон Сергеевич тоже растерялся. Одна царевна Софья, по-видимому, не растерялась: бледная, с плотно сжатыми губами, она подошла к отцу, который как-то беспомощно шептал: «Злодеи, злодеи...»

— Батюшка, касатик! — взяла она его за руку. — Пойдем... созови сейчас думу... бояр всех, дьяков... За тебя станет вся русская земля — за тебя Бог...

И как бы в подкрепление мужественных слов юной царевны, калики тихо, молитвенно запели:

«Ой, у Бога великая сила...»

XXXII. БРАТСКИЕ ПОХОРОНЫ И ПОХОД

Струги с мертвой кладью достигли наконец Астрахани.

Этот страшный караван с мертвецами, расклеванными до костей хищными птицами, прежде всех увидели астраханские рыбаки, закидывавшие тони выше Астрахани. Как и калики переходящие, они не могли сначала понять, что такое плыло по Волге и почему над этим неведомым «что-то» тучами кружились и кричали птицы.

Но скоро и для них это «что-то» — что-то страшное — стало понятным, особенно когда струги подплыли ближе и с ним слышались слабые человеческие голоса, скорее — два стоны, исходившие от каждого струга. Приблизившись к ним в лодках, рыбаки, не смея взойти на страшные плавучие кладбища, от прикованных к рулям стрелецких голов узнали всю ужасную их историю. Невольные рулевые были чуть живы, но все еще настолько владели мускулами рук, что могли с трудом направлять свои струги по стрежню реки: они боялись приткнуться где-либо к берегу или к острову, чтоб не погибнуть голодною смертью за недостатком корма. Когда же они плыли мимо Черного Яра и Енотаевска, то жители как того, так и другого, узнав, что это за струги такие и какую они кладь везут, с ужасом уплывали от них к берегу.

Выслушав эту страшную историю, астраханские рыбаки тотчас же поспешили с ужасною вестью в город.

— Недаром тогда старый Илья Осипов из рыбного ряду сказывал, когда, летось, мы пымали тех ужасенных трех осетров, что послали тады одного государю-царю, другого — святому владыке патриарху, а третьим поклонились батюшке Степану Тимофеичу, — недаром, чу, Осипов сказывал, что с самой той поры, как в Астракане у нас царила Маришка-безбожница с Ивашкою Заруцковым, таких осетров в Волге не видывали, — говорил один старый рыбак, поспешая с товарищами в город. — Должно, и ноне будет государствовать над нами батюшка Степан Тимофеич.

— Дай-то Бог! — отозвался на это молодой пловец из затинщиков.

— Так-ту так, милый, може, и будет он государствовать, да надолго ли? — возразил старый ловец. — У бояр-ту на Москве сила не махонька.

Рыбаки тотчас же поспешили к воеводскому подворью.

Князь Прозоровский в это время объезжал у себя на дворе прекрасного карабахского коня, присланного ему из Испагани в подарок персидским купцом Сэхамбетом в благодар-

ность за то, что в прошлом году, когда Разин ограбил на Каспийском море купеческую персидскую бусу, везшую поминки шаха царю Алексею Михайловичу, и захватил в полон ехавшего на этой бусе сына Сэхамбета, князь Прозоровский своим влиянием на Разина, смягченного тогда любовью к прекрасной Заире, способствовал выкупу из полона молодого перса.

Вместе с отцом упражнялся на дворе в верховой езде и старший сынишка князя, десятилетний княжич Степа, под руководством опытного наездника, пятидесятника конных стрельцов Фрола Дуры.

— Я теперь, батя, и своего тезки не испугаюсь, Стеньки Разина, — хвастался мальчик, трепля гриву своего смирного киргизского конька.

— О, княжич! — улыбался его ментор, Фрол Дура. — Да Стенька теперь тебя сам испугается. Вон какой ты ратник — страх!

— Да, — улыбался и воевода, — по нынешним временам, сынок, нам нужны ратники: не ровен час — опять нагрянет чадушка.

В это время вошли на двор рыбаки.

Принесенная ими весть до того ошеломила всех, что воевода явно растерялся. Он не ожидал, что в смирившемся было крамольнике опять проснулся кровожадный зверь. Послав тотчас же конного пятидесятника с этим известием к своему товарищу, к князю Семену Ивановичу Львову, он приказал вместе с тем созвать к себе всех стрелецких голов, а сам поскакал к митрополиту Иосифу — просить его совета.

Едва он вошел во владычные палаты, как под окнами раздалась крики:

— Плывут! Плывут струги с мертвецами!

Услышав страшную весть, митрополит тотчас же поспешил в соборную церковь, приказав по пути немедленно собраться туда же и прочему духовенству.

Скоро от собора к Волге потянулась церковная процессия с крестами, иконами и хоругвями. Митрополит и прочее духовенство были облачены в черные ризы. За процессией повалил народ со всех концов города.

На Волге процессию ожидало потрясающее зрелище. Выехавшие с пристани навстречу стругам ловцы и ратные люди плавной службы буксировали к берегу страшные струги. Испуганные необычным движением на берегу, вороны, сидевшие на трупах и кружившиеся в воздухе, оглашали воздух еще более оглушительным карканьем. В толпе слышался плач

женщин и детей, и весь этот плач и карканье хищных птиц покрывал похоронный звон всех астраханских церквей.

Наконец, струги были прибуksированы к берегу и на борты их кинуты сходни. Когда стрельцы отковали прикованных к рулям голов и свели их под руки на землю, митрополит и священники, поднявшись по сходням и не вступая на струги, где за трупами негде было стать, начали общее отпевание на брани побитых.

В воздухе почти не слышно было трупного запаха, потому что мертвецы обклеваны были птицею до костей, а от многих и кости были растащены и разнесены по степям орлами и коршунами.

За воплями женщин почти не слышно было погребальных гимнов, и только кадильный дым вился струйками в воздухе и таял, да от времени до времени с крепостных стен пушкари и затинщики пушечными выстрелами отдавали последнюю почесть погибшим в бою товарищам.

Между тем на кладбище Троицкого монастыря сторожа и боярские холопы, по распоряжению городского приказчика, копали несколько огромных ям для общих братских могил.

Из города в то же время выслано было на пристань несколько телег для перевозки трупов, и скоро началась страшная процессия перенесения их с стругов в телеги. Зрелище было потрясающее!

Но когда хор митрополичьих певчих вместе со всем духовенством возгласил стихирю Иоанна Дамаскина: «Плачу и рыдаю, всегда помышляю смерть», и когда в этом надрывающем душу пении слышались такие слова, как «вижу красоту твою, безобразную и бесславную, не имущую виду», или «как предаюсь тлению», то со всех сторон слышались глухие рыдания...

Плакал и князь Прозоровский. Никогда не мог он и подумать, чтобы когда-нибудь привелось ему видеть такое зрелище, или чтобы, отправляясь на воеводство в Астрахань, он мог ожидать, что еще будет когда-либо плакать так, как в последний раз плакал, четыре года тому назад, в Москве, в Новодевичьем монастыре, когда там постригали, а ему казалось — хоронили его любимицу, юную дочку Натальенку...

«Плачу рыдаю» — стонало у него в душе, и он плакал, плакал, как бы предчувствуя, что через несколько дней и его самого будут стрельцы тащить такого ж «безобразного, бесславного, не имущего виду» и бросят в общую могилу с сотнями таких же как и он «бесславных и обезображенных...»

И вот под заунывный, нестройный, но тем более удручающий душу перезвон колоколов всех астраханских церквей потянулся ряд телег с мертвецами к Троицкому кладбищу, — телега за телегой, по тряской и изрытой водородинами дороге, а трупы в лохмотьях, в красных, изодранных когтями и клювами орлов и коршунов стрелецких кафтанах, точно недобитые и недоеденные, подпрыгивали на этих водородинах и еще более увеличивали тем ужас общей картины. За ними валил толпами народ, жадный до всякого рода зрелищ, даже до таких, каково было это...

Скоро на кладбище образовалось около десятка высоких земляных бугров.

А к вечеру — новое зрелище. За день воеводы и стрелецкие головы успели снарядить и вооружить до сорока больших морских стругов и посадить на них около трех тысяч ратных людей — стрельцов и других служилых с князем Львовым во главе. Флотилия эта должна была идти навстречу Разину и истребить его «воровское толпище» до последнего человека.

С возгласами и песнями отплывали стрельцы от Астрахани. Чтобы показать свою удадь, стрельцы, едва отплыли от берега под прощальные выстрелы крепостных пушек, как тотчас же грянули хором любимую тогда всеми ратными людьми «Весновую песню» которая в одном старинном сборнике записана была дословно еще в 1619 году. Запевалой был Костыка-гудошник, и он начал подголоском:

— Сотворил ты, Боже,
Да и небо-землю,
Сотворил же, Боже,
Весновую службу.
Не давай ты, Боже,
Зимовья службы!

С берега певцам махали шапками, ширинками — это бабы. На соседнем струге подхватили другим хором, низкими голосами:

— Зимовая служба —
Молодцам кручинно
Да сердцу надсадно.
Ино дай же, Боже,
Весновую службу:
Весновая служба —
Молодцам веселье,
А сердцу утеха.

— Любо! Любо! — кричали стрельцы из вятичей и ветлужан. — Ай да понизовые! У нас так не сумеют голосом низы забрать.

Понизовые, поощряемые похвалами, наддавали верхними голосами с подголосками:

— А емлите, братцы,
Яровы весельца,
А сядемте, братцы,
В ветляны стружочки,
Да грянемте, братцы,
В яровы весельца
Ино вниз по Волге...

— Не вниз, братцы, а вверх! — поправил Костька-гу-дошник. — Вверх по Волге.

— Ино вверх — точно...

— Сотворил нам Боже,
Весновую службу¹.

Князь Львов, сидя под наметом на передовом струге и слушая эту песню, самодовольно улыбался: он видел, что его ратные люди с добрым духом и с «резвостью» идут против вора и злодея Стеньки.

Скоро флотилия князя Львова скрылась из глаз провожавших ее астраханцев, а они все стояли на берегу и прислушивались к молодецкому пению, все более и более замиравшему вдали.

Флотилии этой, однако, не суждено было воротиться в Астрахань...

Что с нею случилось — это мы узнаем из последующих глав.

XXXIII. «ОНИ ТАМ, А МЫ ТУТ...»

Прошло несколько томительных дней ожидания возврата стрельцов с князем Львовым; но ни стрельцов, ни вестей никаких сверху не было.

Только однажды, на заре, знакомые нам ловцы, закинув тони несколько выше Астрахани, вместе с осетрами и бело-рыбицей вытащили — к ужасу — несколько трупов. Закинули еще — и опять утопленники!

Но когда хорошенько рассмотрели обезображенные и распухшие да притом изъеденные раками лица мертвецов, то хотя

¹ Эта замечательная песня записана, как сказано выше, в 1619 году, для оксфордского бакалавра Ричарда Джемса вместе с другими шестью песнями, в том числе знаменитые песни царевны Ксении Годуновой, которые и донныне хранятся в Оксфорде. Напечатаны в «Известиях II отд. Акад. Наук».

с трудом, однако же распознали в них тех стрелецких голов, сотников и дворян, которые отправились против Разина вместе с князем Львовым. Не оставалось никакого сомнения, что и эту высылку, состоявшую почти из трех тысяч стрельцов и других ратных людей, постигла та же участь, какую испытала под Царицыном прежняя высылка из Казани.

Астрахань, таким образом, должна была готовиться ко всему.

— Я давно знал, что так оно и выйдет, — лукаво заметил, отпихивая подальше в воду веслом тело одного стрелецкого головы, тот молодой ловец из затинщиков, который охотно ожидал в Астрахань батюшку Степана Тимофеевича.

— А ты почему, возгряк, знал про то? — спросил старик рыбак.

— Мне сказывал Костька-гудошник, — отвечал мальчик. — Мы-де, говорит, спевку сделали промеж себя и всем нашим головам да сотникам зальем за шкуру сала, чтоб они напередки не заедали нашего кормового да посошного жалования.

Плывшие по Волге трупы этих голов да сотников были, наконец, усмотрены с берега и в Астрахани и выловлены. Не нашли между ними только князя Львова. Где он? Что с ним?..

Ждать было спасения неоткуда, а тем более из Москвы: не было более пути, по которому можно было бы тайно послать в Москву гонца с вестью о предстоявшей Астрахани гибели, потому что Волга была в руках Разина, а посылать через степь было бесполезно: там по всем направлениям рыскали калмыки, давно озлобленные против русских воевод за их грабежи и притеснения.

Оставалось одно — запереться в городе и укрепиться.

В тот же день совершен был крестный ход вокруг городских стен. Ход был особенно торжественный и внушительный: церковная святыня всех астраханских церквей, хоругви, кресты, горящие громадные свечи в массивных паникадилах, — все двигалось вокруг стен, а впереди всего этого шествовала величайшая святыня города — икона Божией Матери в драгоценном окладе. У каждых ворот шествие останавливалось и воздух оглашался молебствием и пением всех церковных хоров и всего духовенства. День был такой тихий, что свечи горели на воздухе и пламя их совсем не колебалось. Над процессией кружили стаи голубей, вполосенных церковным звоном и пением.

Вместе с процессией двигался весь город, особенно женское население. Во главе шествия, позади духовенства, шел воевода и внимательным взором осматривал городские стены и ворота. Тут же шла и княгиня Прозоровская с двумя сы-

новьями. Старший мальчик шел бодро, уверенно. Казалось, что он был убежден в истине слов своего «коневого учителя» Фрола Дуры: Степан Разин «сам испугается своего тезки», княжича Степана Прозоровского. Но младший сынишка воеводы, Сеня, был больше занят голубями, между которыми он искал своих любимых турманов.

Однако не весь город участвовал в процессии. Если бы князь Прозоровский мог видеть и прислушаться к таинственным перешептываниям на базарах разных кучек холопий и посадских ободранцев, то он увидел бы в этом нечто зловещее...

А вечером, когда воевода обошел все городские стены и башни, осмотрел пушки и боевые запасы, расставил по местам пушкарей, затинщиков и воротников, роздал стрельцам запасное оружие и приказал стрельчихам кипятить в котлах воду, — стрельчихи коварно между собой переглядывались...

— Ты, Дарьюшка, не больно-то перекипячивай воду...

— Знаю, меня не учить-стать: не перекипячу, не впервой своих стрельчат купать в корытцах...

— Ха-ха-ха! Вот сказала! — стрельчат купать...

— А то как же? Может, и твой сокол ползет на стену, дак и ему кипятком очи заливать? А сподручнее тепленькой водицей...

— Да они там и не ползут... тут мы их сами за белы ручки востягнем на стену...

— Так, так: они там, а мы тут...

XXXIV. РАЗИН В АСТРАХАНИ

Над Астраханью спускаются сумерки.

Тихо над городом и над Волгою. И в городе тихо, как будто все послуло, а между тем никто и не думал спать. Тихо так, что даже слышится в темноте какой-то шепот. Кое-где неслышно перебегают человеческие тени. Слышно даже, как у Волги, под учугами, соловей заливается...

— Не долго тебе, соловушка, петь, — говорит боярский сын, стоя на часах над Вознесенскими воротами, — до Петрова дни уж не далеко.

— И то правда, — тихо отвечает другой часовой, сидя там же «в запасе», — уж и кукушка, сказывают, галушкой подавилась, не кукует боле; и как овес выкинет колос, дак и соловей потеряет голос.

При всеобщей тишине в воздухе, однако, проносятся иногда какие-то неопределенные звуки; но слух не может их

уловить: не то жужжание насекомых, не то шепот прибрежных камышей с осокою.

По небу звездочка прокатилась и сгасла...

— Что это — видишь?

— А что такое?.. а?.. где?

— Гляди, точно лес движется и шевелится.

— Вижу, вижу... Это они!.. Звони в колокол! Бей сполох.

И вдруг в вечерней тишине раздался звон башенного колокола. За ним другой, третий — все башни заговорили. В городе началась тревога. Послышались голоса со стен:

— Воры идут!.. К Вознесенским воротам!

Теперь ясно было видно, как к городу надвигались массы. В темноте можно было различить, что нападающие тащили к стенам лестницы.

Услышав тревогу, князь Прозоровский быстро вышел на двор, где уже ожидал его оседланный карабахский скакун, подаренный ему Сэхамбетом. Тут же на дворе суетливо готовились к бою дворяне, дети боярские, подьячие и стрелецкие головы.

Вложив ногу в стремя, князь приказал трубить.

— Трубачи! — крикнул он. — Трубить к Вознесенским воротам!

Он выехал со двора, за ним остальные служилые люди. Впереди бежали холопы с зажженными смоляными факелами и освещали путь.

Сойдя у Вознесенских ворот с коня, воевода поспешил на стену. От факелов мрак кругом еще более сгустился, так что нельзя было отличить осаждающих. Что-то металось внизу, под стенами, слышны были голоса: «Давай лестницы!.. Приставляй к стенам!.. Дружно, атаманы-молодцы!»

— Лей кипяток на головы им, окаянным! — распоряжался воевода.

Послышался плеск воды со стен.

— Лей дружнее!... Не жалей кипятку!

А внизу вдруг раздается хохот...

— Вода-то у вас, братцы, тепленька! Не замерзла бы! — слышится снизу.

— И впрямь вода не горяча!.. Что за притча!.. Остыла, что ли... — слышны голоса на стене.

Между тем на стене, ближе к Троице, творилось что-то необычайное. Там приставлен был сплошной ряд лестниц, и по ним быстро, но бесшумно взбирались на стену казаки и стрельцы.

Слышен был шепот и сдержанный смех.

— Давай руку! Так, так, взлезай.

— Соколики! Сюда! Сюда! — слышались бабьи голоса. — Мы вас давно ждем.

Слышны поцелуи, радостный говор.

— А где батюшка Степан Тимофеевич?

— Уж он в городе... Город наш!

Астрахань взята была без выстрела. Оказалось, что все тайне было подготовлено для приема Разина и его войска. Согласники его составляли большую часть населения города: и посадские, и стрельцы, и холопы — все ждали его, как своего спасителя, милостивца, защиту от бояр, от приказных, от детей боярских и всякого начальства. Тот трехтысячный отряд, который был отправлен против казаков с князем Львовым, сдался Разину без боя и потерял только своих голов и сотников, которых Разин приказал перебить и побросать в Волгу.

Князя Львова Разин велел оставить в живых и приказал ему ходить за маленькой калмычкой, за Марушкой, с которой казаки не хотели расстаться.

Когда казаки подошли к Астрахани на приступ, то уж они заранее знали, с которой стороны брать ее: они показывали вид, что начнут штурмовать город с Вознесенских ворот, куда и направились все защитники злополучного города, а между тем приставили лестницы к стене там, где их всего менее могли ожидать. Но там ждали их свои — посадские люди, стрельцы и их жены, а также холопы и базарная и кабацкая гольтьба: они-то и подавали руки осаждающим, когда их лестницы немного не доставали до верха стены. Стрельчихи же вместо кипятку налили в чаны, кадки и перерезы теплой воды, в какой они своих детей купают.

В ночной темноте грянули вдруг выстрелы: это был знак, что город в руках у казаков.

Воевода, сбежав со стены, вскочил на своего карабаха и помчался туда, где он слышал крики торжества. За ним ринулись дети боярские, дворяне и оставшиеся верными стрелецкие головы. Но их ждала там гибель: чернь и казаки бросились на них и всех перебили....

Костька-гудошник, заметив воеводу, бросился на него с копьем.

— А, так я ж тебя осажу с коня!

Копье вонзилось в живот воеводы, и князь Прозоровский свалился с своего великолепного карабаха. Испуганный конь умчался, а стонущего воеводу какой-то сердобольный старик на своих плечах стащил в соборную церковь и там положил на ковер.

Городские ворота между тем отворили, и вся масса разинцев двинулась в город и затопила площади и улицы.

Начались неистовства, о которых мы говорить не намерены...

Скажем только, что князь Прозоровский самим Разиным был столкнут с раската, и его защитник, Фрол Дура, изрублен казаками в куски...

Разин пробыл в Астрахани три недели, завел в городе казацкие порядки и уничтожил посты — всем велел есть скоромное.

Сдав город Ваське Усу, как своему наместнику, Разин накануне выступления в поход приказал привести к себе сыновей князя Прозоровского.

— Как зовут тебя? — спросил он старшего мальчика.

— Князь Степан, княж сын Семенов Прозоровской, — бойко отвечал мальчик.

— Мудрено что-то, — зло усмехнулся атаман, — и сам князь, и княж сын, да еще и Степан, мой тезка, значит... Ладно... боярином будешь?

— Буду, — отвечал мальчик.

— Ну, это еще старуха надвое сказала, — снова усмехнулся Разин. — А в казаки хочешь?

— Нет, не хочу.

— Молодец! Из тебя будет прок. А тебя как зовут? — обратился он к младшему.

— Сеней, — отвечал робко мальчик.

— Только-то? А тоже, поди, князь и княж сын... А боярином будешь? Высоко пойдешь?

Мальчик молчал.

— Вот что, атаманы-молодцы, — обратился Разин к окружавшим его, — эти щенята высоко пойдут, как вырастут... Пушай же теперь пойдут повыше... только ногами кверху. Поняли, а? Повесить их за ноги!

Двое из казаков распустили на себе кушаки, связали ноги юным Прозоровским, которые от страха не могли даже плакать, и подвесили их с раската... Тут только послышались крики несчастных детей... Личики их затекали кровью...

— Довольно! Тащи сюда щенят!

Их подняли и развязали.

— Ну, тезка, а теперь будешь боярином? Будешь вешать нашего брата? — спросил Разин старшего.

Мальчик плакал и молчал.

— Аспид будет, — заметил Разин, глядя на него. — Ту-да его — к отцу!

И казаки столкнули мальчика с раската...

— Ну, а этого малыша жаль, — сказал Разин. — А чтоб он не был боярином, все-таки — выпороть его! Подымайте рубашонку.

Ребенка тут же высекли ремнем, но слегка.

— Ну, теперь не будешь боярином, — глядя мальчика по головке сказал Разин. — Сеченый — что за боярин! А теперь отвезите сеченога к матери.

Под раскатом кто-то шел и пьяным голосом распевал:

«Поставлю я келью с дверью,
Стану я Богу молиться,
На Красную горку поститься,
Чтобы меня девки любили,
Крашоные яйца носили.
Или-или, или-или, или!
Крашоные яйца носили!»

— Да это никак поп Никифор? Ах, горемыка!

Это и был, действительно, царицынский соборный протопоп. После ужасной смерти дочери он пристал к казакам и с горя стал пить.

XXXV. С САМИМ ВСТРЕТИТЬСЯ!..

Был уже сентябрь месяц на исходе.

Воин Афанасьевич Ордин-Нащокин, с успехом исполнив возложенное на него царем трудное поручение по сбору ратных людей с при вятских и при камских волостей, находился уже в Казани в распоряжении воеводы Борятинского и ожидал со дня на день выступления в поход, когда рано утром, сидя на берегу озера Булака, куда он ходил, чтобы размыкать свою тоску, к нему подошла старая цыганка и, взглядевшись в него, таинственно проговорила:

— Об чем закручинился, добрый молодец? Коли о том, что на Москве, так ту кручину я руками разведу, а коли о том, что случилось в Астрахани, — так и к той кручине я ума-разума приложу.

Воина поразил этот двойственный намек цыганки.

— А ты почем знаешь о моей кручине? — спросил он.

— Черная птица всюду летала, всюду все видала и добрым людям помогала: поможет и тебе черная птица, добрый молодец, — по-прежнему таинственно отвечала цыганка.

— Чем же она поможет мне?

— А кручину с сердца сымет, а замест кручины — радость положит; а та радость астраханской кручине сродни будет, а тебе, добрый молодец, вдвое сродни, — все также загадочно отвечала цыганка.

Суеверный страх внушали Воину эти слова — он был, сын своего века и верил в чудесное, как Аввакум верил тому, что он беса из-под печки выгнал и скуфьей бил.

— Что ж ты, судьбу мою покажешь мне? — спросил он нерешительно.

— Покажу, — отвечала цыганка. — Ты видишь в озере вон белое оболочко?

Она показала на воду.

— Вижу, — отвечал Воин.

— Так я и судьбу твою вижу из глаз твоих: вон Арбат, а вон Венеция-град — вон, вон — с оболочком все уплыло, и вот новая судьба плывет....

Воин вскочил с места: ему казалось, что он видит сон.

— Почему ж Венеция? — спросил он.

— Не знаю, так мне черная птица говорит... А слышишь, как кто-то «Не белы-то снежки» поет и плачет.

Воин испуганно перекрестился...

— Чур, чур! Сгинь-пропади!

— Полно, добрый молодец, не чурайся! — улыбнулась цыганка. — Ты думаешь, что я бес? Нет, на мне крест — видишь? — и она показала висевший у нее на груди крест.

Воин чувствовал, что им овладевает какая-то таинственная сила, и сила эта исходит от этой неведомой женщины. Но в то же время рассудок говорил ему, что из него хотят что-то выпытать — для чего? для кого?

Вследствие этого, он сам решился выпытать из цыганки, что она действительно знает о нем.

— А ты знаешь, кто я? — спросил он.

— Знаю, кто ты был, и узнаю, кто ты есть, — был уклончивый ответ.

— Кто ж я был? — спросил Воин.

Цыганка посмотрела ему в глаза, потом стала глядеть на воду.

— Вижу: столовая изба — в ней царь сидит и бояре... Какие хохлаты! люди! — большие... царску руку целуют... А после них — тот, что на тебя похож, то ж руку у царя целует... На Арбате в саду ночью соловей заливается, а красная девица в слезах потопает... Сгинул доброй молодец, пошел искать за море живой и мертвой воды... Не нашел живой воды — кручину нашел... Томится добрый молодец, что пти-

ца в клетке: и дверцы отворены, и крылья есть, да летать страшно — коршуны кружат в небе... И запела пташечка: «Не белы-то снежки...» Плачется добрый молодец на свою горькую судьбину...

Цыганка остановилась, а Воин, казалось, все еще слушал ее: перед ним проходила вся его жизнь. Но в то же время он ясно видел, что эта женщина действительно многое знает: несомненно, что ей известны главные моменты из последних лет его жизни. Но откуда она могла узнать все то, что известно только ему одному да его жене? И он решился выпытать, что еще ей известно.

— Хорошо говорит тебе твоя черная птица, — сказал он после небольшого раздумья. — А что она еще скажет тебе?

— Вижу, вижу, — заговорила она снова таинственно, — вон опять плывет оболочко в воде, и за тем за оболочком летит из-за моря пташка... Откуда ни возьмись — коршуны, и пымали бедную пташку... Опять пташка в полону... Это не пташка, а добрый молодец в полону у польских людей... Польские люди спят, а слепые люди выкрадывают добра молодца, и добрый молодец очутился у хохлатых людей... Над Москвою оболочко... В Новодевичьем монастыре всенощная, и добрый молодец там ищет красную девицу, а во место красной девицы — черная черница!

Цыганка вдруг замолчала, и казалось, собиралась совсем уходить.

— Ну, что ж дальше было с добрым молодцем и с черничкой? — спросил с улыбкою Воин.

— Что было — сам знаешь, — неохотно, по-видимому, отвечала цыганка. — А вот что было: —

Как и курочка бычка родила,
Поросеночек яичко снес,
А черничка да сынка привела...

Воин в волнении схватил ее за руку.

— Так это правда?.. У меня сын родился?.. Сказывай?

Но цыганка вдруг вырвалась и побежала берегом Булака в город.

— Куда ж ты? погоди! — кричал ей вслед Воин. — Возьми денег за труд.

— Черной птице твоей казны не надо! — не оборачиваясь отвечала цыганка и скрылась.

В странном смущении остался на берегу Булака Воин. Что от него нужно было этой цыганке? Несомненно — она из Москвы и кем-нибудь подслана. Но кем? От кого она могла узнать такие подробности об его жизни? Она сказала, что

снимет с его сердца кручину, а вместо кручины даст ему радость. И эту радость она поведала ему: она прямо сказала, что та, которая была черничкой, привела ему сына. Неужели это правда? А они с женой почти четыре года кручинились, что у них нет детей. Его Наталья думала, что неплодием наказал ее Бог за побег из монастыря. И вот она теперь мать... Ясно, что цыганка ею подослана. Но отчего ж она этого не сказала прямо? Отчего Наталья не уведомила его о себе? Ведь почти четыре месяца, как он с нею расстался, а она ничем не дала о себе знать. Да и где было искать его, когда он мыкался все лето по Вятке да по Каме?

Да и Бог знает, когда еще им придется свидеться. Вон, пожар распустили по всей русской земле! С Дону началось, с какого-то кабака, а вон куда зарево хватает — до Москвы до самой, до державного места! Астрахань, Царицын, Саратов, Самара — вся низовая сторона, все в огне. И полымя все дальше и все шире захватывает — до Белого моря дошло, до Соловков, до Пустозерска; Аввакума-де из земляной тюрьмы выручать пошли, патриарха Никона из Ферапонтова вывести хотят...

А какие «прелестные» грамоты рассылает вор по всему московскому государству! Хана крымского с ордами зовет на Русь, персидского шаха в братья себе прочит, в Запорожье его воры мутят... Теперь все языки поднимаются — татарва, черемиса, мордва, чуваша... Нижний обложили...

Такие невеселые мысли бродили в голове Воина, когда он, после встречи с цыганкой, возвращался от Булака.

А тестя, князя Прозоровского, не воротить уж к жизни. А знает ли об этом Наталья? Дошло ли до нее, что отца ее уже нет на свете? Снизу, говорят, нет к Москве ни проходу, ни проезду: всюду пожар и кровь.

В тихом, ясном осеннем воздухе стелятся во небу белые нити паутины... Ведро, значит, еще долго постоит... Но вон и гуси длинною вереницею тянутся уж на теплые воды, за море...

Воин грустно покачал головой: ему вспомнилось его мыкание по белу свету, там, в заморщине... А тут он мыкался по Вятке да по Каме... дикая, бедная сторона, не то что там: какие города, села! А здесь — одна беднота, голод... Вот голодные люди и идут добывать себе хлеба, либо смерти: им все равно помирать голодною смертью с наготы да с босоты...

«Женишка и детишка испроели» — правда, правда: Воин сам же это видел... Он все это доложит великому государю, когда Бог живым донесет его до Москвы. А там его ждет сынок, Наталья, — да дождутся ли...

— А! Воин Афанасьич! Здравствуй на многая лета — до конца века!

— Спасибо, Афанасий Ивлич, как твое здоровье?

— Сам себе дивуюсь, как еще на ногах Бог держит.

— Да, правда, Афанасий Ивлич, кручинно тебе было с этою тяготою на Вятке: шутка ли! — сто стругов снарядить в такую пору, когда все в нетех. Ну, да слава Богу, за тобой государево дело не стало.

Это встретил Воина товарищ его по наряду на Вятке ратных людей для плавной государевой службы и по постройке там же ста стругов для Волги, — Афанасий Косых, мужчина лет под шестьдесят, но еще бодрый, с резкою сединой в русой бороде.

— Ты откудава это теперь? — спросил Воин Афанасия.

— От воеводы, от князя от Юрия: назавтра поход объявил против вора, и стружочки мои чтоб на утре отошли от Бакалды вниз до Симбирского с кормом и с зелеными запасы, а сам он идет на вора по сухопутью, — отвечал Косых.

— Так завтра? Ну, слава Богу! — и Воин перекрестился, хотя у него на сердце заскребли кошки. — «Шутка ли! с самим встретиться», — подумал он.

XXXVI. МОНИСТО КНЯЗЯ ЮРИЯ БОРЯТИНСКОГО

— Кажись, он, соколик, глазки открыл?

— И точно, матушка Ираида, смотрит: не подымает ли его Господь?

— Ох, отец Варсунофей, я, кажись, уж не чаю.

— Не говори, матушка, на все Божья воля: уж коли меня, старца негодного, Бог вызволил с турецкой каторги да из Шпанской земли довел досюдова и сподобил меня приложиться к мощам святых угодников, преподобных Гурия и Варсунофия, так его, воина Христова, поднимет Господь.

Этот разговор осторожным шепотом вели между собой старый инок в черной скуфейке с старенькою подвижною монашкой, черные живые глаза которой так не ладили с ее сухим, темным морщинистым лицом.

Они сидели в просторной горнице, в окна которой проникал нежный свет загоравшейся на востоке зари. В той же горнице, на высокой кровати у стены, полузадернутой зеленым тафтяным пологом, лежал средних лет мужчина, по-видимому, тяжело больной. Голова его, обрамленная спутавшимися воло-

сами, и мертвенно бледное, с следами сильного загара лицо резко оттенялись от белой подушки.

Больной действительно открыл глаза.

— Где я? — слабо прошептали его запекшиеся губы.

Старый инок на цыпочках подошел к нему и осторожно нагнулся.

— А... — с горечью протянул больной, — так я все еще в Венеции... а мне чаялось...

— Нету, батюшка, ты не в Венеции, а на святой Руси, — с нежностью сказал старый инок, — ты, должно, меня, старого пса, признал, что выкупил с полону, с каторги: тебе и мерещится Венеция.

— Так где ж я? — изумленно спросил больной.

— В Синбирском, батюшка, у боярина и воеводы Ивана Михайлыча Милославского в почивальне, — проговорил старый инок.

Больной закрыл глаза. Ему казалось, что все это сон. Но между тем в уме его вставали новые неясные образы. Эти запорожцы, которых он видел в столовой избе у царя. Но это сон: он во сне будто бы в Казани, на берегу Булака видел цыганку, и она много ему наговорила и о сыне, и о запорожцах. Только теперь он видел их не в столовой избе, и не у Брюховецкого, а где-то здесь, близко... И тот еще, самый большой, что упал в столовой избе, закричал: «Вот оно, аспидово отродье — сынок Ордина-Нащокина!» А вот сам Разин... Он помнит, как он этого самого вора Разина хватил саблей по голове... Да, все это сон, хотя он, кажется, и лежит с открытыми глазами...

— Он опять, соколик, открыл глазки, — слышит он шепот.

— Бредит, должно, в огне.

— Кто это говорит? — спрашивает больной, силясь поворотить голову.

— Я, соколик, — говорит монашка подходя к нему робко.

— Опять цыганка! — слабо простонал больной.

— Я не цыганка, я старица Ираида, от Натальи Семеновны к тебе прислана.

— От Натальи? А где она?

— В Москве, соколик.

— Так это не сон?

— Не сон, соколик, опомнись... Припомни — ты был в бою с вором Стенькою, тебя порубили в бою казаки воровские, и мы не чаяли видеть тебя в живых. А теперь, слава Господу, ты в память приходишь... Перекрестись, родной.

Воин (это был он) хотел было перекреститься — и не мог, застонал: рука его была на перевязи, он был ранен.

Но эта боль заставила его вспомнить все или почти все. Рать воеводы и князя Юрия Борятинского из Казани подоспела к Симбирску в то время, когда симбирский воевода, боярин Иван Милославский, истомленный почти месячным сидением в облоге от воров, уже хотел было сдаться — отворить ворота в кремль. Разин с казаками и татарами стремительно бросился на царское войско. Завязалась отчаянная борьба...

Воин все вспомнил, но это все был какой-то ад... Гром пушек, гиканье налетавших на них казаков, аллалаканье татар, вышедших с топорами и рогатинами, — все это мешалось в какой-то страшной картине...

Лично он вспомнил, как на то крыло, где он находился, ударили татары под предводительством мурз Багая и Шелмеско; потом в середину лавы врезался сам Разин с тремя запорожцами... Запорожцы узнали его, он узнал их... Но тут все смешалось в его уме: мелькнул белый конь под Разиным, готовый, кажется, раздавить Воина; но и Воин махнул саблей и угодил в голову Разину... Больше он ничего не помнит.

Теперь Воин осмотрелся кругом сознательно. Да, это не сон, и то не был сон.

Около его постели опять стояли старый инок и цыганка в монашеском одеянии. В первом он узнал бывшего полонянина Варсонофия, которого он выкупил в Венеции.

— Ты как сюда, старче, попал? — спросил его Воин, все еще смутно сознавая свое положение.

— К тебе, батюшка Воин Афанасьич, приплелся я с Москвы, — отвечал старик, — тебе отслуживать за мою волю, что ты дал.

— Как же ты узнал, что я здесь?

— Я за тобой, батюшка, с самой Казани.

Воин недоумевающе посмотрел на монашенку.

— А меня прости Христа-ради, батюшка Воин Афанасьич, за Казань, — сказала она, низко кланяясь. — Я не цыганка: я старица Ираида из Новодевичьей обители.

— Для чего ж ты в Казани цыганкой прикинулась? — спросил Воин с удивлением.

— Так, батюшка, приказала Наталья Семеновна, — отвечала монашка.

— Моя жена?

— Она самая, батюшка.

— А для чего? — еще с большим удивлением спросил Воин.

— Ее спытай, батюшка: ее это воля была, — отвечала монашка. — Для ради ее упокою мы вот с Варсунофьюшком и пошли искать тебя, потому — нас, людей божьих, старцев, кому охота обижать? А пошли она гонца с грамоткою, и по нынешнему времечку ему бы не сносить своей головы: ноне и царских гонцов по дорогам воры вешают? А мы что? Мы та же каличь, низшая братья убогая, с нас нечего взять. А мы-то с Варсунофьюшком в бродячем деле дотошны: он, сам ведаешь, с самой басурманской веры, да с Шпанской земли доплелся до белокаменной; а я, родимый, с той самой поры, как нас с инокиней Надеждой, что ноне твоя благоверная, отпустила мать игуменя из Новодевичья за мирским сбором и как инокиня Надежда из Успенского собору ушла к тебе, — с той поры и я все брожу по свету, по угодникам: и киевским угодникам маливалась, и самого гетмана Брюхатого видала, и Соловецким угодникам, Зосиме-Савватуею, маливалась же, да и у казанских чудотворцев, у Гурия и Варсунофея, святые раки лобызала. Там мы с Варсунофьюшком и тебя, соколика, сустрели, да за тобою как псы верные и сюда прибрели. А все для ради упокою матушки Натальи Семеновны. И цыганкой-то я обернулась для ради ее же благополучия. А ноне вот Бог привел и за тобой походить. Как это пришел под Синбирской с ратными людьми с Казани князь Борятинский, — и ты, батюшка, с ним же пришел, да как учинился у вас смертный бой с вором и антихристом Стенькой, — с утра до ночи бой шел, а мы ни живы ни мертвы, ждем, чем кончится, — коли к ночи слышим: побили-де царския рати вора Стеньку на голову, и сам-де он бежал в малом числе, и голова-де у него перевязана — саблей рассечена, и рассек-де его, сказывают, Воин Ордин-Нащокин, а сам-де Воин убит лежит. Как услышали мы это, батюшка Воин Афанасьич, что ты мертв лежишь, мы и света божьего за слезами не взвидели. Коли слышим: жив-де еще Ордин-Нащокин, токмо зело порублен. И велел воевода и боярин Иван Михайлович Милославский снести тебя, голубчика, к ему в палаты, и лекаря к тебе приставил, а нас — во хожалок место. И был ты все без памяти который день, а ноне вон божьим изволением в себя пришел.

Монашка радостно при этом перекрестилась на иконы. Перекрестился и старик Варсонофий.

— Так вор Стенька, сказываєте, разбит? — спросил Воин с просветлевающим взором.

— Разбит начисто, батюшка Воин Афанасьич, — в один голос отвечали старица и старец, — и тою же ночью бежал.

— Бегу яся, не солоно хлебавши, — добавил Варсонофий, — а клеветы его, что не успели бежать, вон все висят на виселицах вдоль берега, — ишь какое ожерелье изнаवेशано их! — и старик показал рукою в окно.

— И запорожцев повесили, тех, что с тобой вместе, батюшка, в столовой избе у государевой руки были — Гараську, да Пашку, да Мишку, — добавила старица Ираида.

— Да и татарские мурзы Багай да Шелмеско, что государю челом били на государевых воевод, — и они повешены ж, — присовокупил Варсонофий. — А этот мурза Багай, сказывали, мало не заколол боярина и воеводу Ивана Михайловича Милославского: мы, говорит, помираем голодною смертью, с наготы да с босоты, а вы, говорит, вон какие жирные, — дак его ратные люди с коня сбили и связали, а ноне вон он болтается у самой Волги, что твоя колода.

В это время в опочивальню, в которой лежал раненый Воин, вошел пожилой мужчина с окладистой бородой и широкой лысиной ото лба. На нем было богатое боярское одеяние.

— Ба-ба-ба! — весело заговорил вошедший. — Да кажись, наш богатырь Илья Муромец в добром здравье?

— Спасибо, боярин Иван Михайлович, по милости Божьей, сам видишь, я очнулся, — отвечал Воин.

Вошедший был боярин и воевода симбирский Иван Михайлович Милославский.

— Слава Богу, слава Богу! — продолжал боярин. — Надо тотчас же еще гонца послать — родителя и супругу твою порадовать весточкою, что ты в себя пришел наконец. Да и великий государь рад будет такой вести: вить ты саблей огрел вора прямо по башке — зело добре назнаменовал!.. Может, от твоего знаменья он, вор Стенька, и плечи нам показал: бежал, аки тот Святополк Окаянный.

— А где воевода князь Юрий? — спросил Воин.

— Да все еще монистом своим занят, — с улыбкой отвечал Милославский.

— Каким монистом, боярин? — удивился Воин.

— Да вон воров нанизывает на веревки — шутка ли, боле шестисот зерен жемчугу бурмицкого нанизал уж на свое монисто... Самые крупные зерна у него — три запорожца, что еще с Брюховецким воровали, да двое мурзишек татарских, Багайка да Шелмеско, кои всю татарву да черемису на нас подняли, — знатное монисто! — есть чем похвастать князь Юрию... А не подоспей он — я бы попал в монисто к вору Стеньке... Никто как Бог!

XXXVII. ЭПИЛОГ

В Грановитой палате, в столовой избе, у великого государя с боярами сидение. Тут же и святейший патриарх Иосиф с освященным собором.

Великий государь, и святейший патриарх, и бояре думают: великая смута и крамола охватила всю русскую землю; все низовые города взяты вором на копье; воеводы, дети боярские и служилые люди прияли от злодеев наглую смерть; царские рати либо осилены вором и побиты, либо передались злодею; замутилась вся русская земля, и что будет дальше — Богу ведомо...

Ни откуда — ни луча надежды...

Как быть? Что умыслить? Где, набрать столько ратей?

Великий государь сам думает идти чинить промысл над крамольниками... Но с кем? Где его воеводы? Все они оказались бессильными...

Отвратил Создатель лицо свое от людей своих... За чьи грехи?..

— Услыши ны, Боже, Спасителю наш, упование всех концов земли и сущих в мори далече! — шепчет святейший патриарх, поднимая глаза к лику Спасителя.

Дьяк Алмаз Иванов, угрюмо уставившись в какую-то бумагу, прислушивается, кажется, как за окном ворона каркает...

Думают бояре — есть им, о чем подумать! На них идет эта страшная буря; а кто их укроет? Ромодановский, Шереметев, Борятинский, Долгорукий? Но от них нет вестей; да и гонцы их все погибают в пути — всех ловят и убивают крамольники.

Вон как постарел Алексей Михайлович за этот год... И сколько потерь: жену потерял, дочь и двух сыновей похоронил... «И бе дом его пуст»...

Слышатся подавленные вздохи да карканье вороны за окном...

И на крыльце, где обыкновенно собирались стольники, стряпчие и дворяне, теперь не слышно «шумства» и споров; напротив, испуганным шепотом передают собравшиеся один другому, что будто бы уж и Симбирск взят и выжжен, взята и разорена Казань, Лысково, Нижний, Темников, Корсун, Саранск, оба Ломова, Пенза, Арзамас — все в руках у злодеев; что все холопы и крестьяне разбежались, режут и вешают господ, жгут боярские усадьбы; что хлеба в полях потопчены, потравлены или выжжены; что скоро страшный атаман, которого ни пуля, ни сабля не берут, нагрянет в Москву... Куда деваться... Где спасение?..

Алексей Михайлович ждет совета от святейшего патриарха, на него вопросительно поглядывает — не вразумит ли его Господь?

А святейший патриарх только шепчет, глядя на лик Спасителя:

— Услыши ны, Боже, Спасителю наш, упование всех концов земли и сущих в мори далече...

И Он услышал!..

Там, на крыльце или на дворе, пронесся вдруг ропот не то изумления, не то испуга:

— Гонец!.. Гонец пригнал!.. С какими вестями?..

И столовая изба вся встрепенулась — точно шум ветра прошел по ней...

Глаза всех уставлены на дверь — ожидание, томление, испуг...

«Услыши ны, Боже!..»

Гонец в дверях — едва переступает порог, он бледен, шатается, он, кажется, скоро грохнет на пол... Он ничего не видит — ни царя, ни бояр...

— Поддержите... он упадет...

Бояре его поддерживают... Он силится говорить...

— Великий государь!.. Воевода князь Юрий... твои государевы рати... вора Стеньку... и его толпища... разбили на голову...

Крик радости вырвался из сотни грудей. Все крестились...

— Самого вора Стеньку... Воин Ордин-Нащокин... саблю посекал в голову... а Воина изрубили...

Гонец не договорил. От Симбирска до Москвы он загнал семь лучших коней — не спал и не ел во весь путь...

Гонца увели, он потерял сознание...

Все оглянулись на старого Ордина-Нащокина, который сидел недалеко от царя: по лицу старика текли слезы — слезы и скорби, и радости.



Сагайдачный

ИСТОРИЧЕСКАЯ
ПОВЕСТЬ

I

Это было очень давно.

В тот год, с которого начинается пестрая историческая ткань нашего повествования, русские люди, теперь столь уверенные в будущем своей неисходимой земли, не знали еще, окрепнет ли на этой расшатанной смутами земле «благоцветущая отрасль благородного корени» и осенит ее миром и благоденствием, или же опять придут польские и литовские люди и настанет на Руси иноземное владычество. Не ведали и польские и литовские люди — «славянские ль ручьи сольются в русском море, оно ль иссякнет» и «злота вольносьць польщицзны» затопит собою болота «москевськего барбаржиньства» и «украинского хлопства». Всего же менее могло догадываться украинское «хлопство», какая роковая роль выпадет на его долю в будущей истории двух самых крупных представителей независимого тогда славянства — Москвы и Польши.

Было это весной 1614 года.

Вниз по Днепру, не доходя порожиистой части его, тихою, ровною греблею плыли казацкие «чайки» или «човны», на которых, словно пышный мак либо васильки и «чорнобривци» в огороде, пестрели под лучами утреннего солнца красные верхи казацких шапок, желтые, как спелые дыни, штаны на цветных «очкурах» и с цветными поясами, яркие ленты в воротах рубах и голубые да зеленые «вылеты» на кунтушах. Чаек было около десяти, и на невысокой мачте каждой из них длинные, яркие, всех цветов ленты полоскались, реяли и трепались в воздухе, словно бы над казацкими чайками развевались девичьи косы — косы невидимых украинок, провожавших казаков в далекую дорогу.

Передняя чайка была изукрашена более других. На носу у нее водружено было на красном древке голубое знамя с изображением на нем скачущего на коне казака и с крупной, нашитою мишурою подписью:

Куды схоче, туды й скаче,
Нихто за ним не заплаче.

С задних чаек иногда доносилось скорее грустное, чем веселое пение, слов которого вполне не слышно было, а можно

было уловить только отдельные слова: то «плыве човен воды повен», то «дивчина плаче», то «кличе мати вечеряти», «казак молоденький», «далека дорога», «турецька неволя». Слов от песен потому нельзя было разобрать, что там, где-то ниже, недалеко, что-то ревело и стонало, точно наступающая с грозой и градом туча, хотя небо было ясное, тихое, безоблачное.

— Что бы оно гудело так? Ни ветер, ни град, и аер, кажись, не оболочен, а гудит! — с удивлением говорил, прислушиваясь и поглядывая кругом, невысокий бородатый человек в высокой горластой шапке и в цветном охабне московского покроя, сидевший на передней чайке, на покрытом ковром тюке.

— Да то пороги ревут, пане дяче, — отвечал, лениво покуривая люльку, седоусый казак, сидевший тут же, по-турецьки, на разостланной циновке.

— Пороги? Ноли они недалече?

— Да недалечко... А, аспидская люлька — опять потухла!..

Пан дяк, как называли казаки бородатого человечка в шапке горластой и в цветном охабне, встал и, отневив глаза ладонью, тревожно глядел вперед, между тем как сивоусый казак, достав из кармана синих широких штанов «кресало», кремень и трут, преспокойно вырубил огонь, ворча на неповинную трубку: «От, иродова люлька, — усе гасне...»

Гул впереди становился яснее и яснее. Слышно было, как какие-то две силы сшибались одна с другою, и удары все учащались, а глухой гул так и стоял в воздухе.

Стоявший у руля передовой чайки старый казак с растегнутым воротом и черною, загорелою, покрытою как у зверя шерстью грудью, налег на правильное весло и повернул лодку на самый стержень реки.

— А нуте, хлопцы, разом ударь! — крикнул он.

Гребцы, которых было человек двенадцать на чайку, дружно ударили веслами, перегнулись назад, словно как ушибленные в лоб, снова нагнулись, глубоко захватили зеленую воду, опять откинулись назад, опять ударили... Чайка летела точно в самом деле крылатая птица...

— А нуте, соколята, еще раз! Еще раз! — гримнул рулевой «отаман».

Пан дяк испуганно глядел то на гребцов, то на рулевого, то вперед, на эту страшную воду. А впереди она действительно становилась страшною. Что-то, казалось, ныряло в ней, выскакивало на поверхность — беляки какие-то, точно испуганные зайчики, либо клочья белой кудели, и снова прятались

в воду, и снова выскакивали... Гул, перебой воды и грохот становились все явственнее...

— Довольно, хлопцы! Добре! Суши весла! — гремел голос рулевого.

Гребцы подняли весла, звякнули ключицами — и разом поднялись.

— До правила, детки, до стерна! — гукал рулевой.

Гребцы бросились к рулю, налегли на него, осилили напор воды и направили чайку в самые «ворота» — в клокочущую между «заборами» пучину... Белый, зло ревущий водяной гребень перегораживал Днепр от одного каменистого берега до другого. Зеленая вода, стремясь через порог, превращалась в белую массу — в страшную гриву какого-то невидимого подводного чудища... А там дальше клочотала и бешено прыгала пена с брызгами. Бешеному потоку, казалось, не хватало места, и он клубами прыгал в воздухе, снова обрывался и падал, опять скакал вверх, выпираемый новыми бурунами, и опять падал и разбивался...

Чайка стрелой летела на белую гриву этого чудовища. Вот она на самом гребне — дрогнула, качнулась, заскрипела в пазах — опять дрогнула, полетела вниз с водяной горы, ткнулась носом, вынырнула... И скачущего на знамени казака и пана дьяка, который стоял на коленях, уцепившись за уключину, и посиневшими губами бормотал молитву, и сивоусого с люлькой казака обдало водяной пылью и брызгами...

— Молись, детки! — гукнул рулевой «отаман».

Все перекрестились.

— Смотрите, хлопцы, вон москаль раком стоит! — раздался чей-то веселый голос.

Все глянули вперед. На передку чайки, где молился пан дьяк, товарищ его, тоже московский человек, перепуганный всем виденным сейчас, стоял на четвереньках, держась руками за днище, за кокорник, и беспомощно оглядывался по сторонам, не зная, в ком искать спасения...

— А, аспидская люлька! Опять погасла! — ворчал сивоусый казак, тыча пальцем в трубку, залитую водой.

Скоро, однако, чайка пошла ровно — опасный порог был пройден благополучно. Казаки уселись кто где и как хотел, перекидывались шутками, смеялись над струсившими москалями, смотрели, как другие, задние чайки, перепускались через порог.

— А как сей порог именуется? — обратился, немного успокоившись, пан дьяк к сивоусому казаку, вырубавшему огонь для своей непокорной трубки.

— Да это Кодак, пане дяче, — пробурчал тот, углубившись в свою люльку.

— А еще много их будет?

— А! Сто копанок! Вот чертова...

— Ноли сто? Быть не может!

— Да не сто ж! Вот, дяче, выдумал!

— Да ты ж сам сказал — сто...

— Тю! То у меня такое слово — сто копанок чертей.

Все чайки, однако, перепустились через Кодак благополучно и быстро понеслись силою течения к другим, менее опасным порогам и заборам.

Пан дьяк, несколько успокоившись, снова уселся на ковре рядом с другим московским человеком, с тем, над которым сейчас только смеялись казаки, будто бы он с испуга стоял на карачках, а седоусый казак, запалив наконец свою непослушную люльку, тут же примостился на корточках и повел свою беседу с московскими людьми.

— Так вы, говорите, нового царя себе выбрали?

— Нового, точно.

— А кого ж вы выбрали?

— Божией милостью Михаила Феодоровича Романова, благоцветущую леторосль благородного корене.

— А как же вы с царевичем?

— Каким царевичем?

— А Ивашкою, Димитриевым сыном?

— А, вот нагадал! — выпортком-ту расстриги?

— Эге, какой он расстрига!

— Да Расстрига-ж — подлинно.

— Ну хоть и расстрига, а все ж был царем... А у него теперь сын ведь...

— Сын! Этот сын расстригой и не пахнет: всем ведомо, что Гришку-вора убили весной в прошлом во 114 году, а иной Ивашка-выпорток рожон Маришкою-ворухою во 117 году... Али она воровское семя-то три года в череве носила? А?

Казак только свистнул:

— Фью!.. ну, это точно долго — три года.

— То-то и есть! Да и пес ее, воруху, знает, от какого вора она понос понесла и оценилась — от тушинского ли вора, от другого ли царика-вора, от Ивашки ли Заруцкова, а может, и от пана польского — поди, разбирай ее...

— Те-те-те-те!.. Сказывают — подончики за него стали?

— Пустое! Он ноне с Маришкой в Астрахани, слышно, — и его, чу, скоро изымают.

Сказав это, московский человек невольно остановился и испуганно глянул кругом. Он заметил опять необыкновенное движение между гребцами и услышал зловещий шум воды. По поверхности Днепра опять заскакали белевские зайчики, а ниже пенилась и бурлила бешеная река. Большая длинношеяя птица с длинными ногами, вроде цапли или журавля, перелетая через Днепр и налетев на бушующий гребень, испуганно шарахнулась в сторону, беспорядочно забив в воздухе своими несуразными крыльями. Впереди бесстрашные стрижи так и чертили крылышками да ножками поверхность бешеной реки.

— До стерна, соколята! — раздался вновь зычный голос рулевого.

Московский человек опять уцепился за уключину. Его товарищ в голубом охабне с красными кистями припал к сидению. Чайка дрогнула, колыхнулась, ткнулась носом... Днепр, казалось, звенел...

— Сурский — это два порога, — проговорил белоусый казак как бы в утешение московским людям, — а скоро Лоханский и Звонец.

Действительно, скоро миновали пороги Лоханский и Звонецкий, все с такими же предосторожностями. Но впереди еще оставалось много их, и в особенности самый страшный — Ненасытец.

Днепр, при всех его ужасах, был необыкновенно красив. Этого не могли не заметить московские люди, которых царская служба бросила в качестве послов в эту чудную черкасскую сторонку. Ничего подобного этой реке они не видали в пределах московского государства, хоть и помыкались по ней из конца в конец. Какие у них реки, особенно под Москвою! — плевые, непутящие. Еще куда ни шла Ока-река, а все не чета Днепру. Видали они и Волхов-реку в Новгороде, и реку Великую во Пскове: только и славы, что Великая прозывается, а ничего в ней нет великого. Волга — это точно что великая река: велика и широка, что море; недаром о ней в песнях поют, морем хвалынским называют; богатырская река, что и говорить — великан! Видали они и Енисей, и Обь — большущие реки, красивые, только студёные, неприветные... А все Днепр лучше — зело хорош! Зато и страшен...

Впереди все грознее и грознее что-то ревет... И Тягинский порог пробежали, а впереди все ревет...

— А это что ревет там, пан атаман?

— То Дед реветь.

— Какой-чу дед?

— Дед Ненасытец... У! Здоровая глотка...

— Али хуже всех?

— Да самый поганый... Такой татарюга!

Впереди показались зубчатые скалы, что грядой тянулись от одного берега Днепра до другого. Вода, теснимая каменными великанами, рвалась и кипела, чтоб снова еще с большею быстротою ринуться с высоты в пропасть. Рев был так силен, что голоса рулевых и гребцов были не слышны. Над самым порогом стоял водяной пар, и в нем искрилась и переливалась радуга...

По самому ходу чайки чувствовалось, что ее влечет необыкновенно стремительным течением. Она даже не вздрагивала — не успевала. Все рабочие ее силы — рулевой «отаман», гребцы и остальные казаки — как клешни впились в длинное, с широкою лопастью правильное весло. Голоса «отамана» не слышно было, а видны были только его поминутно раскрывавшиеся под рыжими усами рот и глаза, уставившиеся куда-то вперед, на одну точку... Точка эта — роковой проход, страшная пасть между каменными зубами: надо было направить чайку в эту пасть, в самую ее середину, чтобы не черкнуться об острые боковые камни...

Сивоусый казак, взглянув на московских людей, показал на небо, как бы говоря: «Ну, москали, молитесь — одна надежда на небо...»

Москали поняли его немую речь и упали на колени... Тихая, смиренная, хотя и грязная Москва-река в этот момент показала им такую дорогию, что они готовы были проклинать тот несчастный день и час, в который покинули берега своего родного, священного Иордана... Для того ли они крестились в святой воде Москвы-реки, чтоб погибнуть в этой проклятой черкасской реке... Там у них жены, дети, сродники... Не видать им больше родной стороны...

Чайка дрогнула — оборвалась куда-то... Они попадали и закрыли глаза... Их обдало водой... «Ох! Господи! Прими дух мой с миром...»

Все пропало... всему конец... они потонули...

— Вставайте, панове москали! Молитесь Богу! Проехали Ненасытец! — раздался вдруг над ними знакомый голос.

Они с ужасом открыли глаза: сивоусый казак сидел на залитом водою сиденье и вырубал из огнива огонь... Страшная водяная гора белелась и пенилась и ревела далеко позади... Только на этом водяном гребне чернелись и ныряли другие чайки, перепускавшие через страшный порог... Тут же разом они заметили, что на правом берегу реки, у самой воды и на круче, лепилось несколько шалашей и хаток, а у

воды виднелись люди, махавшие шапками. У самого берега привязано было несколько маленьких лодок «душегубок», и некоторые из них, с двумя или тремя видневшимися в них человеческими фигурами, качались на воде в некотором расстоянии от берега.

Вдруг на задних чайках послышались крики. Сначала нельзя было разобрать, что кричали. Но скоро крики достигли и передней чайки.

— Заднюю чайку перевернуло!

— Байдак потопает! Спасайте, братцы!

— Спасайте, кто в Бога верует!

Действительно, ниже порога, среди пенистых валов и бурунов, ныряя в воде и выныряя, чернелось потопавшее судно... Из воды то там, то сям показывались казацкие головы — это утопающие мужественно боролись со смертью... Опрокинувшуюся чайку вертело и несло как щепку...

В тот же момент от берега отделялись все маленькие лодочки и стрелою понеслись на переем утопавшим. Иные из утопавших, более сильные и умелые, плыли им навстречу. Остальные чайки также повернули против течения и ударили веслами по вспененной поверхности реки — все спешили спасти погибающих товарищей... Весь Днепр, казалось, покрылся чайками и маленькими, необыкновенно юркими лодочкам «душегубками» или «дубами». Утопающие отчаянно боролись с быстрою, увлекавшею их водою. Им бросали с чаек веревки, протягивали весла — те хватались за эту помощь и храбро держались на воде. Других течением наносило на чайки и душегубки, и они цеплялись за края, за весла. Иных, обессиленных в борьбе со свирепою стихиею и уже с трудом державшихся на воде, товарищи, нагибаясь с чаек, хватали за чуб, за сорочку и встаскивали на борт.

Опрокинутая чайка была также перехвачена и прибуксирована к берегу. Вся флотилия, покончивши с вытаскиванием из воды потопавших, сбилась в кучу и тоже пристала к берегу. Казаки выскакивали из чаек, кричали, смеялись, как дети, встряхивались, толкали друг друга, кувыркались. Иной катался колесом на руках и на ногах. Пострадавшие скидали с себя сорочки и штаны, вешали их для просушки на деревья и кусты и рассыпали на камни. Тот жаловался, что у него пропала шапка, другой лишился люльки и кресала, у третьего пропали чеботы, а у иного — «и штанив чорт-ма!..»

— Да все ли казаки целы, панове? — опомнился московский человек, пан дьяк.

И точно, пересчитать себя казаки и забыли: шапки и чеботы считают, а все ли у них головы — про то и невдомек.

— А ну, вражьи дети, становитесь лавою — я вас пересчитаю, — скомандовал сивоусый казак с передовой чайки, которому наконец удалось опять закурить свою люльку.

— Лавою, хлопцы, становитесь, лавою! — кричали сами пострадавшие и не пострадавшие.

— Становитесь все — и голые, и босые!

Все стали лавою. Сивоусый казак начал считать.

— Это голый — раз, это босый — два...

Всеобщий взрыв хохота прервал казацкого контролера.

— Это куцый — раз! — хохотали казаки. — Разве мы волю?

— Да стойте, вражьи дети! — гукал на них атаман и опять начал считать, уже не упоминая голых и босых.

На последнем он остановился и руками развел.

— Овва! Одного нет... Было тридцать, а стало двадцать девять... А, сто копанок!

— Братцы, одного казака недостает! Пропал казак! — загадели голоса.

— Кто пропал? Кого недостает?

— Да я вот тут! — отозвался кто-то.

— И я, хлопцы, тутечки.

— Кого-ж нет?

— А кать его знает!.. Считай, батьку, сызнова — может, и найдется, казак, не пропал...

— Где пропасть! Казак не иголка — не пропадет...

Опять началось считание. Опять одного недостает.

— А, матери его сто копанок чертей! Нет казака...

— Да кого, хлопцы?

— Да отзовись, сучий сын, — кто пропал?

Взрыв хохота был снова ответом на этот возглас: возглас этот принадлежал казаку Хоме, который считался в своем курене силачом, но был на лихо себе «придурковатый».

— Овва, Хома! Как же он отзовется, когда он пропал, утонул? — заметили несообразительному Хоме. Хома только в затылке почесал... И в самом деле — как ему отозваться?

— Э, да пропал Харько Лютый, — вспомнил Хома, — он еще мою люльку курил... Э, пропала моя люлька...

Все оглянулись. Действительно недоставало Харька.

Все лица мгновенно сделались серьезными. Казаки сняли шапки и стали креститься...

— Царство ему небесное, вечный покой!.. А добрый был казак... Хоть бы за дело пропал — так нет!

А Ненасытец продолжал стонать и ревет, как бы заявляя, что ему мало одной человеческой жертвы...

II

В тот же день маленькая флотилия чаек достигла Сечи.

Запорожская Сечь находилась в то время на острове Базавлуке, образуемом одним из днепровских рукавов, Чортомлицким, или, по выражению самих запорожцев «кош» их «мишкав коло чортомлицького Дниприща». Устройство этого первого запорожского становища было самое первобытное. Самый кош или крепость обнесена была земляным валом, на котором стояли войсковые пушки, обстреливавшие вход в Запорожье со всех сторон и в особенности с юга — с крымской стороны. «Курины», в которых помещалось товариство и их военная сбруя, сделаны были из хвороста и покрыты для защиты от дождя и всякой непогоды конскими шкурами. Впрочем, казаки не любили жить в куриях: их свободной казацкой душе было тесно под крышей или под каким бы то ни было прикрытием. Летом, весной и сухою осенью они любили спать под открытым небом, на сене или на траве, на разостланной «свитке» или на кошме, с седлом под головою, а то и просто под деревом, под кустом, где-нибудь у воды «на купини головою», чтоб коли ночью, после выпивки, душа загорится, так чтоб тут же была и вода — душу залить, а утром — очи промыть да казацкое «белое лицо» — конечно, это так только к слову говорится, что белое, а большею частью черное, как голенище, загорелое, искусанное комарами, — так чтоб было чем и казацкое белое лицо всполоснуть. В куриях поэтому находилось только «добро казацкое», а сам казак — постоянно на воздухе: ест, гуляет, спит и «громадское» дело справляет. Когда ночью казак «прокинется» — проснется, то чтоб сразу мог узнать, сколько ночи прошло и сколько осталось. А это он узнавал легко: вечно вдали от жилья, либо в степи необозримой, либо в темном лесу, либо в море, он скоро осваивался с природой, и ему нетрудно было, поглядев на небо хотя бы ночью, узнать — где полдень, где полночь. Ему помогали в этом звезды, которые были ему знакомы не хуже астрономов или вавилонских, халдейских и египетских звездочетов: он знал на небе и «Чапига», и «Виз», и «Мамаеву дорогу» и «Утяче гнездо», и «Зинське щеня», и «Волосожа-

ры» и «Лемиш» — и небо, как и степь, как и «Великий дуг» были для него — своя сторона. Никто так не любил природу любовью поэта и мечтателя, как казак; зато никто и не знал ее так, и не пользовался ею в такой степени для своих целей, как запорожец чтоб известить невидимых друзей-казаков о своем присутствии и сбить с толку врага, отвлечь его внимание, перехитрить, уйти от него — казак «пугал» как настоящий «пугач», отлично куковал кукушкой, выл волком, лаял собакой, «брехал» лисицей, ревел по туриному и шипел по змеиному...

Когда маленькая флотилия приблизилась к самому кошу, то с передних чаек последовали три пушечных выстрела. Из коша, с крепостного вала, им отвечали тем же.

Необыкновенное зрелище представлял берег и рукав Днепра в том месте, где находилась Сечь. Весь рукав с широкими и глубокими заливами и особенно берег были покрыты лодками, чайками, дубами и байдаками всевозможных величин, но более всего виднелось походных или морских чаек. Целые десятки их были выволочены на берег, опрокинуты вверх дном и сушились на солнце, смолились или проконопачивались паклей. Дым и запах от кипящей смолы стоял над всею этою половиною острова невообразимый: дымили и чадилы десятки огромных «казанов» — котлов со смолою. Это был чистый ад, да и сами казаки похожи были на чертей: они подкладывали под котлы огонь, размешивали в них смолу длинными шестами и «квачами», потом смолили чайки, и, конечно, были сами перепачканы смолою от головы до пяток. Так как день был жаркий, а женского пола, по запорожскому обычаю, не полагалось в Сечи и, следовательно, казакам «соромиться» было некого, то они большею частью занимались этою смоляною работою в чем мать родила, но непременно в шапках — знак казацкого достоинства, а иногда, вместо «виноградных листов» на известных казацких частях тела — с лопухами или «лататтем», чтоб комары и мухи не кусали того, что казаку Бог дал и что казаку когда-нибудь, хоть и не в Сечи, да пригодится... Иные, тоже в костюме Адама, сидели на берегу с иголками в руках и «латали» — чинили — свои сорочки и шаравары, ибо в Сечи не было бабьятины и чинить казацкие прорехи было некому. Другие, наконец, купались в Днепре, мыли свои сорочки или купали коней.

Московские гости, прибывшие с маленькой флотилией, были поражены этою невиданною ими массою голого тела на берегу. Но это не помешало им видеть, какая кипучая деятельность господствовала на всем этом уединенном, удален-

ном от всякого человеческого жилья острове. Несколько в стороне от главной пристани стучали сотни топоров, визжали пилы, грохотали сваливаемые на берегу брусья и бревна: это шла лихорадочная стройка новых чаек... Видно было, что казаки готовились к большому морскому походу... Московские гости теперь не узнавали этих хохлов: всегда такие, по-видимому, ленивые, неповоротливые, занятые только своими люльками да лежанием на брюхе или гульней, пением, плясками да всякими выгадками — они теперь, казалось, переродились, смотрели богатырями, живыми, проворными, неутомимыми. Из рук у них ничто не валялось — все шло быстро, стройно, толково. Московские гости и глазам своим не верили, им казалось теперь, что в деле, за работой, один хохол трех московских людей за пояс заткнет, а четвертого на плече унесет, что с такими чертами нелегко справиться.

А там вблизи, на лугу, слышалось ржание конских табунов, рев скота, какие-то свирелевые или сопельные звуки: это пастухи запорожских стад от скуки наигрывали на сопилках да на рожках, — особенно последние звуки были необыкновенно мелодичны.

— Сказочное царство, истинно сказочное, словно я в сонии все это вижу! — невольно думалось московскому гостю пану дьяку, при виде этого действительно волшебного царства, населенного какими-то богатырями, гомеровскими лестригонами: — А, поди-ж ты! Диво, воистину диво!..

В то самое время, когда прибывшие сверху с московскими посланцами чайки под гром пушек пристали к берегу, на крепостном валу в разных местах показались казаки с длинными шестами в руках. Но это только казалось, что они держали шесты: это были кошевые и куриные кухари, которые держали в руках почетные значки своего благородного звания — огромные, словно шесты, «ополоники» — громадные на длинных рукоятках ложки, употреблявшиеся ими для размешивания и разливания по куренным мисам всевозможной казацкой стравы — кулища с салом, галушек, всевозможных борщей, юшек, из рыбы и всяких «пундикив» и «ласоц». Эти казацкие яства на три, четыре, а иногда на десять и двадцать тысяч казаков варились на таких гигантских казанах — котлах, что в них буквально можно было плавать по ухе или борщу в маленькой лодке душегубке, а следовательно, мешать варимое в таких казанищах приходилось огромными ложками на длиннейших шестах.

Кухари, выйдя на крепостной вал, отчаянно замахали своими чудовищными ложками. У иных на ложки вздеты были

шапки. Это был призыв казаков к общему кошевому обеду. Но так как иные казаки могли быть далеко от коша и не увидели бы ни махающих ложек, ни шапок, то к маханию присоединил свою громкую дробь войсковой «довбыш» — нечто вроде герольда, колотивший во что-то звонкое, металлическое, а войсковой трубач заиграл на звонком рожке какую-то песню, в такт ударам довбыша и на голос известной песни: «Эй, нуте, косари!»

Увидав махание кухарей и услышав призывные звуки довбыша и трубача, казаки оставили свою работу и толпами сыпанули до коша, на ходу справляя свой расстроившийся за жаркою работою туалет: кто накидывал на себя сорочку, кто надевал штаны, если возился с човнами в воде, а общий войсковой любимец и балагур, «Пилип за конопель», выскочив из толпы вперед и взявшись в боки, стал выплясывать под звуки призывного рожка.

С этими толпами казаков вступили в Сечь и новоприбывшие товарищи сечевиков, сопровождавшие московское посольство. За посольством на носилках несли тюки с разными московскими подарками для «низового товариства».

Необыкновенное зрелище представилось москвичам при входе их в Сечь. На обширной равнине, обнесенной земляными валами, огромным четырехугольником расположены были длинные, плетеные из хвороста и обмазанные глиной, невысокие постройки, сверх камыша покрытые конскими шкурами. Таких построек насчитывалось более сорока. Это были курини — бараки или казармы низового товариства, носившие каждый особое название. По этим куриням делилось и все запорожское войско как по полкам или по бригадам. В старшины каждого куриня избирался «атаман» или «куринный батько». Куринные атаманы вместе с кошевым составляли войсковую старшину, которая находилась под беспощадным контролем всего товариства и в то же время сама в пределах своей временной должности, особенно в военное время, пользовалась диктаторской властью.

Теперь, при входе московских послов, вся громадная площадь между куринями представляла поразительную картину. В разных местах, со всех четырех сторон, дымились и чадили костры и горны, по числу куриней: это были куринные печи, изготовлявшие «страву» разом тысяч на пять или на десять казацких ртов. Над горнами висели громаднейшие котлы, несколько сажень в окружности, клокотавшие подобно адским котлам и распускавшие по всей Сечи неизобразимый пар и запах от кипевших в них — либо галушек, величиною в малый

кулак каждая галушка, либо кулиша или каши с салом, либо ухи из тарани, сомины, окуней, осетров и всякой рыбы, какая только водилась в Днестре и по ближайшим плавням. Там чадили на огромных вертелах поджариваемые огнем бараны, сайгаки, дикие кабаны, волю и целые громадные дикие туры. Около котлов и вертелов возились, жарясь на адской жаре, войсковые кухари и их всевозможные помощники — дроворубы, водоносы, пшеномои, крупосевы, салотовки — специалисты по толчению соленого свиного сала для каши и галушек, резники, хлебопеки, хлебодары и всевозможные мастера кухарского дела.

На разостланных по всей площади в бесчисленном множестве пологих, конских и воловьих шкурах, на досках и просто на траве лежали горы хлеба, приготовленного для обеда войску. Тут же стояли на земле сотни огромных деревянных солонок. Ни ножей, ни вилок, ни столов, ни скатертей, а тем менее чего-либо похожего на салфетки или рушники и в завете не было: была только голая земля или трава, а на ней — горы хлеба и сотни солонок. Не было даже ложек, — ложка и нож имелись у каждого казака и носились или у пояса вместе с прочим боевым оружием, или в глубочайших карманах широчайших штанов, в которых равным образом хранились кисеты с табаком, люльки и огниво со всеми принадлежностями.

Казаки, наскоро приодевшись, вынув ложки и ножи, рассаживались кругами вокруг солонца и гор хлеба, также наскоро крестились «на схи́д сонця», брали по караваю, намечали на его горбушке ножом крест и резали его на богатырские ломти для себя и для товариства. Все садились по-казацки или скорее по восточному — «навхрест ноги» и вытирали ножи и ложки либо об траву, либо об штаны и рукава сорочки; усы подбирали кверху или закидывали за плечи, у кого были богатырские усы — «вусы мов ретязи», чтоб они не мешали казаку есть.

Между тем толпы кухарей с помощью своих громадных шестов-ложек наливали из кипящих котлов в огромные, иногда в сажень в обхвате, деревянные мисы готовые кушания: кулиши — жидкую пшеничную кашу с салом, или галушки, тоже с салом, конечно, в скоромные дни, уху из рыбы, борщ из щавельной зелени, и тоже с салом, а то с сухой рыбой, с лецями и таранью, — и на огромных шестах разносили их по казацким кругам. И тогда начиналась войсковая еда — обед нескольких тысяч человек на воздухе под открытым небом. Сперва протягивал ложку в общую гигантскую мису атаман, зачерпывал страву, чинно нес ложку ко рту, поддерживая ее

куском хлеба, чтоб на себя не капнуть, и чинно же, медленно, «поважно» опрокидывал ложку под богатырские усы, медленно же и «поважно» пережевывал хлеб и не спешил глотать, чтоб товариство не подумало, что он торопится, жадничает, и не сказало бы: «глыта як собака». Затем также медленно и «поважно» утирал рукавом, а то и хусткою, усы и снова кусал хлеб. За «батском отаманом» тянулся с своею ложкою к мисе тот казак, который сидел по левую его руку; за этим тянулся третий казак к мисе — третья левая ложка — и подобно тому, как солнце ходит по небу от востока к западу, так ходили и казацкие ложки вокруг мисы, пока очередь не доходила опять до «батка отамана». Когда миса опоражнивалась, кухари вновь наполняли ее, пока не была съедается вся трава, ибо по казацкому обычаю надо было непременно съесть все, что было наварено и напечено. Затем, после галушек, борщей и кулишей или после толченого луку с водой и солью, кухари волокли на широких досках «печене» — жареных на вертелах кабанов, баранов, волов, туров и сайгаков. «Печене» тут же разрубали топорами или «резницкими» ножами на куски, солили пригоршнями соли и разбирали по кускам. При этом сердце животного отдавалось «батькови отаманови» для того, «щоб добрый був до своих дитей-козаков и мав горяче сердце до ворогив», а легкое делилось между всеми казаками — «щоб казак легенько бигав против татарвы и був легкий на води и на мори».

Зрелище это поразило московских гостей, которых запорожская старшина пригласила к своему войсковому обеду. В самом деле — тысячи народу, самая лучшая половина мужского населения, все молодцы на подбор, отбились куда-то далеко от своего края, от отцов и матерей, часто от жен, детей и невест, от всех семейных радостей, и засели в недоступной глуши, на краю, так сказать, света, где кончается «мир хрещеный» и где начинается сторона басурманская, чужая вера, чужие люди, злые вороги. Эти отбившиеся от человеческого жилья люди основали какое-то могучее гнездо, и соседним царствам приходится считаться с буйными вылетками из этого гнезда: с ними считаются и их боятся и Польша, и Москва, и Крым перед ними заискивают и волошские господа, и седмиградские князья, и сам римский император.

Вот и ныне Москва, едва выпарапавшись из-под польских и шведских тисков и кое-как отмахавшись от всевозможных самозванных царей, цариков и воров, первым долгом сочла прислать посольство к этим сынам пустыни, чтоб известить их о призвании на свой престол настоящего царя, не самозва-

ного, а всем известного боярича — Михаила Федоровича Романова, и просить панов казаков, чтоб впредь они к воровским царикам не приставали и на московского государствования превысочайший престол всяких псов не возводили, как возвели они своею помощью на этот престол проклятого Гришку Отрепьева.

Московские посланцы явились в Сечь с милостивою грамотою от юного царя. После обеда собрана была войсковая Рада для выслушания грамоты. Когда послы входили в казачий круг, то войсковые трубачи затрубили в трубы. Многие из молодцов, хватив лишнее за обедом, разбрелись было спать — кто в тени куреней, кто под деревом, кто просто на траве, но «осаулы» тотчас же подняли их «княями», называя «сучьими детьми», и «сучьи дети», почесываясь и позевывая, должны были идти слушать московскую грамоту.

Когда Рада собралась, московский посол, или, как его называли казаки «пан дяк», державший в руках небольшой ящичек, обитый малиновым бархатом, открыл его, и в нем оказалось что-то, завернутое в зеленую тафту. Затем, сняв шапку, он обратился к стоявшей около него казацкой старшине.

— Есть до вас, войска запорожского, до кошевого атамана, старшин и казаков от великого государя, царя и великого князя Михаила Федоровича всея Руси, его царского величества милостивое слово, и вы бы, то слово слышачи, шапки сняли, — провозгласил он торжественно.

Старшина сняла шапку. За старшиною сняли и казаки. Обнажился целый лес голов со всевозможными, большими и малыми, чубами.

— Божией милостью, — продолжал посол, — великий государь, царь и великий князь Михаил Федорович всея Руси, вас, запорожского войска, кошевого атамана, старшин и казаков жалуя, велел о здоровье спросить: здорово ли есте живете?

— Спасибо, живемо здорово, — отвечала старшина в один час.

Посол, развернув зеленую тафту, вынул оттуда царскую грамоту. Он ее так бережно вынимал, как бы боялся обжечься от одного прикосновения к страшной бумаге.

Казаки понадвинулись, желая видеть диво, привезенное москалем.

— Что-то маленькое, — слышались тихие замечания в толпе.

— Эге! Маленькое, да велика в нем сила...

Посол передал грамоту старейшему из атаманов, потому что на тот час в Сечи кошевого не имелось и его должны были избирать теперь же.

Атаман, взглянув на грамоту и повертев ее в руках как нечто странное, непонятное для него, передал ее стоявшему около него немолодому, понурому казаку с чернильницей у пояса и «каламрем» за ухом. То был войсковой писарь Стецко, прозвищем Мазепа, отец будущего знаменитого гетмана и противника царя Петра.

Мазепа взял грамоту, привычными руками развернул ее и глянул на титул и на печать.

— Печать отворчата, без подписи, — проговорил он, взглянув на посла.

— Точно без подписи, — отвечал посол.

— А как ей верить? — спросил Мазепа.

— Все едино, что и с подписью.

— А мы не верим, — возразил писарь.

— Не верим! Не верим! — раздались голоса в толпе.

— Это не грамота: это ка-зна-що! Тьфу!

— Это москаль сам нацарапал, чтоб нас одурить!

— Го-го-го! Не на таких наскочил! Киями его! — ревела громада.

Посол, видимо, оторопел. Он растерянно глядел то на писаря, то на бушующую громаду с расвирепевшими лицами и отверстыми, кричащими глотками, то на старшин... Старшины видели опасность положения... Искра недоверия брошена... Надо потушить пожар, а то того и гляди начнется свалка, кровопролитье...

— Послушайте меня, панове молодцы, вельможная громада! — закричал, подняв кверху шестопер, один из старших «куриных атаманов», с добрым, худым лицом и добрыми, ласковыми черными глазами.

— Петр Конашевич говорит! Послушаем, хлопцы!

— Сагайдачного слушайте! Сагайдачный говорит!

— Пускай Петр Конашевич-Сагайдачный слово скажет!

Он до чорта мудрый!

— Слушайте, сто копанок чертей, вражьи дети!

Буря голосов разом смолкла. Все ждали, что скажет Сагайдачный, которого очень уважали казаки...

— Панове молодцы, вельможная громада, — тихо начал Сагайдачный, — пускай сам его милость посол скажет, кому они как пишут и какие у них порядки: кому какая печать под грамотою, кому подпись... Вот и вы, здоровы будьте, коли часом кого привечаете, то не всех одинаково: коли батько ста-

ренького либо мать-старуху — то так, коли своего брата казака, — то иначе, а коли дивчину — то еще иначе...

— Добре! Добре! — загудела громада. — Атаман правду говорит...

— Где не правда! Разве ж мы дивчину так приветаем, как казака!

— Эге! Дивчин зараз — тее-то... женихаться... у пазуху тее...

Посол несколько оправился. Он знаками поблагодарил Сагайдачного и поклонился громаде, которая начинала ему казаться страшною.

— Его милость атаман Сагайдачный истинно говорит, — начал он дрожащим голосом, — у нас, господа казаки, грамоты его пресветлого царского величества бывают разны: коли великий государь пишет королю польскому, либо цесарю римскому, либо султану турецкому, то печать под грамотою бывает большая, глухая, под кустодиєю с фигуры, и подпись дьячьья живет на загибке, а кайма той грамоты и фигуры живут писаны золотом, и богословие и великого государя именование по речь и иных — писано живет золотом-же, а дело — чернили. Это коли великий государь пишет равному себе государю. А коли не государю пишет, а, примером, воеводам, либо казакам донским, либо запорожскому славному войску — так печать живет не глухая, а отворчата, и дьячььи подписи на ней не живет, а токмо титуло царское все прописывается... А титуло царское — великое дело...

Казака молчали. Казалось, слова посла и его поклон усмирили горячия головы вольницы. Сагайдачный дал знак писарю чтобы тот читал грамоту. Мазепа откашлялся в кулак и начал высокою нотою:

— «Божией милостью, от великого государя царя и великого князя Михаила Федоровича, всея России самодержца и многих государств и земель восточных и западных и северных отчина и дедича и наследника и государя и обладателя...»

— Погоди, пан писарь, не так прочел, — остановил чтеца посол.

— Как не так? — удивился последний и глянул в грамоту. — Так — государя и обладателя...

— Не обладателя, а облаадателя — обла-адателя, — повторил посол, — два аза...

— На что два аза — одного довольно, — изумлялся писарь.

— Да ты прочти: там два аза живет — облаадателя...
Писарь снова глянул в грамоту и пожал плечами.

— Так, два... Да, на что оно два?

— Так от старины повелось, чтобы в царском титуле обладателя с двумя азами писать... В сем азе великая сила сокровенна... Коли в царском титуле, в именовании великого государя, пропискою один аз прилучится, и за ту прописку велено казнить безо всякия пощады и дьяка и писца — дьяка бить батоги нещадно, а писцу ноздри рвать... А коли прилучится сия прописка в титуле великого государя от иного государя либо короля, и та грамота не в грамоту, и за ту рописку великий государь войною велит итить на прописчика...

Писарь недоверчиво глянул на старшину.

— Читай, пане писаре, два аза — внушительно сказал Сагайдачный — разве ты не знаешь, что на нас, на матку нашу Украину поднялись и ляхи, и ксендзы, и сам папа, и шарпают Украину, мордуют наших попов и берут наши церкви за то только, что мы, православные, не приемлем их другого аза в «Верую» — не говорим: «от Отца и Сына исходяща», а только от Отца... Это и есть наш азъ... Так и у них...

Все с глубоким вниманием слушали эту простую, всем вразумительную речь своего «мудрого дядьки», как иногда называли Сагайдачного. Московский же посол, по-видимому, проникался к нему все большим и большим уважением и удивлением.

И Мазепа остался доволен толкованием Сагайдачного. «Так, так», — утвердительно кивнул он головой и, снова опустив глаза на грамоту, продолжал:

— «... государя и обла-адателя войска запорожского коше-вому атаману, кому ныне ведать належит, и всему при нем будущему войску наше царского величества милостивое слово. В прошлых годах, божьим попущением и диаволовою гнусною прелестию, бысть в российском царстве смута и кроволитье великое и сотворися на Москве и во всем московском государстве пакость велия: безбожный и богоненавистный прелестник, исчадие ада и сатанин внук, вор и чернокнижник и расстрига Гришка Отрепьев, извесья гнусный язык свой, дерзновенно назвался царевичем Димитрием, сыном государя царя и великого князя Ивана Васильевича всея Руссии, и с помощью польских и литовских людей в наш престольный град Москву взбежал и на превысочайший российского царствия престол аки пес вскочил, а за ним и другие воры и злодеи, похищая царское имя, на тот превысочайший престол скакали ж. Вы же, войско запорожское, по злым смутным прелестям тех псов, не ведая их лукавства, им подлегли и на царское место им наскакать с польскими и литовскими людьми неведением своим помогали

ж и всякое дурно московскому государству чинили многожды. А ныне московское государство, божьею помощью, от польских и литовских людей и от оных псов и самозванцев свободно, а мы, наше царское пресветлое величество, волею божьею и хотением и молением всей российской земли всех чинов людей на превысочайший российский царствия престол законно вступили, и о сем вас, войско запорожское, известуем. Еще же вас, войско запорожское, нашим царского величества словом наставляем, чтобы вы, памятуя Бога и души свои и нашу православную хрестьянскую веру и видя на нас, великом государе, и на всем нашем великом государстве божью милость и над врагами победу и одоление, от таковых, бывших в прошлых годах непригожих дел отстали и снова кроворазлития в наших государствах не всчинали, тем души своей и тела не губили, во всем нам великому государю челом бы били и с нами в любопытстве и мире жили, а мы, великий государь, по своему царскому милостивому праву вас пожалуем таковым жалованием, какого у вас и на уме нет. И тебе б, кошевому атаману, кому ныне ведать належит, и всему будущему при тебе войску ни на какие прелести не прельщаться, а также и иных атаманов и старшин, которые еще не во обращении с вами, к нашему царскому величеству в союз и любительство приводить и нашею великого государя, нашего царского величества, милостью их обнаживати, чтоб быть им с вами, запорожским войском, в совете и против неприятелей стоять вопче. А служба ваша у нас, великого государя, нашего царского величества, в забвении никогда не будет. Писан в государствия нашего дворе, в царствующем граде Москве, лета от создания мира 7122-е, месяца марта в 31 день».

Писарь кончил. Громада молчала никто не смел первым подать голос насчет того, что было прочитано; надо было обсудить целою громадою «чорною ли радою», или «отаманьем», или же всею чернью и старшиною вместе.

Между тем посол вынимал из тюков привезенные для войска царские подарки и картинно бросал их на разостланные кошмы, как бы нарочно дразня глаза казаков яркими цветами разных камок куфтерей, да камок кармазинов, крушчатых и травных, камок адамашок, да бархату червленого кармазину, да бархату лазоревого, да бархату таусинного, да бархатов рытых, да портищ объярей золотных, да отласцов цветных, да косяков зуфей анбурских...

А сукон на казацкие шапки! И сукон красных, что огонь, и сукон шарлату червленого, и сукон багрецовых, и сукон настрафилю, и сукон лятчины...

— У, матери его сто копанок чертей — какие ж славные сукна! — раздалось невольное восклицание и море голосов заревело и как бы затопило всю площадь...

III

На другой день в Сечи было необыкновенно шумно: происходило избрание нового кошевого и вместе с тем гетмана для предстоявшего морского похода. Последний гетман и кошевой, креатура и сторонник поляков, желавший вести казаков на помощь полякам в войне их с Москвою, тогда как казаки желали «погулять по морю» и Цареград «мушкетным дымом окурить», был до полусмерти избит киями со стороны этих расвирепевших детей своих и утоплен в Днепре.

Волнение было страшное. Слышалась ужасная ругань, крики, то и дело звенели сабли: это уже пускали в ход самые сильные доводы — кулачные и сабельные удары, рукопашный бой и угрозы кого-то утопить, кого-то «забить кияками як собаку», кому-то «кишки выпустить...»

Московские послы боялись выходить из куреня, в который их поместили, и издали смотрели и слушали, что происходило на площади. Площадь, действительно, представляла бурное море. Слышно было, что войско разделилось на партии, и каждая партия выкрикивала своего кандидата.

— Старого Нечая! — слышалось в одной группе.

— Небабу Хвилона! — ревела другая. — Небаба казак добрый!

— К бесу Небабу! Сто копанок ему чертей! Нечая!

— Небабу!

— Небабу! Небабу, сто копанок чертей! Небабу!

Небаба, видимо, побеждал своих противников. Он стоял в стороне и, моргая сивым усом, спокойно закуривал «гаспидську люльку».

А там уже шла драка: сторонники Нечая схватились с сторонниками Небабы и уже скрещивались саблями.

В это время выступил забытый крикунами Петро Конашевич-Сагайдачный. Худое лицо его казалось бледнее обыкновенного, хоть и носило на себе следы загара и всевозможных ветров, а глаза из-под нависших черных, тронутых сединою бровей смотрели, казалось, еще добрее.

— Вельможная громада! — раздался вдруг его здоровый, как бы не вмещавшийся в худом теле голос. — Послушайте меня, старую собаку, братчики.

— Сагайдачный! Старый Сагайдак! — покрыли его голос другие голоса. — А ну, что он скажет!

— Сагайдачный! Сагайдачный, братцы! Послушаем, что Сагайдак скажет!

— Он говорит, как горохом в очи сыплет!

Эти окрики и своеобразные похвалы оратору, вроде «горохом сыплет», подействовали на буйную толпу. Всем хотелось слышать, как человек словами точно «горохом сыплет»: это были дети — порох, который вспыхивал от одной искры кремня и также мгновенно потухал.

— Что, хлопцы, краше: лапти московские или чоботы-сафьянцы турецкие? — вдруг озадачил их вопросом Сагайдачный.

— Чоботы! Чоботы-сяфьянцы! — отвечали некоторые.

Толпа понадвинулась ближе — так интересна была речь Сагайдачного.

— И мне сдается — чоботы, — подтвердил оратор.

— Да чоботы ж, батьку! Хай им трясця — московским лаптям!

— Добре, дети, — продолжал оратор, — чоботы так чоботы... А какая, братцы, вера бусурманская!?

— Турецкая, батьку! — обрадовались «хлопцы» — поняли оратора.

— А неволя какая, детки? — допытывался оратор.

— И неволя турецкая! — закричало разом множество голосов. — Неволя турецкая, разлука христианская! Вот так старый Сагайдак! Как в око вlepил! — радовались казаки.

— А кто, детки, в турецкой неволе? — продолжал Сагайдачный.

— Да казаки ж, батьку, да наши девчата.

— Добре. А московской неволи нет?

— Да еще, кажись, не было такой.

— А чайки у нас на что поделаны? В Москву плыть?

Казаки даже рассмеялись, — такую дикою казалась им эта мысль, плыть в Москву, где и моря нет, а только леса да лапти.

— Нет, батьку, — чайки у нас на татарву да на туретчину!

— И сабли и самопалы!

Более горячие из казаков тотчас же поставили вопрос на прямую дорогу.

— Так пускай Сагайдачный и ведет нас в море! — раздавались голоса.

— Долой Небабу! Долой Нечая! Долой Мазепу! Пускай Сагайдак отаманует.

— Сагайдачного! Сагайдачного, братцы, выберем!.. Пускай он панует.

— Сагайдачному булаву! До булавы надо голову, а у него голова разумная, добрая!

— Сагайдачного, братцы, сто копанок чертей! — подтвердил и сам Небаба. — На что лучшего!

— Сагайдак! Сагайдак, го-го-го! — заревела, как бы осатанев, вся площадь, и шапки, словно тучи испуганных птиц, полетели в воздух.

Избрание Сагайдачного, таким образом, состоялось: метание вверх шапок было знаком, что этого требует народная воля — поворота для избранного уже не было.

Сагайдачный стал было кланяться, просить, чтоб его освободили, говорил, что уже стар — «не добачает» и булаву в руках не удержит... Ему тотчас же пригрозили смертью.

— В воду его, старого собаку, коли не берет булавы! — раздалась нетерпеливые голоса.

— Кияками его, маттери его хиря!

Как ни обаятельна и ни заманчива власть вообще, но власть над казаками было дело страшное, и ни для кого не было так тяжело бремя власти, как для казацкого батька — для кошевого или для гетмана. Они по справедливости могли сказать: «О, тяжела ты, булава гетманская!» Уже самый процесс избрания был сопровождается такими подробностями, которые могли испугать всякого, даже далеко не робкого. Уж коли кого казаки излюбили и «обрали» на атаманство — так повинуйся, а то сейчас же проявит себя народная воля — или киями забьют до смерти, или в Днепре утопят. А принял булаву, покорился — выноси личные оскорбления и всякие казацкие «выбрыки» и «примхи»: новоизбранного диктатора и сором обсыпают с головы до ног, и грязью лицо ему мажут, и бьют то в ухо, то по шее, чтоб он помнил, что народ дал ему власть и что народ может и взять ее обратно у недостойного. Зато, когда весь обидный процесс избрания кончен, кошевой становился в полном смысле диктатором: казаки трепетали его. Он вел их куда хотел; ему повиновались беспрекословно; но зато всякая неудача падала только на его голову — он за все был в ответе. Оттого редкий кошевой кончал собственной смертью.

Сагайдачный очень хорошо знал эту страшную ответственность власти, как равно и неизменность народной воли, и с решительным мужеством поднял голову.

— Пусть будет так, вельможная громада, — я принимаю войсковые клейноты: на то воля Божья, — сказал он и поклонился на все четыре стороны.

Опять туча шапок полетела в воздух. Послышались неистовые возгласы.

— На могилу нового батька! На могилу кошевого!

— На казацкий престол нового кошевого! Пускай высоко сидит над нами!

— Возы давайте! Землю на могилу копайте!

Московские послы, слыша эти возгласы, никак не могли понять их значения, и с изумлением переглядывались: зачем могила? Кому копать могилу? Разве старому кошевому? Так его нет уж — утопили в Днепре, как щенка.

Откуда ни возьмись — возы, влекомые самими казаками: что за диво! Возы очутились в середине казацкого круга. Казаки, поставив их по два в ряд, опрокинули вверх колесами.

— Пускай так до горы ногами Орду ставит!

— И туретчину!

— И ляхов до горы пузом!

И казаки, вынуд из ножен сабли, стали копать ими землю, где кто стоял. Землю набирали в шапки, в приполы, тащили к возам и бросали ее на воза, как бы засыпая покойника в яме. Эта мысль бродила и в голове Сагайдачного, который с Мазепю и куренными атаманами стоял в стороне и задумчиво смотрел, как казаки засыпали возы землею. Ему вспомнилась кобзарская дума, в которой жалобно поется, как казаки своего брата-казака, убитого татарами, «постриляного-порубаного», в степи хоронили, закрыв ему глаз «голубою китайкою», как они острыми саблями «суходил копали» и эту землю шапками и приполами таскали и своего бедного товарища засыпали...

Горькое чувство сдавило ему сердце. Перед его глазами как бы разом пронеслась картина его бурной казацкой жизни, которая всеми своими кровавыми сценами не могла вытеснить из его души далеких, светлых воспоминаний детства — белую отцовскую хату в Самборе, добрые, ласковые глаза матери, высокие, серые с темною зеленью горы, беленькую церковку, где он своим юным, свежим голосом подпевал дьячкам на клиросе, а потом в качестве молодого «рыбалты» читал апостол... Вспомнился ему почему-то и польский коронный гетман, гордый воевода Жолкевский, тогда еще молодой панич, но и тогда гордый, надменный... Вспомнились и жгучие минуты мимолетного счастья... А теперь он вон в какой славе! Какую высокую могилу для него копают!.. А смерть за плечами...

А насыпь росла все выше и выше... Вон уже казаки, смеясь, болтая, толкаясь, с трудом взбираются на нее, таская землю шапками и приполами и насыпая все большую «могилу»...

— Выше, выше насыпайте, хлопцы! — болтали казаки. — Пускай будет такая высокая могила, чтоб с ветром говорила.

— Сыпьте, сыпьте, панове, казацкую славу! Пускай растет козацька слава!

И Сагайдачному думалось, что это растет слава — его собственная слава... Но как она всегда поздно вырастает! — большею частью на могиле. Так и его, Сагайдачного, слава только теперь вырастает из земли, когда уже он сам смотрит в землю... А ляжет в землю — так она еще вырастет, по всему свету «луною» пойдет...

Но вот могила готова — высокая могила! Выше всех могил, какие насыпались прежним гетманам и кошевым... Казаки утаптывают ее ногами, вытряхивают последнюю пыль из шапок и припол, надевают шапки и сходят на площадь, становясь по-прежнему в круг.

Писарь обращается к новоизбранному и к куренным атаманам.

— Час, панове, новому кошевому на престоле сесть, — говорит он, кланяясь старшине.

— Идите, батьку, закон братъ, — обращается старшина к Сагайдачному.

Сагайдачный всходит на могилу и садится на самой верхушке кургана. Высоко сидит он! Далеко оттуда видно нового кошевого!

— Здоров був, новый батька! — слышались голоса из толпы. — Дай тебе Боже лебединый вик та журавлиный крик!

— Чтоб тебя так было видно, как теперь, коли с врагами буюм битися!

Между тем кухари подмели полы в куренях, вымели сор на площадь и сложили его в огромную, плетеную из лозы корзину — «кош». Потом подняли кош на плечи и втащили на могилу, к тому месту, где сидел Сагайдачный. Новоизбранный кошевой сидел как истукан, задумчиво глядя, как Днепр катил свои синие воды к далекому морю.

Кухари подняли корзину над головою нового кошевого. Сагайдачный закрыл глаза...

— На счастье, на здоровье, на нового батька! — воскликнули кухари и опрокинули весь бывший в корзине сор на

голову своего нового диктатора: — Дай тебе Боже журавлин-
ный крик та лебединый вик!

— На счастье, на здоровье, на нового батька! — громом
повторили казаки.

Тогда писарь взошел на курган и поклонился обсыпанному
сором кошевому.

— Как теперь тебя, пане атамане, обсыпали сором, так
во всякой невзгоде и взгоде обсыпят тебя казаки, словно пче-
лы матку! — сказал Мазепа торжественно.

Тогда на курган толпами полезли казаки и стали делать
с новым батьком что кому в голов приходило. Иной мазал
ему лицо грязью, другой дергал за губ...

— Чтоб не гордовал над нашим братом казаком! — по-
яснил один.

— Чтоб был добр до головы! — объяснил другой.

— Чтоб вот так бил татарву да ляхов, как я тебя быю! —
заявил третий, колотя взашей своего «батька».

Наконец Сагайдачный встал и, весь в пыли и грязи, на-
путствуемый добродушными криками своих «диток», напра-
вился в свое помещение.

Через несколько минут он вышел оттуда переодетый на-
чисто, мытый и с булавою в руках. За ним вынесли другие
войсковые клейноты...

Казаки присмирели, как пойманные на проказах дети: те-
перь одного мановения руки этого нового «батька» достаточно
было, чтоб у любого казака слетела с плеч голова...

Сагайдачный объявил поход в море... Восторгам казаков
не было конца...

IV

Во всей истории России, как великой, так и малой — с
одной стороны, и Польши — с другой, не было момента боле
рокового, как та четверть века — конец XVI и начало XVII
столетия, — в пределах которой возвращается наше повествова-
ние.

В это время Польша была самым могущественным и са-
мым обширным государством во всей Европе. На востоке ли-
ния ее владения шла от Лифляндии и почти от Пскова,
захватывая так называемый Инфлянт с Полоцком, Витебском
и Оршею, проходя почти мимо Смоленска и Красного, а от-
туда почти вплоть до Сум и далее, мимо Северного Донца
вплоть до устья Дона и Азовского моря. Все, западнее этой

линии, фактически было Польшей: Белая Русь, Черная Русь, Малая Русь, Червонная Русь, так называемые Вольности Запорожские, Подол, Волинь, Подлясье, Подляхия и сама Польша — вот что вмещалось в этом гигантском роге изобилия, который назывался Речью Посполитою и из которого, по национальному девизу, должны бы были сыпаться на входящие в состав Польши страны величайшие для людей блага — «рувносьць», «вольность», «неподлеглиць». На юге линия эта граничила с владениями Оттоманской Порты и ее вассальных государей. С запада и севера Польша почти не знала границ — и Саксония, и Швеция прикрывались, можно сказать, польскою государственною мантиею, и короли их нередко шли под польскую корону, как некогда новобранцы под «красную шапку». В этом океане «польщизны» герцогство Пруссия с тогдашними Вильгельмами и Бисмарками торчала, как ничтожный островок, который, казалось, совсем зальется польским морем. Наконец, около 1612 года, когда русский царь — Василий Шуйский — был пленником привезен в Варшаву, а поляки взяли Москву, даже Россия признала над собою владычество Польши, выпросив себе у нее короля. Взгляните на карты тогдашнего времени, и вас поразят очертания польского королевства — в этой какой-то размашистости границ его было что-то страшное, внушающее.

Внутри этого рога изобилия самый внутренний строй представлял собою, казалось, несокрушимые гарантии вечного довольства и счастья. Сама идеальная свобода, какую только когда-либо видели люди на земле, свила себе гнездо в этой благословенной стране, богатая природа которой и благодатная почва, казалось, гармонировали с богатыми задатками ее гордого своею «вольностью» и «неподлеглистью», даровитого населения лехитов и нелехитов. Каждый благородный лехит имел право быть первым лицом в государстве — «крулем» над равными себе «крулями» и простыми смертными, если только личные дарования, ум и заслуги ставили его головой выше над всеми другими лехитами-магнатами и немагнатами: каждый из них носил у себя в «кешени», или под черепом, наследственную корону, — и из «кешени», из-под черепа, она могла очутиться на его даровитой голове, если она была таковою. Лехита не удивишь, бывало, королем. «Я сам могу быть крулем», — говорил он и это не была простая фраза. Каждый король знал это — и был первым слугою своих подданных.

Обаяние этого строя было тем неотразимее, что Польша стала носительницею культуры своего века. Для образованно-

го поляка высшая европейская культура была доступна, и он черпал из нее все, что в ней было лучшего. Польша шла в уровень с Европою и во многом, например, хоть бы в применении гражданской свободы, далеко оставила ее за собою. Замойские, Радзивиллы, Жолкевские и целый ряд их современников могли считаться лучшими европейцами в лучшем и благороднейшем значении этого слова, европейцами не по образованию только, а убеждениями и делами своей жизни: Ян Замойский, например, был ректором падуанского университета, одного из самых ярких светочей тогдашней науки, а дома носил титул и портфель канцлера королевства.

Перечислять все признаки высшего развития тогдашнего поляка — это значило бы изображать то высокое развитие, до которого достигла тогда Европа, имевшая уже и Шекспира, и Тасса, и Данте, и Камюэнса.

Неудивительно, что все знатнейшие русские роды, происходившие еще от дружинников и бояр Владимира, Ярослава, Святослава и Мономаха, князей киевских, и обитавшие не в московской Руси, побежденные обаянием польской культуры, ее вольностью и «неподлежностью», не захотели оставаться «русичами», а все окунулись в «золотую польщизну».

Ополячение всего, что входило в очерченные ниже границы, шло неимоверно быстрыми шагами — ополячение веры, обычаев, одежды, образа жизни, языка. И это было не насильственное ополячение, не из-под палки, а ополячение вольное, любовное: каждому более или менее образованному русскому хотелось если не быть поляком совсем, то хоть походить на него, подражать ему в языке, в костюмах, в манерах, в жизни... Я не говорю о русских московского государства — это особая статья: меж москалями и поляками были свои исторические счеты. Но хохлу пока еще не за что не любить поляка — и он любил его, верил ему, подражал ему, и сам становился поляком с головы до ног, даже более поляком, чем настоящий, «уродзона́й» поляк — *plus royal que roi*; такими стали хохлы Жолкевские, Ходкевичи, Тышкевичи, Вишневецкие, Сапеги, Пацы — столпы польской аристократии во все последующие века. Над хохлами сбывалась историческая истина: побеждает всегда любовь и свобода, а насилие всегда проигрывает. Этой-то свободой и любовью и завоевали поляки себе всю Малую, Червонную, Белую и иные Руси, кроме Московской, Великой. Литературный, ученый и юридический язык хохла стал чисто-польским или сколком с него во всем: хохол XVI и XVII века писал также свободно по-польски, как он ныне пишет по-русски. Я говорю не об

ополячившихся хохлах, а о тех даже, которые протестовали против этого ополяченья. Они не только писали по-польски, но не могли, не умели иначе писать, потому что «писаного» хохлацкого языка не существовало вовсе, а был разговорный народный язык. Тогдашний Руссо или хохлолюб, воображая, что пишет по-украински, писал именно по-польски, — так сильно господствовал польский дух во всем, к чему ни прикасался его творчески гений.

Одним словом, поляки сделали громадные завоевания — и духовные, и территориальные. Оставалось окончательно завоевать украинский народ. Они его уже и завоевали почти, но не оружием, а свободой. Украинскому народу жилось хорошо под польским владычеством. Он имел полную свободу передвижения: мог переходить от пана к пану, с одних земель на другие, где казалось ему льготнее. Земли у него было вдоволь, да и земля благодатная.

Но Польша изменила одному из главных принципов своей государственности — свободе, и через это лишилась свободы сама; она захотела отнять эту свободу у хохлов, у хлопков; она насилем хотела ускорить ополячение в крае, окатоличение хохлов, и эти хохлы погубили ее, ибо насиле в конце концов всегда убивает насилующего вместо насилуемого...

Перед нами замок князей Острожских, знаменитых в истории просвещения Руси своим покровительством типографскому делу. Замок этот величественно высится над красиво извивающеюся Горынью и господствует не только над всеми зданиями и церквями Острога, но и над целым всхолмленным краем с его красивыми роццями и дремучим бором, растянувшимся на десятки верст. Башни замка вперемежку с высокими тополями, гордо тянутся к небу, а почернелые крыши и зубчатые стены с узкими прорезьями, узкие, неправильно расположенные окна, тяжелые массивные ворота под башнями, кое-где торчащие черные пасти пушек в стенных прорезях — все это действительно напоминает мрачный острог, в котором томятся люди в ожидании казни.

Но внутри этого мрачного детища средних веков было далеко не то. Снаружи — все грозно, мрачно и неприступно для неприятеля, которым, в то откровенное время мог быть всякий сосед; внутри — роскошь, блеск, откровенное, бросающееся в глаза богатство и такое же откровенное, широкое радушие для дорогих гостей, которые, может быть, недавно были врагами.

Особенно был знаменит своим гостеприимством этот замок при отце настоящего его владельца — при князе Василии-Кон-

станине Острожском, за восемь лет перед этим скончавшемся почти столетним стариком. Тут, в мрачных, но ярко освещенных залах или среди зелени замкового сада, пировали и короли польские, и знатнейшие магнаты «золотого века» этого блестящего «лыцарства»; по целым месяцам гостили и иностранцы из всех стран света, и высшие духовные сановники Рима, и знатные духовные лица Востока, тут, среди гостей, можно было видеть и князя Курбского, первого русского эмигранта и врага Грозного царя, и ораторствующего польского Иоанна Златоуста, знаменитого иезуита Петра Скаргу; тут терлись среди вельможных гостей знаменитые в истории нашего «смутного времени» иноки Варлаам и Михаил; промелькнула и загадочная фигура молодого рыжего чернеца с бородавкой, оказавшегося впоследствии якобы московским царевичем Димитрием.

Обнесенный мрачными стенами с башнями, обширный замок составлял как бы особый город с великолепным палацем, официнами в множестве других зданий для дворцовой шляхты, для музыкантов, типографщиков и для целой стаи гайдуков, доезжачих «лакузов» и всякой дворской челяди. К главным воротам замка, украшенным массивным позолоченным гербом князей Острожских, вела широкая аллея, обсаженная роскошными пирамидальными тополями. Княжеский палац стоял на горе фасом к Горыни, а от широкого крыльца и крытой с колоннами галереи по полугоре раскинут был внутренний замковый сад, украшенный дорогими растениями местной и тропической флоры, из-за которых белелись мраморные статуи прекрасной итальянской работы, грациозно выглядывали изящные павильоны и киоски. Слышался немолкаемый плеск фонтанов, шум искусственных водопадов, низвергавшихся с серых, проросших зеленью скал, нагроможденных руками покорных пеласгов — хлопов...

Внутри палац блестел пышною, подавляющею роскошью. Горы золотой и серебряной посуды, расставленной на обтянутых малиновым бархатом полках в виде амфитеатра, дорогое оружие, покрывавшее стены, олени и туры рога, шкуры и чучела медведей, стоящих на задних лапах и держащих передними лапами массивные серебряные канделябры, живописные изображения на стенах главнейших видов в бесчисленных, рассеянных по всей Украине княжеских «маионтках», яркие, горящие золотом и серебром образцы чеканного искусства, дорогие, словно усыпанные живыми цветами ковры, блестящие и ослепляющие золотою и серебряною мишурою гайдуки и пахолки, как бы составлявшие часть дворцовой утвари и мебели, — все это поражало глаз, давило массивностью и

грубым эффектом, било по нервам, если только таковые полагались в то сангвиническое время...

В замке гости. После роскошного обеда ксенже Януш, владелец этого чудного палаца, пригласил своих вельможных сотрапезников на галерею — подышать свежим воздухом. На галерее между зеленою расставлены столы и столики, униженные батареями фляжек и покрытых мхом бутылок «старого венгржины», мушкателя, мальвазий, ревул, аликантов и других всевозможных вин и медов. Турьи рога на ножках и массивные стопы опоражниваются, *ad majorem Dei Poloniaeque gloriam*, по мере наполнения их прислуживающею вельможным гостям благородною шляхтою... Хлопов здесь нет, а все свой брат — «уродзоны» поляк, и потому может говорить откровенно... Гайдуки и пахолки сидят теперь по официнам и тоже пируют, подражая панству и хвастаясь богатством и вельможностью своих господ... Рай, а не жизнь!..

Ясновельможный ксенже Януш — видный мужчина, уже далеко не первой молодости: он уже при покойном круле его милости Стефане Батории был смышленным ксенженком, а *reverendissimus pater* Скарга возлагал на него свои католические надежды. В круто «закрецоных вонсах» князя Януша уже давно серебрится седина, искусно прикрываемая французскими и итальянскими фабрами. Лысая голова князя красноречиво говорит о том, что этою головою больше пожито и выпито, чем продумано. Под серыми бесцветными глазами висят мешочки: можно было подумать, что это там, под кожей, накопились мешочки слез, не выплаканных в течение веселой, беззаботной жизни... Да и когда их было выплакивать!.. Короткие ножки князя Януша как-то неохотно носят на себе полное, упитанное тело своего владыки, которое привыкло более пользоваться лошадиными и холопскими ногами, чем своими собственными, созданными разве только для мазура да для расшаркивания перед прелестными паннами... А шаркано много, и мазура танцовано ох как много!

— А я хочу вас, панове, угостить таким вином, какого, я уверен, нет и в погребях его милости пана круля, — сказал князь Януш, многозначительно покручивая свой нафабранный ус и окидывая торжественным взором присутствующих.

Слова эти привлекли всеобщее внимание: польские паны любили похвастаться редкими винами друг перед другом, и это как бы составляло их национальную гордость.

— Слово гонору, панове, — такое вино, такое!.. — И князь Януш, сложив пучком свои пухлые пальцы, слегка дотронулся до них губами.

— А из каких, пан ксенже? — спросил высокий, белокурый и сухой гость с холодными серыми глазами, которые, казалось, никогда не улыбались, как не улыбались и его сухие губы.

— Старого венгржина, пане ксенже, — отвечал князь Януш, медленно переводя глаза на сухого гостя и как бы спрашивая: что же дальше?

Гость равнодушно посмотрел на него холодными глазами.

— А как оно старо? Старше меня с паном? — спросил он.

Князь Януш еще выше задрал свой ус.

— Гм, — улыбнулся он, — это вино, пане ксенже, видел, как вечной памяти круль Владислав Третий Ягайлович короновался венгерскою короною. Его милость круль Владислав прислал тогда же из Венгрии моему предку князю Острожскому двенадцать дюжин этого божественного напитка.

И князь Януш, подойдя к столу, открыл серебряный колпак в виде колокола, под которым на таком же серебряном блюде стояла покрытая мхом бутылка. Некоторые из гостей тоже подошли к столу — взглянуть на древность.

— Вспомните, панове, что эта ничтожная склянка с заключенною в ней влагой пережила и своего первого хозяина, злополучного короля Владислава, погибшего под Варною, и славного Казимира, и Сигизмунда Августа... Это жалкое стекло пережило дом Ягеллонов, но в нем живет душа Ягеллонов... Выпьемте же, панове, за вечную память этого славного дома, с которым Польша достигла небывалой славы и могущества! Выпьем из этого сосуда, на котором я вижу прах наших славных предков!

И князь Януш торжественно дотронулся до горлышка бутылки.

— Правда, пане ксенже, я слышу запах гроба, — тихо и грустно сказал один из гостей, юноша лет двадцати, с смуглым лицом южного типа и с умными, задумчивыми глазами, — эта бутылка пережила золотой век Польши, а ее другие сестры переживут нас.

— О! Непременно переживут! — беззаботно воскликнул князь Януш. — Я об остальных бутылках и в своей духовной упоминаю... Я завещаю тому поляку, который сядет на московский престол и коронуется шапкой Мономаха, выпить одну бутылочку в память обо мне.

Князь Януш подал знак одному из прислуживавших шляхтичей, чтоб тот раскупорил заветную бутылку. Вертлявый шляхтич, ловко звякнув «острогами» в знак внимания и почтительности к ясновельможному пану воеводе, подскочил

к бутылке с таким рыцарским видом, как бы это была дама, которую он приглашал на мазура. Он осторожно взял бутылку и, обернув ее салфеткой, стал откупоривать засмоленное горлышко: он, казалось, священнодействовал.

Бутылка раскупорена. Драгоценная влага налита в маленькие рюмочки. Гости смакуют двухсотлетнюю древность, пережившую и их отцов, и славу Польши.

— Аромат! Я слышу, тут сидит душа Ягеллонова! — восторгался один гость.

— *Divinum!* — процедил сквозь зубы пан бискуп.

Князь Януш явно торжествовал.

— В погребе моего отца есть нечто древнее этого, панове, — сказал один из гостей, белокурый юноша с голубыми глазами, ставя рюмку на стол.

— Что говорит пан Томаш? — отозвался князь Януш, подняв голову как пришпоренный конь.

— Пан Томаш говорит о реликвиях своего отца, почившего в мире пана Яна Замойского, — пояснил пан бискуп, по-видимому, любуясь цветом вина в своей рюмке.

— Реликвии почившего пана Яна? — удивился хозяин.

— Да, пане ксенже, — лениво отвечал белокурый юноша, — в погребе моего отца сохранилась еще одна бочка меду из присланных нашему предку ее милостью королевою Ядвигою в память соединения Литвы с Польшею... Я рад буду угостить этим медом панов, если они сделают мне честь — навестят меня в моем замке в Замостье.

Со всех сторон посыпались любезности и похвалы домам Замойских и Острожских и их славным, недавно умершим представителям — пану Яну Замойскому и князю Василию-Константину.

— Нех бэндзе Езус похвалены! — заключил пан бискуп, ставя пустую рюмку на стол.

— На веки векув! — отвечал хозяин.

— А чи не осталось у кого-либонь из ясновельможных панов хочай одной бутылочки из того вина, которым некогда упивался праотец наш, Ной небожчик? — отозвался вдруг голос, доселе молчавший. — Мню же, то есть саме старе вино...

Все с изумлением посмотрели на вопрошающего. Никто сразу не нашелся, что ответить. Князь Януш, казалось, подмигивал и одним глазом, и усом в ту сторону, где сидел белокурый юноша, похвалившийся древностью своего меда.

«Не в бровь, панове, а прямо в глаз, — казалось, говорил коварно моргающий ус князя Януша: — каков хохол!»

Прежде чем продолжать настоящий рассказ, не лишним будет познакомиться с некоторыми из гостей, находящихся теперь у князя Януша Острожского.

Гости все замечательные. Не один из них оставил след в истории Польши и южной Руси. Высокий, совсем еще молодой сухой блондин с холодными серыми глазами — это князь Иеремия Корибут-Вишневецкий, один из богатейших и родовитейших вельмож южной Руси, владелец необозримых маёнтков и иных богатств на правой и левой стороне Днепра, гордый и древностью рода, и своими огромными связями. Он уже давно ополячился, давно проникнулся обаятельной культурой Запада; но он терпит веру предков — православие, но не по убеждению, не по влечениям сердца, а так себе — по привычке, по панской традиции, да и потому еще, что мать его, Раида, дочь молдавского господаря Могилы, не любила бритых ксендзов, а охотнее беседовала о спасении души с волосатыми и бородатыми попами и монахами «греческой», холопской веры, вроде хоть бы вот этого корявого и загорелого «шленды», что заговорил о Ное и его винных погребах...

Этот шленда смотрит не то монахом, не то попом, не то запорожцем, хотя без чуба — такое на нем странное одеяние и большущие чоботищи с подковами. В желтых глазах его и на тонких губах постоянно играет как будто насмешливая или недоверчивая улыбка. Это — Мелетий Смотрицкий, ученейший из всех хохлов и злейший враг отцов иезуитов. Он много читал, многому учился, много писал, в особенности против унии. Политически-богословский памфлет его — «Вирши на отступников» — наделал много шума во всей южной России и Польше и создал ему много врагов. Но Мелетий — этот корявый шленда — чувствовал свою силу: долго побродив в Европе в качестве учителя одного литовского панича вельможи, наслушавшись ученейших профессоров лучших европейских университетов этот хохол боролся с своими врагами не как неуч, а во всеоружии тогдашней учености. Не раз он схватывался, на веселых диспутах у старого князя Острожского, с знаменитым польским Демосфеном — Петром Скаргою, и всегда, по выражению старого князя, выбивал у него либо зуб, либо ребро, хотя и сам иногда отступал с «тахіте подбитыми глазами». Теперь этот шленда наделал нового шума своим памфлетом — «Плач восточной церкви», выпустив его в свет под псевдонимом Феофила Орфолога, и княгиня Раида, в восторге от этого «Плача», приглашала учить и воспи-

тивать своего сына Иеремию — не ученого иезуита, не шаркающего патера, а именно этого корявого шленду, как называл его в шутку князь Иеремиа.

Тот из гостей князя Януша, которому показалось, что от бутылки с «старым венгржином» пахнет могильною затхлостью, юноша с черными глазами, южного типа — это почти державный юноша, сын бывшего молдавского господаря Могилы, Петр Могила. Он учился в Париже, в коллегии, а после потери отцом его, господарем Симеоном, престола Молдавии и Валахии, юный господарич должен был искать убежища в Польше и теперь состоял в войсках приютившей его республики. Вот его-то двоюродная сестра Раида и была женою князя Михаила Вишневецкого и поклонницею волосатого «Орфолога».

Другой юноша, белокурый и бледный, похвалившийся, что в его наследственных погребах есть меда, сохранившиеся от времен королевы Ядвиги, и вызвавший замечание о винных погребах праотца Ноя, был Замойский, сын знаменитого Томаша Замойского, — богатейший жених во всей короне польской, в Литве и южной Руси.

Наконец пан бискуп в дорогой фиолетовой сутане, чистенький, бритый, с белыми изящными руками и дорогими манжетами — это Иосафат Кунцевич, «новый апостол Литвы», надежда Рима и католической Польши, и в то же время враг корявого и волосатого Мелетия Смотрицкого.

Когда Мелетий спросил, не осталось ли у кого-либо из панов хоть одной бутылки того вина, которым упился Ной, Кунцевич вскинул на него своими ласковыми лисьими глазами и, подняв брови, словно в порыве благочестия, сказал:

— А это пану Орфологу лучше знать.

— Почему, пане бискупе? — улыбнулся князь Януш.

— Потому, ясновельможный ксенже, что ключи от погреба Ноя находились у них.

— У кого — у них?

— У пана Хама, праотца схизматиков.

Злая шутка пана бискупа рассмешила панов.

— Слово гонору! Пан бискуп правду говорит! Правда, правда! — одобрили гости.

Мелетий молча улыбался. Все на него смотрели, как бы ожидая ответа.

— А я еще больше скажу, панове, — отвечал он на обращенные к нему взгляды, — мы, хамы, выпили все старое вино своих праотцев и теперь пьем токмо горелку.

— Bravo, bravo! — одобрил пан хозяин.

— А я боюсь, панове, — сказал серьезно юный Могила, — как бы они, эти хамы, выпив свою горелку, не вздумали потом забраться и в ваши погребанья... А на то похоже...

— Пан господарчик неправо говорит, — вмешался пан бискуп, — хамам у вельможных панов не жизнь, а рай.

— О, не желал бы я пану бискупу такого рая! — горячо возразил юный Могила. — Разве вы забыли, что пишет вам, панам бискупам и всему панству, Иоанн из Вишни? Не вы ли, говорит он, забираете у бедных подданных из обороны кони, волю, овцы, тянете с них денежные дани, дани пота и труда, обдираете их до живого, обнажаете, мучите, томите, гоните летом и зимою в непогоднее время на комяги и шкуны, а сами, точно идола, сидите на одном месте, и если случится перенести сей оплодотворный труп на другое место, то переносите его бесскорбно на колысках, как будто и с места не трогаясь!

Юный Могила, забывши, где он и с кем, говорил точно с кафедры, обращаясь больше к пану бискупу и воодушевляясь все более и более. На смуглых щеках его выступил румянец, в голосе звучало убеждение. Мелетий Смотрицкий, весь обратившись во внимание, глядел на юношу с восторгом, прочие гости — с удивлением и недоумением. Один князь Януш лукаво улыбался.

— Риторика, пане Могила, монашеская риторика! — пожимал плечами пан бискуп. — Кто-же из холопского поту делал золотые, пане? Да они бы и воняли...

Гости рассмеялись.

— Не смейтесь, ясновельможные панове! — серьезно сказал Смотрицкий. — Его милость господарчик говорит святую истину... Только не паны тут винни...

— А кто, пане Орфологу? — спросил хозяин.

— Той, як кажут, ясновельможный пане ксенже, кто забравсь у очерет та й шелестит.

— А кто в очерети?

— Папижник, пане ксенже... Недаром посполство аки бчолы летят за пороги.

— Пан Мелетиуш говорит правду, панове, — отозвался молчавший до этой минуты князь Вишневецкий, смакуя остатки венгржина в рюмке, — этот мотлох все растет... Хлопы целыми ватагами уходят в Запорожье: там у них появился какой-то отважный ватажок, Конашевич-Сагайдачный, и холопство все больше и больше поднимает голову.

— Пустое, пане ксенже! — беспечно перебил князь Януш. — Стоит только этому быдлу рога сбить...

— Ну, пан ксенже легко смотрит...

— Легко! Наливайко уж попробовал медного вола...

— Теперь не Наливайком пахнет, пане ксенже... Вон при мне через Киев проехали к этим калганам послы нового московского царя...

— Фе-фе-фе! Московского царя! Какого, пане ксенже? Что в лаптях?

— А хоть бы и в лаптях...

— Ну — это пустое... Царица Марина даст им нашего царя...

— В самом деле, панове, — вмешался вновь в разговор юный Могила, — что слышно о царице Марине и об ее царевиче?

— Есть вести, что они в Астрахани, — отвечал князь Вишневецкий.

— На своем царстве, панове! — пояснил князь Януш. — А? Кто-бы мог подумать, что эта черноглазенькая Марыньця, которую я знал вот такой, — и князь Януш приподнял над столом свою пухлую ладонь не более как на две четверти, — и носил на подносе как букет цветов, кто-бы, панове, мог подумать, что эта маленькая Мнишкова будет царицей московской и астраханской!

— Да, была, — вздохнул юный Могила.

— Как и ты, пане, мог быть господарем молдавским, — вставил молодой Замойский.

Князь Януш мигнул шляхтичам-прислужникам, чтобы снова наполнили бокалы.

— Выпьемте панове, за здоровье царицы Марины и царевича! — громко сказал он и встал.

Некоторые из гостей тоже встали и, взяв бокалы, подняли их вверх. Мелетий Смотрицкий сидел неподвижно, как бы наблюдая за облачком, которое плыло по голубому небу.

— Нех жие Марина царица московска! — возгласил князь Януш.

— Нех жие царица Марина! Нех жие царевич! Нех жие злота вольность! — раздались голоса.

— Слово гонору панове! — воскликнул пан Будзило, кругленький панок, закручивая свои кругленькие усики. — Я еще раз побываю в Москве.

— А разве пан опять захотел кошатины да мышатины? — лукаво улыбнулся своими желтыми глазами хитрый хохол Мелетий.

— Ну, нет, пане Орфологу, теперь будет не то... А то проклятое это было, панове, времечко, как мы сидели в Кремле и как нас вымаривали эти Минин и Пожарский, — уж и

времечко! — начал пан Будзило, входя в свою роль. — Поверите ли, панове, когда мы все поели, что там у нас было, мы стали воровать у лошадей овес и сами съедали, точно кони. Не стало овса — коней поели! Не стало коней — стали есть траву, всякие корни, а там сначала собак всех переели, потом кошек...

— А не царапали пана кошки? — подзадоривал хозяин, подмигивая гостям.

— Царапали, пане ксенжа, да это что! — и кошек не стало...

— Без кошек вас мыши, я думаю, съели? — подмигивал хозяин.

— Нет, пане ксенже, мы их сами поели.

— И после того не мяукали по-кошачьи?

— Мяукали, да еще как, пане ксенже! Особенно, панове, пришлось мяукать, как ничего не оставалось кушать, кроме падали и мертвецов: этих и из земли вырывали и ели...

— Без соли?

— Без соли, пане... А там начали есть живых — друг дружку... Начали с пехоты...

— А пан не в пехоте служил? — допрашивал князь Януш.

— Нет, пане ксенже, я вырос на коне... Вот и начали есть пехоту... Однажды спохватились — нет целой роты: всю роту пана Лесницкого съели... Один пехотный поручик съел двух сыновей своих, один гайдук съел сына, другой мать-старуху. Офицеры повыели своих денщиков и гайдуков, а то случилось, что и гайдук съедал пана...

— Ах он пся крив! — не вытерпел один панок. — Как же это хлоп смел есть пана?

— Съел, пане, что будешь делать! Уж мы так и остерегались друг дружки — вот-вот накинется и съест... А потом, панове, мы такое правило постановили: родственник может есть родственника, как бы по наследству, а товарищ — товарища... Не один раз и судились из-за этого: случилось, что иной съедал своего родственника, дядя племянника, а у съеденного был ближайший родственник — отец: так присудили отцу за съеденного у него братом сына — съесть этого брата.

— И съел?

— Съел, панове... А то другое такое судное дело было во взводе пана же Лесницкого: гайдуки съели умершего в их взводе гайдука-товарища. Так родственник съеденного, гайдук из другого взвода, предъявил своему ротмистру иск на тот взвод, который съел его родственника, доказывая, что он

имел больше права съестъ его как родственника, а тот взвод доказывал, что он имел ближайшее право на умершего в их взводе товарища: это, говорят, наше счастье...

— Боже мой! Какой ужас! — тихо всплеснул руками юный Могила.

— А удивительный все-таки, панове, был этот неразгаданный человек! — задумчиво сказал пан бискуп.

— Кто? — спросил князь Януш.

— Да этот Димитрий, что был царем московским: я все что-то подозревал в нем.

— Да и мне он казался не простой птицей.

— А ваша мосць, ксенже, разве знал его лично?

— Как же, пане бискупе: он сначала в нашем дворе толкался с московскими монахами, с греками, казаками да недоучившимися рыбалями и спудеями... У покойного батюшки ведь тут было просто вавилонское столпотворение. Кого тут не перебывало!.. Часто я видел его, царевича-то, в подрясничке, как он все о чем-то шептался вот с этим калганом, с Конашевичем-Сагайдачным, что теперь, говорят, атаманует в Запорожье. Сагайдачный тоже болтался тут одно время, когда вышел из братской школы.

— Ваша княжеская мосць говорит, что Сагайдачный учился в братской школе?

— Да, здесь, в Остроге, пане бискупе: но это было давно.

— Жаль... Его мосць князь Василий, ваш батюшка, много способствовал разведению этой саранчи — тэго пржеклен-того схизматства.

— Но он же, пане бискупе, усердно служил и интересам святого отца.

— Ваша мосць говорит правду... Только не надо было плодить этих Сагайдачных...

— И всех этих, пане, Грицей, — добавил юный Замойский.

— Какую же шкоду чинят вам эти Сагайдачные и Грици, панове? — вмешался Мелетий Смотрицкий.

— Много шкоды... Они ссорят Речь Посполитую с Турциею.

— А не они ли, пане, помогали Речи Посполитой в ее войне с Москвою? Да они ж, пане, эти грязные Грици, и орют, и сеют, и жнут для вас, и служат вам.

— На то они хлопы — быдло паньске...

— На то их и пан Буг создал, панове, — подтвердили гости.

— Ха-ха-ха-ха! — разразился вдруг князь Януш. — Посмотрите, панове! Ха-ха-ха!

И князь Януш, охвативши пухлый живот обеими ладонями, залился самым искренним смехом.

Гости глянули по тому направлению, куда смотрел хохотавший хозяин. С замковой террасы, на которой среди роскошной зелени прохлаждались паны, видна была извилистая, тонувшая в зелени Горынь и далекое Загорынье, и ближайшая тополевая аллея, которая вела к главным замковым воротам. По этой аллее, подымая страшную пыль, двигалось что-то необыкновенно странное: ехала небольшая крытая таратайка, в которую вместо лошадей, казалось, впряжены были люди, и звенел дорожный колокольчик.

— Ха-ха-ха-ха! — не унимался князь Януш. — Точно в Риме триумфальная колесница, запряженная пленными царям.

— Правда, панове, он едет на хлопах, — подтвердил пан Будзило.

— Да это патер Загайло, — пояснил пан бискуп, — он так наказывает непокорных схизматиков или совратившихся в схизму... Он очень ревностный служитель церкви, и его святой отец лично знает.

Странный поезд между тем приближался. Впереди ехал конный жолнер со значком в руках, на котором изображено было распятие. За жолнером следовал сам патер Загайло. Он сидел в легкой плетеной таратайке, словно в решете или в корзине, в каких возят на гуляние детей. Верх таратайки был тоже плетеный с сафьянным фартуком.

Таратайку с патером везла запряженная в нее шестерка хлопов. Это были почти все молодые парни, а один уже с проседью, худой и понурый. Запряжены они были так, что впереди шло двое, как обыкновенно ходили в старину кони «цугом» и «на вынос», а сзади, у самой таратайки, четверо. За таратайкою следовал другой конный жолнер. К концу дышла подвязан был колокольчик, который и звенел при движении необыкновенного поезда.

При въезде на замковый двор хлопы прибавили рыси. Видно было, что молодежь делала это с умыслом — просто озорничала: иной закидывал назад голову, изображая ретивого коня, другой семенил ногами и ржал, третий, казалось, брыкался...

— Ги-ги-ги-ги! — ржал коренастый парубок, подражая жеребцу.

— Ой лишечко! Грицько задом бьет! — дурачился другой хлопец.

— Держите, держите меня, пане, а то брыкаться буду! — кричал третий.

Патер, высунувшись из таратайки, хлестнул сплетенным из тонких ремешков хлыстом разыгравшихся хлопов и благочестиво поднял глаза к небу...

— Пеккави, доминe! — пробормотал он, пряча хлыст.

Таратайка бойко подкатила к замковому крыльцу, на котором уже стоял хозяин с некоторыми из гостей.

Сухой и сморщенный патер, поддерживаемый спешившимися жолнерами, выполз из таратайки.

— Нех бендзе Христус Езус похвалены! — приветствовал он хозяина и гостей.

— На веки векув! — отвечал князь Януш с гостями.

Запряженные хлопы стояли у крыльца и с любопытством смотрели на панов, как деревенские дети смотрят на медведей. Паны также смотрели на них с веселым самодовольством, как на отличнейшую и курьезнейшую выдумку патера Загайды: ни тем, ни другим не было стыдно, и только хлоп с проседью глубоко опустил свое хмурое, покрытое потом и пылью лицо...

— И это вольносоць, рувносоць, неподлеглосоць! — с горестной задумчивостью проговорил как бы про себя молодой Могила и отвернулся.

Все снова вошли в палац.

VI

В то время, когда вельможные паны прохлаждались в палате князя Януша Острожского, рассуждая о своих панских делах, под горою, на выезде из Острога, на дворе зажиточного острожского обывателя Омелька, по прозванию Дряпкиця, тоже «в холодку», под «повиткою» сидели хлопы и тоже толковали о своих холопских делах. Обширный двор был заставлен разными принадлежностями хозяйства: плуг с опрокинутым кверху ралом и одним колесом без обода, чумацкие возы с малеванными ярмами, толстые, из цельного вяза колеса, «мазници» с дегтем, вилы и грабли, поставленные рядышком вдоль плетня, — все это занимало заднюю часть двора, где рылись в соломе куры с цыплятами, хрюкала свинья с многочисленным семейством, а петух, гордо выступая и поглядывая то одним, то другим глазом на небо, остерегал по временам свою семью особым криком от реявших в воздухе коршунов. Передняя половина двора, ближе к хате, выбеленной и расписанной у окон и у «присьбы» (заваленки) желтою глиною, занята «вишневым садочком», в котором ярко пестреют пышные цветы мака, горицвет, васильки, нагидки, жел-

тый дрок и желтые же махровые шапки «соняшника». От ворот направо расположены «комори», сараи, «стани» с колесом, вздетым на шест: на этом колесе чернеется огромное гнездо аиста, из которого выглядывают длинноносые с длинными шеями «бусолята», в ожидании матери, шагающей по ту сторону Горыни в высокой прибрежной траве. В сараи и из-под сараев с писком снуют ласточки и воробьи, которые ловко хватают всякую играющую на солнце козявку и «комашню» и тащат своим крикливым и прожорливым детям. А за ними, прикрываясь зеленью клоповника и «калачиков», устилающих кое-где двор, зорко следит серый с белою грудкою кот, которого можно было бы принять совсем за мертвого, если б иногда не сверкали из-за зелени его фосфорические глаза и не шевелился кончик предательского хвоста.

В стороне от всего этого, в тени, бросаемой навесом или «повиткою», под которою сидел сам Омелько с семьею и некоторыми из соседей, лежал, вытянув передние лапы, друг дома — лохматый Рябко, умнейший пес, про которого Омелько говаривал, бывало, гостям: «Такий разумный собака, такой разумный, только що «Оче-наша» не знае». Рябко, постукивая своим косматым, усеянным репьями хвостом по земле, казалось, внимательно слушал, что говорилось под поветью, и выражал на своем собачьем лице живую радость, когда Омелько говорил что-либо, как ему казалось, веселое.

Омелько, седой, с седыми, подрезанными у верхней губы усами старик — подрезанными затем, чтобы они, «гасьпидски вусы», ему, «Омелькови шевцеви», не мешали брать в зубы дратву, — Омелько, сидя под поветью на маленьком трехногом «дзиглике» и постукивая шилом об сапог и колодку, лежавшие у него на коленях, тачал казацкий чобот и с оживлением разглагольствовал, допекая, по-видимому, одного высокого, с бледным, испитым лицом парня, сидевшего верхом на оглобле.

— И какого ж беса вы там друкуете в нашей друкарне? — допытывался Омелько, продевая дратву в прокол, сделанный шилом.

— Да книжки, дядьку, друкуем, — отвечал, улыбаясь, парень.

— Какие там книжки?

— Всякие, дядьку.

— Овва, вот сказал! Всякие! Книга — это не чобот... Вот я так всякие чоботы тачаю — и казацкие, здоровенные, и детские, маленькие: все оно будет чобот. А книги, небого — гай-гай! Бывает книга добрая, православная, бывает и поганая — католическая. Вот что!

— «Вертоград словесный» друкуем...

— Ну, коли вертоград, то это что-нибудь доброе.

— Да еще «Лестницу духовную».

Несколько в стороне от этих собеседников перед сложенным из четырех кирпичей маленьким горном сидел молодой усач. Он держал над огнем большую железную ложку с деревянной ручкой: это он растапливал свинец в ложке для литья пуль. На коленях у усача лежала формочка для пуль — нечто вроде обрубленных ножниц, и тут же стояла миска с водою, в которой должны были охлаждаться пули.

Накалив железную ложку и растопив свинец, он стал наливаться в формочку, предварительно перекрестившись. Послышался всплеск воды в миске — то пуля упала в воду.

— Первая пуля во имя Отца! — торжественно проговорил усач.

— Аминь! — подтвердил Омелько, моргнув усом.

Молодой парень, говоривший о том, какие они книги печатают в острожской типографии, подошел к усачу, чтобы посмотреть на литье пуль. Подошел и заинтересованный этим делом Рябко и, махая хвостом, стал обнюхивать миску.

— Вторая пуля во имя Сына! — продолжал усач.

— Еще аминь! — подтвердил Омелько.

— Третья пуля во имя Духа Святого!

Усач перебрал всех известных ему святых — и Богородицу, и «Покрову» особо, и «святу пятницу», и Миколу, и Ивана «головосеку», и «святого Юрка» — и всем им отлил по пуле.

— А добрые пули? — спросил молодой парень, выловив из воды одну пулю и рассматривая ее.

— Добрые, брат, такие добрые, что в самое око будут бить, — улыбнулся усач.

— Еще бы! И свинец добрый! — тоже улыбнулся и парень. — Свинец ученый, письменный.

— Как письменный? — удивился Омелько, вынимая изо рта драгву.

— Да письменный же, дядьку, — загадочно улыбался парень, — этим свинцом польские книги друковали.

Парень вынул из кармана несколько черных полосок и показал их на ладони старому Омельку. То были типографские литеры. Молодой высокий парень, которого звали Хведьком, состоял наборщиком в знаменитой тогда типографии князей Острожских, в Остроге, — в типографии, издания которой, в особенности церковные книги, ценятся в настоящее время очень дорого. Хведько, который, как хлоп, был наборщиком

поневоле, по приказу старого князя, бравшего из острожской школы в свою типографию всякого, кого его ясновельможности угодно было взять, не чувствовал никакой склонности к типографскому делу. Сидеть или большею частью стоять перед ящичками с литерами в мрачной тюрьме, какую казалась типография, с утра до ночи щелкать противными литерами и в это время думать о зеленом лесе, о поле, о воле, о козакованье и вследствие этого, по рассеянности, хватать не ту литеру, какую следовало, вместо буки ставить како и вместо како — ижицу, и за это получать «ляпаса» или уходранку, а то и кием в спину от «справщика» или от пана ревизора — всего этого было слишком достаточно, чтобы возненавидеть «чертову друкарню». Хведько мечтал о Запорожье, а тут набирай «Духовный вертоград», либо «Лестницу до рая». Ему опротивели эти «вертограды» и «лестницы», но всего более опротивели литеры. И вот он стал потихоньку таскать их из типографии и давать казакам на литье пуль. Но Хведько действовал в этом случае с разбором: он не трогал «своих», славянских литер, которыми печатались церковно-славянские книги, — Хведько бессознательно явился сторонником «кирилицы»; а таскал он «проклятую латиницу» да «лядщину» — шрифты латинский и польский, и употреблял их на казацкое дело.

Таким образом, по странному сцеплению идей и обстоятельств, типография — орудие иезуитской пропаганды в южной Руси — стала орудием и совершенно противной ей идеи — орудием казацкой независимости: иезуитская книга, напечатанная в острожской типографии, побивала народность и веру Украины; а казацкая пуля, вылитая из латино-польского шрифта той же типографии, разрушила не только возведенное иезуитами здание окатоличения южно-русского народа, но и самое государство, приютившее этих разбойников церкви Христовой.

— Что ж это такое? — удивлялся старый Омелько, вертя меж пальцами черненькую пластинку.

— Да литера ж, дядьку, — отвечал Хведько.

— Какая матеря ей — литера? Вот этот воробьиный глазок?

— Нет, дядьку, не воробьиный глазок, а литера о, он. Рябко неожиданно вдруг залаял и бросился к воротам.

— Цуцу! Рябко! — послышалось за воротами.

Пес радостно замотал хвостом и сунулся в подворотню.

— Кого Бог дает? — глянул к воротам Омелько.

Глянула по тому же направлению и его старшая внучка, и вся «почервонила»: собачье чутье и девичье сердце угадали,

кто шел... Отворилась калитка, и во двор вошли два знакомых уже нам молодца — те, которые запряжены были в таратайку патера Загайлы и из которых один ржал жеребцом, а другой предупреждал патера, что брыкаться будет...

— Ги-ги-ги-ги! — вдруг заржал один из пришедших, коренастый, красивый парубок с серыми веселыми глазами, и заржал так хорошо, что даже Рябко удивился и хотел было залаять, но одумался, понял, что человек дурачится, и еще неистовее замотал хвостом.

— Ги-ги-ги-ги! — продолжал веселый парубок.

— Тю на тебя! Что ты — спятил, что ли? — удивился Омелько.

— Нет, дядьку, я оконячился, — отвечал веселый парубок.

— А, маттери твоей!.. Как оконячился?

— Конем стал, дядьку, вот и ржу по жеребачьи.

— А я брыкаюсь, не подходите ко мне — задом ударю, — сказал и другой парубок, черномазый детина с сросшимися черными бровями.

— Да тю на вас, аспидские дети, — волновался Омелько.

Все приблизились к пришедшим и с удивлением глядели на них. Хорошенькая старшая внучка Омелькова украдкой посматривала на ржущего парубка, и глаза ее вспыхивали нежностью. Старая Омельчиха, подперев щеку рукой, качала старую голову и тоже улыбалась, шепча: «От дурни — молодцы же, весели...»

Парни рассказали, как было дело.

Усатый казак насупился.

— Вот до чего дошло, — тихо бормотал он, — людей крещеных в коней перевертывают... — За что же это вас так? — спросил он, помолчав немного.

— Да что в воскресенье до костела не пошли, а пошли в церковь.

Хорошенькая дивчина продолжала украдкой взглядывать на Грицька, который беззаботно рассказывал о том, что возил на себе ксендза и что его, как лошадь, хлестали плеткой. Несколько раз загорелые щеки ее покрывались румянцем — то была краска стыда и негодования.

— А нет ли у вас, бабусенька, чего-нибудь мокрого? — вдруг обратился Грицько к старой Омельчихе.

Старушка ласково улыбнулась.

— Мокрого, хлопче?

— Да, мокренького, бабцю, коней напоить.

— Так чего б тебе, хлопче? Квасу?

— Да квасу, что ли — только бы мокренькое да холодненькое.

— Добре, хлопче... А ну, Одарю, бежи скоренько в погреб, наточи квасу, — обратилась старушка к внучке.

Пока ходили за квасом, все перешли в холодок, и Омелько опять принялся постукивать шилом то по сапогу, то по колодке.

— Ужели же и этот чоботище будет возить поганцев, матери их! — задался он вдруг этой обидной мыслью.

— Будет, дядьку, — отвечал смеясь Грицько.

Омелько посмотрел на него укоризненно, а усатый запорожец сердито крикнул.

— Паны и ксендзы говорят, что нас на то Бог создал, — мы вишь, быдло, скотина, — продолжал Грицько.

В это время Одаря, вся запыхавшись и покрасневшись, подошла к нему и, подав большую миску с пенистым квасом, поклонилась. Грицько, взяв обеими руками миску, ослабилась.

— А ну, Юхиме, — глянул он на товарища, — перекрестись за меня, а я за тебя выпью.

— А цур тебе! — отшутился Юхим. — Кони без креста пьют.

Между тем запорожец вынул из кармана своих широких шаравар трубочку и кисет с табаком, не спеша наложил трубочку, достал огниво, молча вырубил огня, положил дымящийся трут в трубку, закрыл ее медной, с прорезами, крышечкой висевшей, на ремешке вместе с кривой иглой для чистки трубки, потянул и выпустил из-под суровых усов струю синего дыму, сплюнул на сторону и посмотрел своими маленькими лукавыми глазами на парубков.

— А хотите, хлопцы, я вас научу, как на панах и на ксендзах ездить? — медленно сказал он.

Все посмотрели на него — кто с улыбкой, кто с удивлением.

— Научите, дядьку, — улыбнулся Грицько, — вот бы поездил на чертовом Загайле!

Запорожец снова потянул из трубочки, выпустил синий дымок и сплюнул.

— Добре, научу... Только этому учат у нас на Запорожье, — процедил он сквозь зубы.

Парубки переглянулись между собой. Хорошенькая Одаря глянула на них и потупилась; краска заметно сходила с ее живого, теперь как бы застывшего личика... Запорожец опять пустил струйку дыму...

— Пойдемте со мною на низ, в Великий луг. Великий луг будет вам батько, Сечь — мати, а я буду вашим дядьком, — продолжал запорожец.

Парубки опять переглянулись нерешительно... Омелько молча сердито стучал по сапогу...

— Добре, дядьку, идем, — сказал Грицько, тряхнув головою, и глянул на Одарю.

Девушка стояла бледная — хоть бы кровинка в лице...

VII

Слова запорожца сделали свое дело.

Когда на другой день утром патер Загайло приказал своим гайдукам вновь закладывать хлопов в свою таратайку для дальнейшей поездки по парафии, ему доложили, что хлопы исчезли — двуногие кони патера как в воду канули. Мало того: дворецкий князя Януша с великим смущением доложил его мосци, своему ясновельможному пану, что ночью из конюшни уведены кем-то любимейшие скаковые лошади его милости князя, что и в городе произошло что-то необыкновенное, потому что ночью из разных заведений князя, в том числе и из типографии, попропадало несколько хлопов. Ходили слухи, что причиной этому был какой-то оборвыш, усатый запорожец, бродивший в городе и подбивавший хлопов к бегству на Запорожье, и что это был эмиссар завязтого казацкого разбойника Конашевича-Сагайдачного, тайно вербовавший молодежь в свои проклятые шайки.

Князя Януша это известие привело в ярость, и он приказал тут же, у самого крыльца своего палаца разложить «на коберцу» и перепороть «канчуками» нескольких еще не проспавшихся после вчерашней гулянки панков из своей дворцовой шляхты, и в то же время велел немедленно отправить отряды городских казаков и жолнеров для поимки дерзких беглецов.

Ясновельможные гости князя Януша, ночевавшие у гостеприимного хозяина, узнав обо всем случившемся, очень смеялись над комическим положением почтенного патера Загайлы, которому не на ком было выехать, чтоб продолжать объезд своей парафии.

— Что ж! — лукаво подмигивал князю Вишневецкому Мелетий Смотрицкий. — Сии на колесницах и сии на конях, мы же во имя Господа...

— На палочке? — подсказал князь, не улыбнувшись ни сухими губами, ни холодными глазами.

— По образу пешего хождения — по-апостольски.

— Ну, у апостолов мозолей не было...

— Его мосць хочет сказать — подагры...

Между тем беглецы были уже далеко. Они — знакомый уже нам усатый запорожец Карпо, по прозвищу Колокузни, и два парубка, возившие Загайлу, Грицько и Юхим, пользуясь сном подгулявшей челяди князя Острожского, успели захватить из его конюшни по отличному коню и к утру выехали из Острога. За городом к ним пристал четвертый товарищ, и хотя он был пеший, добрый запорожец не мог отказать ему в помощи за его услуги и посадил к себе за седло. Четвертый приставший к ним товарищ был тот самый худой и высокий наборщик из типографии, который снабжал запорожца типографскими литерами для литья из них пуль.

Утро было несколько пасмурное и свежее. Северный ветерок играл гривами коней, которых беглецы не особенно гнали, отчасти желая сберечь их силы, отчасти же и потому, что езду их замедлял четвертый товарищ: он прибавлял собою лишнюю тяжесть на спину доброго коня. Оставив за собою леса, беглецы вступили в открытую степь, которая тянулась вплоть до Запорожских Вольностей, как назывались фактические владения запорожцев, и переходила во владения крымских татар, хотя настоящей пограничной черты в то время не существовало. Правда, степь та не представляла еще из себя пустыни, какую она делалась по мере приближения к Черному шляху и далее к югу: тут были еще и речки, и озера, и лесные заросли, но жилья уже не видать было, потому что опытный запорожец избирал для своего похода путь, где было наименее возможно встретить живое существо, исключая, конечно, сайгаков, диких туров, кабанов и всевозможной птицы, начиная от уток и чаек и кончая орлами-«билозерцами».

Неведомая даль, открывавшаяся перед нашими беглецами, представляла поистине что-то внушающее суеверный страх, особенно для новичков, что-то непостижимое, необъятное. Это была роскошная поэтическая пустыня, наводящая на душу благоговение, священный ужас перед чем-то неисповедимым; но наши молодые беглецы, дальше Острога и ближайших сел ничего не видавшие, чувствовали одно в этой чудной поэзии девственной природы — не то страх, как бы пробегающий по корням волос, не то глухую тоску, щемящую молодое сердце. Ведь ими покинуто все близкое и знакомое для далекого и неведомого! Куда ведет их эта безбрежная пустыня. Не туда ли, где кончается земля, упираясь в небо? Глянут они на небо — и по небу несутся облака, точно такие

же беглецы, как и они, и тоже бегут туда, в неведомую даль, от полуночи к полудню. И ветер туда же клонит, и тырса шумит в этом безбрежном море, нагибаясь туда же, к неведомому полудню. Шумят у опушки степного озерца и лозы, нагибая свои гибкие ветви туда же, куда и их несут послушные ноги коней. Вон вдали показались сайгаки, остановились, подняли свои острые мордочки, глядят сюда, нюхают воздух и, точно чем испугнутые, убегают туда же, в неведомую даль. Вон пролетает над степью, ширяя в воздухе, белый, ширококрылый лунь и тоже исчезает вдали. Вон слетела и закигикала чайка и, сделав в воздухе несколько кругов, опустилась где-то в высокую траву. Впереди выскочил откуда-то зайчик, сел на задние лапки, насторожил длинные уши и стремглав махнул через «высоку могилу» — через курган, через который ветром гонит сухое перекасти-поле — и все туда же, в неведомую даль...

А там, еще дальше, что-то чернеется по степи, что-то бродит, точно люди: то нагнется, то поднимется; иногда что-то блеснет на солнце, когда облако перебежит через него, — может быть, это блеснут косы косарей, а может — это татары... Страшно становится... А запорожец молчит, покуривая свою трубочку: ему не привыкать к молчанию по целым неделям иногда приходится запорожцу одному бродить по степи, охотиться на сайгака или тура, или сторожить татар, или ловить рыбу на плавне — и он молчит. Молчат и молодые беглецы... А оно, то черное, бродящее по степи, все виднее и виднее... Страшно становится...

— То, дядьку, люди вон там? — решаются спросить молчаливого запорожца.

Запорожец глянул, выпустил из-под усов дымок — и опять молчит.

— Может, татары, дядьку? — новый вопрос.

— Дрохвы, — вылетает короткий ответ из-под усов вместе с дымом.

И опять настало молчание, такое же полное, как молчалива эта степь. Да и говорить никому не охота. Каждый думает, и каждому думается свое, прошлое, еще такое недавнее, но такое уже далекое.

Солнце перешло уже за полдень; облака уплыли все к горизонту; становилось жарко, и кони, видимо, притомились, да и напоить бы их давно пора.

Как раз в это время в стороне показались кусты терна и верболоза. Блеснула на солнце полоса воды — то была речка. Увидав воду, кони радостно заржали.

— Ага! Пить захотели... Добре... Заворачивайте, хлопцы, к воде: и коней напоим да попасем, и сами отпочинем, — распорядился запорожец.

— И у меня в горле пересохло, — сказал Грицько.

Привернули к речке. Она тихо и ровно протекала среди пологих берегов, поросших кое-где высоким камышом. По берегу меланхолически бродили цапли; увидав всадников, они испуганно замахали крыльями и полетели дальше. Дикие утки выпорхнули из камышей и с кряканьем понеслись за цаплями.

Беглецы сошли с коней, стреножили их и пустили на траву, которая казалась такою роскошною, сочною и мягкою. Запорожец, как запасливый, достал из своей переметной сумы хлеба, вяленой тарани, огурцов и добрую баклажку водки — «оковиты»: все это ему насовала в «саквы» старá Омельчиха, которой сынок, Одарочкин батько, тоже казаковал где-то, и она без слез не могла видеть запорожца. Сели кружком на траву. Запорожец достал из саков маленький серебряный «корячок» — чарочку, которую, между прочим добром, он нашел когда-то в сумке у заарканенного татарина.

— Добрый корячок, — сказал он, любуясь чаркой, — стоит татарской головы.

И он налил из баклажки живительной влаги.

— Сторонись, казацкая душа, оболью! — сказал он, крестясь, и опрокинул корячок под богатырские усы, даже не крякнув.

Он налил снова и подал Грицьку.

— А ну, хлопче, вонзи в душу сие копие.

Грицько перекрестился, выпил и крякнул.

— О, чтоб ее! Точно кота в горло посадил, — замотал головою Грицько.

— Ничего, хлопче: твоя душа — не мышь, кот не задавит, — утешал его запорожец.

Выпили и остальные молодцы, и у всех на душе как будто стало легче.

Принялись за огурцы, за тарань. Здесь, у воды, степь не была такою мертвою и молчаливою, какою она была за несколько часов до этого. Коростели задорно трещали в траве; то там, то здесь «хававкали» и «пидьподомкали» перепела, чайки перекликались за речкою, в камышах где-то гудела глухо выпь — «бугай птица». Распевала в тернах и по лозам мелкая пташка, жужжала и трескотела всякая мелкая живая тварь — всевозможная «комашня».

— А далеко еще, дядьку, до Сечи? — спросил черномазый Юхим, высасывая голову тарани.

Запорожец глянул на него лукавыми глазами и насмешливо моргнул усом.

— Нет, уже близко, — проронил он лениво, — рукой подать.

— А как-таки будет?

— Да недели две ходу будет.

Остальные товарищи рассмеялись. Юхим догадался, что это над ним, и сам захохотал.

— Вот поймал облизня, дурный! — похвалил он сам себя.

Лошади забралась в воду и, утолив жажду, фыркали, видимо, довольные своей судьбою.

Грицько, кончив трапезу и помолившись на восток, тоже подошел к воде, прилег на берег грудью, припал ртом к реке и стал пить лежа.

— Не пей так, хлопче, — татары поймают, — остановил его запорожец.

— А как же, дядьку? — спросил Грицько, поворачивая голову.

— Пей горстью, по-казацки.

Скоро все кончили трапезу, помолились, напились воды из речки, убрали припасы, связали лошадей поводками друг с дружкой и пустили на одном аркане.

— Теперь отдохнем, — скомандовал запорожец.

Молодежь, повалившись на животы и уткнув носы в шапки, тотчас же захрапела: бессонно проведенная ночь дала себя знать.

Не спал один запорожец. Растянувшись носом к небу, он, глядя в бесконечную синеву, посасывал свою трубочку и думал, о чем только может думать запорожец... Далекая беленькая хатка за Сулою, вся в зелени... Зеленые вербы у ставка... Под вербами сидит девушка, глубоко наклонив голову и тихо напевая, она что-то шьет... На том боку, за Сулою, у опушки темного леса казак траву косит и часто поглядывает туда, где шумят вербы над черною, низко склоненною головою с васильками в волосах... Потом на этой черной головке, над бледным как стена лицом — золотой венец, поют «Исаия, ликуй...» А молодой казак, что косил траву за Сулою, смотрит издали, из толпы, на это бледное под венцом лицо, и кажется ему, что у него сердце вырезают — вырезают и поют «Исая, ликуй...» А там Запорожье — не слышать ни женского голоса, ни «Исаия», не видать милого, бледного лица — одни хмурые, усатые лица товариства... Днепр голубой, еще более голубое море, и голубое и бесконечное небо... Козлов город, Кафа, Синоп, Трапезонт — галеры, невольники...

Все это в полусонной дреме грезится запорожцу. А трубочка посипывает, потухла, — глаза сон смежает...

Вдруг где-то отдался как бы далекий собачий лай...

Запорожец открыл глаза; лай повторился, сначала как бы с одной стороны, потом с другой... Запорожец приподнялся на локте, вслушивается, — ничего не слышать... Он тихо приподнялся сначала на колени, осмотрелся кругом, — ничего не видеть... Опять ветром донесло откуда-то собачий лай... Запорожец встал на ноги — голая, бесконечная степь, да кое-где курганы... Через один из курганов пронеслись темные точки — сайгаки... Это недаром — они вспугнуты кем-то...

На берегу, где отдыхали беглецы, росла старая ива. Запорожец, цепляясь за ветви, взобрался на самую вершину дерева и окинул глазами степь. То, что он увидел, заставило расширяться его маленькие зрачки...

Он быстро слез с дерева и стал расталкивать заспавшихся товарищей.

— Хлопцы! Вставайте живей... За нами погонь...

— Что? Что, дядьку? Пан?.. Загайло?..

— Вставайте, стонадцать вам чертей! За нами гоны!

— Гоны? Ох, лишечко? Что нам делать!

— На коней зараз, дядечку!

— Э! Поздно на коней... надо в воду.

— Как в воду, дядька? Вот беда!

— В воду! Топиться — стонадцать коп чертей!

— Батечки! Мы, может, еще убежим...

Лай собак слышался теперь совершенно явственно. Молодые беглецы в ужасе смотрели друг на друга безумными глазами: они узнали издали голоса гончих собак князя Острожского — от них не уйти.

Запорожец между тем бросился к сухому прошлогоднему камышу, торчавшему у воды из-за зелени молодого, достал нож, срезал четыре самых толстых камышины, обрезал их наскоро, продул их, так что воздух проходил свободно, — и воротился к товарищам, растерянно топтавшимся на месте.

— Возьмите вот это — по камышинке...

— На что, дядьку?

— Стонадцать коп чертей! Слушайте: возьмите по камышинке в рот, да и прячьтесь в воду промеж осокою, либо меж очеретом — так с головою и прячьтесь, чтоб головы не видно было с берега... Так тихонько и сиди в воде и дыши через камышинку... Хоть день просидеть можно под водою... Мы так от татарвы прячемся...

Молодые беглецы жадно ухватились за камышинки и дрожжащими руками стали совать их в рот и дуть. Утопающие хватались за соломинки...

— Да глядите, чтоб один конец камышинки был во рту, а другой над водою, а не в воде, а то вода в рот польется, тогда — стонадцать коп — все пропало...

Погоня приближалась. Слышны были голоса людей, конский топот и веселый лай собак. Заржали лошади беглецов — узнали, что свои близко; им отвечали ржанием оттуда.

Запорожец что-то вспомнил: он бросился к терновому кусту, отломил несколько острых колючек, метнулся к спутанным лошадям, быстро распутал их, отвязал от аркана и, ткнув под потники каждой по несколько колючих игл, хлестнул каждую нагайкой. Лошади, почуяв острую боль от терновых колючек, как бешеные понеслись по степи.

Погоня была близко.

— Полеза́й в воду, стонадцать коп!

Беглецы бросились к воде, держа во рту камышинки и крестясь.

— В камыши! Бредите в камыши! — распоряжался запорожец, таща с собой в воду все свое имущество.

Беглецы погрузились в воду. Видно было, как на поверхности взволнованной речки двигались и дрожали камышинки, выскакивали из воды пузыри; потом все сгладилось. Только зная, где каждый из беглецов погрузился в воду, можно было бы после долгого наблюдения заметить, как между зелеными тростинками свежего камыша дрожали и как бы двигались сухие камышинки, торчавшие из воды.

Последним вошел в воду запорожец, огляделся кругом, чихнул, помянул «стонадцать коп чертей» и скрылся под водою.

— А далибуг, пане, я сам видел, как он бросился в воду, — послышался, вместе с конским топотом и собачьим лаем, сиплый голос.

— Галганы, пся крев, далеко не могли уйти, — отвечал другой голос.

— А, пся вря! Рыбу и огурки ели — вот и следы...

Погоня подскакала к самой воде. Собаки, обнюхивая землю и рыбью шелуху с костями, заливались звонким лаем и выли. Они чувствовали, что добыча тут, но не видали ее.

— Пиль! Пиль! Шукай, Ментор, шукай! — понуждали собак.

— Они тут, — лови их, псю крев, лови, Огар!

Собаки бросились в камыши, в кусты, лезли в воду, лаяли на иву. Ментор, чуя добычу и угадывая даже, где она, кружился по воде, захлебывался, фыркал. Но он не умел нырять.

Некоторые собаки переплывали через речку, обнюхивали противоположный берег, но находя, что следы там исчезли, возвращались назад.

— Они тут — им некуда было уйти.

— Проклятые хамы в воде сидят: они это умеют делать.

— Что хамам делается! Они, как выхухоль, и в воде могут жить.

— А не ускакали ли они, пане, на лошадях? — Я видел, как они понеслись по степи.

— То одни кони, без людей: я сам видел.

— Все ж надо, пане, поймать княжеских коней: его мосць князь очень дорожит ими.

— Знаю! Вон сколько перепорол за них нашего брата шляхтича!

— Коней и пан Сондач с своими жолнерами поймают.

Если бы преследующие наших беглецов внимательнее смотрели на воду, они увидели бы в одном месте, как там дрожала и ходенем ходила по воде сухая камышинка, стоявшая торчмя, как она нагибалась, снова вставала, как выходили из воды пузыри... Они видели бы, как наконец камышинка выскочила из воды, покружилась на месте и тихо-тихо поплыла вниз.

— Нет, это черти, а не люди — именно в воду канули!

— Да они, пане, потонули, наверное.

— Нельзя же не захлебнуться: столько времени под водою!

— Этих проклятых схизматиков ни огонь, ни вода не берет!

— А! Вон одного коня поймали — ведут...

— Как он бьется!.. Точно бешеный, далибуг бешеный...

В это время в воде, в том месте, где недавно выскочила сухая камышинка, что-то забарахталось, зашлепало водой... Показалась рука, голова... Собаки залаяли и кинулись в воду.

— Видал, пан? Там что-то из воды показалось...

— Рука... голова... волосы...

— Где пан видел?

— Вон там, где Огар ищет.

Но там ничего опять не видно было: руки и волосы исчезли под водой... Собака вертелась на том месте и выла.

— Надо, пане, поискать там.

— Разденься, Яцек, — пощупай там саблей.

Один жолнер разделся и побрел в воду, держа перед собой саблю.

Вдруг он споткнулся на что-то и в испуге бросился назад...

— Езус-Мария! Там что-то лежит... мягкое...

— Ну, тащи из воды — увидим.

— Как-же, пане?.. Оно... может, оно...

— Тащи, собачий сын, а то палашом покормлю!

Яцек, бормоча молитву, побрел снова, нагнулся, нащупал что-то и потащил. Скоро из воды показалась штанина синих шаровар, сапог...

— Тащи, Яцек, тащи!

Показались руки, бледное лицо с закрытыми глазами... Это был Хведор Безридный. Собаки обнюхивали его и выли.

Все приблизились к утопленнику, который лежал на берегу головой к воде, разметавши руки.

— А, это друкарь из княжеской друкарни... Утонул, бедный хам...

— Не бегай... Туда схизматику и дорога...

VIII

Уверившись, что «схизматики» потонули, чем сами себя достаточно наказали, и бросивши безжизненное тело Хведора Безридного «на потраву зверю и птице», отряд городовых казаков, предводительствуемый легковерными панками, отправился в другую сторону разыскивать беглых хлопов, а главное — чтобы поймать панских коней, за которых так досталось благородным спинам дворовой шляхты.

Когда отряд скрылся из виду, камыш в одном месте зашевелился и из воды показался сначала красный, весь намокший верх казацкой шапки, а затем и усатое лицо запорожца. Сечевик, оглядевшись кругом и не видя своих преследователей, присвистнул, выражая этим свистом и удивление, и презрение.

— Фю-фю-фю! Удрали, крутивусы!..

Увидав на берегу бедного друкаря, он быстро выполз из воды, таща за собою мокрую, тяжелую переметную суму и длинное ратище копья.

— Хлопцы, хлопцы! Будет вам воду пить! — окликнул он товарищей.

В разных местах показались из воды головы — лица бледные, посиневшие.

Запорожец бросился к друкарю и начал его сильно трясти, приподняв с земли.

— Захлебнулся хлопец — да может, очнется...

И Грицько, и Юхим вышли из воды. Они дрожали всем телом.

— Утонул? — спрашивали они с боязнью. — Как он сюда попал?

— Полно распытывать! Берите за ноги — потрясем его! Друкаря начали трясти. Мало-помалу посиневшее лицо начало принимать более живой цвет.

— Трясите, хорошенько трясите! Он немножко теплый. Вскоре у утопленника хлынула вода ртом и носом.

— Будет! Оживает.

Его положили на траву. Несчастный открыл глаза.

— Холодно! — было его первым словом.

— Добре! Зараз будет тепло.

Запорожец метнулся к суме, достал оттуда баклажок с водкой и серебряный корячок.

— Оковитонько! Матушка родная! Вызволяй!

Он наполнил корячок и поднес его друкарю, став на колени.

— Посадите его, хлопцы, — поднимите!

Друкаря приподняли. Зубы его стучали как в лихорадке. Запорожец приставил корячок к его посиневшим губам.

— Пей, хлопче, пей разом до дна.

Друкарь с трудом выпил, закашлялся. Лицо его стало оживать, краска заиграла на щеках.

— Добре, друкарю, зараз встанешь! — успокаивал его запорожец.

Он налил себе и опрокинул под мокрые усы. Налил товарищам — и те опрокинули.

— Добре!.. Выпьем, братцы, по другой! Вонзимо копие в душу!

«Вонзили» еще по разу — и все ожили. Друкарь сидел на траве и глядел кругом посоловевшими глазами: он, по-видимому, не помнил ничего, что с ним было.

— Как это ты, друкарю, вылез из воды? — спросил его запорожец.

— Не знаю, — отвечал тот, качая головой.

— Должно быть, воды перепил, — заметил Грицько, — и я, матери ей лихо, много пил и чуть не лопнул... Еще спасибо, что тарани шибко наелся, так и в воде пить хотелось.

— А меня чертов рак за ухо ущипнул — я чуть не крикнул, — пояснил Юхим.

Запорожец по привычке полез было в карман, вытащил оттуда кисет и трубку, чтоб после долгого сидения под водою

и после двух чарок водки затянуться, да увидав, что и с кисета вода течет, и в трубке вода, и трут мокрый, и сам он весь мокрый как мышь, так и ухватил себя за чуб.

— А, стонадцать коп чертей с горохом! О, чтоб вас, чертовых крутивусов, черти редькою по пятницам били! Чтоб ваши матери ежей родили против шерсти! Чтоб вам подавиться дохлою мерзлою собакою, чтоб она у вас в поганом брюхе и таяла, и лаяла!

Выругавшись вдоволь и облегчив этим хоть немножко казацкую душу, он тотчас же сорвал несколько широких листов лопуха, разложил их на солнце, высыпал на них подмоченный тютюн, вздел на сухой сук орешника кусок мокрого труту, потом повесил на кусты мокрую же шапку, снял сапоги, штаны, сорочку — все это развесил на солнце и остался в таком виде, в каком поп, отец Данило, вынул его когда-то из купели.

— Раздевайтесь, хлопцы! — скомандовал он. — Теперь и так тепло.

Товарищи последовали его примеру. Друкарь после водки смотрел совсем молодцом.

Из переметной сумы вынули намокший хлеб, вяленую, тоже намокшую рыбу, и стали все это сушить на солнце, которое не ленилось исполнять возложенные на него казаками обязанности: оно пекло так, как только оно в состоянии печь в степях южной России.

Молодые беглецы, допекаемые жаром и чтобы сократить время, стали купаться в той самой речке, в которой они недавно прятались от погони. Теперь, наученные недавним опытом, они выдумали очень полезную для их целей игру, которую и называли «очеретянкою». Игра состояла в том, что, вырезав себе опять такие камышинки, с помощью которых им удалось спастись от преследователей, они по жребию прятались в воде: тот, кому выпадал жребий «ховаться», брал камышинку в рот и нырял с нею в воду, а товарищи должны были следить за ним на поверхности реки и замечать, где покажется из-под воды кончик камышинки.

Солнце между тем делало свое дело. Развешенное платье беглецов было им достаточно высушено, тютюн подсох также порядочно, труту возвратилась его воспламенительная способность, и запорожец, одевшись молодцом, распустив свои широкие, как запорожская воля, шаровары и закулив люльку, казался совсем счастливым.

— Ну, хлопцы, теперь в дорогу, в ходку! — сказал он, поглядывая на солнце. — Солнышко еще высоко — до вечера

немало степи пройдем, а вечером отпочинем час-другой, да вновь в ходку на всю ночь.

Пройдя от места стоянки небольшое расстояние, запорожец взошел на ближайший курган, осмотрел степь своими зоркими, привычными глазами на несколько верст кругом и, убедившись, что степь свободна от польских разведчиков, велел рушать дальше.

Степь становилась все пустыннее и казалась необозримее и диче. Они перерезали знаменитый Черный шлях, которым не решались идти из опасения встретиться либо с польскими гонцами, часто ездившими в Крым, либо с купеческими караванами, конвоируемыми вооруженною стражею. Наши беглецы шли по правую сторону Черного шляха, местами, по-видимому, очень хорошо знакомыми запорожцу.

— Вот кабы кони у нас не бежали — то-то б хорошо было! — сожалел Грицько, таща на себе суму с балагом.

— Эге! Коли б кони, то и Фома с Еремою умели б ездить! — процедил запорожец, сося трубочку,

— А что, поймали их ляхи? — интересовался Юхим.

— Эге! Ловила баба воду решетом, — пояснил запорожец. — Я им такого терну дал, что они поди и теперь летают по степи, коли не дали дуба.

Под вечер беглецы остановились в небольшой балке, недалеко от Черного шляха, где, как это известно было запорожцу, можно было найти «криницю» с холодной ключевой водою. Молодцы подкрепились пищею, напились холодной воды и легли спать в этой самой балке, в густой траве, где их нелегко было найти.

Встали они с восходом месяца и снова продолжали путь. Ночь была необыкновенно хороша. Полный месяц, поднявшись высоко, казалось, стоял очарованный чудною картиною ночи. Он казался почти белым, какого-то серебристо-молочного цвета, и этим серебром обливал бесконечную степь, которая представлялась чем-то волшебным, полным таинственных чар и видений. Грицьку так и чудилось, что вот-вот он увидит, как, обдаваемая серебром из этого большого серебряного окна в небе, баба Вивдя, всему Острогу знаемая ведьма, в одной сорочке, «расхристаная», с распушенной косою, пролетит на метле над этою волшебною степью, а за нею на «слоне» промчится «коваль» Шкандибенко, которого она околдовала чарами... Глянув на месяц, он, казалось, в самом деле видел, как там «брат брата вилами колет», и ему хотелось закричать на всю таинственную степь: «Не коли, человеиче, — грих!..» То ему казалось, что вот-вот в это окно на небе кто-то выглянет на землю, на эту тихую,

посеребренную белыми лучами степь, и закричит: «Куда вы, хлопцы, идете?..» То казалось, что воно закричит сзади, где-нибудь за спиною, и Грицько оглядывался назад, — и там казалось все еще более таинственным и безмолвным... Чудилось, будто трава шепчется между собою и «тирса» лепечет детскими голосами: «Не топчуть мене, хлопцы, бо мене ще никто не топтав...» Кое-где сюрчали ночные полевые сверчки, как бы кого-то предостерегая: «Го-го-го-го! — вон кто-то идет степью — берегитесь, не показывайтесь...» В шелесте травы под ногами слышалось что-то таинственное: не то русалка косу чешет на месяце и тихо смеется, не то под землею кто-то тихо плачет... Именно это самое безмолвие ночи и степи и наполняло окрестность таинственными звуками и видениями: вместе с лучами от месяца, казалось, сыпалось на степь что-то живое, движущееся, но неуловимое, и от этого шевелились волосы на голове.

«Ги-ги-ги-ги!» — закричало вдруг в степи что-то страшное, и Грицько так и присел со страха и неожиданности.

— Ох, лищечко! Что это такое?

— Господи! Покрова пресвятая, покрой нас!

«Ги-ги-ги-ги!» — повторилось ржание, и темная масса, описав полукруг по степи, остановилась перед изумленными путниками.

— Косю... косю... тпруськи, иди сюда, дурный! — ласково заговорил запорожец, идя к темной массе.

— Да это конь, хлопцы! Вот испугал! — опомнились молодые беглецы.

Это действительно был конь, один из тех коней князя Острожского, на котором ехали беглецы днем. Благородное животное стояло, освещенное луною, наострив уши...

— Косю, косю, дурный! — соблазнял его запорожец, подходя все ближе и ближе.

Но конь фыркнул, повернулся, взмахнул задними копытами и как стрела полетел степью... Не на такого, дескать, наскочили...

— И не чертова ж конина! — проворчал запорожец. — Стонадцать коп! Вот ушкварил!

Когда солнце несколько поднялось над горизонтом, решено было сделать роздых.

— Вот теперь будет казацкая ночь, — пояснил запорожец.

Пройдя всю ночь, беглецы действительно нуждались в отдыхе, и этот отдых им выгоднее было позволять себе днем, чем ночью: ночью они безопаснее могли продолжать свой путь, да ночью же не так и жарко, как под полуденным раскаленным солнцем.

На этот раз они расположились в верховьях небольшой речки, впадающей в Буг, где можно было найти и тень, и воду, и проспали безмятежно почти до полудня. Только пробуждение их, как и накануне, было трагическим.

Раньше всех проснулся друкарь. В момент пробуждения слух его поражен был каким-то глухим, сильным, но могучим ревом, напоминавшим рев разъяренного бугая. Боясь какой-либо опасной случайности, Безридный поспешил разбудить своих товарищей.

— Ты что, друкарю? — спросил, торопливо вскакивая, запорожец. — Уж не ляхи ли, либо татары?

— Нет, дядьку, а что-то ревет.

Рев повторился и совсем близко: животное, без сомнения, шло сюда.

— Это тур, — сказал запорожец, тревожно оглядываясь, — надо прятаться — этот черт хуже ляха и татарина.

Действительно, зверь не замедлил показаться. Это было страшное чудовище, хотя оно и напоминало собою обыкновенного украинского вола или бугая. Громадная голова с широчайшим лбом, на котором петушился в обе стороны огромный чуб, встрепанный, с вцепившимися в него колючками репейника и терновника; овально изогнутые рога — рожища такой величины и толщины, что в них, действительно, по сказанию былин богатырского цикла, могло войти по «чаре зелена вина в полтора ведра»; широчайшая, истинно турья, шире, чем воловья, шея на спине сходилась с надлопачочным горбом, а книзу, морщась широкими, жирными складками, оканчивалась лохматой бородой. Все это было необыкновенно страшных размеров, а дикие глаза изобличали такую же дикую, беспредметную свирепость — свирепость ко всему, на что они не смотрели — на человека, на дерево и на все живое: все это ему хотелось посадить на рога и затоптать толстыми, обрубковатыми ногами с двукопытными «ратицями». Хвост чудовища кончался длинным пучком волос, который украсил бы собою лучший султанский бунчук.

Ясно было, что чудовище шло к водопою — шло, понуриив голову, и страшно ревели. К счастью, недалеко от этого места, над самою криницею, рос старый ветвистый дуб. Запорожец сразу оценил все выгоды своей позиции и моментально решил, как ему действовать в виду страшного врага. Он сам был своего рода «буй-тур», хотя немногим умнее рогатого тура.

Чудовище, увидав людей, остановилось в изумлении и перестало реветь. Потом оно начало рыть ногами землю, бить хвостом по бокам и, понуриив голову, снова заревело, но еще более угрожающим ревом.

— Хлопцы! — быстро скомандовал запорожец. — Зараз лезьте на дуб, — скорей, скорей!

Молодцы не ждали повторений. Как кошки они подрались на дерево, цепляясь за кору и сучья, и расположились на верхних ветвях дуба. Запорожец же, с длинным копьём — «ратищем» наперевес, остановился у самого дуба и смело ждал врага. Чудовище продолжало реветь и шло медленно, угрожая потрясая громадную рогатую голову и бородой.

Запорожец, сняв шапку с красным верхом, замахал ей как бы в знак приветствия рогатому гостю. Высокий рогатый гость, увидав красное, окончательно освирепел и бросился на дерзкого казака, хрустя по земле огромными копытами... Вот-вот он посадит на рога несчастного...

Но запорожец ловко увернулся и стал за дубом. Чудовище ринулось прямо и стукнулось лбом о дерево, в полной бычачьей уверенности, что толстый кряжевик-дуб повалится как гибкий тростник. Но дуб не валился, а несообразительное животное продолжало переть лбом в несокрушимый кряж. Тогда хитрый хохол, запорожец, высунувшись из-за дуба, своими лукавыми глазами и красною верхушкою шапки еще более обозлил свирепое животное и в один миг всадил копьё под левую лопатку зверя, в то самое место, где природа поместила сердце как у человека, так и у животного. Почувствовав боль, тур заревел так неистово, что Грицько чуть не свалился с дуба, а друкарь стал испуганно креститься и читать «Богородицу».

Стоя за дубом, запорожец продолжал глубже всаживать свое ратище в сердце чудовища, которое не выдержало и с ревом и хрипением опустилось на колени. Кровь из раны лилась фонтаном, окрашивая темным пурпуром коренья дуба и соседнюю зелень и землю. Животное силилось приподняться и снова било рогами дуб, не догадываясь, что, сделай оно шаг вправо или влево вокруг дуба, — тело запорожца трепетало бы у него на рогах или извивалось как червяк под копытами.

Запорожец, всадив копьё еще глубже, как кошка выскочил из-за дуба с длинным ножом в руке и, размахнувшись во все плечо, вонзил блестящее железо в темя животного, или вернее, — в затылок, в то самое место, где кончается череп, голова, и начинается позвоночный столб... Железо вонзилось по самую рукоятку... У тура подкосились ноги, и он запенною мордою ткнулся в корень дуба, падая всею массою своего громадного тела...

— Вот же тебе, туре! — запыхавшись проговорил победитель. — Кланяйся ниже — низенько, кланяйся казаку в ноги!

Умиращее животное хрипело, судорожно вздрагивая.

— Хлопцы, будет вам воробьями на дубе сидеть, — обратился запорожец к своим товарищам.

Те слезли с дуба и с изумлением и страхом смотрели на бездыханное уже чудовище.

— Фю-фю-фю! — засвистел Грицько. — Вот так бугай!

— Да еще и с бороною, точно козел! — удивлялся Юхим.

Запорожец по преимуществу любовался рогами и хвостом убитого им животного. Он гладил рога рукою, восхищался их гладкостью, измерял их длину четвертями.

— Да и пороховницы ж хорошие выйдут! — невольно восклицал он. — Вот пороховницы, стонадцать коп!

Роскошный, густой хвост тура вызывал в нем другие казачьи мечтания.

— А из хвоста — бунчук на все войско запорожское! Такого бунчука и у самого султана нет...

Победа над туром являлась торжеством и в другом отношении — в экономическом, как теперь сказали бы. Провизия у беглецов была на исходе: рыба вышла, огурцы вышли, хлеба — самая малость. А турьего мяса хватит на всю дорогу, особенно если его порезать на куски да повялить, закоптить хорошенько на костре. На этом запорожец и порешил, сообщив о своем решении товарищам.

Все четыре молодца поделали из своих широких поясов лямки, прикрутили их к рогам тура, впряглись в них и потащили чудовище вниз, в лесную чащу, чтобы там его ободрать, расчленить и приготовить впрок.

— А что, хлопче, — лукаво обратился к Грицьку запорожец, — кто тяжеле — этот тур или Загайло?

— Эге, дядьку, — насупился Грицько, — тот в таратайке, Загайло, — в таратайке легко...

— А вы б его без таратайки, как тура...

И запорожец многозначительно подмигнул.

IX

Конашевич-Сагайдачный... Если кому из сынов своих должна поставить памятник Малороссия, то, бесспорно, Петру Конашевичу-Сагайдачному.

Сагайдачный — одна из самых крупных и благороднейших личностей в истории Малороссии, хотя эта самая история почти пропустила его, тогда как такие разорители малорусского народа и всей Украйны, как Богдан Хмельницкий, До-

рошенко и другие, попали, что называется, в передний угол истории, в ее барские хоромы.

Что же была за личность — Конашевич-Сагайдачный?

На Днестре, в городе Самборе, жила себе жена благочестивая, «удова старенька», по прозвищу Сагайдачиха. Было у нее единственное чадо любимое — сынок Петрусь. Это был хлопчик тихий, «слухъяный», хотя нередко огорчавший мать странными выходками, которые состояли в том, что он нередко пропадал по целым дням и неделям, а потом появлялся где-нибудь верст за сто и более от родного города и возвращался оттуда либо с чумаками, либо с почаевскими и киевскими богомолками. Когда мать, бывало, спрашивала его: «Где ты, сынок, пропадал?» — он отвечал, что либо «ходил к рахманам», либо «искал где конец света», либо, наконец, «роспытував старців, де живе Вернигора», — и старушка, бывало, только об полы руками ударит. Все, что Петрусь слышал чудесного и таинственного, все это он хотел сам видеть. Слышал он как-то, что живут где-то неведомые люди, какие-то «рахманы», и что найти их можно следующим образом: когда бывает у людей «великдень» и люди едят крашенные яйца, то если бросить от освященного яйца кожуру в воду, так, чтоб она не потонула в реке, то кожура эта поплывет по реке, будет плыть день, два, три, может быть, неделю и более, и доплывет наконец до «рахманского царства». И вот тогда, когда «рахманы» увидят, что приплыли к ним крашенные кожуры с «того света», тогда и у них начнется «великдень». Вот, насылавшись этого, Петрусь Сагайдачный однажды и бросил на «великдень» яичную скорлупу в Днепр — и исчез из Самбора: он пошел по берегу Днестра вслед за плившею по воде скорлупою, потерял ее, конечно, из виду и все шел, пока знакомые чумаки не встретили его на дороге и не привели к матери. Таким же точно образом он искал и «конца света», и таинственного «Вернигору», про которого он слышал, что «горами ворочает».

Старая Сагайдачиха, сокрушаясь о сынке, говорила о его странностях на исповеди самому батюшке, и батюшка успокоил ее, что хлопчик недаром ищет конца света, что ему так от Бога положено: что в отрочестве, по неразумию своему, он ищет рахманов и Вернигору, а когда возмужает, то станет угодным Богу и будет «истину взыскати»; что поэтому его следует отдать книжному научению, — «и процветет разум хлопчика, яко сухой жезл Ааронов», сказал в заключение батюшка и, увидев после того Петруся, погладил его по головке и сказал улыбаясь: «Быть тебе Вернигорою».

Тогда Сагайдачиха, отслужив напутственный молебен, отвезла своего любимца в Острог и отдала в тамошнюю школу. В школе Петрусь учился хорошо, но также отличался разными выбряками: то удивлял учителей необыкновенно быстрым пониманием предмета ученья, то опережал всех знаниями, то вдруг начинал лениться, пропадал по целым дням, бродил неведомо где и потом снова являлся. Когда наставники спрашивали его, где он пропадал, юный Сагайдачный нехотя отвечал, что он ходил в пустыню, искал Бога, постился, в надежде, что ему явится бес для искушения, но бес не являлся, и тому подобное. Между тем наставники не могли не видеть, что он был очень богомолен, много читал священных книг, много знал, и надеялись, что из него выйдет пустынный. Но вышло не то — юный Сагайдачный пропал, так-таки пропал без вести.

Где он пропадал — никому не было известно; одни предполагали, что, по своей письменности и, порой, необыкновенной набожности, он ушел на Афон, где с давних пор спасался его земляк Иоанн из Вишни; другие, более смелые, подозревали, что он «помандровал» на Запорожье.

Через много лет случилось такое обстоятельство. На Спаса в городе Черкассах, на рынке, среди разряженного по-праздничному поспольства, среди степенных мещан и длинноусых казаков, среди пестрой молодежи — парубков, девчат, молодиц и детворы, среди наваленных на площади гор арбузов, дынь и огурцов, посреди возов с яблоками, сливами и грушами, бродил себе одиноко неизвестный ободранец — «бидный козак нетяга», каким он казался всем видевшим его: не то бурлак — «попихач жидовский», которому жизнь не задалась, не то пропившийся казак, не то горемычный свинопас и волопас, забравшийся на рынок и не имеющий в кармане ни шеляга, на что бы купить себе праздничное яблочко, либо свечку Богу поставить от своего сиротства. На «бедном казаке нетяге», как говорится в думе, болтались три «сиромязи» — три сорта лохмотьев: «опанчина рогозовая» — это епанечка, сплетенная из «рогозы», из травы-ситника, нечто вроде плохой и дырявой рогожки; другое на нем украшение — «поясина хмелевая» — пояс, скрученный из завядших плетей хмеля; еще на казаке украшение — «чоботы-сафьянцы», да такие, что сквозь них видны пятки и пальцы: «где ступит — босой ноги след пишет...» Таков-то был молодец! Мало того: еще на казаке красовалась баранья шапка — «шапка бирка сверху дирка», мех давно облез и околыша тоже, как говорится, «чортма»: вообще шапка на удивление — «дождем прикрыта и ветром на славу казацкую подбита...» Но молодец ходит себе гордо, поплевывает через губу и даже задорно погля-

дывает на каких-то пышных трех не то ляхов-панов, не то казаков, которые корчат из себя ляшков-панков и даже немножко «ляхом вырубают», то есть стараются говорить по-польски, — одним словом, это были настоящие «дуки-срибляники», богачи, значные казаки.

— А не пойти ли нам, шановные панове, до шинкарки? — сказал один из «дуков», — искоса поглядев на оборванца «нетягу».

— До Насти Горовой — шинкарочки степовой? — спросил, ухмыляясь, другой «дука».

— А хоть бы и до Насти, — отвечал первый.

— Добре, панове! У нее такой есть запри-дух — горелка оковита, что аж очи рогом лезут от единой чарки, — пояснил третий.

«Нетяга» как бы и не слышит этого — да и исчез меж возами с яблоками и грушами.

Когда однако «дуки» вошли в шинок и поздоровались с красивой молодою шинкаркою, которая показала им все жемчужные зубы из-за коралловых губок, они заметили, что оборванец «нетяга» был уже тут: он стоял скромно у топившейся печки и, по-видимому, сушил у огня свою еще накануне промокшую от дождя шапку, готовую, казалось, совсем развалиться.

Хотя, по народному обычаю, позже вошедшие в шинок и должны были поздороваться с прежде вошедшим, какой бы он ни был оборванец и даже пропойца, однако кичливые «дуки» этого не сделали и важно уселись за стол.

— Гей, Насте-сердце! — сказал старший из «дуков». — Давай нам еду и доброй горелки!

— Какой же, паночку, вам горелки дать, — защebetала шинкарка, звеня монистами и медным крестом, висевшими на полной груди, — простой или оковитой.

— Самой пекельной — запри-духу! — пояснил второй.

— Спотыкачу — дядька-спотыкайленка, — добавил третий.

Шинкарка метнулась к стойкам, достала требуемое, поставила на стол, сбегала потом за медом, который так и пенился, как сердитый пан, — все это расставила на столе, а потом отошла в сторону и подперла розовую щеку рукою.

— Пейте, паночки, на здоровьечко да не забывайте вашу милостью Настю кабачную, — прощebetала она и поклонилась.

А «нетяга» все стоит у печи, все сушит свою лохмотную шапку и искоса поглядывает на кичливых «дуков». Те принялись пить — и снова, вопреки народному обычаю, хоть бы

один из них предложил бедному оборванцу «меду шклянку» либо «горилки чарку».

По лицу «нетяги» пробежала недобрая улыбка, и он продолжал поглядывать на пирующих. В этих ясных черных глазах было что-то такое, отчего «дукам» становилось жутко, водка не шла в горло... Злил их этот оборванец своим спокойным взглядом; казалось, что эти глаза, глаза оборванца, смотрят на них так, как иногда глаза большого пана, какого-нибудь ясновельможного князя, смотрят на самого жалкого хлопа...

Не вынесли этого «дуки», тем более, что и хмель стал уже разбирать их головы.

— Гей, шинкарка Горовая, Настя молодая! — закричал Войтенко, ломаясь и корча из себя великого пана. — Гей, шинкарка! Нам сладкого меду подливай, а этого казака, пресучаго сына, взашей из хаты выпихай!

— Вон его! Вон! — прикрикнул и Золотаренко. — Должно быть он, пресучий сын, по винницам да пивоварням валялся — опалился, ошарпался, ободрался, да теперь к нам пришел добывать, чтоб в другую корчму нести пропивать.

Оборванец на это только улыбнулся, а шинкарка со смехом подошла к нему и взяла за черный чуб.

— Пошел, пошел, козаче, — иди с Богом, — хохотала она, таща оборванца словно вола за рога, а другой рукою слегка колотя в затылок.

Оборванец, конечно, упирался. Настя хохотала и тащила его дальше, пока с величайшим трудом, вся запыхавшись, не дотащила до порога. Но дальше порога оригинальный гость не шел: он уперся голыми пятками в порог, зацепился репьем в дверях и не идет... Умаялась Настя.

— А щур тебе да пек! Вот бугай какой здоровый! — смеялась она, дуя себе на ладони. — Аж ладони болят.

Тогда старшему из «дуков», Гавриле Довгополенку, стало жаль несчастного, и он, вынув из кармана мелкую монету и подойдя к шинкарке, тихонько сказал:

— Вот что, Настя-сердце: хоть ты на этих бедных казаков и зла, да все-таки добрая... Коли б ты, сердце, сбегала в погреб да на вот эту людскую денежку хоть какого-нибудь пива нацедила — этому казаку, бедному «нетяге» на похмелье живот его казацкий подкрепила.

Шинкарка взяла денежку, лукаво улыбнулась и сказала, что напиток оборванца. Вышла она за перегородку и шепнула наймичке:

— Беги, девка-наймичка, в погреб, да возьми ендову четвертную, да наточи пива, да только не из первых бочек —

пропусти ты восемь бочек, а с девятой наточи поганого пива: у к лучше его таким нетягам раздавать, чем свиньям выливать.

Но молодая наймичка оказалась жалостливее своей хозяйки. Она сама знавала нужду и сочувствовала бедности. При том же лицо оборванца показалось ей добрым и красивым, а таких ласковых, говорливых глаз под черными бровями она ни у кого не видала. Поэтому она не последовала наказу хозяйки — миновать восемь бочек в погребе и наточить из девятой негодного, промозглого пива. Напротив, захватив толстую, новую, тяжелую четвертную ендову с ушками, она минула девятую бочку и наточила меду из десятой — лучшего, крепчайшего меду, какой только был в погребе и который назывался «пьяное чоло».

Воротившись с ендовой в светлицу, наймичка отвернула лицо от меду, показывая вид, будто бы напиток этот очень воняет, а между тем ласково подмигнула бродяге и, подавая ему ендову, поклонилась.

Бродяга, сочувственно сверкнув своими черными глазами, взял из рук ее ендову, медленно прислонился к печке, неторопясь попробовал напиток, посмаковал — нашел, что он отличный, улыбнулся своею загадочною улыбкой, плотно приложился губами к ендове и напился досыта. Передохнув немного, он снова взял ендову «за одно ухо», наклонил ее, припал к краю — и стало в той ендове «сухо»... Бросилась казаку в голову хмелинушка — «пьяное чоло» действительно оказалось пьяным.

А «дуки» все бражничают...

Вдруг бродяга как хватит дубовой ендовой об пол! Удар был так силен, что со стола у «дуков» повалились чарки и «пляшки», из печи полетела сажа, а шинкарка с испугу присела за прилавок.

— Ох, лишечко! — завопила она.

Пирующие вскочили с мест. Они были шибко озадачены.

— Вот дурень! — укоризненно сказал Золотаренко. — Верно, он доброй горелки не пивал, что его так и поганое пиво опьянило.

Услыхав это, бродяга выпрямился, бодро подошел к столу и, глядя смелыми, сверкающими глазами на «дуков», закричал:

— Гей вы, ляхове, вражьи сынове! Ну-ка подвигайтесь к порогу, чтоб мне, казаку-нетяге, было где в переднем углу с лаптями сесть.

«Дуки» нерешительно переглянулись. Бродяга смотрел на них уже не тем жалким бродягой.

— Вон, дуки срибляники! — повторил он свой окрик.

«Дуки» видели, что с таким пьяницей и силачом не совладаешь, что он, пожалуй, и в них ендовой пустит, и заблагорасудили подвинуться, дать за столом место этому разбойнику.

Шинкарка тоже присмирела и удивленно посматривала на странного гостя. Наймичка выглядывала из-за перегородки, стараясь уловить его сердитый взгляд.

Бродяга между тем сел за стол на переднее место, отодвинул от себя чужие чарки и бутылки и вынул из-под своей рогожиной епанчи «широ золотный обушок».

— Гей, шинкарко! — крикнул он, кладя свой заклад на стол. — Цебер меду за этот обушок!

Перепуганная недавним громом шинкарка не знала, что ей делать, и вопросительно поглядывала на «дуков», боясь встретиться с сердитым взглядом бродяги.

«Дуки» с улыбкою переглянулись.

— Не давай ему, Настя, — сказал наконец Войтенко, — не выкупит он у тебя этого залога, пока не станет у нас волов погонять или у тебя печи топить.

Тогда бродяга, не говоря ни слова, распустил свой пояс из хмелевых плетей, расстегнул находившийся под рогожною епанчою кожаный широкий пояс — «черес», тряхнул им — и из него посыпались блестящие червонцы, которые так и устлали собою весь стол.

Картина быстро изменилась.

Шинкарка ахнула и перегнулась всем телом через стойку. Красивые глаза ее засверкали алчностью, губы задрожали. У «дуков» при виде такой кучи золота и хмель из головы выскочил. Они бросились наперерыв ухаживать за бродягой.

— Ох, братику, пане козаченку! Как же ты нас одурачил! — заговорил Золотаренко.

— Выпей, козаченку, выпей, сердце, нашего меду-горелки! — юлил Войтенко.

— Не держи на нас, братику, пересердия, что мы над тобой насмеялись — то мы шутили...

«Нетяга», не говоря ни слова, подошел к отворенному окошку и свистнул.

И вдруг, откуда ни возьмись — в шинок входят три хорошо одетых казака, в виде «джур» или оруженосцев, и, низко кланяясь, подходят к бродяге.

— Здоров був, батьку козацкий! Вот твои шаты, — сказал первый из них, — шелковые жупаны.

— А вот твои, батьку, желтые сафьянцы! — приветствовал его второй «джура».

— А это твои, батьку, червонные шаровары да шапка-оksamитка, — приветствовал третий.

И действительно, в руках у пришедших были дорогие одежды: у первого — голубые шелковые жупаны с золотыми кистями и шитьем, у другого — желтые сафьянные сапоги, у третьего — красные широчайшие штаны, такие широкие, что когда в них казак идет, то сам за собою штанами след замечает.

Бродяга тут же, не стесняясь присутствием прекрасного пола, сделал свой туалет и закрутил усы.

Когда неизвестный бродяга преобразился в богато одетого казака, в «лыцаря», старший «джура» обратился к нему с следующими словами, повергшими «дуков» и шинкарку в крайнее смущение:

— Гей, Хвесько Ганжа Андыбере, батьку казацкий, славный лыцаря! Долго ли тебе тут бездельничать? Час-пора идти на Украине батьковать.

«Дуки» даже отшатнулись назад при этих словах и подвинулись к самому порогу.

— Так это не есть, братцы, казак бедный «нетяга»! — шептались они испуганно.

— Эге! Это есть Хвесько Ганжа Андыбер — гетман запорожский...

— Атаман кошевой, братцы, — про его славу давно было слышно!

Оправившись немного, они с поклонами приблизились к преобразившемуся бродяге и стали извиняться, что ошибкой пошутили с ним.

Гаврило Довгополенко, подойдя к нему и кланяясь низко, сказал:

— Придвинься ж и ты к нам, батьку казацкий, ближе; поклонимся мы тебе пониже — будем думать да гадать, как бы хорошо было на славной Украине проживать.

Войтенко и Золотаренко стали тотчас же подносить ему из своих рук мед и вино. Станный незнакомец не отказывался от угощения, но, принимая из рук напитки, не пил их, а выливал на свою дорогую одежду.

— Эй, шаты мои, шаты! — восклицал он при этом. — Пейте, гуляйте! Не меня чествуют — вас поважают, потому как я вас на себя не надевал, то и чести от дуков-сребляников не видал.

Озадаченные «дуки» растерянно переминались с ноги на ногу, стыдясь взглянуть в глаза этому как с неба свалившемуся дьяволу и его трем чубатым, загорелым аггелам. Шин-

карка тоже стояла ни жива ни мертва. Одна наймичка, видимо, ликовала, тараща свои радостные глаза на «козака-нетягу», что теперь так и сиял в дорогих шатах.

Но недолго длилось это замешательство. Страшный незнакомец глянул на своих молодцов.

— Ай, козаки-детки, други молодцы! — крикнул он и ласково и грозно в одно и то же время. — Прошу я вас, други, добре дбайте этих дуков-сребляников за лоб, словно волов из-за стола выводите, перед окнами положите, по три березины им всыпьте, чтоб они меня вспоминали, до конца века не забывали.

И он указал на Войтенку и на Золотаренка, а к Гавриле Довгополенку обратился дружески:

— А ты, брате, садись около меня, выпьем: ты бедным человеком не погордовал, а кто бедным человеком не гордует, того и Бог добром взыскует.

Войтенка и Золотаренка «джурь» между тем взяли за чубы и словно волов вывели из шинка, разложили под окнами и, несмотря на их крики, на то, наконец, что со всего рынка и с берега сбежались толпы любопытных, выпороли березою преисправно и еще прочли им нравоучение.

— Эй, дуки вы, дуки! — приговаривал тот, который сек. — За вами луга и леса — негде нашему брату козаку-нетяге стать, коня попасать...

— Та их, так их, дуков! — кричала толпа. — Они у бедного человека последнюю сорочку снимают.

— Вот так Хвесько казак! Вот так Ганжа Андыбер! — раздавались радостные голоса. — Это он за нашего брата стоит — за голоту...

Этот таинственный оборванец, этот Ганжа Андыбер и был Петр Конашевич-Сагайдачный, столько лет пропадавший без вести.

Х

После объявления Сагайдачным, вслед за последним его избранием в кошевые атаманы, морского похода, прошло более недели в приготовлениях. Приготовления эти были не особенно сложные: приводились в окончательный порядок чайки, конопатились поплотнее, смолились и уснащались канатами, причалками, якорями — из железа и просто из булыжника с положенными накрест деревянными лапами; изготовлялись запасные веревки, весла и «правила»; чинилась

и штопалась рваная одежда — штаны, сорочки, шапки, ко-
жухи, чоботы и пояса-«череса» для татарских и турецких
будущих золотых; пеклись хлебы, резались на сухари и су-
шились по горнам и просто на пологах и конских пополах;
запасались в дорогу и предметы роскоши — «цыбуля»,
чеснок, соль, тютюн, сушеная тарань и лецц; наливались
боченки, «боклагы» и «барыла» доброю водкою — горил-
кою, «оковитою». Войсковою грамотей, «письменник» Олек-
сий Попович — отчаянный «пройдисвист» из киевских
бурсаков, захватил в дорогу и «свiate письмо».

Необыкновенно трогательно было по своей простоте и де-
тской наивности выступление в поход и собственно напутст-
венное молебствие, которое, за неимением в Сечи попа и
церкви, как-то особенно по-казацки отмахал Олексий Попо-
вич. Некоторым казакам захотелось помолиться перед вы-
ступлением в грозную, далекую, неведомую дорогу; а как
молиться — они не знали... «Бог его зна, що воно таке там
поп чита, коли у дорогу напутствие, — говорили иные из них,
видевшие иногда в Киеве напутственные молебны: про яко-
гось-то там Пилипа мурина, то про царицю якусь Кандакию,
а до чего ся царица — Бог его знае...»

И вот, когда все курини, все войско запорожское вы-
сыпало на берег к чайкам и когда гребцы заняли уже свои
места, а все остальное товарищество толпилось то вокруг
своих хоругвей, «корогов», то у чаек, внимание всех было
привлечено появлением на гетманской чайке Олексия Попо-
вича с книгою в руках. Он был без шапки. Всегда дерзкая,
забубенная, постоянно поднятая кверху голова его теперь
была смиренно наклонена над книгою. Полуденный теплый
ветерок играл его черным чубом и хоругвями, которые тихо
поскрипывали... Берег на целую версту был усыпан казаками,
как огород цветами.

Олексий Попович, подняв глаза на атаманскую хоругвь,
перекрестился. Как бы по волшебному мановению все войско
сняло шапки.

— Олексий Попович свiate письмо читает! — прошло по
рядам. — Слушайте, братцы!

— «Ангел же Господень рече к Филиппу, глаголя: вос-
стани и иди на полудне, на путь сходящий от Иерусалима в
Газу — и той бе путь...»

Громко раздавалось по воде и по всему берегу внятное,
внушительное чтение Олексия Поповича. Казаки слушали
его напряженно, едва дыша... Они слушали сердцем и дет-
скою, верующею мыслью, слушали не Олексия Поповича,

этого подчас пьяного «гульвису», этого задорного «розбишаку» и отчаянного «пройдисвиста», не дававшего, где это было можно (только не в Сечи), спуска ни дивчатам, ни молодцам, а слушали они своим чистым сердцем «святе письмо». Лица казаков были серьезные, внимательны, тем более серьезные, чем менее понимали они читаемое, это таинственное «святе письмо», которого сами они не умели читать. Их губами на наклоненных, задумчивых головах играл полуденный ветерок.

Голос чтеца крепчал все более и более — он сам увлекался, выкрикивая церковные слова с украинским акцентом превращая *ять* в *и*, а *и* в *еры*, в *ы*, что особенно было по душе слушателям. Эти непонятные для них слова — этот «мурин», этот «евнух» и какая-то царица — все это входило в душу слушателей таким же непонятным, таинственным, но тем более умиляющим сердцу. Кто-то куда-то едет на колеснице, читает пророка Исаию... А тут и «дух», и «Пилип», и «рече». И они, казаки, куда-то едут — далеко, далеко... И под голос чтеца, под звуки этого «святого письма», каждому вспоминается либо родная хата с вербою, либо «старенька мати», вся поглощенная горем разлуки, либо «дивчина коло криници», прощающаяся с казаком, а слезы текут по побледневшим щекам да в криницу кап-кап-кап...

— Смотрите, смотрите! — раздалась вдруг голоса.

— Казаки бугая ведут!

— Да то не бугай же! Разве тебе повывлазило!

— Да бугай же и есть, чертов сын!

— Не бугай, Иродова цуцья! То сам тур! Разве не видишь — бороною трясет?

— Да тур же, братцы, тур и ест. Вот внезапия, так внезапия!

Действительно, глазам молящихся казаков представилась невиданная «внезапия». На том берегу Днепра, как раз против берега, усыпанного казаками, какие-то два не то казака, не то просто хлопца — вели на веревке живого тура, который упирался и сердито мотал головой. Разве же это не чудо, не «внезапия»! Живого черта за рога тащат! Да разве же это видано! Два хлопчика живого тура ведут, а он ломается как свинья на веревке... Это какие-нибудь чары...

Хлопцы, ведущие тура, машут шапками, зовут...

— Да это, может, татары, чертовы сыны, глаза отводят...

— Какие татары! В наших штанах...

— Да глаза ж отводят — характерники, может...

— Мы им отведем...

Некоторые из казаков бросились в стоявшую у берега большую рыбацкую лодку, схватили весла и, лавируя между чайками, птицей понесли к тому берегу, где проявилась эта «внезапия». Скоро лодка пристала, казаки выскочили из нее, подбежали к чуду... Разводят руками, дивуются... Те, что привели чудо на аркане, снимают шапки, здороваются с казаками...

Видят казаки с этого берега еще большее диво: тур начинает плясать и брыкаться... Слышно, как там казаки, глядя на пляшущего тура, смеются — за животы берутся...

— Что оно такое, сто копанок чертей! — не вытерпел Хвилон Небаба.

— Да то ученый тур! Может, москали как медведя научили его танцевать...

— Эге, научишь бабу казаком быть!

Скоро увидели, что все — и приехавшие в лодке казаки, и приведшие тура, и сам тур — сошли к Днепру и сели в лодку... Видно, как тур стоит в лодке и бородою трясет...

— Вот чертова проява! — и не диво ж!

— А рога какие, братцы! Вот рога!

— Ореракие! А хвостище!

— А борода точно у козла... Цапиная борода...

— Где козлу до такой! Точно у доброго москаля...

Между тем лодка пристала к этому берегу, и из нее вместе с казаками и двумя неизвестными молодцами вышел сам тур, крутя головою и потрясая бородою... Его так и обсыпали кругом запорожцы...

Но в этот момент из него выскочил... казак, запорожец.

— Пугу! Пугу! — запугал он пугачем.

— Казак с лугу!

— Ай! Да это ж Карпо!

— Да Карпо ж Колокузни, чертов сын! Вот выдумал!

Из тура выскочил и другой молодец, знакомый наш Грицько, что возил патера Загайлу в таратайке... Тур, то-есть его шкура, никем не поддерживаемая, повалилась на землю.

— Карпо! Карпуха, братику! Здоров був, братику! — начались приветствия со всех сторон и расспросы.

— Откуда? Как? Как Бог принес? Сам убил этого чертяку? Что паны ляхи? Что ксендзы?

— Ксендзы на хлопцах ездят...

— Как на хлопцах?

— Да вот я и коней панских привел... Они возили на себе Загайлу... Это Грицько, это Юхим, это друкарь, Хведор Безридный — казаками будут...

В этот момент на валу прогремела вестовая пушка, и белый дымок ее понесло туда, к Украине... Другой белый дымок взвился с другой стороны вала и снова грянул выстрел... И этот дымок понесло к Украине, пока не развеяло его в голубом воздухе... И третий дымок, третий выстрел...

Почти каждый из казаков глянул на хоругви и перекрестился. Лица стали серьезнее.

Как пчелы в свои ульи, сыпнули казаки каждый к своему куренному значку, к своей чайке, где молодые гребцы-казаки, «молодики», пробовали ловкость и удобство своих весел.

— А как же хлопцы? — спросили Карпа другие казаки, указывая на его молодых товарищей, которые стояли как бы растерянные, пораженные никогда не виданным прежде зрелищем отправления запорожского войска в поход.

— Хлопцы со мною, — отвечал Карпо.

— Да у них нет ничего.

— Добудут в море да за морем — еще какие жупаны добудут.

— А этого чорта — тура?

— И он с нами поедет — в нашей чайке... Берите его, хлопцы, — да гайда до челна!

Днепр запенился от нескольких сот весел, которыми гребцы бороздили его голубую поверхность. Выступало в поход более полусотни чаек, из которых на каждой было по пятидесяти и по шестидесяти казаков вместе с гребцами. Крик и говор стоял невообразимый: гребцы сталкивались веслами, пербранивались, слышались окрики рулевых... Казаки размещались по местам, закуривали трубки... С берега махали шапками те из казаков, которые оставались стеречь Сечь, пасти войсковые табуны, ловить и сушить на зиму рыбу...

— Берегите, братики, моего Лысуна!

— Стригунца, братцы, моего доглядайте!

Это последние заботы казаков, выступающих в море, последние их, как бы предсмертные, наказания — беречь их любимых боевых коней... А еще кто-то воротится?..

Скоро и «Сичь-мати» исчезла из виду. Передовые чайки были уже далеко, точно будто они особенно торопились в далекую, неведомую дорогу. Вся флотилия скользила по воде тихо, бесшумно. Не слышно было ни криков, ни обычных веселых песен. Предстояло дело нешуточное: надо было так осторожно пробраться в море, чтоб «поганые» и не опомнились, как казаки упадут на них «мокрым рядом»...

Казацкая флотилия благополучно доплыла до Кызыкермена.

Это была небольшая турецкая крепостца, стоявшая почти у входа в днепровские лиманы и предназначенная собственно для того, чтобы запираť собою Днепр с его страшными чубатыми обитателями и не давать им возможности с их легкими, неуловимыми, как молния, и ужасными, как гром Божий, чайками выплывать в Черное море — в этот дорогой бассейн падишаха, обставленный по берегам такими богатым и красивыми городами, как Козлов, Кафа, Трапезонт, Синоп и сам Стамбул, блестящее подножие тени Аллаха на земле.

На стенах Кызыкермена торчало до дюжины черных пушек, мрачные дула которых обращены были к Днепру и каждую минуту готовы были изрыгать огонь и смерть тем дерзким смертным, которые осмелились бы из Днепра пробраться в заповедный бассейн падишаха, в голубое море, названное Черным потому, что во время бури на нем, как уверял Копычи-паша московского посла Украинцева, «делаются черными сердца человеческие». Кроме того, у крепостцы от одного берега к другому перекинуты были цепи, которые преграждали реку, а если и не могли преградить ее окончательно, потому что от собственной тяжести пускались в воду довольно глубоко и, во всяком случае, глубже, чем видели на воде легкие казацкие чайки, как ореховые скорлупы скользившие почти по поверхности, — если, повторяем, и не могли окончательно загородить Днепра, то посредством разных поплавков, прикрепленных к ним, и звонких металлических погремушек предупреждали часовых крепости, особенно темной ночью, что неприятель крадется через цепи. Тогда пушки, наведенные как раз на это место, на заграждающие цепи, делали несколько залпов, и неприятель неминуемо бы погиб под ядрами или пошел бы ко дну со всеми своими чайками «раков ловить», как выражались запорожцы.

Все это очень хорошо знал хитрый батько казацкий, старый Сагайдак, и потому заблаговременно принял свои меры.

Он приказал флотилии остановиться, не доезжая нескольких верст до Кызыкермена, у берега Днепра, где образовалась как бы природная гавань. Берег покрыт был лесом — старыми дубами, осокорями, тополями. Сагайдачный, выйдя на берег, приказал казакам рубить самые толстые деревья и стаскивать их к воде. «Детки» принялись усердно за работу и скоро повалили на землю несколько

десятков дубов и осокорей, украшавших девственные берега этой девственной реки.

— Сколько чаек, столько и дубов, детки! — распоряжался Сагайдачный.

— Добре, батьку, — отвечали дружно «детки» и начали считать нарубленные кряжи.

— Считай ты, Хомо! — подтрунивали казаки над приурковатым, простодушным Хомою. — Не в черта ж ты и считать здоров!

Хома начал считать, загибая свои обрубковатые пальцы на правой руке.

— Оце раз, оце два, оце три...

Так он благополучно досчитался до двадцати девяти, а там спутался...

— Оце двадцать девять, оце двадцать десять, оце двадцать одиннадцать...

Взрыв хохота прервал его своеобразное счисление. Хома оторопел и без толку пригибал то тот, то другой палец.

— Добре, добре, Хомо! Считай дальше: двадцать десять, двадцать люлька, тридцать кресало...

Опять взрыв хохота.

— Чего ржете, сто копанок чертей! — гукнул на них старый атаман Небаба.

Наконец срубленные дубы были сосчитаны.

Подошел старый батько Сагайдак, опираясь на саблю.

— А теперь, детки, в воду дубы, да привязывайте их легонько к челнам, распорядился он.

— У, не в черта ж и хитрый у нас батько, стонадцать коп! — ворчал про себя Карп, волоча с друкарем, Грицьком и Юхимом огромный дуб в воду.

Когда все срубленные деревья были стащены в Днепр, Сагайдачный приказал к каждой чайке привязать по дереву, но так, чтобы они плыли не позади чаек, а впереди них. Потом сделали роздых на берегу, поужинали, не разводя огня, чтобы не выдать сторожевым туркам и, быть может, бродящим в окрестностях татарам своего присутствия, отдохнули немного. Скоро надвинулись сумерки, а затем наступила и ночь, темная, ветреная... Подул северный ветер, несколько свежий, известный у запорожцев под именем «москаля».

— Москаль поднялся — это нам на руку, — поясняли казаки.

— Москаль нас и в море вынесет.

К полуночи флотилия двинулась далее, но уже так, что каждая чайка шла почти весло к веслу с другою чайкою —

двигались «лавою», в один или в два ряда. Шли необыкновенно тихо: ни одно весло не плеснуло сонною водою, потому что флотилия шла не на веслах, а просто плыла по течению.

Впереди чаек плыли какие-то темные чудовища — не то люди-великаны, не то звери, не то черные чудовищные рыбы... Торчали из воды какие-то руки, гигантские пальцы на этих руках: это плыли привязанные к чайкам дубы и осокори...

Тихо, необыкновенно тихо — хоть бы дохнул кто-либо... Только дышит «москаль» — дохнет небольшим порывом, пробежит по воде и стихнет...

Где-то там, в темноте, запел петух: это в Кызыкермене — турецкий петух, и он поет так же, как казацкий «пивень» на Украине... Еще запел петух — это полночь... Небо так взвездило: вон Петров Крест, вон Чапига горит, Волосожары... И в Днепре, из темной воды, смотрят и мигают звездочки... Одна покатила по небу и, казалось, упала в Днепр. Застонал где-то филин...

На одной из чаек, несколько выдвинувшейся вперед, чернеет на носу словно статуя. Это стоит неподвижно сам Сагайдачный и не сводит глаз с туманной дали...

Там, впереди, в этом мраке, залаяла собака... это в Кызыкермене турецкая собака на ветер лает — не спится ей, как всякой собаке...

Чуть-чуть замигал впереди огонек... Должно быть, в окошечке сторожевой «башты»... А может быть, это звездочка... Нет, не звездочка — темнеет силуэт башни, стен...

Опять порыв ветра — «москаль» дунул казакам в затылок — и опять тихо...

— Весла в воду, остановить чайки, ни шагу дальше! — раздался вдруг голос Сагайдачного, но так тихо, что услышали только ближайшие чайки.

— Весла в воду, стой, ни шагу! — прошло по всей флотилии.

И чайки моментально остановились. Впереди рисовались темные выступы башни.

Наступил решительный момент...

— Спускай дубы! Реж! — опять раздался голос кошевого.

— Реж! Спускай дубы! — прошло по всей флотилии от одного берега Днепра до другого.

Отрезанные от чаек дубы и осокори, шевеля над водою обрубленными ветвями, точно гигантскими руками, поплыли вниз по течению.

Чайки, удерживаемые веслами, стояли на воде неподвижно...

Дубы исчезли из виду... Некоторые из казаков крестились...

Тихо, необыкновенно тихо кругом — даже «москаль» не дует... Прошло несколько минут... Как бы спросонок хрипло запел петух, ему отвечала сонным лаем собака — опять стало тихо.

Вдруг впереди, далеко за этою тьмою, послышалось какое-то глухо звяканье — еще, еще...

— Зацепили! — прошептал про себя Карпо, налегая на весло.

В этот момент раздался пушечный выстрел — за ним другой, третий... Проснулась крепость, загремела стена — жарят турки по колодам, по дубам да осокорям, воображая, что стреляют по казакам и по их дерзким лодкам... «Алла! Алла! Алла!» — воют в темноте голоса

Удар за ударом гремит со стен крепости. Слышно, как ядра бултыхаются в воду, звенят цепями, разрывают их, мутят воду, колотя ядрами и картечью по колодам.

— Ких-ких-ких! — зажимая рукою нос и рот, не может удержаться от смеху добряк Хома. — Вот дурни, по колодам лупят...

— И хитрый до сто-беса у нас батько! — шепчут молодые казаки.

Залпы, прогремев еще несколько раз, смолкли: или все заряды выстреляны, или турки вообразили, что уничтожили дерзких гяуров.

Тихо и темно впереди, хоть глаз выколи — «хоть у око стрель...»

— Трогай, детки, да тихо, тихо, водою не плесни! — раздается опять в темноте голос Сагайдачного.

— Трогай! Трогай! — пронеслось тихо от берега до берега.

В тот же момент порывисто зашумел «москаль» — и чайки птицею понеслись по темной поверхности мрачной реки... Вот они уже против крепости... Со стен слышны неясные голоса... Испуганные коровы ревут за стенами.

Чайки уже миновали крепость...

— Ких-ких-ких! — не может удержаться Хома.

— Молчи, Хома, еще не дома, — предостерегают его.

— Вот так батько! Вот так старый Сагайдак!

— Нажимай, нажимай, братцы, чтоб весла трещали! Нажимай до живых печенок! «Або добути, або дома не бути!»

Чайки летели стрелою, далеко оставив за собою злополучный Кызыкермень.

Уже к утру, достигнув лиманов, они остановились и спрятались в необозримых камышах, словно дикие утки. Тут, под защитой камышей, казаки дали себе роздых перед выступлением в открытое море. Место для стоянки и для отдыха было великолепное. На десятки верст тянулись камышовые заросли, в которых могло спрятаться целое войско и укрыться целый флот из мелких судов. Девственные камыши были так высоки, что среди них могли ходить гиганты, и все-таки вершины красивого, стройного, гибкого «очерета» покрывали бы их с головою.

В камышах гнездились бесчисленными стаями водяные птицы — бакланы, цапли, гуси, утки, кулики, лысухи, дикие курочки, «бугай». От птичьих голосов над лиманами стон стоял. По временам над камышами словно буря проносилась: это пробегали стада чем-либо испуганных кабанов, которых на лиманах было великое множество.

Любили казаки вообще камыши, потому что среди камышей они прятались от «поганных басурман», среди камышей они охотились на птицу и зверя, среди камышей и рыбу ловили — одно из богатств их незатейливой жизни. Казак и в песне не забывал своих камышей, а дивчина, восхваляя своего милого, пела тоже про «очерет»:

Очерет ососка —
Чорни брови в козака.

Но зато в камышах водился и бич казака, который отравлял его работу, покой и сон, отравлял всю его жизнь в этой палестине: бичь этот — комар. Комары в лиманах среди камышей были истинным наказанием Божиим, казнями египетскими, и народная поэзия, упоминая о горьких сторонах казацкой вольной жизни, упоминала и о комаре: каждому молодцу приходилось «козацким билым тилом комарив годувати»...

В этих-то камышах и расположились запорожцы, благополучно проскользнувшие мимо Кызыкермена. Кто уснул в лодках, кто на берегу, в камышах. Часовые расположились на окраинах спящего войска, хотя тоже между травой, но на более возвышенных местах, откуда видны были и лиманы, и расстилавшиеся на необозримое пространство степи.

Часовые располагались небольшими группами — по двое и по трое, чтоб если один нечаянно вздремнет, то другой бы бодрствовал.

Вдруг где-то в траве или в камышах послышался крик перепела.

«Пид-подом, пид-подом», — повторился он явственно снова.

«Сховав-сховав-сховав!» — откликнулся на это запорожец.

«Сховав-сховав-сховав!» — повторилось в разных местах.

Это осторожный Небаба проверял «варту» — часовых; для этого он, притаившись где-то в камышах, подражал крику перепела; ему таким же криком должны были отвечать часовые. Горе тому беспечному, который бы уснул и не откликнулся: его ждало жестокое наказание киями.

XII

Наконец казаки в море.

— Какое же оно большое! — с невольным страхом проговорил Грицько, окинув своими оробевшими глазами необозримое водное пространство.

— А какая вода в нем! — не то с изумлением, не то с испугом вздохнул его товарищ.

— Голубая, не то блакитная.

— Нет, синяя.

— Не синяя — зеленая.

— И конца-краю нет ей!

— Так вот оно, море! И, Господи!

— Только небо покров ему...

— Небо простре яко кожу — эх! — как-то досадливо проворчал Олексий Попович, который, видимо, был не в духе, потому что в походе, и особенно на море, строжайше запрещалось пьянствовать. — Чертово море!

— Эге! Если б все это была горелка, а не вода, — то-то б! — подтрунил над ним усатый Карпо.

И не одних новичков поразил вид моря. Необъятная масса воды и ее невиданный цвет, невозможность на чем-либо успокоить взор, который, сколько ни глядел вдаль, все, казалось, более и более утопал в этой бесконечности, одномерные покачивания чаек, ужасающее безлюдье этой водяной мертвой пустыни — все наводило на душу тоску, одурь, физическую тошноту. Чувствовалась какая-то страшная беспомощность, оторванность от всего мира. Это было даже не между небом и землей, а между небом и бездной, которой нет предела, которая поглотила самую землю и которая нема и глуха, как могила, как смерть.

Хоть бы что-нибудь показалось живое на этом мертвом море! Хоть бы татары!

Чайки шли открытым морем, по-видимому, на полдень. Что же там — хотелось спросить — еще дальше, еще глубже, за этой бесконечной синевой? Там, казалось, еще страшнее.

Только влево, далеко-далеко, словно у конца моря, тянулась длинная туманная полоска и тоже таяла вдали, в этом самом безбрежном море, таяла как дымок, как облачко, как туманное дыхание куда-то исчезнувшей земли.

— А то что такое? — показывали молодые казаки.

— То Крым.

И эта туманная полоска за синюю далью, это таявшее облачко — это Крым? Не может быть! Это там, где кончается и небо и море... Да это, должно быть, конец света...

А как печет солнце!.. Неужели это то же солнце, что и в Украине, в Киеве, в Остроге, в Прилуках, в Пирытине?.. И на море пала от него бесконечная полоса, которая искрится и дрожит на этой страшной, словно дышащей воде и которой тоже нет ни конца, ни краю...

Ближе к корме большой чайки «отаманской», на размалеванном возвышении, называемом «чердаком», сидит, поджавши по-турецки ноги, седоусый Небаба, лениво покуривает свою люльку и «куняет» — дремлет. Люлька его постоянно гаснет, что заставляет его ворчать, вспоминать «сто копанок чертей», вырубать снова огонь, оглядывать из-под седых бровей море и снова лениво сосать люльку, и снова «кунять».

Длинноусый Карпо, расположившись на дне чайки, весь углубился в приведение в достодолжный вид шкуры убитого им тура, шкуры, с которою он носился как курица с первым яйцом: тщательно обрезал ее, выполоскал в соленой морской воде, отделил от нее великолепные рога и отрезал хвост, которые он предназначал преподнести в дар войску, как войсковые клейноты. Попеременно он брал в руки то рога, то хвост и любовался этими сокровищами. Для него, по-видимому, не существовало моря — ни его внушающая красота, ни его томительная безбрежность: он уже бывал на нем, нечего смотреть — не то что в степи или в камышах, где всегда есть с кем померяться ловкостью. А море что! — наплевать! Одна негодная вода, которую и пить нельзя.

Олексий Попович тоже расположился недалеко от Карпа и от нечего делать наваливался грудью на борт чайки, методически поплевывал в противное море, на котором запрещено пить горилку, и вспоминал свой родной Пирытин, где он шибко гульнул перед отъездом в Сечь: пьяный у отца и матери «прощения» не взял, беспечно на улице на коне гулял, малых

детей и старых вдов стремением в груди толкал, мимо церкви проезжал — шапки не снимал и креста на себя не клал...

— Смотрите, смотрите, дядьку, что вон оно такое? — испуганно спросил друкарь, показывая на море.

— Что такое? — лениво, не подымая головы, спросил Карпо.

— Да вон — из моря выныряет...

— Э! Да то кони.

— Какие, дядьку, кони?

— Да морские ж кони, не наши.

Действительно, недалеко от чаек, из моря выныривали на поверхность какие-то черные чудовища, плескали чем-то — не то хвостом, не то руками — и снова скрывались под водою. То были стада дельфинов, възгрывавших на солнце и как-то странно кувыржавшихся среди морской зыби.

— А коли б нам деры не задало, — проворчал Карпо, расчесывая своим гребнем хвост тура.

— Какой деры, дядьку? — тревожно спросил Грицько.

— Коли б море не заиграло...

— А что такое?

— Хуртовина будет — буря.

— С чего ж ей быть, дядьку?

— А с того, небого, что вон те коники възгрывают.

Хотя никаких признаков бури, пока не замечалось, но слова опытного запорожца холодом прошли по сердцу молодых казаков. Они слышали от старых казаков об этих морских бурях, они слышали даже думу, как два брата-казака потопали в море и прощались заглазно с отцом с матерью — просили их помолиться за погибающих, вынести их со дна моря, и как потопал с ними третий казак — «чужой чуженин», у которого не было ни отца ни матери и за которого некому было даже помолиться... Дума говорила, что они потопали в чужом море за свои грехи, за неуважение к старшим, за свою беспутную жизнь...

А дельфины все чаще и чаще показывали из воды свои отвратительные головы, черные, лоснящиеся спины и плесы. В воздухе марило... Над казаками, в вышине где-то, с жалобным криком пролетел сокол-«билозерец»... Что-нибудь да предвещают эти таинственные вестники!..

Но вот на востоке показалась туча. Она росла какими-то причудливыми образами, быстро менявшими свой вид, и словно живая вздувалась, ползла из-под горизонта все выше и выше и постоянно заступала собою небо. Поверхность моря, до этого совсем синяя, стала чернеть и местами как бы вздра-

гивать. Что-то как бы живое забегало по морю, дуло в разгоревшиеся лица казаков, свистело в снастях, трепало в воздухе взмокшие чубы гребцов...

— Гай-гай! — почесал у себя за ухом Небаба, поглядывая на небо.

Послышался вдали глухой, протяжный гул, как бы что-то тяжелое перекатывалось по горам.

Небо и море все темнели и темнели. По воде стали ходить какие-то белые гребни, которые, словно живые, словно белые дельфины, выскакивали из воды и снова ныряли... В воздухе опять пронесся жалобный крик сокола... Казацкие чайки все более и более ныряли и прыгали с гребня на гребень, держась по возможности в линиях...

На «чердаке» атаманской чайки показался Сагайдачный; он снял шапку и внимательно стал вглядываться в то, что совершалось кругом, и в особенности впереди. Седой чуб его, как значок на бунчуке, трепался в воздухе....

— А быть чему-то, — тихо обратился он к стоявшему тут же Небабе.

— Быть, батьку, — отвечал Небаба.

Сагайдачный, вынув из кармана «хустку» — платок — махнул им в воздухе. Из числа казаков, сидевших в разных местах атаманской чайки, отделился один широкоплечий молодец и подошел к чердаку. Это был пушкарь.

— Дай вестовую, — сказал ему Сагайдачный.

Пушкарь молча пошел к передовой пушке, сильно покачиваясь от толчков, которым подвергалась чайка. Ветер крепчал в порывах, визжал, словно от боли, словно его кто самого гнал неволею...

Скоро грохнула пушка, но голос ее был так слаб перед ударившим тотчас громом, что казаки изумились. Между тем вся флотилия, услышав вестовой выстрел, стала сучиваться к атаманской чайке и скоро совсем окружила ее.

— Панове отамани и все верное товариство! — начал громким голосом Сагайдачный. — Вот, сами видите, что Бог дает нам работу дуновением своим Божиим... Это встает хуртовина — надо с нею бороться, и милосердный Бог нам поможет, ибо мы идем за Его святое имя, на ворогов креста Господня... Держитесь до купы, чтоб нас по морю не раскидало, да держитесь против валов... А воды не бойтесь — воду шапками казацкими выливайте... Чуете, детки?

— Чуем, батьку! — заревела вся флотилия.

Но другой рев — рев стихийный — осилил голос горсти храбрецов.

Началась буря, настоящая буря, неожиданная, внезапная, совсем шальная, какая только бывает на юге. Гром, сначала перекатывавшийся из края в край над совсем почерневшим морем, теперь, казалось, гвоздил тут, над головами казаков, и сверлил обезумевшее море среди сбившейся в кучу флотилии. Молнии, как изломанные раскаленные железные шипы, стремительно падая в море, вот тут, у самых чаек, скрещиваясь, прорезая одна другую, слепили глаза. Дождь хлестал так, что, казалось, само море опрокинулось и захлестывало собою тучи.

Казаки, привыкшие бороться с этою бешеною стихиею на днепровских порогах, где также их утлые чайки низвергались с высоты в пропасть, вертясь на вспененной поверхности, точно сухие листья, и потом вскакивая в седые буруны водопада, — казаки отчаянно боролись с взбесившимся морем и работали все до одного. Рулевой и гребцы смело отбивались от налетавших валов, разрезая гребни водяных гор и падая в водяные же пропасти, чтоб взлетать на седые гривы бушующих по морю чудовищ, а все остальное товарищество работало черпаками, ведрами, шапками, выливая затопляющую их воду... Удары и треск грома, скрип и треск дерева — весел, рулей, чердаков, снастей, гул и клокотание моря, свист ветра, ободряющие крики старых казаков — все это сливалось в один неизобразимый концерт, в какую-то адскую музыку, от которой и у самых мужественных волосы шевелились на голове...

Но буря, видимо, осиливала. У несчастных гребцов руки отказывались служить. Некоторые весла вырвало из ослабевших ладоней и унесло в море, другие расщепало в куски. Вода в чайках все прибывала — сначала по щиколотки, потом все выше и выше...

— Господи, погибаем! — слышались отчаянные стоны. — Милосердый Боже, помоги!

— Удержи хляби твои, Отче Вседержителю! Покарай меня одного! — упав на колени и подняв руки к грозному небу, молился Олексий Попович. — Я один грешный!

— Братцы! Панове! Исповедаемся Богу милосердному! — слышались голоса с разных сторон вместе с ревом бури.

— Исповедуй нас, батьку, — кричали с других чаек, — исповедуй, отамане! Потопаем!

Сагайдачный слышал эти отчаянные вопли. Он видел, что мужество начинает оставлять его храброе войско, и что если оно покорится этому роковому моменту, то все погибло. Надо было во чтобы то ни стало поддержать дух потерявших надеж-

ду и энергию. Зная хорошо привычки моря, он знал также, что эта неожиданно-негаданно налетевшая на них бешеная буря также неожиданно должна и стихнуть... Вот-вот, скоро стихнет... он это знал, он это видел по удаляющимся змейкам молний, по более медленным ударам грома... Но надо выдержать этот последний момент — надо поддержать упавший дух товариства... Он хорошо знаком был также с предрассудками людей, с которыми прожил полвека: это были дети, верившие сказкам... Он видел, что всем им в этот отчаянный момент вспомнилась дума о буре на Черном море, дума, распеваемая кобзарями по всей Украине и принимаемая всеми с глубокою верою, точно Евангелие... И он решился действовать сообразно указаниям думы, тем более что и казаки требовали исповеди, требовали того, о чем вещала дума, и он решился пожертвовать одним человеком для спасения всего войска...

Мгновенно решившись, он взошел на «чердак» и держась за балясину, громко, подлинными словами думы, провозгласил:

— Панове, братия мои и детки! Слушайте! Может, кто меж вами великий грех за собою имеет, что злая хуртовина на нас налегает, судна наши потопляет... Исповедуйтесь, панове, милосердному Богу, Черному морю и всему войску днепровому, и мне, отаману кошевому! Пускай тот, кто больше грехов за собою знает, в Черном море один потопает, войска казацкого не загубляет!

Многие упали на колени и подняли руки к небу.

— Я грешен! Я больше грехов знаю! — слышалось с разных сторон.

В этот момент выступил Олексий Попович. Он был бледен, мокрые волосы падали ему на лицо, по щекам текли слезы. Честный по природе, но горячий, несдержанный — он был жертвою своего порывистого сердца. Он сделался пьяницей, буяном, со всеми ссорился, но он и легко мирился и сберег в себе честное сердце, что чаще приходится встречать в пьяницах, чем в непьющих...

Он решился пожертвовать собой и пожертвовать так, как указывает та же знакомая всем дума.

— Братия! Панове! — громко воскликнул он. — Я тот грешник великий — меня карайте... Добре вы, братия, учините, червонною китайкою мне очи завяжите, до шеи белый камень прицепите, карбачем пришибите, в Черном море утопите... Пусть я один погибаю, войска казацкого не загубляю...

С изумлением, страхом и жалостью глядели на него товарищи, не замечая, что буря и без того утихает, гром удаляется все дальше и дальше, ливень перестает...

Выступил усатый Карпо, что победил тура: он был приятель Олексия Поповича.

— Как же, Олексий? — сказал он тоже словами думы. — Ты святое письмо в руки берешь, читаешь, нас, простых людей, на все доброе наставляешь, — как же ты за собою наибольший грех знаешь?

Попович глянул на него и грустно покачал головой.

— Э, — сказал он, — как я из города Пирятина, брате, выезжал, опрощения с отцом и с матерью не брал, и на своего старшего брата великий грех покладал, и близких соседей хлеба-соли безневинно лишал, детей малых, вдов старых стремнем в груди толкал, против церкви — дому Божьего проезжал, шапки с себя не снимал. За то, панове, великий грех за собою знаю и теперь погибаю. Не есть это, панове, по Черному морю буря бушует, а есть это отцовская и материна молитва меня карает.

Все слушали его с глубочайшим вниманием, серьезно, благоговейно, словно бы это была проповедь в церкви, чтение «святого письма». Один Сагайдачный, видя, что буря почти совсем стихла и опасность для его флотилии совсем миновала, прятал улыбку под седыми усами и решил довести до конца это, ставшее теперь комедийным, «действие». Но он уже не хотел губить человека, а поступить только сообразно народному предрассудку: бросить в пасть разъяренного моря несколько капель человеческой крови.

— Панове, братия и дети! — громко сказал он. — Добре вы дбайте, Олексия Поповича на чердак выводите, у правой руки палец-мизинец отрубите, христианской крови в Черное море впустите... Как будет Черное море кровь христианскую пожирать, то будет на Черном море супротивная буря утихать.

— Смотрите, панове, уже и тихо стало! — неожиданно воскликнул Грицько, только что пришедший в себя.

— Ай-ай! — и вправду тихо.

— Слава тебе, Господи, слава милосердному Богу!

— Ведите, ведите Поповича! Рубите ему палец! — кричали другие.

Олексий Попович сам вошел на «чердак», перекрестился на все четыре стороны и положил мизинец правой руки на перекладину балясины... Тут же стоял и Небаба... Он вынул из ножен саблю, обтер ее мокрою полою и перекрестился.

— Боже, помогай, — ррраз!

И кончик пальца свалился с балясины, стукнулся о борт и упал в море. Закапала в море и кровь казацкая.

Все перекрестились. Перекрестился и Олексий Попович и окровавил свое бледное лицо.

Буря между тем совсем улеглась. Глянул на это улегшееся море и Олексий Попович — и лицо его совсем просветлело.

— А прочитай нам святого письма, Олексий, — заговорили некоторые совсем повеселевшие, — а мы послушаем да помолимся — поблагодарим Бога за спасение.

Попович достал свою толстую книжицу, которая была совсем мокрая, развернул мокрые страницы, искал чего-то и остановился.

— Разве вот это, — сказал он, — послание апостола Павла к Тимохвею — о почитании старших.

— Да Тимохвея ж, Тимохвея! — отозвались некоторые.

Чтец откашлялся, перекрестился и начал все еще дрожащим голосом:

— «Чадо Тимохвие! Старцу не твори пакости, но утешай яко же отца юноши — яко же братию, старицы — яко же матери...»

— А вон и солнышко! Солнышко! — радостно закричал «дурный» Хома и прервал чтение.

XIII

Несколько дней уже находились казацкие чайки в открытом море. После бури погода установилась прекрасная, тихая, и казаки успели уже обогнуть весь западный берег Крыма, держась в таком от него расстоянии, что земля издали представлялась восходящим над морем продолговатым облачком, — и теперь очутились против южного берега. За все это время они никого не встретили в море — ни турецких кораблей и галер, ни крымских судов, а если и замечали издали подозрительный предмет, то, исследовав своими дальнозоркими глазами, по какому направлению двигался этот предмет, они брали в сторону и исчезали в туманной дали.

Теперь они уже второй день, держась на таком расстоянии, чтоб их не заметили с берега, с изумлением, смешанным с суеверным страхом, созерцали величественные красоты южного берега, этого сказочного царства, про которое столько таинственного, страшного и увлекательного они слышали от своих же, находившихся с ними старых казаков, перебивавших в этом волшебном крае волею и неволею — во время морских набегов на Крым или в качестве крымских невольников, полонянных.

Перед ними в туманной дали возвышались вершины и зубцы гигантских скал, иногда как бы грозивших упасть в море или взлетающих на недостижимую высоту, среди глубоких долин в зелени и в неизобразимом беспорядке набросанных то там, то здесь серых каменных масс. Казалось, подземные духи, какие-то могучие дьяволы боролись здесь с морем и выворотили из его пучин эти грозные зубья каменных гор, эти гранитные кряжи, уходившие в голубое небо и заслонявшие его своими вершинами от полуночных стран для того, чтобы и ветер не дунул с полуночи на это сказочное царство, на его волшебную природу, на это очаровательное темно-голубое море.

Бывшие невольники-казаки показывали издали своим товарищам, не бывавшим в этом сказочном царстве, на все эти чудеса природы, от которых невиданная ими чужая, басурманская сторона казалась еще загадочнее, еще страшнее. Эти острые, зубчатые скалы Ай-Тодора, Ай-Петри, Ай-Буруна, Аю-Дага, эта узкая в скалах прорезь Шайтан-Мердевен, которую бывалые казаки называли Чертовой драбиной, эта звероподобная гора Бабуган-Яйлы, а там громадный Чатырдаг — каменный шатер, подпиравший небо, — все это навело священный страх на детей степей или прелестных равнин Украины...

— Так это тот Крым, — шептали они, — так это та земля неверная, басурманская, разлука христианская, Господи!..

— Где ж тут живут татары? Где их города? — спрашивали иные.

— Вот погодите — увидите; и татар увидите, и Кафу, а может, и Козлов, а может, и бедных невольников увидите, — отвечал старый Небаба, всего выдавший на своем веку.

Наконец они действительно увидели издали и Кафу — этот знаменитый памятник владычества генуэзцев в Крыму, этот всемирный невольнический рынок XVI и в особенности XVII века, когда на базарных площадях его и на пристанях огромными сворами сидели или бродили невольники всех стран, побрякивая цепями, или же, прикованные к уключинам и скамьям, работали веслами на турецких галерах — «каторгах», с именем которых и доселе соединяется представление о неволе, о тяжелой работе вдали от родины...

Окутанный дымкою дали, предстал пред изумленными глазами казаков этот страшный город — город неволи, эта юдоль плача и проклятий всего тогдашнего христианского мира. В туманной дали высились над голубым морем его серые башни и зубчатые стены, тянулись к небу белые минареты с

золотыми на них полумесяцами. Затем — серые горы, покрытые темною зеленью. На пристанях чернелся лес мачт всевозможных кораблей, каторг и галер, судов итальянских, испанских, голландских, которым удавалось пробираться в голубой бассейн Понта Эвксинского...

Трудно было разглядеть что-либо отчетливо, в отдельности, потому что казацкие чайки остановились в море очень далеко, чтоб их нельзя было заметить из города, но тем таинственнее и волшебнее казался казакам этот неведомый город, как бы вынырнувший из моря вместе с серыми горами, как бы вышедший с того света, откуда, как и из неволи, нет выхода на этот свет, туда, далеко, на милую Украину — «в землю христианскую».

— Так это-то Кафа проклятая — неволя турецкая! — говорили казаки, задумчиво покачивая головами.

— Она ж, она, Иродова! — отвечал Небаба, возясь с погасшею трубкою и вспоминая свои «сто копанок».

Солнце, освещавшее утренними золотыми лучами Кафу и весь южный берег Крыма, смотрело в тыл казакам и позволяло им любоваться чарующею и пугавшею их панорамою этого заколдованного царства, в таинственную область которого они собирались вступить, может быть, затем, чтобы остаться здесь навеки с смертельною ранюю в груди или с оковами на руках и ногах, без надежды снова возвратиться на родину, «на тихие воды, в край веселый, в мир крещеный»....

Вдруг Небаба, стоявший на «чердаке», рядом с Сагайдачным и писарем Мазепою, стал к чему-то особенно приглядываться.

— А ну, пане писарю, — обратился он к Мазепе, — у тебя очи молодые, мелкое письмо читают, — погляди-ка туда, что оно там такое метлешит.

— Где, пане Хвилоне? — спросил Мазепа.

— А вон там... чернеет что-то на море.

Небаба показал на что-то, черневшее левее Кафы в море. Мазепа приставил ладонь выше бровей.

— Вижу-вижу: либо татары рыбаки едут, либо что другое.

— А не галера?

— Нет, не галера.

— Да то, дядьку, каик татарский, — отозвался снизу Олексий Попович, который снова начал скучать без горилки, хоть недавно и каялся в своих грехах, и который уже знал Крым, изведав крымской неволи.

— Да каик же, я и сам вижу, — подтвердил Сагайдачный.

Черные, задумчивые глаза его вдруг блеснули какою-то мыслью. Он приложил руку ко лбу, как бы что-то раздумывая, припоминая или не зная, на что решиться. Но потом он выпрямился и быстро оглядел свою флотилию, тихо качавшуюся на бирюзовой поверхности моря.

— А нуте, хлопцы, за весла! — громко сказал он, хлопнув в ладоши.

Общее движение и изумление было ответом на этот оклик. Гребцы бросились к веслам. На всех чайках встрепенулось товариство.

— Панове отаманы и все войсковое товариство! — отчетливо проговорил старый гетман. — Стойте тут вы на-стороже дожидайтесь меня, а я хочу языка добывать.

— Добре, добре, батьку! — отвечали со всех чаек.

— Мочи весла, хлопцы! Гайда! — скомандовал гетман. — Догоняйте черную муху, что вон там, на море, села, — пояснил он, показывая по тому направлению, где вдали чернелся предполагаемый татарский каик, небольшая весельная лодка.

Гребцы омочили весла в море — и чайка понеслась птицею. Скоро черная точка стала вырисовываться яснее и яснее. Она, видимо, двигалась к Кафе. Лениво, чуть-чуть заметно поблескивали на солнце два весла, и вместе с ними также лениво покачивалась человеческая фигура. Это, действительно, был каик.

Чайка догоняла его. На каике заметили это, но не прибавили ходу, вероятно, полагая, то это плыла в Кафу турецкая кочерма или фелука, а то и другая какая-нибудь большая морская лодка.

Но вот чайка уже у самого предмета погони. Хома, который усердно работал на веслах, расстегнув от жару сорочку до самого пупа, поглядывал на каик, коварно улыбался и подмигивал веселому Грицьку, с которым успел совсем подружиться.

— Вот дурень! — ворчал он, делая хитрое лицо. — Вот испугается, как меня увидит!

— Где уж такого не испугаться! — подтвердил сидевший тут же усатый Карпо Колокузни. — Ты такой страшный, что тебя и мать испугалась и дурнем родила.

Когда уже чайка была бок-о-бок с каиком, на последнем послышался крик испуга.

— Алла! Алла! — завопил татарин, опуская весла, и стал метаться по каику. — Казак! Казак!

Со dna каика испуганно вскочили еще две фигуры, по-видимому, заспавшиеся татары.

— Алла! Алла! Алла-акбер! — повторились отчаянные возгласы.

Но казацкий багор уже зацепил каяк за борт, и жилистые руки Карпо тащили его к чайке.

— Не кричите! Не войте, аспидовы цуцики! — окрикнул он пленников.

Скоро несколько казаков, в том числе и Хома, прыгнув с борта чайки в каяк, тотчас же перевязали своими поясами пленников, которыми оказались два старых татарина и один молодой.

— Добре, детки, — похвалил Сагайдак, — в чайку их!

Здоровенный Хома, схватив в охапку разом двух татар, поднял их к борту чайки. Те отчаянно металась и колотились в его засученных, волосатых, как собачьи лапы, руках.

— Да не вертитесь, аспидовы, а то утонете, — уговаривал он своих пленников.

Их подхватили другие казаки с борта чайки и втащили к себе. Хома нечаянно потерял равновесие и словно бревно бултыхнулся в море.

— Ой, лишечко! Хома утонул! — послышались испуганные голоса.

Но молодец Хома не утонул. Его огромная с русым чубом голова показалась на поверхности, и он, весь красный, фыркал, как купаемый казаком жеребец.

— Вот я ж говорил, чтоб они, аспидовы, не вертелись! — ворчал он, цепляясь за весло.

Весло придержали, и он стал карабкаться на чайку, постоянно отплеываясь.

— Какая ж поганая вода в море... соленая да горькая...

Пленных татар перетащили на чайку. Они испуганно поглядывали по сторонам, как затравленные собаки. Младший из них в отчаянии падал на колени и бормотал молитву, часто, даже слишком часто повторяя имя Аллаха и безнадежно поглядывая на родные горы и зелень, заливаемые жаркими лучами солнца: он, казалось, мысленно прощался с ними. Старые татары тоже шептали что-то — конечно, прощались с жизнью и своим прекрасным краем, думая, что эти усатые и загорелые шайтаны сейчас их пришибут.

В каяке оказались корзинки с огурцами, вишнями, морковью и прочей зеленью. Видно было, что татары везли все это в Кафу на рынок, да слишком отбились от берега и попались в руки страшных гостей.

Сагайдачный, Небаба, Олексий Попович и некоторые другие их казаков заговорили с пленными по-татарски, и хотя

иные с грехом пополам, но татары их все-таки понимали. Их допрашивали, кто теперь правит Кафою — кто там «санджакует», сколько в крепости турецкого и татарского войска, есть ли на пристани цареградские военные и купеческие галеры и сколько их. На все это пленные отвечали большею частью незнанием или повторяли только «Алла» да «Алла-акбер».

Тогда Сагайдачный велел прибуксировать каик к своей чайке и ехать к флотилии. Там очень обрадовались привезенной добыче и бросились было на каик, чтобы сейчас же полакомиться огромными зелеными и желтыми огурцами, вишнями да морковью; но Сагайдачный приказал ничего не трогать.

— Я сам повезу это добро на рынок, — пояснил он. — Хочу сам в Кафе разузнать, почему там продают ковш лиха.

Небаба на эти слова только моргнул усом, а Мазепа прибавил:

— Да оно, батьку атамане, лихо — товар дешевый...

— А чтоб быть хоть на час купцом, надо купцом и одеться, — добавил Сагайдачный и, обратясь к казакам, стоявшим около пленных татар, сказал: — А нуте, детки, разденьте их до самого татарского тела, чтоб было нам во что одеться, коли торговать задумали.

Казаки бросились раздевать татар. Несчастные, думая, что пришла их последняя минута, что их или в море бросят, или обезглавят, отчаянно защищались, бесполезно взывая к своему бородатому Аллаху и его пророку. Но казаки были неумолимы: схватив их за руки и за ноги, они ободрали несчастных, как липку, и оставили голыми.

— Накиньте полог на татарское тело! — приказал Сагайдачный.

Несчастных приодели старыми полстями, которые служили и конскими попонами, а в татарское одеяние облачились: сам Сагайдачный, Небаба и Олексий Попович, как уже бывавший в турецкой неволе и хорошо понимавший, а при нужде и болтавший по-татарски.

Казаки так и заливались от радости, глядя на это переодевание.

— Вот татары, так татары! — хвалил Хома.

— Такие татары, что Хома испугался б, коли б увидал их у себя на печи, — подзадорил его Карпо.

— Эге, испугаюсь я лысого беса! — огрызнулся Хома, сушась на солнышке.

Одевшись совсем по-татарски и спрятав под татарскую же шапку свою седую чуприну, Сагайдачный на минуту за-

думался, а потом обратился к стоявшему тут же своему джуре:

— А ну, джуро, подай мою булаву.

Джура бросился с «чердака» и скоро явился с гетманскою булавою в руках. Сагайдачный, взяв из его рук знак своего гетманского достоинства, высоко поднял его над головою.

— Панове атаманы и все славное войско запорожское! — громко, отчетливо произнес он на всю флотилию. — Коли я завтра утром не вернусь до вас, чего Боже борони, то добывайте без меня славный город Кафу и сами выбирайте себе батька, а теперь без меня пускай гетманует пан писарь.

И он передал свою булаву Мазепе.

Через несколько минут татарский каик, под ровными ударами весел, быстро удалялся от казацкой флотилии. В кайке сидели Сагайдачный, Небаба и Олексий Попович.

Казаки долго провожали глазами эту небольшую лодочку, пока она не превратилась в муху, а потом в едва заметную черную точку и наконец совсем исчезла из виду в туманной дали.

Каик между тем медленно приближался к Кафе. Все яснее и яснее вырисовывались на голубом небе и на горной покато-сти полукругом спускавшиеся к морю мрачные, остроконечные башни крепости с их черными, как пасть зверя, зиявшими окошками и бойницами. Ниже шли, извиваясь змеею и делая крутые изломы к горе, такие же мрачные, зубчатые городские стены с железными «гаками», крючьями, на которых часто вешали за ребра провинившихся христианских пленников, кости которых иногда целыми скелетами, объединенные червями и птицею, долго висели и стучали от ветра. Из-за этих мрачных стен выглядывали мечети с их круглыми, словно глазастыми куполами, тонкие как иглы минареты с позолоченными полумесяцами наверху и узкими, черными, продолговатыми окошечками внизу. Оттуда же, из-за стен, выглядывали расположенные по склону горы в виде амфитеатра дома, с плоскими крышами, оплетенные густыми гирляндами вьющейся зелени и иногда осененные темными, инокоподобными, словно бы вечно задумчивыми кипарисами.

Это было для украинца действительно волшебное, пугающее своею невиданностью зрелище... Так сердце и ныло почему-то при виде этих чудес...

А оно ныло вот отчего. Кафинская пристань запружена была кораблями, галерами, каторгами и всякими судами. Невиданные всех цветов и величин флаги и значки на вершинах

мачт и на снастях реяли в голубом воздухе, точно сказочные птицы или змеи. Виднелись чуждые образы, чужие лица, странные, невиданные одеяния. Раздавался гул незнакомых языков... Но резче всего, пронзительнее звякали недалеко от пристани какие-то цепи... На чем они?.. На ком?.. Кто это звякает?..

Казаки осмотрелись и увидели огромную, черную и неповоротливую, как черепаха, турецкую галеру, на которой у каждой уключины стояли и сидели, скованные иногда по двое, галерники, прикованные притом гремучими кандалами к скамьям, и неустанно работали на веслах, потому что галера вела на буксире несколько судов из Анатолии, нагруженных тяжелыми товарами. Вглядевшись в работавших, как волю, и обливавшихся потом галерников, казаки узнали их и затрепетали от жалости: они узнали в них «бидных невольников», большею частью своих казаков, а также москалей и ляхов... Казацкий элемент господствовал однако... Это были не люди, а какие-то страшные привидения, обросшие волосами и бородами, почти совсем нагие, с железами и ремнями, вьевшимися в кости, ибо тела на них почти не оставалось... Они работали как автоматы, плавно покачиваясь взад и вперед, а по их рядам ходили турки-приставники, и если видели, что который-либо из них, изнемогая от непосильной работы, от голода или бессонницы, неровно работал веслом, то стегали его по голым плечам, по спине и по косматой голове либо сыромятным, крученым ремнем, либо гибкими деревянными хлыстами — «червоною таволгою»... Их было набито на галере целое стадо — старые, с седыми, даже пожелтевшими от времени волосами и бородами, и юные, с неоперившимися еще подбородками, но уже постаревшие от горя и физических страданий... Когда взвизгивала в воздухе «червоная таволга» и впивалась в голое тело невольника, он не смел даже отнять рук от весла, чтоб, по животному влечению, схватиться за уязвленное место, а только извивался всем телом и бросал жалобный, безнадежный, как бы, полный немого укора взор к этим прекрасным, но таким же немым и безжалостным, как турецкий приставник, небесам...

— Мати Божа! — вырвался невольный стон из груди старого Небабы, а по загорелым щекам Олексия Поповича текли слезы и скатывались на его татарскую куртку.

Один Сагайдачный как бы не замечал галеры и не смотрел на нее: он сидел мрачный, безмолвный, устремив из-под густых черных-черных — при седых усах — бровей неподвижный взор на пристань.

— Не глядите на галеру, — тихо сказал он, — может, который невольник узнает кого да еще от радости крикнет.

И Небаба, и Олексий Попович отвернули свои лица от потрясающей картины невольничества. Галера продолжала медленно двигаться, а в воздухе и в душе наших казаков продолжало кричать и плакать звонкое железо кандалов...

Пробираясь среди всевозможных судов, над которыми стоял невообразимый гул неведомых языков, казаки поражены были какими-то особыми, стройными звуками, какою-то стонущею из глубины души мелодиею. Глянув по направлению этого мелодического стона, они увидели новую партию невольников, значительно отличавшихся внешностью от сейчас ими виденных. Эти были, казалось, еще ободраннее, еще голее, если только это возможно было, и большею частью русые и рыжие, и что особенно бросалось в глаза — это лапти на ногах у них; каковы были эти лапти, из чего свиты и сплетены — об этом нечего и говорить, но это было подобие лаптей. На каждого из них был надет, как на коноводную лошадь, кожаный хомут, а от хомута шла бечева, оканчивавшаяся канатом, который тянул огромную посудину, нагруженную камнем. У каждого на ногах звякали тоже кандалы, но такие узкие, что ноги хомутанных невольников могли делать только маленькие шаги. Их было захомутано у каната несколько свор, и они, покачиваясь в такт, опустив к земле головы и руки, которые болтались словно параличные или вывихнутые, стонали как видно перенывшею и переболевшею грудью: «Эй, дубинушка, ухнем!»

И около них также шли приставники и то одного, то другого постегивали.

Наконец, толкаясь между снующими лодками и купающимися черноголовыми татарчатами, производившими в необыкновенно прозрачной воде всевозможные кувырки, как пристал к берегу.

Еще дорогой порешено было Небабу оставить на берегу стеречь каяк, а чтоб к нему не приставали татары — продает ли он свой товар и почем продает то и то, и чтоб таким образом не догадались, что тут дело не ладно, — решено было, что Небаба расположится в каяке на своих огурцах и моркови и притворится спящим, а Сагайдачный с Олексием Поповичем, уже бывшим в неволе в этой самой Кафе и изучившим ее вдоль и поперек, должны были отправиться в город на разведку.

Так они и сделали.

С именем «Кафа», «Каффа», ныне Феодосия, связано много исторических воспоминаний, которые питают воображение далекими, поэтическими и потому всегда в то же время и близкими нам картинами прошлого, столь подчас заманчивыми.

Уже за 500 лет до нашей эры милетские греки основали свою колонию у живописного залива, вдавшегося в землю у подножия гор, которые еще поэтическому Гомеру представлялись чуть ли не горами страшных «листригонов», упоминаемых в X рапсодии его «Одиссеи». Во время основания Феодосии милетцами, Крым населен был тавро-скифами, которые очень любили земледелие, и надо думать, что это были наши предки, славяне-скифы, или даже предки наших предков, славяне-листригоны, которые казались столь страшными поэтическому воображению грека и перед которыми пасовал даже хитроумный Одиссей, оставивший в дураках даже такое чудище, как циклоп Полифем...

И как далеко казалась грекам и какую суровую и холодной представлялась им, с острова Милета, эта страна, чуть не гиперборейская!.. Это был для них край света...

Как бы то ни было, они основали тут свою торговую колонию, потому что и при Гомере, и при Перикле, и при Александре Македонском греки всегда были в душе торгашами. Наши же предки-листригоны и тавро-скифы, как и нынешние тамбовцы, саратовцы, самарцы и полтавцы, всегда любили сеять хлебушко и всегда продавали его почти задаром хитрым милетцам, как и теперь почти задаром продают их потомкам, а также французам и англичанам, сами же питаются мякиною, «аки зверь некий»...

Новую свою колонию греки назвали Феодосиею — «даром Божиим», потому что колония обогащала их на счет всегда простоватых славян-листригонов и тавро-скифов...

Так процветала Феодосия несколько столетий. Рай был, а не житье! Тут распевались по площадям аттические песни — Сафо и Анакреона, декламировались рапсодии Гомера, игрались на театре Эсхил, Софокл... До слез смешил Феодосию и ее богатых торгашей Аристофан... По улицам и площадям стояли пластические изображения греческих богов — Дианы, Венеры, Амура, а наши предки, тавро-скифы, нечесанные, невытые, в лаптях, как они изображены на трояновой колонне, свозили на эти площади свою пшеничку и, почесывая то историческое место своего тела, в которое всякий имел

право «заглядывать», качали головами, созерцая голую Афродиту, и робко шептали: «ишь, бесстыдница!»...

Видела в своих стенах Феодосия и гордого Митридата, царя понтийского, и не менее гордых, но, быть может, более глупых солдафонов — римских консулов.

Потом нагрянули в благословенную Тавриду и в Феодосию «наши молодцы» — гунны, и как вообще «наши молодцы» где бы ни проходили, то все «делали чисто», потому что всегда «рады стараться», — то они постарались: голых Афродит и Амуров попривязали к конским хвостам, а все остальное в лоск положили... «Бей их, льстивых гречишек, растак их»...

От Феодосии осталась только куча развалин...

После выросла тут маленькая деревенька Кафа, о которой упоминает Константин Багрянородный, но уже хлебушком нашим предкам торговать было не с кем.

Потом опять пришли сюда «наши» — уже наши «поляне» и «кияне» — основали Тмутараканское царство, «измерили море по льду», пригрозили «тмутараканскому болвану» и загадывали что-то впредь...

Но тут случилось нечто: пришли к «нашим» уже «не наши», а «восточные человеки» — Чингисханы и Батыи — и «наши», вложив свою богатырскую шею в ярмо, забыли и о «тмутараканском болване», и о Кафе.

Но о ней вспомнили новые торгоши средних веков — генуэзцы, и Кафа, *Каффа* уже, как феникс, возникла из пепла. Это было нечто волшебное, чарующее. Вся роскошь, все искусство, дворцы, храмы, статуи, фонтаны — все, чем так гремели в средние, золотые свои века Генуя, Венеция, Рим, все это пересажено было в Тавриду, в Кафу, и Кафа стал обширным богатым городом, дорогим алмазом среди итальянских колоний...

Как древняя Феодосия видела в стенах теснимого римлянами Митридата, так генуэзская Кафа видела в своих стенах «безбожного сыроядца» Мамайя, разбитого русскими на Куликовом поле и укрывшегося в Кафе, где генуэзцы и порешили этого страшного зверя...

В 1475 году, когда турки угрожали потоптать ногами и копытами своих коней всю Европу, они отняли Кафу у генуэзцев. И стала Кафа — *Кефе*, гордость и слава правоверных. К тому, что дали Кафе генуэзцы, турки прибавили еще своего, своей роскоши и своего восточного блеска: воздвигли богатые мечети с высокими минаретами, роскошные здания бань... И стала Кефе Крым-Стамбулом или Кучук-Стамбу-

лом — малым Константинополем... Она насчитывала до 80000 жителей; в ее порте часто стояло до 700 судов... Богатство и внешняя роскошь поражали глаз, пугали непривычного...

И вот этот-то волшебный город предстал во всей своей чарующей красе и во всем своем многолюдстве перед глазами наших «сиромых» — Сагайдачного и Олексия Поповича.

Пройдя вместе с прочими сновавшими из города в город, под массивными крепостными воротами, татарами, турками, армянами, греками и эфиопами в своих до необразимости пестрых нарядах и лохмотьях, наши казаки вступили в кипучий, блестящий и смрадный, полувосточный-полуазиатский муравейник, который оглушал и ошеломлял разнообразием, дикою нескладностью шума, говора, криков, возгласов и какой-то адской музыки, которою звучали узкие, запруженные народом и скотом улицы, широкие, как бы заваленные снующим и гомонящим людом площади и площадки. Лязг и брязг всевозможного оружия, железа, стали, меди, серебра и золота, которым обвешивал себя дикий человек, живший больше чужою кровью, чем своим трудом и потом, скрип арб, способный вымотать всю душу, ржание лошадей, ослиный рев, крики погонщиков, водоносов, всевозможных продавцов, хлопанье бичей, дикие взвизги и выкрикивания дервишей, около которых толпились кучи ротозеющих правоверных, и в довершение всего этого ноющий и режущий душу скрипучий «невольничий плач» где-то, который отчетливо выделился из этого адского хаоса звуков и точно резанул по сердцу наших казаков — вот первое, что встретило их в этом городе неволи и христианского плача. Самое роскошное воображение поэта не может представить себе того, что поражало наших странников на каждом шагу: роскошные геновские здания и дворцы, испещренные и обезображенные восточною, какою-то сверкающею, режущею глаз роскошью, золото и грязь, гранит и мусор, шелк, весь залитый золотом, и нагота, загорелая, пыльная, жалкая нагота, сквозящая и сверкающая из-за лохмотьев; жаркое солнце, еще ярче выставляющее всю эту дикую пестроту, громоздкость и грубую раззолоченность; наглые лица пашей и янычар; черные с страшными белками лица курчавых евнухов и пугливые, пониженные лица рабов и невольников; журчащие фонтаны и где-то знакомый; плачущий под треньканье бандуры голос — «свой», родной голос среди этого ада чуждых звуков и голосов; красные, словно кровавые фески на черномазых лицах, раззолоченные и увешанные шнурами и всякой мишурой куртки, пестрые, белые, зеленые чалмы над седыми и красными

бородами и горящими диким блеском глазами азиатов, яркость позументов на кафтанах и халатах, позолоченный сафьян богатого сапога и плетеный из осоки лапоть пленного москаля, оружие на золотых цепях пашей и железные цепи на ногах и на руках, а иногда и на горле у людей; лошади, наряженные в шелк и златоглавы, и людские спины, ничем, кроме рубцов от плетей, не прикрытые; чудные, но грустные кипарисы и в тени их — эти стонущие голуби, которые не похожи на «их» голубей, на украинских, как кипарисы не похожи на милую, родную вербу в леваде — все чужое, все поражающее, страшное, роскошное, цветущее, сверкающее — и все враждебное, злое, не милое этим самым блеском и роскошью, режущее этой яркостью и сверканием, утомляющее и слух, и зрение, поражающее контрастом рая и ада, бешеного, безумного довольства и такого же безумного горя, которого не выплачешь, не выкричишь, и — ни одного женского личика...

Но нет... вон оно, милое женское личико под кипарисом, в тени — и личико плачущее...

Это невольничий рынок!.. Казаки натолкнулись на невольничий рынок...

Окаймленная по всем четырем сторонам роскошными пирамидальными тополями и стройными темными иглами как бы тоскующих кипарисов, бросавших ровные тени по направлению знойных лучей южного солнца, вся залитая горячим светом этого знойного светила, которое сверкало алмазами в серебряных струях ниспадающих брызг фонтанов, — эта площадь — «площадь слез» — представляла теперь пеструю, волнующуюся переливами цветов и теней, ярких и мрачных, не передаваемую никакими красками картину. Шло торжище — смотрины невольников и невольниц, выставка их качеств, — похвальба их силою, выносливостью или красотой, говор, крик, смех, дикие звуки базарной татарской музыки — и среди всего этого тихий женский плач и такая же плачущая мелодия «невольницкой канты»... Казаки узнали эту «канту», этот знакомый им с детства «невольницкий плач», под звуки и горькие слова которого они плакали когда-то, еще маленькими «хлопчиками» у себя на родине. Около плачущей под кипарисом девушки и полуголого хорошенького мальчика стояли татары и, показывая на них пальцами, о чем-то горячо спорили. А посреди площади, у главного фонтана, на самом припеке, в невозможном рубище, сидел ветхий старик с глиняною мисочкою на коленях, в которой лежал недоеденный огурец и кусок черствого хлеба. Видно было, что старик был слепой, и что сейчас только

он всенародно пообедал огурцом и поданным ему кем-то куском хлеба, а потом, перекрестившись на восток, стал пить из глиняного кувшина воду, почерпнутую каким-то загорелым и босоногим татарчонком из бассейна и поданную нищему старику. Вокруг него, скучившись толпою, стояли скованные по двое и по трое невольники, которые недавно пригнали на своей каторге грузы из города Козлова и, подобно волам, сходявшим в «ходку» за солью и отработавшим свое, теперь выгнаны были на кафинский рынок для перепродажи с барышом, ибо в Кафе невольники ценились дороже, чем в Козлове — Евпатории.

— Сколько ж лет вы тут в неволе, старче Божий? — спросил нищего один из невольников.

— Был тридцать лет в неволе, а теперь тридцать без году в великой пригоде, — усмехнулся старик.

— Сколько ж вам, дедусю, было лет, как вас татары забрали?

— По двадцатому году взяли.

— А вы-ж тогда не слепой были?

— Нет, видющий был.

— А когда очи потеряли?

— Перед самою волею, — снова усмехнулся старик.

— Как же это так дедушка?

— Да так: как захотел я воли, то раз как-то и бежал с галеры, а меня поймали, да в горшие кандалы заковали... Я бежал другой раз — еще горше было... А как на тридцатом году ушел в третий раз, то меня поймали и очи выкололи... С того часу я и стал вольным: двадцать лет носил воду, и как стал недужий да старый, то и выгнали меня, как пса, на улицу — и вот уже десятый год, как я старуюю.

Глядя на эту живую развалину, невольники грустно качали головою. Каждому представлялось, что и его ждет такая же горькая участь.

Сагайдачный и Олексий Попович слушали этот разговор, затершись в толпе, и обоих волновали свои думы. Сагайдачному думалось, давно думалось, что рано или поздно, если только Бог продлит ему веку, он уничтожит это разбойничье гнездо, весь этот Крым; истребив на всем полуострове последний след татарского владычества, он перенесет Запорожскую Сечь сюда, в Крым, поместит ее там, где когда-то был город Корсунь и где Владимир принял крещение. Старому мечтателю казалось возможным, увеличив запорожское войско до ста тысяч, даже более — до двухсот, до трехсот тысяч,

осадить свой кош у той богатейшей в мире бухты, которая вдается в землю у Корсуня (ныне Севастопольская бухта), и оттуда громить поганых, выбить турок из Анатолии, из всего черноморского побережья, а потом перенести из Киева митрополичий престол — шутка сказать! — в самый Царьград. Долой всех турок из христианской Европы!

Олексию Поповичу вспомнилось, как и он был тут, в этой Кафе, в неволе, видел и этого старика, который и тогда уже был таким же ветхим и все пел своим разбитым голосом невольничьи и иные казацкие думы, а татары, слушая его и ничего не понимая, клали ему из жалости кто мелкую деньгу, кто кусок хлеба или дешевую овощ.

— Какой же вам? — долетал до них опять разговор старика с невольниками.

— Да невольничкой же, старче Божий.

— Добре заплачу и невольничкой...

И старик, ощупав вокруг себя землю, нащупал свой нехитрый инструмент, сложенный из какого-то деревянного ящичка и перетянутый струнами, которые наворачивались на вколоченные в один бок ящичка колышки. Он потрогал струны, прислушался к их нестройному дребезжанию, повертел колышки, подстроил свои самодельные гусли и, вскинув к небу свои выколотые, вытекшие и давно закрывшиеся глаза, затаил что-то хриплое, жалкое, болезненное.

Невольники набожно перекрестились, словно бы это началась обедня или печальная лития.

Беззвучное, дребезжащее треньканье, деревянные звуки инструмента, скрипучий и жалкий голос покачивавшегося из стороны в сторону старика казались скучившейся группе несчастных украинцев такую божественную мелодию, а слова песни, проникавшие каждому в душу и падавшие елеем на изболевшее и истосковавшееся сердце — такую священную, надгробную литанию, что у многих из них по изможденным лицам текли слезы. Они невольно взглядывали на свои железы, на ремни, на эту «сырую сырицю» и на потертые кандалами ноги.

Вдруг слепой певец, который все тише и тише перебирал струны своей скрипучей коробки, совсем умолк; коробка свалилась с его колен на мостовую, и он, закрыв лицо руками, заплакал, как плакали и слушавшие его невольники.

— Ничего, детки, потерпите, — сказал, наконец, старик, — может, Сагайдачный и к нам с казаками придет...

Сагайдачный невольно вздрогнул, услышав свое имя. Ему даже показалось, что слепец повернулся в его сторону.

— Да что-то ничего про казаков не слышно на море, — тихо сказал кто-то.

— А не слышно, так услышите, — наставительно отвечал слепец.

— Дай-то Господи!

— Пошли их, Пресвята Покрова.

— Они придут! — глухо прозвучал чей-то незнакомый голос.

Все вздрогнули, всполошились. Оглядывались кругом, но никого не видели, кроме татар, толкавшихся и горланивших по всей площади.

— Мати Божя! Кто это сказал? — в недоумении поглядывали друг на друга невольники.

— Точно из воды что-то гукнуло...

— А может, с неба...

— С неба, детки, — подтвердил слепец.

«Ой! ой! ой!» — послышались болезненные крики, и невольники кучею бросились от слепца в сторону.

Это налетели на них турецкие приставники, которые невдалеке сидели в тени чинар и тополей и, попивая из маленьких чашек кофе, курили трубки. Теперь они кончили свой кейф и должны были показывать покупателям товар лицом. Они погнали бичами свое стадо к другой стороне рынка, где их ожидали анатолийские купцы, искавшие рабочей силы для отвоза товаров в Трапезонт.

За невольниками побежал и татарчонок, поивший водою слепца, а слепец посылал вслед своим землякам недослушанный ими «невольничий плач». Его дрожащий голос плакал теперь на всю площадь.

Сагайдачный и Олексий Попович, уловив удобный момент, подошли к слепцу.

— Добрый день, Опанасовичу! — тихо сказал Олексий Попович.

Слепец вздрогнул и с изумлением поднял на пришельца свои выколотые глаза.

— Кто знает тут Опанасовича? — спросил он тревожно.

— Я, Олексий Попович.

Слепец чуть не вскрикнул — не то от радости, не то от испуга: так велико было его изумление.

— Олексичку!.. Риднесенький ми!

Олексий Попович, нагнувшись к слепцу, положил ему в чашку серебряную монету и рылся в набросанных туда медячках, показывая вид, что ищет сдачи.

— Олексичку, разве ж ты опять в неволе? — тревожно спрашивал слепец.

— Нет, дедушка... Я пришел к тебе с батьком атаманом войсковым, с гетманом Сагайдачным.

— Сагайдачный!.. Мати Божя!

— Я тут, Сагайдачный, старче Божий, — тихо отозвался предводитель казаков, тоже нагибаясь к нищенской чашечке, — казаки стоят в море... Нам надо добыть ключи от города...

— Чтоб ночью на Кафу мокрым рядом упасть, — пояснил Олексий Попович.

— Господи! — радостно перекрестился слепец.

Но Сагайдачный торопливо спросил:

— Санджакова бранка Хвесья жива еще?

— Живенька-здоровенька, пане гетьмане, дай ей Бог счастья, здоровья! — отвечал радостно старик.

— Еще не потурчилась, не побусурманилась?

— Бог милостив, пане гетмане.

— И ты к ней ходишь, старче?

— Иногда, бывает, хожу — она добрая, меня старого жалует.

— А по Украине убивается?

— Очень, бедная, убивается?

— Так скажи ей, старче, что мы ее вызволим из неволи...

Пускай она только от своего пана санджака, паши турецкого, ключи городские добывает, да ночью ворота отпирает и нас к себе в гости ожидает.

Слушая это, старик весь трепетал от счастья... Сам Сагайдачный тут, Сагайдачный, одно имя которого наводит ужас на татар и турок, — разве же это не Божие послание!..

— Скажу, скажу Хвесе... пойду сейчас к ней, — бормотал он.

Сагайдачный и Олексий Попович, протившись со стариком, затерялись среди пестрого рынка.

XV

Ночь. Темною пеленою раскинулось над таким же темным морем южное небо, по которому точно золотом брызнуто было мириадами звезд. Все кругом окутано мраком, все застыло в сонной тишине — и море, едва-едва плескавшееся у берега, и горы, выступавшие из мрака бесформенными массами, и город, убаюканный этою сонною ночью.

Не спали только казаки. Еще засветло, по возвращении Сагайдачного, Небабы и Олексия Поповича с берега, они занялись приготовлением к решительному делу — осмотрели и привели в порядок оружие, запаслись лишними зарядами, трупом и натертою порохом паклею, распределили между собою предстоявшую им работу — «працю» и вместе с спустившеюся на землю ночью, тихо, в стройном порядке, двинулись к Кафе.

Казацкая флотилия разделилась на две части: одна, под начальством Небабы и других старших куренных атаманов, осталась на воде — сторожить издали корабли в гавани, другая пристала к берегу несколько левее Кафы, где и укрылась за возвышением. Этою командовал сам Сагайдачный.

В необыкновенной тишине высадились казаки из своих чаек, оставив в них только для охраны по несколько казаков, из самых младших, конечно, из «бузимкив». Тишина нарушалась только неясным шуршанием мелких прибрежных голышей-валунов, производимым сотнями и тысячами казацких ног, осторожно пробирававшихся в темноте, да и это шуршание заглушалось тихим прибоем моря, ровные, «гексаметром катавшиеся валы» которого с плеском разбивались о прибрежные камни.

Как ни осторожно, как ни медленно пробирались казаки, постоянно останавливаясь и прислушиваясь, однако к полночи они перебрались через южный мысок, в который упирался город правым, так сказать, крылом и который господствовал над Кафою, и увидели под собою темные изломы крепостной стены, мрачные башни и торчавшие из мрака тонкие иглы минаретов. Слышно было, как над городом и над горами пронесся полуночный ветерок, заставив залепетать листья в сонных вершинах тополей и в темной зелени, кое-где разбросанной по полугорью. Явственно донеслось потом до казаков полуночное «куроглашение», — кое-где запели петухи в городе, — и Сагайдачному, который шел рядом с Мазепою и Олексием Поповичем, почему-то в этот момент пришла на ум старая, старая песня, которую он слышал еще в детстве: «Ой, рано-рано птицы запели, а еще раньше пан господарь встал — пан господарь встал, лучком забрызгал»...

В этот момент брякнула чья-то сабля...

— Какой там черт звенит! — послышалось тихое, но грозное предостережение.

Ответа не последовало... Где-то на городской стене зловеще прокричал филин...

— Это примета из города — это наши, — прошептал Олексий Попович.

— Смотрите, смотрите, хлопцы!.. Это она летит! — слышался сдержанный шепот.

— Кто она? Где?

— Вон — по небу летит... Белая бранка.

— Та, что утопилась в море?

— Она...

Все взглянули на небо. В темно-синей выси, заслоня собой млечный путь и созвездие лебедя, двигалось по небу, как бы плыло в эфире белое продолговатое облачко, образовавшееся, может быть, у вершины Чатырдага и теперь плывшее над сонным городом... Многим действительно в очертаниях облачка представилось подобие человеческого тела, закутанного в белый покров, и тотчас же вспомнился рассказ о «белой бранке» (невольнице), утопившейся в море от тоски по Украине и с тех пор пролетавшей над Кафюю всякий раз, когда город ожидало какое-либо несчастье¹.

— В Украину летит, бедная...

— На тихие воды, на ясные зори...

Даже суровому и задумчивому Сагайдачному казалось, что это летит по небу чистая душа той бедной девушки, которую он любил когда-то и которая умерла от тоски в далекой неволе, за синим морем, в проклятом Синопе, вспоминая о дорогой Украине и о «казаченьке чернобровом», о Петрусе Сагайдачном... Но он тотчас же отогнал от себя эти грезы, далекие видения золотой молодости... Предстояло страшное дело — и может быть, святая душа той, что пролетала теперь по небу, утешится, зная что она и там — идеже несть болезнь, ни воздыхание — не забыта.

Он приказал одному куреню с атаманом своим Джендже-лием отделиться от всего войска, обойти кругом и обложить снаружи всю городскую стену, а когда подан будет сигнал криком филина, зажечь вокруг крепостных стен стоявшие в разных местах стоги сена и разные предгородные постройки, чтоб вызвать переполох в городе и осветить его для предстоявшей «потребы».

«Палии» — так их называли по возложенному на них поручению — получив этот приказ, отделились от остальных казаков и скрылись в темноте. Сагайдачный-же повел все войско далее, руководствуясь указаниями Олексия Поповича, которому и местность, и город были хорошо известны: находясь тут

¹ Предание это давно было записано Н.И. Костомаровым, но утратилось в бумагах покойного Погодина, которому сообщено было для напечатания в «Москвитянине».

несколько лет в неволе, он вместе с другими невольниками немало поработал, подгоняемый бичами приставников, и в городе и за городом, в садах, и на пристани, мел улицы и поливал цветы, таскал камни и подбивал грядки в виноградниках.

Наконец они очутились у крепостных ворот... Тихо кругом, точно в могиле.

Послышался крик филина... Из-за крепостных ворот отвечало мяуканье кошки — и одна складня ворот с тихим скрипом отворилась...

— Мати Божа! — послышался тихий женский крик, и жесткую шею Сагайдачного обхватили нежные холодные ручки.

— Хвесья! Дитятко!

— Тятя! Тятечко мой! О-ох!

— Полно, дитятко! — некогда теперь от радости плакать... Возьмите, ее, детки, стерегите как золотое яблочко, — распорядился Сагайдачный, вырываясь из объятий девушки.

Тут же, в глубине ворот, с фонарем в руках стояла еще одна фигура в турецком одеянии...

— Ивашко! Потурнак! — всплеснул руками Олексий Попович.

— Я, Олексичку! Я сторожей напоил — покотом лежат...

В этот момент в разных местах вспыхнуло зарево, и высокие иглы минаретов как бы загорелись багровым румянцем... Зарделись и вершины тополей, словно бы ночью всходило солнце...

— За работку, детки! До брони! — раздался повелительный голос Сагайдачного.

Крепостные ворота распахнулись настежь и в них, как в пробину корабля врываясь захлестывающая его вода, хлынули запорожцы. Толпы их с пылающими на ратищах пучками пакли, которая у них была раньше припасена и тотчас же при входе в город зажжена, рассеялись во все концы, зажигая все, что могло гореть, и оглашая воздух неистовыми криками...

Кафа разом превратилась в пылающий костер. Отчаянные крики проснувшегося населения, треск и гул горящих зданий, рев скота, плач женщин и детей, страшные вопли убиваемых и бросаемых в огонь несчастных жертв казацкого мщения, радостные вопли вырвавшихся на свободу невольников, тут же на улицах, на площадях, среди зарева пожара разбивающихся о камни свои оковы, и к довершению всего шумные порывы ветра, поднявшегося вместе с пожаром, — вся эта

адская картина вполне выразила собою то ужасное время, когда люди были те же звери и как звери обращались с себе подобными. Как ни пронзительны были крики женщин и детей, вопль и стоны убиваемых, звериное рыканье обезумевших от крови казаков, как ни оглушителен был гул и треск пожара, но над всем этим господствовал общий отчаянный вопль: «Алла! Алла!» Улицы и площади покрылись трупами убитых и рыдающими над ними женщинами, которых казаки не трогали. Другие искали спасения в бегстве, кидались с городских стен, и если оставались в живых, то или спешили укрыться в садах и горах, или бросались в море, чтобы достигнуть какого-либо корабля.

Скоро «невольничий рынок» стал наполняться кучами всякого добра — товарами, выносимыми из лавок, дорогими одеждами, уносимыми из горящих домов, мешками и бочонками золота и серебра, драгоценными вооружениями и конскою сбруею...

И тут же, на рынке, у знакомого нам фонтана, в струях которого отражалось теперь кровавое зарево, сидит слепой невольник и, покачиваясь из стороны в сторону, перебирает своими костлявыми пальцами жалкие струны своего жалкого инструмента и поет что-то плачущим голосом. Но рев пожара и вопль людей заглушают его строгое, рыдающее пение...

При зареве пожара видно было, как прекрасные тополя и кипарисы, охваченные пламенем, чернели и превращались в тонкие обугленные иглы. В воздухе, над длинными языками пламени, носились испуганные птицы и, застигнутые дымом, охваченные горячими струями ветра, стремглав падали в пылающую бездну и погибали... Все, казалось, горело: и дома, и мечети, и минареты, и мрачные, теперь светящиеся крепостные стены с башнями, и красные лица снующих в пламени казаков, и их одежды, освещаемые багровым заревом...

— Бей о камень младенцев их! — кричал Олексий Попович, показываясь на площади и сильно пошатываясь.

Он, по-видимому, успел шибко хватить после продолжительного «казацкого поста» и теперь находился в самом возбужденном состоянии, грозил кому-то кулаком в воздухе и путался с саблей, которая колотила его по ногам и мешала идти.

— Бей о камень младенцев! — орал он. — А! Какой это черт меня за ноги хватает!.. Бей! Режь!

В это время какой-то маленький ребенок, по-видимому, татарочка, курчавенькая и босоногая, очутившись одна на ярко

освещенной площади и не зная куда бежать и кого искать, громко плакала.

— Чего ты плачешь? — вдруг ласково заговорил он к татарочке.

Девочка, увидев незнакомого, еще пуще заплакала.

— Да не бойся, дивчинко... А, аспидове! Какое ж оно хорошенькое!

И пьяный добряк нагнулся к ребенку, гладил его головку, заглядывал в глаза.

— Вот хорошенькое! — ай-ай! Ну иди ко мне на ручки — не бойся.

И он, несмотря на слезы девочки, взял ее на руки, продолжая гладить.

— Постой, не плачь, я пряника дам... У меня хорошие пряники — сладкие...

И он действительно достал из кармана пряник, захваченный им где-то в ограбленной лавке.

— Где твоя мама? — допытывался он у девочки, забыв, что она его не понимает, и суя ей пряник. — Я понесу тебя к маме...

Другие казаки, нагруженные добычей, завидев пьяного товарища с ребенком на руках, не могли удержаться от смеху, как ни была ужасна картина, окружавшая их.

— Эй, Попович! Где ты ребенка достал?

— Да это его ребенок, это ему привела татарка, как он еще в неволе был.

— Что ж, ты его титькой кормишь, что-ли?

В это время вспыхнуло зарево и на море: это распорядился Небаба, зажегший турецкие корабли в гавани.

— Гей, братцы, сторонись! — кричал кто-то неистово.

Все оглянулись: освещаемый багровым пламенем и весь согнувшись под какую-то тяжелою ношею, шел Хома. Увидав его, казаки и руками всплеснули: силач Хома нес на плечах пушку!

— Да это Хома! смотрите панове: он пушку несет!

— Батечки! Целую гаковницу прет!

— Вот Вернигора! Один пушку тащит!

Хома, весь запыхавшись, красный и растрепанный, бережно сложил свою ношу около прочей добычи.

— Вот иродова — какая ж тяжелая, — ворчал он, утирая с красного лица пот.

— Что это ты, Хома? Где ты ее взял? — любопытствовали казаки.

— Да на башне ж, — лениво отвечал тот.

— Да на что она тебе?

— Эге! Она медная... А батько говорил, что не хорошо, что у нас в Сечи нет ни одной медной пушки. Вот я и принес эту гаковницу... Да и тяжела ж, иродова... аж плечи болят!

Казачи не могли надивиться буйволовою силе простака Хома.

— Вот так богатырь! Да ты скоро, Хома, будешь на себе коня своего носить! — говорили шутники.

— Эге! Я и носил было маленького стригунца, так нет — не то.

— А что, тяжел?

— Нет, брыкается, иродова детина!

Казачи опять засмеялись.

А между тем пожар в гавани разрастался. Видно было, что горело по всему побережью.

— Это Небаба запалил свою люльку!

— Добре старый справляется...

На площади показался Сагайдачный с старшинами. Он, как и окружавшие его атаманы куреней, был уже на конях в богатой турецкой сбруе, взятых из конюшен пашей и янычар. Они сели на коней для того, чтобы поспевать во все места и за всем наблюдать.

— Спасибо, детки! — обратился Сагайдачный к казакам, бывшим на площади. — Добре справились.

— Спасибо и вам, батьку, что дали нам работу! — закричали в ответ казаки.

— Не забудет нас Кафа проклятая!

— Будет ей козацкими душами как скотиной торговать!.. Дали мы ей знать!

Увидав зарево в гавани, Сагайдачный подозвал к себе Мазепу.

— Беги, пане писарю, на берег, гукни до Небабы, чтоб он не все галеры турецкие палил, потому что при такой корысти, — он указал на груды добычи, — нам без галер нечем будет взяться, да и немало с нами будет бедных невольников: было б на чем их до городов христианских довести.

Мазепа поскакал по направлению к гавани.

Площадь все более и более заполнялась казаками, которые стекались со всех концов пылающего города, обремененные добычею. Груды последней росли с каждым часом. Казачи, свалив в общий кош принесенное добро, снова уходили, чтоб добирать остальное и добивать татар, которых не успели перебить сразу или которые не успели спастись бегством. А пламя все свирепело, пожар разрастался и злополу-

чный город представлял сплошное море огня. Из прежних генуэзских дворцов и роскошных палат, из богатых турецких и татарских домов, из мечетей и общественных бань в окна и двери вырывалось наружу пламя и огненными языками лизало и коптило стены зданий, топило свинец и олово водопроводов, съедало дотла все, что было в городе деревянного.

К утру пламя начало утихать — ему уже не доставало пищи...

Утреннее солнце осветило одни развалины Кафы, еще вчера такой роскошной... Олексий Попович стоял на чердаке своей чайки, держа на руках заснувшую татарочку, и глядел на развалины города, в котором он когда-то томился в неволе... По лицу его катились слезы...

XVI

«Опровергши до фундаменту» прекрасный город, казаки, обремененные добычею, опять ушли в открытое море. Они захватили с собой несколько турецких галер, пощажённых Небабою при сожжении всего находившегося в гавани, и нагрузили их награбленным добром, а также поместили на них и всех освобождённых в Кафе невольников.

Грустно было смотреть на удалявшийся из глаз все еще дымившийся город, в котором еще накануне жизнь была ключом; но казаки глядели на него как на убитого гада и беспечно отдыхали после кровавой работы. Флотилия их держалась прямо на полдень, все более и более удаляясь от берегов, так что в тот же день казаки увидели себя окруженными безбрежно расстилающеюся во все стороны синею пучиною и таким же, как море, безбрежным небом. Они вспоминали и пересказывали о том, что осталось у каждого в памяти от этой роковой ночи, передавали потрясающие подробности о том или другом эпизоде своих походов, перевязывали друг другу раны, ожоги, шутили, смеялись, тешились простоватостью Хома, в жару кровавой работы потерявшего свою шапку и ни за что не соглашавшегося надеть на себя дорогую, шитую золотом ермолку, которую он нашел в своем кармане. Всеобщую веселость возбуждал и Олексий Попович, который, проспавшись, увидал себя обладателем маленькой, хорошенькой, как херувимчик, татарочки и не знал, что с нею делать: ребенок постоянно плакал, показывал ручками куда-то вдаль, конечно, туда, где осталась его мать, и Олексий Попович изо всех сил бился, чтоб утешить малютку. Девочка, впрочем,

скоро завоевала любовь всех казаков. Да и то сказать — нигде ребенок не возбуждает в людях взрослых, в сердцах даже черствых, закоснелых, никогда не любивших не только чужих, но и своих детей, — нигде, повторяем, не возбуждает ребенок такого глубокого умиления и нежности, как на море, вдали от земли, где чувствуется полная оторванность от земли, где невинное существо, тоже оторванное от своего гнезда, напоминает другой мир, другие, милые, далекие образы. Но еще более чувство умиления и нежности к ребенку вырастает среди такой суровой обстановки, как война, — скитание между жизнью и смертью, страшная неизвестность с неизбежными кровавыми спутниками. Даже собачка в такой обстановке вызывает к себе особенную жалость и нежность.

Так было и с пленной татарочкой. Олексий Попович, желая утешить ее, то играл, с нею «в ладки», то выделывал на ее маленькой, пухленькой ладони, как «сорока-ворона на припеке сидела, деткам кашку варила»; то, нежно обняв своими корявыми ладонями ее курчавую головку и покачивая ее из стороны в сторону и ласково заигрывая, он распевал, стараясь подделаться под нежный женский голос: «Печу-печу хлибчик, меньшому — меньший, старшому — больший»... Другие казаки старались ее забавлять то тем, то другим: один играл на губах как на балалайке, другой показывал ей своими бревноподобными пальцами «козу» и кричал самым усердным образом «мекеке». Усатый Карпо Колокузни смастерил ей из разных лоскутков куклу, приделал ей из лозы рога, и кукла плясала. Даже суровый Небаба забавлял девочку: становился на четвереньки и гавкал собачкою... Глядя на его улыбающееся, седоусое, доброе, но смешное лицо, девочка, забыв свое горе, заливалась звонким смехом... Это всех казаков приводило в восторг: на четвереньки становились и другие — кто гавкал по собачьи, кто мукал коровою...

Куда-же девалась Хвесья, «санджакова бранка», которая достала казакам ключи от Кафы, с такою радостью бросилась на шею Сагайдачному, своему крестному отцу, и которую еще этот самый Сагайдачный велел беречь как золотое яблочко. Ее нет теперь с казаками. Неужели они не устерегли ее? Неужели она погибла в эту ужасную ночь? Никто этого не знал. Казаки, попечению которых она поручена была Сагайдачным перед началом грабежа города, говорили, что Хвесья велела им идти с нею к дому ее господина, «пана господаря», который купил ее на рынке в Козлове, а потом сделал ее своею любимою «бранкою» — невольницею, господававшею над всем его сералем. Этот ее господин и был «санджак» —

губернатор Кафы. Когда казаки, сопровождавшие Хвесю, пришли к дому ее господина, в разных местах города уже вспыхнул пожар. Хвеся сказала, чтоб казаки подождали ее около дома, что она сбегает захватить разные дорогие вещи, подаренные ей господином, а потом можно будет и грабить его дом. Самого же саджака, говорила она, не было в городе. Но из дома она уже не возвратилась. Когда же потом казаки, соскучившись долгим ожиданием и опасаясь, не случилось ли чего с их землячкою, вошли, скорее, вломилась в дом саджака, то ни Хвеси и никого из людей там не нашли: дом оказался пустым, словно выморочным. Они перешарили все углы, перевернули все вверх дном, кричали по всем комнатам, на дворе, звали Хвесю, но никто и ничто не откликнулось на их голос. Скоро они увидели, что и этот дом горит, поторопились захватить из него лучшее, что бросалось в глаза, — и уже только под конец заметили потайную дверь в стене дома; когда выломали эту дверь, то увидели, что она ведет в ближайшую крепостную башню, а из башни едва заметная дверка выводила прямо в горы. Этим путем, вероятно, как полагали казаки, скрылась их соотечественница. Но зачем? Или, может быть, ее увлекли туда насильно? Или она сама, как Маруся Богуславка, захотела остаться в неволе?.. Кто угадает тайные движения сердца женщины!.. Оно также скоро забывает то, что недавно любило, как вот эта маленькая татарочка забыла свою мать, переходя с рук на руки от одного казака к другому.

Так думал Сагайдачный, блуждая взором по безбрежному морю. Думалось ему и многое другое, — то, что всю жизнь не выходило у него из сердца и о чем никто не знал, как не знали и теперь казаки, куда он ведет их... Вот разрушена Кафа — «до фундамента опровергнута»... Та же участь ждет и прекрасный Синоп, этот поэтический «город любви», как его называли турки... Не первый уже раз казакам приходится «плюндровать» Синоп — надо еще дать ему чосу. Надо и Царьград окурить мушкетным дымом, припугнуть самого султана в его серале, а оттуда махнуть до города Козлова и разорить это невольничье гнездо дотла, вырезать турок и татар до ноги, чтоб и на расплод, на семена никого не осталось от этой саранчи. А тогда и домой — до «городов христианских», на «тихия воды», на «ясные зори», «в мир хрещеный, в край веселый»...

Но этого мало ему — он шире загадывал беспокойною мыслью. Ему хотелось совсем отгородить христианский мир от мира некрещеного. Но как? Сделать Черное море совсем

«козацким морем», упереться пятою в Крым, запрудить все море казацкими «човнами и кораблями», настроивши их в самом Крыму по истреблению там «саранчи» и по уничтожении самого царства крымского, и соорудив несокрушимую «фортецию» на самой вершине Чатырдага, «гукнуть» оттуда за море: «Сидите турки, смирно!»

Одна мысль гнала другую, переноса его и в далекую Украину, всю казалось, сверкавшую переливами света, и в блестящую, с ног до головы залитую золотом, златоглавами и аксамитами Польшу, и на милую, далекую родину, в горный Самбор, и в хмурую, метельную московщину.

Сагайдачный глянул на казаков, которые беззаботно играли с татарочкой, и грустно улыбнулся... Он велел своей чайке повернуть к большой галере, которая шла недалеко, вся наполненная освобожденными невольниками. Чайка подошла к галере. Сагайдачный взошел на последнюю. За ним последовал Мазепа, а там и Небаба. Маленькая татарочка тоже забормотала, показывая ручками, что и она туда же хочет пойти.

— Ишь ты — и она за батьком.

— Возьмите ее, панове: пускай и она посмотрит.

Олексий Попович взял девочку на руки и тоже взошел на галеру, бережно неся ребенка.

Галера представляла поразительную картину пестрого смешения — жалких лохмотьев нищеты, прикрытых яркими, нередко дорогими одеждами: лохмотья — это остатки невольничества, остатки того жалкого одеяния, которым в неволе драпированы были полунагие тела турецких и татарских рабов; на ногах, не у всех еще обутих, но у всех уже раскованных, виднелись следы кандалов — то живые раны, то заживающие или гноящиеся струпья; дорогие одежды — это добыча, взятая с прежних господ и мучителей, снятая нередко с убитого или умирающего «господаря» и оттого иногда окровавленная или полуразорванная в момент схватки с врагом. Почти все невольники были более или менее приодеты в это добытое в разрушенном городе платье... Невольники — москали, донские казаки, поляки, украинские «гречкосии», «винники», «броварники» и в особенности казаки — все это, бывшее недавно в тяжелой неволе, все эти давно не стриженные или обкорнанные, как овцы летом, головы смотрели теперь не то татарами, не то турками, не то армянами... Только истомленные, изнуренные, загорелые лица выдавали, что все это сейчас только вырвалось из каторги, сорвалось с цепи...

Говор на галере был невообразимый: звучала речь польская, московская, украинская, в особенности эта последняя.

Кто спал, раскинувшись на солнце, как бы досыпал недоспанные в неволе ночи; кто ел, что успел захватить с собою, расставаясь с «городом слез и крови христианской»; кто рассказывал другому о своих похождениях в неволе, о своей далекой родине, о тех милых и далеких, которых, быть может, давно уже нет на свете. Москали братались с казаками, «гречкосии», «винники» и «броварники» — с ляхами, которых всех поравняла неволя и «червонная таволга». Какой-то старик, оборотившись лицом к северу, клал земные поклоны. Молодой худой парень с длинными русыми волосами, одетый в турецкую куртку с позументами поверх голого, загорелого тела и в широкие турецкие шаровары, подперев худую щеку рукою, пел, скорее — горланил со слезами на голубых, задумчивых, глазах:

Как по-о мо-орю! как по-о мо-орю!
Как по морю-морю си-инему!

Но особенно поразила Сагайдачного и его спутников среди этого хаоса какая-то молодая красивая женщина, в богатом турецком одеянии, с откинутою назад чадрою: она сидела, отвернувшись лицом к морю, и горько плакала.

Сагайдачного удивили эти слезы среди общего, по-видимому, счастья. Он думал, что это татарка или турчанка-полонянка, захваченная казаками, и подошел к ней. Женщина сидела, не поворачивая головы. Видно было только, как вздрагивали ее плечи... «Мати Божья!» — слышалось сквозь плач.

Сагайдачный понял, что это не басурманка. Ему стало жаль ее — он не знал, чему приписать это горе, выливающееся такими горькими слезами.

— Молодица, ты чего плачешь? — тихо просил он.

Плачущая женщина не отвечала. Она заплакала еще горше. Маленькая татарочка, увидав ее, стремительно бросилась к ней и громко закричала: бедный ребенок вспомнил мать, которую начал было уже забывать, — костюм татарки напомнил девочке то, чего она лишилась, и она, обливаясь слезами, уткнулась головкой в колени неизвестной женщины. Это была единственная женщина, которую увидел ребенок после того, как потерял мать среди пламени и стонов.

Неизвестная женщина быстро обернулась, сверкнув на всех своими ясными, прекрасными, но заплаканными глазами, и, припав лицом к головке девочки, жалостно, но безмолвно рыдала.

Слезы сверкнули на глазах сурового Небабы. У Олексия Поповича задрожали губы. Мазепа как-то растерянно тере-

бил концы своего саетового пояса, моргая глазами и нерешительно взглядывая на Сагайдачного, который показывал вид, что смахивает со щеки муху...

— Что оно такое? Не наша? — тихо указал Сагайдачный на плачущую женщину.

— Да она, ваша милость, сказать бы — воруха, — заговорил оборвыш, глядя в глаза Сагайдачному и заискивающе улыбаясь.

— Воруха? — удивился гетман.

— Точно, боярин, воруха — воровского казака, значит, жонка-полонянка: в полону, сказать бы, была. А вон тамotka муж ейный будет — вон песню играет: «Как по морю...»

И оборвыш указал на поющего парня.

— Муж этой молодежи? — указал Сагайдачный на молодую женщину, которая уже перестала плакать и утешала всхлипывающую татарочку.

— Ейный, ваша милость, воровской казак будет — полоняник же... А вот как он, казак-от, увидел здесь-тка эту самую бабу и опознал в ей свою жену законную, да как узнал, что она бусурманена — вот он и не признает ее: поганая, говорит, басурманка... А мы сами, ваша милость, будем орловски — из Орла-града, орлянин я, ваша милость, — и в прошлых годах, в спожинки, татаровя полонили нас... А как таперево, ваша милость, вы нас, значит, из полону агарянсково ослобонили, и мы ваши вечные богомольцы будем — молить, значит, вечно за вашу милость Бога будем и с ребятками и животов наших не пожалеем... А ежели чего свечку поставить за здравие вашей милости, и мы того не пожалеем — богомольцы мы ваши... Коли ежели и животишки наши испустошены, и скотинкою, может, без хозяина подбились — ино Бог нам пошлет свою милость, а мы ваши богомольцы по гроб живота.

Тут только словоохотливый «орлянин» спохватился: начал за здравие, а свел на упокой — совсем заболтался. Он разом оборвал, тряхнул волосами, засеменял на месте и испуганно поглядел на Небабу, который казался ему очень страшным.

Сагайдачный между тем пошел дальше, а назойливый «орлянин» не отставал от него.

— Зовут ее, ваша милость, Офимьцей, — скороговоркой досказывал он недосказанное, — казачья Онисимкина жена Бурыкина. А взяла ее ногайские татаровя на Дону, в подъезде, и с Дону свели в Азов-град, а из Азова-града продали в эту самую Кефу; и в Кефе она, Офимьца, бусурманена, по средам и по пятницам и в великие посты мясо и всякую скверну и

нечисть басурманскую едала; и взял ее, Офимьицу, за себя татарин чауш во место жены, без венца, и жила она, Офимьица, с им без молитвы и прижила сыночка ребенка, и по бусурмански малевалась, и веру бусурманску держала, а веру русскую проклинала с неволи и каном мазана с неволи-ж; и муж ейный, татарин, велел-де ей палец подымать, и она-де, Офимьица, палец подымала с неволи ж...

Но Сагайдачный уже не слушал болтуна, который, впрочем, не досказал самого главного. На душе плакавшей казачки было величайшее горе, какое в состоянии понимать только матери. Она, действительно, была несколько лет тому назад полонена на Дону вместе с молодым мужем, с которым не прожила и месяца в замужестве. Ее продали в Кафу, а его в Синоп. Сколько она ни плакала, сколько ни молилась, а в конце концов должна была подчиниться воле своего господина-татарина: она стала его женой. Года два тому назад у нее родился сынок — «злой татарчонок», как поется в песне, но для нее он был не «злой татарчонок», а родной сынок Халилюшка, которого она обожала в своей горькой неволе и как бы отождествляла в своем сердце с «мил-сердечным другом», с Онисимком, пропавшим для нее навеки. И вдруг не далее как вчера утром она, сидя у окошка, которое выходило к морю, на гавань, услышала знакомое, давно неслышанное пение, родные голоса: «Разовьем мы березу, разовьем-ка кудряву». Сердце оборвалось у нее. Она глянула в окошко и увидела, как невольники тянули по берегу лямкой какую-то тяжелую посудину и пели, скорее — стонали «дубинушку»... Слезы брызнули у нее из глаз, и когда она их отерла, то среди оборванных, полуголых и худых невольников она увидела — кого же? — своего мила друга Онисимушку!.. А тут вдруг ночью нагрянули казаки, вспыхнул город — крики, стоны, резня... Казаки напали на их дом... Она с Халилькой на руках бросилась им навстречу, вопя: «Родимые, не губите! Кормильцы, не стреляйте ребеночка!..» Ее, конечно, не тронули, а вместе с другими освобожденными невольниками повели на берег, к галерам и чайкам... Там она увидела своего первого мужа, Онисима, бросилась к нему, забыв даже, что у нее на руках не его ребенок... Онисим узнал ее, затрепетал весь и, выхватив из ее рук малютку, с криком — «А, злой татарчонок!» — разможил его о береговые камни...

Вот о чем плакала несчастная мать.

Торжествующих казаков ожидало, однако, горе: к вечеру их общая любимица и забавочка, их «золотое яблочко», маленькая татарочка «разгласилась». Она все хваталась за голо-

вку, которая была как в огне, тихонько плакала, все тянулась пить и металась на куче кожухов, из которых ей сделали постельку под чердаком. Казаки совсем растерялись, не зная, как возиться с больным ребенком. Они и придумать не могли, с чего воно расхворалась. От роду не знавшие, что такое значит простуда, казаки просто не уберегли, простудили ребенка и теперь не знали, что и подумать. Все были того мнения, что «дитину зглажено», что кем-нибудь ей «наврочено» и всего скорее сглазил ее чей-либо недобрый глаз на той галере, где много москалей-невольников: наверное, москали сглазили. А может, сглазила и та молодлица, подончиха, что плакала над ней. Просто беда да и только!

Кинулись казаки лечить девочку, и каждый предлагал свое средство: Хома слышал от старых людей, что для того, чтобы «дитину» не испортили, не «наврочили», надо вколоть иголку в шапку, и он это сделал: засадил в свою шапку огромную иглу.

— Эге, дурный! — замечали ему на это. — Надо б было тогда втыкать иголку в шапку, как дитя было еще здорово, а теперь оно не поможет.

Долго возились с татарочкой, но наконец она уснула, убаюканная тихим волнением моря, уткнувшись заплаканным личиком в кожух, на который ее положили.

Казаки окончательно присмирели. Олексий Попович велел даже снять всем чоботы, чтоб, ходя по чайке, не стучали чоботищами, а наконец и уложил всех спать, хоть многие порядком отоспались за день, а иные даже распухли от сна.

— Сон на сон не беда, — утешал их Попович.

— Вот кий на кий так беда, — пояснял Карпо Колокузни, развалившись на шкуре убитого им тура, которую он предлагал было под татарочку, но Олексий Попович не принял:

— Еще ребенок испугается, либо самого тура во сне увидит.

Сам Олексий Попович, успокоившись насчет сна девочки, лег, съезжившись, около нее, чтоб всегда быть наготове, и скоро захрапел на всю чайку, потому что не спал весь день.

Покойно спала и юная пленница. В течение ночи Небаба, старую голову которого не брал сон, несколько раз тихо подкрадывался к тому месту, где лежала татарочка, прикрытая казацким жупаном до самой головки, и осторожно прислушивался к ровному дыханию спящего ребенка.

Утреннее солнце, вынырнув из моря половиною пурпурового диска, осветило необычайно живую, поэтическую карти-

ну. Казацкая флотилия быстро неслась к полуденной стороне на всех веслах. Весла в сухих уключинах кричали тысячами голосов, словно бы это кричала по заре несметная лебединая стая. Другие казаки, не сидевшие за веслами, те, которых «черга» еще не наступила на начинающийся день и которые, следовательно, могли спать дольше, теперь просыпались и совершали свой нехитрый туалет и все то, что казаку Бог велел делать; те, почерпнув из моря ведром или водоливым ковшом воду, мыли свои загорелые казацкие лица, богатырские усы и чубы, фыркали и гоготали как стадо жеребцов на водопое, приправляя это дело казацкими «жартами» — остротами — над добродушным Хомою и всякими словесными и телесными «выкрутасами»; другой, отфыркавшись от «гаспидьской» соленой воды и утерев лицо рукавом, полою, хусткою, а то и расшитым рушником, подарком матери, сестры или дивчины, а то и вовсе ни чем не утершись, с серьезным лицом стоял, оборотясь к востоку, к солнцу, и бревноподобными пальцами тыкал себя в лоб, в пузо и в богатырские плечи, бормоча иногда то, что только ему было ведомо, да и то едва ли: «Господи, мати Божа, свята Покрова с пятницею, та святой Юрко с конем, та Иван Головосика, та Маковия с шуликами з маком и вси святи, помилуйте казака Ониську! Аминь». Тот, сняв с себя сорочку и подставив свои голые плечи и спину под ласкающие лучи утреннего солнца, усердно зашивал гигантскою иголкою дорожные прорехи в своем белье, более похожем на половик в дегтярном складе, чем на якобы «билу сорочку». А этот, совсем без сорочки и без штанов, став на краю чайки, у свободного борта, неистово тряс над водою свое казацкое одеяние, чтоб «чортовы блохи» в море попадали и не кусали б больше казацкого тела.

Татарочка проснулась здоровенькая, без жару, хотя немножко бледненькая; сначала, видимо, не поняла, где она и что с ней, — заплакала; но, увидав знакомые уже лица казаков, успокоилась. Олексий Попович, зачерпнув из моря воды в ковшик, стал было осторожно своими мозолистыми ладонями мыть нежное личико девочки, но она заплакала, и Небаба, давно помолвившийся Богу и сосавший свою люльку, которая теперь не гасла, вступился за татарочку.

— Полно тебе, Олексию, вередовать над ребенком, — ворчал он.

— Да оно не умыто, — оправдывался Попович.

— А ты думаешь его своими копытами умыть?

— Тю! Какие у меня копыта! — обиделся Попович. — Я не жеребец.

Вдруг с чердака гетманской чайки раздалось протяжное завывание вестового рога. Вся флотилия как бы встрепенулась, точно стая птиц взмахнула разом белыми крыльями — это все чайки разом взмахнули веслами, вынув их из воды и сверкая на солнце, словно тысячами алмазов, спадавшими с них каплями.

Рог Сагайдачного трубил сбор. Все чайки, услышав этот призыв, поспешно стали собираться вокруг гетманского «човна». Они скоро сошлись вплотную, борт к борту, так что можно было перебежать через всю флотилию и не попасть в воду.

— Панове отаманы и все войсковое товариство! — громко сказал Сагайдачный, показывая имевшуюся у него в руке зрительную трубкою по направлению к западу. — Там идет по морю турецкая галера... Та галера, вероятно, какого-нибудь богатого княжаты либо паши, вся барзо добре украшена — злато-синими киндяками обвешана, пушками унизана и турецкою белою габою покрыта. Надо нам, детки, ту галеру добыть: может, и в ней бедного невольника не мало...

— Добыть! Добыть! — закричала вся флотилия.

— Либо добыть, либо дома не быть! — раздались отдельные голоса. — Веди нас, батьку, хоть на самого черта!

— Раз родила мать, раз и умирать!

Сагайдачный, когда голоса смолкли, тотчас распорядился, как «застукать» этого зверя среди открытого моря, чтоб он не улизнул, и велел трубачу трубить погоню.

Завыл рог. Чайки снова рассыпались как птицы, оставив под командою Джеднжелия несколько лодок для прикрытия взятых в Кафе галер с освобожденными невольниками, и полетели на запад тремя купами — средняя наперерез турецкой галере, боковые — в обход ей с севера и юга. Чайки буквально летели стрелой: это было что-то живое, трепетавшее на поверхности моря белыми, сверкавшими жемчугом брызг и пены крыльями...

Скоро показалось на море стройное, красивое чудовище, на котором полоскались в воздухе разноцветные флаги «злато-синие киндяки» и сверкала как снег белая «габа». Чудовище заметило погоню и как бы дрогнуло всем телом: над палубою взвился белый дымок, что-то грохнуло, и ядро, не долетев до средних чаек, с визгом упало в море...

— Вот так!! — послышался голос Карпа Колокузни, и казаки ответили реготом со всех чаек.

Пока галера успела дать залп изо всех пушек; чайки уже так близко подлетели к ней, что ядра перелетали через головы казаков и шлепались в вспененное веслами море...

Словно черные ласточки, стаею окружившие коршуна со всех сторон, окружили галеру чайки... Послышался голос Сагайдачного — раздался ружейный залп, задымились дула мушкетов, и как снопы попадали на палубу и в море защитники галеры... «Алла! Алла! Алла!»... В одно мгновение сотни багров как клещи или гигантские тысяченожки впились в бока галеры... Казаки уже на палубе — режут, добивают... Стон, вопли... Галера во власти казаков... Из-за воплей умирающих слышался отчаянный детский плач: то плакала татарочка...

— А чтоб вас! Только ребенка напугали! — спохватился Олексий Попович и бросился к татарочке.

Вновь добытая галера была действительно богато разукрашена. Но жаркая схватка, в которой весь экипаж ее был вырезан и перебит казаками, оставила кровавые следы на палубе, на снастях и на вычурных, резных наметах и чердаках, обитых разноцветною материею и перевитых лентами. Казаки тотчас же принялись очищать галеру от трупов, которые все были брошены в море, не исключая и раненых, смывать кровь, обильно пролитую по всей палубе, а другие отправились в трюм и выпустили на свет божий посаженных туда и прикованных друг к дружке невольников.

Оказалось, что галера эта, закупив партию невольников в Козлове, на тамошнем невольничьем рынке, везла их в Трапезонт, на галеры и для садовых и полевых работ у Осман-паши трапезонтского. Галерою командовал молодой моряк, племянник трапезонтского паши, Беглер-Капудан, который, пораженный казацкими пулями, в числе первых защитников галеры свалился в море, окрасив своею пурпуровою кровью бирюзовые волны вспененного чайками моря.

Между невольниками казаки нашли много знакомых. Радость спасенных не знала пределов. Спасители были также довольны, что им удалось оказать добро «бидному невольнику».

Сагайдачный, оставив атаманскую или гетманскую чайку в распоряжении Нечая с казаками его куреня, сам с писарем Мазепою, с Небабою, Олексием Поповичем и другими казаками перешел на галеру, тем более что она была хорошо вооружена и приспособлена для дальнего плавания.

Маленькая татарочка также перешла на эту галеру и была в восторге, могла лазить по высоким чердакам и любоваться украшениями галеры. Так как на галере оказался небольшой очаг, сложенный из кирпичей и приспособленный для варки пищи, то казаки, отыскав между галерными запасами соро-

чинское пшено, тотчас же развели огонь в очаге и сварили для своей любимицы кашку.

Между тем Карпо Колокузни и сероглазый Грицько с своим черномазым приятелем Юхимом возились с несчастным друкарем Федором Безридным, которому при атаке галеры турецкая пуля навывлет пробила правую руку выше локтя. Они перевязывали товарищу рану и старались его утешить.

К ночи казаки были уже в виду большого, красивого города, стоявшего на берегу моря: флотилия их пересекла Черное море поперек, «per diametrum», как выражался знаменитый Жолкевский в донесении королю.

В полумраке неясно вычерчивались стены и башни города и тонкими стрелами тянулись к небу минареты да стройные тополи. Это был Синоп.

Многие из невольников, освобожденных казаками в Кафе, долго жили в Синопе и хорошо знали как расположение города и его укреплений, так и слабые стороны его защиты. С ними долго советовался Сагайдачный и прочая казацкая старшина, и тут же порешено было напасть на беззаботный город, одною половиною казацкого войска высадившись и ударивши на замок, а другою — занявши гавань и все, что в ней находилось.

Когда город был уже в руках у казаков и по всем местам шло широкое «плюндрованье» — грабеж вперемежку с резнею, — в утреннем воздухе, среди треска, гула и стонов, раздался пронзительный, словно бы женский крик:

— Ратуйте, кто в Бога верует!

Через базарную площадь, заваленную добычей, бежал мальчик лет шестнадцати-семнадцати, в богатом турецком одеянии, с красною фескою на голове, а за ним, махая саблей, гнался усатый Карпо.

— Ратуйте! Ратуйте! — повторял преследуемый юноша.

На покрытом потом и гарью лице усача выразилось величайшее изумление.

— Вот дьявол! Еще и по нашему кричит! — пробормотал он. — Стой, аспидова детина, а то зарублю.

Преследуемый остановился, дрожа всем телом и испуганными глазами ища кругом спасения. Усач подбежал к нему, держа над головою саблю.

— Ты кто такой? — спросил он.

— Я казак... казацкий сын, — отвечал юноша, заикаясь.

— Как же ты попал сюда?

— Меня взяли в неволю,

— Как же ты вырядился в такие шаты? — спросил Карпо.

— Меня так вырядили... Баша... Осман-баша... вырядил.

— А откуда ты родом?

— Из Суботова.

Подошли другие казаки, стали расспрашивать — что и как.

— Те-те-те, да это ж Зинько Хмельниченко, — отозвался один казак, — я его узнал... Ты Зинько, хлопче?

— Я Зинько, дядьку, — отозвался юноша, — меня и Богданком дразнят.

— Так, так, панове, — это Зинько и есть: его еще третьего год татары в поле взяли.

— Старого Хмельницкого мы знаем, — отозвались другие казаки, — добрый казак.

— Только немного ляхом пахнет, — заметил кто-то.

— И сына, говорят, в латинской школе учил... Правда, хлопче?

— Правда, — отвечал юноша, — меня в Ярославле учили, в Галичине.

С берега донесся протяжный вой: казаки узнали голос призывной трубы и поспешили каждый нагружаться добычей, которая еще не вся была перенесена на чайки и на галеры.

— Скоренько, панове, — батько кличет.

— Час до сбора.

— А все казаки живы и здоровы?

— Бог поможет — все живы будем.

Со всех сторон навьюченные казаки спешили к берегу. Солнце уже золотило верхушки минаретов и ближайшие горы. Над пожарным дымом вились голуби и галки, которым не удалось выспаться в эту тревожную ночь. Слышен был рев скота, не находившего своих хозяев, ржание лошадей, распуганных пожаром, бляенье овец. Ветром гнало дым на море, на котором словно стая птиц колыхалась казацкая флотилия.

Берег был весь запружен казаками, таскавшими на ближайšie чайки свою «корысть» и передававшими ее с чайки на чайку и на галеры.

— Смотрите, смотрите! — раздались голоса. — Кто-то несет на руках козла.

— Да то дурный Хома!

Действительно, Хома тащил на руках белую ангорскую козу, которая билась в его руках и мекекекала отчаянным голосом. Хома, весь красный от натуги, сердито ругался, таща в то же время на веревке корову, которая упиралась и редела, и волоча сверх того почти целую копну сена.

— Что это ты, Хома? — окружили его казаки, надрываясь от смеху. — На что тебе козел?

— Да это не козел, а коза, — сердито отвечал простоватый Хома, — да еще и брыкается.

— Да на что она тебе, дурень?

— Эге! Я ее буду доить — она молоко даст...

— На что тебе, дурню, молоко?

— Овва! Татарочку кормить.

— Вот так Хома! Вот так голова! Он разумнее всех нас — и татарочку не забыл, — смеялись казаки.

Звонкая труба между тем продолжала скликать казаков. Звуки ее становились все резче и резче.

— Скорей, братцы, до чаек! Батько сердится! — заторопились казаки.

— Пускай сердится.

— Хома! Бери корову на руки да неси до чайки.

Растерявшийся Хома не знал куда повернуться. Наконец отчаянно махнул рукой и бросился вслед за другими казаками.

Сагайдачный стоял на чердаке гетманской галеры, окруженный главною войсковою старшиною, а перед ними, в роли черта, связавшегося с младенцем, возвышалась плечистая и массивная фигура усатого Карпа рядом с юным Хмельницким, по-видимому, сильно смущенным.

— А что ты делал у башни? — спрашивал Сагайдачный.

— Я жил у него... я... — юноша замялся.

— Невольником был? — продолжался допрос.

— Невольником... так...

— Что ж на тебе такие дорогие шаты? Невольники в таких не ходят.

— Да они, баша... они тово...

Краска заливала бледные щеки юноши, крутой выпуклый лоб, шею, уши... Мазепа и Небаба коварно переглянулись...

— Что баша, хлопче?

— Баша меня... они меня любили...

Юноша совсем побагровел... Слезы выступили на глазах...

— Ну, добре, добре, хлопче, — успокоил его Сагайдачный, — оставайся на моей галере, я тебя доставлю на Украину...

Не знал Сагайдачный, кого он спасал из неволи, какой «дар» приносил он дорогой Украине...

Если бы знал вперед гетман-мечтатель, что выйдет из этого крутлоблого юноши, в скуластом лице которого сказывалось что-то звериное, плотоядное, а широкий плоский затылок напоминал затылок львенка с ястребиным профилем; если бы Сагайдачный мог прозреть вперед и увидеть, до чего доведет Украину и Польшу этот, так легко отуречившийся казачонок,

как он будет топтать конскими копытами украинские нивы, зальет их казацкою, польскою и иудейскою кровью и превратит в «руину» все правобережье, разорив и левобережье, — если бы Сагайдачный мог прозреть это в стоячих глазах юноши — он задавил бы его собственными руками...

XVII

Пока запорожцы гуляют по морю и «завдают страх» татарам и туркам, перенесемся на крыльях воображения «на тихие воды», «на ясные зори» и посмотрим, что делается на Украине.

Мы в Переволочне, на самом рубеже мирной Украины, там, где с одной стороны кончаются «тихие воды» и «ясные зори», а с другой, к югу, начинаются и тянутся на необозримое расстояние безбрежные степи.

Душная летняя ночь, словно бы перед грозой. На горизонте часто вспыхивает зарница и освещает на краткие мгновения спящее село. За селом, на выгоне, раздастся иногда одинокий девический голос и тотчас же смолкнет. Не поется, видно, в душную ночь даже молодости.

Отблеск зарницы отражается иногда и на лужайке у берега Ворсклы, и на темной, совсем почти черной зелени развесистой вербы, и на белой сорочке сидящей под вербою неподвижной человеческой фигуры. Голова человека наклонена низко и неровно покачивается. Это голова мужчины. Что же он — плачет, кажется?

Отблеск зарницы падает по временам и на белые спины не загнанных беспечною хозяйкою и тут же пасущихся коров. Одна из них подходит к сидящему под вербою, нюхает его голову и усиленно дышит на него.

— Ну, тебя, кума, не целуй меня, — бормочет сидящий и качает головой, — теперь пост.

Корова тут же продолжает щипать траву. Сидящий поднимает голову.

— Хоть я и пьяненький, а знаю, что теперь Петровки — скоромного ни-ни, кума, — бормочет он снова.

Корова опять дохла на него.

— Да не лезь же, кума, какая ты!

Пьяный увидел наконец, что перед ним не кума, а корова.

— А, аспидская скотина! Тпррусски! Гей до дому!

Он встает и, пошатываясь, старается ударить корову шапкой, но не попадает.

— Гей-гей, чертова!.. А где ж кума?

Шатаясь, он идет по лужайке, спотыкаясь не твердыми ногами, и сам с собою рассуждает:

— Эге, глупый... Коли жена бить станет — пойду в казаки, ей-же Богу!.. Чем я хуже Алешки Поповича, либо Карпа? Вон — они теперь на море... Кефу, говорят, зруйновали...

Он спотыкается и падает на копну сена...

— Чур тебя, чертова ведьма!.. Так под ноги копной и подкатилась... Ой!

С трудом, отбиваясь от воображаемой ведьмы и силясь перелезть через копну, он только тыкался в нее носом, царапал себе лицо, бранился и снова лез на копну.

— Ой! Ратуйте, кто в Бога верует... Задушит проклятая баба...

Он сделал еще усилие и перекувырнулся через копну.

— Ох, убила, проклятая! Ой!

С трудом он поднялся на четвереньки и пополз «раком», отплевываясь и повторяя: «Чур-чур меня».

Недалеко в ночной тиши прозвучал одинокий женский голос; ему ответил мужской — и оба смолкли.

— Это, должно быть, улица идет... Поют...

Блеснула зарница, другая. Где-то защелкал соловей.

— Соловейко щебечет... Вот дурень — не спит... Да, может, он немножко пьяненький...

Опять кто-то запел. И соловей защелкал усерднее...

— Пойду на улицу до девчат... А к куме не пойду — пост...

Он пошел на голос, но опять на что-то споткнулся, выругался и полетел на землю... Захрюкала сердито свинья, завизжали поросята, — оказалось, что он споткнулся на спавшую с поросятами свинью.

— Ой, батечки! — заорал он. — Еще ведьма... свиньейо перекинулась... Чур-чур меня!.. Вот проклятая сторонка! Ведьма на ведьме...

Наш герой пустился бежать и только тогда опомнился, когда наткнулся на какого-то человека.

— Тю, вот оглашенный! — осадил его чей-то голос. — Или ты взбесился! Что бежишь на людей!

— Да я... это я того... от ведьмы...

— От какой ведьмы?

— Да тут ведьма на ведьме...

Послышался хохот мужских и женских голосов: герой как раз попал на «улицу».

— Да это Хорько, хлопцы.

— Это Макитра пьяненький.

— Откуда вы, дядьку?

— Да от проклятых ведьм!

Тут только наш герой стал приходить в себя. Он видел себя в безопасности от «видем», и к нему не только вернулась обычная храбрость, но даже в некотором роде геройство.

— У, да и ведьмы ж у нас тут, хлопцы! — вот прорва! — начал он хвастаться. — Как напали на меня, так насилу отбился — суцья татарва.

— Да где ты их видел, дядьку?

— Гу! Где видел! Там их видимо-невидимо... И уж я бился-бился с ними, аж кости болят!

Все слушали пьяного героя с величайшим интересом, потому что все верили рассказам о ведьмах и их превращениях.

В это время за Ворсклою в далекой степи что-то вспыхнуло на горизонте. Это уж не была зарница, — видно было, как что-то огненной змейкою взвивалось к небу. Потом такой же огонек, только уже яснее, показался ближе и словно живой перебирался все выше и выше... Все с испугом повернули головы в ту сторону...

— Ох лищечко! Да это татары!

— Мати Божая! Татары идут.

— Татары, татары... Это «варта» знак дает...

— Господи! Покрова! Что ж с нами будет!

— Бежим, дивчатовьки, домой!

— Надо в звоны звонить — людей будит.

С криками и отчаянными воплями «улицца» рассыпалась...

Через несколько минут набатный звон стонал над всею Переволочною и глухо разносился по Днепру, за Днепром и по сонной степи...

Огни, вспыхнувшие в разных местах степи за Ворсклою и за Днепром, действительно означали, что на Украину шли татары.

Соседство таких хищников, как крымцы и ногаи, которые почти каждое лето делали набеги на Украину, заставило украинцев изобрести очень своеобразный способ ограждения своих границ от беспокойных соседей. По всем границам Украины и так называемых «запорожских вольностей», по границам, которые тянулись на сотни и тысячи верст, и по разным возвышенным местам своих степей, большею частью на «могилах», на курганах, они ставили известного рода «фигуры», нечто вроде сухопутных маяков, около которых всегда находилась казацкая «варта» — сторожа, заведовавшие этими оригинальными телеграфами или, вернее — «пироскопами».

Едва только какая-либо «варта» или просто какой-либо казак, бродивший в степи или ловивший где-либо в низовьях Днепра и других рек рыбу или зверя, — едва кто-либо узнавал каким-нибудь случаем, что татары вышли из Крыма, чтобы тайно нагрянуть на Украину, как тотчас же спешил к ближайшей «варте» и сообщал, что татары идут. «Варта» немедленно приводила в действие свой «пироскоп», который состоял из высокой фигуры или деревянной указки, торчавшей к небу и обвитой соломою или сухою травою, — солому зажигали, пламя и дым взвивались над «вартою» и тем давали знать ближайшей «варте», что идут татары. Вспыхивала вторая фигура, за ней третья, четвертая, десятая — и таким образом в несколько часов всю Украину облетала весть о нашествии хищников.

Когда за Ворсклой и за Днепром вспыхнули огни в описываемую нами ночь, вся Украина проснулась и встала как один человек.

Татары выбрали на этот раз удобную минуту для нападения. Когда Кафа была взята казаками и предана огню, весть об этом быстро облетела весь Крым. Казаки в море — значит, Украина открыта для набега, ее некому защищать. Надо отомстить Украине за Кафу — и татары ринулись на север несколькими «загонами».

Переволочане под тревожный гул набатного звона то-ропливо собирались на площади, на которой стояла церковь, — то было место для общественных, «громадских» сходок. Скоро площадь вся была запружена народом, а набат все не умолкал, что делалось с тою целью, чтобы оповестить об опасности и тех земляков, которые в это время находились не дома, не в Переволочне, а где-нибудь в степи, на поле, на охоте или на рыбных ловлях. Во мраке ночи и набатный звон, и народный гул, и общий тревожный говор, и детский плач, завывание недоумевающих собак, рев испуганной скотины — все это казалось еще страшнее, чем могло бы быть при свете солнца. Где-то голосила и причитала молодница о том, что муж ее поехал «у далеку дорогу», и теперь его поймают татары.

— Панове громадо! — возвысил голос один старик, опираясь на палку. — Слышите, татары идут.

— Да, идут, проклятые! Видим, что идут, — отозвались некоторые из громады.

— Что ж мы будем делать, панове? — продолжал старик. — Казаки теперь в море, войска нет у нас — некому нас боронить.

— А мы на что! — возвышали голос некоторые из парубков. — Мы им дадим чёсу!

— У нас есть и кони, и сабли, и мушкеты.

— Так-то так, детки, — отвечал старик, — да мало вас, а их целая орда.

— Нет, нам с татарами биться невмочь, — подавали свой голос другие громадяне.

— Нам надо прятаться и добро прятать, и самим бежать.

— А куда убежишь? А господарство? А скотинка?

— А наши хаты, а наш хлеб? Они все попалят.

— Что ж нам делать? Придется, верно, помирать.

Поднялся невообразимый говор. Один говорил одно, другой другое. Женские голоса и плач становились все громче и отчаяннее, безутешнее. Дети, глядя на матерей, плакали еще сильнее.

— Да может, они не на нас идут, а на тот бок, — отзывались некоторые утешители.

Но это утешение казалось слишком слабым.

— И на тот бок пойдут, и на нас придут, — возражали другие.

— У них не один загон.

— Они идут, может, на три дороги, а может, и на четыре.

Тогда в середину протискался Хорько Макитра. Хотя хмель его еще не совсем покинул, однако он смотрел трезво и смело.

— А постойте, панове громадо, что я скажу, — возвысил он голос, откашлявшись.

— Говори, пане Хорьку, послушаем.

— Вот что, панове, — начал Хорько, крикнув словно из пустого бочонка, — нам биться с татарами не рука — мало нас.

— Да мало ж, мало...

— Хорько дело говорит...

— А все ж таки, панове, нам прятаться не след, — продолжал оратор.

— Не след, не след — это правда! — подтверждали громадяне.

Хорько еще крикнул, посмотрел кругом и спустил голову, как бы что-то очень хитрое и очень сложное соображал своею мудрою головой.

— Так вот что, панове, — продолжал он, — мы им, поганцам, в очи плюнем.

Он остановился, видимо, рассчитывая на пуций эффект своей речи.

— А знаете, панове, чем плюнем? — спросил он неожиданно.

— А чем же? Не знаем, — отозвались громадяне.

— Пожаром! — отрезал Харько. — Огнем плюнем в поганые очи!

— Как пожаром? Каким огнем?

— Степным... Мы теперь запалим за Ворсклю степь со всех концов, так огонь и пойдет навстречу татарам... Мы такого полымя напустим, что аж небо потрескается как горшок.

— Так-так! Вот так Харько! Вот так мудрая голова! — раздались оживленные голоса.

Старик, до этого времени молчавший и грустно опиравшийся на палку, теперь поднял голову. Старые глаза его заискрились.

— Спасибо, сынку, что напомнил мне про молодые лета мои, — сказал он, вскидывая на Хорька радостными глазами, — а я, было, старая собака, и забыл про это... Мы и сами когда-то так отбивали татар от Украины: запалим, бывало, степь, да так и выкурим всю татарву.

Площадь оживилась. Решено было утром же привести в исполнение план Хорька Макитры, который стал всеобщим героем.

Едва лишь начало светать, как уже вся Переволочна от мала до велика высыпала за Ворсклу. И старые, и молодые, женщины и дети, здоровые и даже недужные — все это тащило по охапке соломы, сена, пакли, труту и всякого горючего материала. В голове шествия гордо выступал Харько с подбитым глазом — это его уже успела угостить рогачом свирепая женушка за ночные похождения.

Отойдя на значительное расстояние от Ворсклы, переволочане растянулись ниткою поперек степи на несколько верст, чтоб на всем этом протяжении разом, по сигналу с переволочанской колокольни, зажечь степь.

Принесенные охапки сена и соломы были положены на траву по всей линии. Началось вырубание огня. То там, то здесь чикнет огниво об кремень — чиканье пошло по всей степи. Задымились куски трута в сотнях рук. С переволочанской колокольни донесся один удар колокола, потом другой, третий.

— Скидайте шапки, панове! Молитесь Богу! — скомандовал Харько.

Все сняли шапки и перекрестились. Крестились и бабы, и дети.

— Зажигай разом! Вот так! Господи благослови!

Лежавшая перед Харьковом охапка сухого сена вспыхнула, разгорелась в пламя. Вспыхнула вся линия. Ветерок погнал пламя на полдень. Закорчилась высокая, высохшая от жаров степная трава, ковыль, «тирса» — вспыхнула и она... Пламя, как живое, поползло все дальше и дальше и через несколько минут вся степь представляла огненное море, которое колыхалось ветром и неудержимо катило свои огненные волны к югу.

Татары шли на Украину тремя загонами. Выйдя из Крыма целою ордою под предводительством брата крымского хана, Калги-салтана, татары в Черной Долине разделились на три партии: две из них, переправившись через Днепр у Кызыкермена, двинулись Черным шляхом на правобережную Украину, а одна — мимо Молочных Вод, через Конскую, Волчью, через Самару и Орел — на левобережную.

Перейдя Самару, правый загон расположился на отдых — на хороший покорм для коней и верблюдов, чтоб потом с свежими силами саранчою налететь на беззащитный край.

Беспорядочное, но страшное зрелище представляла раскинувшаяся по степи многотысячная орда. На несколько верст разбрелись табуны коней и верблюдов, щипля роскошную, никем не тронутую и не помятую зеленую траву, которая по течению Самары, вследствие близости воды, была особенно роскошна. Гул и гам над степью стоял адский: рев верблюдов, ржание лошадей, лай собак, крики и перебранка чередовых пастухов, говор нескольких тысяч людей, пение, дикое завывание рогов, дикая музыка разгулявшихся правоверных — все это стоном стонало в воздухе и оглашало степь на много верст в окружности.

Вечерело. Разводились костры, дым от которых северным ветерком гнало за Самару. Белели и пестрели шатры, раскинутые там, где имели свои ставки разные начальные люди и зажиточные.

Вдруг со стороны степи послышались необычайные крики, ржание лошадей и рев верблюдов. В этом новом шуме и крике слышалось что-то тревожное, — ясно, что там произошло какое-то неожиданное смятение. Но отчего? Как? Не казаки же нападают — казаки далеко, в море.

Смятение и крики усиливались. Испуганные чем-то лошади и верблюды неслись прямо на костры, на народ, на шатры. Чтобы это было? Каждый вскакивал с места и не знал, что ему делать, за что ухватиться, куда и зачем бежать. Вambe-

сившиеся лошади топтали и гасили своими ногами костры, ржали и бились, опрокидывали шатры, людей, бросались в Самару. За ними бежали пастухи, отчаянно крича что-то непонятное.

Но тут случилось нечто еще более непонятное и более страшное. За лошадьми и верблюдами неслись целые стада сайгаков, ревущие туры, точно бешеные или кем-либо гонимые дикие кабаны, лисицы, волки, зайцы. Это было что-то непостижимое, наводящее ужас. Все это несло на татарский стан, все опрокидывало в своем неудержимом стремлении, бросалось в Самару, ревело, стонало. Казалось, вся степь всколыхнулась, или небо обрушилось на землю, или ад раскрыл свои страшные врата и выслал на землю все свои разрушительные силы.

Да — это ад. Вон и пламя, — кровавое зарево охватило половину горизонта, всю северную окраину неба. Теперь только поняли обезумевшие от неожиданности и страха татары, что это такое. Это горела степь. Огненное, безбрежное море шло прямо на них.

— Алла! Алла! Алла!.. Аллах-керим! Аллах-керим!

Надо было спасаться, уходить от волн этого огненного моря.

XVIII

В одной из боковых пристроек обширного замка князей Острожских, в небольшой, обитой голубой материей комнате, белокуренькая, с пепельными волосами, панна Людвися, стоя перед большим зеркалом, совершает свой туалет. В голубых с длинными ресницами глазах панны светится что-то похожее на затаенную радость. Ей прислуживает красивая, невысокого роста, смуглая, как цыганочка, с серыми задумчивыми глазами «покоювка», в белой, расшитой заполочью сорочке, голубой юбочке и красных с подковками черевичках.

— Что ты, Катруню, такая невеселая? — спрашивает польски панна, вплетая в косу нитки крупного жемчуга и глядя на отражение в зеркале своего оживленного лица и задумчивого лица покоювки.

— Я ничего, панна, — ласково, тихо, с затаенным вздохом отвечает девушка также по-польски.

— Как ничего! С самой весны тебя узнать нельзя.

Девушка молчала, опустив глаза на поднос, на котором лежали нити жемчуга, булавки и другие мелочи туалета панны.

— Тебя теперь и не слышно, — продолжала панна, — а прежде ты, бывало, постоянно распевала ваши хорошенькие хлопские песни.

— Не поется что-то, — по-прежнему тихо отвечала покоювка.

— Вот еще!.. Хоть ваши хлопы и грязны, и воняют, а песни их очень миленькие.

— Панна называет хлопов вонючими — они не все такие, — немножко вспыхнув, возразила девушка.

— Ну уж!.. А грязны они всегда.

— Как же им не быть грязными, панна? Они всегда работают.

— Работают! Вздор какой! Вон и я работаю, и ты работаешь, а мы же всегда чистенькие.

— У панны такая и работа — то шелк, то бисер, то канва; а у меня часто руки бывают грязны.

Панна отошла от зеркала, повернулась, глянула в зеркало через плечо и улыбнулась сама себе.

— А хорошо играет жемчуг в волосах, Катруню? — спросила она.

— Ах, как хорошо, панна! — отвечала покоювка.

Панна перекинула косу через плечо и стала ее рассматривать.

— А что, панна, о казаках слышно? — немного покраснев, нерешительно спросила покоювка.

— О каких казаках?

— Да вот, что ушли в море, из Запорожья.

— А, эти разбойники!

— Они, панна ласкова, не разбойники. Они за веру стоят, бедных невольников из турецкой неволи выручают.

— То-то! А за них мы, панство, должны разделяться с турками и татарами. Вон и теперь, говорит дядя, татары напали на Украину, и гетман Жолкевский собирает все наше рыцарство, чтоб защищать матку Польску.

Потом, повернувшись к покоювке и глядя ей в смущенные глаза, панна лукаво прищурилась.

— А, плутовка! Так я угадала... Ты об каком-нибудь казаке тоскуешь? А?

Покоювка вся вспыхнула и молчала.

— А! Об каком-нибудь усатом и чубатом великане! А, хитрячка!

Покоювка силилась непринужденно улыбнуться...

— Говорят, они Кафу взяли, панна ласкова.

— Ого!

— И Козлов... и еще какой-то город...

— Так и *твой* там? — лукаво улыбнулась панна.

Покоювка не отвечала. Панна, наконец, справилась с своей косой.

— А он такой же грязный, как и все хлопы?

Покоювка опять не отвечала. Она старалась переменить разговор.

— А какое сегодня к обеду платье панна наденет? — спросила она.

— Палевое с кружевами, — был ответ.

При этом ответе покоювка в свою очередь улыбнулась.

— В палевом панна так понравилась пану господаричу, — лукаво сказала она.

Пришлось самой панне вспыхнуть.

— Какому господаричу?

— Да вон тому красивому черноволосому паничу — пану Могиле.

— А... а ты почему это знаешь?

— Я сама слышала, как он говорил пану Замойскому, что панна в палевом — настоящая Мадонна.

— Ну уж!

— Вот ей-же Богу! Так и сказал — Мадонна.

— Да ты не знаешь, что такое Мадонна.

— Нет, панна ласкова, знаю — вон, в кабинете у ясно-вельможного князя.

— Так я похожа на нее?

— Нет... панна красивее...

— Ну уж!

Вечером того же дня замок князей Острожских горел огнями. На террасе, закрытой зеленью, играла музыка, причем особенно давали себя знать духовые инструменты, словно бы в замке шла охота на крупного зверя, а блестящее, раззолоченное панство под звуки краковяка и мазура травило прелестных лисичек в образе очаровательных полек, литвинок и нобилитованных украинок. Князь Януш давал роскошный бал герою «вавилонского пленения» московских царей, славному гетману Станиславу Жолкевскому, и потому в Острог съехалось самое блестящее панство со всей Польши, Литвы и Украины. В то время когда одна часть гостей занята была танцами, другая, уже оттанцевавшая, прохлаждалась и отдыхала на чистом воздухе, в роскошных аллеях замкового парка, казавшегося волшебным от разноцветных огней, обливавших фантастическим светом открытые аллеи парка и погружавших в полный мрак его уединенные, уютные уголки.

Среди воя и визга музыки, в парке слышался громкий и сдержанный говор, смех, иногда таинственный шепот прекрасных парочек, мелькавших по аллеям парка или укрывавшихся от несносного света в тени каштанов, лип и высоких тополей. И темное небо при этом освещении, и зелень с ее яркими бликами, полутенями и полным мраком, и сверкающие всеми цветами радуги и таинственно журчащие фонтаны, и веселые, подмывающие звуки музыки, и самое это освещение, и замок с его стенами — все это казалось волшебным, чарующим.

Такое впечатление, по-видимому, производил этот волшебный вечер на одну парочку, уединившуюся в дальней аллее и сидевшую на скамье под ветвями роскошного каштана. Они молчали и, казалось, прислушивались не то к веселой музыке, не то к своим, может быть, не совсем веселым, но для них чарующим мыслям.

— Я думаю, как пан веселился в Париже, — прервал это молчание тихий, как бы робкий голос панны Людвиги.

— Панна напрасно так думает, — также тихо и задумчиво отвечал мужской голос.

— Почему же так?

— Панне известно, что я в Париже учился, и...

Фраза не была договорена, и мужской голос смолк: его заглушили стройные, сильные, подмывающие звуки мазура.

— И..? — подсказала панна. — Пан не досказал.

— И... тосковал по моей несчастной родине, — со вздохом отвечал мужской голос.

— По какой? По Польше?

— Нет... Панна знает, что Польша не несчастна.

— Так по Влоцизне?

— Да... Она мне дорога, как родина.

— И как наследие отцов... Ведь пану должна принадлежать валашская корона.

— Должна... Но панна знает, что она не принадлежит мне: корона господарей валашских упала с головы Могилы...

— Так пан ее поднимет и наденет на свою голову.

— Да... надену — или корону, или... клубук монаха.

Мужской голос выговорил это с дрожью и смолк.

— Почему же клубук монаха? — с такою же дрожью прошептал женский голос.

— Потому что у меня ничего не остается в жизни.

— А самая жизнь? В ней так много прекрасного.

— Да, когда это прекрасное принадлежит нам... Но когда оно не наше — так Бог с ней и с жизнью!

Слова эти были сказаны с едкой горечью: в них слышались слезы.

— Я не понимаю пана, — еще тише проговорил женский голос.

— И панна желает понять?

— Желаю.

— И простит мне то, что я невольно должен высказать?

— Что же это? Что пан выскажет? — еще более дрогнул женский шепот.

— Панна! — с пламенным порывом и с прежнею горечью зазвучал мужской голос. — Все, что есть прекрасного для меня в этой жизни, все мое счастье, все мои надежды — все это олицетворили для меня вы, одна вы, божественная панна!

— Ах! — не то с испугом, не то с радостным трепетом вскрикнула панна Людвиг и встала.

Встал порывисто и молодой Могилла — это был знаменитый впоследствии киевский митрополит Петр Могилла.

— Панна, простите меня! — с тем же порывом проговорил он. — Простите мое безумие... Я не хотел оскорбить вас... Если я выговорил вам мое дерзкое признание, то это — мой вопль, вопль души моей, моя молитва... а молитва и Бога не оскорбляет...

Панна Людвиг молчала. Белая роза, которую она держала в руке, дрожала.

— Простите! — еще с большей силой выговорил Могилла.

Панна продолжала молчать. Могилла взял ее за руку.

— Скажите хоть одно слово — слово прощения, — умолял он.

— Я... пан не обидел меня... я... я не знаю... у пана... — бессвязно бормотала девушка.

— Так панна прощает меня?.. Да?

— Да... да... пан так добр...

Могилла припал к рукам девушки и горячо целовал их... Людвиг почувствовала, как его слезы закапали ей на ладони, которые он целовал... Она чувствовала, что он рыдает...

— Что с паном? Езус Мария! Что с вами?

— О! Я хочу смерти... смерти! Вот тут же, сейчас!

Он обнял девушку и в страстном порыве припал лицом к ее плечу. Людвиг растерялась, задрожала вся и, обхватив руками его голову, стала целовать ее...

— Мой пан! Мой добрый!.. Что с вами!

— Я не хочу жить... я не могу так жить... убейте меня сейчас, вот тут, в ваших объятиях!

— Пан мой... добрый... милый... я не хочу вас убивать...

— Но вы не знаете всего! — со стоном вскрикнул он.

— Чего же, мой пан милый?

Он, казалось, несколько опомнился, взял ее опять за руки и, глядя заплаканными глазами в ее светлые глаза, которые тоже искрились слезами, тихо подвел к скамейке...

А там, в конце аллеи, эта несносная музыка словно бы назло гудела и трещала, как бы издеваясь над человеческим горем.

— Выслушайте меня, дорогая панна, — опять тихо заговорил Могила. — Я бы не должен говорить вам это, не должен бы смущать покой вашей невинной души, ваших чистых помыслов... Но, видит Бог, я не могу, не могу, да и не смею унести с собой в могилу мою тайну, которая в то же время и ваша...

— В могилу, пан? — испуганно спросила девушка.

— В могилу, дорогая панна... Я... я умираю для вас, и, может быть, скоро татарское копьё пронзит сердце, которое билось только для вас... Я люблю вас!

Девушка ничего не отвечала, только краска залила ее лицо, по которому текли слезы...

— Я люблю вас больше моей жизни, — продолжал Могила со слезами в голосе, — люблю больше вечного спасения... но... но вы не можете быть моею.

Девушка испуганно подняла глаза; румянец щек сменился бледностью.

— Я говорил сегодня с вашим опекуном и дядей, с князем Янушем: я просил у него вашей руки, просил позволения поговорить с вами, чтобы узнать ваши чувства ко мне и от вас самих узнать свою судьбу... Но князь Януш разбил все мои мечты, разбил мое сердце... Он отказал мне!

Теперь румянец снова залил щеки панны и прекрасные глаза ее брызнули светом.

— Дядя? Князь Януш?.. А кто дал право князю Янушу располагать моим сердцем и моею судьбою, как судьбою своих хлопов? — гордо проговорила молодая девушка. — Я вольная полька!

Могила припал губами к рукам панны.

— Панна! Счастье мое! — шептал он страстно. — Но князь Януш говорит, что не он этого не позволит, а сам святой отец, папа.

— А какое дело, пан, святому отцу до моего счастья? — все также гордо спросила гордая полька.

— Я для вас схизматик, дорогая панна... Я — православный.

- А разве пан не может принять католичество?
- Не могу, дорогая панна.
- Даже ради меня, пан? — дрогнул у девушки голос.
- Даже ради панны...

Девушка гордо выпрямилась. Румянец не то негодования, не то стыда опять покрыв ее щеки.

- Так пан говорит неправду, — резко сказала она.
- Какую неправду, дорогая панна?
- Пан сейчас сказал, что любит меня больше вечного спасения.

— Да... да... я сказал это — и повторяю...

— И не хочет переменить свою хлопскую, схизматицкую веру на истинную, шляхетскую.

— О, панна, вы терзаете мое сердце!

— Не я терзаю, а пану так угодно.

— Нет, нет! О, Боже мой!

Могила хотел снова схватить руки девушки, но она отстранилась.

— Я ради панны, ради тебя, божество мое, не могу этого сделать! — порывисто вскрикнул Могила.

— Как ради меня? Я не понимаю пана.

— Да, да! Только ради вас!

— Пан в Париже разучился говорить, — пожала плечами панна.

— О, панна! Поймите меня: если я переменю веру моих отцов, я потеряю право на корону моей страны — и панна потеряет это право!

— Корону! О, все короны мира не стоят моего личного счастья!

И гордая панна быстро, не оборачиваясь, обмахивая разгоревшееся лицо веером, пошла прямо к замку, откуда неслись зазорные, подмывающие звуки мазура. Могила стоял бледный, провожая глазами удаляющуюся красавицу.

Когда она вошла в ярко освещенную залу, старый гетман, «великий» Жолкевский, увидав панну еще издали, как подобает истому поляку, «закрендив вонса» и звеня «острогами», пошел прямо к ней навстречу.

— Могу просить очаровательную панну на мазура? — шаркая ногами и церемоннейше раскланиваясь, несколько прощамкал беззубый герой.

— Благодарю за честь пана гетмана, — отвечала панна, приседая.

Старый гетман, согнув руку, не особенно свободно двигая по паркету подагрическими ногами, стал выделять этими

ногами всевозможные глупости, называемые фигурами. Зато хорошенькая и грациозная панна выделявала эти глупости очаровательно, и у нее они даже не выходили глупостями, а чем-то очень милым...

— Панна танцует, как ангел, — любезничал старый гетман, путая фигуры.

— А пан гетман был на балу у пана Бога? — усмехнулась Людвися.

— О, да прекрасная панна так же остроумна, как и очаровательна! — изловчался старый победитель Наливайка, еще более путая фигуры.

— А пан гетман столь же непобедим на поле чести, сколько слаб на паркете, — снова отшутилась красавица, сверкнув на старика своими прекрасными глазами.

— А это оттого, прелестная панна, — забормотал совсем очарованный старик, — что на поле чести я не вижу таких божественных глазок, а то я и там был бы так же слаб, как на паркете.

— Я слышала, что пан гетман опять ведет свои победоносные войска на врагов нашей дорогой отчизны, — заговорила панна серьезно.

— Да, прекрасная панна, я должен идти поневоле.

— Почему же поневоле?

— Я бы желал отчизне покоя.

— Кто-ж его нарушает?

— Да все эти лотры оборванные — казаки.

— А может, пан, они и делают это потому, что они — оборванные.

— Нет, прекрасная панна, они по натуре хищники.

— А что об них слышно теперь?

— Да слухи нехорошие: они нас совсем рассорят с султаном.

— А как пан гетман думает — они благополучно вернутся из похода?

— А почему это так интересуется прекрасную панну?

— Не меня, пан гетман, — улыбнулась Людвися, — а мою покоювку.

— Не знаю... Крымцы вон уже нагрянули на Украину... Я боюсь, что они нагрянут и на земли короны польской.

В это время к танцующим торопливо приблизился молодой красивый пан и почтительно вытянулся.

— Что скажет пан поручник? — нехотя спросил Жолковский.

— Тревожные вести, ясновельможный пане гетмане, — тихо отвечал молодой поручик.

— Тревожным вестям нет места здесь, на паркете, — отрезал старый гетман.

— Гонец прискакал...

— Пусть ждет конца мазура, — осадил его гетман и продолжал танцевать, пыхтя и задыхаясь.

А в стороне, у колонны, стоял Могила, бледный и хмурый. Он никак не мог отвязаться от мысли, которая как червь точила его мозг: «Почему я должен переменить веру, а не она? Почему моя вера хлопская?..»

XIX

Могила был по рождению молдаванин. Что-то римское, классическое было и в его наружности, и в характере. Хотя он был еще очень молод — около двадцати лет от роду, — однако в нем уже обнаруживались задатки будущего великого человека.

Прошедшее его рода покрыто было славою и знатностью. Дядя его, Иеремия, был господарем молдавским, а когда маленькому Петронелло, — так звали будущего митрополита Петра Могилу, — было не более шести лет, отец его Симеон вступил на престол валашский.

Все улыбалось в будущем маленькому, черноглазому, смуглому и задумчивому Петронелло. Семья его вступала в родство с знатнейшими польскими магнатами — с князьями Вишневецкими, Борецкими и Потоцкими, потому что черноглазые и большеносые сестрички его, по типу истые римлянки, очаровали собой этих вельможных панов и осчастливили собою их дома.

Когда серьезному не по летам Петронелло исполнилось четырнадцать-пятнадцать лет, он уже был наследником престола Молдавии и Валахии.

Надо было подумать о более широком образовании будущего господаря — и Петронелло отправили в Париж для изучения премудрости эллинской, римской и новейшей европейской. Молодой Могила показал блистательные способности, и успехи его в науках превзошли всякие ожидания.

Но и среди парижского шума, среди блеска, среди золотой польской молодежи, тоже учившейся в Париже и набравшейся там европейского лоску, Могила оставался все тем же задумчивым, сосредоточенным в себе, тихим и скромным Петронелло. Когда его сверстники и почти земляки, польские юные магнатки, прожигали молодые силы в обществе ловких

парижанок, нелюдим Могила, в свободное от ученья время, бродил по окрестностям Парижа, по полям и лесам, любясь роскошью полей, зеленью рощ и прислушиваясь к разнообразному, чарующему говору природы.

В этом немом созерцании поэтической жизни природы мысль его уносилась к далекой родине, к другим, более диким и девственным и потому-то дорогим ему картинам природы и жизни, блуждала по мрачным и величественным горам и по необозримым степям родины, по берегам величественного синего Дуная и извилистого Прута. Он мечтал сделать эту милую родину счастливою и могущественною. В союзе с Польшей и Украиной она станет, думал молодой мечтатель, охраной и оплотом христианского мира от всепоглощающих волн мусульманского моря, которое все более и более надвигалось на Европу.

Но молодым мечтам его не суждено было осуществиться: ему не пришлось видеть не только короны своей родной земли на мечтательной, черноволосой голове своей, но и самой родной земли... Могила потеряли престол Молдаво-Валахии — и юного изгнанника из отчизны, мечтательного «господарича», приютила гостеприимная Польша.

Ученый мечтатель поступил в ряды польских воинов, под начальство славного гетмана Жолкевского.

Но ни военная слава, ни польская жизнь не удовлетворяли требованиям молодого мечтателя. «Не война — призвание человека, — думал он, — не мечом приобретается человеческое счастье».

Не возбуждала в нем симпатии и другая сторона польской жизни — аристократизм. В иезуитах и ксендзах он видел не последователей Христа, а тех же неискренних панов, у которых военные доспехи только прикрывались рясой.

Он думал было остановиться на лютеранстве, но оно, казалось ему, иссушило дух христианства, в нем не было поэзии. И он предпочел православие, в котором взлелеялось его золотое детство.

В этот период душевного разлада и борьбы с самим собой он встретил существо, которое очаровало его своею невинной, целомудренной красотой. Это была панна Людвися, племянница князя Острожского. Молодой мечтатель видел в ней идеал чистоты и непорочности. И он полюбил эту чистоту всеми силами своего могучего духа. И девушка полюбила этого задумчивого изгнанника, в глубоких, кротких глазах которого ей виделось что-то такое, чего не видела она ни у кого из всех, кого знала на свете.

Но когда они признались друг другу в любви, то увидели, что их разделяет пропасть. Могила только теперь понял, какая пропасть отделяет Польшу от его родины, которую он потерял, и от Украины, которая стала его второю родиною. Девушка, которую он любил всеми силами души и которая его любила, — эта девушка вдруг говорит ему, что его вера — «хлопская»...

«Хлопская»... Нет, она не должна быть «хлопскою»!.. Она должна быть такою же высокою и могучею, как та, которою гордится эта гордая красавица...

И Могила стал чаще и чаще задумываться над «хлопскою» верою. Он стал изучать ее, поставив это изучение целью всей своей жизни. Он стал изучать и ее, панскую, веру — и все думал, думал, думал над истинами той и другой...

И в конце концов он надумал то великое, выполнить которое была способна только его великая душа. И он выполнил его: он дал презираемым панами хлопам науку, и хлопы до основания потрясли то здание, под сенью которого процветала панская вера и панская неправда.

Но после панны Людвиси он уже никого не любил: свое горячее сердце он спрятал под монашескою рясою, и никто не слышал, как и чем оно там билось, страдало и радовалось.

На другой день после бала Могила уехал в Киев, а из Киева — в лубенское имение князя Михаила Вишневецкого, который был женат на двоюродной сестре Могила — на Раине.

Но ни князя Михаила, ни княгини Раины тогда уже не было в живых. Всеми несметными богатствами и бесчисленными имениями князей Корибутов-Вишневецких на Волини, в Подолии, в Галичине, Литве и левобережной Украине владел молодой их сын, князь Иеремия Вишневецкий. Он недавно женился на хорошенькой панне Гризельде, из знатного и богатого рода Замойских, и теперь, справляя медовые месяцы и возя свою молоденькую жену по своим бесчисленным имениям, временно отдыхал и забавлялся охотою в своих украинских «маентках», именно — в роскошном своем замке под Лубнами.

С глубокою тоскою в душе ехал Могила к своему знатному родственнику, чтоб хоть в дальних, еще невиданных им краях левобережья размыкать тоску, отогнать от себя милый образ, который стал теперь для него источником невыразимых страданий.

Какая скучная дорога! Как унылы эта зелень, этот лес, это небо и это облачко, тиходвигающееся по небу туда, ту-

да — к Острогу... Вспоминает ли она о нем?.. Нет, она танцует и смеется с старым Жолкевским, болтает с молодым Замойским, слушает любезности князя Корецкого, а о нем — забыла...

А недавно еще целовала голову и плакала — «мой пан» говорила... И будет это же говорить другому, а он все будет думать о ней, ее одну помнить, ее одну любить...

А в душе все звенит эта музыка, которая тогда играла, когда он плакал у нее на плече...

— Назад! — крикнул он своему вознице, который, натянув вожжи, сдерживал лихую, взмыленную четверку коней, несших грузную коляску ровным лубенским полем.

Возница вздрогнул и обернул свое усатое и загорелое лицо.

— Что пан волит? — недоумевающе спросил он.

— Ничего, это я спросонок, — досадливо отвечал Могила.

Вдали, на горе, из-за темного, освещенного заходящим солнцем леса, выглянули вершины башен.

— То замок князя Вишневецкого?

— Замок и есть, пане, — был ответ.

Дорога пошла в гору, гладкая, укатанная, широкая, окаймленная высокими, стройными тополями, которые сторожили ее, словно часовые. Золотые лучи солнца играли на зелени тополей, от которых вдоль дороги ложились длинные косые тени. Между тонкими стволами кое-где виднелись женщины и дети, возвращавшиеся из замка, и кланялись незнакомому «чорнявому» пану, сидевшему в богатой коляске. Лошади, чуя близость стойла, весело фыркали и все усерднее забирали в гору.

Скоро показались темные крыши замка, мрачные стены, ряды колонн, поддерживающих балконы. Окна горели заходящими лучами солнца, как будто в замке зажжены были все свечи и канделябры. Мрачность замковых стен еще более увеличивали каменные устои, на которые как бы опирались основания стен и которые, казалось, были изъедены и источены временем. Видно было, что немало веков прошло по этим стенам и их каменным устоям.

Внутренний фасад замка, обращенный к Суле, выходил в парк, раскинутый по берегу этой красивой реки. Из замка в парк выход был крытою галереею, словно повисшею над кручею, а из галереи вниз вели две каменные лестницы, уставленные тропическими растениями и прекрасными мраморными статуями. Отсюда открывался великолепный вид на Засулье

и на широкие украинские степи, далеко-далеко сливавшиеся с горизонтом.

Много хлопских и всяких других рук и голов поработало над парком. Огромные, нагроможденные друг на дружку камни изображали собою искусственные скалы, и под этими титаническими сооружениями чернелись искусственные гроты, повитые плющом и всякою ползучею зеленью. С других скал низвергались водопады, блестя на серых камнях и обдавая водяною пылью роскошные клумбы всевозможных цветов. В других местах били фонтаны... Вся вода, какая только была в окрестностях замка, была собрана в разные резервуары, и подземными, а подчас и висячими трубами проведена в парк и превращена в шумные каскады и прелестные фонтаны.

Ниже замка, по направлению к Лубнам, тянулись вне-замковые постройки, длинные, в несколько рядов «курени» — казармы на три тысячи «грошевого» и «кварцянаго», а также дворцового войска, которое оберегало сон вельможного пана, а подчас служило его панским потехам — набегам на провинившихся соседей. Там же раскинулся целый квартал разных «официн» — построек для приезжей или постоянно привлекающей мелкой шляхты и для всей оравы дворской челяди. В стороне от всего этого, окруженный лесом, стоял особый палац — собачий: это была княжеская псарня, с особыми отделениями для всевозможных пород собак, из коих многие, за выслугу лет, получали пожизненные пенсии и аренды, а другие обучались в этом собачьем университете, слушая лекции опытных собачьих профессоров — доезжачих, псарей, «довудцев», «дозорцев» и многих собачьего ранга людей.

Когда коляска Могилы, гремя колесами по плотно ут-рамбованному полотну двора, подкатила к главному крыльцу и лакеи доложили о приезде высокого гостя, князь Иеремия, как приветливый хозяин и знаток обычаев высшего панского круга, сам вышел на крыльцо среди целой шеренги челяди и парадных гайдуков. Это был молодой, сухощавый, высокого роста человек, приветливая улыбка которого совершенно не гармонировала с серыми, точно оловянными глазами, по-видимому, никогда не светившимися ни радостью, ни жалостью. Острая рыжая борода окаймляла его острый, точно лисий подбородок, а над высоким белым лбом торчал рыжий клочок, как бы говоря о непреклонном упрямстве головы, над которою он вырос. В выражении лица князя, несмотря на всю его изысканную вежливость, виднелась какая-то усталость, словно бы ему в жизни, и уже очень давно, все

пригляделось, все надоело и не представляло ничего нового и интересного: ни люди, ни богатство, ни добро, ни подлость, ни природа — ничто не могло заставить забиться его сердце, блеснуть теплотою его оловянные глаза, умилиться, обрадоваться или опечалиться.

На князе был богатый «алтебасовый» кунтуш с серебряными пуговицами и бесчисленным множеством чудно переплетенных шнурков, подпоясанный широким гранатового цвета поясом. На ногах желтые «буты» с серебряными подковками и такими же «острогами» — шпорами. На боку позвякивала «карабеля», усыпанная по золотой и серебряной оправе драгоценными камнями.

— Бесконечно рад дорогому гостю... ценю великую честь, — рассыпался ловкий хозяин.

— Благодарю княжескую милость... много чести, — то-ропливо отвечал смущенный Могила.

— Пан из Острога?

— Из Острога, князь.

Они вступили в обширную приемную, пол которой устлан был свежескошенной травой и полевыми цветами, а по стенам, и особенно в углах, на пунцовых горках, блестя груды серебра и золота в старинной посуде, рогах и кубках.

— Что нового в Остроге слышал пан?

— Пан гетман собирается в поход.

— Да, пора... Поганцы уже жгут Украину, а козацтво все выбралось в море, разбойничает...

По знаку явившегося маршалка, лакеи принесли серебряное блюдо с умывальником, и гость совершил обряд омовения рук, который строго соблюдался в польском обществе.

— Прошу пана к княгине — она с гостями на галерее...

— Очень рад видеть прекрасную княгиню.

— И она вам будет несказанно рада...

Хозяин повел гостя через внутренние покои замка, и они вскоре вышли на галерею, с которой открывался прелестный вид на раскинутый внизу парк, на Засулье и на степи.

При виде молодого Могилы, княгиня Гризельда и другие гости шумно приветствовали его. Тут были и князья Четвертинские, и Сангушки, и Кисели, и другая левобережная и правобережная польская знать.

Княгиня Гризельда была еще совсем молоденькое существо, с круглыми, розовыми щеками, с ямочкой на пухлом

подбородке, маленьким носиком и игривыми черными глазами под тонкими, дугообразными и такими же черными бровями.

— Что Людвися? Все такая же хорошенькая? — спросила молодая хозяйка после первых приветствий.

Могила невольно опустил глаза; щеки его вспыхнули.

— Да, княгиня, — пробормотал он.

— А пан не забыл охоту по первой пороше? — продолжала хозяйка.

— О какой охоте княгиня изволит говорить? — спросил Могила.

— А нынешней зимой, в Остроге, по первой пороше...

— Не помню, княгиня.

— О, коварный! И лисичку забыли?

— Какую лисичку, княгиня?

— О, какой же пан! Забыл лисичку!.. Припомните, как лисичка выскочила из кустов, а вы за лисичкой, а за вами на вороном коне панна Людвися... И, кажется, там, за лесом где-то, пан поймал лисичку с пепельными волосами — вы и панна Людвися воротились такие красные...

Могила и теперь сидел весь пунцовый.

— Ах, если бы скорей зима, скорей пороша — как хорошо было бы поохотиться по первому снегу! — продолжала болтать княгиня.

— Так ты желала бы снега? — вдруг спросил ее князь Иеремия.

— Ах, как желала бы!.. Снег, белые деревья — как это очаровательно.

— Летом княгиня желает снега, а зимой пожелает зелени — это в порядке вещей, — улыбаясь, заметил пан Кисель.

— Конечно, всегда хочется того, чего нет, — отвечала избалованная княгиня.

— Так княгиня желает себе старости? — улыбнулся Кисель.

— Нет, только снега...

— Так снег завтра будет, — громко сказал хозяин. — Панове! Завтра прошу вас разделить со мною охоту по первой пороше.

— Охотно, охотно! — загремели гости.

Князь Иеремия многозначительно взглянул на жену, на гостей и, улыбаясь, сказал:

— Прошу извинить, панове: я отлучусь на минуту, чтобы сделать распоряжение на завтрашний день.

И он, поклонившись гостям, торжественно вышел, покручивая правый ус.

Когда, на другой день утром, совершив, при помощи полудюжины покоювок, свой роскошный туалет, княгиня, вся сияющая молодостью и красотой, вышла на галерею, она поражена была необыкновенным зрелищем.

Из-за роскошной зелени плюща, дикого винограда и других ползучих растений, которые непроницаемою сетью защищали галерею от лучей солнца, она вдруг увидала за Сулою... не сон ли это? не грезит ли она после вчерашнего разговора?.. она увидала снег! Целую снежную равнину, сверкавшую на солнце первым, чистым, ярким и блестящим зимним покровом... И кусты на поляне, и высокая трава, и деревья в роще — все сверкало первым девственным снегом; от всей засульской равнины, касалось, веяло чудным, волшебным холодом, настоящею зимою, тогда как здесь, кругом, цвело самое роскошное украинское лето...

— Езус-Мария!.. Что это! В самом деле снег! — вскричала княгиня.

Выходили на галерею вчерашние гости и, вместо приветствия хозяйке, вместо пожелания ей доброго дня, останавливались в немом изумлении и как бы в испуге. Одни только лакеи, стоявшие навытяжку у дверей и вдоль стены, скромно, почтительно улыбались.

— Да это сон! — воскликнул долгоногий князь Четвертинский, протирая глаза.

— Это волшебство, панове! Чары! Княгиня волшебница, фея! — изумлялся не то притворно, не то искренно кругленький пан Кисель.

— Мы живем в век чудес!

— А как солнце сверкает в снежинках!

— Да это из «Тысячи одной ночи»!

Действительно, предшествовавшая этому дню ночь была поистине выхвачена из «Тысячи и одной ночи». В начале вечера, накануне, князь Иеремия, оставив своих гостей, пришел в свою главную вотчинную контору и приказал позвать к себе всех главных управителей по заведованию имениями и принадлежавшими ему на этой стороне Днепра городами, а равно начальников «кварцяного», «грошевого» и дворцового войска. Он отдал им следующий приказ: тотчас же взять из замковых магазинов соль, которой у него запасено было несколько соттысяч пудов, и кроме того, скакать немедленно в Лубны, закупить на наличные деньги, не жалея ничего и невзирая на цены, всю имеющуюся в городе соль, как в городских мага-

знах, так и у частных обывателей, а если попадутся чумацкие обозы с солью — то их все скупить, и везти всю эту соль за Сулу, на равнину, и при помощи всего войска, а также всех окрестных хлопов и лубенских обывателей, засыпать эту соль всю равнину от берега Сулы до леса и по обеим сторонам, вправо и влево, сколько можно из замка глазом окинуть; потом точно также, взяв из замковых и из городских магазинов всю молотую пшеничную муку, с помощью садовых складочных лестниц, служащих для собирания плодов с высоких деревьев, — обсыпать эту мукою все листья на деревьях в той роще за Сулою, которая видна из замка, а равно посыпать мукою и весь мелкий, видимый из замка кустарник.

И вот закопошились тысячи народа — войска и хлопы, чтоб в течение ночи исполнить этот грандиозно-безумный план безумного родителя будущего безумного короля польского, Михаила Вишневецкого.

Мало того — князем отдан был приказ, что когда весь план посыпки равнины и леса солью и мукою будет выполнен до конца, то чтоб войско и все согнанные для этого дела хлопы оцепили всю равнину и лес живую цепью, рука в руку, но спрятавшись так, чтоб этой цепи из замка не было видно. Из имевшегося при замке зверинца он велел взять всех зверей — волков, лисиц, сайгаков и зайцев — переправить их бережно в особо для этого приспособленных клетках за Сулу и там распустить их по равнине, по кустарникам и по лесу. Это — для предстоящей охоты.

Безумная работа закипела — и к утру Засулье представляло снежную равнину с заиндеветшим лесом и таким же кустарником.

— Мама! Мама! Какая зима! — зазвучал в дверях свежий, мелодичный голосок и радостно, и испуганно вместе.

Все оглянулись и на всех лицах расцвела веселая, добрая улыбка, с какою обыкновенно люди смотрят на прелестного ребенка или на очень уж юную особу.

Это была Софья Кисель — общая любимица блестящего панского общества. Она показалась на галерее вместе с своею черноглазую, яркого, южного типа «мамою», и, возбудив общее внимание своим стремительным восклицанием: «Мама! Мама!» — теперь стояла вся пунцовая от смущения.

Хотя ей было восемнадцать лет, но она смотрела совсем ребенком. Видно было, что ее головка, обремененная массивными пасмами великолепной золотистой косы, которая, казалось, так и давила ее, постоянно работала, во все вслушиваясь, все замечая и обдумывая; но заговорить самой, спросить о

чем — ни за что! И едва лишь кто в этом обширном, блестящем обществе обращал на нее внимание, хотел заговорить с нею, как глаза ее мгновенно вспыхивали вместе со щеками, и она, подобно хорошенькому кролику, который стремительно улепетывает в кусты при виде собаки, — она вся уходила в себя, точно мысленно прячась за маму или за няню, как кролик за куст. Если с кем она была смела, даже, можно сказать, запанибрата, так это с котенком Васькой, которого она закармила так, что он уж до мышей и не дотрагивался, а охотно ел из ее рук икру.

— Ах, Соня, ты все хорошеешь! — приветствовала ее хозяйка, видя крайнее смущение девушки. — Ты, конечно, поедешь с нами на охоту, да?

— Как мама... — был торопливый ответ.

— Что мама! — улыбнулся старик Четвертинский. — Панна теперь совсем уж большая.

На галерее появился сам хозяин, князь Иеремия, гости приветствовали его возгласами «браво» и дружными аплодисментами. Холодные, оловянные глаза князя светились как холодная сталь, — он, видимо, сам доволен был своей выдумкой.

Тотчас же заговорили о предстоящей охоте, которую страстно любит всякий истый поляк.

— А ведь охоту-то, пане ксенже, откладывать нельзя, — весело сказал Сангушко, — вон как солнце печет — как бы ваш снег не растаял!

— О, мой снег не растает! — самодовольно отвечал хозяин, закручивая усы.

— Да, правда, скорее мы растаем, — подтвердил Кисель, который не выносил зноя, — правда, Соня?

— Правда, — отвечала она, вся вспыхнув.

Общим голосом решено было тотчас же отправиться на охоту, и потому гости разошлись по своим комнатам, чтобы переодеться к предстоящему выезду.

Прислужники и конюхи тем временем чистили и седлали коней, псари выводили и наставляли собачьему благоразумию и всем псовым мудростям своих воспитанников — гончих, медвежатников, волкодавов и иных специалистов собачьего дела: того хлестали арапником, другого драли за ухо, на третьего надевали почетный ошейник. Лай и визг собак, ржание коней завывание рожков — это была такая мелодия, от которой восторгом трепетало сердце каждого доброго пана.

Наконец панство торжественно выступило на замковый двор. Все были одеты самым блестящим образом; везде бли-

стало серебро и золото. У князя Иереми висел через плечо огромный турий рог в золотой оправе. Изящный рожок, висевший у корсажа княгини Гризельды, горел бриллиантами. Такие же бриллианты сверкали и на ее прелестной охотничьей шапочке с пером. Высокий гайдук не отходил от княгини, держа над нею широчайший зонтик из тончайшей золотистой соломы и защищая от солнца прелестное личико своей госпожи. С нею рядом была Соня Кисель; она была необыкновенно оживлена и счастлива, как ребенок. Да и все были необыкновенно оживлены. Один Могила как бы сторонился от всего этого и был глубоко задумчив. Только по временам он переносил свой тоскующий взгляд на Соню — и глаза его точно теплели. Соня напоминала ему далекое, невозвратное счастье.

К дамам подвели оседланных коней. Княгиня Гризельда потрепала своей маленькой ручкой лебединую шею белого как снег и тихого как овечка аргамака; тот ответил ей ржанием.

Старый Сангушко с ловкостью юноши подлетел к княгине, щелкнул острогами, изогнулся и протянул вперед правую руку ладонью кверху. Княгиня стала своей маленькой ножкой в эту широкую ладонь и птичкой вспорхнула на седло, держа за рукою за гриву коня.

К Соне, волоча подагрические ноги, но стараясь изловчиться, фертом подошел старик Четвертинский, хотел звякнуть шпорами, но не мог и, с усилием согнув свои старые ноги, стал на одно колено и также протянул правую руку ладонью кверху.

— Мам гонор, очаровательная панна, — прошамкал он.

Панна вспыхнула как мак, но ножку все-таки поставила на широкую ладонь старика и ловко вскочила на седло.

— Падам до ног, — прошамкал старый любезник, — и целую след ножки очаровательной панны.

И он театрально поцеловал свою ладонь, но с земли уже подняться не мог, и его поспешили поднять гайдуки.

— Что за ножки! — шамкал он, обращаясь к Соне и кланяясь ей. — Они обе с трудом бы закрыли мои губы.

Скоро все были на лошадях. Князь Иереми затрубил в свой турий рог, и блестящее общество двинулось из замка, сопровождаемое сотнями псарей и собак. За замковыми зданиями, при повороте к Суле, перед глазами охотников снова раскинулась снежная равнина Засулья с покрытыми инеем деревьями. Даже собаки неистово залаяли, увидав перед собою необычайное явление.

Но никто, по-видимому, не обратил внимания на другое явление, хотя, может быть, менее необычайное, но зато

грозное, страшное. Только юная Соня Кисель заметила это последнее явление, и детское оживление мгновенно сбежало с ее хорошенького личика; глаза ее, за минуту горевшие счастьем, широко раскрылись от ужаса и губы дрогнули. Прямо к югу, за далеким горизонтом на синеве чистого неба, где-то далеко за Днепром, клубились дымные облака и, гонимые южным ветерком, зловецце ползли к северу. Она вспомнила рассказ своей старой няни, вчера только возвратившейся из-за Днепра, что на правобережную Украину напали татары, жгут и режут все, что попадется им под руку, берут сотнями полоняников, — и бедные хлопы, бросив свои дома и имущество, толпами бегут спасаться на эту сторону Днепра.

Под копытами лошадей уже хрустела белая соль вместо снега, всадники уже рыскали по всей равнине, крики загонщиков сливались в нестройный гул с воем рогов, лаем собак и ударами арапников. Хорошенькая княгиня звонко трубила что-то в свой изящный рожок, но ее никто не слушал.

А за далеким горизонтом дымные облака продолжали клубить и тихо плыть на север.

XXI

Мы снова на Черном море.

По темно-бирюзовой, колеблемой тихим южным ветерком поверхности его, уже четвертый день плавно движется богатая галера, вышедшая из Трапезонта и держащая путь к Козлову, главному невольничьему рынку всего тогдашнего черноморского побережья. Галера украшена роскошно — во вкусе поражающей азиатской пестроты: разноцветные флаги и всевозможных ярких цветов ленты то купаются в прозрачном воздухе, когда совсем падает ветерок, то треплются и извиваются, как змеи, при малейшем дуновении зефира. Чердаки и сидения обиты белым кашемиром с золочеными кистями, которые так и горят на солнце.

Из люков громадной галеры выглядывают черные пасти пушек — галера вооружена солидно и может постоять за себя.

Обширные палубы, чердаки и подчердачья галеры вмещают до семисот богато разодетых и хорошо вооруженных турецких моряков и спагов, да до четырехсот пышных и своевольных янычар, которые не дадут в обиду богато убранную галеру и того, кто ею повелевает.

Наконец, до трехсотпятидесяти казаков-невольников, прикованных железными к галерным «опачинам», попеременно, день и ночь работают на веслах, двигая это изукрашенное чудовище по морю.

На галере находится сам славный Алкан-паша «трапезонтское княжа»: его трапезонтское сиятельство изволил ехать в Козлов для свидания с своею хорошенькою невестою, дочерью козловского санджака, или губернатора. Его обширная каюта, устланная богатыми коврами и уставленная по бокам низенькими турецкими диванами, убрана со всею восточною роскошью — серебром, золотом и бирюзою, блестящими кубками из золота и серебряною посудою.

Паша сидит на низеньком диване, поджавши калачиком ноги, и машинально тянет синий дымок из длинного чубука, поглядывая на море с полным бессмыслием человека, которому прискучили всякие наслаждения жизни. В тупом выражении его стоячих, немигающих глаз есть что-то, напоминающее оловянные, холодные глаза князя Иеремии Вишневецкого, как бы говорящие: «Все изведано, все надоело...»

Перед ним в почтительной позе стоит седоусый, сильно сгорбленный, с мигающими серыми, едва видимыми из-под седых бровей глазками, старик и молча, по старческой привычке, жуёт губами. Он очень стар, но лицо его все еще сохранило выражение лукавства и решительности. Это — доверенное лицо Алкана-паши, его главноуправляющий Иляш-потурнак, ренегат, бывший казацкий переяславский сотник, родом поляк. Тридцать лет он был в турецкой неволе, а теперь вот уже двадцать четыре года как получил свободу и своею охотою потурчился «ради панства великого, ради лакомства несчастного», подобно Марусе Богуславке.

— А что, мой верный раб, далеко еще до Козлова? — не поднимая глаз, спросил паша.

— Далеко еще, о тень падишаха! — отвечал Иляш-потурнак, низко кланяясь.

— Сегодня не доедем?

— Воля Аллаха!

— А где мы теперь?

— Против Черного камня, недалеко от Сары-Кермения. — Чтобы подтвердить свои слова, Иляш-потурнак раздвинул белый полог чердака — и перед сонными глазами Алкана-паши открылась дивная картина.

Из темно-синей глубины, направо от галеры, выползали, казалось, какие-то чудовища и тянулись к небу. То были мрачные базальтовые скалы, выходившие из моря, береговые

стремнины с причудливыми изломами. То были грозные и в то же время обаятельно чарующие очертания мыса Фиолента, где когда-то стоял храм Ифигении Таврической, — храм, с которым соединялось во все века столько поэтических преданий...

Кругом господствовала необыкновенная тишина, и только слышно было, как волны моря, словно живые, мерно разбивались о прибрежные скалы и где-то на камне или в воздухе плакалась чайка...

Влево синелось море, которому и конца не было; оно посылало свои волны к чудному берегу, и волны, плача мерным гекзаметром, рассыпались у берега белыми как снег слезами...

Ничего этого не видели бессмысленные глаза паши; только старые глаза Иляша-потурнака словно бы слезой заискрились под хмурыми седыми бровями... При виде этого берега и дивных скал, он вспомнил молодость, зеленый, холмистый берег Днепра, печерские горы и церкви с золотыми крестами... Он тихо вздохнул...

Солнце уже половиной своего диска окунулось в море и посылало багровый свет и облакам, и Крыму.

— Где ж мы ночевать остановимся? — снова спросил паша.

— Если прикажет мой повелитель, прибежище и щит невинных, если прикажет мой великий господин, то против Сары-Керменя, — отвечал Иляш-потурнак, скрывая невольный вздох.

— В море?

— В море, о тень падишаха: так легче смотреть за проклятыми собаками, за невольниками.

— А ты их крепче приковывай.

— Крепко приковываю, мой повелитель.

Южная ночь скоро спустилась на море, и галера должна была остановиться. Иляш-потурнак, взяв с собою двух янычар и приказав им зажечь фонарь, с огромною связкою ключей на руке пошел по рядам невольников, чтоб осмотреть цепи и замки, которыми они приковывались к «опачинам». Как ни привык он, в течение многих лет, к своему суровому ремеслу галерного ключника, однако всякий раз, как он становился лицом к лицу с несчастными каторжниками, в нем закипало что-то острое, жгучее — не то стыд, сверлящий сердце, бросающий кровь к старым щекам, не то тупая злоба на этих невольников, на себя, на пашу, на всю свою проклятую долю. Когда свет фонаря падал на ржавое железо, которое охватывало ноги или стон несчастного казака у «опачины», на рубли-

ща, покрывавшие только нижнюю часть его тела, на это исполосованное «червоною таволгою» тело или изможденное казачье лицо, обросшее волосами и изрытое морщинами тоски, голода и холода, — Иляш-потурнак невольно отворачивался от этого лица или прятал свои глаза под седыми бровями, а в его душе сам собою звучал скорбный припев думы:

Потурчився, побусорманився,
Для панства великого,
Для лакомства несчастного,
Для роскоши турецкой...

Долго ходил Иляш-потурнак по рядам невольников, долго звякали в темноте ключи его и невольничьи цепи. Но вот кто то окликнул его по имени.

— Пане Иляшу! Преклони ухо к молению моему! — слышался старческий голос.

— Кто меня кличет? — спросил Иляш, останавливаясь.

— Я, пане: Кишка Самойло, старец Божий и бедный невольник, а когда-то гетман славного войска запорожского.

Как ножом резануло Иляша-потурнака по сердцу. Он дрогнул и пошатнулся, когда янычары навели свет фонаря на говорившего невольника. Это был древний старик, хотя ни годы нравственных страданий, ни турецкие бичи и «червоная таволга» не согнали с его лица ни энергии молодости, ни прежней величавости казака, «каких на свете мало». Это был действительно Кишка Самойло, когда-то гетман славного Запорожья, а теперь вот уже тридцать лет бедный невольник.

— О чем твое моленье, Кишка Самойло? — дрогнувшим голосом спросил Иляш-потурнак.

— Мое моление сице, пане Иляшу, — отвечал Кишка Самойло, стараясь говорить «по письменному». — Зело стар есмь аз, пане, смерть моя за плещима моима стоит и в очи мои зазирает, аки орел сизокрылец, хотяй очи мои из лоба выклевать... Так молю тебя, пане Иляшу, — когда я помру в земле турецкой, в неволе басурманской, то не вели тело мое козацкое ни земле турецкой предавать, чужим песком мои очи козацкие засыпать, ни турецким собакам на растерзание, ни турецким птицам на расклевание метать, а повели тело в Черное море с камнем на шее вергнуть! Может, заплывет оно в Днепр, а Днепром до славного Запорожья...

Кишка Самойло замолчал. Иляш-потурнак стоял бледный и безмолвный.

— Так исполнишь мою волю, пане Иляшу? — помолчав, спросил Кишка.

— Исполню, — глухо отвечал потурнак.

— А мою? — слышался в темноте другой голос.

Иляш-потурнак обернулся на голос. Янычары навели фонарь на говорившего: это был тоже старенький, седенький невольник.

— Кто ты такой? — спросил Иляш.

— Я — Марко Рудый, когда-то был судья войсковой.

— А об чем просишь?

— Не просьба моя до тебя, потурначе, а позыв, — я зову тебя на страшный суд перед самого Господа Бога... Как будешь помирать — вспомни мои слова: на том свете мы с тобой увидимся.

Потурнак нахмурился и молча вышел, позванивая ключами.

Между тем Алкан-паша, выкурив на ночь трубку хашиша, спал в своей роскошной каюте; но сон его был тревожный; вместо сладких грез и чарующих видений, сонный мозг его угнетали страшные картины. Он видел себя на море, на этой же богатой, роскошной галере, разрисованной и изукрашенной. Но что случилось с этой галерой! Она вся оборвана, обагрена кровью, разграблена; дорогие ткани ее в клочках, цветные ленты посорваны, дорогие вещи растащены. Все его янычары порубаны, поколоты, в море побросаны, а все невольники раскованы и овладели галерою. Мало того: старый невольник Кишка Самойло его самого, Алкана-пашу, разрубил на три части и бросил в море... Но ни тогда, когда Алкан-паша видел гибель своей галеры и янычар, ни тогда, когда Кишка Самойло рубил его саблею на три части, Алкан-паша не проснулся: он проснулся только тогда, когда голова его, отделившись от туловища и скатившись с чердака, упала в море и стала погружаться в холодную воду...

Мучительно билось его сердце, когда он проснулся; но сознание и радостное успокоение воротились к нему, когда в каютное окошечко он увидел, что галера тихо стоит на море, а восток неба начинает розоветь утреннею зарею...

— Слава Аллаху! Это был сон! — невольно вырвалось у него из груди. — Но какой страшный сон!

Он задумался... Сон тревожил его...

Паша троекратно ударил в ладоши. На этот зов распахнулась занавес у дверей каюты и пред мутные и тревожные очи паши предстал Иляш-потурнак и низко поклонился, приложив обе руки к сердцу.

— Да будет благословенно имя Аллаха, пославшего сон и пробуждение тени падишаха! — сказал он, не подымая головы.

— Ля-иллях иль Аллах Мухамед расуль Аллах, — про-
бормотал паша.

— Спокоен ли был священный сон прибежища и щита угнетенных?

— Нет, не спокоен.

— Что же тревожило сосуд мудрости и благодати?

— Я видел страшный сон, и не знаю, как понять его... Я желал бы, чтоб кто-нибудь истолковал его мне... Кто это сделает, тому я — если он янычар — подарю три города, а если невольник — то ему я дам фирман на свободу, и никто его пальцем не тронет.

Иляш-потурнак стоял и смущенно переминался на месте.

— Какой же сон видело светлое око падишаха? — спросил он. — Может, я и угадаю, что он значит.

— Виделось мне, — начал паша, глядя куда-то своими черными, но какими-то бесцветными глазами и как бы созерцая то, что ему пригрезилось во сне, — виделось мне, что моя галера ободрана, ограблена, кровью вся залита, мои янычары все порезаны и в море потоплены, а невольники все раскованы и на галере хозяйничают... Меня же — о, сохрани Аллах! — меня Кишка Самойло, старший невольник, разрубил саблею на три части и бросил в море... Вот какой я страшный сон видел!

— О, солнце правды, месяц добродетели! — воскликнул потурнак. — Аллах сохранит тебя... А этот твой сон ничего не значит, прикажи только построже наблюдать за невольниками, вели их покрепче заковать в железа, да чтоб и не думали о воле — прикажи янычарам взять по два прута червонной таволги и бить ею каждого невольника, чтобы кровь христианская твою галеру окрасила, — тогда ничего не будет.

Паша махнул рукой.

— Хорошо, делай как знаешь: я тебе верю.

Скоро галера прибыла к Козлову и, еще не подходя к пристани, сделала из пушек несколько выстрелов. С козловской цитадели ей отвечали таким же числом пушечных приветствий.

С горьким чувством страха и какого-то немого укора смотрели невольники на этот ужасный город, в котором когда-то их, полонников, словно скотину татары на рынке продавали. Крепостные башни и тонкие иглы минаретов ярко очерчивались на голубом фоне южного неба. Пристань была полна турецкими галерами и кораблями других европейских наций. Пестрые флаги их, точно разноцветные птицы, реяли в воз-

духе. И над пристанью, и над всем городом стоял гул голосов, стук колес о камни — тот неуловимый рокот, которым, как бурным дыханием, дает о себе знать большой кипучий город. Невольникам казалось, что они издали слышат рыночный невольничий плач.

На берегу Алкан-пашу ожидала пышная встреча. Сам санджак, окруженный блестящею свитою из янычар и крымских татар, выехал на берег, чтобы как можно приветливее принять дорогого гостя и зятя. Алкан-паше подвели белого арабского коня с расшитым золотом и шелками седлом. Всю дорогу, от пристани до санджакова дома, играла музыка.

За Алкан-пашою вошли в город и его янычары, для которых уже было приготовлено угощение на рынке, на том самом роковом рынке, где всегда в Козлове шел торг невольниками.

Алкан-паша пировал у самого санджака. Но и во время пира у него из головы не выходил страшный сон, виденный им в эту ночь. А что, если Иляш-потурнак изменит? Что, если он, пользуясь тем, что все янычары пируют в городе, отдаст галеру в руки невольников и уйдет с галерою и невольниками в море?

Он велел позвать к себе двух верных евнухов-наушников, исполнявших у него в Трапезонте роли гаремных смотрителей и доносчиков, и для этой цели наученных языкам черкесскому, армянскому, греческому, польскому и украинскому. Евнухам он приказал тотчас же отправиться на галеру и наблюдать там за Иляшем-потурнаком и за невольниками, в особенности за Кишкою Самойлом.

Пробравшись тихонько на галеру, стоящую у берега, евнухи увидели, что Иляш-потурнак разговаривает о чем-то с Кишкою Самойлом. Они стали прислушиваться к разговору, спрятавшись за канатами.

— Иляше-потурначе, брате старесенький! — говорил Кишка Самойло. — Когда-то, брате пане, и ты был в такой неволе, как мы теперь... Брате! Добро нам учини — хоть нас, старшину, отомкни, пускай бы и мы в городе побывали, панское веселье повидали.

У потурнака глаза блеснули не то радостью, не то злобой — и мгновенно опять погасли.

— Ой, Кишка Самойло, гетман запорожский, батько козацкий! — отвечал Иляш, стараясь скрыть свою коварную улыбку. — Добро ты учини — веру христианскую под нозы подтопчи, крест на себе поломи... Когда будешь веру христи-

анскую под ноzi топтать — будешь у нашего пана молодого за родного брата пребывать.

— Ляше-потурначе, сотник переяславский, недоверок христианский! — с горечью воскликнул Кишка Самойло. — Пусть ты того не доедешь, чтоб я веру христианскую потоптал! Хоть буду до смерти беду да неволю принимать, а буду веру вашу поганую проклинать: вера ваша поганая и земля проклятая!

Теперь, в свою очередь, потурнак выпрямился и схватился было за саблю, но удержался.

— Проклятая! Проклятая! — звеня кандалами, повторял старый гетман-невольник.

— Так вот же тебе, собака!

И потурнак со всего размаху ударил в щеку седого гетмана. Все невольники как один вскочили с мест, гремя цепями, но «опачины», к которым они были прикованы, крепко держали их.

— Это тебе за веру христианскую, Кишка Самойло, гетман запорожский! — сказал потурнак, мрачно глянув по рядам невольников. — Будешь ты меня верой христианской укорять, то буду я тебя паче всех невольников доглядать, старыми и новыми кандалами буду ковать, цепями поперек вязать.

Соглядатаи-евнухи видели всю эту сцену и не проронили ни одного слова. После этого они так же тихонько ушли с галеры, как взошли на нее.

— Ну что? — спросил Алкан-паша, когда они воротились к нему.

— Будь покоен, могущественный повелитель! — отвечал один из них, низко кланяясь. — Твой раб верен тебе как собака.

— Бесконечно веселись, источник нашего веселья! — добавил другой. — Твой ключник Кишку Самойло пощечинами кормит — собаку к правоверию склоняет.

Успокоенный этими вестями, Алкан-паша велел отнести на галеру своему верному ключнику всякого корму и напитков, чтоб он пил за здоровье паша и его невесты.

Все было исполнено, как приказал паша.

Угостившись принесенными ему яствами и напитками, Иляш-потурнак глубоко задумался. Он разом почувствовал страшное одиночество, хотя вся галера была полна, и все это было ему родное, близкое, из той земли, где когда-то беспечно бегали его маленькие ножки, а невинная детская головка загадывала быть казаком... Он и был потом казаком, мало

того — казацким сотником... Что то было за время, что за пора золотая, невозвратная!.. Потом он попал в плен: вот в этом самом Козлове, полстолетия назад, его продали на рынке в Трапезонте, отцу вот этого самого Алкан-паши... Тридцать лет он был в неволе... А там — разум его помутился: он бросил свою веру, которой, однако, в глубине души продолжал сочувствовать... Он побусурманился, стал потурнаком... Стыдно ему было глядеть в глаза другим невольникам, и он возненавидел их. Он стал свирепым ключником — бичом невольников... И одиночество, сиротство его стало еще ужаснее...

Теперь, когда он так жестоко поступил с старым гетманом-невольником, ему стало еще тяжелее. В этом отчуждении от всего родного ему теперь мучительно вспоминалось все прежнее, далекое, милое, навеки утраченное. В виду этого чужого города, с чужим даже солнцем на небе, с этими высокими минаретами, ему вспомнились родные колокольни, родное солнце, знакомое пение в церквах...

Ему вдруг мучительно захотелось теперь поговорить с кем-нибудь об этой милой далекой родине, о родной вере, которую он променял на чужую, вспомнить молодые годы, перенестись мыслью в тот край, потерянный давно-давно, но постоянно живущий в сердце, как будто бы только вчера он пил днепровскую воду, как будто вчера слышал, как мать его поет за прялкою...

— Господи! — думалось ему. — Есть у меня теперь всего вдоволь — и поесть, и попить, да нет души родной, с кем бы поговорить об Украине, о родной вере, о родных людях...

Возбужденный и вином и своими думами, он встал и пошел к старому гетману-невольнику. Тот сидел прикованный к борту и молча смотрел, как на высоких башнях и минаретах медленно погасал багровый свет солнца, опускавшегося в море... Сколько лет уже он смотрит на этот закат солнца в чужой стороне и всякий раз вспоминает закат его там, далеко, в незримом родном краю...

— Прости меня, батьку! — упавшим голосом заговорил потурнак, приближаясь к гетману.

Последний поднял голову и грустно посмотрел на говорившего.

— Прости, батьку, — повторял потурнак.

— Бог простит, и я прощаю...

Через минуту потурнак, припав на колени, дрожащими руками размыкал кандалы на руках и на ногах у гетмана.

— Пойдем, батьку, ко мне... Я тебя угощу... да об вере христианской поговорим...

У старого гетмана блеснул в глазах какой-то таинственный огонек, но он силою воли загасил его и молча пошел за потурнаком, провожаемый недоумевающими взглядами других невольников...

XXII

Иляш-потурнак привел старого гетмана в свою каюту, что была бок о бок с роскошною каютою пашы, и стал угощать его всем, что у него было. Гетман не отказывался от угощения, но пил очень осторожно, между тем как потурнак, уже и без того подвыпивший, теперь, на радостях, что по душе сошелся с почетным земляком, глотал разнообразные вина чарку за чаркою, постоянно чокаясь с дорогим гостем. Он уже не замечал, как гость, вместо того чтобы подносить чарку к губам, через каютное окошечко ловко выливал ее в море. Он только бессвязно бормотал об Украине, о проклятой турецкой вере, о том, что он поневоле сделался галерным ключником.

Кончилось тем, что потурнак, во время самого разгара угощения, положил голову на стол и, бормоча бессвязные речи, заснул.

Старый гетман, оглядевшись кругом и убедившись, что пьяный потурнак спит мертвецким сном, упал на колени и стал тихо молиться. Седая голова его долго лежала на полу каюты. Но вот он приподнялся...

— Господи! Изведи из темницы душу мою и души рабов твоих, казаков, — шептал он, поднимая руки к небу.

Затем он встал, тихо отстегнул от пояса потурнака огромную связку ключей и спрятал их в карман широчайших, давно истрепанных казацких штанов своих.

Осторожно выйдя из каюты и затворив ее, гетман тотчас же бросился к невольникам и торопливо стал отмыкать их кандалы...

— Батьку Мати Божа — невольно вырвалось у несчастных.

— Молчите, детки! Тише, тише! — останавливал их гетман.

— Батьку родный! Господи!

Расковав несколько человек, гетман разделил между ними всю связку ключей.

— Идите, детки, один другого отмыкайте, да только кандалы с ног и с рук не скидайте, а полуночной поры поджидайте.

— Добре, батечку родный, добре!

— Да ключи, детки, назад мне принесите.

— Принесем, батьку.

Казаки бросились расковывать друг друга. В несколько минут все невольники были раскованы, но кандалов с себя не снимали.

Получив обратно ключи, старый гетман пошел с ними в каюту потурнака. Тот продолжал спать, всхрапывая на всю галеру. Кишка Самойло снова прицепил ему ключи к поясу и осторожно взял за плечи.

— Брате Иляше! Брате Иляше! — будил он спящего.

— Какого тебе черта! Прочь! — бормотал пьяный.

— Да ты б лег на постель; иди — я доведу тебя...

— А ключи где?

— Вот, у тебя на поясе.

Пьяный ощупал связку ключей.

— Добре... веди меня... а сам пей...

С трудом Кишка уложил пьяного на койку, и, трижды перекрестившись, вышел из каюты.

Воротившись на свое место, гетман, по примеру других невольников, вложил свои руки и ноги в кандалы, да кроме того обмотал себя трижды особою железною цепью.

Между тем ночь давно же окутала мраком и землю, и море. По городу и по пристани кое-где мигали огоньки. Дневной шум стихал, замирая, тишина опускалась и на город, и на пристань, и на море; только лай собак от времени до времени нарушал ночное безмолвие.

Скоро, однако, берег оживился и замигал огоньками. Это Алкан-паша, в сопровождении янычар, возвращался к себе на галеру.

Он взошел на палубу, с частью своего экипажа, так как большая часть янычар, наугощавшись в городе, повалилась спать прямо на пристани, вповалку. Менее пьяные остались с пашою, который, взойдя на галеру и увидев, что все невольники сидят на своих местах, прикованные к «опачинам», остался вполне доволен порядком на судне и своим верным ключником, хотя этот последний, против обыкновения, и не вышел его встретить. Паша понял, что его ключарь пьян, и не велел его будить.

— Не шумите, — сказал он, обращаясь к своему экипажу, — пускай спит мой верный раб — ему нужен отдых.

Пройдитесь по рядам невольников и осмотрите, все ли они хорошо закованы.

Янычары зажгли фонари и отправились на ревизию. Но так как и они все были порядочно навеселе, то и осмотр произвели поверхностный: убедившись, что кандалы у всех невольников на месте, они уже не обратили внимания на замки и доложили своему владыке, что все обстоит благополучно.

— Почивай спокойно, звезда Трапезонта! Аллах за тебя не спит, — сказал первый евнух.

— Не бойся ночи, солнце Анатолии! Верного тебе Аллах послал ключника: он всех невольников рядами посажал, ручными и ножными кандалами их сковал, а Кишку Самойла тремя цепями связал, — пояснил другой.

Алкан-паша окончательно успокоился, и голова его, отяжелевшая на пиру, погрузилась в глубокий сон... Ему грезились его золотокошая, с глазами газели, невеста, прелестная Фатьма, и мрачные видения уже не терзали его... Он плыл с своею красавицею по Босфору и по Золотому Рогу, а с берега им салютовали цареградские пушки...

Мертвым сном спала и вся галера...

Нет, не вся... Вон кто-то поднимается среди рядов невольников... Месяц, выглянувший из-за тучи, серебрит чью-то голову... Это седая голова Кишки Самойла... Он тихо снимает с себя цепи, так тихо, что не одно звено не звякнет, — поднимает голову к небу, крестится, а потом нагибается через борт... Тихое звяканье цепей... плеск воды... Это цепи рабства и неволи упали в море...

Старый гетман осторожно пошел по рядам невольников, из которых ни один не спал: все ждали рокового момента и у всех в руках находились кандалы, снятые тотчас по осмотре их янычарами и евнухами.

— Ну, детки, панове молодцы, пускай вам Бог помогает! — говорил Кишка, проходя по рядам. — Теперь кидайте кандалы в море, да только железом не брязчите — турчина не будите.

Сонное море, тихим, но могучим дыханием дышавшее у берега, сотнями всплесков отвечало на эти слова старого гетмана: это падали в море кандалы, столько лет до костей протиравшие казацкое тело в горькой неволе. Месяц, совсем выбравшись из-за туч, обливал бледным светом эти полуголые, прикрытые рубищем тела, эти косматые, нечесанные, но теперь высоко поднятые головы, эти худые, загорелые, изможденные, но теперь трепетавшие счастьем и энергиею лица.

— Детки, — продолжал тихо гетман, — забирайте теперь у сонных янычар сабли булатные, да мечи острые, да мушкеты.

Казаки, как кошки, тихо расползлись по галере, ища оружия. Скоро они опять собрались около гетмана — кто с ружьем, кто с саблей, кто с кинжалом.

— А мой турчин было проснулся, так я его на месте заколол.

— А я руками, как собаку, задавил.

Так перешептывались казаки, добывшие себе оружие.

— А теперь, детки, — сказал гетман, — половина вас на пристань выходите, да там сонных янычар рубите, а мы уж тут другою половиною справимся с галерою.

Месяц снова спрятался за тучу, как бы для того, чтобы не глядеть на то кровавое дело, которое должно было совершиться на его глазах. Темные тени, сверкая во мраке клинками кинжалов и шашек, сошли с галеры на берег и как бы растаяли во мраке и в ночной тиши...

Скоро в темноте послышались слабые крики и стоны: «О-о!.. Алла! О-о!..»

И галера застонала и зазвенела оружием. Слышались глухие вскрики, удары, неясный говор, иногда отчаянный вопль и частые всплески воды — всплески падавших в море турок.

В этой поголовной сече Самойло Кишка взял на свою долю Алкан-пашу, сказав предварительно казакам, чтоб не трогали одного Иляш-потурнака.

— Пускай он у нас, детки, за «ярызу войскового» останется.

Когда старый гетман вошел в каюту Алкан-паши, этот последний сладко спал, раскинувшись на широкой оттоманке и улыбаясь чарующим видениям. Кишка остановился в глубоком раздумье. На обнаженной сабле, которую он занес над головою спящего и которая несколько дрожала, играл причудливый свет всяческой лампы, тихо качавшейся вместе с плавным покачиванием галеры. Светом лампы искрились и мишурные с золотом и серебром украшения каюты.

Кишка глянул на всю эту роскошь, потом на свои лохмотья, снова перенес взоры на золото и серебро, сверкавшие на украшениях...

— То наши слезы, — прошептал он, — это кровь наша... Помоги, Боже!.. Пускай спит вечно...

Сабля сверкнула и врезалась в толстую, белую шею спящего... Глаза паши открылись, страшно глянули в глаза гетмана...

— Га! Узнал меня, башо!.. Так прощай же!

И сабля гетмана вторично еще глубже врезалась в белую шею. Голова паши отделилась от туловища и стукнулась глухо о пол каюты.

— Голова думала злое, а руки злое творили, — сказал раздумчиво гетман.

Сабля снова сверкнула — и правая рука паши отлетела прочь у самого плеча. Старый гетман, вздев на саблю мертвую голову и взяв отрубленную руку, с которых капала черная кровь, вышел на палубу. Его окружили казаки, уже покончившие с турками и переменявшие свои рубища на богатое платье янычар.

— Что, детки, порешили? — спросил гетман.

— Порешили, батьку, — был ответ.

— А это их matka, — пояснил гетман, — высоко поднимаемая мертвую голову, — это его правая рука... Голова, голова! Злое еси думала, а еще злейшее твоя рука творила... пусть же вас земля не принимает!

И он бросил голову и руку в море.

Труп паши был вытащен за ноги и также брошен в воду. Это был последний глухой всплеск моря, — всплеск, которым завершилось кровавое дело на галере.

Затем Кишка распорядился, чтобы половина казаков тотчас же села за весла и выгнала галеру в открытое море, подалее от Козлова, а другая занялась бы очисткою палубы от крови и приведением всего судна в надлежащий порядок.

— Сегодня, детки, у нас суббота, а завтра святое воскресенье, — сказал он, — так надо, чтоб было нам где на чистом помолиться, милосердного Бога поблагодарить.

Утреннее солнце озарило галеру во всем ее блеске и красоте. По палубе ходили и сидели кучками казаки в богатых янычарских нарядах. Правда, кое-где на этих нарядах виднелась черная запекшаяся кровь, зияла прореха от сабли или кинжала, обведенная кровавою каймою, темнели кровавые пятна то на куртках, то на шароварах; но зато лица казаков были праздничные, оживленные. А тут это утро, тихое, яркое, роскошное; это голубое небо над головами, это темно-бирюзовое море под ногами... А вдали за ними, как бы все более и более утопая в море, тянулась дымчатая полоса земли — край прекрасный, роскошный, но проклятый по воспоминаниям горькой неволи... Крым все более и более уходил из глаз.

Вдруг на палубе появился Иляш-потурнак. Увидев казаков и заметив что-то необыкновенное вокруг себя, он дрогнул всем телом, глянул кругом — на море, на небо, на дымчатую

полосу земли, уходящей из глаз, и в изнеможении, в отчаянии упал на колени. Седая голова его повисла на грудь, руки сложились как бы для молитвы.

— Что, ляше? — тихо сказал гетман, подходя к нему.

Потурнак припал головой к ногам Кишки и застонал.

— Не горюй, брате, — также тихо и ласково проговорил гетман, — теперь тебе будет с кем об вере христианской поговорить.

Потурнак поднял свое бледное, искаженное лицо.

— Гетман! Батьку казацкий! — с силою отчаяния воскликнул он, всплеснув руками. — Батьку! не будь же ты таким со мною, каким я был с тобою... Пощади мою седину!

Безнадёжный взор его блуждал по небу, по морю.

— О, тяжки мой грех, Господи, тяжки! — стонал он.

Но вдруг глаза его блеснули и приковались к чему-то далекому на синеве моря... Он весь превратился в зрение...

— Батьку! — воскликнул он громко, почти радостно. — Бог тебе помог врага победить, да только не сумеешь ты в землю христианскую вернуться... Погляди на море!..

И он указал рукою по направлению, куда сам глядел напряженно. Старый гетман обернулся и посмотрел туда же. Все головы казаков обратились по указанному направлению.

— Видишь, батьку? — спросил Иляш.

— Вижу, — отвечал гетман.

— А знаешь, что оно такое?

— Нет, не знаю... Может галеры...

В далекой синеве, на поверхности моря, белели какие-то точки.

— То галеры турецкие, — сказал потурнак, — то двенадцать галер бегут из города Цареграда, чтоб Алкан-пашу с его невестою поздравлять... как ты им будешь ответ давать?

Старый гетман задумался. Если то, что говорил потурнак, было правда, то только что спасшимся невольникам угрожала гибель неминуемая: двенадцать галер — их уже теперь можно было различить — на всех парусах, надуваемых ровным утренним ветерком, летели по направлению к казацкой, бывшей Алкан-паши, галере. Разве вступить в бой и погибнуть?.. Так жаль этих бедных невольников, молодых, у которых впереди еще много жизни, которых ждет родина, милые сердцу... И затем ли все было так счастливо совершено, чтоб теперь, и именно теперь, погибнуть?.. Холод проник в душу старого гетмана.

— Сам вижу, что галеры! — тихо, в глубоком раздумье сказал он.

Потурнак встал. Глаза его светились.

— Батьку! — сказал он, взяв гетмана за руку. — Добре ты учини — половину казаков в оковы к опачинам посади, в невольничье лохмотье наряди, а другую половину в дорогое турецкое платье одень; турки и будут думать, что это Алкан-паша на своей галере по морю гуляет. А я уж знаю, как их от нашей галеры отогнать да в Царьград направить.

Едва только половина казаков успела вновь превратиться в невольников и усесться на местах, с веслами в руках, как турецкие галеры были уже на расстоянии пушечного выстрела. Грянул выстрел, другой...

Иляш-потурнак, схватив белый турецкий флаг — «завивало» — быстро взошел на чердак и стал махать этим «завивалом». Выстрелы тотчас же смолкли.

— Нет Бога, кроме Бога, и Магомет пророк его, — закричал потурнак «раз-то по-грецки, другой по-турецки», как говорит дума, — не стреляйте, ради Аллаха, правоверные! Не будите моего господина, пресветлое солнце Трапезонта: он теперь спит, порядком погуляв в Козлове.

Турецкие галеры, услышав это предостережение, повернули к Козлову и только издали выпалили из двенадцати пушек в честь Алкан-паши, на что казацкая галера отвечала им семью выстрелами — «ясу воздавала».

— Спасибо тебе, брате Иляше, — сказал гетман, обнимая потурнака и провожая глазами удалявшиеся галеры, — теперь я тебя буду за родного брата почитать.

На глазах потурнака выступили слезы, но он ничего не сказал; он чувствовал, что последней услугой казакам он купил многое, но ужасное прошлое все еще стояло у него за спиной, и никакими молитвами он не мог замолить его ни перед Богом, ни перед Украиной.

Казаки снова собрались на палубе. Многие из них радостно крестились.

— Хвалим Тя, Господи, и благодарим! — торжественно воскликнул гетман. — Был я пятьдесят четыре года в неволе, а теперь не даст ли Бог хоть час пожить на воле!

Казаки молились и плакали, работая на веслах. Галера их неслась птицею, все более и более удаляясь от постылой, проклятой земли турецкой. Вот уж она совсем утонула в море. А там, казалось, синеватою дымкою выступала из воды земля христианская, дорогая Украина.

Нет, далеко еще была милая Украина: из воды выступал туманный остров Тендра.

С островом, или, вернее, с полуостровом Тендра, как и со всем побережьем Крыма, соединены исторические и поэтические воспоминания самой глубокой, мифологической древности. Это был самый дальний предел мира, куда только достигало пламенное воображение классического грека или куда могли пробираться только такие полумифические личности, полубоги и полулюди, как Ахиллес или Одиссей. На возвышенном мысе, у конца Тендры, стоял некогда храм, окруженный священной рощею Гекаты, а недалеко от этой рощи находилось ристалище Ахиллесово — «дромос Ахиллеос», где этот герой древности скакал на своих диких конях, готовясь к нечеловеческим подвигам. Роща Гекаты и до сих пор зеленеет, шелестом листьев навевая воспоминания о седой, невозвратной классической старине и ее чарующей поэзии.

Ничего этого не знали и ни о чем подобном не вспоминали казаки, подъезжая к этому поэтическому острову; они вспоминали только о своей поэтической Украине, о ее рощах — «гаях зелененьких».

Но что это темнеется около острова Тендра? Не то гуси плавают стадами, не то лебеди. Нет, не гуси то и не лебеди.

Недалеко от рощи Гекаты, вдоль всего берега, словно зашнувшие на воде утки, чернеются казацкие чайки, а среди них, подобно огромным птицам-бабам или бакланам, высятся галеры, отнятые казаками у турок как около Кафы, так и в Синопе и среди открытого моря. Это — флотилия Сагайдачного, возвращающаяся из своего далекого и славного подвигами похода — в землю христианскую «на тихие воды, на ясные зори».

По берегу бегают курчавенькая, черноглазенькая татарочка и с веселым лепетом собирает красивенькие камушки и раковинки. Тут же сидят казаки, курят люльки и любят свою дивчинкою. Олексий Попович не спускал с нее глаз, боясь, чтобы она не упала в воду. Хома, смастерив из камыша нечто вроде ветряной мельницы, дул на нее в отверстие пустой камышинки, необыкновенно раздувая свои красные и без того раздутые щеки, и мельничка вертелась.

Несколько в стороне, на том самом месте, где находилось когда-то знаменитое «дромос Ахиллеос», три острожские товарища, веселый сероглазый Грицько и черномазый Юхим, некогда возившие на себе в «чертопхайке» патера Загайлу, и острожский друкарь, Хведор Безридный, пробовали добытые в походе самопалы и стреляли в цель. Мишенью служила

старая шапка, вздетая на воткнутое в землю копьё. Все они одеты были в дорожное турецкое платье и увешаны оружием. Хведор Безридный уже не смотрел робким друкарем: он пополнил, загорел, превратившись в боевого казака, в «лыцаря», что и доказал своею беззаветною храбростью в походе, так что сам Сагайдачный обратил на него внимание и отличал перед прочими казаками. У бывшего друкаря был теперь свой собственный джура — оруженосец, в которые охотно пошел один из молодых невольников, родом москаль, спасенный друкарем в Синопе от турецкой сабли.

Джура стоял недалеко от мишени и наблюдал за выстрелами.

Первым выстрелил Грицько.

— Попал? — спросил он, когда рассеялся дымом.

— Нету, мимо, — отвечал джура.

Выстрелил Юхим и схватился за щеку: ружье, заряженное не в меру, отдало.

— Ой, аспидское!.. Попал?

— Попал, да не туда — пальцем в небо.

— Попал себе в лоб, — усмехнулся Грицько.

Прицелился и Хведор Безродный. Последовал глухой удар. Шапка повалилась вместе с копьём.

— А что, джуро?

— Попал, как пить дал, — радостно отозвался джура, — в самую точку угодил.

Между тем у самого мыса полуострова Тендры, в хвосте казацкой флотилии, стояла большая, отнятая казаками на море турецкая галера, которая на этот раз исполняла «вартовую» или сторожевую службу. На верхнем ее чердаке стоял пожилой казак, с загорелым, открытым лицом и, оттенив ладонью глаза, смотрел пристально вдаль. Это был один из куренных атаманов, веселый казак Семен, но прозвищу Скалозуб, названный так потому, что на его добродушном лице при малейшей улыбке, словно перламутры, сверкали из-под густых усов белые зубы. Семен Скалозуб почесал у себя за ухом, оглядел кругом море, снова оттенил глаза ладонью и тихонько свистнул.

На свист его оглянулись другие казаки, которые, сидя в холодке, под пологом, развлекались невинною игрою — плевали в море: тот, кто дальше всех плевал, драл за чуб того, кто плевал всех ближе.

— Эй, панове молодцы! — окликнул их Семен Скалозуб.

— А-гов! — отозвались казаки.

— А поглядите, панове, не галера то?

Казачи повскакали с мест и бросились на чердак.

— Да, галера, пане отамане, — отозвался вскоре тот из них, который недавно передрал за чуб почти всех своих товарищей.

— Да галера ж, да еще и разрисованная, — подтвердили другие.

— Я и сам вижу, что галера, — согласился Скалозуб, — а что она такое есть галера — не то она блудит, не то светом нудит?

— Бог его знает, — отвечали казаки.

— Так вы, хлопцы, — продолжал Скалозуб, — заряжайте пушки, да галеру грозною речью встречайте, гостинца ей дайте.

— Вот тебе на! — махнул рукою тот, который всех драл за чуб.

— А что? — удивился Скалозуб.

— Что! Верно ты, батьку отамане, сам боишься и нас казаков страмишь: сия галера ни блудит, ни светом нудит.

Скалозуб посмотрел на него еще с большим удивлением.

— Так какая ж галера?

— Да это, может, давний бедный невольник из неволи убегае.

— Невольник? На такой галере?

— Да невольник же.

— Ты почем знаешь?

— Коли б не знал — не говорил.

— Ова!

— Турки б не полезли прямо нам в глаза.

Но осторожный Скалозуб не согласился с этим доказательством и велел зарядить пушки.

Казаки должны были повинаться, тем более что неизвестная галера быстро приближалась к сторожевому посту. Грянуло разом несколько пушечных выстрелов. Быстро приближавшаяся галера дрогнула всем корпусом и остановилась: выстрелы с сторожевой галеры пробили три доски у самой воды. Послышались крики с пробитой галеры. Какой-то старик, с седою по пояс бородою, в турецком одеянии, показался на чердаке. В руках его трепалось красное «хрещатое», истрепанное казацкое знамя. Старик махал им в воздухе и кланялся. До сторожевой галеры отчетливо донеслись слова, сказанные чистою казацкою речью.

— Ой, козаки, панове молодцы! — звучал старческий сильный голос. — Се есть не турецкая галера, а се есть давний бедный невольник, Кишка Самойло, из неволи убегае.

— Кишка Самойло! — воскликнул Семен Скалозуб. — Господи!

— Он, панове, с козаками, — отвечал старик, махая казацкою хоругвью, — были пятьдесят четыре года в неволе, а теперь не даст ли Бог хоть час погулять на воле!

— Тонем! Тонем! — раздавались отчаянные голоса, pokrивавшие слова Кишки.

— Спускай лодки. Ратуйте бедных невольников, детки! — крикнул Скалозуб.

Козаки, скидая торопливо шапки и крестясь, стремглав бросились в лодки и в несколько ударов весел успели подлететь к медленно потопавшей галере. Слышно было, как вода клокочущими фонтанами вривалась в ее пробоины, и галера, скрипя и покачиваясь, осаживалась все глубже и глубже.

Козаки зацепили ее баграми, бросили на борт канаты, которые были схвачены потопавшими невольниками, и общими усилиями потащили галеру к берегу.

Между тем к этому месту берега, привлеченное выстрелами и суматохою около сторожевой галеры, высыпало все казачество. Узнав в чем дело, увидав, что это убегают из турецкой неволи бедные невольники и что с ними находится давно пропавший без вести старый батько Кишка Самойло, козаки радостно бросали вверх шапки, а другие стреляли в воздух из мушкетов, салютуя спасшимся товарищам.

Пришел и Сагайдачный с старшиною. Увидав Кишку Самойла они невольно остановились: седая голова старого гетмана припала к земле, которую он целовал, обливая слезами.

Когда он поднялся, Сагайдачный, приблизясь к нему, поклонился в ноги и с глубоким чувством проговорил:

— Здоров будь, здоров будь, Кишка Самойло, гетман запорожский! Не загинул еси в неволе, не загинешь с нами козаками на воле!

Один Иляш-потурнак стоял в стороне, как отверженный, боясь приблизиться к бывшим своим товарищам и землякам.

XXIV

Последняя стоянка казаков на полуострове Гендры вызывалась серьезными стратегическими соображениями. Казацкой флотилии, достаточно погулявшей по Черному морю и оставившей после себя кровавые следы как в Крыму, так и в Малой Азии, в Анатолии, предстояло теперь возвращаться восвояси, к «Днепру-Слауте, на тихие воды, на ясные зори».

А это нелегко было сделать: вход в Днепр сторожили такие грозные турецкие крепости, как Очаков и Кызыкермен. Если казаки, выступая в поход, успели благополучно пробраться мимо этих твердынь, так это потому, что тогда их турки не ждали. Теперь же, после того как казаки «до фундаменту опровергли» Кафу и Синоп, взяли с бою в открытом море несколько галер и «мушкетным дымом окурили» самые предместья Стамбула, после того как они навели ужас на все побережье Черного моря, и испуганный султан думал уже бежать из своей столицы, на азиатский берег своих босфорских палестин, — после этого казаки должны были знать, что возвращения их в Днепр турки ждут, и ждут не с пустыми руками.

Теперь казакам предстояло пробиваться сквозь убийственный огонь турецких батарей Очакова и Кызыкерменя и, кроме того, выдержать, может быть, атаку целой турецкой флотилии в устьях Днепра.

Старая голова Сагайдачного все это сообразила, взвесила и пришла к решению: «У шоры убрать проклятых янычар» — провести, обмануть, на сивой кобыле объехать.

При входе в Днепр, параллельно полуострову Тендры, тянется длинная коса, ныне Кинбурнская, против оконечности которой, по ту сторону днепровского лимана, стоит Очаков. Коса эта тогда называлась Прогномем.

Сагайдачный порешил: после роздыха на Тендре, всю легкую казацкую флотилию, то есть все чайки, волоком перетащить через Прогнойскую косу и таким образом неожиданно-негаданно очутиться в Днепре на несколько верст выше Очакова. Казацкой воловьей силы на это хватило бы.

Так как взятых в плен турецких галер, нагруженных всякою добычею, по их массивности нельзя было перетащить волоком через Прогной, то Небаба, Дженджелий и Семен Скалозуб с частью казаков должны были на этих галерах пробиться мимо Очакова и, если нужно, сквозь турецкие галеры, памятуя при этом, что едва лишь казаки вступят в бой с турками, и с той и с другой стороны заговорят пушки, — Сагайдачный с своею флотилиею как снег на голову ударит туркам в тыл и покажет им, как козам рога правят.

— Это, значит, тертого хрену, — моргнул усом Небаба, выслушав план казацкого батька.

— Се б то, як кажуть, нате и мий глек на капусту, — усмехнулся Мазепа Стецько.

В первую же ночь после стоянки у острова Тендры, казацкая флотилия подошла к Прогнойской косе, и тотчас же

началось перетаскивание чаек в Днепр. Делалось это с крайнею осторожностью и при необыкновенной тишине. Сначала отправлено было несколько опытных казаков для осмотра наиболее удобного перевала и для удостоверения в том, что по ту сторону косы берег Днепра свободен от неприятеля. Карпо Колокузни, который распорядился этим осмотром местности, скоро воротился с своими товарищами и доложил старшине, что перетаскиваться можно безопасно.

Работа закипела быстро. И казаки, и бывшие невольники, и старшина — все участвовало в этой дружной «войсковой» работе. Героем этой ночи был глуповатый, но необыкновенно способный к этому делу силач Хома: он таскал чайки по песчаной косе с такою легкостью, словно бы это были салазки, скользившие по укатанному снегу. Более всех дивился этой силе болтливый орлянин.

— Уж и богатырина же, братцы, Хома ваш, — шептал он, качая головой, — такой богатырина, что ни в сказке сказать, ни пером написать... Уж и диво же дивье!.. Сказать бы Илья Муромец — так и то в пору будет... Ишь ево прет, инда писком пищить посудина-то!

Еще утро не занималось, а все чайки были уже на той стороне косы, размещенные вдоль берега и уткнутые в камыши, словно утки. Все казаки были на своих местах, по чайкам, и гребцы сидели у уключин, держа весла наготове.

Ночной мрак окутывал и Днепр, и противоположный его берег где, несколько ниже, расположен был Очаков. С этой стороны доносился иногда собачий лай, да в камышах крякали по временам проснувшиеся утки. К утру в траве задергали коростели, да иногда высвистывала знакомая казакам ночная птичка — «овчарик».

«Где-то Небаба с галерами?» — думалось каждому. Успеет ли он вместе с своими товарищами, с Дженджелием и Семеном Скалозубом, пробраться мимо крепости... Ему не привыкать-стать обманывать и турок, и татар. Говорят, он «характерник»: щукою иногда перекидывался и на дне Днепра карасей себе ловил на завтрак. А по ночам он пугачем обертывался и за ночь успевал из Сечи долетать до Кафы и до Козлова, и там стонал на высоких минаретах, чтоб бедные невольники могли его услышать и догадаться, что это пугач прилетел к ним с Украины и принес весточку о далекой родной стороне. Вот если б и теперь он сам перекинулся окунем, либо щукою, и галеры бы свои рыбами поделал, да и проплыл бы под водою мимо Очакова!..

Вдруг что-то глухо стукнуло и покатилося; отзывчивое такое же глухое эхо отстукнуло в камышах. Это пушка. Вот еще грохнуло, и еще, и еще...

Что-то черное мелькнуло над ним самим и заставило его невольно закрыть глаза. Открыв их снова, он увидел, что на груди у него сидит ворон. Он пробирается к его глазам... Глаза человека и глаза ворона встретились... Как ошпаренный, ворон взмахнул крыльями и шархнул в сторону... Испугался!.. Его еще боятся вороны...

Что же случилось? Зачем он лежит тут? Кто его бросил? Кто бросил всех этих?..

Солнце косыми лучами бьет ему в глаза... Больно глазам... Он закрывает их и старается припомнить что-то...

Что-то зашуршало травой у самой его головы... Он открывает глаза — опять голубое небо!.. Куда от него спрятаться!.. Но тут что-то шевелится над головой... Он всматривается: это зеленая ящерица своими цепкими лапками взобралась на стебель сухого чернобыльника и глядит на него черненькими глазками... «О-ох!» — и ящерица юркнула в траву.

Где же море? Где Днепр? Куда девались чайки, казаки?..

Вспомнил!.. Не доезжая Кызыкермена, они увидели на берегу табун оседланных коней... Это были татары, возвращавшиеся из Украины: они пустили стреноженных коней, а сами улеглись спать. Отряд казаков вышел на берег из чаек и захватил этот табун... И на долю Хведора Безродного досталось два добрых коня... Потом напали на спящих татар, побили их, — и он, Безродный, бил их... И там, так же, как здесь казаки, лежат порубанные татары и смотрят на голубое небо...

Вспомнилось дальше, да такое странное, непонятное: за Кызыкерменем на них напали другие татары — много их, как саранча... Гудят, воют, алакаают... Обступили и его, Хведора Безродного... А дальше он опять ничего не помнит: должно быть, его убили... Отчего ж он еще не на том свете? Так это, значит, душа его еще ходит по мытарствам — сорок дней ей ходить... Зачем же она не ходит по знакомым, но родным местам? Зачем она не на Украине, а на этом чужом поле, усеянном мертвецами?..

А кто это идет по полю и ведет двух коней в поводу... Что, кого он ищет?.. Ходит между мертвецами, нагибается к ним, рассматривает, качает головой... Вороны испуганно снимаются с мертвецов и разлетаются по сторонам...

Кто ж это такой?.. Да никак джура Ярема, молодой синопский невольник из москалей, из Ельца. Да, это он, и у

него в поводу его, Федоровы, кони, что он захватил за Кызыкерменем... Он силится крикнуть, позвать джуру, но только стонет, да так слабо, глухо, а в груди, кажется, все обрывается и душа вылетает из тела... Глаза сами собой закатываются под лоб — и ничего больше не видят: ни джуры с конями, ни голубого неба, ни склоняющегося к закату солнца...

Когда он открыл глаза, то увидал, что джура стоит над ним на коленях и плачет.

— Это ты, джуро Яremo?

— Я, паночку милый.

— Я убит, джуро?

— Нету, не убили тебя, а только поранили, паночку милый.

Раненый опять закрыл глаза. Джура снял висевшую на плече фляжку и тихо влил красной жидкости в открытый, с запекшимися губами, рот казака. Мертвенное лицо раненого как бы оживилось и глаза взглянули осмысленнее.

— Дай еще, джуроньку, — прошептал он.

Джура исполнил его просьбу, влив несколько капель в рот умирающего.

— Все побиты?

— Все, паночку милый: один я убежал.

— А где те что в чайках?

— Они, полагать надоть, плывут благополучно Днепром... Этот проклятый Кызыкермень проплыли по вашей милости, а вы вот, паночку, на поди... помираете за них...

Раненый помолчал немного, закрыв глаза и тихо шевеля губами. Джура отвел волосы от его лба.

— Жарко мне... печет меня, — прошептал раненый.

Джура, отломив от ближайшего кустика калиновую веточку, стал махать ей над лицом умирающего. Тот опять открыл глаза. Взгляд его упал на оружие, которое валялось тут же, — на саблю и мушкет.

— Кому-то мое добро достанется? — тихо вздохнул он.

Джура молчал. Вороны продолжали каркать, трапезуя на более отдаленных трупах.

— Джуро Яremo! — снова прошептал раненый. — Возьми мое добро... Дарую тебе, джуро, по смерти моей и вороного коня, и того другого, белогривого, и тягеля червонные, от пол до ворота золотом шитые, и саблю булатную, и пицаль семипядную...

Он остановился, чтобы перевести дух. Джура продолжал по-прежнему молчать, только слезы тихо катились по его худым, загорелым в неволе щекам.

— Не плачь, джуро! — как бы оживился немного умирающий. — Садись ты на коня, подвяжи саблю: пусть я посмотрю, какой из тебя будет казак.

Джура молча опоясался саблею, перевесил через плечо мушкет, вскочил на коня и тихо проехался между трупами.

Когда он воротился к умирающему, тот тихо, но горько плакал.

— Благодарю тебя, Господа милосердного, — шептал он, — что доброму человеку мое добро достанется: будет кому за меня Бога молить.

И он снова закрыл глаза от крайнего истощения. Тихо кругом.

Но что это за шум?.. Отдаленный гул несется от Днепра — не то гусиный или лебединый крик, не то эхо многих человеческих голосов.

Лицо умирающего судорожно передернулось и все тело как бы вытянулось. Он открыл глаза и напряженно прислушивался: далекий гул, казалось, приближался.

— Джуро Яремо, слышишь?

— Слышу, паночку милый.

— А что оно такое?

— Не знаю, паночку: може, лебеди кричат, може, казаки шумят.

Раненый силится поднять голову, но она опять бессильно падала на землю.

— Джуро Яремо! Садись на коня, да ступай ты по-над тем лугом да по-над Днепром-Славутою — посмотри, что там такое.

Джура перекрестился, вскочил на коня и, взяв другого коня в повод, поскакал по направлению к Днепру.

Умирающий остался один... Слух его все еще жадно ловил далекий, неясный гул, но воронье карканье раздавалось все назойливее и назойливее, оглашая собою все поле...

И ему опять вспомнился старый город, зеленые сады, журчащая и обмывающая старые корни тополя Горынь, мрачная, с закоптелыми стенами типография — литеры, все литеры, без конца литеры, — из них казак Карпо льет пули на татар и турок... Много он уложил этими литерными пулями... А какая пуля уложила его самого, Хведора Безродного, бедного когда-то друкаря, а теперь славного казака «лыцаря»... Славного!.. Вон где эта слава: эта слава дымом стала, мушкетным дымом, что вылетает из мушкета и мигом исчезает... А это синее бесконечное море, Кафа, огонь, треск, гул и вопли, маленькая татарочка, Синоп в огне... А Катря, добрая,

ласковая Катря... В самую глубь души глядят ее черные, как мушкетное дуло, очи... Эти очи убили его... ради них он пошел в казаки — славы «лыцарства» добывать... Вот и добыл...

Джура между тем, прискакав к Днепру, увидел, что это действительно плывут казаки. Черные и разрисованные кое-где чайки укрыли собою всю реку. Впереди плыли разукрашенные турецкие галеры, точно гордые лебеди впереди стада серых уток... Чудная была картина! Казаки в их разноцветных, большею частью турецких одеяниях, и в шапках всевозможных, большею частью красных цветов, пестрели и били в глаза, как нива цветущего мака, перемешанного с гвоздикой и васильками. На галерах реяли флаги. На оружии играло заходящее солнце.

Джура, остановившись на пригорке и вздев шапку на копье, стал махать им и кланяться. Казаки заметили его, и стали приворачивать чайки к берегу.

«Да то козак», — слышались голоса с чаек. «Нет, не козак». — «Козак!» — «Вот тебе раз! Тут, может, и сам нечистый козаком нарядился!» — «Да козак же!» — «Эге! Козак — только чуб не так!» — «Да это ж москаль Ярема — джура...» — «Да джура ж и есть!..»

Несколько чаек пристало к берегу. Прибыл на большой галере и Сагайдачный с войсковою старшиною. Все догадывались, что это — вестник от отряда, посланного в обход и в тыл к Кызыкермену. Но где же самый отряд? И почему вестником от него явился простой джура, даже не казак, а пленный москаль, и при том не в своем одеянии? Не случилось ли беды какой с отрядом?

Сагайдачный вместе с другими казаками вышел на берег. Джура сошел с коня и кланялся еще ниже. Выражение лица его выдавало сильное беспокойство.

— Джура Ярема! — сказал Сагайдачный, пытливо глядя в глаза прибывшему. — Это ты не со своими конями гуляешь, и тягели червонные, от пол до ворота золотом шитые; не свои носишь, не свою саблю булатною и пицалью семипядною владеешь. Верно, ты своего пана убил?

Москаль порывисто тряхнул волосами.

— Нет, батюшка господин кошевой, атаман войсковой! — заговорил он торопливо. — Я своего пана не убил и не истребил — ни Боже мой! — и молодой души не губил... Это на меня затея, напраслина — видит Бог!.. Мой пан лежит там, на лугу в поле, простреленный, посеченный острыми саблями — татары его зашибли смертно... Помирает он ноне... Я прошу вашу милость Христом Богом — прикажите вашим

молодцам на луг идти и моего господина и других казаков честно похоронить.

— И других казаков? — спросил Сагайдачный.

— Так точно, ваша милость. Всех татары посекли...

— Всех! Матерь Божия!

— Всех, ваша милость, зашибли, всех до единого, окаянные.

Скоро казаки были уже на поле, на котором лежали их побитые товарищи... И на Хведоре Безродном сидел уже ворон и подбирался к его глазам: глаза эти продолжали смотреть на то же голубое небо, но уже не видели его...

Быстро казаки выкопали могилы своим павшим товарищам: копали суходол саблями, а шапками и приколами землю выносили из глубоких ям...

Хведора Безродного, как общего любимца, накрыли червонною китайкою, и на могиле, в головах, вместо креста копьё его боевое воткнули, а к копыю привязали белую «хусточку» — платок. Всем остальным павшим товарищам честь отдали продолжительною стрельбою из мушкетов.

Во время стрельбы из-за горы показались знамена и всадники и затем целые отряды. Это были польские отряды, которые, под начальством князя Вишневецкого и других панов, гнались за опустошавшими Украину татарскими загонами. От них-то и убегали с богатою добычею те татары, которые на пути встретили небольшой отряд казаков, высланных Сагайдачным в обход и в тыл Кызыкерменю, и всех их перебили. Тут погиб и Хведор Безродный.

В этих польских хоругвях находился и молодой господарич Петр Могила. В отчаянной гонке за татарами он никак не мог забыть плачущих глаз Сони Кисель, которые теперь для него отождествлялись с глазами навсегда им потерянной панны Людвисы Острожской... «Они — эти плачущие, детски невинные глаза послали нас спасать Украину», — думалось ему, и личное его горе как бы стихало, и сердце менее ныло о невозвратимой утрате...

XXV

Мы опять в Запорожской Сечи.

Вот уже третий день гуляют казаки, шумно празднуя свое возвращение с моря и поминая погибших в походе товарищей. Весь остров, окрестности его и Днепр стонут веселыми или буйными криками молодцов, в разных концах

раздаются разноголосые песни, гудят, скрипят и визжат бандуры, дудки и скрипки. То там, то здесь гремят мушкетные выстрелы в честь павших, выкрикиваются их имена, потрясаются в воздухе турецкие волосатые бунчуки, захваченные при разорении турецких городов, сверкают обнаженные сабли, неведомо кому грозящие, летят в воздух казацкие шапки. На самой середине сечевой площади, на солнечном припеке, насунув шапки на самые глаза, друг против дружки, выплывают гопака старый Небаба с погасшею в зубах трубкою и такой же старый, если не более, сивоусый Нечай, завернувши полы кунтуша за пояс, чтоб они не мешали ему выделывать старыми ногами невообразимые выкрутасы. С обоих стариков пот льется ручьями, а они постоянно покрикивают на слепого бандуриста, на деда Опанасовича, десятки лет томившегося в неволе, в Кафе, а теперь воротившегося умирать на родину: «Еще ушкварь, деду, еще ушкварь! — чтоб горело!»

Не видно было только Сагайдачного и писаря Стецька Мазепы. Да еще одного доброго казака не доставало — Олексия Поповича.

Сагайдачный и Мазепа сидели в то время в курене за столом и писали смертный приговор Олексию Поповичу, который содержался под караулом в «холодной» — в земляной тюрьме, освещаемой сверху в небольшое отверстие. Он сидел на соломе, подперши голову руками, а около него, играя и шурша соломою, возилась маленькая татарочка и что-то лепетала по-своему.

Что же случилось, что Олексия Поповичу пишут смертный приговор?

А случилось вот какое несчастье. По возвращении из похода, как сказано выше, казаки загуляли. Шибко загулял и Олексий Попович, который всегда был мастер по части выпивки. В пьяном виде вполне сказалась и его задорливая, несмотря на мягкость сердца, натура: он то целовался с казаками, то наскакивал на них с кулаками и даже с саблями. Зная эту слабость Поповича, товарищи еще более подзадоривали его. А тут выискался отличный повод дразнить буяна: поводом этим была маленькая татарочка, в которой Олексий Попович души не чаял. Казаки вдруг вздумали доказывать, что татарочка не может оставаться в Сечи, что она — женщина, дивчинка, а женщины, по запорожскому обычному закону, так же не допускались в Сечь, как и в алтарь. Чтобы рассердить Поповича, они грозили ему изгнанием татарочки, а то так и его вместе с нею. В виду всего этого

Олексий Попович совсем взбесился. Он начал ругать казаков, запорожские обычаи и всю старшину; говорил, что сам уйдет из этого «проклятого гнезда» и передастся москалям, да в отместку казакам наведет на них москалей и ляхов. Когда ему сказали, что его велит усмирить батько, он и батька начал ругать, обзывал его «старой собакой», говорил, что не он, не Сагайдачный, и Кафу-то взял, и что она взята его, Олексия Поповича, ловкостью, да прежним знакомством с старым кобзарем, слепым Опанасовичем. Мало того, в слепом исступлении он бросался на казаков и рубил их саблей. А когда, ввиду этой суматохи, Сагайдачный вышел из куреня с булавою, чтоб усмирить буянов, Олексий Попович кинулся на гетмана с ругательствами, вышиб из его рук булаву и, сбив с головы его шапку, стал таскать старика за чуб...

При виде этого зрелища казаки рассвирепели и хотели было тут же растерзать дерзкого, но Сагайдачный остановил их, отдав виновного на суд войска. Войско единогласно приговорило: Олексия Поповича «скарать горлом — забить киями до смерти...»

Вот теперь он и сидит в «холодной» в ожидании смерти. Невеселы его думы. В такие моменты слишком многое вспоминается — вспоминается все, вся жизнь, все ее наиболее яркие моменты, и светлые, и мрачные, и дорогие до боли и до боли безотрадные, которые хотелось бы забыть, вытравить из памяти... да они не вытравляются, а так и гвоздят душу, холодят сердце...

Шум за дверкою «холодной» и звяканье ключей. Дверь отворяется, и показываются казаки с обнаженными саблями, а с ними писарь Мазепа с бумагою в руке.

— Пора, Олексю, до кола козацкого, — сказал он хрипло, — молись в последний раз милосердному Богу.

Олексий Попович встал и молча опустил на колени. Недолга была его последняя молитва; он перекрестился, положил несколько поклонов и выпрямился, не говоря ни слова. Но тут глаза его упали на татарочку, которая прижалась к нему, обхватив его ногу... Он приподнял ее, поглядел в ее светлые глазки, перекрестил и поцеловал...

— Отдайте ее моей матери, в Пирятин, — сказал он Мазепе и поставил девочку на землю.

Мазепа сделал знак одному казаку, чтобы он увел ребенка. Девочка с плачем была вынесена из «холодной». За нею вышел и Олексий Попович в сопровождении конвоя. Он не протестовал, не жаловался — он знал казацкие порядки.

Осужденного повели через бушующую сечевую площадь; перед ним и за ним шли казаки с обнаженными саблями. Попович шел бледный, с потупленною головою. При виде осужденного бушующее море казаков разом стихло. Умолкли бандуры, скрипки, сопилки. Все лица сделались серьезными.

В конце площади, ближе к сечевым воротам, стоял толстый брус, врытый в землю. На высоте около трех аршин от земли в столб вбиты были два железные кольца. Около столба, несколько в стороне, стоял огромный чан — он был наполнен водкою, «оковитою». В чане на тонкой цепочке плавал деревянный ковш — «коряк», огромная с ручкою чара, грубо выделанная из корня березы. Тут же, около чана, наваленные кучею, лежали кии — казацкие орудия публичной казни.

По временам глаза осужденного останавливались на товарищах, как бы ища ответа на последний тревоживший его вопрос или спрашивая: «Что ж это такое?.. За что же? Неужели же это в самом деле?» Но глаза казаков избегали встречи с глазами несчастного товарища, укоризненно смотрели на других, как бы говоря: «Кто ж это сделал? Кто велел губить человека?» В иных глазах искрились слезы. Слышалось учащенное, тяжелое дыхание толпы, вырывались глубокие вздохи.

Осужденный глянул на небо, на солнце, которое ударило ему в глаза, и опять потупился.

Поповича подвели к столбу. Он остановился и еще раз глянул вокруг себя. Всем, казалось, было невыносимо тяжело... «Кто ж это его хочет убить? Кто этот злодей?» — виднелось на пасмурных лицах казаков и в глазах их искрился стыд, стыд и стыд...

Мазепа развернул бумагу и стал читать, но его никто, казалось, не слушал — каждый думал о чем-то своем, далеком и близком... И Олексий Попович думал... «Блажен муж, иже не иде на совет нечестивых», — вспомнилось ему, как он читал по покойном отце...

— «...скарать горлом — забить киями до смерти», — явно слышалось чтение писаря Мазепы.

Чтение кончилось. Два казака из чужого куреня подошли к осужденному и двумя сыромятными ремнями обвили ему кисти рук. Олексий Попович сам повернулся к смертному столбу и поднял руки к железным кольцам... но тотчас же опустил их...

— Я не собака, — мрачно сказал он.

Порывисто разорвав ворот у рубахи, он снял с шеи крест, перекрестился и поцеловал его. За ним перекрестились все казаки.

Осужденный искал кого-то глазами... Глаза остановились на Небабе... Небаба подошел...

— Что, Олексичку? — тихо спросил он.

Осужденный подал ему свой крест.

— Наденьте на детину, на татарочку, — глухо произнес он.

Потом он снова повернулся к столбу и поднял руки к кольцам.

— Теперь бейте! — были его последние слова.

Ремни продели в кольца и завязали. Лица осужденного уже не видно было, а виднелась только широкая спина, затылок, шея и широко расставленные ноги.

— Данило Гнучкий — первый кий! — громко сказал писарь.

От казаков отделился широкоплечий, черномазый, неповоротливый козарлюга, медленно подошел к чану с «окови-той», медленно перекрестился, зачерпнул полный ковш водки, выпил его, крикнул, утер рукавом усы, взял из кучи один кий и подошел к осужденному.

— Прощай, Олексию! — громко сказал он, и, широко размахнувшись в воздухе, ударил кием по спине осужденного, который дрогнул и крепко сжал кулаки.

— Карпо Вареник — другой кий! — продолжал Мазепа.

И Вареник подходил к чану, выпивал, перекрестившись, ковш водки, брал кий и возглашал:

— Прощай, брате Олексичку! Не я бью — войско запорожское бьет!

И опять взвился в воздухе кий, и опять раздался глухой удар.

— Костя Долотоносенко — третий кий!

И вновь то же питье, и кий в руках.

— Прости, душа козачья! Прости, братику!

— Дорош Лизогуб — четвертый кий!

— Молись, Олексичку! Молись, друже!

Пятый кий, десятый, двадцатый... Хоть бы крик, хоть бы стон у столба...

Только руки все более и более вытягиваются и натягивают ремни... Сжатые кулаки разгибаются... Широко расставленные ноги подкашиваются... Тело уже не вздрагивает...

— Пропал козак! — слышится в толпе.

А из куреня доносится детский плач: то плачет татарочка.

Никогда еще, с тех пор как стоит и цветет Украина, Киев не видел такой торжественной встречи, какой удостоился Сагайдачный с казаками по возвращении из морского похода.

Весь Киев высыпал на берег Днепра к тому месту, где пристало запорожское войско, подплывшее к городу на своих победоносных чайках. Весь покатый берег, подъем в гору, ближайšie улицы, ведущие к Софийскому собору, все крыши домов — все было усеяно народом, пестревшим, как весеннее поле, всевозможными яркими цветами своих нарядов. Духовенство всех церквей, монахи и монахини всех монастырей, члены всевозможных цехов, «братчики» и «спудеи», или «скубенты», братской школы вышли навстречу «славному рыцарству» с хоругвями, иконами, крестами и значками различных цеховых обществ. Во всех церквах торжественно звонили колокола.

Когда Сагайдачный, с гетманскою булавою в руке и сопровождаемый старшиною, ступил на берег под невообразимый гул мушкетных и пушечных выстрелов со всех чаек, к гетману подведен был великолепной, белой масти, арабский жеребец под роскошным, расшитым золотом и шелками чепраком. Сагайдачный ловко вступил своим красным сафьяновым сапогом в позолоченное стремя и в один миг очутился в седле, словно вросший в своего коня. За ним выступили хорунжие с войсковыми знаменами и турецкими и татарскими бунчуками, добытыми в походе. Казаки смыкались в ряды, по куреням, и шли в гору за гетманом, предшествуемые куренными атаманами и знаменами. Войско представляло такое зрелище, которое невольно поражало самый привычный глаз. Дорогие турецкие одеяния, добытые в Кафе, Синопе и на взятых турецких галерах и вздетые теперь казаками на свои молодецкие плечи; казацкие и польские кунтуши с длинными откидными рукавами и «вылетами», подбитыми самых ярких цветов материею — «алтебасами», «златоглавами», атласами, «одомашками»; шапки с красными верхами и всяких цветов «смущками» — белыми, черными, сивыми; дорогие турецкие и широчайшие казацкие, тоже всех цветов радуги, шаровары; цветные, большею частью красные, зеленые и желтые сафьянные и юхтовые сапоги; всевозможное оружие, которым увешан был каждый казак, — мушкеты, кинжалы, ятаганы, сабли, — все это горело на солнце, слепило глаза, кричало своей яркостью, картинностью и невообразимым разнообразием. Казаки выступали гордо, мо-

лодцевато, хотя, по-видимому, с полною небрежностью и с сознанием своей полнейшей перед всем миром независимости и полнейшей свободы в поступках, движениях — во всем, во всем!

Старый Небаба шел во главе своего куреня и, улыбаясь чуть заметною улыбкою под седыми усами, косился на великана Хому, у которого на руках, держась правою ручкою за его воловьшу шею, сидела татарочка и своими большими южными глазами изумленно посматривала по сторонам, словно бы ища там своего пестуна и любимца, горемычного Олексия Поповича, молодецкое тело которого давно уже было обглодано до костей днепровскими раками.

Тут же выступал и усатый Карпо Колокузни с своими острожскими товарищами по степным скитаниям — с веселым Грицком и густобровым Юхимом, некогда возившими на себе плетеную «чертопхайку» с длинновязым патером Загайлою. Недоставало только третьего их товарища, друкаря Хведора Безродного, который лежал далеко-далеко, на берегу Днепра, почти у самого Кызыкерменя. Зато тут же выступал его бывший джура Ерема, который теперь смотрел почти совсем казакон и только желтоватые глаза да жидкоусость выдавали его московскую породу.

За казаками шли освобожденные ими невольники. Они двигались нестройною толпою, как не принадлежавшие к войску, и возбуждали необыкновенное внимание киевлян. Впереди всех невольников, опираясь на палку, шел маститый старец Кишка Самойло. Он глядел и радостными, и в то же время грустными глазами на стоявшие по обеим сторонам их пути пестрые массы киевлян. Все это, что стояло тут и вышло поглядеть на казаков и на возвращенных ими из плена невольников, — почти все это успело народиться и вырасти в то время, как Кишка Самойло изнывал в тяжелой турецкой неволе, далеко от родной Украины. Рядом с ним шел почти такой же маститый старец, Иляш-потурнак, глаза которого почти ни разу не взглянули на пестрые толпы киевлян: он не мог забыть свое постыдное прошлое, свое потурченье, свой тяжкий грех перед братьями-невольниками. По другую сторону Кишки Самойлы выступали его товарищи по неволе — Марко Рудый, бывший судья войсковой, и Мусий Грач, бывший войсковой трубач. Виднелась и юркая фигурка болтуна орлянина, и донского казака Онисимушки, около которого робко шла его бледнолицая жена, которая где-то на море, в виду пылающей Кафы, так безумно оплакивала прижитого в неволе сына своего, Халильку-татарчонка.

— Смотрите! Смотрите! — слышалось в толпе зрителей, — вон запорожец несет на руках какую-то девочку.

— Ах, да какая ж она маленькая, а он какой великан!

— Да это, верно, его дочка — какая хорошенькая!

— Нет, она на него не похожа.

— Овва! Что ж из этого? Без него жена привела.

— Да это полоняночка... бранка... татарочка.

Великан Хома, слыша эти отзывы о своей татарочке, нежно гладил ее по головке, а старый Небаба ворчал в свои седые усы, что нельзя закурить люльку — близко церковь.

— Ох, Грицю! Пресвятая Покрова! — со стоном выкрикнул кто-то в толпе.

Сероглазый Грицько, шедший рядом с своим другом, густобровым Юхимом, вздрогнул, точно обожженный и тревожно оглянулся на толпу. Там какая-то девушка, сильно загорелая, с длинным посохом и котомкою за плечами, упав на колени, протягивала руки не то к ближайшей церкви, не то к сероглазому Грицьку.

Последний порывисто вышел из рядов своего куреня.

— Одарю! Это ты, сердце?

— Я, Грицю; ох!

Запорожец обнял девушку, которая вся прильнула к нему, без слов, и только плакала.

Вдруг позади них раздался чей-то дрогнувший голос:

— А меня не признаешь, дочка?

Девушка отняла свои руки от молодого запорожца, вся залитая жарким румянцем и радостными слезами, искрившись на загорелых щеках. Перед нею стояла высокая, сухая фигура, с ярким серебром в густых, понурых усах — не то татарин, не то турок, — такое было на нем чудное, неказачье одеяние.

— Не узнаешь батька? — повторил незнакомец.

Голос этот знаком девушке. И глаза знакомые. Где она их видела? А, вспомнила, вспомнила! Она видела эти глаза еще маленькою дивчинкою, — она лежала в своей колысочке — в люльке, в зыбочке, что висела около постели старой бабуся, и бабуся качала эту колысочку и пела про котика да про сон, что ходит по улице в белой сорочке. И вот, над нею, над маленькою дивчинкою наклоняется кто-то усатый, да добрый такой и ласковый, и глаза добрые и ласковые. И из этих глаз капнули на нее, на девочку, две слезы... Это был «татко», как после уж сказывала бабуся, «татко», который, по смерти ее матери, с тоски ушел на Запорожье да там и сгинул...

— Тато! Да это ж вы?

— Я, доню голубко...

И девушка с криком бросилась на шею незнакомцу.

— Тату! Татуню мой! Да вы ж еще живы!

— Жив, моя доненько, голубко!

— Таточку, роднесенский! Как тебя Бог спас?

— Спас, доненько голубко, спас Бог милосердный, да вот этот казак молоденький.

И он указал на сероглазого Грицько, который стоял красный как рак.

Так это он спас отца своей Одарочки? И перед ним встает та ужасная ночь, когда подожженная казаками со всех сторон Кафа горела, как гигантская свеча, багровым заревом освещая и горы, и моря на далекое пространство. Среди пожарного гула и треска, среди раздирающих воплей и отчаяния и дикого казацкого говора, криков и проклятий, он вдруг отчетливо слышит, как из какого-то подземелья, среди пылающих зданий, до него доносятся возгласы: «Помогай, Боже, казакам!.. Помолитесь, братцы, за души бедных невольников! Отнесите от нас поклон на Украину — на тихие воды, на ясные зори, где край веселый, где мир крещеный!» Он оглядывается с удивлением и страхом и видит освещенное заревом пожара оконце в подземелье, а из этого оконца, из-за железной решетки, выглядывают худые, изможденные лица невольников, обросших бородами. — «Боже, да это ж казаки!» — «Были когда-то, братику, казаками, а теперь невольники...» И Грицько мигом разбивает тюремную дверь, и оттуда, гремя кандалами, выскакивают узники — целуют его и плачут, целуют и молятся... Кафа горит, Кафа пылает...

— А как ты попала сюда, доню, из Острога?

— Я, тату, пришла к печерским угодникам молиться за...

— За Грицько? — улыбнулся отец. — А старики еще живы?

— Живеньки еще — и дедусь, и бабуся, слава Богу.

Голоса их заглушены были ревом толпы, которая приветствовала Сагайдачного. Недалеко от Софийского собора, на площади, у золотых ворот, казаки встречены были всею местною знатью — польскими панями и русскими. Тут были и князь Януш Острожский, и Иеремия Вишневецкий, и молодой господарич Петр Могила, по-прежнему грустный и задумчивый. Они раньше казаков возвратились из похода, не успев настичь ни одного татарского загона. Был тут и пater Загайло, и болтливый пан Будзило, который во время кремлевского сидения съел своего гайдука без соли; тут же

торчала и неуклюжая фигура Мелетия Смотрицкого в огромных чеботищах. Рядом с Иеремиею Вишневецким стоял, опираясь на свой старческий посох, пан Кисель, седая борода которого отливала серебром под лучами яркого утреннего солнца. Тут же была и панна Софья с своей матерью.

А колокола звонят все громче и громче. Передние ряды казаков уже поравнялись с золотыми воротами. Сагайдачный проезжает мимо панов и кланяется им, приветливо сняв шапку с пером. Передние бунчуки также наклоняются в знак отдания чести вельможным панам.

— А каков лайдак этот Сагайдак, ясносвещонный ксенже? — лукаво улыбается Острожскому Мелетий Смотрицкий. — Цезарем смотрит!

Острожский ничего не отвечает.

— А верно, в Остроге в школу босиком ходил! — не унимается Мелетий.

У собора Сагайдачный сошел с коня и приложился к иконе.

— Бувайте здоровы, пане Загайло! — окликнул кто-то благочестивого патера.

Удивленный Загайло глянул в ряды казаков. Двое из них вышли из рядов и приблизились к нему: это были Грицько и Юхим.

— Не узнаете нас, пане? — спросил Грицько.

Патер молчал.

— Как, коней своих не узнаете? — продолжал Грицько.

— Да вы на нас ездили, пане, в таратайке, — пояснил Юхим, — теперь мы из коней козаками стали.

— Перекозачились, — засмеялся Грицько, — были кони, да перекозачились.

— Езус-Мария! — только и нашелся изумленный патер.

Под неумолкаемый гул церковных колоколов слышались радостные возгласы приветствий и поздравлений. Знакомые и незнакомые здоровались, обнимались и целовались, как «на великдень». Матери обнимали возвратившихся из похода или из неволи сыновей-казаков, жены мужей и братьев, «девчата» находили потерянных и давно оплаканных женихов, возвратившиеся из плена «батьки» не узнавали подвыросших из пеленок и рубашонок своих хлопчиков и девочек. Ручьями лились слезы радости; но рядом с ними, у других по бледным и горестным лицам текли слезы отчаяния; слышались стоны по убиенным и умершим в далекой стороне. «Ох, откуда ж мне тебя, орле сизый, ожидать, с которой стороны тебя, сыночку мой, выгладать!..»

В числе богомолок, пришедших в Киев из Острога, виделась бледная, похудевшая Катря, покоювка хорошенькой панны Людвиси, княжны Острожской. Она жадно прислушалась к тому, что рассказывал собравшейся кучке киевлян бывший джура Ерема, и слеза за слезой катились из-под ее длинных ресниц.

— Один я, братцы, в живых остался, а как — и сам не знаю. Как налетели, этто, на нас поганые бесерметы — и видимо их невидимо, да и начали крошить наших. А наши молодцы сами не промах: один Федор Безродный что их уложил!

— О-ох! Мати Боже! Панна найсвентша! — застонал кто-то в толпе.

— Только же, братцы, и прорва их, аспидов, навалила! Ну и осилили наших — всех до единого посекали да постреляли...

— А Хведора Безродного?

— И Федора постреляли да порубили.

— О-о!.. — и кто-то упал в толпе богомолок. Это упала смугленькая, как цыганочка, покоювка княжны Острожской... Не ждать ей больше того, кого она ожидала...

XXVII

Прошло семь лет. За эти семь лет имя Сагайдачного завоевало себе бессмертную славу в истории Украины и Польши. В то же время имя это стало страшным и ненавистным у соседей Украины — в Крыму и Турции.

Не наше дело изображать бурную политическую жизнь героя Украины — как он свято соблюдал союз с Польшею, как спасал ее от турок и крымцев, как, верный своим союзникам-полякам, спасал своего королевича: это дело правдивых историков.

Для нас же более симпатична личная жизнь этого сурового «козацкаго батька». Жизнь эта была полна поэзии, хотя мало кто знал всю теплоту души и юношескую свежесть чувств этого сивоусого юноши.. Знала это только Настя Горовая, «шинкарочка молодая», к которой он когда-то явился оборвышем, потом — Ганджою Андыбером, а потом... это уже секрет Насти...

Так прошло, говорим, семь лет со времени возвращения казаков в Киев после разорения Кафы и Синопа. За это время Сагайдачный не раз виделся с Настей, которая уже жила

в Киеве, но не в качестве шинкарки, а в качестве «честной вдовы». При этих свиданиях они, вспоминая старое времечко, непременно говорили о «бранке» Хвесе и оплакивали ее: Хвеса была тем светлым воспоминанием в их жизни, которое не вытравили из их сердца ни годы, ни жизненные бури.

Сагайдачный опять в поле с своими казаками «сиромахами». На Польшу, по злобе на этого же Сагайдачного, султан Осман ведет более чем полумиллионное войско.

Войска сошлись у Хотина. Во главе казаков был все тот же хмурый и молчаливый Сагайдак с Стецьком Мазепою и Небабою. И «дурненький» Хома тут же, и Карпо Колокузни, и Грицько, и Юхим из Острога, и Хорько Макитра из Переволочны. Не было только татарочки, которая оставалась у Насти Горовой в качестве приемной дочери.

Во главе польских хоругвей стоял величественный Ходжевич с цветом польского рыцарства.

Каждый день идут стычки, и только ночи дают роздых воинам.

Ночь, августовская ночь, довольно свежая... С севера, с Московщины, холодный ветер гонит по небу серые тучи, которые от времени до времени серебрят молодой, остророгий месяц, то и дело ими заволакиваемый.

Недалеко от берега Днестра пылает костер; вокруг него расположилась кучка казаков.

— Ты что, Хомо, задумался? Об чем? — заговорил сероглазый Грицько, кладя красный уголек в свою трубку.

— Тсс, — предостерег товарищей Карпо, — молчите!

— Что такое?

— Да вон, что-то крадется в белом.

— А ну, беги, Хомо, поймай.

— Черта с два! Пускай Хорько ловит.

— А в самом деле, чтоб оно такое значило, братцы? — серьезно заговорил Карпо, вставая с турьей кожи, которая была разостлана у костра и с которою он не разлучался.

— Да, надо поймать, — согласился и Грицько.

— Может, это бранка убегает от татар.

— А может — та «белая бранка», что пролетала над Кафою.

От костра отделились две фигуры и тихо поползли к тому месту где показалась было белая, таинственная фигура и исчезла за ближайшим кустарником.

Прошло несколько минут. Вдруг за кустарником послышался испуганный женский крик:

— Господи!.. Ратуйте!

— Поймали!

Все вскочили на ноги и бросились к кустарнику.

— Не пугайте ее, братцы! Ведите сюда, к костру.

— Да не кричите, вражьи дети! Татары почуют.

Скоро показалась и белая женщина, сопровождаемая Грицьком и Макитрою.

— Да ты кто ж такая? — ласково спрашивал последний.

— Я бранка-полонянка.

— Из какого места?

— Из города Черкас.

— А давно полонена?

— Давно — лет десять будет.

— А кто будет твой отец с матерью?

— Я родом из мещанского стану... Батька не помню, а мать звали Анастасией Горовойю...

— Как! Насти Горовой дочка! — вскричали почти все разом.

— Да она ж теперь живет в Киеве, и у нее наша татарочка, — пояснил Хома.

Казаки только руками всплеснули, когда белая женщина подошла к костру, и пламя осветило ее красивое, белое, с черными бровями личико, полуприкрытое длинною белою чадрою.

— Святая Покрова! Да это ж Хвесья, санджакова бранка!

— Да она ж! Она и ключи нам достала от Кафы.

— Вот батько Сагайдак обрадуется!

Это была действительно Хвесья. Холод августовской ночи и страх за свою жизнь лишили ее сил. Она вся дрожала и едва стояла на ногах. Трепетно, белою, унизанною дорогими перстнями рукою она постоянно крестилась, ее посинелые губы шептали молитву.

Девушку усадили у костра. Грицько накинул ей на плечи свой жупан. Ласковые, родные речи, участливые слова, добрые лица земляков — все это было слишком неожиданно для беглянки. Она закрыла лицо руками и тихо заплакала.

— Плачь, плачь, бедная! — участливо проговорил кто-то сзади. — От слез на сердце полегчает.

Все оглянулись. То был старый, совсем сивый Небаба. Ему не спалось в своем атаманском шатре, и он подошел к костру. Узнав, кто была эта бранка, он радостно и благоговейно перекрестился.

— Хвесья! Дитятко! — заговорил он дрожащим голосом.

— Тату! Это ты! — бросилась к нему бранка. — Тату любый!

— Нету, дитятко, — я не твой батько, я — Хвилон Небаба... Я знал тебя еще вот такую — с локоть ростом, и на руках носил тебя, и про сороку пел...

— А где мой тато?

— Тут же, дитятко, недалеко.

— Я к нему хочу.

— Постой, рыбка!.. Пускай уснет — ему недужилось сегодня.

— Он хворый? Я хочу его видеть... Бедный мой татуня!

— Нет, ясочка моя, я не пушу тебя сегодня к нему; пусть завтра утром... Как же ты ушла? Как попала сюда?

— Мой господин, санджак, уехал сегодня к султану: за ним приезжал чауш; я оставалась в его ставке с рабами и евнухом... Евнух отлучился к другому евнуху, что у Калги-хана, а часовых я напоила... Да меня и слушались все... И вот я с вами... Богородица Пречистая.

Хвеса снова начала креститься. Бледнее лицо ее покрылось румянцем.

— Так ты, рыбка, не потурчилась? — робко спросил старик.

— Нет, дядечку, Бог миловал... Я не Маруся Богуславка.

— Слава Богу... Ну, а того, сказать бы... тее того...

Старик замялся. Он хотел что-то спросить, но не решался.

— Что, дядечку?

— Да как оно... тее... насчет, сказать бы... как его... Детки у тебя есть?

— Слава Богу — не было, — стыдливо отвечала бранка.

— И то славу Богу, а то не бежала бы, поди, от детей.

— А расскажи, будь ласкова, Хвесю, как ты это сгинула от нас, в Кафе? — спросил вдруг Карпо. — Точно в воду канула.

— Да-да, — подтвердил Небаба.

— Уж и гримал же на нас за тебя батько, что мы упустили тебя, — пояснял Карпо, — вот гримал! У, не приведи Бог!

— Да-да, сто копанок! Чуть киями их не накормил, — подтвердил Небаба, раскуривая люльку.

— Только вот дядька Хвилон и упросил.

— Вот как это было, — начала Хвеса, снимая с головы чадру, к которой и в десять лет неволи она не могла привыкнуть. — Когда я вошла в палац санджака, меня там уж поджидали другие его невольники и невольницы. Они знали, что всем им достанется за меня от санджака — а его не было в

городе, — так они схватили меня, завязали мне рот и голову, да потайным ходом из крепости и вывели... Два дня потом прятались со мною в горах, пока санджак не воротился из Бахчисарая... Ах, что тогда со мною было! С той поры санджак ни на шаг не отпускал меня от себя: куда сам — туда и меня везет.

Вдруг со стороны турецкого обоза раздались выстрелы.

— Тревога, панове! До брони!

— А, сто копанок! — не удастся и сегодня соснуть нашему батькови... Берегите, панове, Хвесью: уж в другой раз Сагайдак не спустит вам.

Тревога началась по всей линии.

Бледную, трепещущую Хвесью богатырь Хома взял на руки, как ребенка, и бегом пустился вдоль берега Днестра.

Натиск татар на казачье войско был страшно стремителен; бешеный какой-то кафинский санджак с своими мурзами и перекопскими наездниками как бурный поток пробился сквозь казачьи ряды до самого крайнего обоза, почти до палатки Сагайдачного, куда — он уверен был — скрылась его прекрасная беглянка, золотокошая ханым — Хвесья; но казаки, с самим батькою Сагайдаком и Небабою в голове сомкнутой лавы, выдержали убийственный натиск гикающих и алакающих хищников, покрыли все поля трупами их, опрокинув остатки недобитого скопища в болото.

Серое, чуть брезжущее утро застало казаков уже на возвратном пути с кровавой сечи. Но тут страшная весть пронеслась по их разстроенным рядам:

— Батько пропал! Гетмана нигде не видать!

— Убили батька! Убили проклятые!

— Кто видел?.. Где?.. Когда?

— Заарканили, говорят, гетмана... На аркане утащили...

— Будь мы все прокляты, что допустили до этого!

— Вперед, братцы! Либо гетмана добыть, либо живыми не быть!

— Срам на наши головы! И нас громом не побил, проклятых!

— Либо гетмана добыть, либо живыми не быть! — осилил все голоса могучий и хриплый голос Карпа Колокузни, и казачья конница направила свой бешеный скок в обход разстроенным татарским загонам.

— Стой, черти! Стой! Раздавите батька гетмана, раздавите, иродовы дети!

Ближайшие кони шарахнулись в сторону при виде какого-то гиганта, который нес что-то на плече, поддерживая левую рукою, а правой неистово махая саблей.

— Да стойте же, чертовы выродки! Я гетмана несу — стой! — кричал гигант, отмахиваясь от налетавших на него коней.

— Да это Хома, братцы!

— Хома ж и есть! — удивлялись казаки. — Какого черта ты на дороге стал?

— Да какого собачьего сына ты несешь?

— Татарина, что ли, поймал, дурный?

— Отойти! Не тронь! Не подступайте, дьяволы, — зарублю! — дико кричал Хома, сверкая в воздухе саблей.

— Да что ты — взбесился, что ли? Что на своих лезешь!

— Отойти прочь! Я батька несу!

— Как батька? Что ты!

— Батька... пана гетмана... убитого...

— Господи! Батька убили!..

— Убили! Пана гетмана убили... Вот он мертвый... Мати Божая!

Могучий стон прошел по полю — Сагайдачного убили! Мертвого гетмана нашли!

Все бросились с коней, теснились к той группе, в середине которой обезумевший от горя и злобы великан продолжал размахивать саблей, боясь потерять дорогой труп. По многим лицам, никогда не ощущавшим на своих щеках слез, теперь текли горячие слезы...

— Не подходи! — безумствовал великан. — Живого батька не уберегли, собачьи дети: потеряли живого батька — теперь хотите мертвого потерять... Прочь! Не подходи! Зарублю!

— Хомо, братику, что с тобою?

— Прочь! Не подходи! Он еще теплый — никому не дам...

— Хомо! Что ты! Дай его — положи...

— Убью! Не дам! Прочь!

— Возьмите его, сто копанок! Сзади хватайте, дьявола! За ноги! — вот так!

— Вали его наземь! Держи!

— Да легче! Батька не зашибите! Не уроните гетмана!

С трудом удалось осилить обезумевшего гиганта и вырвать у него из рук дорогой труп героя Украины, славного казацкого вождя, теперь бледного, неподвижного, такого, маленького, жалкого. Его бережно положили на разостланные

наземь казацкие жупаны. Из нескольких ран еще сочилась черная кровь, окрашивая собою белую сорочку: нечаянный набег татар не дал возможности казацкому вождю хорошенько одеться и застегнуть свой темно-малиновый бархатный кунтуш с «кинтцами».

— Мати Божа!.. смотрите, панове!.. булава-то!

— Гетманская булава в руке! Вот диво: мертвая рука булаву держит!

— Не выпустил, голубь сизый, булавы своей — не отдал поганым, и мертвый не отдал.

— До смерти додержал гетманские клейноты, вот так гетман!

Действительно, мертвый гетман был с булавою: зачоченная рука его держала дорогой казацкий клейнот.

В скучившейся около мертвеца толпе произошло движение.

— Расступись, панове — пропустите, пропустите ей-Богу, дай дорогу панночке, панове!

На труп гетмана бросилась женщина с золотою, растрепавшеюся косою и, припав головой к его холодному лицу, так и закрыла его золотыми волосами.

— Тату мой! Родной мой!

— Хвесею! Дитятко! Не убивайся! — плакал Небаба, уткнув свое старое лицо в мозолистые ладони. — Так было Богу угодно.

— Татуню мой! Солнышко мое!.. Ох... да он еще теплый! Он... он... ох!.. он живой еще!.. он дышит!.. Тату! Тату!.. Ох!.. он открыл глаза!.. смотрите!.. Татуню мой! Не закрывай их больше!

Сагайдачный действительно открыл глаза. Он не был мертв.

В Киеве, в одной из просторных келий Братского монастыря, некоторые из высших монастырских властей и из казацкой старшины собрались около постели умирающего ктитора этого монастыря.

Умирающий ктитор был гетман Петро Конашевич-Сагайдачный. Полученные им под Хотинем раны, которые он мужественно принял на себя, защищая Польшу и дорогую Украину с не менее дорогим для него существом — несчастною полонянкою Хвесею, — оказались смертельными.

Тихо вокруг постели умирающего. Сейчас только он говорил окружавшим его свою последнюю волю, но это усилие

до того ослабило его уже разрушенный ранами и предсмертными страданиями организм, что он впал в минутное забытие.

Все молчали. На суровом лице стоявшего у постели старого друга умирающего, Хвилона Небабы, просвечивало какое-то тихое, глубокое умиление. На лице этом написана была мысль: «сподоби, Господи, такой праведной кончины всякого доброго казака — умереть от ран за мать Украину да за ее деток». Тут стоял и Хома, который не отходил от своего батьки с той минуты, как полуумирающего вынес его на своих плечах из кровавой сечи. Не то, что у Небабы, читалось на добром, похudevшем от горя лице этого простоватого богатыря: его, как богатыря телом, пугала эта невидимая для него сила — эта смерть, какая-то бабуся с косой, которая даже самого батька осилила, да и его, богатыря Хому, осилит.

Тут был и Петр Могил, значительно возмужавший и, по-видимому, еще более, чем когда-либо, грустный и задумчивый.

За изголовьем умирающего стоит немолодая уже женщина, но еще красивая. Из-под черного, как бы чернеческого платка кое-где сверкают пряди золотых с яркими серебряными нитями волос. Черные глаза ее заплаканы до опухоли век. Это — бывшая «Настя Горовая, шинкарочка молодая», дочь которой, такую же золотоволосую бранку Хвесю, взял к себе «в приемы» умирающий гетман, после того, как ей под Хотинном удалось каким-то образом бежать в казацкий стан из полону, от своего ревнивого кафинского санджака. Хвесья стоит на коленях у своего умирающего «татуни» и дрожащею рукою поправляет под его седую голову подушки — белые, как и седина умирающего гетмана. Тут же стоит и Настина «прийма» — черноволосенькая и черномазенькая татарочка, которую Хома выносил на своих богатырских руках до одиннадцати лет и теперь мечтает на ней вскорости жениться.

Сагайдачный глубоко вздохнул и открыл глаза. Хвесья перекрестилась.

— Это ты, доню? — слабо спросил умирающий.

— Я, таточку.

— Положи мою руку к себе на головку... я хочу... слышать тебя...

Хвесья исполнила это желание умирающего и припала головой к его груди.

— Бедное, бедное мое дитяtko... Не довелось мне пожить с тобою... На неволю родилась эта головка бедная, золотая

головочка! — тихо шептал Сагайдачный, и две крупные слезы выкатились из его конвульсивно заморгавших глаз и сбежали на подушку.

— А мама где? — также тихо спросил старик.

— Я тут, Петро, — почти шепотом отвечала, перегибаясь через изголовье, та, которую когда-то называли «Настей ка-башною».

Сагайдачный глянул на нее, сияясь улыбнуться, потом перенес свой взор на наклоненную к нему на грудь голову Хвеси и остановился на татарочке.

— Береги их, Настя, и ту, татарочку, береги... У нее никого нет... Мы у нее все отняли — и отца, и мать, и пышную Кафу... неволю казацкую... разлуку христианскую...

Он остановил свой просветлевший взор на молча стоявших у его постели боевых товарищах.

— Будете, детки, помнить мое смертное слово? — заговорил он более сильным голосом.

— Будем, батько, будем! — глухо отвечал Небаба.

— А ты, Хвилони-друже, передай всем деткам мою волю — ты ее знаешь.

— Знаю, батько.

Больной заметался на подушках — ему тяжело было дышать.

— Ох, широко я загадывал, детки... да не дожил... не увижу Украину в славе... не раздавил крымского зверя... А святейший патриарх благословил меня на это... сказал: буду я в Иерусалиме, у гроба Господа Спаса, молиться за Украину... и за деток ее...

Все молчали. Небаба сердито смахнул слезу, которая катилась, словно горошина, через сивый ус.

— Широко... широко загадывал... Скажите Иову... святейшему отцу митрополиту... Украина... Польша... Где Могила?

— Я здесь, ясновельможный гетман.

— Добывай Волощину...

За окном закаркал ворон. Сагайдачный широко раскрыл глаза.

— Ворон кричат... недоленьку чет... Надо мною кричат... в поле лежит козак... пострелянный, порубанный... то Хведор Безродный... Где Хвесья?

— Та я ж тут, таточка!

— Не давайте им Украины... Зажигай, Хвилони, галеры... Как горит Кафа... Алкан-паша, трапезонское княжа... Берегите Хвесю — золотое яблочко... Хвесья... Ганджа-Ан-

дыбер — у Насти Горовой... не узнали дуки сребляники...
Прощай, Украина, прощай, мать...

Через несколько дней хоронили Сагайдачного. День был пасмурный. Ветер гнал по небу серые облака. Они бесформенными массами двигались к югу, словно бы затем, чтобы пронестись над Запорожьем, Крымом и Черным морем и разнести по всему югу весть о смерти того, кто долго заставлял трепетать этот роскошный юг. У стен Братского монастыря глухо шумели вербы. Колокола уныло звонили.

У гроба и у могилы славного гетмана собрался почти весь Киев. Молодые «спудеи», или студенты Братской школы, громко пели своему ктитору «вечную память». Ректор их, Кассян Сакович, подойдя к гробу, из которого отчетливо выглядывало восковое лицо покойника с длинною апостольскою бородою, развернул лист бумага и, глядя в лицо мертвецу, дрогнувшим от волнения голосом заговорил под шум ветра:

— Несмертельной славы достойный гетмане!
Твоя слава в молчанню некоды не зостане;
Пока Днепр с Днестром многорыбные плынути
Будут — поты делности теж твои слынути.

Вербы своим порывистым шумом иногда заглушали слабый голос чтеца.

Козаки наполовину не понимали, что читал пиита, но угрюмо слушали.

Иногда слышались тихие, сдержанные женские всхлипывания.

Недалеко от гроба стоял Могила и сосредоточенно глядел в восковое лицо мертвеца, как бы силясь слушать оратора, но не понимая его. От лица покойника глаза Могила машинально перенеслись на казаков, стоявших понуро, на Небабу, Мазепу, на Хому, глубоко убитого, на духовенство, на семьи панов, пришедших в последний раз поклониться славному мертвецу.

Могиле показалось, будто порывом ветра разогнало тучи и на печальную процессию глянуло солнце. Но это был обман его нервов — не порыв ветра, а порыв его дрогнувшего сердца: на восковое лицо покойника глядело с кроткой задумчивостью то дорогое для него личико, которое он вот уже восьмой год носил в душе, как святыню. Но личико это скоро скрылось.

Оттертый толпою, Могила незаметно очутился в самом отдаленном углу монастырской ограды, где над могильными

плитами глухо шумели густо разросшиеся вербы и тополи. На дальней плите, полузакрытой кустом шиповника, сидела та, которую он искал скорее сердцем и душою, чем мыслью.

Он робко, с глубоким смущением подошел к ней. По ее лицу он заметил, что девушка сейчас только отерла слезы.

— Панна плакала? — все так же робко спросил он.

— Да, пан, такое горькое зрелище! — отвечала девушка, не вставая с плиты.

— У панны доброе, жалостливое сердце.

Девушка молчала, как бы прислушиваясь к пению над покойником.

— Панна Софья, простите меня, — заговорил Могила еще более робко, и слезы слышались в его голосе, — простите... Но я еще раз позволю себе повторить мой вопрос: панна не переменяла своего решения? Богом умоляю вас, скажите: что мне делать?

— Я уже сказала вам: добывайте корону ваших отцов, — почти шепотом отвечала девушка.

— Но для кого, дорогая панна?

— Для пана.

— А для панны?

Девушка грустно покачала головой.

— Но без панны мне не нужны короны всего мира.

Девушка улыбнулась.

— Пан говорил то же самое и панне Людвиге, княжне Острожской.

Могила вздрогнул и побледнел.

— Я не ожидал, что панна так жестока! Панна плакала над людским горем, и за это я полюбил ее. А над моим горем она смеется... Панна Софья!

Девушка встала.

Светлые, ясные глаза ее блеснули слезой.

— Простите меня, мой добрый, дорогой пан! — горячо заговорила она. — Я не хотела вас обидеть.

— Дорогая моя! Святыня души моей! Скажите же! Решайте судьбу всей моей жизни!

Девушка опять грустно опустила голову.

Из-за верб доносилось скорбное, за душу хватающее пение: «Помилуй, помилуй раба твоего!..»

— Помилуй, панна! Помилуй раба твоего! — как-то простонал голос над самым ухом девушки.

Она вздрогнула.

— О, мой дорогой, мой милый пан! — порывисто заговорила она. — Простите меня! Забудьте меня, забудьте, мой

бедный!.. Ищите вашу корону, ищите другую девушку, достойную носить эту корону... Но я — забудьте меня, пан, добрый мой, честный! Я должна, наконец, все сказать пану: я не принадлежу себе, я...

— Как! Панна Софья!..

— «Со святыми упокой», — доносится режущее по душе мертвогласование.

— Я принадлежу Богу, пан... Я посвятила себя Ему... Не корона покроев мою голову, а чернеческий клобук прикроев тоску мою.

— Панна, ради Бога!

— Мой добрый! Успокойтесь... Я бы любила вас, если б судьба не разбила моего сердца — мне нечем любить вас... Того, кому я раз отдала сердце, нет на свете — в могилу с собой он унес и мое сердце... Его убили под Цоцорой о бок с Хмельницким, отцом его, а другие говорят, что его в полон взяли...

— Хмельницкий! Зиновий Богдан Хмельницкий!

Моила закрыл лицо руками и сжал с такой силой, как будто хотел раздавить голову.

Когда он отнял руки от лица, девушки уже не было около него. Только вербы шумели над ним, да над гробом Сагайдачного плакал хор со всех киевских церквей: «Вечная, вечная, вечная память!»

А там загрохотали пушки. Это казаки провожали своего батька «у далеку-далеку дорогу».



Господин
Великий
Новгород

ИСТОРИЧЕСКАЯ
ПОВЕСТЬ

I. ИЗБРАНИЕ ВЛАДЫКИ

Мне бы хотелось перенести читателя в глубокую древность, в которой витают теперь моя мысль, сердце и воображение, словно губка, напитанная картинами, образами, речами и звуками этой чарующей своею таинственностью древности.

Правда, это не та далекая, поэтическая, закутанная дымкою тысячелетий, седая древность Востока, куда переносит своего читателя высоко даровитый Эберс, под художественным пером которого оживает таинственная жизнь древнего Египта — Египта времен фараонов и Моисея, а давно умершие цари и царицы страны Нила, ее жрецы и воины «парасхиты» и «Уарды», давно истлевшие под знойным солнцем юга, либо в виде мумий спящие непробудным сном в пирамидах да в разных европейских музеях, встают перед нами как живые, с их радостями и печалями, любовью и ненавистью.

Это и не та мифическая древность времен Цимбелина, ни классическая древность Эллады и Рима, в которую иногда переносит нас гениальное, неистощимое творчество величайшего из рожденных женщиною смертного — Шекспира.

Древность, в которую я хочу перенестись с моим читателем, — только относительно глубокая, но это наша родная, русская древность, кровавым, так сказать, пятном засохшая на исторической памяти московской Руси. Это — древность Господина Великого Новгорода с его вольною вечевою жизнью, когда под звон «вечного» колокола собирался к Ярославову «дворищу», или на Софийский двор, весь Господин Великий Новгород с его знатными мужами и посадниками, с степенными тысяцкими и боярами, с богатыми гостинными и «пошлыми» купчинами, с «лучшими старыми и молодшими людьми», когда на вечях с вечевого помоста держали речь к Господину Великому Новгороду его излюбленные говоруны, когда там же на ступенях вечевого помоста шумели во все мужицкие горла «худые мужики вечники» и привалившие из пригородов, из дальних «пятин» и сел «рольники» и «обжинные тяглецы» и когда вече превращалось в бурное мор а провинившиеся перед Господином Великим Новгородом ораторы и целые массы «недобрых людей» свергались с великого моста

в Волхов, подобно идолищу Перуницу, и сотнями погибали в его волнах, а дома их и «животы» брались недовольною стороною на «поток и разграбление».

Мне кажется, что я вижу перед собой этот вольный, шумный, поражающий кипучею деятельностью и богатством великий град. Передо мною встают из развалин его старые стены с мрачным «детинцем,» видевшим еще Мстислава Удалого, перед моими очами раздвигаются вширь и вдаль все его пять «концов» с «улицами», рскидываются на десятки и сотни верст его пригороды, которые так и кричат, кажется: «На чем Господин Велики Новгород постановит, на том и мы, пригороды, станем». Встают из развалин многочисленные церкви и часовни этого великого города с раскинувшимися на десятки верст кругом монастырями, и во всех церквах ярко горят свечи во множестве массивных паникадил, стоят тучи дыма от «темьяна» и ладана и гремит хвала Великому Богу и святой Софии и вечная слава — Господину Великому Новгороду. Я слышу звон бесчисленного множества колоколов, которые кричат до самого неба Божью славу, и меж всеми этими колоколами особенною мелодиею звучит для меня голосистый «вечный» или вечевой колокол, от которого «дрожало каждое новгородское сердце». Передо мной встают из могил славные «мужие новгородстии», бородатые посадники, бояре и купчины гостиные, усатые удалые добрые молодцы — «хоробрые ушкуйники» с Васьюкою Буслаевым во главе и с Садко богатым гостем и его гусельцами звончатыми.

И все это — все величие и богатство Господина Великого Новгорода, его многолюдство, его шумные вече, его торговые площади, обширные и густо населенные «концы», его испоконная свобода и право «показывать путь» нелюбимым князьям и говорить им: «Иди, княже, откуда пришел — ты нам не люб», — все это исчезло как дым...

Что теперь изображает из себя Господин Великий Новгород? Жалкий губернский городишко, занимающий собою, может быть, десятую долю своих обширных развалин. Он изображает отчасти то, что говорила якобы на вече Марфопосадница, которой Карамзин влагает в уста следующую цветистую речь: «Скоро ударит последний час нашей вольности, и вечевой колокол, древний глас ее, падет с башни Ярославовой и навсегда умолкнет!.. Тогда, тогда мы позавидуем счастиею народов, которые никогда не знали свободы. Ее грозная тень будет являться нам подобно мертвецу бледному и терзать сердце наше бесполезным раскаянием!.. Но знай, о Новгород! что с утратою вольности иссохнет и самый источник твоего

богатства: она оживляет трудолюбие, изощряет серпы и златит нивы; она привлекает иностранцев в наши стены с сокровищами торговли; она же окрыляет суда новгородские, когда они с богатым грузом по волнам несутся... Бедность, бедность накажет недостойных граждан, не умевших сохранить наследия отцов своих! Померкнет слава твоя, град великий, опустеют многолюдные концы твои; широкие улицы зарастут травой, и великолепие твое, исчезнув навеки, будет баснею народов. Напрасно любопытный странник среди печальных развалин захочет искать того места, где собиралось вече, где стоял дом Ярославов и мраморный образ Вадима: никто ему не укажет их. Он задумается горестно и скажет только: здесь был Новгород!..»

Конечно, Марфа-посадница не могла говорить так; но все, что она могла говорить другими словами, сбылось...

Эти-то последние дни независимости Господина Великого Новгорода и составят предмет нашего повествования.

Мягкое морозное утро 15 ноября 1470 года.

На колокольнях всех новгородских церквей раздается торжественный трезвон. Под этот трезвон все население Новгорода из церквей и домов повалило на Софийскую сторону, прямо через Волхов, по льду, и по «великому мосту», кто успевал раньше других попасть на мост.

Скоро Софийский двор с площадью около собора, и без того полные народа, окончательно запружены были колыхавшимися массами. Народ толпился и в улицах и по всему «детинцу», но целое море голов колыхалось около собора.

У святой Софии только что кончилась служба. Двери собора, несмотря на зимнее время, были растворены настежь. В воздухе слышался запах ладана. Все головы и глаза обращены были к паперти — ждали чего-то. Начиная от церковных дверей, на паперти, на ступеньках соборного крыльца и около него стояли старосты «концов», сотские и десятники, поблескивая на солнце бердышами. Среди них терся слепой нищий, известный всему Новгороду Тихик блажененький — характерный тип своего времени, «Христа ради юрод», и, за неимением глаз, духом своим «повидящий вся сокровенная». Он прикасался то к тому, то к другому из старост и сотских, тряс косматою, нечесаную головой и идиотически улыбался. В руках у него была длинная палка — посох с ручкою в виде семиконечного креста, на котором висели различной величины сумки. Две большие сумы перекинуты были, посредством ремней, через плечи, крест-накресть.

В это время из соборных дверей вышел на паперть священник в полном облачении и с крестом в руках. За ним показалась седая голова с золотою гривною на шее. Священник осенил крестом народ на все стороны — и тысячи рук замахали в воздухе, творя крестное знамение. От этого немого движения народных масс глухой гул прошел по площади и по всему детинцу.

— Братие новгородьци! — раздался с паперти скрипучий старческий голос. — Жеребий Господень совершается! Молитесь святой Софии, да укажет перст Божий на достойного владыку.

Тысячи рук снова замотались в воздухе, и снова глухим гулом немая молитва прошла по всему детинцу.

— Сыщите, братие, Тихика блаженного, — снова раздался тот же старческий голос.

— Тихика!.. Тишу блажененького! — пронесся говор в толпе.

— Здесь Тихик, здесь блаженный.

— Я тутотка, — отвечал сам слепой нищий, ощупывая посохом землю и подходя к паперти, — туто изгой Тишка... Подайте Христу!

И он протягивал руку, ожидая получить милостыню.

— Чадо Тихиче! — заговорил священник, осеняя нищего крестом. — Сотвори знамение.

Нищий перекрестился и поднял голову, поводя слепыми глазами и как бы ища чего-то в воздухе. Священник приложил крест к его губам.

— Гряди за мною, чадо, — продолжал священник, — тебе, слепорожденну, подобает налезти жребий владычен, гряди за мною.

Нищий, стуча посохом по ступенькам соборного крыльца, взошел на паперть. Священник повернулся и пошел снова внутрь храма. Слепой следовал за ним, ощупывая путь свой посохом. Все расступались перед ними.

Массы народа, заполнявшие площадь, еще более понадвинулись к собору. На лицах выражалось нетерпеливое ожидание и как бы испуг. Многие со страхом крестились и глубоко вздыхали. Казалось, все эти массы ожидали чего-то неведомого, рокового. То там, то здесь слышался сдержанный говор.

— Тишеньку слепеньково повели владыку вынимать.

— Слепой-ту зрячее у Бога, братцы, живет.

— У кого-ту святая София даст нам во владыки.

— Отца Пимена, ведомое дело.

— А может, Варсонофья слепенькой выметь.

— О, Господи и святая София, спаси град свой!

Между тем слепец, следуя за священником, прошел через весь собор и очутился у амвона. В церкви все усердно молились, поглядывая в то же время на царские врата, которые были открыты. В алтаре, вокруг престола, собралось все высшее духовенство Новгорода. Именитые люди города, степенные посадники, бояре, житые люди и гости, блистая золотым платьем и дорогими мехами, а иные массивными золотыми гривнами, занимали весь правый придел. В левом приделе стояли женщины и почти все жарко молились, не сводя глаз с темных ликов икон и с дорогих окладов. Впереди всех их, у левого клироса, на почетном месте, стояла высокая, довольно дородная и уже немолодая боярыня, с матовой белизной смуглых полных щек и с черными широкими бровями. Черные с большими белками глаза ее неподвижно устремлены были чрез царские врата на престол, на котором стояла дароносица, покрытая богатыми воздухами, а около нее — три блюда, тоже прикрытые каждое малиновою тафтою.

Женщина эта была — Марфа Борецкая или Марфа-посадница; посадниками и посадницами называли в Новгороде не только настоящих, действительных посадников и их жен, но и тех, которые когда-либо были на посаде, равно и жены их всю жизнь назывались посадницами.

— Дерзай, чадо! — уже в царских вратах обратился священник к нищему слепцу.

Слепец, продолжая посохом ощупывать пол, поднялся на амвон и сделал перед царскими вратами три земных поклона, вошел в алтарь и остановился у престола.

— Дерзай, рабе Божий Тихиче! — продолжал священник. — Ныне престолу Бога жива предстоиши.

Слепец еще перекрестился. Рука его дрожала.

— Простри руку твою, — подсказывал священник.

Слепой протянул руку. Глаза всех находившихся в соборе напряженно следили за движением руки нищего. Глаза же Борецкой, казалось, пожирали дрожащую руку слепца.

Рука эта дотронулась до одного блюда, покрытого тафтой — до правого. Разнородные ощущения прошли по лицам присутствовавших в церкви.

— Вознеси горé жребий сей, да узрят стоящие zde, — распоряжался священник.

Нищий поднял первое блюдо над головой. К нему подошел соборный протодиакон с орарем на руке и, бережно взяв блюдо, возложил его себе на голову, как бы это был дискос с агнцем пасхальным. Потом вместе с священником, дер-

жавшим в руках крест, он вышел из алтаря и направился к выходу из собора. За ними следовал тот седой боярин с золотою гривною на шее, который и прежде этого выходил на паперть. Это был посадник — глава Господина Великого Новгорода. Все глаза по-прежнему напряженно следили за движениями этих трех лиц.

Выйдя на паперть, протодиакон снял с головы блюдо и подал его посаднику. Посадник снял с блюда тафту. Под тафтою оказалась свернутая дудочкою бумажка. Посадник развернул ее и прочел написанное на ней.

— Господине Великий Новгород! — громко произнес он, поднимая вверх бумажку. — Смотрите — вот жребий преподобного Варсонофия!

— Варсонофий! Варсонофий! — прошел говор по площади и по всему детинцу.

— Не быть владыкой Варсонофию — не на него пал перст Божий.

Все заволновалось. Говор, хотя сдержанный, но могучий, как всколыхнутое бурей море, волнами ходил по всему пространству, занятому народом.

— Отца Пимена! Пимена во владыки!

— Не надо Пимена — он латынец!

— Феофила протодьякона! Феофила!

— В Волхов Феофила! Он московской руки... холоп княженицкий!

— Пимена в прорубь! Пимен похваляется: меня-де и в Киев пошлют на ставленья... я и в Киев пойду... Латынец он... Литва хохлатая.

Между тем священник, протодиакон с блюдом и посадник воротились в собор. Первые два вошли в алтарь, где у престола все еще стоял слепой Тихик.

— Паки дерзай, рабе Божий Тихиче! — провозгласил священник.

Слепец вздрогнул, протянул руку и оцупал левое крайнее блюдо. При этом движении слепого яркая краска залила полные щеки Марфы-посадницы, не спускавшей глаз с престола.

И это блюдо протодиакон возложил себе на голову. Тем же порядком и священник с крестом, и протодиакон с блюдом на голове, и посадник вышли к народу.

Опять сняли тафту с блюда и раскрыли жребий.

— Господине Великий Новгород! — раздался тот же голос старого посадника. — Вот жребии преподобного отца Пимена!

— Пимен! Пимен!.. Не быть латынцу владыкой!.. не вывезла кривая.

— Феофил владыка! Многая лета владыке Феофилу!

— Ай да Тиша блажененькой! Знал, кого вымать. Исполать Тише!

Действительно, на престоле остался жребий Феофила-протодиакона, и это было знамением, что Бог благословляет избрание во владыки новгородские Феофила, а Варсонофия и Пимена отверг.

Таким образом избрание владыки совершилось. Но это событие не сопровождалось, как это водилось прежде, всенародным ликованием. Напротив, только немногие голоса огласили стены детинца и соборную площадь шумными восклицаниями в честь и во здравие новому владыке. Мало того, дело кончилось тут же, у святой Софии, свалкой, во время которой у кричавших «слава» да «многая лета» были поразбиты носы до крови и перецупаны ребра. А когда толпы повалили с Софийской стороны на торговую, то «кончане» и «уличане» с Славянского и Плотницкого концов, да некоторых из пригорожан, большею частью «худые мужики вечники», обрушились на «житых людей» и на богачей из Людина и Неревского концов, шибко их помяли, а некоторых с мосту прямо пошвыряли на реку, на лед. «Худые мужики вечники» кричали, что избранием во владыки не Пимена, а Феофила богатые люди хотят продать Новгород Москве, в московскую кабалу, где козам рога правят и «слезам не верют»...

«А мы-де ей, Москве, — прибавляли худые мужики вечники, вставляя в свою речь родительницу да уснащая свое вечевое красноречие трех- да четырехпредложными глаголами с перцем, — мы-де ей тертого хрину поднесем», произнося при этом звук — *ять* по новгородски, как звук *и*.

«Мы-де ей покажем Кузькину мать!» — какова была эта «Кузькина мать» — они и сами не знали, а только хвастались.

Вообще чернь осталась недовольною избранием Феофила, потому что он тянул руку богатых, а богатые давно шептались с Москвой, какбы-де Великий Новгород взять в московские ежовые рукавицы да согнуть в три погибели, как Москва уже согнула княжество тверское и иные. Избранием же Пимена, покровительствуемого притом Марфою-посадницею, думали совсем отбиться от Москвы, а в случае чего — коли уж Москва начнет шибко наседать, — можно было и с Литвой побрататься да Москве нос утереть (рассуждали худые мужики вечники), чтоб она, Москва — растак да поразедак — знала, что Господин Великий Новгород ни кречету, ни соколу, а тем

паче татарскому улуснику гнезда своего — святой Софии — в обиду не даст.

Всего же более самой Марфе было не по сердцу избрание Феофила. Эта баба загадывала многое... а тут сорвалось — не выгорело...

Когда она выходила из собора, окруженная сторонниками, и горстями бросала «резаны», «куны» и «мордки» в толпы ее почитателей, мужиков вечников, лицо ее вспыхивало багровыми пятнами, а глаза метали искры. Народ провожал ее криками радости, а у нее сердце щемило досадой.

Как бы то ни было, хитрая баба проглотила обиду судьбы и из собора же пригласила и высшее духовенство, и посадника, и тысяцкого и других знатных людей к себе на пир, чтобы духовное торжество завершить приличным случаем плотским радованием.

Вместе с прочими Марфа пригласила на пир и слепого нищего, блаженного Тихика, и, невзирая на его лохмотья и нищенские сумы, болтавшиеся на нем, посадила его на почетное место.

В числе ее гостей был еще один человек, привлекавший к себе общее внимание. Это был невысокий, сухенький старичок с льняными от старости волосами и бородою, но с необыкновенно живыми, совсем молодыми серыми глазками, которые, однако, редко поднимались, постоянно опущенные в землю и оттеняемые ресницами. Старичок был в грубом монашеском одеянии. Бесстрастное, как бы глубоко созерцательное выражение лица его и глаза, которые, казалось, постоянно наблюдали что-то нездешнее, не то, что окружало его, а то, что сидело где-то в нем самом, глубоко где-то или где-то за пределами видимого мира — все в нем говорило, что лицо это, и эти глаза, и глядевшая в них какая-то неуловимая мысль — все это не от мира сего. Хотя все вокруг этого таинственного гостя говорило, улыбалось, кланялось и ловко, от священного писания, целыми цитатами из пророка Исаяи, из «Слова Даниила Заточника» и из «Вопросов» Кирика льстило радушной хозяйке, говорило о славе Господина Великого Новгорода, о его управлении, о разных «пятнах» новгородской земли, о торговле с амбурскими и аглицкими немцами, о том, что у Спаса на Хутыни сами собой звонили колокола, а на Федоровой улице с ветвей малых топольцев капали слезы, — один этот гость, казалось, не принимал ни в чем участия и молчал, тихо перебирая четки.

Этот молчаливый старичок был знаменитый подвижник Соловецкой обитатели — преподобный Зосима. Печать нео-

быкновенной аскетической энергии лежит на всей жизни этого необыкновенного человека. Родившись в пределах вольной новгородской земли, он еще с юных лет почувствовал в себе недовольство той жизнью — жизнью мелочных целей и желаний, которая окружала его. Его пламенная душа искала подвигов, жаждала идеала — и этот идеал воплотился у него в отшельничестве, в борьбе с дьяволом, который, казалось ему, господствовал над миром. Глубоко поэтический, он любил природу — любил слушать «говор древесных листов», чувствовать «трав прозябанье», прислушиваться к лепетанию горного ручья, к прибоям сердитых волн родного озера — Ладожского, которое в бурю клокотало и пенилось в скалах Валаама. Только с природой он чувствовал свою духовную связь, только среди безмолвной, но для него говорливой природы он любил — любил эту недостижимую даль синего неба, эти летучие облака, суровую зелень северного леса — и молился, стараясь забиться подальше от людей. Сначала он молился и трудился на Валааме, но этот труд показался ему ничтожным; он искал более суровых подвигов, и прослышав, что отшельники Савватий и Герман нашли недоступный для людей остров где-то у полуночного моря, перебрался и сам туда. Это было в 1430 году. На этом далеком острове они и основали Соловецкую обитель, самую северную в мире и самую суровую. Кругом небо да море — и то и другое без конца-краю...

Савватий скоро умер, но не в своем мрачном уединении, а вдали от острова, на Ваге. Остались на острове только Герман да Зосима. Никто в Новгороде не хотел верить, что люди могут жить в такой далекой и суровой стране, а между тем слава отшельников росла, имя Зосимы разносилось по всем концам новгородской земли. Зосима перенес мощи Савватия с Ваги на остров, и толпы поклонников из далеких мест потянулись к новой святыне, на неведомый «оток моря», где, по слухам, «изхождаше овогда из моря кит-рыба, иже пожре пророка Иону, чюдище неизглаголанно, хотяще потопити остров и вся сущая на нем», и только молитвами преподобного Зосимы исчезал под вобою «оный зверь гороподобный».

Но слава человеческая всегда рождает зависть мелких людей. Позавидовали многие новгородцы и преподному Зосиме с его обителью, которая с каждым годом возрастала числом иноков, а вместе с тем и богатела. Новгородские рыбаки-стяжатели помыслили оттягать у отшельников рыбные ловли, и вот преподобный Зосима и явился в Новгород отстаивать свои права на остров.

— На ките, родимая, сказывают, угодничек-от приплыл с киян-моря, с самого острова Буяна, — рассуждали новгородские бабы, видевшие Зосиму в числе гостей Марфы-посадницы.

— На ките! Матушки! Вот страстобушка!.. И он его, угодника, не сглонул — кит-от?

— А крест на что? Он, этот кит самый, родимая, креста ни-ни!

— Знамо, крест — он и кита испужае, а не то что.

— Так вот он каков живет, этот угодничек, Зосима, дивыньки. А исть он одну просвирку в неделю — такой постник!

— И-и!.. что ж, и на пиру-ти у Марфы у посадницы он, угодничек, ничего есть не буде?

— Ничевошеньки, родимушка, ни синь пороха... Просви-рочку, може, махоньку, либо причастьица святого ложечку, вот и все: они вить, святые угоднички, олько просвиркою да причастьицем святым и живут.

— Тото святость-то — не легко ее сподобиться.

Правы ли были новгородские бабы — это мы сейчас увидим.

II. ПИР У МАРФЫ-ПОСАДНИЦЫ

Дом Борецких находился на Софийской стороне, в Неревском конце, на Побережье, между Розважею и Борковой улицами. По словам летописца, дом этот был «чюдень» своею лепотою извне и богатством внутри. Он не походил на тогдашние московские дома, которых неуклюжая татарская простота так и кричала своею грубостью, так и была глаз аляповатостью и татарско-византийским безвкусием — чем-то средним между монастырем, кибиткою и острогом. К Новгороду не привилась еще тогда эта византийско-татарская оспа. Дом Марфы скорее напоминал средневековое жилище богатого бюргера, в котором славянская простота первобытного стиля и первобытных украшений скрашивалась европейским искусством и предметами, созданными западною цивилизациею: славянская братина в полтретья ведра и славянская чара с дыню астраханскую стояли рядом с красивым кубком изящной итальянской работы и позолоченным литовским турьим рогом; родные скатерти браные, покрывавшие длинные столы с дорогими приборами, мешались с сукнами и шелками любскими, дацкими, аглицкими и амбурскими, вычурные изделия

«рыбий-зуб» и шелки шемаханские виднелись и на гостях, и на стенах, и на скамьях там же, где и бархаты «фларенски» и «венедцки», «камки куфтери» и «сукна лундыши»... Видно, что в Новгороде уже давно было прорублено то окно в западную Европу, которое через несколько столетий пришлось Петру пробивать в Петербурге кровавым топором, долго плававшим в московско-русской крови. Мало того, в Новгороде была отворена в Европу целая дверь, и Марфа Борецкая, как любезная хозяйка, стояла на пороге этой двери и принимала дорогих немецких гостей, наезжавших в Новгород из любских, аглицких, амбурских, венецицких, дацких, шпанских и иных мест...

И настоящий пир у Марфы-посадницы не обошелся без иноземных гостей.

Обширная передняя палата Марфы была уставлена длинными столами «покоем». Столы были покрыты скатертями браными, а скамьи у столов — дорогими коврами и сукнами. На столах дорогая посуда, братины, чары, кубки, блюда и шитые полотенца для утирания рук, хотя в обычае было, что каждый гость имел свою собственную «ширинку» в кармане и ею утирался, а люди старые — так те, по старине, обсасывали запачканные кушаньями пальцы или просто обтирали их о свои головы, тогда еще не так скоро плешивевшие, как ныне, или же утирались рукавами, а то и просто, «по естеству», облизывались.

На почетном конце посажено было высшее духовенство Новгорода — новоизбранный владыка Феофил, софийского собора казначей и друг Марфин — Пимен, отец Варсонофий, духовник покойного владыки Ионы. Тут же чернелась и скромная фигурка преподобного Зосимы, а недалеко — и лохмотная одежда блажененького Тихика с его нищенскими сумами. По сторонам их восседали — седоволосый, но необыкновенно моложавый на вид, с живыми серыми глазами и золотою гривною на шее степенный посадник Господина Великого Новгорода Василий Ананьин, вожди антимосковской партии Василько Селезнев-Губа, Киприян Арзубьев и Иеремия Сухощек, архиепископский чашник; тут же старый боярин Памфил и другие бояре. Между почетными гостями особенно бросался в глаза недавно прибывший из Киева «на кормление» князь Михаил Оленькович с несколькими киевлянами, которых одеяние напоминало собою что-то не то польское, не то литовское, а хохлы на маковках да черные усы приводили новгородских баб в немалое изумление, а иных в трепет даже, а

некоторых, помоложе, и в восхищение... «Не то, мать моя, эфиопы, не то Ягорьи хоробрые»...

Сама хозяйка и ее два статных сына — черноглазый, весь в мать Димитрий и белокурый, кудрявый и с кудреватую бордкую Федор, сопровождаемые челядью с блюдами и кувшинами в руках, постоянно ходили около гостей и усердно потчевали каждого разными наваленными горою на блюда яствами и питиями. Постоянно слышалось: «Не побрезгуйте, дорогие гости — куровя печеное, а се лебедь жарена, а се баран молодой... осетринка добрая... пирожок с визигой... теша межукосна с хренком... романейка добрая... ренское сладенькое... мальвазейцы стопочку махоньку... чарочку угорского... грибков рыжиков... семужки свежей... отведайте, гостюшки, не побрезгуйте — чем богаты... от чистого сердца — сижка копченого... поросеночка молочного... гусачка с яблочком... глухарика малость испробуйте... индийсково алектора-петела с шпанским моченым виноградцем... пивца аглицкого черного...» — Много довольны, мамушка Марфа, ажно рыгаем со умилением и молитвою о твоём здравии...»

Одно кушанье сменяло другое, и казалось, что им и конца не будет. Челядь не успевала вносить, разносить и уставлять блюда, чтобы сменить и унести опорожненную посуду, а хозяйка с сыновьями все угощала да умасливала дорогих гостей и ласковыми словами, и низкими поклонами, и улыбками. Братины, рога, ковши, кубки и всякие чапарухи переходили из рук в руки, сверкая серебром и золотом. Вносились и уносились енды, глиняные кувшины, бутылки.

Только двое из гостей не принимали участия в пиршестве — блаженный Тихик и преподобный Зосима. Первый брал от каждого блюда порядочный кус и, крестясь и улыбаясь, совал его в один из висевших на нем мешков и мешочков и при этом бормотал: «Деткам своим понесу — птицам небесным, что не сиют, не жнут, ни в житницы собирают... Много у меня таких птичек».

И все знали, кто были эти «птички»: блаженненький Тиша так называл нищих.

Зато преподобный Зосима положительно ни до чего не дотрагивался, как ни упрашивала его хозяйка. Он только благословлял каждое подносимое ему блюдо, конечно постное, но ничего не ел и хранил глубокое молчание.

Сначала беседа на пиру шла беспорядочно, шумно, но потом разговором овладело несколько лиц, и в особенности благообразный седоголовый посадник, которого все слушали очень внимательно. Посадник с своими речами преимущест-

венно относился к князю Михаилу Оленьковичу и к преподобному Зосиме соловецкому, которые, как недавно прибывшие в Новгород гости, не знали самых свежих, весьма важных новостей, волновавших последние новгородские вече.

Князь Оленькович слушал посадника, окидывая и его, и все общество черными, блестящими глазами, и по временам вставлял в речь своего собеседника, от себя, то игривое замечание, то вопрос, вызывавший улыбки и смех гостей. Преподобный же Зосима слушал молча, не подымая головы, и только иногда как бы окатывал светом своих серых, небольших, но живых глаз красивое лицо посадника или его соседа, Селезнева-Губу, и опять прятал эти прозорливые глаза и поныкал головою.

— Так не ласков москаль? — вставил Оленькович, блеснув разом и светящимися глазами и белыми, такими ж светящимися зубами из-за приподнятых улыбкою черных усов. — Яко кот до сала?

— Точно, княже, — как кот до мышей, — улыбнулся и посадник.

— А мыши что?

— Да мы, новгородские мыши, княже, — будь тебе ведомо, — посольство к московскому коту правили... О земских делах своих я был послан в Москву... Приехал это я в Москву, поклонился боярам новгородскими поминками. Приняли дары — не спесивились.

— Любят сало — ласы до него?

— Любят, княже... Поклон правлю им от Господина Великого Новгорода — прошу доложиться великому князю на очи... Не подобает, говорят, тебе, холопу, пред светлые царские очи становиться.

— Холопу! — проворчал сердито Селезнев-Губа, стукнув чарою об стол. — Холопы они, а мы вольные люди.

— Что-то зазнались? — вскинул на посадника стоячими глазами и сосед Селезнева-Губы, белокурый Арзубьев Киприан. — А давно он у поганого Ахматки стремя и ногу целовал?

При этих словах Соловецкий отшельник, в свою очередь, как бы изумленно вскинул глазами на Арзубьева и Селезнева-Губу и снова спрятал их.

— Так и не допустили тебя до князя? — интересовался Оленькович.

— Не допустили, княже... Да еще меня же и докоряют: как же это, говорят, приехал ты от Великого Новгорода великому князю посольство править о своих земских новгород-

ских делах, а о грубости, и неисправлении новгородском ни одного-де и слова покорного не правишь?

— О грубости?.. эге-ге! Мыши коту согрублили...

— Да, о грубости... я им на это аркучи тако: Господин-де Великий Новгород не мне это приказывал — мне-де и это не наказано.

— А чем бы то мыши согрублили коту? — улыбнулся Оленькович хозяйке, которая в это время подошла к нему сама с золотым кубком на подносе.

— Да Новгород, княже, не пустил через свои земли послов псковских ради того, что они ехали к великому князю не с добром, — отвечала Марфа, кланяясь князю кубком.

— Какое же было их недоброе дело?

— А они, княже, плетут в Москве на нас безлепичные сплетки, — отвечал посадник вместо Марфы. — Так вот, когда я отвечал боярам, — продолжал он, не давая говорить хозяйке, — что мне того в посольстве править не указано, бояре, аки псы оцетинясь, рекли, что-де сие великому государю вельми грубно — не в истерп-де воля новгородская, и что-де и великий государь тебе, Василию посаднику, указал ответ его, государев, держать, Великому Новуграду, аркучу тако: «Исправьтесь-де и, отчина моя, Великий Новгород, люди новугородстии, сознайтесь в винах своих, в земли и воды мои не вступайтесь, имя мое держите честно и грозно по старине, ко мне, великому государю, посылайте бить челом по докончанию, а я вас, отчину свою, жаловать хочу и в старине держу».

Посадник договорил последние слова взволнованным голосом, бледное лицо его вспыхивало багровыми пятнами, и когда, замолчав, он протянул руку к братине за чарой, рука его дрожала. Глаза преподобного Зосимы как-то робко вскидывались на него из-под опущенных ресниц и снова прятались. Глаза Марфы, которыми она обводила собрание, горели молодым огнем.

— Что ж он и впрямь! Но ли мы холопы московские! Новгород ни у кого в холопах не был, — заговорил сын Борейкой, Димитрий, бледный и взволнованный.

— Не был и не будет! — ударил мясистым кулаком по столу Арзубьев.

От этого удара чары и братины задрожали и расплескали вино. Преподобный Зосима вздрогнул и с неммым укором глянул на Арзубьева. Марфа самодовольно обвела гостей своими большими глазами. Она видела, что уже довольно подпито и разгорячена кровь у большинства, а это-то и было ей на руку: честолубивая баба заваривала кашу... каша закипала...

«Ох, кто-то ее расхлебывать будет?» — казалось, говорили задумчивые глаза соловецкого отшельника.

Михайло Олелькович, тоже подвыпивший, веселыми и лукавыми глазами оглядывал расходившихся новгородцев и подзадоривал их то улыбкой, то кивком головы.

Духовные чины между тем вели более скромную беседу — о церковных делах. Отец Пимен, белокурый и рыжебородый попина, жарко оспаривал в чем-то своего соседа, новоизбранного владыку Феофила.

— И ты-таки на Москву поволочишься на ставленье? — говорил он, откидывая от кистей своих пухлых рук широкие рукава рясы, мешавшие ему жестикулировать.

— И поволокусь, — невозмутимо отвечал октавой сухой, черный и горбоносый Феофил.

— Но ли и свиту токмо, что в окошке?

— Точно — у нас оконце едино в царстве Божие: греческая восточная церковь.

— А чем киевская церковь не греческая?

— Олатынилась она латинскою коростою.

— Эх, владыко! Не тебе бы говорить, не мне слушать! Но ли московские митрополиты не ездили в орду ярлыки себе хански на митрополичий престол выкланивать? Но ли Алексей митрополит не обивал пороги у поганого сыроядца? А вить московская церковь не отатарилась. Почто же ты латинскою коростою позоришь киевскую церковь? Уж коли бы она окоростовела латынью, так святии печерские угодники не стали бы лежать в своих пещерах — ушли бы в Москву либо там во Иерусалим.

— На то их святая воля.

Чем более горячился Пимен, тем спокойнее держал себя Феофил, а лицо Зосимы, не проронившего ни одного слова из всего этого словесного «розратья», становилось все задумчивее и грустнее.

Кругом беседа становилась все шумнее и шумнее.

— Отцы и братия, мужие новгородстии! — возвысил голос старший сын Марфы, Димитрий. — Послушайте меня! Хотя я человек молодой, а многое испровидал на своем веку. Я бывал в Литве — Литву я знаю и Киев знаю. Добре знаю и Москву загрибистую: Москва на крови стоит, Москва слезам не верит. На Москве плач и скрежет зубов, в Литве — житие блаженное. Не верьте, братие, что Литва латынью опоганена — неправда то: в Литве истинное православие; пастыри литовские не латинской ереси — от Москвы те наговоры на них. Поразмыслите, отцы и братия: в те поры, как Москва

добывала русские города и княжения огнем и мечом, проли-вала и проливает кровь хрестьянскую, Литва никого не ста-вила в обиду, и вот ноне своею волею даются за литовского князя Казимира и Чеси, что призвали королевича на стол к себе, на господарство, дается за Казимира и угорская земля и просит себе другого королевича, Казимирова сына... А кто волею своею задавался за Москву? Какая овца охотою волку служить похочет?

— Истину, святую истину глаголет Димитрий! — кричал сухопарый Иеремия Сухощек, чашник владычный, и лез це-ловаться с оратором.

— Слава Димитрию! — стучал по столу Арзубьев.

— И матери его Марфе слава! — хрипел Селезнев-Губа.

Один боярин, совсем пьяный, тоже лез целоваться с Ди-митрием и бормотал:

— Блажено чрево... блажени сосцы...

— Полно-ка, кум, об сосцах-то! — перебил его Сухощек, таща за руку.

— А что, кум?.. Воистину блажени сосцы, — защищался пьяный.

— Да ты хозяйку своими сосцами соротишь.

— Почто соротить! От писания глаголю.

— За короля Казимира! — кричали пьяные голоса.

Марфа ходила по палате довольная, счастливая, привет-ливая: то она заговаривала с одним, улыбаясь другому, дру-жески кивала головою третьему, то подходила к «отцам», взглядом и улыбкой одобряла запальчивую речь Пимена и пожимала плечами на холодное, сухое слово Феофила; то силилась заглянуть в потупленные глаза молчаливого соло-вецкого отшельника, который упорно не глядел на нее или при приближении ее шептал: «Не вмени, Господи...» То она подходила к блаженненькому Тише и совала в его перепол-ненные сумы либо рыбу, либо курова печеное, а тот только идиотически улыбался и шептал: «Птичкам моим, птицам небесным».

Посадник, который пил меньше всех, больше всего раз-говаривал с князем Оленьковичем, который горячо хвалил ли-товские порядки, превозносил силу и величие короля Казимира, говорил о льготах и милостях, коими этот мудрый король осыпал своих подданных и не теснил ни веры их, ни совести. По временам посадник задумывался, как бы сиясь разрешить трудный, мучивший его вопрос, и при этом воп-росительно взглядывал на Зосиму соловецкого или на по-стное, строгое лицо Феофила.

Между тем Дмитрий Борецкий, около которого столпилось несколько бояр, положив три поклона перед киотой, стоявшей в переднем углу и наполненной дорогими образами в золоченых ризах, снял с гвоздей висевшее там серебряное распятие и положил его на стоявший в переднем углу, перед киотой, аналой, покрытый малиновым бархатом.

— Ты что, сынок, задумался? — спросила удивленная Марфа.

Все оглянулись на передний угол. Дмитрий казался крайне возбужденным.

— Что с тобой, Митя? На что крест-от вынул? — спрашивала встревоженная мать.

— Во славу Великого Новгорода, — отвечал сын посадницы и снова положил три земных поклона.

Потом он поднял над головою правую руку со сложенными для крестного знаменья пальцами и громко, дрожащим голосом произнес: «Се аз Митрей, Исаков сын, Борецкой, целую животворящий крест сей на том, что положить мне голову мою за волю новгородскую и не дать воли той и старины новгородской, и веча новгородского, и вечного колокола, и святой Софии в обиду ни Москве, ни князям московским; а будет голова моя ляжет в поли чи в неволи, и се обещаю я и вручаю по животе моем на вечную свечу по душе мой все мои земли, угодья и деревни и воды с рыбными ловы, куда топор, и соха, и коса, и лодка ходила, — ино горит той свече вечной у престола святой Софии до страшного суда, как стоять вечно воле новгородской до трубы архангела!»

Он остановился бледный и дрожащий. Шум пирующих стих, как от удара грома. И посадник, и Марфа стояли бледные. На изможденном лице Зосимы соловецкого изобразился ужас.

— Во имя Отца и Сына и Святого Духа! — глухо произнес Дмитрий и поцеловал крест.

— Аминь! — пронесся по собранию голос Пимена.

Дмитрий глянул кругом. Глаза его встретились с глазами Селезнева-Губы.

— И аз целую крест на том же! — громко произнес Селезнев.

— Аминь! — снова прозвучал голос Пимена.

— И аз целую крест на том, что лечь мне костями за волю новгородскую! — выкрикнул Арзубьев.

— Аминь! — повторил Пимен.

— И аз целую крест за святую Софию и за вечный колокол! — отозвался и Иеремия Сухощек.

— Аминь! аминь! аминь!

Вдруг последовавшая за этим возгласом тишина нарушена была какими-то странными, непонятными звуками: казалось, что кто-то навзрыд, хотя сдержанно, всхлипывал. Все огляделись в изумлении. Действительно, за передним столом, на почетном месте, Зосима соловецкий, закрыв свое сухое, испостившееся лицо такими же сухими ладонями, тихо рыдал, покачивая головою как бы от нестерпимой боли, между тем как слезы, выступая из-под ладоней, скатывались на четки и разбивались об них, как капли дождя о камень.

Всех, уже настроенных предыдущим, поразило это неожиданное явление. Марфа, казалось, окаменела и растерянно переносила испуганные взоры с сына у аналая на плачущего отшельника, с Зосимы на гостей. Благообразное лицо посадника выражало больше, чем изумление: он с ужасом видел, что совершается что-то такое, чего он ни ожидать, ни предотвратить не мог... А что означают эти слезы угодника? Они не к добру... Он вспомнил, что недавно видели, как у Ефимья в церкви текли слезы по лику Богородицы, как плакала икона Николы чудотворца на Никитской улице, как плакали «топольцы» на Федоровой улице... Затевается страшное дело для Новгорода... Он с боязнью и с горьким укором в душе взглянул на Марфу... «Все это бабой бес играет на пагубу нам... Баба погубила Адама прародителя — погубит и Великий Новгород... Боже, не попусти!..».

Зосима все плакал, да все горше и горше, словно бы у него душу разрывали на части... Даже безумное лицо слепца Тиши выразило испуг...

Вдруг под окнами послышался конский топот и тотчас же замер у крыльца дома Борецких.

Все переглянулись испуганно, перенесли глаза на двери...

«Что это?.. кто?.. кто?.. не гонец ли?.. откуда?.. с какими вестями?..»

Дверь отворилась, и в палату вошел «некий муж не велик гораздо», с бородою, заиндевевшею снегом и с длинным мечом у кожаного с набором пояса. Он перекрестился торопливо, поклонился, тряхнул волосами.

— Тутай будет господин посадник?

— Аз есмь посадник Господина Великого Новаграда. А ты, человеце, кто еси?

— Я гонец из Пскова — новугородец.

— С какими вестями?.. От веча?

— С недобрыми, господине... не от веча, а сам от себя — ради Новгорода да святой Софии...

Все гости понадвинулись к прибывшему. Марфа, видимо, все более и более приходила в смущение и вопросительно поглядывала на старшего сына.

— Не смущайся, матушка, мы постоим за волю новгородскую, — шепнул он нетерпеливо.

— Сказывай вести — правь свое дело, — сказал посадник гонцу.

Марфа, как бы опомнившись несколько, торопливо взяла со стола пустой серебряный ковш, зачерпнула из братины вина и сама подала чару гонцу.

— Выпей с дороги, человеку добрый!

Гонец взял чару, перекрестился и выцедил ее всю в свой усатый рот.

— Спасибо, — кланялся гонец, — болого... а то в гортани пересохло.

Он крикнул, утерся рукавом, снова потрянул волосами. Посадник нетерпеливо глянул на Марфу. «Суется бес-баба», — казалось, говорили его глаза.

— Ну, сказывай...

— Онама-дни пригнал во Псков посол с Москвы, — начал гонец, — псковичи звонили вече... Ладно — болого... Посол-от и говорит на вече: великий-де князь велел мне сказать вам, псковичам, отчине своей, коли-де Великий Новгород не добьет мне челом о моих старинах, ино отчина моя Псков послужил бы мне, великому князю, на Великий Новгород за мои старины.

Точно гром разразился у всех над головами. Никто не шевелился, кругом воцарилась мертвая тишина. Слышны были только тихие, сдержанные, но страстно-глухие всхлипывания. Это плакал Зосима, с тихим шепотом: «Что видел я, Боже!.. О! ужасеся душа моя... ужаса исполнено видение сие... без голов...»

Гонец передохнул, с боязною глядя на плачущего старца.

— И что ж — на чем положил Псков? — хрипло спросил посадник.

— Положил стоять за великого князя — послов послать в Великий Новгород бить челом Москве о миродокончальной грамоте...

— О миродокончальной?

— А тако ж и об разметных вече шумело... точно — болого — о миродокончальной и о разметной...

— А, разметной!.. Вон оно что! Холопы!

И посадник оглянул все собрание. Глаза его упали на Марфу, потом на плачущего Зосиму, снова на Марфу... «У,

змея подколодная... не терпелось тебе... мужа захотела, старая ведьма...».

Посадник опомнился. Опомнилось и все сборище. Послышались возгласы, угрозы: «Мы их, сяких-таких!.. мы им, раз-эдаким!.. да мы их!..»

— Звонить вече! Послать вечного звонаря-ать звонить на всю землю новгородскую! — покрыл все голос посадника.

— На вече! На вече! — повторили все в один голос.

Через несколько минут над Новгородом и его окрестностями разносился в воздухе звонкий, резкий, точно человеческим голосом стонущий крик вечевого колокола.

III. ПРЕДСКАЗАНИЯ КУДЕСНИЦЫ

Не успели еще гости разойтись из дома Борецкой и отправиться, по призыву вечевого колокола, на вече, как кто-то торопливо вышел из этого дома и, нахлобучив на самые глаза бобровую шапку, а также подняв меховой воротник «мятели», чтоб не видно было лица, скорыми шагами направился по берегу Волхова, вверх, по направлению к Ильмену. Он шел, не оглядываясь по сторонам, а между тем зорко присматривался ко всем проходившим мимо, хотя прохожих в это время было очень мало: весь Новгород, после избрания владыки, или обедал, или, скорее, спал после обеда по заведенному из старины обычаю.

Из-за поднятого воротника «мятели» у таинственного прохожего виднелся только конец рыжей бороды да из-под бобровой шапки выбивалась прядь рыжих волос, которую и трепал в разные стороны переменчивый ветер. Прохожий прошел таким образом весь Неревский конец, оставил за собою ближайшие городские сады и огороды, спускавшиеся к Волхову, прошел мимо кирпичных сараев и гончарен и достиг старых, уединенных каменоломен, ныне уже брошенных, где брали камень на постройку новгородских церквей, монастырей и боярских хором очень давно, еще при первых князьях, вскоре после «Перунова века».

Здесь берег был высокий, изрытый, со множество глубоких пещер, из которых многие уже завалились, а другие зияли между снегом, как черные пасти.

Подойдя к пещерам, прохожий невольно, с каким-то ужасом остановился. Ему почудилось, что точно бы под землю или в одной из пещер кто-то поет. Хотя голос был приятный,

женский, почти детский, но в этом мрачном уединении он звучал чем-то страшным...

— Чур, чур меня! — невольно пробормотал прохожий, крестясь испуганно и прислушиваясь.

Таинственное пение смолкло.

— Ноли старая чад так поет — кудесница. С нами крест святой...

Но в эту минуту невдалеке послышался другой голос, скрипучий, старческий:

— Ну-ну — гуляй, гуляй... завтра я тебя съем, — бормотал где-то скрипучий голос.

Волосы, казалось, стали живыми и задвигались под шапкою прохожего...

Бомм!.. — раздался вдруг в Новгороде первый удар вешего колокола, и голос его, словно живое что-то, прокатился по воздуху и ему как бы что-то живое отвечало глухим откликом в пещерах...

— Го-го-го! Заговорил Господин Великий Новгород! — опять послышался тот же старческий голос. — А коли-то смолкнет...

Точно в бреду каком прохожий двинулся вперед к каменному выступу и невольно остановился. Внизу, на Волхове, у треугольной проруби, середина которой была покрыта соломой, на льду, боком, опираясь на клюку, стояла старуха и глядела в прорубь...

— Кричи, кричи, матка, созывай пчелок... А кому-то медок достанется?

Старуха потыкала клюкой в прорубь, погрозила кому-то этой клюкой в воду...

— Гуляй, гуляй, молодец, покуль я тебя не съела, а мальцов ни-ни! — не трогай...

Старуха оглянулась и с изумлением уставилась своими глубоко запавшими глазами в неподвижно стоявшего на берегу прохожего. Голова ее покрыта была чем-то вроде ушастого малахая и тряслась. Одежда ее, вся в разноцветных заплатах, напоминала одеяние скомороха.

Прохожий снял шапку и показал свою большую, обильную рыжими волосами голову.

— Фу-фу-фу-фу! Русским духом запахло! — тем же скрипучим голосом проговорила старуха. — Опять рыжий... рудой волк...

«Рудой волк», надев шапку, хотел было спуститься с берега.

— Стой, молодец! — остановила его старуха. — Дила пытаешь, ци от дила лытаешь?

— Дила пытаю, бабушка, — отвечал рыжий, — к твоей милости пришел.

— Добро... пойдём в мою могилку...

По узенькой тропинке старуха поднялась на берег и, поравнявшись с пришельцем, пытливо глянула ему в очи своими сверкавшими из глубоких впадин черными, сухими глазами. Острый подбородок ее шевелился сам собою, как будто бы он не принадлежал ее серьезному, сжавшемуся в бесчисленные складки лицу.

— Иди за мной, да не оглядывайся, — сказала она и повела его к ближайшей пещере, вход в которую чернелся между двух огромных камней.

Пришлец последовал за нею. Согнувшись, он вошел в темное отверстие и остановился. Старуха три раза стукнула обо что-то деревянное клюкой. Словно бы за стеной послышалось мяукание кошки... Пришлец дрогнул и задержал дыхание, как бы боясь стука собственного сердца...

Старуха прошуршала обо что-то в темноте.

— Отворись-раскройся, моя могилка.

Что-то отворилось в темноте, точно дверь скрипнула, но ничего не было видно. Вдруг пришлец ощутил прикосновение к своей руке чего-то холодного и попятился было назад.

— Не бойся — иди... — Это старуха потянула его за руку.

Ощупывая ногами землю, он осторожно подвинулся вперед, переступил порог... Опять мяукание...

— Брысь, брысь, желтый глаз...

Пришлец увидел, что недалеко, как будто в углу, тлеют уголья, нисколько не освещая мрачной пещеры. Старуха бросила чего-то на эти уголья и они, мгновенно вспыхнув ярким пламенем, осветили на один миг подземелье. В тот же момент у старухи очутилась в руках зажженная лучина, которую она и поднесла к глиняной плошке, стоявшей на гладком большом камне среди пещеры. Светильня плошки вспыхнула в свою очередь и мгновенно осветила все подземелье.

В один момент произошло что-то необыкновенное, страшное, от чего пришлец хотел бы тотчас же бежать, крестясь в ужасе и дрожа, но ноги отказались служить ему...

Словно бешеный замыкал и зафыркал огромный черный кот с фосфорическими желто-зелеными глазами и стал метаться из угла в угол... Какая-то большая птица, махая крыльями, задела ими по лицу обезумевшего от страха пришельца и, сев в какое-то углубление, устала на него свои круглые, огромные, неморгающие глаза — глаза точно у человека, и

уши торчат как у кота — голова как у ребенка, круглая, с загнутым книзу клювом, которым она щелкает, как зубами... Со всех сторон запорхали по пещере летучие мыши и задевали своими крючковатыми крыльями пришлеца за лицо, за уши, за волосы, которые шевелились от ужаса...

На жердях и веревках висели пучки всевозможных трав, цветов, кореньев... Меж ними висели сушеные лягушки, ящерицы, змеи... Страшный кот, вспрыгнув на одну из жердей, сердито фыркал и глядел своими ужасными, светящимися зеленым огнем глазами, как бы следя за каждым вздохом растерявшегося пришельца...

А между тем из Новгорода продолжали доноситься в это страшное подземелье медленные, торжественные удары вешнего колокола... Казалось, что Новгород хоронит кого-то — себя хоронит, по своей кончине звонит и плачет...

Старуха, что-то копавшаяся в углу, подошла к пришельцу и снова пытливо взглянула ему в глаза.

— Своей волей пришел, добрый молодец?

— Своей, бабушка.

Он испугался своего собственного голоса, он не узнал его — это был не его голос... И кот при этом опять замяукал.

— А за каким помыслом пришел?

— Судьбу свою узнать хочу.

— Суд свой... что сужено тебе... И ейный суд?

— И ейный тако ж, бабушка... и Марфин...

— И Марфин?

— Точно... какова ее судьбина...

— Фу-фу-фу! — закачала своею седою головой старуха. — Высоко сокол летает — иде-то сядет...

Старуха подошла к страшной птице — то была сова — и шепнула ей что-то в ухо... Сова защелкала клювом...

— А?.. на ково сердитуешь?.. на Марфу?.. ци на Марфину сношеньку молодую?

Сова опять защелкала и устала свои словно бы думающие глаза на огонь.

— Для чего разбудили старика? — обратилась вдруг старуха к пришельцу.

Тот не понял ее вопроса и молчал.

— Вече для чего звонят? — переспросила она вновь, прислушиваясь к протяжным ударам колокола.

— Гонец со Пскова пригнал с вестями.

— Знаю... Великой князь псковичей на Великой Новгород подымае, и сам скоро на конь всяде...

— Но ли правда?

— Истинная... И ко мне гонцы пригнали с Москвы — мои гонцы вернее ваших, без опасных грамот ходят по аеру...

Летучие мыши продолжали носиться по пещере, цеплялись за серые камни, пищали...

— Так суд свой знать хочешь?.. и еиный — той, черноглазой, белогрудой ластушки?.. и Марфин?.. и Великого Новгорода?

— Ей-ей хочу.

— Болого — добро... Сымай пояс.

Тот дрожащими руками распоясал на себе широкий шерстяной пояс с разводами и пышными цветными концами.

— Клади под леву пятау.

Тот повиновался... Опять послышалось невдалеке, словно бы за стеною, тихое, мелодическое женское пение.

— Что это, бабушка?

— То моя душенька играе... А топереве сыми подпояску с рубахи... В ту пору как поп тебя крестил и из купели вымал, он тебя и подпоясочкою опоясал... Сымай ее... клади под леву пятау...

Снята и шелковая малиновая подпояска и положена под левую пятаку...

— Сыми топереве крест и положи под праву пятау.

Руки, казалось, совсем не слушались, когда злополучный рыжий расстегивал ворот рубахи и снимал с шеи крест на черном гайтане... Но вот снят и крест и положен под правую пятаку.

Неведомое пение продолжалось где-то, казалось, под землей. Явственно слышался и нежный голос, и даже слова знакомой песни о «Садке богатым госте»:

И поихал Садко по Волхову,
А со Волхова в Ильмень-озеро,
А со Ильменя-ту во Ладожско,
А со Ладожска в Неву-реку,
А Невою-рекою в сине море...

— О-ох! — невольно простонал несчастный, не попадая зуб на зуб.

Послышался плеск воды, а потом шепот старухи, как бы с кем-то разговаривавшей... «Ильмень, Ильмень, дай воды Волхову... Волхово, Волхово, дай воды Новгороду...».

Старуха вышла из угла, подошла к своему гостю, держа в руках красный лоскут.

— Не гляди глазами — слушай ушами и говори за мной.

И старуха завязала ему красным лоскутом глаза.

— Сказывай за мной, добрый молодец, слово по слову, как за попом перед причастьем.

И старуха начала нараспев причитать:

— Встаю я, добер молодец, не крестьясь,
Умываюсь не молясь,
Из ворот выхожу —
На солнушко не гляжу,
Иду я, добер молодец, лесами-полями,
Неведомыми землями,
Где руссково духу не слыхано,
Где живой души не видано,
Где петух не поет,
Ино сова глас подает, —
Под нози Христа метаю,
Суда свово пытаю...

Несчастный дрожал всем телом, повторяя эти бессмысленные, но для него страшные слова. Кудесничество и волхование в то время пользовались еще такою верою, что против них бессильны были и власть, сама веровавшая кудесникам, и церковь, допускавшая возможность езды на бесах, как на лошадях, или на ковре самолете... Давно ли преподобный Иоанн успел слетать на бесе в Иерусалим в одну ночь?..

Послышался стон филина...

— Слышишь?

— Слышу...

— Топерево самая пора... пытай судьбу... Спрашивай...

— Что будет с Великим Новгородом?

— Был Господин Великой Новгород — и не будет ево...

Будет государь...

— Какой государь?

— Православной.

— Так за нево стоять?

— За тово, кто государем станет.

— А какой суд ждет Марфу?

— Государев суд.

— А Марья будет моя?

— Коли Новгород государев будет, ино и Марья твоя.

— А люб ли я ей?

— Оже ли бы не люб, не приходила бы она ко мне пытать о тебе.

— Но ли она была у тебя?

— Она и посямест тут...

У вопрошающего ноги подкашивались. Он готов был упасть и силился сорвать повязку с глаз.

— Не сымай! Не сымай! — остановила его старуха.

Потом она сняла с жерди пучок каких-то сухих трав и бросила на тлевшие в углу уголья. Угли вспыхнули зеленым

пламенем, и по пещере распространился какой-то удушливый, одуряющий запах. Затем старуха прошла в какое-то темное отверстие в углу пещеры и через минуту воротилась, но уже не одна: с нею вышла молоденькая девушка и остановилась в отдалении. Кот, увидав ее, спрыгнул с жерди, на которой он все время сидел, распушив хвост, подошел к девушке и стал тереться у ее ног.

— Смотри на свою суженую — вот она! — сказала старуха и сорвала повязку с глаз своей жертвы.

Тот глянул, ахнул и как сноп повалился на землю...

IV. БУРНОЕ ВЕЧЕ

Долго, не умолкая ни на минуту, гудел вечевой колокол. Станный голос его, какой-то кричащий, подмывающий, не похожий ни на один из многих сотен голосов всех колоколов множества новгородских церквей и соборов, как-то нервно, тревожно, точно голос нервного человека, разносился над Новгородом, то усиливаясь и возвышаясь в одном направлении, над одними концами города, то падая и стихая над другими, смотря по тому, куда уносил его порыв ветра, дувшего, казалось, то с московской, то со псковской, то с ливонской стороны.

«Вечный» звонарь, одноглазый, сухой и сморщенный старичок, которому один глаз еще в детстве отец его, тоже «вечный» звонарь, нечаянно выхлестнул веревкою, привязанною для звона к языку вечевого колокола, без шапки, с метущимися по ветру седыми, редкими волосенками, с восторженным умилением на старческом лице, точно священнодействуя, звонил ни на миг не переставая, качая железный язык из стороны в сторону, колотя им об медные, сильно побитые края колокола, который вздрагивал и кричал, словно от боли, и которого стоны заглушал новый удар железного языка, и он опять вздрагивал и кричал — кричал, как живой человек, как раненый или утопающий, а подчас как плачущая женщина. «Вечный» звонарь хорошо изучил натуру и голос своего колокола, изучал его всю жизнь и умел заставить его кричать таким голосом, какого ему хотелось, какого ожидал от него Господин Великий Новгород — тревожного, радостного, набатного или унылого.

Теперь он кричал тревожно. «Вечный» звонарь знал, по какому поводу созывается вече: ему впопыхах поведали о том отроки, прибежавшие от посадника, прямо с Марфина пира,

и велевшие звонить вече. «Москва на нас собирается... Псков поломал крестное целованье — миродокончальные грамоты разметывает...»

На голос призывного колокола новгородцы, только что было соснувшие после избрания нового владыки и после раннего обеда, спросонья бежали на вече, к Ярославову дворищу, словно на пожар, кто без шапки и пояса, кто с едва накинутым на одно плечо кафтаном или однорядкою. Двери, ворота и запоры по всему Новгороду хлопали, визжали и скрипели словно испуганные, собаки лаяли, людской говор неся волнами, как и сам народ, со всех пяти концов и улиц, запружая узкие улицы и мосты, валом валя напрямки через Волхов по льду, оглашая воздух криками, вопросами, руганью, неведомо кому и неведомо за что, и подчас звонким смехом и веселыми шутками.

— Нового владыку вечем ставить — Пимена!

— Ой ли? А чи Фефил не люб?

— Не люб... московской руки... княженецкой.

— Немцы, може, идут на нас?

— Где немцам? Москва, сказывают, с татары... кобылятники!

Скоро вечерую площадь и помост запрудили народные волны. Вечевой колокол умолк и только тихо стонал, замирая в воздухе. Звонарь, набожно перекрестившись и перекрестив колокол, потянулся к нему своими мозолистыми, корявыми руками и стал ими гладить края все еще тихо стонавшей меди, как бы лаская что-то милое, родное, дорогое ему.

— Утомился, мой батюшко, колоколец мой миленькой, утомился, родной, — любовно бормотал он. — Ну, ино отдохни-передохни, кормилец мой, колоколушко вечной... Ишь, как тяжело дышит, старина... Ино буде, буде стонать, батюшко...

Потом старик, привязав конец колокольной веревки к баясине, оперся руками о перила башенного окна и стал смотреть на вече, на площадь, затопленную народными волнами. Зрелище было поразительное: виднелись сплошные массы голов, шапок, плеч — плечо к плечу, хоть ходи по ним от одного конца площади до другого.

— Ишь, детушки мои, новгородцы — экое людо людное... Совокупились детки у единые матки... Голов-то, голов-то что! — качал он косматою головой.

Внизу, на вечевом помосте, отчетливо выделялись фигуры посадника и гонца, пригнавшего из Пскова. Седая голова посадника сверкала на солнце, как серебряное руно, а золотая

гривна горела и словно искрилась, как богатое ожерелье на иконе.

Гонец что-то говорил и кланялся на все стороны. По площади волнами ходил невнятный говор, не то гул, не то рокот волн.

— Господин Великий Новгород сердать учал, — бормотал про себя «вечный» звонарь, глядя с высоты на колыхающееся море голов и прислушиваясь к рокоту голосов.

— Ино псковичи на вече приговорили, что-де и Господин Великой Новгород, наш старший брат, нам-де и не в брата место стал, — доносился голос гонца.

— Хула на святую Софию!.. Не потерпим, братцы, таковые хулы!..

— Сором Великому Новгороду от молодчага брата!

— Всядем, братцы, на конь за святую Софию и за домы Божии и за честь новгородскую! — вырывались голоса из толпы, и площадь колыхалась, как бор под ветром.

Посадник тряхнул своею серебряною головою и заговорил громко и внятно. Он вторично передал собранию содержание вестей, привезенных гонцом из Пскова. Великий князь подымает псковичей на Великий Новгород, не предупредив его об этом. Он идет воли новгородской — на старину вековечную и на святую Софию пятою наступить умыслил. А Новгород старше Москвы — Новгород старше всех городов русских. В Новгороде сидел Рюрик-князь, прародитель всем князьям русским, когда Москвы еще и на свете не было. Великий князь чинит неправду — обиду налагает на землю новгородскую. Новгород был вольным городом, искони-бе, с той поры, как пошла есть русская земля...

Долго говорил посадник, обращая речь свою на все стороны. Но осторожный правитель новгородской земли не ставил вопрос ребром: он только излагал положение дел, говорил о грозившей Новгороду опасности, спрашивал, что ему делать — бить ли великому князю челом об его старинах, виниться ли ему в своей грубости и просить опасной грамоты новому владыке, чтобы ехать в Москву на ставление?

— Говори свою волю, Господине Великий Новгород! — закончил он свою речь. — На чем ты поставишь, на том и пригороды станут.

Он смолк и низко кланялся на все стороны.

Казалось, что разом прорвалась давно сдерживаемая плотина, и бушующие волны с ревом, шумом и невообразимым клочкотанием ринулись с гор в долину и все топили, ломали, сносили с мест и уносили неведомо куда. Сначала слышался

только рев и стон. Отдельные возгласы и речи стали выделяться уже после...

— Ишь разыгралось Ильмень-озеро! — качал головою звонарь, поглядывая на волнующееся вече. — Распалились дедушки новгородци — фу-фу-фу!

Новгородцы действительно распалились. Звонарь ждал, что тотчас же разразится буря, которые не раз доводилось наблюдать на своем веку этому старому сторожу «вечного гласа» с высоты своей исторической колокольни. Это бывало тогда, когда народ — эта самодержавная сила древнейшей северно-славянской республики — худые мужики вечники, выведенные из терпения какими-либо неправильными или отягощающими их быт действиями или распоряжениями правящих властей и богатых людей, подымали бурю на вече, стаскивали провинившихся против верховной власти народа ораторов с вечевого помоста, били и истязали их всенародно, бросали с моста в Волхов, а потом грабили их дома — грабили целые концы или улицы развившихся на счет самодержавного народа бояр, посадников и тысяцких и, так сказать, своими кулаками, камням и дубьем делали поправку в законах своей оригинальной, мужицкой, чисто русской республики. Не сделали власти того, чего хотел народ, — и этот самодержавный мужик тут же, на вече, расправлялся с властями, заменял их новыми, направлял дела новгородской земли туда, куда желала державная воля народа, и тут же, под вечевой колокол, под рев тысяч мужицких глоток, изрекал свое державное «быть по сему».

Таким и теперь сказался на вече этот «самодержавный мужик» — Господин Великий Новгород.

— Не хотим московского князя! Мы не отчина его! — выделялись отдельные голоса из общего народного рева.

— Мы вольные люди, как и земля стоит!

— Мы Господин Великий Новгород! Москва нам не указ!

— Московской князь чинит над нами, вольными людьми, великие обиды и неправды!

— За Коземира хотим за литовского... к черту Москву!

— Не надоть для владыки опасной грамоты от Москвы! Пускай идет на ставление в Киев.

Никто не смел перечить расходившемуся народу. Посадник, тысяцкие и старосты, люди степенные и богатые, сбившись в кучу под вечевой башней, стояли безмолвно. У посадника, когда он поправлял по привычке золотую гривну, блиставшую на груди, рука дрожала заметно.

Откуда ни возьмись, на помосте появилась рыжая голова на плотном туловище всем известного новгородца. Волосы его казались золотыми на солнце, а небольшие черные глазки, казалось, смотрели через головы народа и искали кого-то вдали.

Это был Упадыш, человек бывалый, хотя не старый, не раз уезжавший в Москву и имевший там знакомство.

Он по русскому обычаю тряхнул своими рыжими волосами и поклонился на все стороны.

— Повели мне, Господине Великой Новгород, слово молвить, — заговорил он, снова кланяясь.

— Упадыш речь держит, братцы, послушаем-кошь, что Упадыш скажет.

— Помолчите, братцы!

— Долой Упадыша!

— Врешь... Говори-сказывай, Упадыш!.. Держи свою речь.

— Сказывай! Сказывай!

Эти голоса осилили. Упадыш оправился, снова тряхнул волосами, снова поклонился.

— Братие! Господине Великой Новгород! Нельзя тому быть, как вы говорите, чтоб нам даться за короля Коземира и поставить себе владыку от ево митрополита-латынина. Из начала, как и земля наша стоит, мы отчина великих князей...

— Не отчина мы их! Врет Упадыш!

— Отчина! Он правду говорит!

— От первого великого князя Рюрика — мы отчина их. Князя Рюрика из варяг избрала наша земля, новгородская, а правнук Рюриков, Володимер, князь киевской, крестился от греков и крестил всю русскую землю, и нашу словенскую — ильмевскую, и вескую — белозерскую, и кривскую, и муромскую, и вятичей, — продолжал Упадыш, несмотря на ропот народа.

— А Москвы в ту пору и в заводе не было, а вон она ныне, верховодить нами хочет...

— Не бывать тому! Не видать Москве Новагорода как ушей своих!

— Братие новгородцы! — выкрикивал Упадыш. — И мы, Великой Новгород, до нынешних времен не бывал за латиною и не ставливали себе владыки от Киева. Как же топереве хотите вы, чтоб мы поставили себе владыку от Григорья? Григорий — ученик Исидора латинина.

— К Москве хотим! К Москве, по старине, в православие.

— К Москве! К Москве! — раздались голоса степенных мужей.

Вдруг в воздухе мелькнуло что-то белое, и снежный ком вцепился Упадышу в голову.

— Разбойники! Злодеи! — крикнул он, хватаясь за голову.

Снежки полетели со всех сторон. Они обсыпали стоявших на помосте, у вечевой башни. Крики усилились.

«Вечный» звонарь с высоты своей колокольни видел, как в толпе ходило несколько человек, хорошо одетых, и что-то горячо говорили народу. Звонарь узнал между ними сыновей Марфы-посадницы, а также Арзубьева, Селезнева-Губу и Сухощека. Старик улыбнулся.

— Все это Марфутка мутит... бес-баба — знала бы свое кривое веретено, так нет — мутит...

Старик оглянулся на свой колокол, и лицо его озарилось радостной улыбкой.

— Ах, колоколушко, мой, колоколец родной!.. Нет! Не отдам тебя Москве — голову за тебя положу, а не отдам...

И он снова глянул на площадь, где гул и крики усиливались.

— Не давайте Москве, детушки, не давайте, — бормотал старик, — мути, Марфуша, мути вечников — не давай их Москве... И-и, колоколушко мой!..

На площади уже почти не видно было ни голов, ни плеч мужицких — в воздухе махали только руки да кулаки, да снежки — самодержавный мужик валит стеной, чтобы стереть с лица земли все, что противилось его державной воле...

Но в этот момент посадник, словно б выросши на целую четверть, обратился к вечевой башне и махнул своею собольею шапкой... Голоса его все равно никто бы не услышал за эту народную бурю...

Звонарь хорошо знал этот немой приказ посадника. Он торопливо ухватился за колокольную веревку и точно помолодел. Он знал, что одного движения его старой руки достаточно, чтобы в один миг улеглась народная буря.

— Ну-ко заговори, колоколушко мой, крикни...

И вечевой колокол крикнул. Затем еще раз... еще... еще... Медный крик пронесся опять над площадью и над всем городом. Народная буря стихла — поднятые кулаки опустились.

Посадник выступил на край помоста. Он был бледнее обыкновенного. В душе он чувствовал, что, быть может, решается участь его родины, славного и могучего Господина Великого Новгорода... На сердце у него и в мозгу что-то

ныло — слова какие-то ныли и щемили в сердце... «Марфа! Марфа!» — невольно звучали в ушах его евангельские слова, и ему припоминалась эта другая Марфа, которую, казалось, Бог в наказание послал его бедной родине... «Проклятая Марфа!..». И перед ним промелькнули годы, промелькнула его молодость, а с нею обаятельный образ этой «проклятой Марфы» во всей чудной красоте девичества... «Проклятая, проклятая...»

Он вскинул вверх свою серебряную голову, чтоб отогнать нахлынувшие на него видения молодости... А колокол все кричал над ним... Он глянул туда, вверх, и два раза махнул шапкой. Колокол умолк, точно ему горло перехватило, и только протяжно стонал... Над вечервым помостом кружился белый, без отметинки, голубь...

— Господо и братие! — прозвучал взволнованный голос посадника. — Вижу, Господине Великий Новгород, нет твоей воли стать за князя московского, за его старины...

— Нет нашей воли на то!

— За короля хотим! За Коземира!

— Мы вольные люди, и под королем наша братья, русь, то ж вольные люди!

— Да будет твоя воля, Господине Великий Новгород, — продолжал посадник, когда несколько смолкли крики. — За короля — так за короля. И того-дедя подобает нам с королем договорную грамоту написать и печатями утвердить...

— Болого! Болого! На то наша воля!

— Нету нашей воли, нету! — кричали сторонники Москвы — большею частью люди старые, степенные, богатые и их прилебатели.

— Не волим за короля! Не волим за латынство!

— За православие волим! За старину!

Но их голоса покрыты были ревом толпы.

— Не хотим в московскую кабалу! Мы не холопы!

— Бей их, идиловых сынов! С мосту толстобрюхих!

— На поток и на разорение хоромы их, Перуньево отродье!

Опять полетели в воздухе комья снега, а с ними и камни. Опять тысячи рук с угрозой махали в воздухе. Народ двигался стеною, давя друг дружку. Противная сторона посунулась назад; но дальше идти было некуда. Свалка уже начиналась на правом и на левом крыле, где первые натиски толпы приняли на себя рядские молодцы и рыбаки, защищавшие интересы торговых людей и свои собственные.

— Братцы кончане, за мною! — кричал богатырского роста рыбак с Людина конца. — Бей их, худых мужиков вечников!
— Не дадим себя в обиду, братцы уличане!
— Лупи, братцы, серых лапотников!
— Разнесем их, гостиных крыс! Разнесем Перуньевы семена! — отвечали серые вечники.

Русский народ мастер биться на кулачки, а новгородцы по этой части были мастера первый сорт: всю зиму, по большим праздникам и по воскресным дням, а равно на широкую Масленицу, после блинов, на Волхове, на льду, сходилась чуть не весь Новгород — и начинался бой — драка веселая. Конец шел на конец, Нервской конец на Людин, Славенский на Плотницкий, Околоток на Загородный конец. А там сходились улица с улицей — и кровопролитье из носов шло велие: ставились фонари под глазами, сворачивались на сторону скулы-салазки, доставалось «микиткам» и ребрам... В порыве крайнего увлечения торговая сторона шла лавой на Софийскую, и тогда в битве участвовали не одни молодцы рядские, рыбаки да мужики вечники, а выступали и солидные «житые люди» и бояре, и гости, молодые и старые...

Такую картину разом изобразило из себя вече в этот достопамятный день. Богатырь рыбак схватил за ноги какого-то тщедушного тяглеца-«пидблянина» и стал махать им направо и налево, словно мешком, и приговаривать из былины про Илью Муромца:

Захватил Илья тут за ноги татарина,
Стал кругом татаринoм помаживать:
Где махнет — там улица татаровой,
Отмахнется — с переулками...

Но «серые лапотники» навалились массой на рыбаков и рядских молодцов, отбили злополучного «пидблянина», которого богатырь рыбак замахал и заколотил чуть не до смерти, приперли своих противников к стенам, ринулись как звери и на самих торговых и степенных людей и превратили вече в чистое побоище.

Тщетно все старосты концов, сотники и тысяцкие, размахивая своими должностными знаками — бердышами и почетными палицами, крича и ругаясь, силились остановить побоище — оно разгоралось все сильнее и сильнее. Напрасно кричал посадник, грозя сложить с себя посадничество — его голоса никто не слышал.

Один «вечный» звонарь радовался, глядя с своего возвышения на побоище, к которым он так привык и которые с детства умиляли его вольную новгородскую душу.

— Так их, песьих детей, так, детушки! — не продавай воли новгородской!.. Крепче, крепче!

Мужики одолевали. Там, где недавно богатырь рыбник махал на все стороны «пидблянином» — уже не видно было этого богатыря: осиливаемый «вечниками», которые цеплялись за него, как собаки за раненого медведя, он сгреб разом троих мужиков и повалился с ними на землю, другие бросились — кто на него, кто за него, тут же падали в общей свалке, сцепившись руками и ногами или таская друг друга за волосы, и катались клубками; на них лезли и падали третьи, на третьих четвертые, так что над рыбником и его жертвами образовалась целая гора-курган из сцепившихся друг в дружку борцов, тузивших друг друга по всей площади, постоянно путались потерянные в бою шапки, рукавицы, пояса; тут же краснели, чернели и рыжели на снегу лужи выпущенной из носов крови, клочки «брад честных» и волос...

Но этого мало. У Новгорода, у Господина Великого Новгорода, у Новагорода, у этого «самодержавного мужика», как и удревнего Рима, имелась своя Тарпейская скала, для сбрасывания с нее всех провинившихся перед державным городом: такую Тарпейскую скалу в Новгороде заменял «великий мост», соединявший Софийскую сторону с Торговой, мост, с которого когда-то новгородцы свергнули в Волхов своего бога — идолище Перунище...

Этому богу, с этого самого моста, новгородцы постоянно приносили потом человеческие жертвы...

— С мосту злодеев! — кричали осилившие мужики.

— На мост! К Перунищу их!

— Волоки Упадыша! Он заварил кашу, он мутит Москвой!

За волосы, за руки, за ноги, избитые и окровавленные, волоклись уже некоторые жертвы державного гнева. Все повалило за этой страшной процессией, чтобы посмотреть, как будут «злодеев» сбрасывать с мосту... Зрелище достолюбезное! Красота неизглаголанная!..

— Поволокли, поволокли детушки — фу-фу-фу! — радовался с колокольни «вечный» звонарь.

Вдруг раздался детский крик, от которого многие невольно вздрогнули.

— Мама, мама! Батю волокут с мосту! — о... о!

В ту же минуту женщина, протискавшись сквозь толпу, стремительно бросилась на одного из влекомых к мосту, схватила его руками да так и окоченела на нем.

— И меня с ним! И меня с ним! — безумно причитала она.

Но в это время толпы невольно шарахнулись в сторону. От моста, в середину озадаченных толпищ, подняв над головою большой черный крест, с ярко блиставшим на нем серебряным распятием, шел седой монашек. Льяные волосы его, выбивавшиеся из-под низенького черного клобука, и такая же белая борода трепались ветром и, словно серебряные, сверкали на солнце. Он казался каким-то видением.

— Преподобный Зосима... Зосима угодник! — прошел говор по площади, где все еще шло побоище.

Это был действительно Зосима соловецкий. Что-то внушительное и страшное виделось в его одинокой фигуре с распятием над головою.

— Детки мои! Народ православный! Что вы делаете? Опамьяйтесь, православные! Не губите души хрестьянские! Не губите града святой Софии Премудрости Божия! Почто вы котораетесь и ратитесь? Почто брат на брата распялете сердца ваша?.. Убейте меня грешного, меня сверзите с великого мосту, токмо град свой и души свои не губите...

Толпа оцепенела на месте, как испуганные дети. «Самодержавный мужик-вечник», превратившийся было в зверя, монашка с крестом испугался...

— Ко мне, детки!.. Кланяйтесь Распятому за ны — Его молитте, да пощадит град ваш... Кланяйтесь знамению сему!

И он осенял крестом испуганные толпы направо и налево... Новгородцы падали ниц и крестились... Буря мгновенно утихла...

— Эх-ма!.. не дал доглядеть до конца, — ворчал «вечный» звонарь, спускаясь с колокольни.

V. «БЕС В РЕБРЕ» У МАРФЫ-ПОСАДНИЦЫ

«Самодержавный мужик», как и следовало ожидать, осилил партию бояр, степенных и житых людей, сторонников московской руки. Господин Великий Новгород постановил, а на том и пригороды стали, чтоб от московского князя отстать, крестное целование к нему сломать, как и сам он его ежегод сламливал и топтал под нозе, а к великому князю литовскому и королю польскому Каземиру пристать и договор с ним учинить навеки нерушимо...

— Уж таку-ту грамотку отодрал наш вечной дьяк королю Коземиру, таку отодрал, что и-и-и! — хвастались худые му-

жики вечники, шатаясь кучами по торгу, задирая торговых людей, да рядских молодцов, да рыбников и зарясь на их добро.

— Да, братцы, на нашей улице нониче праздник.

— Масленица, брательники мои, широкая Масленица! Эх-ну-жги-поджигай-говори!

— Не все коту Масляница — будет и великий пост, — огрызались рядские молодцы да рыбники.

Действительно, на том же бурном вече, по усмирении преподобным Зосимою волнения, вечным дьяком составлена была договорная грамота о союзе с Казимиром и вычитана перед народом, который из всей грамоты понял только одно, им же самим сочиненное заключение, что с этой поры Москве уже ни «черной куны» и никакой дани и пошрины не платить и всякого московского человека можно в рыло, по салазкам и под «микитки»... «Микитка» пользовался особенной любовью новгородцев.

— Можно и московским тивунам нониче в зубы, — толковали грамоту худые мужики вечники.

— Знамо — на то она грамота.

С грамотою этою Господин Великий Новгород отправил к Казимиру посольство — Афонасья Афонасьича, бывшего посадника, Дмитрия Борецкого, старшего сына Марфы, и от всех пяти новгородских концов по житому человеку.

Ввиду всех этих обстоятельств худые мужики вечники совсем размечтались. Поводом к этим мужицким мечтаниям служили приехавшие с князем Михайлом Олельковичем хохлы — княжеская дружина, состоявшая из киевлян. Все это был народ красивый, рослый, черноусый, чернобровый и «весь наголо черномаз гораздо». Они были одеты красиво, пестро, в цветное платье, в цветные сапоги: высокие шапки с красными верхами и широчайшие штаны горели как жар. Новгородские бабы были без ума от этих статных гостей, а мужики так совсем перебесились от заманчивых рассказней этих хохлатых молодцов. Приезжие молодцы рассказывали, что в их киевской стороне совсем нет мужиков, а есть только одни «чоловики», и притом все народ вольный, богатый. Все «чоловики» ходят у них так, как вот они, дружинники — нарядно, цветно и «гарно».

На основании этих рассказней худые мужики вечники возмечтали, что и они теперь «за королем Коземиром» будут все такими же молодцами, как эти хохлы, будут ходить в цветном платье, ездить верхом на добрых «комонях» и ничего — «ровно таки ничевошеньки не делать».

— Уж и комонь же у меня будет, братцы! — из ушей дым, из ноздрей полымья...

— А я соби, братцы, шапку справлю — во каку! — со святую Софию...

— Дадим мы в ту пору знать московским холопам, — косясь на богатыря рыбника, процедил сквозь зубы тот щедушный мужичонко «пидблянин», которым на последнем вече так ловко помахивал этот богатырь и на лице которого все еще оставались синяки.

На что богатырь, оскалив свои белые, как у пса зубы, отвечал приговором из известной всему Новгороду песни о Ваське Буслаеве:

А и стой, Васька, не попархивай,
Молодой глуздырь, не полетывай:
Из Волхова воды не выпити,
В Новгороде людей не выбити.
Есть-ста молодцы супротив тебя:
Стоим мы, молодцы, не хвастаем.

Марфа-посадница торжествовала. Ее честолюбивые затейки удались вполне. Торжество ее еще тем было полнее, что ее любимец сынок, красавец Митрюшка, был отправлен к королю Казимиру чуть не во главе посольства...

— Млад-млад вьюнош, а поди-на! — посольство правит, — хвасталась она своей другине закадычной, богатой боярыне Настасье Григоровичевой, с которою они когда-то в девках вместе гуливали, а потом уже и замужем, отай от своих старых, не милых, постылых муженьков, с мил-сердечными дружками вожжались. — Во каков мой сынок, мое чадо милое!

— А все по тоби честь, по матушке, — поясняла ей другиня Настасья, — ты у нас сокол.

— Какой уж сокол! Ворона старая.

— Не говори... Вон на тебя как тот хохлач свои воловьи буркалы пялит.

— Какой хохлач? — вспыхнула Марфа.

— То-то... тихоня... соби на уми...

— Ах, Настенька, что ты! Не вем, что говоришь...

— Ну-ну! Полно-ка... Для кого брови вывела да подсурмилась?

— Что ты, что ты!.. Для кого?

— А князь-то на что?.. Оленькович...

Марфа еще более вспыхнула.

— Стара я уж... бабушка...

— Стара-стара, а молодуху за пояс заткнешь.

Как ни старалась скромничать продувная посадница, однако слова приятельницы, видимо, нравились ей, льстили по-жиравшему ее тщеславию. Это была женщина до крайности честолюбивая, привыкшая помыкать всеми. Перебалованная с детства у своих родителей еще, как холеное «дрочоное дитя», которое не иначе кушало белые крупитчатые калачи, как только тогда, когда мать и нянюшка, души нечаявшие в своей Марфуточке — «глазок во лбу» — уверяли свое «золотое чадушко», что калачик отнят у зайньки серенького, которое пило молочко только от коровушки-золотые рога и спало в своей раззолоченной зыбочке тогда только, когда ее убаюкивал и качал какой-то сказочный котик-серебряны лапки; потом перебалованная в молодости своею красотой, на которую ветер дохнуть не смел, а добрые молодцы новгородские от этой красоты становились «аки испугленные»; перебалованная затем старым мужем посадником, «постылым Исачком», за которого она вышла из тщеславия и который «с рук ее не спускал, словно золот перстень», но которым она помыкала как старою костригою в трепалке; избалованная, наконец, всем Новгородом, льстившим ее красоте, богатству и посадничеству, — Марфа обезумела: Марфе был, что называется, черт не брат... Она не раз принимала у себя великого князя московского и ей захотелось быть такою же как он — государем всея новгородския земли со всеми ее «пятинами», реками и морями.

И она на этот счет забрала себе что-то в свою безумную с «долгим волосом» голову...

— Уж попомни мое слово, что быть тебе княгинею, — настаивала приятельница.

— И точно: княгинею новгородскою и киевскою, — улыбнулась хитрая бабища.

— Почто милая, киевскою?

— А как же?.. Он — хохлач-от — будет киевским князем, а я с ним.

И Марфа задумалась. Лицо ее, все еще красивое, приняло разом мрачное выражение. Она сжала свои пухлые руки и досадливо хрустнула пальцами.

— Что уже и молоть безлепично!.. Я вить уж давно и сорокоуст справляла.

— По ком, Марфушка? — удивилось Настасья.

— По соби, мать моя.

— Как по соби? Я не разумию тебя.

— Да мне давно сорок стукнуло... А сорок лет — бабий век...

- Токмо не про тебя сие сказано.
- Про меня... к пятидесятницы дело подходит...
- Что ты! Опомнись: топерево у нас святки — рождество...

— А у меня скоро пятидесятница...

Приятельницы сидели в известном уже нам, «чудном», по выражению летописца, доме Борецких, что стоял на Побережье, в Неревском конце, и изумлял всех своим великолепием.

Марфа то и дело поглядывала своими черными с большими белками глазами то в зеркало — медный, гладко отполированный круг на ножке, стоявший на угольном ставце, то в окно, из которого открывался вид на Волхов, где с одной стороны новгородцы дрались на кулачки — один конец шел на другой и неревские кончане сворачивали на сторону скулы людинским кончанам и наоборот, а с другой — шли святочные игрища: ребятишки Господина Великого Новгорода катались на коньках, на лыжах и на салазках, изображая из себя то ушкуйников, то дружину Васьки Буслаева, а парни и девки — золотая молодежь новгородская — просто веселилась или, по словам строгого старца Памфила, игумена Елизарьевской пустыни, «чинили идольское служение, скверное возмятие и возбешение, и в бубны и в сопели игранье, и струнное гудение, и всякие неподобные игры сатанинские, плескание руками и ногами плясание, женам же и девам и главами кивание и устнами их неприязнен клич, и все скверные бесовские песни, и хребтом их вихляние, и ногам их скакание и топтание, ту же мужам и отроком великое падение, ту же и на женское и на девичье шатание блудное воззрение, и женам мужатым осквернение и девам растление...».

Такая-то картина представлялась глазам Марфы, когда взор ее из комнаты, где она сидела с своей другиней, переносился на Волхов, ровная, льдистая поверхность коего вся покрыта была цветными массами, словно бы живой сад, полный цветов, вырос и двигался по льду и по белому снегу. Милая, давно знакомая картина, но теперь почему-то хватавшая ее за сердце, заставлявшая вздыхать и хмуриться... Картина эта напоминала ей ее молодость, когда и она могла совершать это «кумирское празднование», греховное, сатанинское, но тем более для сердца сладостное... А теперь уж ни «главою кивание», ни «хребтом вихляние», ни «ногами скакание и топтание» — не к лицу ей, а если что и осталось еще, так разве «очами намизание» — вон как эта Настя говорит,

будто бы она своими красивыми глазами заигрывает с воловьими буркалами этого хохлача князя...

Вон как кончане Плотницкого конца погнали к великому мосту Гончарских кончан... Вон как падают и теряют шапки разбитые гончарцы — и победители и побежденные трут снегом разбитые и окровавленные носы... родные, милые картины!..

— Ах, милая, смотри, как людинцы погнали перевцов.

— Нету, то худые мужики наши бьют московских перетников.

— Болого... так им и надобеть... скоморохи-те, скоморохи, смотри, Марфушка — в каких харах!.. И гусли у них, и бубны, и сопели и свистели разные...

— Вижу, вижу — то знаемые мне гудцы — околоточные гудошники...

— Знаю и я их... Еще нам онома-дни действо творили, как гость ище Терентьище у своей молодой жены недуг палкой выгонял... А недуг-от испугался и без портов в окно выsigнул...

Приятельницы переглянулись и засмеялись — молодость вспомнили...

В это время в комнату вбежал хорошенький черноглазенький мальчик лет пяти-шести. На нем была соболья боярская шапочка с голубым верхом, бархатная шубка — «мятелька», опущенная соболем же, голубые сафьянные сапожки и зеленые рукавички. Розовые щечки его горели от мороза, а черные как смоль волосы, подрезанные скобой на лбу, выбивались из-под шапочки и кудряшками вились у розовых ушей и на затылке. За собою мальчик таскал раззолоченные сусальным золотом салазки с резным на передке коньком.

— Баба, баба, пусти меня на Волхов, — бросился мальчик к Марфе.

— Что ты, дурачок?.. Почто на Волхов? — ласково улыбнулась посадница, надвигая ребенку шапку плотнее на курчавую головку. — А, дурашка, почто?

— С ребятками катацца — на саночках... Пусти, баба.

— Со смердьими-ту дитьми? Ни-ни!

— Нету, баба, не со смердьими — с боярскими... Вася посаднич... Гавря тысяцков... пусти!

— Добро — иди, да токмо с челядью...

— С челядью, баба.

— И смердят к соби ни-ни... ни на сто шагов.

Мальчик убежал, стуча по полу салазками.

— Весь в тебя — огонь малец, — улыбнулась гостья.

— В отца... в Митю... блажной.

Скоро приятельницы увидели в окно, как этот «блажной» внучек Марфы уже летел на своих раззолоченных салазках вдоль берега Волхова. Три дюжих парня, словно тройка коней, держась за веревки, бежали вскачь и звенели бубенчиками, наподобие пристяжных, откидывая головы направо и налево, а парень в корню даже ржал по лошадиному. Маленький боярчонок вошел в роль кучера и усердно хлестал по спинам своих коней шелковым кнутиком. За ним поспешали с своими салазками Вася-посаднич да Гавря тысяцков.

— А вон и сам легок на помине.

— Кто, Настенька? — встрепенулась Марфа, глядя в окно.

— Да твой-то...

— Что ты, Настенька... кто?

— Хохлач-то чумазый...

— А-ах, уж и мой!

Действительно, в это время мимо окон, где сидела Марфа с своею гостьею, проезжал на статном вороном коне князь Михайло Оленькович. Он был необыкновенно картинен в своем литовском, скорее киевском одеянии: зеленый зипун с позументами на груди, верхний опашень с откидными рукавами, с красной подбойкой и с красным откидным воротом, на голове — серая барашковая шапка с красным колпаком наверху, сдвинутая набекрень. За ним ехали два вершника в таких же почти одеждах, но попроще, зато в широчайших желтых, как цветущий подсолнух, штанах.

Проезжая мимо дома Борецких, князь глядел на окна этого дома и, увидав в одном из них женские лица, снял шапку и поклонился. Поклонились и ему в окне.

— Ишь буркалищи запуцает! Ух!

— Это на тебя, Настенька, — отшутилась Марфа.

— Сказывай! На меня, курносату репу, и смолоду мало засматривались.

— А Степанко?

— Степанко мужем стал моим ради батушковых животов — на них позарился, не на меня, курносату репу.

Белобрысая и конопатая приятельница Марфы была действительно неказиста, но зато богата: всякий раз как московский великий князь Иван Васильевич навещал свою отчину, Великий Новгород, он непременно гащивал либо у Марфы Борецкой, либо у Настасьи Григоровичевой, у «курносой репы».

— А скажи мне на милость, Марфушка, — обратилась Настасья к своей приятельнице, когда статная фигура Олень-

ковича скрылась из глаз, — я вот никоим способом в толк не возьму — за коим дедом мы с Литвой плутаться на вече постановили, с оным королем, с Коземиром? Вопросила я о том муженька своего, Степанка, как он от нашего конца в посольство с твоим Митей к Коземиру послан был, так одна от него отповедь: ты, говорит, баба дура... Я сама знаю, что я дура, а все бы для чего не сказать? Так ни-ту-ти — одно заладил: «баба-деи дура — знай сверчок» да либо «знай-деи кривое веретено...». Ну я и не возьму в домок.

Марфа добродушно улыбнулась простоте своей приятельницы, которая действительно не отличалась умом, а была только добруха.

— Да как тебе сказать, Настенька, — загорела она подумав, — московское-то чадушко, Иванушко-князь, недоброе на нас, на волю новгородскую, умыслил — охолопить нас в уме имеет. Так мы от него, аки голубица от коршуна, к королю под крыло хоронимся, токмо воли своей ему не продаем и себя в грамоте выгораживаем: ни медов ему не варим, как московским князьям дозде варивали, ни даров ему не даем, ни мыта княженецкого, а токмо-деи послам и гостям нашим путь чист по литовской земле, литовским путь чист по новгородской.

— А как же, милая, о латинстве люди сказывают?

— То они сказывают безлепично, своею дуростью.

— А про черный бор сказывали?

— Что ж черный бор! Бор-ту единожды соберем, как и всегда так поводилось, а черную куну будут платить королю токмо порубежные волости — ржевски да великолуцки.

— Так... А хохлач-ту почто сидит на Ярославове дворщи?

— Он князь наместник и суд токмо судит на владычные двор заодно с посадником, а в суды тысяцково и владычни и монастырский ему не вступать.

— Так-так... Спасибо... Вот и я знаю топериво... А то на: дура да дура!

В это время на улице, под самыми окнами, показались скоморохи. Их было человек семь. Некоторые из них были в «харях» — в масках, и выделывали разные характерные телодвижения, неистово играя и дудя на сопелях, дудах и свистелях.

В то же время в комнату, но уже без салазок, влетел вихрем счастливый и раскрасневшийся внучек Марфы, да так и повис на ее подоле.

— Баба, баба! Пусти в хоромы гостыице Терентьице! — просил он, умоляюще глядя на бабку.

— Полно, дурачок...

— Пусти, пусти, баба!

— И то пусти, Марфушка, — присоединилась с своей просьбой и гостыя, — я так люблю скоморохов — таково хорошо они действия показывают... Пусти, золотая моя!

— Баба, бабуся, пусти!

— Ну ино пусть войдут, — согласилась Марфа.

Юный внучек стрелой вылетел из хором, радостно восклицая: «Иди, гостыице Терентьице, иди в хоромы, баба велела...»

Скоморохи не заставили себя ждать. Маленький Исачко — так звали резвого внука Марфы-посадницы в честь деда, Исаака Борецкого, — влетел в палату, а за ним с поклонами, кривляньями и разными мимическими ужимками вошли скоморохи. Один из них, с длинною мочальною бородой, изображал старика немножко подслеповатого и тупого на ухо: это был легендарный гость Терентьице, у которого на поясе висела большая калита. Рядом с ним жеманно выступал молодой краснощекий парень, одетый бабою. Баба была набелена и насурьмлена, неистово закатывала глаза под лоб, показывая, что она «очами намизает» — кокетничает, глазками стреляет. Этот ломающийся малый изображал молодую жену гостя Терентьица — полнотелую Авдотью Ивановну.

При виде этой пары добродушная и простоватая приятельница Марфы, курносая Настасья, так и покатилась со смеху, хватаясь пухлыми руками за свой почтенных размеров живот.

— Ох, умру со смеху! — качалась она всем телом.

Юный Исачко также заливался звонким детским смехом. Смеялась и Марфа, но сдержанно.

Другие скоморохи также старались поддержать свою репутацию — репутацию людей веселых и вежливых, «скоморохов очестливых» — и тоже кривлялись с достаточным усердием. Говорили они большею частью прибаутками и притчами, так чтобы выходило и «ладно и складно и ушам не зазорно».

— Жил был в Новгороде, в красной слободе Юрьевской, честной гость Терентьице, — тараторил один краснобай, подмигивая льняной бороде, — муж богатой, ума палата...

Льняная борода охорашивалась и кланялась: «Прошу любить и жаловать, вдова честная...».

— И была у него жена молодая, приветливая, шея лебе-
диная, брови соболиные...

Молодая Авдотья Ивановна жеманно кланялась —
«хребтом вихляла, очами намизала», аркучи тако: «И меня
младу прошу в милости держать...»

Потом Авдотья Ивановна стала охать, хвататься за сер-
дце за голову...

— Что с тобой, моя женушка милая? — участливо спра-
шивал старый муж.

— Ох, мой муженек Терентьище! Неможется мне, не-
здоровится...

Расходился недуг в голове,
Разыгрался утин в хребте,
Подступил недуг к сердечушку...

— Ах, моя милая! Чем мне помочь тебе?

— Ох-ох! Зови волхвов ко мне, зови кудесницу...

Старый муж заметался и вместе с некоторыми из скоморо-
хов вошел в сени, а оставшийся с Авдотьей Ивановной
молодой «прелестник», которого молодая Терентьиха прини-
мала тихонько от мужа, стал весьма откровенно «изгонять из
нее недуг» — обнимать и миловать...

Настасья Григоровичева и юный Исачко залились весе-
лым смехом, глядя на кривляния скоморохов...

Вдруг в сенях послышались голоса... «Калики перехожие
идут — калики!...».

«Прелестник», якобы испугавшись этих голосов, заме-
тался и спрятался под лавку, покрытую ковром. В палату
вошли те же скоморохи, но в виде калик перехожих. Один
из них, самый дюжий, тащил на спине огромный мешок,
в котором что-то шевелилось, и положил мешок на пол
у порога.

— Здравствуй, матушка Авдотья Ивановна! — кланя-
лись калики.

— Здравия желаю вам, калики перехожие! — отвечала
Терентьиха. — А не встречали ли вы моего муженька, гостя
Терентьища?

— Сустрели, матушка: приказал он тебе долго жить...
Лежит он в поле мертвый, а вороны клюют его тело белое.

Запрыгала и забила в ладоши от радости Терентьиха.

— Ах, спасибо вам, калики перехожие, за добрую вест-
точку!.. Сыграйте-ко про моего мужа старого, постылого вест-
селую песенку, а я млада на радостях скакать-плясать буду...

Заиграли и задудели скоморохи. Пошла Терентьиха вы-
плясывать, приговаривая:

Умер, умер, Терентьище!
Околел постылый муж!..

Вдруг из мешка выскакивает сам Терентьище с дубиной и бросается на жену. Жена взвизгивает и падает на пол. Терентьище бросается на ее «прелестника», которого ноги торчали из-под лавки...

«А, вот где твой недуг! Вон куда утин забрался!..». И пошла писать дубинка по спине «недуга»... «Недуг» выскакивает из под лавки и бежит вон — Терентьище за ним... Кругом хохот... Маленький Исачко хлопает от радости в ладоши...

Вдруг в дверях показывается — и кто же? — сам князь Михайло Олелькович.

Марфа так и побагровела от неожиданности и стыда... «Ах, сором какой! Ах, сором!..».

VI. ДУРНЫЕ ВЕСТИ

Наступила весна. Новгород, вместе с своими монастырями и посадами раскинувшийся на десятки верст в окружности, казалось, тонул в зелени.

Утро. Солнце, диск которого еще не выкатывался из-за горизонта, золотило, однако, своими лучами кресты некоторых новгородских церквей и колокольни монастырей Юрьева, Антоньева и блестевшие густою позолотою маковки церквей Хутынского и Перыня.

Над гладкою поверхностью Волхова кое-где клубился еще утренний туман.

Слышен был медленный, протяжный благовест: прозвучит где-либо один колокол, ему ответит, не спеша, другой, в другом месте; то прозвучит скромный колоколец где-нибудь на Торговой стороне, а на зов его откликнется зычный медный голос с Софийской, то донесется по Волхову далекий благовест с Хутыни, а как бы в привет ему отзовутся медною, протяжною мелодиею с Перыня, словно бы это подавало свой голос пробуждавшееся от сна Ильмень-озеро.

По Волхову в это раннее утро, вверх к Ильменю, плыла большая раскрашенная яркими красками лодка — «насад», на носу и на корме которой красовались резные фигуры, изображавшие — одна какую-то невиданную птицу, должно быть, птицу-сирин, «глас коей вельми силен», другая — нечто вроде «трясавицы», «девки простоволосой» с рыбьим хвостом. Хотя насад был построен новгородскими плотниками, но, видимо,

в работе своей они позаимствовали у немецких мастеров некоторые заморские хитрости.

Насад шел на веслах. Гребцы, которых было по двенадцати человек на каждую сторону, работали исправно, мерно качаясь в своих красных рубахах и глубоко забирая воду длинными крашеными веслами, напоминавшими распущенные крылья огромной птицы.

На насаде, на обитых малиновым сукном лавках, сидело несколько женщин и мужчин, одетых в богатое боярское платье. В самой середине, как бы на почетном месте, сидела женщина вся в черном, с лицом, до половины закрытым чем-то вроде фаты или легкого головного покрывала. Она сидела, глубоко, по-видимому, задумавшись, и не обращала, казалось, внимания на припавшую к ее коленям курчавую головку мальчика.

— Марфа! Марфа! Марфа! — раздался вдруг в воздухе какой-то глухой, странный, точно картавый голос.

Женщина в черном вздрогнула и перекрестилась. Мальчик быстро приподнял от ее колен свою курчавую головку, вскочил на ноги и взглянул вверх, откуда раздался странный возглас.

— Гавря! Гавря! — закричал он радостно.

Высоко в воздухе, над насадом, кружилась большая черная птица. Все головы — и головы гребцов, и других, сидевших на насаде, поднялись вверх и глядели на кружившуюся в воздухе птицу.

— Ах, окаянный, как смутил меня! — проговорила женщина в черном.

— Гавря! Гавря! Гаврюша! — снова закричал мальчик.

— Новгород! Новгород! — глухо прокаркала в ответ птица.

— Это к добру, матушка: он славит тебя и весь Новгород Великий, — заметил молодой мужчина, сидевший недалеко от женщины в черном.

— Так зря каркает...

— Не зря... Это птица вещая.

— Варлам! Варлам! — опять прокаркала странная птица.

— Слышишь, матушка, кого она поминает?

— Слышу... преподобного Варлаама хутынського.

— А мы у него и не были еще, не кланялись угоднику.

— Завтра надоть и к ему-свету побывать со вкладом же.

— Точно, надоть: он заступа и крепость Великого Новгорода.

— Гавря! Гаврюша! Летай к нам! Я калачика дам!

— Корнил! Корнил! Корнил звонарь! — продолжала выговаривать удивительная птица.

— Ишь! И Корнилку звонаря вечного славит.

— Корнил! Корнил! Корнил!

Удивительная птица покружилась над насадом и, продолжая глухо выкаркивать «Корнил, Корнил», полетела назад, в Новгород.

Удивительная эта птица была — ворон, которого еще в детстве своем выкормил и научил говорить маленький Корнилко, ныне кривой Корнил, вечевой звонарь, и назвал его Гаврилкою. Вороненок вывелся на вечевой колокольне, на перекладинах, на которых висел вечевой колокол. Там испокон веку было воронье гнездо, и в нем-то вывелся ворон Гаврилка, которого воспитал и приручил Корнилко, сын вечевого звонаря и ныне сам звонарь. Ворон этот никогда не оставлял своей колокольни и своего гнезда, где он успел вывести целые десятки молодых крылатых поколений, которые и улетали в соседние роцци, заводили свои гнезда по другим новгородским церквям и монастырям, селились на так называемых «кострах» или воротных башнях города, на старых башнях детинца и на иных любимых этою птицею высотах; а Гаврилко все оставался верен своей вечевой колокольне.

Ворона этого знал весь Новгород и относился к нему с суеверным уважением. Его считали вещею птицею, тем сказочным вороном, который знал, где доставать живую и мертвую воду. О нем ходило в Новгороде несколько сказаний, и все верили, что он оберегает Новгород и его вечевой колокол. Когда он каркал в неурочный час, то это непременно было или к добру, либо к худу — и всегда его карканье сбывалось. Так он каркал перед смертью последнего владыки, каркал и перед смертью посадника Исаака Борецкого, мужа Марфина. Иногда своим карканьем он останавливал бурные вечевые волнения и даже усобицы и «розрятья». Новгородцы верили, что ворон этот — птица бессмертная, как бессмертна, вечна новгородская воля и вечевые порядки Господина Великого Новгорода.

Но более всех любил своего крылатого Гаврилку его воспитатель и учитель — вечевой звонарь, кривой Корнил. Эту страстную, родительскую и в то же время суеверную любовь свою он делил почти поровну между вороном и вечевым колоколом. Только к ворону он относился более покровительственно и фамильярно, называл его иногда «вором Гаврилкою» или просто Гаврею, Гаврюшею, шутил с ним, разговаривал как с существом разумным, стыдил его, когда в борьбе с коршуном

или ястребом, высматривавшим цыплят на владычном дворе, его задорный любимец не всегда оставался победителем. Но вечевой колокол он оживотворял и почти боготворил. Каждое утро, чуть свет, он взбирался на колокольню, молился оттуда на восток, потом кланялся на все четыре стороны, говоря: «Здоров буди, Господине Великий Новгород — с добрым утром», а потом обращался с приветом и к колоколу: «Здравствуй, колоколушко! С добрым утром, колоколец родимый! Каково почивал есте?» Здоровался он и с вороном, если тот был налицо, но чаще случалось, что ворон спозаранку улетал за добычей, и когда возвращался на свою колокольню, то звонарь встречал его словами: «Что, Гаврилко, набил зобок, очищаешь носок?.. Ранняя птичка клевок очищает, а поздняя глаза протирает... Так-ту, вор Гаврюшенька».

Насад продолжал плыть по направлению к Ильмену. Солнце уже выкатилось из-за горизонта и брызнуло золотыми снопами на зеленые леса, на Новгород, отходивший все далее и далее, на ровную, струйчатую поверхность Волхова. Марфа-посадница — это была она «женщина в черном», снова погрузилась в задумчивость.

— Кому бы тут быть так рано? — снова заговорил младший сын Марфы.

— Что, сынок? — встрепенулась последняя.

— Да вон чоловик невидимой берегом идет...

— Вижу, и не худой мужик — из житых людей кто-то.

— Точно... и рыж волосом... кто бы это?

— Упадышева походка...

— Да Упадышев и есть...

— Чего он тут ищет ранним временем?

Левым берегом Волхова действительно шел какой-то человек. Лица его не было вино, но рыжие волосы и профиль красной бороды горели на солнце. По-видимому, он шел то-ропливо.

Вдруг он исчез, словно сквозь землю провалился.

— Господи!.. свят... свят!.. Где он пропал, матушка?

— Точно, сгинул... И не взвидела, как исчез из очей... уму недостижимо.

— Не бес ли то был в образе Упадыша? Волосом красен — рудожелт.

И Марфа, и сын ее перекрестились. Маленький внучек Исаченко с испугом припал к коленям бабки. Другие женщины, бывшие в насаде, тоже испуганно крестились. Исачко лепетал:

— Я боюсь беса, баба... боюсь... боюсь... он с рогами и с хвостом... в церкви видел...

— Полно, Исачко, полно, дурачок, с нами крест святой.

Вдруг, по-видимому, от того места берега, где исчез таинственный рыжий человек или «бес во образе Упадыша», донеслось до насада тихое мелодичное пение. В тихом утреннем воздухе, когда ни лист на деревьях по берегам Волхова, казалось, совсем не шевелился и как бы к чему-то прислушивался, ни прибрежная осока и камыш не шептались между собою и только слышалось тихое, равномерное полоскание гребецких весел в воде да переливчатое журчание Волхова у крутых боков насада, — пение это сдавалось до того мягким и чарующим, что все сидевшие в насаде в изумлении прислушивались к нему, как к чему-то таинственному, может быть, тоже бесовскому, а маленький Исаченко раскрыв свои большие, светящиеся недоумением глаза, так и застыл в немом ожидании чего-то неведомого, чудесного...

— Господи Исусе! Не бесовское ли мечтание сие?

— А чи не он ли то — рудожелтый?

— Ах, сестрицы мои! чтой-то!..

— Нету, братцы, то, знать, русалка манит коего чоловика, — слышалось между гребцами.

— И то она, русалка простоволоса...

— Мели гораздо! Но ли топереве ночь?

— Не ночь, ино утро, чаю.

— Тото, чаешь! А русалка только ночью косу-то чеше да добрых молодцов заманивает.

— Чу-чу! Слова слышать... слышь-ко...

Действительно, слышались слова, произносимые женским голосом:

Калина — малина моя

Кудреватая!

Почто ты, калина, не так-такова,

Как весеннею ночью была...

— И точно, песня не русалья...

— Мели русалья! Наша — хрестьянска песня.

— Новугородская, право слово... Кто ж бы то был?

— А може, то не русалка, ино полуденница поет — водяная ци лешая девка.

— А то бывает и морская девка, что вон у нас на корме — с рыбьим плесом...

— Ахти, диво дивное!

Но скоро, при дальнейшем движении насада, из-за берегового уступа показалась и сама таинственная певунья — не то русалка, не то морская девка...

— Ах ты, Перун ее убей! Вон она...

— И точно, сидит, вся в травах...

На береговом склоне, на выступающем из земли камне, вся обложенная травами и полевыми цветами, сидела молодая девушка и, по-видимому, вся поглощенная рассматриванием набранных ею цветов и зелени, задумчиво пела. Белокурые как лен волосы ее, заплетенные в толстую косу и освещаемые косыми лучами утреннего солнца, казалось, окружены были каким-то сиянием. Одежда ее состояла из белой, расшитой красными узорами сорочки и пояса, перевитого зелеными листьями. Из-под короткого подола виднелись босые ноги и голые икры. При всей бедности и первобытной девственности этого наряда, тонкие, красивые черты и красиво вскинутые над ясными глазами темные брови этой таинственной дикарки невольно приковывали к себе внимание.

Увидав приближающийся насад, она встала с камня и рассыпала лежавшие у нее на коленях цветы и травы. Недопетая песня замерла у нее на губах.

— Да это, братцы, очавница...

— Яковая очавница?

— Да чаровница, что по лугам и по болотам, и в пустынях, и в дубравах дивье коренье копает да отравное зелье собирает на пагубу человекам и скотам.

— Что ты! Но ли и эта чаровница?

— Чаровница, вестно.

— Такова молода да образом красна!

— Да это, господа, кудесница — кудесница внучка... Тутай недалече и берлога старой ведуньи...

Марфа-посадница не спускала глаз с этой таинственной девушки, появившейся в таком пустынном месте и в такое раннее время. При последних словах одного из гребцов она вздрогнула и побледнела.

В одно мгновение перед нею встал, как живой, образ ее тайного, покинувшего ее беса-преступника... Такие же льняные курчавые волосы, такие же темные, красивые брови, гордо вскинутые над ясными очами...

«Его волосы... его брови... Так вот она... окаянное отродье...»

Точно ножом резнуло ее по сердцу... Ей разом вспомнилось далекое детство — далекий, облитый солнечными лучами Киев, дымчатые горы, покрытые кудрявою зеленью, тихо катящий свои воды и сверкающий на солнце Днепр, Аскольдова могила, васильки и барвинки... И эти льняные волосы новгородского боярина...

А потом эта холодная, суровая сторона — этот Новгород под хмурым небом, холодный Волхов, несущий свои холодные воды не на полдень, не в теплые края, а на полночь, в сторону чуди белоглазой...

Она — жена другого, богатого, но не того льняноволосяго боярина... Она — посадница — словно глазок во лбу у Господина Великого Новгорода... А непокорливая память все не может забыть Киева... и его, беса, не забыть ей...

Насад миновал таинственную девушку, которая продолжала стоять на берегу и провожать глазами удалявшуюся ладью...

— Она на нас чары по ветру пускает, господа.

— Чур-чур! Ветер их не доноси, земля не допусти...

Марфа невольно оглянулась назад... «Окаянное, окаянное отродье!.. Его постать, его волосы».

— Это, баба, русалка?.. очавница? Чаровница? — приставал Исачко.

— Молчи, невеголос! Ступай к маме...

— А для чего Упадешь тут? Да он ли то был? Не дьявол ли навещает кудесницу?..

Чайки все чаще и чаще кружились над водой, оглашая утренний воздух криками. Впереди синела и искрилась широкая, словно море, полоса воды. Это Ильмень-озеро, которое поит своею водой Волхов, а Волхов — Новгород Великий...

«Из Волхова воды не вычерпать — из сердца туги не выгнать...».

Вот и Перынь монастырь — почти у самого Ильмень-озера... Вон то место, где волокни когда-то с холма Перуна — вон там его столкнули в воду.

«Выдыбай, боже! Выдыбай, Перуне!.. Как-то, ты, Господине Великий Новгород, выдыбаешь... Выдыбай, выдыбай!.. От князя Михайлы все нету вестей... Эх, Оленьковичу, Оленьковичу!.. Вот уже третий месяц, как уехал в свой стольный Киев-град, а про Марфу и забыл... Забвенна буди девица твоя!..»

В беспокойной голове ее роились невеселые думы. Заварила она, ох! — круто заварила московскую кашу, а кому-то расхлебывать придется?..

Казимир обещал помочь, да не шлет... Об Оленьковиче ни слуху ни духу: серым волком бежал из Новгорода, как услышал о смерти киевского князя, своего брата Симеона...

«Сяду-де на стол киевский, на стол Володимеров и Ярославов, и тебя-деи, Марфу голубку, посажу рядом с собою... Жди Марфа! Дождешься венца киевского... а може венчика похоронного...»

Она гордо подняла голову... Ей уже рисовался княжеский венец на ее черноволосяй голове... А седина под золотом?.. «Ни-ни... венец подмолодит и мою буйную головушку... На зло же тебе, бесу-прелестнику, за ту льняную девью косу, что там на брезе Волхова красуется твоя... она... а ты сам где...»

— Мама, мама! Сколько воды там!.. Все вода, все вода!.. Какой большой Волхов!

— Это, сыночек, Ильмень-озеро.

— Ильмень-озеро... их какое! А какая вон, мама, церква?

— То, дитятко, Перынь монастырь.

«Далеко, далеко Ивану московскому до Новгорода Великого, не досягнути — руки коротки... Далеко кулику... Ковшом моря не вычерпаешь — Москвою Новагорода не изымаешь... А я сяду на золотой стол киевской и закричу гласом лебединым: горю! горю! — лови меня, Иване, княже московский...».

— Чаровнице-ту и цвет папоротника в руки даетца...

— А единова худой мужик венчик искал ночью под Иванов день коня, конь сбежал у него, а цвет папоротника и запади ему в лапоть... И видит он под землю клады великие — золото и серебро...

— Суши весла! — раздался вдруг повелительный голос кормчего, которым был сам Димитрий, старший сын Марфы, недавно возвратившийся из посольства, от короля Казимира.

Гребцы разом взмахнули веслами — и насад, силою прежнего хода, ровно и тихо подошел к берегу.

— Выноси на берег поминки! — крикнул рулевой. — Да с острогою.

Кинули на берег сходцы. Марфа, держа за руку внука и сама поддерживаемая Федором, сошла с насада на землю и перекрестилась. За нею сошли другие члены ее семейства и некоторые из челяди — «старая чадь». Остальная челядь и гребцы стали выносить из насада на берег монастырские «поминки» — богатый вклад монастырю, привезенный Марфою.

Вынесли на берег, вернее — выкатили бочку полную романи на утешение братии, бочонок вина «алкану», бочонок «бастру красного», а там потащили «сахары головные», «цвета мушкатные», «гвоздики ряженные», «ягоды изюмные», «кардамон», «ядра миндальные», пшено сорочинское для кутежей поминальных — всего навезла благочестивая вдовица Марфа братии монастырской, чтобы братия молилась о ее здравии и спасении и «о во всем благом поспешении...» А об этом обо всем никто не знал не ведал — знала только ее грудь да

подоплека, да постель немая, да еще знал и ведал обо всем этом ее друг сердечный, милый ладо, князь Михайлушко Оленькович...

«А об ладане-то росном да про воск на свечи я и забыла, — спохватилась Марфа, да было уже поздно, — ах, я грешная... Затмил мои помыслы окаянный...»

И снова в тревожной памяти промелькнул каменистый берег Волхова, а на берегу — эта таинственная девушка с травами и цветами в руках и с отсвечивающею на солнце льняною косою...

«Так это она!.. Вон кому он дал свои волосы, свои брови, свои очи змеинные... Добро, Иванушко, добро, бес прелестник... А я еще тебя ради Киев покинула... добро! — на том свете сосчитаемся — кто-то здесь останется...

— Оповестуйте братии, что Марфа посадница пожаловала... А се что за насад?.. откуда?»

От Ильменя, быстро, на двенадцати веслах, словно птица, неся к монастырю новый насад, меньше того, на котором приехала Марфа. Он поравнялся с насадом последней. Гребцы на нем работали с такою порывистостью и напряженностью, что и лица их, и волосы, и рубахи были мокры от поту.

— Чей насад и куда путь держите, люди добрые? — окликнули с берега.

— Из Русы — в Великий Новгород, — отозвались с насада. — А это чей насад?»

— Марфин... посадничей... Борецкой.

— И сама Марфа тутай?»

— Я — Марфа, — был ответ.

— Правь к берегу! Живой рукой!

Сделав на всем бегу полуоборот, бежавший с Ильменя насад быстро пристал к берегу. Из насада вышел молодой боярин с русой бородкой и с серьезными задумчивыми глазами.

— А, князь Василий! Слыхом не слыхать, видом не видать...

Тот, кого называли князем Василием, поклонился.

— Матушке Марфе много лет здравствовать!

— Спасибо, княже... Каково ради промысла с великим поспешением гонишь в Новгород?»

— Воинского ради чину — с вестями... Москва на нас идет...

Марфа отступила назад. Глаза ее сверкнули. Краска заметно отливала от щек.

— Москва... так наглостно... без разменных грамот?..

— Воистину, госпоже, нагlostно...

— А кто воеводы и куда ради идут?

— Воевода Василий Федоров сын Образец да Матвеев сын Тютчев Борис с первым полком погнажи на Двину, а другой полк с князь Данилою князь Дмитриевым Холмским прямит на Русу да на Великий Новгород...

— На Новгород!.. Не быть сему!

— Да третий, госпоже, полк с князь Василием князь Ивановым Оболенским-Стригою да с подручником московским с царевичем татарским Даньяром да с касимовским царем с Дамианом Касимовичем.

— Святая Софья! Премудрость Божия! Заступи град твой — вотчину твою...

Словно зимним холодом обдало и тело ее и душу... А готов ли Новгород? Где его рати? Где рати короля Козимира? Где этот большеский князь — этот Оленькович? Кто отстоит святую Софью и честь великого города?..

А тут это проклятое видение на берегу — эта льняная коса, эти змеинные очи и этот хватающий за душу голос песни:

Почто ты, калина, не так-такова,
Как весеннею ночью была?..

А разве она сама, Марфа, такова, как тою — о! дивно прошедшею и вечно памятною весеннею ночью была?.. Не воротиться этим ночкам весенним... А устоять ли Новгороду?..

— Баба, баба, смотри, какую Мартын большую рыбу поймал!

VII. «НАЧАЛА МОСКВА!»

Марфа недолго оставалась в монастыре после привезенных князем Василием Шуйским-Гребенкою тревожных известий. Она отслушала там только обедню, приложилась к иконам и, простившись с братиею, тотчас же отплыла обратно в Новгород, куда раньше ее должен был прибыть вестник войны, князь Шуйский-Гребенка. Она отложила поездку свою и в Хутынский, и в другие монастыри, куда собиралась тоже на богомолье. Дела призывали ее в Новгород.

Всю дорогу она почти молчала, рассчитывая в уме своем возможные последствия роковым образом сложившихся обстоятельств, и — она не могла скрыть этого — сложившихся так главным образом по ее вине, в силу ее тайных замыслов...

Сознание это не могло не грызть ее честолюбивую душу... Венца киевского захотелось бабе да молодого красивого мужа — вот что шептала ей совесть. Но она гнала от себя эту непрошеную гостью... Не венца бабе захотелось, не мужа, а на волю новгородскую пускай никто не наступает...

«Положи московскому Иванушке Новгород мизинец в рот — он и голову проглотит, и святую Софию, и вечной колокол с Корнилом звонарем и Гаврею вороном...».

Она, казалось, не замечала, как быстро несли ее насад вниз по течению Волхова, как мелькали красивые берега реки и уходили назад синие рощи.

Только у старых каменоломен, недалеко уже от Новгорода, она неожиданно выведена была из своего раздумчивого состояния. На правом берегу, отчетливо вырисовываясь на глубоком фоне горизонта, опираясь на клюку, стояла какая-то старуха. Пасмы ее седых волос выбивались из-под повязанного платком старого головника с рогами и трепались по ветру. У ног ее сидела та же, уже виденная ей, льняноволосяя девушка, окруженная травами и цветами.

— Гляди! Гляди на нее! — хрипло, но громко сказала старуха, обращаясь к девушке и показывая на насад, который в эту минуту как раз поравнялся с ними. — Это она — Марфа-посадница!

Удивленная девушка вскочила на ноги.

— Бабушка! Я знаю ее...

— Не знаешь... Это змея подколодная... Одна я ее знаю...

И старуха, подняв клюку, погрозила насаду.

— Помни меня, Марфа! — резко прокричала она. — Помни кудесницу!.. А ее, — она указала на девушку, — вспомнешь в ину пору!

Марфа сидела бледная, безмолвная. Испуганные гребцы еще сильнее налегли на весла, и страшная старуха скоро скрылась из их глаз.

В Новгороде между тем уже заговорил вечевой колокол и разносил еще неизвестную, но тревожную весть по всем улицам новгородским и по ближайшим монастырям с посадами. Корнил-звонарь усердно работал железным языком, с любовью прислушиваясь к трепетным и вопящим крикам своего любимца, а испуганный ворон делал большие круги над колокольнею, поднимаясь все выше и выше к глубокому, безоблачному небу.

Вечевой колокол не умолкал несколько дней. Новгородцы готовились встретить страшного врага, и потому каждый день

шумело вече: то сгоняли к ратному делу гончаров, рыбников, плотников, лодочников, то унимали худых мужиков вечников, которые с дубьем, вилами и косами порывались идти сами не зная куда и бить не ведая кого и горланили — «разнесем-ста таких ряспроздаких», и так далее, и тем крепче и все трех- и четырехъярусными словами, то метали с мосту «супротивников» и «переветников», то всем Новгородом валялись ничком и слезно голосили перед Знаменской Богородицей, прося ее заступы, то ставили свечи, чуть ли не в оглоблю величиной, у гробов прежних владык, охранявших своими молитвами Новгородскую волю... Новгород стонал голосами, бабы выли, а им вторя, заливались новгородские собаки.

Все казалось зловещим и необыкновенным... Новгородское небо, всегда дождливое, теперь в течение всей весны не посылало ни одной тучки с дождем на новгородскую землю. Новгородские болота, по которым ни татары, ни московские люди не могли, бывало, с своими ратями добраться до Новгорода, теперь попересыхали. По ночам сами собой звонили колокола, выли собаки и каркали вороны. Из сухой старой доски, на которой написана была Знаменская Богородица, из глаз Богоматери текли слезы, и знаменский пономарь Акила, приятель Упадыша, сказывал, что слез этих накапало целую дароносицу. Бабы в Неревском конце слышали, как ночью что-то летело по аеру над Людиным концом и плакало. Другою ночью некий человек, проходя с Торговой стороны на Софийскую по мосту, видел дивное видение — «два месяца на небеси, зело страшны, хвостаты, и ударилися те месяцы вместе, и один у другого хвост отшиб, и тот месяц отшибеной хвост приволок к себе, и знати стало на месяце том как перепояска...».

— И то знамение к тому явися, — толковал на вечевој площади Упадыш, — что Москва у Новгорода хвост отшибет.

— Брешешь, рудой пес! — возражал тщедушный мужичонко «пидблянин», уже оправившийся от потасовок богатыря рыбника. — Мы у поганой Москвы отшибем хвост и подшибем у нее рога.

— А я, братцы, зрел таковое знамение, — ораторствовал один рядской говорун, — на новцы явишася два месяцы рогагы, рогами против себе, один повыше, а другой пониже, и сшиблись рогами — страх!

— Ну и что ж — кто ково зашиб?

— Не вем, братцы, не дозрел конца: оболочко на месяцы набежало.

— Эка малость! Маленько бы подождать...

— А я вам скажу, господо, таково диво, — ввернул свое слово озорник Емеля Сизой, — я видел в Волхове, как карась щуку сглотнул...

— Ври, ври пуще! — засмеялись слушатели.

Все время, пока собирались новгородские рати, Упадыш то и дело шептался с московскими сторонниками и часто пропадал из города. Нередко видели, как он пробирался к старым каменоломням, а иногда замечали, что к нему по ночам приходила какая-то женщина, но всякий, кто видел ее, тотчас убегал, боясь, что это какая-нибудь «огавница», и что она может по ветру напустить лихую немочь, а то и самого беса...

Наконец рати собраны как собственно по Новгороду, так и по ближайшим пригородам, и все стянуты к сборному месту. Все новгородское войско разделилось на два полка — на конный и пеший. Первый должен был обогнуть вдоль западного берега Ильменя и явиться у Коростыня. Пеший же полк должен был сесть на суда и плыть к Коростыню Волховом, а потом Ильменем.

Весь Новгород вышел провожать своих воинов. Владыка и все новгородское духовенство вышло с хоругвями и иконами. Ратники были окроплены святою водою. Проводы сопровождались плачем детей и причитаниями жен и матерей.

Старший сын Марфы-посадницы, в качестве одного из воевод пешего полка, сопутствуемый своими подручниками — Арзубьевым, Селезевым-Губою и Сухощеком — блистал, словно новая риза на иконе, своими латами, кольчугою и дорогим шлемом с золоченым «еловцом» наверху. Бледное, матовое лицо его, окаймленное шлемом и чешуею, казалось очень юным, но восторженным.

Мать плакала, благословляя и целуя его. Слезы гордой, честолюбивой женщины, припавшей к груди сына, падали одна за другою на блестящие латы оковывавшие молодую грудь ее любимца, и скатывались на землю, как крупные жемчужины...

Давно ли, казалось, она держала его, маленького у себя на коленях, а он играл ее дорогим ожерельем?

— Не плачь, матушка, не скорби, — утешал ее сын.

— Ох, сыночек, прискорбна душа моя...

— Не кропи слезами моих лат, родная, — потускнеют.

— Ох, сама ведаю, дитяtko: горьки слезы матерни... что ржа проедят они латы твои...

— Марфа! Марфа! — прокаркал ворон, кружась над церковными хоругвями.

Марфа вздрогнул... «Что он вещает, Господи!..» Глаза всех невольно обратились на вещую птицу. Владыка осенил ее крестом...

— Вещай на добро, птак Божий! — проговорил он.

— Варлам! Варлам! — казалось отвечала странная птица.

А с вечевой колокольни с любовью и умилением следили за вороном и за всем происходившим на берегу Волхова блестящие старческими слезами глаза вечного звонаря.

— Фу-фу-фу, сколько детушек у Господина Великого Новагорода! Сколько стягов, сколько насадов!.. Не видать поганой Москве Новагорода как ушей своих... Кричи, кричи, Гаврюшенька! — каркай славу Великому Новугороду...

— Новгород! Новгород! — как бы отвечая звонарю, бессмысленно каркала глупая птица заученные слова.

Владыка знаком подозвал к себе воеводу конного полка, седобородого боярина Луку Климентьева. Воевода подъехал к Феофилу, проворно соскочил с коня, звеня сталью своей кольчуги и оружием.

— Преклони ухо, Лука, — тихо сказал владыка.

Воевода почтительно нагнул голову как для благословения.

— Помнишь, Лука, мой наказ? — по-прежнему тихо спросил Феофил.

— Не забыл есми, владыко.

— Помни же, сын мой: егда сойдутся рати в поле, рази токмо окаянных псковичей, а на княжой полк не води мой полк... не благословляю на сие...

— Будет по глаголу твоему, владыко.

— Корнил! Корнил! Корнил! — каркал ворон.

— Ах, сыночек мой, Гавря! — умилялся звонарь, слушая свою птицу. — И меня старика вспомнил... А вон и Тихик блаженненькой с боярынею Настасьею... Что они везут?..

Вдоль рядов пехоты два рослых парня везли тележку, нагруженную платками и холстом, а впереди шла боярыня Настасья Григоровичева, приятельница Марфы, вся раскрасневшаяся от жару, а с нею рядом слепой Тихик, обвешенный своими сумками. Они брали из тележки платки и лоскуты холста и раздавали ратникам.

— Для чего это? — недоумевали ратные люди.

— Кровушка, кровушка, — ох, много кровушки будет, — загадочно отвечал слепец.

— Добро, пригодится ширинка нос утереть...

— Кровушка, кровушку, кровушку горячую, — твердил свое Тиша блаженный.

— Мы-ста кому иному нос утрем, — похвалялся тщедушный мужичонко «пидблянин».

Князь Василий Шуйский-Гребенка, стоявший впереди всех и разговаривавший с посадником, обнял этого последнего и грузною походкою направился к иконе Знаменской Богоматери, которую, как величайшую святыню Новгорода, вынесли перед войско и держали темным, закоптелым ликом к выстроившимся против нее ратям. Князь Василий с головы до ног был закован в железо, и только русая борода и серьезные глаза, выглядывавшие из-под низко надвинутого шлема, обнаруживали, что под этим движущимся железом и кольчатой сталью скрыто человеческое тело. Князь Василий был главным воеводою посылаемого теперь против москвичей передового новгородского полка.

Он подошел к иконе, три раза поклонился в землю и приложился к ризе Богоматери. Владыка, у которого заметно дрожала рука, покропил его святой водой.

К воеводе подвели рослого вороного коня, который нетерпеливо рыл копытом землю и пенил удила. Воевода медленно сел на него и в сопровождении подручных воевод стал объезжать ряды.

— Постоим, братие, за святую Софию, за дома свои и за волю новгородскую! — то и дело обращался он к войску.

— Утрем пота за святую Софию! — отвечали ратные.

— Положим головы за волю новгородскую! Ляжем костями!

— Не посраим Господина Великого Новгорода!

По знаку воеводы затрубили рога, загудели гудки, заколотили бубны.

— В насады! В насады! — прошло по рядам.

Войско двинулось к насадам, которые покрывали сплошной массою весь Волхов по ту и по другую сторону «великого мосту». Бабы и дети снова взвыли.

— Фу-фу-фу! — радовался с колокольни вечной звонарь. — Полетели пчелки для своей матки медок добывать... Фу-фу-фу, сила какая!

Марфа в последний раз повисла на шее сына... «Митя!.. соколик мой!.. золото червонное!.. о-о-ох!..». И острое, нехорошее чувство шевельнулось у нее в груди против того статного, черноусого хохла, который обнадеживал ее когда-то литовскою помощью... «Аспид пучеглазый!..»

— Баба, баба! — теребил ее за подол маленький Исачко. — По ком ты плачешь?.. И я заплачу...

— Новгород! Новгород! — отчаянно каркал ворон, взбодраженный необычайным движением и плачем.

Скоро насады, наполненные ратными людьми, уже пенили гладкую поверхность Волхова сотнями и тысячами весел, а оставшиеся новгородцы и пригорожане несметными толпами, большею частью бабы и дети, двигались берегом, провожая глазами своих «лад милых» и махая усталыми руками все далее и далее уходящим насадам.

Марфа тоже стояла заплаканная, провожая глазами воеводский стяг, который тихо полоскался в воздухе над воеводским насадом, умчавшим ее дорогого Митю на кровавый пир. И ей невольно вспал на память таинственный сон, виденный ею этою ночью, — сон, в котором ее суеверный ум угадывал что-то пророческое, страшное, но что — она не знала... Ей снилось, что она стоит на вечевом помосте и слышит у святой Софии похоронный перезвон и жалобное причитание многих женских голосов. Она спрашивает — кого хоронят, и ей отвечают, что хоронят волю новгородскую. Она торопится с помоста, чтобы посмотреть на похороны, но в этот момент у нее на шее разрывается дорогое ожерелье и крупные жемчужины рассыпаются по земле. Откуда ни возьмись куры, и стали клевать ее жемчуг... «Несут, несут», — слышит она голоса и видит, что люди несут гроб, а в гробу лежит она сама, Марфа, и за гробом идет та льняноволосая девушка, которую она недавно видела за городом, на берегу Волхова, обсыпанную цветами и зеленью, и голосно причитает: «Матушка родимая! На кого ты меня, сиротинку, покинула...».

— А мне батя посулил привезти пряник московской — во какой, — бормотал между тем маленький Исачко, тербя ее за подол.

А издали, с передовых насадов, уже доносилась голосистая, как бы заунывная, раздумчивая песня:

В Новгороде ли было на Софийской стороне,
Раззвонился, братцы, раскричался вечной колокол:
Уж и чтой-то, братцы, у нас в Новгороде нездорово...

Конный полк тоже уже давно взбивал облака пыли за городом, дуя левым берегом Волхова по направлению к устью Шелони. В этих облаках пыли трепались новгородские стяги, поблескивая на солнце золочеными яблоками, крестами и унизанными разноцветным камням ликами угодников, изображенных на широких полотнищах знамен. Это был владычный полк, предводительствуемый благочестивым боярином Лукою Клементьевым.

Насады между тем, сверкая в воздухе бесчисленными веслами, словно крыльями, быстро подвигались к Ильменю. В воздухе, на всем пространстве, занимаемом этою флотилиею, носился говор и гул тысяч голосов, и все эти голоса покрывала заунывная, хотя и удалая мелодия:

Разыгралось, расплескалось, братцы, Ильмень-озеро,
Расходились, разусобились люди новгородки,
Выходила ли Торговая сторона на Софийскую...

- Глянь, братцы, опять на берегу огавница...
- Смотри, смотри! Кому-то клюкой грозит.
- Ах, старая кудесница!.. Чур-чур!.. с нами крест...
- А вон девка чаровница... Коса-то, коса-то какая белая — лен чесаный.

Действительно, на берегу опять стояла старуха кудесница и грозила кому-то клюкой, но кому — этого никто не знал, хотя каждый суеверно принимал на свой счет. Кудесница эта слыла в Новгороде за злую ведунью, и все ее боялись. Рассказывали старые люди, что родилась она в незапамятные времена от зашедшего сюда из чуди волхва и бабы кудесницы, которая могла напускать на людей мор, низводить с неба дожди и повелевать солнцем и месяцем, которая иногда даже «скрадывала» солнце и месяц, — и все это страшное ведовство передала своей дочери, настоящей кудеснице, жившей в никому недосягаемой пещере... С нею жила и другая молодая чаровница, которую будто бы старая ведунья прижила с дьяволом уже на старости лет...

Эта молодая чаровница тоже стояла на берегу. Она, видимо, искала кого-то глазами среди насадов. Наконец отыскала кого-то, узнала, и лицо ее вспыхнуло, а потом мертвенно побледнело...

Когда насады проплыли мимо нее, она закрыла лицо руками и, казалось, заплакала. Льняная голова ее закачалась из стороны в сторону, словно бы она причитала...

Но вдруг, к изумлению и ужасу ратных людей, она отняла руки от лица, быстро, спотыкаясь, последовала вдоль берега за насадами и на ходу все крестила их...

— Что за притча! — удивлялись ратные люди. — Не то она крестить, не то расхрещивает...

Долго эта таинственная чаровница шла за насадами, пока они не скрылись у нее из виду.

А насады уже вышли в Ильмень-озеро. Все были оживлены, разговаривали, смеялись, бранили москвичей и Псков, который не шел Новгороду на помощь. Воевода, князь Шуйский-Гребенка, окруженный подручными воеводами, каковы-

ми были молодой Марфин сын Димитрий, Василий Селезнев-Губа, Киприян Арзубьев и Иеремия Сухощек, — говорил о предстоявшем воинском деле, о трусости москвичей, о вероломстве «молодшего брата» — Пскова и об ином прочем.

Один только Упадыш молчал, смутно свесив свою золотистую голову на грудь, покрытую кольчугой, и по временам оглядывался назад к тому месту, где маячила на берегу льняная головка молодой чаровницы, пока и она, и берег, по которому она шла, не скрылись из виду.

Виднелся еще сзади Перынь-монастырь с его золотистыми главами, но скоро и он как бы погрузился в воду. Кругом расстилалась гладкая поверхность Ильменя, которую иногда рябил тихий южный ветерок, да на голубом небе стояли неровными рядами перистые облачка, которые, как и само небо, казалось, тихо двигались на полночь, к оставленному позади Новгороду, и далее за Новгород, в далекую чудскую землю.

Песня давно смолкла. Многие из ратных людей, соскучившись однообразием картины и убаюканные плавными покачиваниями насадов, свернувшись где кто попал, спали или дремали, вспоминая свои дома, жен и других близких сердцу, которых иным, быть может, уже не суждено больше увидеть и обнять, как еще недавно они обнимали их на прощание, а те благословляли и целовали их с ласками и плачем.

Упадыш, все время молчавший, уже не оглядывался более назад, а серьезное лицо и задумчивые черные глаза сосредоточенно следили, казалось, впереди за чем-то далеким, чего никто не видел. По временам губы его подергивались как бы от внутренней боли, и он встряхивал своими искрасна-рыжими волосами, словно бы его преследовала не то надоедливая муха, не то неотвязчивая мысль. Он, видимо, искал чего-то впереди, ждал этого чего-то, а позади него, вот тут за плечами, стояло что-то другое и не отходило, как он ни отмахивался от него.

Вечерело. Солнце начинало уже клониться к западу и косыми лучами золотило и мачты, и стяги новгородские, и плавно взмахивавшие над водою весла, а Упадыш, неподвижно сидя на носу своего насада, все глядел вперед.

Усталые гребцы от времени до времени перекидывались словами, но Упадыш точно не слышал ничего.

— А какой нониче у нас, братцы, день?

— Но ли забыл?

— Забыл-ста... да и как не забыть! С коей години на ногах!

— И точно, забудешь... Кажись, вторник у нас.

— Вовторник и есть... Но ли забыли, какой завтра праздник?

— А какой? Мы не попы.

— Ивана Предотечу забыли — Иванову-ту ночь?

— Ай-ай, робятушки! И в сам-дель завтра у нас святой Ярила живет.

— И вправду — ай-ай!.. Так ноне у нас Ярилина ночь буде?

— Ярилина! Эх ты, кумирслов! Али забыл, как тоби поп в загривок наклал за Ярилу?

— Помню, что ж! Не велел Яриле молиться — Ярила, слышь, идол...

— Идол и есть...

— Сказывай!

— Того сказывай! Попу ближе знать. Ноне ночь Предотечева живет.

— У тебя Предотечева, а у меня Ярилина... Тото бабы да девки взбесятся ноне!... То-то скаканье да плесканье буде! То-то пение да славление! — эх!.. мы вот ту-то возжайся!.. Подавиться б ей, Москве кособрюхой!

— Смотри, братцы, смотри, дым-от какой!

— Где дым, паря?

— Да вона — прямо на берегу...

— И точно, — и-и какой дымина!.. Откудова бы ему быть?

— Да, точно... Это, господо, дым в Русе...

— В Русе есть... Но ли Ярилины костры разводят?

— Каки Ярилины костры! — нашел-ста! — рано Ярильным кострам быть...

— Так но ли пожар?

— Пожар и есть, ребятки — ах! вот притка! — н-ну!

Действительно, над берегом, где должно быть устье Ловати и где, по всем видимостям, находилась Руса, густой дым клубами вставал над горизонтом и зловещею дымкою расстилался к Ильменю. Ясно было, что горело что-то большое и горело не в одном месте... Но что горело? Неужели Руса?..

Упадыш уже не сидел, а стоял. Глаза его, обращенные к зловещим клубам дыма, лихорадочно горели. Дрожащею рукою он держался за рукоятку длинного меча, привешенного у бедра, и бледные губы его беззвучно, судорожно шевелились...

И смелое, задумчивое лицо главного воеводы выражало тревогу. Он оглянул все новгородские насады, которые разбились по Ильменю, как огромное стадо лебедей, перенес

взор на свой насад, на тихо веявший над его головой войско-
вой стяг и, сняв с головы шлем, широко перекрестился...

— Начала Москва! — сказал он как бы про себя. —
Кто-то кончит?..

VIII. ПОРАЖЕНИЕ НОВГОРОДЦЕВ НА БЕРЕГУ ИЛЬМЕНЯ

В ту ночь, когда пешее новгородское ополчение, переправившись в своих насадах через Ильмень, приближалось к устью Ловати и видело поднимавшиеся вдаль из-за горизонта клубы черного дыма, от берега Волхова, противоположного Перынь-монастырю, тихо, как бы крадучись от кого, отчалила небольшая рыбацкая лодка и тоже выплыла в Ильмень.

Чернецы Перынь-монастыря, заметившие эту лодку, не обратили на нее внимания, основательно полагая, что это рыбаки отправились на какую-нибудь далекую тоню, чтоб к утру или к полуночи попасть на место работы.

Но они не заметили, что лодка направилась не вдоль берега Ильменя, а напрямки через озеро по направлению к устью Ловати. Чернецы не могли видеть также, кто находился в лодке, а если б увидали, то не знали бы, что подумать об этом. В своей суеверной фантазии они бы порешили, что это — дьявольское наваждение, «мечта», некое бесовское действие, что это, одним словом, «нечистый играет на пагубу человекам».

В лодке было всего два живых существа — молодой парень и с ним бес, непременно бес в образе леповидной девицы. Кому же другому быть, как не бесу! — да еще к ночи, мало того! — в самую Ивановскую ночь, накануне рождества Предотечева, когда и папоротник цветет, и земля над кладами разверзается, и утопленники голосами выпи стонут в камышах, и русалки в Ильмене плещутся, празднество идолу Яриле правят...

Но если б святые отцы видели, как у парня, сидевшего в лодке, сидит бес в образе леповидной девицы...

Парень усердно работал на веслах, робко поглядывая иногда на девушку, которая сидела у руля и задумчиво, сосредоточенно глядела вдаль.

Это была та льняноволосая девушка, которую мы уж не раз видели на берегу Волхова.

Куда она ехала? И что за необходимость была ехать против ночи? Правда, ночь была июньская, северная, глазастая.

Спящее озеро как на ладони... Полуночный край неба совсем не спит — такой розовый, белесоватый... Казалось, что там, дальше, туда, за Новгород, в чудской земле — день, и чудь белоглазая нежится на солнышке... Но вода в Ильмене такая темная, страшная — бездонная пучина, а в этой пучине, глубоко-глубоко, наверное, разные чудища копошатся и смотрят из глубины, как над ними жалкая лодочка куда-то торопится...

— Ох!.. Богородица!

— Что ты... Чего испужалась?

— Рыбина выкинулась... Я думала... Бог весть что...

— Ничего, не пугайся, не впервые...

Лодка продолжала быстро нестись по гладкой поверхности тихого озера. Где она проходила, там оставался след на воде, и две полосы расходились далеко-далеко позади лодки в виде распущенного хвоста ласточки. Кругом — тишина мертвая, только слышится тихое плескание весел и журчание воды у боков лодки...

— Ох, боюсь, Петра...

— Чего, ладушка, боишься?

— Не угодим ко времени.

— Угодим — не раз плаывали в Русу.

— Да уж час ко полуночи...

— К первому солнышку как раз угодим — истину сказываю, ладушка.

Парень налегает на весла. Лодка вздрагивает, подскакивает и несется еще быстрее. И загорелое лицо, и черные кудрявые волосы у парня увлажнены потом. Он что-то хочет сказать — и не решается... А девушка все молчит, не отрывая глаз от далекого горизонта... Чего ей там нужно?

— Ты бы, ладушка, сыграла что.

— Не до игры мне, Петра... не к поре...

— Ничевошно... Легче бы на сердце было... Ты бы «Калину»... Ноне Ярилина ночь... Сыграй —

Почто ты не так-такова,
Как в Ярилину ночку была...

— Бог с тобой, Петра.

Но Петра, по-видимому, не о песне хотел бы заговорит, да не смеет... «Эх, зазнобила сердечушко!..».

— А вить наши новугороцки рати осият Москву.

— Про то Богу ведомо, Петра.

— А обидно таково.

— Что обидно?

— И я собирался вить на рать, да мать не пустила... А чешутся руки на Москву кособрюую!

— Молод ты еще.

— Како молод!

Опять помолчали. Парень выбивался из сил, явно изнемогал.

— Дай, Петра, я погребу.

— Что ты! На кой?

— Ты ослаб, а еще далеко... Садись к правилу.

— Где тебе!.. Твоя сила — девичья, не мужичья.

— Я обвыкла грести — у меня силища в руках.

— Ну, болого, будь по твоему хочению.

Девушка оставила руль, встала и направилась к веслам. Парень и любовно, и несмело глядел на нее. Но девушка разом остановилась как вкопанная, уставив испуганные глаза на далекий горизонт, из-за которого выползали не то темные облака, не то клубы дыма. Они слишком скоро изменяли положение и форму и слишком явственно волновались, чтоб их можно было принять за облака. Казалось, кто поддувал их снизу и они рвались к небу и как будто таяли, расплываясь по сторонам.

— Ох, Господи!.. Что тамotka Петра?

— Что?.. Что узрела, ладушка?

— Ни оболоки, ни дым... как живые по небу мягутся.

Парень встал, повернулся лицом вперед и долго смотрел на волнующиеся клубы дыма.

— Горит там что, Петра?.. Пожар?

— Може, пожар, а може, леса горят — не впервой.

— Ох, не леса — жильє горит... То люди, то Москва огни распустила...

— А може, и Москва... Она, проклятая, что твой татарин...

— Так мы опоздали?.. Господи помилуй!

— Для че опоздали!.. Нагоним живой рукой...

— Ох, не нагоним, соколик!

Девушка быстро схватила в руки весла, метнула их в воду, налегла раз, два, три — и лодка затряслась и запрыгала под сильными взмахами весел. Откуда взялась сила в молодом существе, которое за минуту казалось таким тихеньким и слабым...

— Ишь ты... ай да ну!.. Ай да дюжая! — любовался и недоумевал парень.

Лодка неслась быстро, а еще быстрее летела северная весенняя ночь — ночь Ярилы. Восточная половина неба становилась все яснее и яснее, и тем отчетливее двигались по небу, как живые, клубы дыма, верхние слои которых уже начинали принимать бледно-алые оттенки.

Вот-вот настанет утро, выглянет солнышко, и будет уже поздно...

Странная девушка еще сильнее налегла на весла...

— Ну и дюжа же... Эх, чтоб тебя!

По небу, через озеро, как-то наискосок летели какие-то черные птицы. Они явно летели туда, где клубились и восходили к небу облака дыма... Зачем они летели? Куда? Встречать солнце...

Птицы обгоняли лодку...

— То воронье, чаю.

— Воронье... ишь взапуски, умная птица...

— А для чего? Что им там?

— К солнышку... Они вот так-ту всягды... на солнышко, поди, посмотреть...

— Что ты, Петра!.. То не к добру... Они мертвеца чуют — корм... Они обгоняют нас...

— Что ж! Они на то, чаю, птица... мертвеца — это точно, падаль далеко, подлые, чуют...

Девушка задрожала. Она не чувствовала рук — точно одеревенели они... По озеру прошла рябь, что-то пахнуло в лицо... Ильмень то там, то тут становился точно чешуйчатым...

— Утренник пробег — утро скоро... Ох, не угодим...

— Не бойся, скоро и к Ловати подобьемся... Наши, поди, дрыхнут — к утру сладко спится.

И парень зевал и крестил рот. Ему вспомнился их рыбацкий шалаш: как бы теперь он славно спал, укрывшись теплым кожухом... А там заварили бы с отцом уху, похлебали бы горяченького, да и на работу... Нет, сегодня праздник — Иван Предотеча...

Виден уже был берег и выдавшаяся в озеро длинная коса, поросшая тальником. У берега стлался над водою и как бы таял беловатый туманок. Дым становился багровым и медленно редел.

— Ну, вот и угодим-ста — вон берег... И туманок подымается...

Ах ты, туман мой, туман-туманок,

Что по Ильменю он, туман, похаживае...

— Что ты! Что ты, Петра, с ума сошел!

Парень спохватился и перестал петь. На берегу вдруг из-за тальника выросла человеческая фигура, закутанная в охабень. На голове ее что-то блестело.

Увидав лодку, неизвестный человек приблизился к берегу. На голове его оказался шлем. Выткнувшееся из-за го-

ризонта солнце позолотило высокий, заостренный еловец шлема.

— Эй, лодка! Кто там? — слышался оклик с берега.

Девушка вскочила, испуганная, дрожащая. Она, казалось, глазам своим не верила, или то, что она видела, казалось ей сном, привидением. Человек в шлеме, стоявший на берегу, был не менее ее поражен.

— Горислава! Ты ли это?.. как сюда попала?

— Гребь, гребь к берегу! — торопила она парня.

Лодка пристала к берегу. Девушка как кошка выпрыгнула из лодки. Стоявший на берегу человек распахнул охабень, скрывавший половину его лица и рыжую бороду. Это был Упадыш.

— Горислава! Что с тобой?.. Почто сюда приехала?

— Я... я от бабушки...

— От бабушки... За коим делом?.. Как?

— Я... не от бабушки... я сама... я слышала... ненароком...

Ох Господи!

— Что слышала? Сказывай.

— Москва... Москва там в Русе... она утром, отай, ударит на вас... всех посечет...

Вдруг произошло что-то необыкновенное, страшное, точно земля и небо задрожали и застонали от каких-то неистовых, нечеловеческих голосов и кликов.

«Москва! Москва! Москва!» — слышалось в этой буре, в этом раздирательном реве голосов.

Девушка, дрожа всем телом и дико озираясь, ухватилась за Упадыша да так и застыла. Парень от неожиданности и страха присел на землю.

— Матушки! Матушки! Что это? О-ох!

— Уходи... уходи в лодку! Ступай, Горислава! — силился Упадыш отцепить от себя ее заочневшие руки. — Иди в лодку — плыви дальше, не то пропадешь...

— О-ох! А ты? Что с тобой станется? О-о-о!

— Уходи, говорю! Это московской ясак, это Москва на нас напала...

Рев голосов между тем становился все неистовее и диче. Стучали и стонали бубны, выли рога...

«Москва! Москва! Москва! Бей окаянных изменников! Бей новгородскую челядь!..»

С возвышения, тянувшегося вдоль берега Ильменя, от левого рукава Ловати, словно лес — «аки борове», по выражению летописца, — лавиною двигались московские рати, блистая на солнце шеломами, еловцами, кольчугами, сулицами

ми, бердышами и развевая в воздухе всевозможных цветов стяги, потрясая копиями и рогатинами с острыми железными наконечниками.

Новгородское войско, которое ночью пристало с своими насадами тут же к берегу, несколько правее, не ожидая так скоро неприятеля и выгадывая время, пока не пришла ее конная рать — «владычней стяг» — беспечные новгородцы, повалившись покоем кто на берегу, на песке или на траве, кто в насадах, спали еще мирным сном, когда услышали, словно гром с неба, страшный московский «ясок»...

«Москва! Москва! Москва!» — стонал и выл этот ужасный ясок.

Новгородцы спросонья не знали что делать, что думать, за что хвататься. Как безумные металась они по берегу и по насадам.

А москвичи уже били их, прокалывали копиями, рассекали топорами их голые, не прикрытые шеломами головы... А шеломы валялись тут же, на земле — кто же спит в шеломе!..

— Уходи, безумная!.. Уходи, Горенька! — отбивался Упадыш от обезумевшей девушки.

— О-ох! нету! нету!.. Тебя убьют... о-о! Матушки!

— Малый! Возьми ее — снеси в лодку...

— Не пойду... о-ох!... Я с тобой помру... О-о-о!

— Тащи! Волоки ее!.. Отваливай дальше от берега!

— Иди, ладушка! Иди, дивынька! Подь, Горя!

И дюжий парень, не обращая внимания на сопротивление девушки, как медведь сгреб ее в охапку и поволок к лодке.

— Пусти! Пусти меня, Петра! о-ох!

— Не пущу! Ишь ты... не царапайся!.. Не пущу... ушибут тебя... Полно-ка!

А там шла кровавая сеча. Новгородцы, не успевшие со сна захватить оружие, бросались врукопашную и с свирепостью отчаяния душили за горла своих врагов, обвивались вокруг их ног, грызли их как собаки зубами и, несмотря на то, что другие москвичи пронизывали их копиями, тростили головы бердышами, пропарывали их рогатинами — новгородцы голыми руками задавливали своих врагов, и тут же, обнявшись с ними, как с братьями, смертными объятиями, умирали разом, обагрив кровью желтый ильменский песок и зеленую прибрежную траву.

Крики, проклятия, стоны раненых и умирающих, боевые возгласы, лязг железа о шеломы и латы, визг скрежущающихся мечей и сабель, хряст ломаемых копий, рогатин и костей человеческих, проклятия нападающих и поражае-

мых, хрип и свист перерезанных и недорезанных горл, стук дерева о дерево и железа о железо, нечеловеческие вопли удушаемых за «тайные у...» — все это сливалось в такую адскую музыку, о которой нельзя даже составить себе понятия по современным битвам, даже более кровавым и уж гораздо более разрушительным, когда и стоны и вопли человеческие, и ржание лошадей, и проклятия раненых, и вопли задавленных конскими копытами, и визг и лязг оружия, и сигнальные звуки труб — и все, все, весь ад звуков заглушается громом орудий, лопаньем разрывных снарядов, неумолчным лопотанием тысяч ружьев... Нет, тогда, когда еще не в ходу было огнестрельное оружие, когда дрались кулаками, рвались зубами, душили друг дружку руками, резались и кололись холодным оружием — тогда смерть и ее голос, ее ужасные крики были слышнее, реальнее, ужаснее — тогда все было слышно... слышно было, как души человеческие расставались с телами и кричали, невообразимо кричали об этих телах, оставляемых ими, об этой земле, о жизни.

Все это видала и все это слышала бедная девушка, силою толкнутая в лодку и отвезенная далеко от ужасного берега... Ей как на ладони видна была эта ужасная сеча...

Одного не видала она — Упадыша... Куда он исчез, когда силою оттолкнул ее от себя и когда широкоплечий Петра сгреб ее в свои объятия, что с ним случилось, бросился ли в сечу вместе с другими и погиб под ударами москвичей, или бежал от их ужасного «ясака», который все еще гремел по всему берегу — она ничего не могла сказать. Но всего вероятнее ей казалось, что он убит, раздавлен, разломан по костям, как вон те, распластанные на песке или кровавыми руками цепляющиеся за траву, за кусты, — и холодный ужас охватывал ее, и она, ломая руки, глядела на кровавый берег, по временам думая ринуться в воду и плыть к берегу или скрыться под водою от этих ужасов...

Но вдруг ей показалось, что она видит его... Да, это он... Он лежит, распластавшись на земле, глубоко закинув назад свою рыжую, прикрытую шеломом голову. Это его борода — огненного цвета — так и горит под лучами солнца... Он, он!.. Она хочет броситься в воду...

— Что ты! Стой! Что задумала!

— Ох,пусти! Пустименя! Я к нему пойду!

— К кому?... что с тобой?

— К нему... вон он на песке... распластался... его борода — рудая...

— Кака борода!.. То кровь... руда, значит... Видишь, горло перерезано и кровь льет на рубаху — не борода то рыжая, а кровь...

— Ох, пусти! Убей и меня!

И она отчаянно билась в здоровенных руках парня... «Дуришь... не выпущу... там смертный бой...»

Действительно, бой был смертный. Московские рати осилили и смяли новгородцев. Многие из них, видя, что москвичи все прибывают, не выдержали натиска и бросились берегом к насадам. Напрасно воевода, князь Шуйский-Гребенка, махая мечом и напоминая беглецам Новгород Великий и святую Софию, силился остановить их. Напрасно он кричал, чтоб подержались немного, что вот-вот сейчас подоспеет владичный стяг конников и ударит на москвичей с тылу, что вон уже вдали развиваются новгородские знамена и слышны боевые окрики новгородцев и их воинские трубы — беглецы не слушали его. Многие, бросаясь в насады друг через друга, попадали в Ильмень и тонули под тяжестью лат, а другие, подымая руки из воды, напрасно просили о помощи... Было не до них — каждый думал о себе...

Все бросились в насады. Один увлекал другого, толпились, падали, вставали и снова бежали к насадам. Тех, что в пылу сечи зашли далеко и изнемогли, москвичи брали в полон и привязывали конскими цепями и ремнями друг к дружке.

Молодой сын Марфы, Димитрий, положив на месте несколько москвичей и ошеломленный рогатиною в голову, потерял сознание и, приподнявшись на песке, бормотал что-то бессвязно, водя пальцами по окровавленным латам и блестящему, теперь окровавленному нагруднику...

— Материны слезы... красны слезы стали... и на земле материны слезы... и тут... на латах... красные слезы... заржавели... Исачке пряник московской...

Арзубьев и Селезнев-Губа, увидав его в таком положении, схватили под руки и силою втащили в насад.

— Материны слезы... красны... у-у-у... в голове...

— Господи! Спаси его, раба Митрея! О-ох!

— Измена... Владычний стяг поломал крест... целование переступил...

— У-у-у! красные слезы...

Насады в беспорядке отчаливали от берега, не обращая внимания ни на раненых, ни на тех, которые не успели попасть на суда. Многие из них кидались в воду, чтобы догнать своих, уплывших от берега, отчаянно боролись с затоплявшею их

водою, и, поражаемые московскими стрелами и каменьям, то-нули на глазах у земляков, то молясь, то проклиная кого-то...

Оставшихся на берегу москвичи ловили, словно табунщики коней, арканами. И тут начались возмутительные сцены надругательства над пленными новгородцами. Москвичи отрезали у них носы и губы, бросали эти кровавые трофеи в Ильмень, приправляя эти воинские забавы не менее возмутительными прибаутками.

— Эх, Ильмень, Ильмень-озеро! На тебе носов новугороцких!

— На поди — высморкайся да выкупайся в Ильмене, нос новугороцкой! Н-на!

— А вот губы лакомы новугороцки! Целуйтесь-ко со Ильменем-озером.

— Ну-ко, подь понюхай — чем пахнет! Ловите, храбрые новугородцы, носы своих витязей!

— Эй, щука-рыба! Эй, окунь ильменской! Собирайтесь носы да губы новугороцки кушать во здравие!

Дикий хохот, крики и стоны далеко разносились по берегу и по озеру...

— А вот губы с усами — ловите их, новугородцы, красным девкам в подарок!

— Подите — покажитесь теперь своим! — отпускали москвичи изуродованных пленников.

Тихо кругом. Московские рати ушли, оставив побитых врагов на прокорм птице и зверю. И насадов новгородских не видать — все отплыли в Новгород с печальными вестями.

Тихо на кровавом поле. Все спят непробудно. Только воронье, которое еще ранним утром летело через Ильмень из Новгорода и с его полей, принялось теперь за свою трапезу. Черные хищники бродят между трупами, перелетывают с одного мертвеца на другого, спорят о добыче, дерутся крыльями и кровавыми клювами... Не смей-де трогать моего: я-де уж выдрал у него один глаз из лба — до другого добираюсь...

Под ивою лежит, разметавшись руками, словно крыльями, богатырь мертвец. Ноги оперлись в ствол ивы, а голова запрокинулась назад, и бледное, с кровавыми знаками лицо, кажется, смотрит на небо: что-то-де там.... Так-ли-де, как здесь, скверно... Около него ходит ворон, нерешительно заглядывая ему в лицо... Можно-ли-де начать? Не схватит ли-де?..

Ворон вспрыгивает на грудь мертвецу... тихо подбирается к лицу... борода мешает... Он перелетает на землю и подходит

с затылка — не так страшно-де — не увидит... Вскрывает на еловец шлема, цепляется лапами, неловко держаться, переходит выше, ко лбу... Нацелился огромным клювом, словно долотом, и саданул левее переносицы...

Мертвец дрогнул, открыл глаза и шевельнул рукою... Испуганный ворон взвился на воздух, болтая крыльями...

— Марфа! Марфа! Марфа! — каркал ворон.

— Окаянная Марфа! О Господи! — простонал мертвец-богатырь.

Это был новгородский силач, рыбник Гурята... Вечной ворон прилетевший вместе с другим вороньем из Новгорода на добычу, своим клювом разбудил раненого и ошеломленного ударами богатыря.

— Новгород! Новгород! — каркала испуганная птица, не зная, на какой труп опуститься.

IX. КАКИЕ ВЕСТИ ПРИНЕС ВОРОН

В тот день, когда на берегу Ильменя недалеко от Коростыня происходила битва новгородцев с москвичами, вечерней звонарь, кривой Корнил, сидел на своей колокольне и, опершись на оконные перила, рассеянно смотрел своим одним глазом то на Новгород, против обыкновения тихий и почти безлюдный, то на Волхов, по которому кое-где скользили рыбацкие лодки, тоже как бы опустевшие, то туда, в туманную даль, к Ильменю, где вчера скрылись из виду новгородские насады с воинством и откуда шли заплаканные бабы новгородские и дети, провожавшие на войну своих мужей и братьев.

Скучно, ничего не видать там вдали, да и скоро ли еще видно, что будет?

У ворот и под окнами домов, либо на мосту, сходились иногда бабы, о чем-то тихо беседовали, качали головами и показывали туда, вдали, к Ильменю, куда часто обращался и одинокий глаз звонаря.

Вон прошел Тихик блаженненький, ощупывая своим крепатым костылем дорогу и тихо с собою разговаривая.

Прошел посадник в сопровождении тысяцкого и старосты Неревского конца, взглянул на солнце, которое уже клонилось к западу, поправил на груди свою золотую гривну, что-то сказал тысяцкому и тоже как-то раздумчиво покачал головой.

Точно вымер Новгород. Давно так не было в нем тихо и суморочно.

От скучного города звонарь перенес свой взгляд на вечевой колокол.

— Что, колоколушко, скучаешь, родной? — заговорил он ласково. — Нету твоих детушек — новгородцев? Далече, далече уплыли...

Он приподнялся на подставку и стал вытирать рукавом края колокола.

— Запылился, батюшка родной, запорошило тебя малость... Ну, ин дай смахну с тебя пыль-от... Что, брат, скучно нам, старикам?..

С такой же речью обратился он и к железному языку колокола.

— Что, старина, помалкиваешь?.. А? Ишь ты, говорун! Повремени малость — заговорим на весь мир крещеный, на все концы и пятины...

Он опять глянул на Новгород, на Волхов, туда, к Ильмену, на солнце, опускавшееся все ниже и ниже. На западе сгущались облачка.

— Ишь ты! И вор Гаврилка улетел за ратными людьми... То-то, вор, — его там не доставало, а нас, стариков, покинул... Погоди ты! Ужо дам тебе!.. Ишь ты какой витязь! А!.. на поди!.. и его, дурака, кормил — растил...

Он приставил ладонь ко лбу, оттенил глаз свой и всматривался в даль синюю.

— Не он — не он, не Гаврюша, а голубок полетывает... скучно без него, без ворона глупого.

Он опять обратился к колоколу.

— Вот ты не улетишь от меня, колоколушко... Умру с тобой — похоронишь меня, старика, и сам по мне позвонишь-поплачешь, сироточка... Кто-то после меня буде звонить тобой, колоколок вечной? Э-эхе-хе! Живи, да и помри... Вот ты, колоколок, не умрешь — все будешь говорить да плакать по душам новгороцким... и по мне, старом, поплачешь...

Но вдруг добродушное лицо старика приняло горестное выражение. Он задумался.

— А как осилит Москва попущением Божиим? Что с нами будет?.. Что станется с вечем, с моим колоколом?.. Вить на Москве, сказывают, нету веча и колокола вечного нитути... Не жить мне без тебя, колоколушко мой, не жить...

Он снова стал глядеть в синюю даль. Вечерело. С полей возвращались стада, подымая по улицам пыль. То в том, то в другом конце слышался пастушеский рожок. Ревели коровы.

Много десятков лет наблюдал старый звонарь эти знакомые картины с своей родной колокольни. Мил и дорог ему

был этот вид города, краше которого, как ему казалось, и на свете не было. Сколько церквей, колоколен, монастырей!.. Еще ребенком он засматривался на этот кипевший жизнью город, на величавую, спокойную реку, катившую свои воды куда-то в неведомую Чудь; кривой Корнил, да его вечной колоколушко господствовали, как пастух над стадом... И неужели все это возьмет Москва? Ужели на веки пропадет новгородская воля?..

По бледневшему небу от времени до времени тянулись едва заметные темные точки. Старик пригляделся: это воронье возвращалось на ночь с полей к своим старым гнездам.

— Поди и мой гуляка скоро пожалует... Ишь загулялся!

По мосту проходила, опираясь на клюку, сильно сгорбившаяся старуха. Звонарь узнал в ней старую кудесницу, жившую за городом в старых каменоломнях и редко появлявшуюся в городе. Она, видимо, кого-то искала. Кого бы?..

Вдруг в воздухе, над самой головой звонаря, зашумело что-то...

— Корнил! Корнил! Корнил! — послышался гортанный крик.

Лицо старика прояснилось. Он поднял голову. В колокольное окно влетел ворон и сел на перекладину.

— А... гуляка! Добро пожаловать! — радостно заговорил старик. — Где, разбойник, пропадал до сей поры?.. а?.. Забыл старика?

Ворон, сидя на перекладине, усердно очищал свой могучий, как долото, клюв.

— А, нажрался, вор?.. набил зоб?.. А подь сюда.

Ворон, как бы понимая слова своего собеседника, с перекладины перебрался пониже, на перила.

— Нажрался падали? Экой татарин!.. Весь зоб в крови по самые очи... Ишь бесстыдник!

Запекшаяся на зобе ворона кровь, действительно, покрывавшая и весь клюв до самых глаз птицы, ясно обличала, что крылатый хищник усердно копался в крови.

— У... татарин! Все падаль, поди, жрешь?.. А може, и мяско?.. а?.. мяско?.. а чье?

Старик подошел к ворону и стал гладить его блестящую спинку.

— А, вор... може, московское мяско пробовал?.. а?.. Скусна московская говядинка?

Ворон топырился, не давал себя гладит, даже клювом пробовал долбануть в руку старика.

— Фу ты — ну ты! Дратца учал?.. Чего еще не выдывали!.. На... на... клюй старика, подлый!.. Кто тебя выкормил-вырастил?.. Так-ту добро помнишь?..

Птица продолжала чиститься, ощипываться, охорашиваться...

— Матушки! У него, у подлого, и ноги в крови!.. Где это ты, разбойник, по крови бродил? Где по самое брюшко окровянился?.. а?.. Но ли в московской крови?

Вдруг старик, сам не зная чего, испугался. Круглая голова ворона и этот могучий клюв с запекшеюся на нем кровью представились ему какою-то страшною долбнею, чем-то отдельным от птицы, самодействующим... Это была в самом деле долбня с долотом и с глазами... Глазастая долбня глядела куда-то, не обращая на него внимания, и как бы думала о чем-то... И ему чудилось, как вот эта страшная голова с клювом выдалбливала человеческие глаза из-под черных бровей... А если это были глаза новгородцев, новгородские черные молодецкие брови?.. Ведь ему, ворону, вещей птице, все равно, чьи бы ни были те глаза и брови... А если он бродил по новгородской крови?.. Да не он один, а вон их сколько, этих вещей птиц, поналетело в Новгород...

— Кого клевал?.. Сказывай... а?

Старик оперся на перила и стал напряженно глядеть на поддень, где небо становилось все бледнее и бледнее. Ничего не видать! Только птица продолжала лететь от Ильменя, с той стороны, куда направились вчера новгородские рати.

Неужели была уже битва? И неужели это с кровавого поля летит птица?.. Так кто же одолел?.. В чьей крови так забродился ворон?

Старик перекрестился, взглянул на небо, на колокол, на ворона...

— Святая София! Заступи град твой... не дай колокольца твоего в обиду...

Торопливыми шагами он стал спускаться с колокольни, бормоча что-то и покачивая головой.

— Колоколушко мой... Ах, воронок... ножки в крови...

Заперев колокольню и сойдя с вечерового помоста, он пошел по направлению к Неревскому концу. Попадавшиеся ему изредка на пути бабы, гнавшие коров или несшие ведра с водою из Волхова, кланялись старику приветливо, а иная приговаривала: «Путь-дороженька гладкая, Корнилушко батюшка, звонарик вечной...».

Старик вышел на побережье, остановился, глянул вверх по Волхову и тоскливо покачал головой.

— Ах воронок-воронок... и где он покровянился?..

Встречавшиеся ему на пути бабы замечали, что звонарь был какой-то чудной, не всебешный точно, и все как бы с кем-то разговаривал, хотя с ним никого не было... «С аньделом своим гуторил, а то с колоколом да с вороном...»

На побережье он опять заметил старую кудесницу, которая шла берегом Волхова, видимо, торопясь к своим каменоломням. Он вспомнил, что видывал ее когда-то, еще при жизни старого посадника Исаака Борецкого, у его жены Марфы... Зачем она ходила к ней?..

— Темное дело... темное... Ах, ворон — ворон...

Между Разважею и Борковой улицами старик поравнялся с «чудным» домом Борецких, перешел через улицу и сел на каменной ступеньке крыльца Марфина дома, чтоб передохнуть. Был чудесный вечер, ясный, тихий, и окна дома были открыты. Из дома слышались голоса. Старик прислушался и явственно различил голос самой посадницы и даже слова, которые она говорила.

— Так рцы добре знаешь? — спрашивала кого-то Марфа.

— Добре, баба, — отвечал детский голосок, в котором старый звонарь тотчас же узнал голос любимца Марфина, внука Исачка.

— А каки слова на рцы знаешь? — снова последовал вопрос.

— Риза, баба.

— Риза... а еще?.. а?

— Запоматовал, баба.

— Тото, дурачок, — запоматовал... Все купаешься с смердятами — все урки и прокупал... Еще утонешь...

— Я, баба, не утону — я плаваю.

— Добро-ста!.. А каки слова на рцы?

— Риза... вода...

— Вода!.. Ах ты тетеря!.. Розгою бы тебя за воду... Все купаешься — вот вода и нейдет у тебя из ума... Ну, риза — еще?.. а?.. рыба...

— Ах, рыба! Рыба точно!.. Она, баба, в воде!

Марфа засмеялась. И старый звонарь, слушая эту речь, добродушно рассмеялся... «У-у, вострой малец!..».

— Ну, так рыба, да еще рог...

— Да, баба, рог.

— А какой стих на рцы?

— Стих я, баба, знаю:

Ризу вздень, рыбу яждь, рог не возноси,
Смирных си блаженств у Бога испроси.

- Добре; похваляю... Что есть рог?
- Рог, баба, у коровы, и у барана рога, и у козла рога.
- Ах, дурачок, дурачок!.. Как же человек рог возносить будет?.. Но ли у тебя есть рога?
- Нету, баба... у козла рога, у коровы...
- То-то... у человека рог — сие есть гордыня: рог не возноси — сиречь не гордись... Еще на рцы каки словеса знаешь?
- Запомятовал, баба.
- А это что у тебя?
- Рубашечка, баба... Ах, вспомнил! — рубаха, рубаха...

Рубаха бела праздник есть младому,
Душевна белость не боится грому.

Старый звонарь, слушая это, только головой качал от умиления... «Уж и малец же! У... у... востер... постреленок!..»

— Так... так... хорошо... Стих добре помнишь... «Рубаха бела праздник есть младому» — точно...

- А у меня, баба, рубашечка аленька...
- Есть и беленька, и синенька, и желтенька... Ну, а еще каки словеса на рцы?
- Решето, баба...
- Ну, еще... а? Что ты ел утром ноне?
- Репу... Да-да, баба, редька, репа...

В решето потреб сбри редьку, репу,
Сей в народ милость богату и слепу.
В правде походишь и без рукавицы,
Везде бо в любви устрятя ты лица...

- Хорошо, хорошо, дружок... Только не забывай урока.
- Не забуду, баба.
- А то отец не привезет московского пряника.
- Ах, баба, баба!

В это время старик закашлялся, и голова Марфы-посадницы показалась в окне. Рядом с нею выглядывал и маленький Исачко в красной рубашонке. Старик низко поклонился.

— А, это ты, Корнил, здравствуй, — приветливо сказала Марфа.

- Здравия желаю, матушка, золотая моя.
- Что скажешь, Корнилушко?
- К твоей милости, посадница золотая.
- Войди в хоромы.
- А что Гавря, дидушка, воротился? — интересовался Исачко судьбою ворона, которого он очень любил и хотел себе завести такого же: он за день несколько раз бегал на

вечевой помост — справиться у звонаря, прилетел ли с поля его ворон. — Воротился?

— Воротился, батюшка посадич.

Челядинцы отворили крыльцо, поклонились старику, уважаемому всем Новгородом, и ввели его в хоромы через светлые сени.

Он очутился в большой, знакомой ему палате, окнами на побережье и на Волхов, и помолился на образа и на распяты, ярко блиставшие в богатой ките.

— Паки здравия желаю, матушка-посадница.

— Спасибо, Корнил. Присядь... Бражки не хочешь ли испить? Прикажь, Исачко, наточить браги.

Исачко, вертевшийся около бабки и хотевший все заговорить о своем любимце, вороне, стрелой бросился к челяди — исполнять бабкино приказание.

— Не до браги бы топереву, матушка, — медленно проговорил старик, все еще стоя у порога.

— Почто не до браги? Брага добрая — млеко старости.

— Так-ту так, матушка-посадница, да время топереву не такое.

— Что ж! Всякое время — Божье, всяк час — Богов.

— Точно — все Богово, и мы Боговы, да пора-то ратная... думается все... оже случится что...

— А что?

— Да вот ворон, матушка...

— А что ворон, дедушка?.. кого нарицает?.. бабу? — зачастил опять Исачко, воротившийся в палату.

— Что ты про ворона, Корнилушко, говоришь? — переспросила Марфа. — Не суйся, постреленок! — это к Исачку.

— Я, баба, не суюсь.

— Да с поля, матушка-посадница, воротился воронок мой — с ночи пропал... А топереву воротился весь в крови...

— Что ты! Как?

— И клевало-то у его все в крови по самые, сказать бы, очи — по головку...

— Кто его так зашиб, дедушка? — опять вмешался Исачко.

— Молчи, не перебивай, глупый невеголос!

— Не зашибен он, батюшка посадич, а покровянился по саму головку...

— Ну и что ж? — начала бледнеть Марфа.

— И ножки в крови, матушка, по самое черевцо...

Марфа становилась все бледнее и бледнее... Исачко смотрел и на нее, и на старика недоумевающими глазами...

— Не в падали, думается мне, матушка, закровянился он.

— Не в падали?

— Не в падали, золотая... От падали, матушка, крови нитути... В живой кровушке, думается мне, матушка, бродил воронок-от мой...

— В живой?.. бродил?..

— Бродил — ясно, что бродил... А в чьей?

— В чьей? — с ужасом повторила Марфа.

— Богу то ведомо, матушка... А токмо хрестьянская-то кровь, думается мне...

— Хрестьянская?..

— Хрестьянская, точно... Либо московска, либо...

— Наша?.. новгородска?..

— Не знаю, золотая моя.

Марфа так сжала свои руки, что пальцы ее, несмотря на всю их пухлость и рыхлость, звонко хрустнули. Грудь ее высоко подымалась. Тонкие ноздри расширились, как у испуганной лошади... Казалось, ей дышать было нечем — воздуху не хватало в ее полной, широкой груди...

Она глянула на киоту, на распятие... Вспомнила, как на этом распятии клялись ее сыновья: Арзубьев Киприан, Селезнев-Губа Василий, Сухощек Иеремия, как плакал Зосима соловецкий...

Ей почему-то вспомнилась и неудачная поездка в Перынь-монастырь, и странная льняноволосая девушка на берегу Волхова, при виде которой воспоминания молодости ножом прошли по ее душе и вызвали образ того, кого она силится забыть всю жизнь — и не может... И эта старая кудесница, грозившая клюкой — она ей, Марфе, грозила, и Марфа, словно осужденная, выслушала эту угрозу...

Неужели теперь именно должна разразиться над нею кара за прошлое?.. Горислава с льняными волосами — неужели это она?.. Она, непременно она...

Но зачем плакал Зосима соловецкий?.. Кого он оплакивал?.. Боярин Панфил сказывал, что угодник видел тогда у меня на пиру людей без голов... Но кого?

— Но ли, матушка, не было никаких вестей? — прервал старик размышления Марфы.

— Никаких... Перед тобой заходил ко мне посадник, так говорит — рано-де быть вестям.

— Так один ворон гонцом прилетел... дивное дело.

— Да, ворон... точно — гонец, и в крови весь... дивно... дивно... в крови...

— Весь как есть, матушка.

— Дивно-дивно, о, Господи!

— Только не говорит, чья она, кровь-то...

Марфа задумалась и снова смотрела на киоту. Лицо ее выражало глубокую тревогу.

Потом она подошла к киоте и взяла лежавшую там книгу в кожаном переплете.

— Откровение святого Ивана Богуслова... Благослови, Господи, испытать судьбы твои, — сказала она тихо, как бы про себя, держа в руках книгу.

Потом она перекрестилась, положила книгу себе на голову, трижды повернула ее на голове, щелкнула серебряными застежками, и наудачу открыла книгу.

— Что-то Господь скажет?.. Благослови, Боже.

И она медленно прочла: «И видех, и се конь бел, и седяй на нем имеяше лук: и дан бысть ему венец, и изыде побеждай, и победит...» Она остановилась.

— Дан бысть ему венец — но ли это Иван князь московский? — говорила она в раздумье. — И конь бел, и победит.

Старый звонарь в суеверном страхе прислушивался к ее словам, и, казалось, что-то страшное слышал в них...

А Марфе вспомнился князь Михайло Олелькович на белом коне... «А може, венец киевской, не московской?..» Она вздохнула и читала дальше: «И егда отверзе печать вторую, слышах второе животно глаголище: гряди и виждь. И изыде други конь рыж, и сидящему на нем дано бысть взяти мир от земли, и да убьет друг друга, и дан бысть ему меч великий...»

— Рыж конь... Кто бы это был?.. И убьет друг друга... Господи!

— Рыж конь, матушка, у воеводы владычня стяга, у Луки у Клементьева, — проговорил звонарь.

Марфа ничего не отвечала и, закрыв книгу, вторично положила ее на голову... «Попытаю вдругорядь — до трижды судьбы Господни испытуются...»

Снова повертела книгу на голове и снова открыла.

— Благослови, Господи... Что-то святая книга проречет?

Она прочла:

— «И взяв един ангел крепок камень, велик яко жернов, и верже в море, глаголя: тако стремлением ввержен будет Вавилон град великий, и не имать обрестися к тому. И глас гудец и мусикий, и пискателей, и труб не имать слышатися к тому в тебе; и всяк хитрец всякие хитрости не обрящется к тому в тебе; и шум жерновный не будет слышан в тебе; и свет светильника не имать светити в тебе к тому, и глас же-

ниха и невесты не имать слышен быти в тебе к тому, яко купцы твои быша вельможи земстии...».

По мере чтения лицо ее становилось все бледнее и бледнее... Руки дрожали... Но вдруг за окном раздался голос Исачка: «Баба! Баба! Наши едут... насады видно».

Х. ОСТРОМИРА ЗА ЧТЕНИЕМ ЛЕТОПИСИ

Но Исачко ошибся. Это были не насады возвращавшегося из похода новгородского войска, а простые рыбацкие ладьи.

Как бы то ни было, под впечатлением гадания на Апокалипсисе и ввиду страшного рассказа вечеревого звонаря о возвратившемся откуда-то окривевшем вороне, решено было на другой же день утром ехать на богомолье в Хутынский монастырь, чтоб умолить преподобного Варлаама, хутынского чудотворца, стать невидимым заступником новгородских ратей и Великого Новгорода.

Марфа отправилась на богомолье не одна, а в сообществе с своею другинею Настасьею Григоровичевою и многими знатными новгородскими боярынями, так что поезд состоял из нескольких насадов, ибо в Хутынь приходилось ехать водою вследствие того, что монастырь этот отстоял от Новгорода в десяти верстах вниз по течению Волхова.

Погода всю эту весну стояла ведряная, безоблачная, сухая. И это утро выдалось ясное, тихое. Когда насады стали только отъезжать от Новгорода, то Марфа, сидевшая в переднем насаде, взглянув на голубое, трепетавшее первыми лучами восходящего солнца небо, увидела, что и сегодня, как накануне, птица летела куда-то на полдень, к Ильменю, не то за Ильмень. Сердце ее сжалось. Она догадалась, куда летят эти стаи крылатых хищников.

Марфа ехала в переднем насаде. Тут же находилась и Настасья Григоровичева вместе с своею дочкою, с семнадцатилетнею Остромирою, названною так в честь одного из предков ее, знаменитого посадника Остромира, именем которого называется один из древнейших памятников русско-славянской письменности, именно известное всему ученому филологическому миру «Остромирово евангелие».

Белобрысеньякая Остромира была похожа на свою толстую матушку, только над дочкой природа трудилась, по-видимому, более тщательно и любовно, чем над матушкой: можно сказать, что невидимый скульптор лепил Остромирушку из самой хорошей глины, лепил набело, с любовью отделявая

каждый штрих ее миловидного личика и все ее молодое, здоровое и изящное тело, ее роскошную светло-русую косу, ее высокие брови и светло-голубые глаза с поволокой, совсем детский, без острых углов профиль и такой же хорошенький ротик с детским подбородком, тогда как матушка ее слеплена была, казалось, простым гончаром из гончарной глины и притом совсем начерно, как не отшлифованный горшок.

Хотя утро было прелестное и береговые картины да и весь Волхов, убранный по берегам зеленью садов и роц, невольно должны были радовать глаз и душу, однако богомолки, казалось, не замечали ни красот природы, ни прелести утра: они тихо разговаривали о том, что у всех лежало на душе — о неведомом никому ходе ратных дел.

Только на лице Остромиры, в глазах и во всей ее постати сказывалось необыкновенное оживление. Около нее таким же оживлением сияло личико Исачки, потому что Остромира забавляла его любопытным «действом»: она изображала из себя косолапую Москву, в виде медведя, который, желая поест и похватать новгородских детей, попал в новгородский капкан и потерял одну ногу. Сделав себе ногу из липы, он опять собрался на Новгород. Этот самый момент и изображала Остромирушка своим «действом». Она взяла у одной богомолки клюку и, опираясь на нее, шла с угрожающим видом на Исачка, который изображал собою Новгород. Остромира ковыляла своей липовой ногой и страшным голосом приговаривала:

Я иду — иду медведь
На липовой на ноге,
На березовой клюке,
А скрыпи-скрыпи, нога,
Скрыпи, липовая!
Все по селам спят,
По деревням спят;
Одна бабушка не спит,
На колоде сидит,
Мою шерстку прядет,
Мое мясо варит
В горнушечке,
В черепушечке...

— Гам... гам... гам! Съем тебя, Господин Великой Новгород!

Исачко, по-видимому, и боялся этого страшного медведя с таким хорошеньким личиком, и в то же время был в восторге, стараясь изобразить из себя хороброго новгородца.

— Это твою ногу бабушка варит? — спрашивает он, стараясь подальше стать от страшного медведя.

— Мою! — страшным голосом отвечает медведь с хорошеньким личиком.

— А твою шерстку прядет?

— Мою! мою!.. гам... гам... гам!

Исачко заливался звонким смехом на весь насад — ему было необыкновенно весело. С своей стороны, и Остромирушка имела свои причины веселиться, и очень важные. Дело в том, что еще в прошлом году, во время Ярилиных игрищ, когда новгородские молодцы играли с новгородскими девицами в старинную игру и — конечно «нароком», для игрища только «умыкали у воды девиц», Остромирушку на тот раз умыкал один добрый молодец, боярский сын Павша Полинарбин, и так приглянулся девушке, что она спала и видела его — черные кудри и черные глаза Павши не выходили у нее из ума. Между тем матушка ее, дородная Настасья, по дружбе к Марфе-посаднице, давно прочила ее за младшего сына Марфы, за золотушного Федюшку, которого Остромирушка иначе не называла, как «вейкой» и «чудью белоглазою». Но в последнее время, когда Павша, в качестве отрока, вместе с другими отроками, состоял при посольстве, которое правили у короля Казимира новгородцы, и понравился отцу Остромирушки, бывшему в числе послов, и когда старый Григорович узнал, что любимица его воструха сохнет по Павше, то и обещал выдать ее за этого суженого, как только он воротится из похода и когда будет перед всем Новгородом доказано и воеводами засвидетельствовано, что Павша «утер поту» за святую Софию и за волю новгородскую.

Теперь Остромирушка, уверенная в «хороборстве» своего суженого, со дня на день ожидала, что вот воротятся рати и воеводы объявят на вече, что Павша Полинарбин действительно «утер поту» за святую Софию и что он оказался на ратном поле таким молодцом, какого не бывало, «как и Новгород стал»...

Вот о чем она мечтала, изображая из себя страшного медведя на липовой ноге.

Едва успели насады с богомолками пристать к берегу у Хутынского монастыря, как Остромирушка вместе с Исачком выскочили на берег и побежали вперед. Остромирушка знала Хутынский монастырь, как свои пять пухленьких пальчиков, потому что игумен этого монастыря, отец Нафанаил, был из рода Григоровичой и приходился Остромирушке дедушкой. Старый игумен до слабости любил свою хорошенькую внучку, шальную воструху, и с детства баловал ее, не отказывая ей ни в чем и, что называется, души в ней не чая. Шалунья

знала это и тиранила старика, сколько ее резвой душе угодно было.

Когда Остромира и Исачко вошли в келью игумена, то нашли старика сидящим у низенького аналая, на котором лежала развернутая большая книга, а старик писал что-то в этой книге.

— Господи Исусе! Здравствуй, дедушка! — прозвучал в тихой келье молодой голос.

Старик вздрогнул и поднял голову от книги. В лице его блеснула радость.

— Аминь... Это ты, козочка востроглазая?

— Я, дедушка, и с Исачком... Благослови...

Девушка подошла к старику, протянула руки, нагнула свою русую головку. Старик положил на аналой перо, встал и любовно перекрестил наклоненную голову. Девушка поцеловала благословляющую руку, потом, положив свои руки на плечи старца, полезла было целоваться с ним.

— Ни-ни, козочка... ты уж большая, — отстранялся старик.

— Вот еще, дедушка!.. Ну-же... н-ну!

— Полно-ка, не дури, коза...

— Ах, какой!.. Ну уж!

Маленький Исачко тоже протянул свои руки под благословение.

— А, посаднич!.. Иди, иди!.. Господь благослови вас, детушки... Сказано бо — не возбраняйте детям, их бо есть царствие божие... Мать что же? — обратился он к Остромире.

— Матушка с тетей Марфушей идут... А ты, дедушка, летописец все пишешь?

— Пишу, дитятко, Богу споспешествующую.

— У, какой толстый летописец... Какие заставки! Ах, какая киноварь красная!

Она начала перелистывать книгу. Исачко занялся киноварью и уж успел запачкать себе нос. Сам старик игумен, стоя в стороне, с ласковою улыбкою смотрел на своих юных гостей и не то с горестью, не то с крепкою любовью тихо качал своею седою головой, прикрытою черной низенькой скуфейкою. Может, и он вспоминал свое беззаботное детство, когда жизнь и горькие сомнения ее не привели его еще в эту тихую обитель и не спрятали под черную рясу и под черную скуфью горячее сердце и такую же горячую буйную голову... То-то золотая молодость!..

Остромира между тем, остановившись на одной из страниц летописца, стала читать вслух:

— «Се же хоцю сказати, яко слышал прежде сих четырех лет, яже сказа ми Гюрятя Рогович новгородец, глаголя сице: яко послах отрок свой в Печору — люди, яже суть дань дающе Новугороду; и пришедшу отроку моему к ним, и оттуда иде в Югру; Югра же людье есть язык нем, и сидять с Самоядью на полунощных странах. Югра же рекоша отроку моему...»

— Хорошо, складно читает козочка, — тихо говорил старик, с любовью глядя на девушку.

— И я, дедушка, навычен уж читать, — хвастался Исачко, утирая нос, — про рцы все знаю:

Ризу вздень, рыбу яждь, рог не возноси,
Смирненных блаженств у Бога си проси.
Рубаха бела праздник есть младому,
Душевна белость не боится грому...

— Так, так, посадничек, истину говоришь! Душевна белость, точно, не боится грому, — ласково улыбался старик.

— Как же, дедушка, тут написано — Югра язык нем, а как же они говорили с отроком? — с удивлением спросила Остромира.

— Так и говорили, козочка: которые умели говорить по-новгородски — те и говорили, — отвечал старик.

— А!.. Ну, что ж они говорили отрку?.. «Дивно мы находихом чудо, — продолжала она читать нараспев, — его же несмы слышали прежде сих лет; се же третье лето поча быти: суть горы зайдуче луку моря, им же высота яко до небесе, и в горах тех клич велик и говор, и секут гору, хотяще высечися...» Ах, как страшно, дедушка!.. Кто ж то за людье?

— А чти дале — и познаешь.

— «И в горе той просечено оконце мало, и туде молвять, и есть не разумети языку их, но кажут на железо и помавають рукою, просяще железа, и аще кто дасть им нож ли, ли секиру, дают скорою противу...» Что есть, дедушка, «скорою противу»?

— «Скора» есть шкура зверина, козочка.

— А, разумею... Так они шкурою на железо меняются?

— Так, козочка милая.

— Кто ж они, дедушка?

— Богу то ведомо, милая... Летописец поведает, якобы то суть людье, заклепении Александром, царем македонским... Егда оный Александр Македонский, покоряючи народы многи, прииде а восточные страны до моря, нарицаемого солнче место, и виде тамо человеки нечисты — ядять скверну

всяку, комары и мухи, кошки и змии, и мертвец не погребают, то видев, Александр убоясь...

— А то, дедушка, не рахманы людье? — неожиданно спросил Исачко, весь превратившийся в слух и даже забывший киноварь и свой разрисованный нос.

— Каки рахманы, посадничек?

— А баба мне об них сказывала — они за Киевом живут.

— Не знаю, посадничек.

— Ну, — перебила их Остромира, — что ж Александр-то, дедушка?

— А заклепал их в горы.

— А они не придут к нам?

— Бог весть... Може, и придут... в последние времена, сказано в писании.

Остромире вдруг стало страшно... А как последние времена уже настали?.. Не они ли, эти страшные люди, идут на Новгород вместе с Москвою?..

И ей вспомнился ее Павша — далеко он, на поле ратном... А как и его возьмут заклепленные в гору люди?.. Сердце ее сжалось... «Скоро ли он воротится? Скоро ли свадьба?..» Она невольно покраснела и снова опустила глаза на летопись... Строки и слова рябили в глазах, но она читала дальше, хотя уже не вслух: «И еще мужи старии ходили за Югру и за Самоядь, яко видевшие сами на полуночных странах — спаде туча, и в той туче спаде веверица млада, аки топерево рожена, и взростиши расходятся по земли, и паки бывает другая туча и спадают оленцы малы в ней, и возрастают и расходятся по земли...»

— Так это, дедушка, с неба падают оленцы маленьки?

— С тучею спадают, милая.

— Как же это?

— Не вем... Божие то произволение... И кровавый дождь бывает — ино и то произволение Божие, и означает кроволитье, рать, огонь и мечь.

— А ноне не было кровавого дождя, дедушка?

— Не слыхал, милая.

Девушка задумалась. Исачко опять завладел киноварью и хотел было тоже писать что-то в летописи, но Остромира отстранила его руку с пером...

— И давно, дедушка, ты пишешь летопись?

— Давно, дитятко, третий десяток уже тружусь во славу Божию: умру я, грешный, а мое худое писание будут читать людие новгородстии, исправляючи Богаделя, и меня, грешного трудника, поминаючи...

Он взглянул в оконце своей кельи, оттенил глаза ладонью, поправил на голове скуфейку.

— А вон и они, спаси их Господи.

— Кто?.. Баба моя?

— И Марфа-посадница, и Настасья.

Исачко стрелой вылетел из кельи.

ХІ. ГЛАЗА БЕЗ ЛИЦА

Но недолго пришлось на этот раз богомолкам оставаться в монастыре. Не удалось и Исачке повозиться с интересною киноварью и перепачкать себе лицо, руки и новенькую шелковую сорочечку. Не привелось и Остромире в сотый раз переспросить дедушку Нафанаила о том, как преподобный Варлаам основывал здесь Хутынскую обитель, как он жил в тесной келейке и воевал с бесами, как неугомонные бесы чинили преподобному всевозможные пакости, как они являлись к нему во образе зверей невиданных и чудищ неизглаголаных, и иногда даже во образе таких остроглазых бесенят, как сама Остромирушка; как преподобный всех их в конце осрамил и загнал в болото, откуда они и доселе выходят и людей, особенно рыбаков, по ночам смущают; как преподобный Варлаам воскресил одного утопленника, или как он, на приглашение новгородского владыки побывать у него в городе, отвечал, что приедет к нему в санях на первой неделе Петрова поста, и как действительно в июне выпал снег, и Варлаам приехал в Новгород на санях...

По монастырю прошла весть, что отправившиеся против москвичей рати воротились. Весть эту принесли рыбаки, привезшие в монастырь с Ильменя рыбу.

Богомолки поспешили на берег — подробнее расспросить об этой радостной вести. Остромира земли под собой не чуяла от счастья... Вот она вернется сейчас в Новгород, увидит своего ненаглядного суженого, черноглазого Павшеньку — каким-то он сталь теперь витязем, как он поглядит на нее из-под своего блестящего шелома, как глаза их встретятся, как она замрет на месте от стыда и счастья, как вечером она выбежит к нему под топольцы, как он опять обнимет ее и будет целовать ее глаза и косу — ах, срам какой! — и как она сама его — фу, срамница! — будет целовать и в губы, и в шелковые усы, и в мягкую, как ее коса, бороду — ах, стыд какой, матушки! — ах, как все-таки хорошо, хоть и стыдно, цело-

ваться... Ай-ай! Она так и дрожала вся, выбежав на берег и прислушиваясь к говору рыбаков...

— Ловим мы, сказывают людински ловцы, рыбку, ан глядь — белеют парусы...

— Глядь, ан то наши насады...

— Видимо-невидимо насаду... уйма!

— И Москву, сказывают, погромили начисто — у-у!

— До ноги, слышь, всех кособрюхих уложили... пусто б им!

— А полону-то, полону — и-и! — и не приведи!

— И самого московского князя, поди, изымали...

— Князь Ивана — чу?

— Ивана князя, великого.

— Где изымать!.. Наш Гюрята, сказывают, на его как ринется, а ён возьми да и оборотись куликом... да скок в Ильмень — и поплыл, долгоносый...

— Н-ну, сказывай сказки!

— Не сказки... Гюрята-те соколом перекинься, да за им...

— Что ты! Ври больше!

— Не вру, лопни глаза-утроба... А ён, чу, князь-от московской, себе на уме — окунем перекинься...

— Окунем? Рыбой?

— Окунем... А Гюрята-то парень не промах — щукой перекинулся...

— Щукой!.. Ах чтоб его!

— Щукой, паря, да за им, да за им...

— Ну и что ж?.. Переял?.. а?

— Что!.. А ты не суйся под язык!

— Я не суюсь — не оса...

— Да ты что! Дьявол!

— Вот же тебе — нна!.. Бери да помни!

Трах в ухо!.. И рыбаки подрались, то есть «разговор пошел» — в ухо, да и в зубы, да за волосы, тем более что оба были разных «концов» и, следовательно, и разных до некоторой степени политических партии... Это было обыкновенное явление в Новгороде... «Пошел разговор...».

Марфа-посадница, бывшая при этом и слышавшая болтовню рыбаков, поняла, что тут что-то да не так, что это разыгралась фантазия рассказчика, и он ударился в сочинительство об окуне да о щуке: ясно, что это вздор...

— Да кто видел самое рать-ту, братцы? — допытывалась она.

— Да людинцы, сказывают, видали, матушка боярыня.

- А кто верх одержал в бою?
- В бою?.. Да мы-ста, боярыня, наши-ста ребята...
- А кто сказывал подлинно?
- Да людински ловцы...
- Пидбляне сами видали...
- Не сами, а ребятки их сказывали, что насады пловуть...
- Видимо-невидимо насадов... уйма!

Марфа видела, что опять начались повторения старого «уйма», да «людинцы», да сами «видали», да «сказывают» — и махнула рукой...

Надо было скорее ехать в Новгород, тем более, что в этот самый момент издали послышался звон вечеревого колокола... Рыбаки посымали шапки и крестились.

- Вон, братцы, чу! заговорил родной...
- Кричи — кричи, малиновой голосок!
- Покрикивай, новгородцка утица!

Крикнула утка —
На мори чутка:
Сбирайтесь, дитки,
Не одной матки!

— Эх-ма! Разнесли Москву!.. Ай да мы!.. Кричи-кричи, утица!

Марфа не слушала, торопливо приказав отчаливать от берега... Остромира и Исачко сидели сияющие, блаженные: первая видела себя под топольцами с своим суженым, а последний воображал себя с огромным московским пряником в руках — «сам батя привез...». «А там и под венец — ах, стыд какой!» — мечтала первая.

А колокол все кричал, тревожнее и тревожнее...

Исачко, которому от радости не сиделось на месте, уже сам изображал из себя хромого медведя — Москву и старался испугать бабушку страшными словами:

А скрипи-скыпи, нога,
Скрипи липовая...

— Полно-ка, глупый, не до тебя, — отмахивалась Марфа, у которой ныло сердце неведомой боязнью.

«Не я ли все заварила?.. Ох, как ноет сердечушко — не то радость, не то печаль... А оже ли незадача?.. и как сорвалось?.. ох!..»

— Прибавь ходу, ребятушки, мочи глыбче весла, — говорила она гребцам.

- Ну-ко разом... ну-ко ухнем, братцы!
- У-ух — у-ух — у-у!

Гребцы наддали, весла глубоко бороздили Волхов, насад вдрагивал и резал острым килем воду, оставляя за собою длинную полосу.

«А так ли он по мне соскучился, как я по нем? Нет, я больше, больше, а никому того не поведаю... Ах, стыдно! Ах, хорошо таково!» — мечталось Остромире.

«Но ли и о сю пору князь Михайло не думает обо мне?.. Эх, княже, княже!.. А киевской венец?.. Ох, какой он холодный, венец-от — так и холодит мое сердце», — тревожно думалось Марфе.

— Кормилец наш! На кого ты нас покинул?.. О-о, детушки мои!.. о-о-о!

— Горькая я сиротина! И глазоньки его не закрою! о-ох!

— Соколик мой!.. Где ты?.. матушки!

— Сыра земля! желты пески! примите и меня горемычную! Ох, тошно, тошнехонько!..

Марфа и Остромира очнулись от своих грез... Что это? О чем воют бабы? Куда они бегут?.. Что за шум, говор, крики отчаянья?..

Они в Новгороде — не заметили как очутились у моста, у площади... Волхов заставлен насадами...

Вечевая площадь запружена колышущимися массаами... Слышны вопли... У Марфы похолодели руки, оборвалось сердце, потемнело в глазах.

С трудом, цепляясь за народ, она почти бессознательно протискивалась в середину, к вечевому помосту... До слуха ее со всех сторон, словно жужжащие шмели, долетали бессмысленные, страшные слова, обрывки говора, непонятные и в то же время страшно ясные своим ужасом полуречи, и как шмель впивались в ее сердце...

— У Коростыня... на берегу... изменюю...

— Владычен стяг не дошел... наши не устояли...

— Которые потонули, котороньки-светы в полон взяты.

— И Гюрята убит... наши кончане все полегли костьми.

— Пропал Великий Новгород!.. Пропали наши головы!

— А все идол Марфища!.. На поток ее, идола окаянного!

— На поток!.. Разнесем Марфины животы!.. Она пьет кровь новгородскую.

У края вечевого помоста стоял посадник, весь бледный, белый, как его борода и обнаженная перед разгневанным и потрясенным событиями самодержавным мужиком-вечником седая голова. Он что-то говорил, кричал, но голоса его не слышно было в буре народных голосов, проклятий и воплей...

В окне вечерней колокольни торчала седая голова вечернего звонаря с жалким, испуганным лицом...

«Вот в чьей кровушке бродил ворон — и теперь, поди, в ей бродит, окаянный...»

Вдруг среди общего гама и ропота явственно послышалось всем знакомое карканье ворона. Вече — суеверное до мозга костей, а теперь еще более настроенное на что-то страшное, необычайное — все вече разом подняло голову... Да, это он, вечный ворон... «Корнил! Корнил!..» Все разом смолкли, точно окаменели...

В тот же момент к ногам посадника упало что-то с воздуха, точно с неба что-то свалилось... Он невольно нагнулся и посмотрел на помост, где лежало это «что-то», с неба упавшее... Что это?.. Что-то черное, волосатое и как будто покрытое запекшеюся кровью... Живое или мертвое?.. Зверь или птица?..

Посадник нагнулся и поднял это что-то страшное, но в ту же минуту задрожал и с ужасом отбросил от себя... Ему показалось, что это нос человеческий и губы... «Господи!» — он перекрестился...

— Что, посадник?.. что такое, господине?

— Не знаю... страшное нечно... аки нос и уста...

— Ноли с небесе спаде?

— Не вем... страшно... кроваво...

— Ворон, поди, принес с поля — вон он кружится и каркает...

— Корнил! Корнил!.. Карр! Карр!

— Воронушко! Гаврюшенька! Подь ко мне — летай сюда! — слышалось с колокольни.

Кто-то, стоявший ближе к помосту, поднял с земли это что-то страшное, неведомое... Взглянул — и тоже бросил с ужасом... «Чур! чур! чур! ох, Господи...».

Другой нагнулся и поднял... «Свят-свят!.. Аминь».

— Да это нос, братцы!

— И с усом... с черным усом, господо.

— Нос! нос!.. Чей нос, братцы? У кого носа нету?

— Есть! есть... У всех, чу, носы при себе...

— И губы, братцы, под усами...

— Ай-ай! Откелева нос, господо?.. Чей нос? Чьи чубы?

— Отрезаны... вон и кровь присохла... запеклась кровь

— Ворон принес с поля... московской нос...

— А, може, наш, новгородской... Ах, Господи! Помилуй нас!

Действительно, отрезанный с губами и с усами страшный, с запекшеюся кровью нос переходил по вечу из рук в руки.

Что-то ужасное представлял этот кровавый кус человеческого лица... Откуда этот страшный лохмот, эта жалкая часть неведомого мертвеца?.. Ясно, что с поля битвы, что ворон принес его оттуда, пресытившись трупами... Но кто отрезал? у кого? Чья рука поднялась на такое неслыханное злодеяние?..

«Карр! карр! карр!» — слышалось над головами.

— Отдайте ему, отдайте ворону, вон он как плачетца на нас...

— Как отдать! Хрестьянско-то мясо — тело человеچه.

«Карр! карр! карр!» — несло с воздуха что-то злоещее.

Вдруг сзади послышались новые крики, вопли, стенания... Женские голоса перекрикивали всех — они выли в истошный голос, выли до неба, раздирали душу...

Марфа-посадница, которая, отыскав в толпе своего сына Димитрия, еще бледного, но уже оправившегося от ударов рогатин и сулиц у Коростыня, обнимала и целовала его, услышав эти вопли, опустила руки и смотрела на толпу испуганными глазами... Посадник, стоя на помосте впереди концовых старост и тысяцких, ждал чего-то еще более ужасного, стараясь через головы толпы рассмотреть, что там еще случилось?.. Какая новая беда?.. Не Москва ли обступила Новгород?

Толпа отхлынула в разные стороны, и глазам всех представилось страшное, непонятое, непостижимое зрелище... «Что это? Кто? Что у них на лицах?..».

Вопли и стоны все усиливались. Стонал весь Новгород.

— Злодеи! Душегубы! Матушка Софья святая! — кричал с колокольни вечный звонарь и рвал свои жидкие, седые волосы. — О, злодеи адовы!..

К вечернему помосту приближались какие-то страшные люди... Да, это люди... Но лиц их не видать... Видна запекшаяся черная кровь... Иные лица обернуты кровавыми тряпками... На иных видны только глаза — о! какие глаза!.. На других белеют зубы, ничем не прикрытые — без губ, без усов... Все это обрезано — и губы, и носы... Видны только глаза и белые зубы, да тряпки, да черная кровь... Все в пыли, худые, страшные, без доспехов, босы, полунагие...

Это были новгородцы, отпущенные москвичами с коростынского поля после дьявольской операции над беззащитными пленными... Они добрались-таки до родного, вольного города, но не все, далеко не все...

Остромира, безмолвная и бледная, дрожа как осинный лист и держась за мать, искала кого-то растерянными глазами в этой толпе страшных пришельцев... Но как узнать того, кого

она искала?.. Где его лицо, где его ласковая, игривая улыбка?..

Но она узнала его — не его, нет — его не было, а она узнала его глаза, одни глаза... А под глазами не было его лица — не было его... Это не он — нет, и глаза не его... Это не он — это чужой кто-то...

«Когда ж свадьба?.. Но с кем?.. его нет... это не он — лица нет, не он, не он...»

И он узнал ее... Его глаза увидели ее и сказали это — глаза сказали — страшно говорят глаза без лица... Страшные глаза, ужасные... Ох, как они говорят, как смотрят на нее страшно...

И зубы белые под черною пропастью, где прежде был нос, зубы ослабились на нее.

«Не Павша... не он... страшный, ох! страшный!..».

Она подняла глаза к небу, только бы не глядеть на него, не видеть страшных глаз и белых, ничем не прикрытых зубов.

«Не его глаза... не бывать свадьбе... не он... не он... Глаза без лица...»

Она увидела вечерую колокольню... колокольня шатается... Кто-то рвет там на себе волосы... Каркает и кружится ворон... кружится колокольня, шатается, небо кружится и шатается... И колокольня, и небо, и солнце упали...

И Остромира упала, как подрезанный косою аленький цветочек...

ХII. ПЕРЕВЕТНИЦА

Прошло около трех недель после битвы у Коростыня и после того, как отважнейшие из новгородцев, в пылу этой битвы врезавшись в ряды москвичей, частью пали там же на берегу Ильменя под ударами московских мечей и сулиц, частью попались в плен и воротились в Новгород злодейски обезображенные.

Над Ильменем не то ночь, не то прозрачные сумерки. Нет, это ночь... Где-то петухи поют...

- Третьи алекторы поют — утро скоро.
- Каки, баушка, алекторы?
- Кочета... по церковному алекторы.
- Я, баушка, питушка слышу.
- Ну, ин питушок... А ты-ко гребь гуще.
- И то, бауныка, густо — не прогребешь инда.

— Догоняй ночь-ту — ишь уходит... третьи алекторы... должно, в Коростыне... Догоняй, догоняй ноченьку-ту.

— Ее, баунька, теперь не догнать — скорее день нагоним, солнушко.

— Ну-ну, гребни, близко берег.

— Точно, берег... Ух! страшно...

— Чево страшно?

— Тутай наши с Москвой бились, мы с Гориславонькой сами видали.

Лодка пристала к берегу. Из лодки вышла старуха, уже знакомая нам кудесница. На берегу она остановилась и огляделась кругом: что-то желтелось и белелось по берегу, точно кости, разбросанные на месте, где лежала пададь. То и были кости — кости новгородцев, павших на этом месте три недели назад... Кое-где при слабом мерцании зари виднелось, как среди костей шевелились какие-то живые фигуры, только не люди... Слышно было, как что-то хрустело... Это лисицы из соседнего леса догрызали новгородские кости... В воздухе стоял запах мертвечины...

— Го-го-го-го! Ту-ту-ту-ту! — глухо прокричала старуха.

Тени, возившиеся около костей, бросились в рассыпную, не произведя ни малейшего шума, точно в самом деле это были тени, а не живые существа...

— Фу-фу-фу-фу! новгородским духом завоняло.

Лодка, в которой оставался гребец, отплыла от берега.

— Куда ты, Петра?

— Страшно там, баушка.

— Страшно... они уж без зубов... одни кости — не кусаются...

— Я тутай побуду, баунька, на воде — не далечко.

— Обглодала новгородски косточки Марфа.

Из-за пригорка выросли две человеческие фигуры с сулицами и рогатинами. Появление старухи их, видимо, озадачило.

— Кто идет?

— Кто идет — тот и идет.

— Кто ты? Сказывай.

— Я сказываю.

— Имя сказывай... Кто костям покою не дает?

— Лиса да ворон, да серый волк.

— А ты сама кто? Сказывай, не то рогатиной... Кто ты?

— Я — баба-яга, костяна нога.

— Чур! чур! чур! с нами хрест святой...

— И со мной.

Пришедшие со страхом попятились назад, несмотря на свои рогатины и сулицы.

— Нечистая сила... чур! чур! чур!

— Не чурайтесь, добры молодцы... Третьи петухи пропели...

Пришедшие остановились в нерешительности... В самом деле — третьи петухи давно пропели: теперь нечистой силы не должно быть... скоро солнце выглянет...

— Кто-ж ты будешь? — заговорили они опять.

— Про то я скажу вашему старшому.

— А кто наш старшой?

— Князь Данило, князь Дмитриев сын, Холмской.

— Правда... Старуха правду говорит.

— Так ведите меня к нему.

— За коим делом?

— Это дело не ваше и не мое... Вы сторожа московская? ратные?

— Сторожа... А ты сама откуда?

— Из воды да из земли...

— Фу, какая чудная старуха!

Ратные опять приблизились, хотя с той же нерешительностью. Они видели в старухе что-то необычайное, возбуждавшее страх.

— Ну, идите ж со мной, добры молодцы, — не бойтесь меня.

Она двинулась вперед, но запнулась за что-то и остановилась.

— Пфе! пфе!.. Кости, все кости!..

— Новгороцки, обглоданы, — подтвердил один из ратных.

Он нагнулся и отшвырнул ногою обглоданный зверьем и обклеванный птицами скелет. На скелете что-то блеснуло.

— Чур мое! Чур пополам! — разом вскричали оба ратника, бросаясь к скелету и схватывая что-то блестящее. — Чур пополам... Чур мое! Мое! Я первым увидал!

— Врешь! Я первый...

— А! Подрались вороны из-за кости... У! улю-люю!.. ату его! ату! — засмеялась старуха тихим старческим смехом.

Ратники продолжали возиться около скелета... «Мое! Отдай!...». «Нет, моя! Гривна золота — моя!»

— Стойте! Стойте, добры молодцы! Не деритесь... Подувайтесь лучше, а то померяйтесь на рогаatine — кому до-станется.

Но гривна, висевшая на скелете, не снималась — шейные жилы еще оставались целы — череп не был отглодан от остального скелета...

— Ишь, черт, держит, не пушает...

— А вот я его топором.

И топор отделил череп от скелета. Гривна снялась с мертвеца.

— Как ее раньше не сняли наши ребята?

— Да он, должно, в кусте лежал — так зверье уж кости выволокло из куста... Наше счастье... Что-ж, давай дуванить пополам...

— Нет, на рогатине приметнем — кому... Баушка правду бает...

— На рогатине, так на рогатине... Берись за конец...

— Ты берись — у тебя в руках гривна.

— Ну, ладно, на — перехватывай.

Первый ратник взял правой рукой конец рогатины, и, держа ее торчмя, протянул к другому: «Перехватывай...» Этот также перехватил древко рогатины как раз у самой руки первого, вплотную. Затем опять таким же образом перехватил первый, потом опять второй, и они чередовались перехватами до тех пор, пока рогатины, у ее острого с железным острием конца, не осталось на один перехват. Этот последний перехват выпадал на долю второго ратника. Он крепко захватил рукою острие рогатины...

— Удержишь? Нуко-сь...

— Удержу-ста... видывали — не впервой.

— Ту, а через голову перекинешь?

— Перекину-ста... Лови за хвост свою рогатину!

— Добро, кидай... У-ух!

Но рогатина, у которой древко было очень тяжелое, а острие тонко, при размахе, при усилении перекинуть ее через голову, выскользнула из руки ратника и ударила его по лбу...

— Ах, дьявол!

— Что, угораздило? Вот тебе и гривна.

— Не задача добру молодцу — не вывезла кривая, — улыбнулась старуха.

Это был народный способ гадания или жеребьевки: кому при перехватах рукой палки или рогатины, или даже длинной соломинки или камышинки, кому выпадал последний перехват в подобной жеребьевке — тот выигрывал, но только если этот последний перехват приходился на такой остаток перехватываемого предмета, что тот, кто обхватил рукой этот остаток, в состоянии будет удержать одной рукой всю палку или ро-

гатину, и не только удерживать за этот остаток, но даже перекинуть через голову.

Второй ратник не мог этого сделать — и терял право на находку. Но он не хотел расстаться с такой дорогой вещью, как гривна, и начал спорить, требуя дувана...

— Ну, полно-ка! — перебила их старуха. — Ведите меня к князь Даниле — он нас рассудит, а то к тиуну ступайте.

— Что нам тивун! — наплевать-ста... Мы на походе...

— Так идите к князю... Скоро солнышко выглянет... Мое дело нужное — не терпит — великое дело... Прощайте, косточки, — почивайте до страшной трубы...

И старуха, сопровождаемая ратниками, пошла по направлению к Коростыню, бормоча про себя: «Много, много костей... а еще больше будет скоро...».

С возвышения, на которое они взошли, открылась равнина, кое-где поросшая мелким лесом, и, словно белыми концами, усеянная большими и малыми шатрами. По сторонам паслись табуны коней, виднелись везде группы и кучи сидевших кругами, лежавших на земле и бродивших в беспорядке людей. То там, то сям дымились костры, посылая к утреннему небу беловатые клубы дыма, который, поднимаясь выше и рассеиваясь в воздухе, делался все розовее и розовее по мере того, как розовела восточная окраина неба.

Скоро стали попадаться ратники, кто с оружием, кто с уздой в руках, кто с вязанкою свежей травы или хвороста. Слышалось ржание лошадей, доносились возгласы и смех.

Чем ближе к шатрам и кострам, тем больше встречных.

— Где, братцы, закопали ведьму? — слышались оклики.

— Али она, ведунья, ратных коней доила?

— Баба-яга — костяна нога в ступе прилетела, метлой погоняла.

— А где метла?

— Да вон у тебя на подбородке, рыжая... Ха-ха-ха!

— Подавись ты яйцом на Пасху, дьявол!

Подошли к большому полосатому шатру — полоса белая, полоса зеленая, полоса красная, наверху золоченое яблоко. У входа стоят часовые, опершись на алебарды.

— К воеводе?

— К воеводе.

— Али языка привели?

— Должно, языка... К воеводе доложитца сказывает...

— На духу, значит?

— На духу как есть...

— Пущать никого не указано...

В этот момент пола шатра отмахнулась, и оттуда вышел низенький человечек в боярском кафтане с золотыми шнурами. Рыжая с проседью бородка и седая с пробором голова. В лице и в глазах что-то сухое, постное, черствое...

Часовые подобрались, сверкнули алебардами и глазами, придав своим лицам выражение собаки на стойке.

Черствые глаза глянули на старуху. Они встретились с такими же черствыми, холодными глазами последней, и словно застыли...

— Тебе кого, бабушка?

— Воеводу — князь Данилу.

— Я князь Данило Холмской... А ты кто?

— Я ворона из Новагорода.

— А почто прилетела, старая карга?

— К худу каркать...

— Ну, старая, мне с тобой не в засидки играть... Сказывай дело — а то на осину!

— Я осины не боюсь, пока жива...

Старуха порылась у себя за пазухой и вынула оттуда что-то завернутое в тряпочку. Развернув тряпку, она показала воеводе что-то блестящее. Тот отшатнулся, словно его обожгло...

— Знаешь это? — спросила старуха.

— Знаю... Так ты?... постой — не сказывай, — заторопился воевода, — иди за мной — там скажешь...

И он, распахнув полы шатра, вошел в него. Старуха последовала за ним.

— Ну и бес, баба — ах! — неволью прошептал часовой, все еще сохраняя положение собаки на стойке. — Самого воеводу испарила — н-ну!

ХIII. ШЕЛОНСКАЯ БИТВА

В тот же день, после таинственного посещения загадочной старухой князя Холмского, московское войско, стоявшее у Коростыня, снялось с поля и потянулось на запад, к реке Шелони.

Впереди главной рати во все концы рассыпались небольшие загоны касимовских и мещерских татар, в качестве разведчиков, и словно собаки ищейки обнюхивали, казалось, самый воздух, чтобы разведать, не пахнет ли где поблизости новгородскими ратями. Хищники по инстинкту, воспитанные на исторических традициях отцов и дедов, которые с своими

баскаками, темниками и пардусниками более двух столетий волками рыскали по русской земле, собирая черный бор и всякую дань, татары умели выслеживать свою добычу и нападать на нее врасплох, в такой именно момент, когда нападение всего менее ожидалось. Если им нужно было словить языка, то они так ловко издали закидывали волосяной аркан на шею жертвы, что та не успевала даже пикнуть, как ей забивали рот кляпом, связывали по рукам и ногам, прикручивали к «торокам» или перекидывали через спину лошади, как переметную суму, и исчезали с ней.

Пока главные московские силы двигались к Шелони, татарские загоны уже успели, незаметно ни для кого, пробраться к этой реке и нашли именно то, чего желали. Новгородские рати, развевая в воздухе знаменами с изображением на цветных и золотых полотнах Богоматери и угодников, двигались левым берегом Шелони по направлению к Пскову, который они хотели прежде всего наказать и разгромить за отложение от воли «старшего брата» своего — Новгорода Великого — и за союз с окаянною Москвою. Это было конное новгородское войско. Пехота же плыла в насадах по самой Шелони и далеко отстала от конницы.

Татары заметили это и сообщили тотчас же Холмскому. Сухое лицо князя передернулось нехорошею улыбкой, а жесткие глаза просветлели.

— А много их, изменников, царь Демьян Касимович? — спросил он касимовского царя.

— У-у! минога... видим-нэвидим... ай-ай-ай как минога! — отвечал царь Дамиан Касимович.

— Тем лучше гораздо, царь, — улыбнулся князь Данило все тою же недоброю улыбкой.

— О! тэм лучи, тэм лучи! Якши... у-у, якши!

— И конники и пешие

— И лашадям минога, и лоткам минога — у-у! видим-нэвидим!

— Добро... Похваляю тебя за службу, царь Демьян Касимович.

— Рады постарались, воевода... Какой халат на них — все залатой, все залатой! у-у!

— И то добро — посдираете халаты-те с них.

— Поздирай, бесперемэн поздирай...

К вечеру 13 июля, в субботу, москвичи, приблизившись к Шелони, могли уже ясно различать, как по ту сторону изменным берегом двигались новгородские конные рати, блестя на солнце золотом знамен и сталью доспехов и шоломов. Ско-

ро оба войска так сблизились, что могли уже различать лица неприятелей, масть их коней и цвета платья, слышать голоса и бряцание доспехов.

Более молодые и здоровые из новгородцев, подъезжая к берегу, грозили москвичам оружием, бросали через реку крепкие слова и похвалки. Москвичи отвечали еще крепче «московскою речью», крепкою, как сыромятный ремень, и узловатою, как кнут московский, — этого словесного «матерного товару» у Москвы всегда было довольно, так что и татары научились у них сему много предложному красноречию с перцем. Одного не могли снести москвичи — это того, как новгородцы «лаяли, износя хульные словеса на самого великого князя...».

— У! вы окаянные! Бабники! За бабим, за Марфутыным хвостом, треплетесь.

— Эх вы, косолапые медведи! Решетом месяц ловили, кнутом на обухе рожь молотили.

— Пошехонцы московски! Меж Москвой и Клином князя потеряли.

— Промеж трех сосен заблудились.

— На Марфуткиной косе бы вам повеситься, окаянные!

Между тем подоспела ночь, и хотя заря не сходила с неба до утра, однако около полуночи сделалось настолько темно, что ни москвичи не могли видеть движения новгородского войска за рекой, ни новгородцы, остановившиеся на ночлег, не могли заметить, что не все московское войско расположилось на ночевку. Если бы взоры новгородцев могли проникнуть хотя за версту вверх по Шелони, то они увидели бы, что там, за леском, в ложбине, происходило какое-то таинственное движение, что вдоль правого берега река покрылась там какими-то темными массами, что массы эти тихо, беззвучно, тянулись все выше и выше, окутывая берег какою-то живою опушкою. Если бы они могли различить это в полусумерках северной июльской ночи, то, вероятно, различили бы и то, как эти темные тени целыми массами, так же тихо и беззвучно, медленно-медленно сползали с берега к самой Шелони, как от них темнела и пенилась вода в реке, как что-то иногда фыркало в воде, как эти темные тени все более и более затемняли собою поверхность реки, медленно подвигаясь к левому берегу, как эти тени выползали из воды и встряхивались, все более и более покрывая собою уже не правый, левый берег Шелони. Они увидели бы, что на их берегу что-то выростало точно лес, и живой лес этот двигался все далее, оставляя за собой

Шелонь и расположенное на другом берегу московское войско. Если б они могли прислушаться, припав ухом к земле, то, быть может, услышали бы, что земля как бы не спит, а что с нею что-то делается, словно бы под нею или над нею что-то двигалось и как бы гудело — не то вода где-то под землею шумит, не то Ильмень с ветром разговорился, и его глухой говор сообщался берегам, а берега передавали этот говор Шелони, и она доносила его до ратного, крепко спящего новгородского поля. В тишине ночной они, быть может, уловили бы какие-то непонятные, шепотом кем-то произносимые слова — «Алла... ляиль-Алла... расулы». Точно шепталась осина с березой, точно береговая осока с камышом осторожно перешептывалась, — и потом все смолкло, только иногда робко просвистывала ночная птичка пастушок, да иногда глухо выстонывала в камышах бессонная выпь-птица, да тяжело дышал иной конь, вытянувшись на росистой траве и засыпая чутким, коротким сном...

Только один человек в новгородском стане все это слышал и догадывался, с кем это земля глухо разговаривала ночью порою. Недалеко от потухающего костра он лежал на земле, завернувшись в охабень и опершись затылком на кожаную подушку брошенного на землю седла. На лицо его падал слабый красноватый свет от костра и, казалось, золотил его бороду и голову с густыми волосами. Он лежал с открытыми глазами и глядел задумчиво на небо и на бледные, мигающая звезды.

Это был Упадыш. Ему не спалось, но много думалось. Он думал о Новгороде, о последних событиях, о неведомой грядущей судьбе своего родного города, и более — о своей собственной судьбе.

Горькая была его судьбина. Сирота, без роду и племени, чужой выкормыш, он всем вышел — и умом, и красотой, и молодецкой поводкой, только не выпало на его долю счастья в жизни. Что бы он ни делал, как ни были заметны его подвиги и личная храбрость во время неладов с соседями — он оставался в тени, как сирота, не могши выставить в своем прошедшем ни «почестного роду», ни отеческого имени... «Упадыш безродник» — вот и вся его слава... Он умел говорить, и на вече его любили слушать, особенно худые мужики вечники, как он громил житых людей и их неправды, и посадники и тысяцкие обходили Упадыша, предпочитая ему какого-нибудь губошлепа, Марфина сынка, Федюшку гугнявого... Везде ему была незадача... Спознался Упадыш во время весенних игрищ на берегу Волхова, в одну из радуниц,

или в Ярилин праздник, когда, по старине, парни обыкновенно «умыкали девиц у воды» — спознался Упадыш с боярскою дочерью, полюбил ее, душу всю в нее вложил, полюбил пуще Новгорода, пуще славы молодецкой, пуще будущей жизни, и она полюбила его... Свыкались целое лето, сходились в ее саду по ночам в тени черемух... Что было тут счастья, тайного, никому неведомого!.. И все прахом пошло... Силком отдали Грушу за Марфина сына, за Дмитрия, и стала сохнуть Груша, и стала таять по Упадыше... И на сынка своего, на Исачку, прижитого от немилого мужа, она глядеть не хотела, утопиться думала, так на мосту перехватили, как она собиралась броситься в Волхов.

А Упадыш с горя ушел в ушкуйники, подобрав себе партию отчаянных голов... Девять лет ушкуйничал — и по морю громил бусы корабли, и по Двине гулял, и по Волге вплоть до Астрахани, а все не размыкал тоски.

Воротился... Опять виделся с Грушей тайком... Годы не отняли у них того, что дала им когда-то радуница — пуще окрепло... Новгород по-прежнему не любит Упадыша... Обозлился, окаменел Упадыш...

Нет, не окаменел — к Новгороду только окаменело его сердце...

Не окаменел... Он чует, как бьется под охабнем его сердце... И тогда так же смотрели на него — нет, на них — так же смотрели эти звезды, когда на радуницу, десять лет назад, они сидели под ракитовым кустом на берегу Волхова, недалеко от старых каменоломен...

Там теперь эта кудесница и ее белоголовая Горислава... Бедная... А кудесница все сделала, что обещала... Недаром придвинулись московские рати, недаром ночью земля глухо с кем-то разговаривала — вон там, выше, за леском...

Здесь и Дмитрий, муж Груши — оправился после Коростыня... Оправится ли на Шелони?..

Как стонет выпь!.. Чего она по ночам стонет?

А как и Дмитрий воротится в Новгород, как те все, как и Павша Полинарьин — воротится без носа и без губ?.. Без головы разве?.. Не воротится ему... это будет не Коростынь...

Куда же девались звезды?.. Ни одной не осталось на небе, и небо стало каким-то темным, темным...

Неужели это такие птицы большие летят по небу?.. Все небо покрыли и летят так низко-низко, что, казалось, от махания их крыльев волосы у него на голове шевелятся...

Что это?.. Какие большие головы у этих птиц...

Вот одна надлетела над самый костер, взмахнула крыльями, костер вспыхнул от веянья крыльев и осветил голову птицы... Это человеческая голова, только без носа и губ... Видны только глаза и белые зубы, и глаза эти смотрят на него, Упадыша...

Все летят, все машут крыльями эти птицы с человеческими головами, а костер разгорается все больше и больше.

Как страшно глядят на него эти глаза, а головы кивают с укоризною: «О, Упадыш! Упадыш! Лучше бы тебе не быть в утробе матерней, чем быть предателем Великого Новгорода».

Это не выпь стонет — это стонут головы на птичьих крыльях: «О, Упадыш, Упадыш!...».

Кто-то тихо поет... Это голос... Какой грустный напев...

Почто ты, калина, не так-такова,
Как весеннею ночью была?..

Да, тою весеннею ночью, на радуницу, давно-давно... Все прошло — одна память осталась

«О, Упадыш, Упадыш! — это, кажется, вздыхает сама земля, не то воздух. — Лучше бы тебе не быть в утробе матерней, не родиться на свет божий...»

Так нет — родила его сука мать, родила как щенка, и как щенку не дала счастья-доли...

Кто это ходит по полю, меж сонными? Чего ищет эта темная фигура, нагибаясь над спящими новгородцами?.. Одних она крестит, мимо других так проходит... Вот она все ближе и ближе подходит к костру... Костер освещает темную чернеческую монатью и сухое, бледное лицо...

Это Зосима Соловецкий... Он глядит на Упадыша и с укором качает головой... «О, Упадыш, Упадыш!...».

А над головой его, казалось, все небо двигалось к западу, и восточная половина его становилась все светлее и светлее...

Вдруг раздался удар вечаевого колокола. Упадыш вздрогнул — и проснулся... Костер давно потух, на востоке занималось утро, аело небо и небольшие легкие облачка...

Упадыш приподнялся. Все еще спало кругом, но за Шелонью, в московском войске виднелось уже движение.

Упадышу вдруг страшно стало. Ночные грезы и ужасы не выходили из головы... «О, Упадыш! Упадыш!...».

Что там делается?.. Московское войско построилось уже в ряды... Впереди виднеются воеводы... Все на конях — на коне и князь Данило Холмский... Он что-то говорит... Если б Упадыш мог слышать через реку, он услышал бы следующее:

— Братие! — обращал Холмский к воеводам свои жесткие глаза. — Мера нам теперь, братия, послужить великому князю, своему государю, и биться с ними, — он указал через Шелонь, — за осудареву правду, хотя бы их и триста тысяч было... Бог и Пречистая Богородица ведают, что правда нашего государя перед нами...

— Положим наши головы за государеву правду! Утрем поту! Ляжем костью за великого князя, государя нашего! — разом воскликнули воеводы расправляя бороды и звеня доспехами.

Потом Холмский снял шлем с головы, на которой густо засело серебро седины меж золотом рыжих волос. Он глянул на большой стяг с изображением воскресшего Спасителя... Все московские ряды обнажили свои головы и тоже воззрились на главный стяг...

— Господи, Иисусе Христе! — скрипучим, но здоровым голосом выкрикнул Холмский, так что голос этот прошел по рядам. — Боже, пособиный кроткому Давиду победить иноплеменника Голиафа и Гедеону с тремя стами одолеть множество иноплеменных! Пособи, Господи, и нам, недостойным рабом твоим, над сими новыми отступниками и изменниками, восхотевшими покорить православную веру хрестьянскую и приложить к латынской ереси, и поработить латынскому королю и митрополиту, и поминать имена врагов твоих, Господи, в твоей соборной церкви.

Он размашисто перекрестился, колотя пальцами в стальные латы и в наплечники. Невообразимый гул, скрип, звяк и какой-то стон был ответом на речь главного воеводы — это молилась бранная Москва, широко размахивая в воздухе руками, стуча и гремя шелочами и доспехами... Это был шепот смерти, которая веяла в воздухе невидимыми крыльями, навевала холод на душу, проходила морозом по спине... Заскрипели знамена при движении древков — и потом как бы все замерло...

И за Шелонью все пришло в движение. Строились ряды, слышались возгласы, ржание коней, бранные окрики, которые доносились до москвичей.

— Вперед, молодая братия!

— Вы вперед, старший! Вам место впереди — как в церкви, так и тутай!

— Вы легче нас, молодчии, — идите!

— Легче! То-то легче! Мы испротерялись доспехом и конями... Мы голые! Так ступайте вперед вы, богаты и нарядны! Вам честь и место!

Упадыш стоял в отряде Димитрии Борецкого и тревожно прислушивался к этим возгласам. Горькая улыбка скользила по его бледному лицу...

— Господо и братие! — накрывал всех металлический голос вождя новгородцев, князя Шуйского-Гребенки, который скакал между рядами с обнаженным мечом. — Постоим за святую Софию и за волю новгородскую... А оже кто тыл покажет, богатый и старший, ино того дом и животы отдам молодчим на поток и разграбление... Вперед! Пейте, братия, кровавое пиво московское!

«Раньше бы было думать о молодчих, — горько усмехнулся на эти слова Упадыш, — нами, молодчими, а не старшими, держалась воля новгородская, нами она и кончится...»

Пробежал ветерок по новгородским знаменам, и они закричали у огорлий древков... «О, Упадыш, Упадыш!» — слышалось ему в этих, звуках...

Вдруг московский берег Шелони закричал тысячами голосов...

— Москва! Москва! Москва! — гремел в утреннем воздухе московском боевой клич — «ясак».

— Господо и братие! — звучали в этом кличе голоса воевод. — Лучше нам здесь положить головы свои за государя своего, великого князя, чем со срамом возвращаться!

— В воду, братцы! В Шелонь... го-го-го-го, — стонали москвичи — и ринулись в Шелонь.

Как в котле закипела вода в новгородской реке от множества ринувшихся на нее московских коней... Казалось, Шелонь остановилась... Слышен был невообразимый шум и плеск воды, ревели голоса всадников, фыркали кони... Не стало реки перед новгородцами — вместо реки двигались на ее берег массы лошадиных тел, морд, фыркающие ноздри, сверкающие мечи и шеломы и дико ревущие глотки: «Москва! Москва!..»

— Святая София и Великий Новгород! — грянуло с новгородского берега.

— За Коростынь, братцы новгородцы! За сором коростынский! — бешено ревел богатырь-рыбник, знакомый уже нам Гюрята, оправившийся после побоев коростынских и кое-как добравшийся до Новгорода целым и невредимым.

— За носы да за губы, братцы! — кричал и тщедушный «пидблянин», раздобывшийся коньком и смотревший теперь совсем казаком, только без усов и чуба.

— В Шелонь их! Коли! Топи!

Сшиблись передние ряды. Застучали шеломы и латы, поражаемые сулицами и рогатинами. Положение новгородцев

было выгоднее — они напирала с берега вниз и опрокидывали москвичей в воду. Передние ряды, падая в воду, расстраивали последующие ряды. Латники, выбитые из седел и падавшие в воду, изнемогали под тяжелыми доспехами и захлебывались в мутной реке, уже окрашенной московской кровью.

— Пруды Шелонь московским собачьим телом! — неистовствовал Гюрята, все опрокидывая на пути.

— Вот вам за носы! Вот вам за губы! — пищал за ним и «пидблянин», одною рукою держась за гриву коня, а другою — размахивая сулицей.

Московские задние ряды словно задумались, дрогнули, попятились... Дрогнул и стяг воеводский, зашатался в воздухе...

— Господо, воеводы и братие! — неистово прокричал с берега Холмский. — Первого, кто покажет лицо свое заднему ряду, колите на месте!

Но новгородцы напирала все более и более... Хмурое лицо Холмского зеленело, и он подымался на стременах, чтоб разглядеть, что делается там, за новгородскою ратью... Но там не видно было того, чего он ждал...

И Упадыша нигде не видать. Димитрий несколько раз оглядывался, ища его глазами, но его не было... «Не убит ли?..»

Нет, он не был убит. В пылу общей схватки он незаметно исчез из рядов и, выскочив в поле за небольшой лесок, поднял вверх свое копье, на котором развевался красный платок. Брови его были сумрачно надвинуты на глаза, горевшие лихорадочным огнем, как будто бы то, что он оставил позади себя, или то, что он сам делал или что еще должно было последовать, причиняло ему невыразимые мучения...

— Сатано! сатано! Тебя кличу! Что ж ты не идешь? — со стоном прошептал он.

Красный плат его продолжал трепаться в воздухе, а он все глядел вдаль...

Вдруг в этой дали что-то, словно огромные птицы, зареяло в воздухе... По небу трепалось что-то желтое, хвостатое, трепалось в разных местах... Послышался глухой топот множества конских копыт... Упадыш схватился рукою за сердце...

— Совершилось... О, Каин, Каин! — простонал он.

Желтые хвостатые полосы все ближе и ближе... Видно, что это знамена, но не христианские: на желтых полотнищах видны полумесяцы, золотые и белые. Это татарское войско — это московская засада...

Татары обскакали лес, скрывавший их от новгородцев, и с воплем, воем и гиканьем понеслись на последних, когда они

уже почти всех москвичей, во всю длину битвы, успели опрокинуть в Шелонь...

Страшное алакаканье с тылу заставило новгородцев оглянуться. Они увидели позади себя что-то непостижимое, ужасное: эти желтые, трепавшиеся в воздухе полотна, эти нехристианского вида, несущиеся на них и алакающие дьяволы в остроконечных меховых шапках, эти развевающиеся над ними на длинных древках лошадиные хвосты, не человеческий, а какой-то звериный говор, непонятные слова, непонятные выкрики, изрыгаемые этими дьяволами, — все это вселило немой ужас в новгородцев, думавших, что на них обрушились сами дьяволы...

При появлении этих дьяволов битва сразу замерла на всех концах... Новгородцы на мгновение окаменели: они не видели уже перед собой москвичей, видели только за собой нечистую силу...

— Татары! Татары! — раздалось, наконец, по дрогнувшим рядам новгородской рати.

Москвичи между тем оправались и снова запружали новгородский берег Шелони.

— Не по людям стреляй, братцы, — по коням! — кричал Холмский, появившийся на этом берегу с главным стягом.

— По коням бей! По коням! — разнесли его приказ воеводы во все концы поля.

Это были роковые слова для Новгорода, как, с другой стороны, роковым было появление татар в тылу. С одной стороны в воздухе свистали татарские стрелы и арканы, захлестывавшие новгородцев за шею, стаскивавшие их с коней и волочившие по земле, словно заарканенных баранов, с другой — московские стрелы, которые впивались в коней — и раненые животные приходили в бешенство от боли, становились на дыбы, выбивали из седел всадников или стремительно неслись назад, сбивая с ног еще не упавших, наскакивая на других коней, расстраивая и без того дрогнувшие ряды. Падали друг на дружку люди, лошади, верхние давили нижних, а затем сами падали; и их давили другие. Целые ряды сталкивались и падали, новгородцы давили сами себя, не видя нигде выхода, словно из пропасти, со всех сторон обложенной огнем и смертью. Щиты, копыя, доспехи — все оказалось лишним и бесполезным: приходилось или бороться с петлей, которая стягивала с коня и душила, или грызть ужасный аркан зубами, или выбиваться из стремени, ущемившего ногу, тогда как конь бешено перескакивал через трупы убитых, через головы раненых или через кучи брошенного оружия. Бросались

на землю щиты, доспехи, которые только мешали. Мешал и песчаный берег, в котором вязли ноги, искавшие спасения в бегстве.

Бежали все — и конные, и потерявшие коней, вооруженные и безоружные, здоровые и раненые, бежали, куда глаза глядят, лишь бы уйти от смерти, от этих удушающих арканов, от копий и стрел, от топоров и сулиц... Это было безумное, бешеное бегство... Новгородцы слышали только крик смерти, и им, обезумевшим от страха, казалось, что это с неба гремел страшный московский ясак: «Москва! Москва!» — и ужасное алаканье: «Алла! Алла!..».

«Господь, ослепи их! — восклицает московский летописец. — Поглочена бысть мудрость их». Несчастные бежали в леса, уходили и вязли в болотах, тонули в речках; раненые, истекая кровью, заползали в кусты, в чащи, и там, теряя последние капли крови, издыхали, как отравленные собаки; иных засасывала болотная тина... Те летели на конях, пока не падали кони и не издыхали вместе с придавленными и обесилевшими всадниками. Иных кони доносили до самого Новгорода, но несчастные, обезумев от страха и от всего виденного, не узнавали своего родного города и неслись дальше, мимо, сами не ведая куда и только слыша ужасное: «Москва! Москва!»

Вечевой звонарь видел с своей колокольни, как скакали мимо города неведомые всадники; но он не знал, что это были разбитые новгородцы...

Двенадцать тысяч новгородских тел покрыли шелонское поле, леса и болота на десятки верст кругом. Более полутора тысячи взяты в полон, в том числе и много воевод с боярами. Взяты были и знамена новгородские, и договорная грамота с Казимиром, и сам писарь, сочинявший ее в вечевой избе... А он еще так тщательно, с такими киноварными завитушками писал ее в назидание будущим родам новгородским... Нет, не судьба!..

Все покончили москвичи... К вечеру не достало кровавого вина — упились новгородцы и легли спать навеки... Спите, последние вольные люди несчастной русской земли.

А Москва и татары сошлись среди polegших сынов новгородской воли, радостно протрубили победу — и тут же стали прикладываться к образам, изображенным на отбитых у новгородцев знаменах... Радовались москвичи и татары — было чему радоваться!..

По другую сторону Шелони стоял Упадыш и видел все это... По бледным щекам его текли слезы...

«О, Упадыш, Упадыш! — отдавались в ушах его слова ночных видений. — Лучше бы тебе не родиться на свет Божий!..»

XIV. КАЗНИ В РУСЕ

— Мама! А мама!

— Чево тебе, дочечка?

— Скоро уйдут московски люди?

— Не ведаю, родненька, може, скоро, може, не скоро.

— Я есть хочу, мама.

— Знаю, дитятко. О-ох!.. Вот морошки малость осталось — пососи, дитятко, полегшае.

— Я хлеба хочу... молочка б... яичка....

— Нету, родная, ни хлебушка, ни молочка... Сама знаешь — хлебушко московски люди на корню потравили, а коровушку соби взяли... И курочек побрали.

— А за что они наш город пожгли?

— Так... Богу так угодно было... За то, что мы новгородской земли, а не московской.

— И тятку за это убили?

— За то же, дитятко, за то. О-ох!

Так, в виду разоренной и сожженной московскими ратными людьми Русы, разговаривали, прячась в соседнем лесу, остатки этого старинного новгородского пригорода — мать и дочь, небольшая, лет десяти девочка. Ужасное то было время! Москва шла наказывать Новгород за его вины великие — за то, то он был Новгород, что в нем жила вековая народная воля, что его порядки не похожи были на московские порядки, что он был богат и силен, что слава его далеко гремела за пределами русской земли и мозолила глаза Москве загрибистой, только что отбившейся от татар и их векового ярма и гнувшей под свое такое же ярмо другие русские земли, — за то, наконец, что Москве хотелось прибрать к рукам и разорить богатый Новгород, как она прибрала Тверь, Рязань, Нижний, — шла она на Новгород и опустошала, жгла, разоряла ничем неповинные перед нею города и селения новгородской земли, вытравливала и вытаптывала на корню их посевы, забирала из их закровов «жито и всякое болого», а закрома и избы жгла, скот и птицу, угоняла и съедала, население выбивала и уводила в полон, хотя оно и не сопротивлялось ей, да и не могло сопротивляться... Так поступила она и с Русой, старинным новгородским пригородом.

Что могло уйти от этого беспричинного, бессмысленного погрома — и ушло и попряталось по лесам и болотам; что не успело уйти — погибло...

Из числа ушедших были и эти две собеседницы, мать и дочь-девочка, которые давно уже скитались в лесу вблизи своего родного города, превращенного в груды пепла и мусора, питались кореньями, древесной корой, морошкой и другими, еще не вполне созревшими лесными ягодами, а теперь прибрели поближе к своему горькому пепелищу и украдкой смотрели из лесу на торчащие из земли обгорелые столбы от заборов и ворот, на уцелевшие трубы от сожженных домов, на кучи золы и угля, на колокольни и церкви родного города, пощаженные своими же, родными им варварами, тоже называвшимися христианами.

Смотрели они и на невиданные шатры, белевшие и пестревшие всеми цветами на месте разрушенного города и на примыкавшей к нему луговине. Около шатров сновали люди, блестело оружие, шлемы, знамена, паслись лошади и награбленный скот. По новгородской, по псковской и московской дорогам, шедшим из Русы, постоянно скакали какие-то всадники в шеломах, двигались чем-то нагруженные возы и колымаги, раздавались возгласы.

— А чья та, мама, больша палатка?

— Какая палатка, милая?

— Пестра — с золотом, точно церква.

— Не знаю, дитятко... Може, старшого ихнево, самого князя.

— А где мы зимой будем жить, мама?

— Не вем, родная... Може, до зимы помрем... к отцу пойдём...

Девочка тихо заплакала. Бескровное, изможденное лицо матери выражало глубокую скорбь.

Нынешний день, 2 июля, через десять дней после шелонской битвы, в московском стане, в Русе, замечалось особенное движение. Накануне прибыл в Русу сам великий князь с огромным обозом и боярами, а сегодня, рано утром, Холмский с частью своего войска (остальное продолжало разорять новгородские земли вплоть до Наровы, до ливонского рубежа) прибыл поклониться великому князю знатными новгородскими полоняниками и всем добром, добытым на берегах Шелони.

— Видишь, мама, — вон там каких-то людей ведут к большой палатке.

— Вижу, милая, должно, полоняников.

— Наших, мама?

— Наших давно увели, а коих тутай побили на смерть, вот как и отца... А это, должно, новгородцки полонянки.

Да, это было действительно так.

На площади разоруженного москвичами города разбита была великокняжеская палатка. Она была очень велика, так что казалась чем-то вроде собора, за которым стояли рядами, полукругом, другие, меньшие, палатки. Она имела как бы два яруса, из которых верхний кончался небольшим купольцем с золоченым на нем яблоком и восьмиконечным крестом. У входа в палатку стояли алебардщики.

Но великий князь был не в палатке, а сидел на особом возвышении, в резном золоченом кресле под балдахином, стоявшим перед палаткою, лицом к площади и уцелевшей от пожара церкви. С балдахина спускались золотые кисти, перехватывавшие богатую парчовую драпировку. Эта драпировка, защищая великого князя от солнца, которое в этот день особенно ярко светило, бросала тень на хмурое, матовое лицо Ивана Васильевича III, непреклонного «собираетеля русской земли», и выдавала особенный, холодный блеск серых глаз, сурово смотревших из-под меховой, широкой, с острым верхом, татарковатой шапки. По бокам его стояли отроки во всем белом и держали в руках секиры с длинными рукоятками. Бояре полукругом стояли около балдахина, а несколько впереди их, сбоку, у ступенек, стоял знаменитый грамотей своего века, тогдашний ученый и академик, архиепископский дьяк Степан Бородатый, отменным манером «умевший воротить русскими летописцы» — одним словом, наиученейший воротила и историк, знавший все провинности Господина Великого Новгорода не хуже современного историка сего злосчастливого града, почтеннейшего А. И. Никитского. У ног Бородатого (борода у Степана была, действительно, внушительная) — у ног этого бородатого ученого лежал кожаный мешок, наполненный летописями.

Странно было видеть это сборище молчаливых, угрюмых людей среди жалких пепелищ сожженного города. Зачем они сюда пришли? Чего им еще нужно после того, что они уже сделали?

На сумрачном лице деда Грозного и в холодных глазах, задумчиво глядевших на свежие следы пожарища, казалось, написано было: «Посетил Господь...». Ему, вероятно, искренно думалось, что это действительно Господь посетил, а не человеческое безумие...

Кое-где между грудями пепла перелетали вороны и, каркая, ссорились между собою из-за не совсем обклеванных костей.

Где-то впереди протрубили рога. Глаза великого князя глянули на церковь, потом опустились ниже и остановились на чем-то с тем же холодным вниманием... Из-за церкви что-то двигалось сплошною массою. Впереди и по бокам виднелись копья и еловцы шлемов. В середине — что-то бесформенное, какие-то волосатые головы, ничем не прикрытые, несмотря на палившее их солнце...

Ближе и ближе — видно, наконец, что это ведут связанных людей. Много их, этих связанных, очень много. Впереди — четверо в ряд. Руки связаны назад, на ногах кандалы. Это не простые люди — на них остатки богатого одеяния, но все оно исполосовано, выпачкано грязью и засохшею кровью. За ними — целое стадо перевязанных людей.

Откуда-то выбежала худая-худая — одни кости да кожа — желтая собака, вероятно, искавшая своего сгоревшего жилья или без вести пропавших хозяев, остановилась как раз против возвышения под балдахином и, подняв к небу сухую, острую морду, жалобно завывала, как бы плачась на кого-то... Бояре бросились отгонять ее... «Цыц-цыц!.. улю-лю, окаянная!..».

А связанные люди уже совсем близко — видны бледные, измученные лица, опущенные в землю глаза.

От передних латников отделился князь Холмский и, не доходя нескольких шагов до балдахина, поклонился в землю.

— Государю, великому князю Иван Васильевичу всея Руси, полоном новгородским кланяюсь, — проговорил он, не вставая с колен.

— Похваляю тебя, князь Данило, за твою службу... Встань, — громко и отчетливо проговорил Иван Васильевич.

Холмский встал. Пленники стояли с опущенными в землю глазами.

— Подведи начальных людей, — приказал дед Грозного, ткнув массивным жезлом по направлению к передним связанным.

— Приблизьтесь к государю, великому князю Ивану Васильевичу всея Руси, новгородские воеводы, — повторил приказ Холмский.

Стоявшие впереди всех четыре пленника приблизились.

— Кто сей? — ткнул жезлом Иван Васильевич, указывая на бедное лицо с опущенными на глаза волосами.

— Дмитрий Борецков, сын Марфы-посадницы, — был ответ Холмского.

— А!.. Марфин сын... помню, — каким-то странным, горловым голосом промолвил великий князь.

Дмитрий поднял свои большие, черные материнские глаза из-под нависших на лоб волос. Глаза эти встретились с другими, серыми холодными глазами и несколько секунд глядели в них не отрываясь... Кто кого переглядит?.. Кто? На лице великого князя дрогнули мускулы у углов губ, у глаз... А те глаза все глядеть... «Выколоть бы их... ну — ин и сами скоро закроются...». Что-то недоброе шевельнули в сердце великого князя эти молодые, покойные, молча укоряющие глаза...

— Марфин сын... Точно — весь в нее, — как бы про себя проговорил великий князь. — А как ты, Дмитрий, умыслил измену на нас, великого князя, государя и отчича и дедича Великого Новгорода?

— Я тебе не изменял, — спокойно отвечал Дмитрий, по-прежнему глядя в глаза вопрошающему.

— Ты, Дмитрий, пошел на нас, своего государя, войною и крестное целование нам, государю своему, сломал еси — и то тебе вина.

— Ты Великому Новгороду не государь, и креста тебе я не целовал... Господин Великий Новгород сам себе и господин и государь.

При этом ответе глаза великого князя точно потемнели. Правая рука вместе с жезлом дрогнула... Бояре как-то попятились назад, точно балдахин на них падал...

— Прибрать его, — едва слышно проговорили бледные губы.

Холмский повернулся к латникам. Те взяли Дмитрия под руки и отвели в сторону.

— Сей кто? — направился жезл на другого связанного.

— Селезнев-Губа, Василий.

Губа выступил вперед. Глаза его также остановились на глазах великого князя.

— И ты, Василий?.. Я знал тебя, — как бы с укоризной сказал Иван Васильевич.

Губа молчал. Полная грудь его высоко подымалась.

— Почто ты, Василий, вступился в наши старины? — допрашивал великий князь.

— Не мы, Господин Великий Новгород, вступились в твои старины, а ты нашу старину и волю новгородскую топтать хочешь... Али мы твои города жгли и опустошили,

как ты наши города впусте полагаешь? Кто за это даст ответ Богу?

И Селезнев, говоря это, обвел глазами окружающие развалины. Невольно и глаза великого князя последовали за его глазами.

— Кто это сделал?

— То сделали вы, отступив света благочестия.

— Али ты в нашу душу лазил?.. Благочестие!.. Это ли благочестие — кровь лить хрестьянскую!

В это время опять завывала близко собака.

— Слышишь?.. Это на тебя пес, бессловесная тварь, Богу плачется...

«Господи! За что же это!» — послышался стон в толпе пленников.

— Слышишь?.. а?.. И он, Господь, это слышит...

— Замолчи, смерд! — крикнул великий князь, стукнув жезлом о помост.

Холмский подскочил к дерзкому, чтобы взять его.

— Прочь, холоп! — осадил его Селезнев. — Топору нагну голову свою, а не тебе, холопу!

— Взять его!.. Голову долой! — раздалось с возвышения.

— Голову долой!.. То-то наши головы поперек твоей дороги стали, улусник?

Большой мастер был сдерживаться и притворяться «собиратель русской земли», однако и он тут не выдержал — швырнул в дерзкого своим массивным жезлом... Жезл угодил Губе прямо в голову...

— Собака!.. Отдать псам его мерзкий, хульный язык!

Латники бросились на Селезнева и увели его подальше. Холмский почтительно подал жезл разгневанному владыке.

— Кто там еще? — более покойным голосом спросил Иван Васильевич.

— Арзубьев Киприян, государь.

— А! Арзубьев — все латынцы.

Арзубьев молчал, но видно было, что это стоило ему большого труда.

— А сей кто?

— Сухощек Еремей, чашник владычней.

— И чашник приложился к латынству... до чего дошло.

— К латынству мы не прилагались, — тихо отвечал Сухощек.

Великий князь глянул на Бородатого, который смиренно стоял около своего мешка с летописями и беззвучно шевелил губами, как бы читая молитву.

— Подай, Степан, грамоту, — пояснил великий князь.

— Якову, государь?

— Казиминову.

— Бородатый порылся в своем мешке и, достав оттуда свиток, с поклоном подал великому князю. Тот дрожащими от волнения руками развернул его.

— Это что? — показал он грамоту Сухощеку.

— Не вижу, — отвечал последний.

— Князь Данило, покажи ему грамоту, — обратился великий князь к Холмскому.

Тот взял из рук князя грамоту и поднес ее к Сухощеку.

— Узнаешь?

— Узнаю, наша грамота с королем Казимиром, — был ответ.

Холмский снова поднес грамоту великому князю. В это время из толпы пленных чьи-то глаза особенно жадно следили за грамотой. Это были глаза вичевого писаря, писавшего ее... «Пропала моя грамота... и голова моя пропала... Ах, грамотка, грамотка!.. Как заставки-то я выводил со старанием, какова киноварь-то была... О, Господи!..»

— Сия грамота — улика вам и отчине моей, Великому Новгороду, — спокойным, ровным голосом продолжал великий князь. — В ней вы отступили света благочестия и приложились к латынству, вы отдавали отчину мою, Великий Новгород, и самих себя латынскому государю — и то ваша вина... Вы, Еремей Сухощек, и Киприян Арзубьев, и Василий Селезнев-Губа, и Димитрий Борецкой, вы подъяли на меня, государя своего и отчича и дедича, меч крамолы — и то ваша вина.

Все молчали. Слышно было только, как где-то в отдалении жалобно выла собака да, переметывая с груди на грудь пепла, каркали вороны.

— И за такую великую вину казнить сих четырех смертью — усечь топором головы, — закончил великий князь и дал знак рукою Холмскому.

Холмский поклонился и, отойдя несколько назад, обратился к взводу алебардщиков, сопровождавших пленных новгородцев:

— Ахметка Хабибулин!

— Я Ахметка.

От алебардщиков отделилось приземистое, коренастое чудовище с изрытым оспою лицом, с воловьей шеей и ручищами, бревноподобные пальцы которых, казалось, с большим удобством могли бы служить слону или носорогу, чем человеку. Маленькие, черненькие глазки его глубоко сидели под

безбровым лбом и смотрели совсем добродушно. На плече у него покоилась алебарда, топор которой представлял отрезок в три четверти длины и напоминал собою отрезок железного круга в колесо величиною.

— Знаешь свое дело? — кинул ему Холмский.

— Знай, бачка... Кесим башка, — улыбнулось чудовище.

— Ладно... орудуй... — Холмский указал ему на стоявших в стороне присужденных к обезглавлению.

— С котора начинай кесим башка?

— Вон с черненького... — Холмский вопросительно глянул на великого князя.

— С него, — послышалось одобрение с возвышения, и жезл ткнулся по направлению к Дмитрию Борецкому.

Ахметка подошел к нему, заглянул в немного наклоненное лицо и добродушно ослабил.

— Хады суды, хады, малой.

Он тихо тронул осужденного за плечо. Тот машинально повиновался и подвинулся к тому месту, где стоял Холмский.

— Ставай на кален — лавчей рубил, — дружески шепнул Ахметка осужденному.

Дмитрий глянул на великого князя. Глаза их опять встретились. Одни глаза не вынесли других.

— Лицом к церкви, — послышалось с возвышения.

Палач повернул осужденного лицом к церкви. Дмитрий глянул на нее, на крест... шевельнул руками, но руки были связаны за спиной... Он молча поклонился церкви. Потом поклонился своим землякам, напряженно следившим за каждым его движением. Когда он поклонился, длинные, вьющиеся волосы падали ему на матовый лоб, на глаза, на бледное лицо...

— Простите, господо и братие!

— Бог простит! Бог простит! — простонали все, кто был связан.

— Поклонитесь Великому Новгороду, коли живы будете.

— Поклонимся! Поклонимся!

— И святой Софьи... и Волхову... и вечевому колоколу... и воле новгородской...

— Поклонимся земно!

Он встал на колени и нагнул голову, чтоб выставить для топора свою белую шею... «Матушка! Матушка... Сыночек мой, Исаченько!..»

— Волосы откинь с шеи! — послышалось с возвышения.

Палач исполнил повеление — подобрал длинные волосы своей жертвы.

— Ворот расстегни, — снова голос с возвышения.

И ворот расстегнули... «Сыми крест!». И крест сняли.

Палач занес над головой топор... «Сычась канчал — закрой глаза», — дружески шепнул он.

«Тр-рах!..». Совершилось христианское правосудие... Отрубленная голова закрылась своими собственными волосами — и туловище ткнулось туда же, в общую лужу крови... Связанные со стоном ахнули...

На Селезнева-Губу ткнули жезлом... Тот вышел сам...

— Рязвяжи руки... я молиться хочу — я христианин...

Не развязали рук — не велели... «Прощайте, госпо- до!..» — «Бог простит!..»

Он вытянул вперед свою толстую, короткую шею...

— Руби так — я стоя хочу умереть, яко кадило пред Господом...

— Сыми крест! — это опять с возвышения.

Палач потянулся к шее осужденного...

— Не тронь, собака!.. Пальцы перегрызу... Я с крестом хочу предстать пред Господом... Секи так — с крестом руби...

Он расставил широко ноги, нагнулся... Пододвинулся ближе к трупу Димитрия...

— Рядышком... други искренние... породнимся кровью.

Холмский нерешительно оглянулся на возвышение.

— А язык после вырезать — собакам отдать?

— После, — отвечал сам осужденный, — живой не дам- ся.

— Руби! — стукнули жезлом по помосту, так что Боро- датый вздрогнул и попятился назад.

— Да смотри сразу, — подсказал осужденный.

— Волам шеям рубил — толщи твоей, — успокоил его Ахметка, — смотри — сам увидишь...

Увидел ли сам Селезнев-Губа, как его упрямая голова уда- рилась широким лбом об землю — об этом никакие историче- ские документы не говорят; но что он уже не видал, как рядом с его головою полегли головы его друзей — Арзубьева и Су- хощека, и как вырезанный из его мертвого рта язык бросили той собаке, которая все выла на всю Русу, — так это верно.

XV. И У ТЕБЯ РУКА ПОДНЯЛАСЬ НА НОВГОРОД?

С Шелонского поля почти никто не воротился в Новгород.

Вечевой звонарь рассказывал после, когда дошла до Нов- города весть о шелонском поражении, и люди находили на до-

рогах и в поле, дальше города всадников, валявшихся вместе с издохшими лошадьми, что в день шелонской битвы, к вечеру, он видел с своей колокольни много скачущих людей «аки изумленных», которые в безумии ужаса, по-видимому, не узнавали своего родного города и проскакивали мимо, чтоб умереть, не видав ни Новгорода, ни своих родных и близких...

Целую неделю пропадал потом «вечный ворон», с раннего утра улетая на Шелонь клевать новгородское мясо и возвращаясь поздно вечером.

Все это время звонарь бродил, как тень, предчувствуя новые беды и с тоскою поглядывая на своего неизменного любимца, на вечерней «колоколушко», и с досадой отворачивался, когда прилетал ворон, который от роскошной трапезы успел сильно оправиться.

— Ишь, подлый, подлый! Раздобрел на новгородском мясе, на хрестьянской плоти! — ворчал старик. — И глаза б мои не видали тебя, окаянного!

В городе не умолкали вопли и стенание. В каждой семье было кого оплакивать, и чем дальше, тем ужас положения всей земли становился очевиднее, зловещее. Днем, куда бы ни дотягал глаз с городских стен, видно было, как по всему горизонту, и с запада, и с востока, с полудня и с полуночи, к небу подымались черные тучи дыма, которые все окутывали мрачною дымкой, как бывало в те несчастные года, когда, по выражению летописцев, Бог посылал на землю огонь, и от этого небесного огня горела вся земля — леса и болота. Птицы даже не знали, куда лететь среди этой дымной мглы, и метались в воздухе, оглашая его криками. Даже вороны перестали летать за Ильмень, куда они каждое утро стаями направлялись после коростынской и шелонской битв и куда теперь боялись лететь за дымом, принимая день за сумерки, и «вечный ворон» по целым часам сидел на своей колокольне, нахохлившись и лениво ощипываясь.

— Человекоядец, человекоядец! — укоризненно качал на него головою старый звонарь. — Вот до чего дожили: новгородская земля горит — вся огнем взялась... А все за грехи...

По ночам огромное кольцо зарева, на десятки верст, со всех сторон — и с полуденной и с полуночной, с восточной и западной — охватывало Новгород, как бы огненным поясом опоясывая посады и пригороды несчастной столицы вольной земли. Это московские люди и татары, рассеявшись загонами по новгородской земле, жгли и опустошили ее, убивая «всяк мужеск пол», оскверняя «женское естество» и — что покрасивее, поблагообразнее — уводя в полон, а «сущих младенцев»

расшибая головенками о пни, камни, косяки, приворотные столбы, или живьем вметая в горящие избы, сараи, овины.

Не такое то было время, чтобы щадить воюемую землю и ее население. Не было тогда ничего, что теперь лицемерные законы войны придумали для возможного укрытия от глупого и доверчивого человечества всех ужасов освященного законами человекоубийства. Тогда было просто — не рисовались, не хитрили, не виляли хвостом перед теми, кого убивали или разоряли. Не было тогда ни сестер милосердия, ни красных крестов, ни походных лазаретов, ни санитаров, ни перевязочных пунктов, ни носилок и повозок для раненых, ни военных врачей, ни барачков, ни искусственных ног и рук — ничего такого, чем старается современное лицемерие замазать то, чего ничем замазать нельзя. Тогда не миждальничали с людьми, которых шли убивать или которых вели на убой и на убийство. Разоряй и пустоши страну, с которою воюешь или даже в которой воюешь, жги ее города и села, убивай, вырезывай ее население, кормись ее хлебом и ее скотом, ибо тогда не было ни интендантств, ни поставщиков на армию — такова была война в то «откровенное» время...

И московские люди «откровенно» воевали новгородскую землю.

Что успевало бежать из разоряемых городов, сел, близких и далеких пригородов Господина Великого Новгорода, то бежало в Новгород, заполняя собой и оглашая воплями все его концы, все улицы, площади детинец, Софийскую и торговую стороны; что не могло бежать — погибало или укрывалось по лесам и болотам, «по норам и язвинам, аки лисы, аки зверье, аки Сын человеческий, не имевый где главу преклонити...».

А дымный и огненный пояс все более и более затягивался, пожарное кольцо все суживалось, приближаясь к самому Новгороду.

— Видишь, окаянный! — словно помешанный обращался вечерой звонарь к своим единственным собеседникам — к ворону и к вечерому колоколу. — Видишь, человекоядец! Все это за грехи — за наше немоление... О, мой колоколушко!

Вопли с каждым днем становились раздирательнее. Люди с отрезанными носами и губами, толкаясь по вечерой площади и по всем улицам и показывая народу свои полузажившие, обезображенные лица, кричали — да как еще страшно, гугнявою речью, приводившею всех в трепет — горестно кричали о мщении...

— Без лиц люди... Господи! — бормотал несчастный звонарь, глядя с своей колокольни на этих людей без лиц.

Слепой Тиша, встречаясь с кем-либо на улице или на площади, прежде всего лез ощупывать его лицо — цело ли де?

— Образ и подобие Божие урезали, окаянные! — качал он головою, если рука его ощупывала следы московского зверства.

Часто видели посадника, тоже как бы помешанного, который иногда разговаривал сам с собою и беспомощно разводил руками или хватался за свою седую голову... Казалось, что он потерял что-то и напрасно искал...

Иногда видели и несчастную Остромиру, которая ходила по берегу Волхова и тоже как будто искала чего-то потерянного.

— Чего ты ищешь, Остромирушка? — спрашивала ее мать.

— Христа ищу... Взяли Христа — и не знаю, где положили его, — отвечала несчастная, — нету Христа — некому молиться... Ах, скоро ли радуница?.. Може, найду...

Но ее тотчас уводили домой, служили молебны, кропили святою водою, но ничто не помогало. От креста она с боязнью отстранялась, лишь только чувствовала прикосновение к губам холодного серебра распятия...

— Ему нечем целовать Христа, нечем прикладывать-ся, — испуганно шептала она.

Видя, что зарево пожаров все приближается и ожидая, что московское войско не остановится на одном разорении земли, а приступит и к осаде Новгорода, посадник, собрав вече и объяснив возможность нападения москвичей на самый город, испросил у народа дозволение — жечь все ближайшие к городу посады и монастыри, чтобы тем лишить осаждающих пристанища на случай осенних непогод, а затем — и на случай суровой зимней непогоды.

Начались новые пожоги новые ужасные картины: жители сжигаемых посадов и монастырей толпами шли в Новгород, чтоб укрыться, и шли с воплями, таща свое добро — «животики» кое-какие да скотину. Скотина ревела, точно ее вели на убой. За людьми и скотом летела в Новгород и птица — вороны, галки и воробьи, гонимые дымом пожаров.

Скоро и из Русы чернецы-рыбари Перыня монастыря, ездившие Ильменем к устью Ловати за рыбным делом, привезли страшные вести, для выслушания которых вечевою колокол звонил все население нового злосчастливого Карфагена на вече.

— Повествуем Господину Великому Новгороду, отцем и братии своей, печаль велию: в сию среду, иулия месяца 24 дня, на память преподобных мученик, князей Бориса и Глеба, в Русе, на площади, велением онога Навуходоносора московского усечены топором головы Димитрию сыну Исакову Борецкому, Василью Селезневу-Губе, Киприяну Арзубьеву да Иеремии Сухощеку, а остальных больших людей, человека до полуста, в оковах, аки скот бессловесный, погнали в Москву.

Марфа, стоявшая тут же недалеко от посадника, при вести о смерти пошатнулась было, схватившись за сердце, но устояла, перекрестилась и подняла руки к небу.

— Бог даде, Бог и взя... Да будет Его святая воля! — громко сказала она.

Но у этой великой притворщицы было меньше сердца, чем воображения. Посадник заплакал, услышав эту весть; многие рыдали, глядя на мать, потерявшую сына; у всего веча, как у одного человека, вырвался из груди не то глубокий вздох, не то стон. Звонарь обхватил вечевой колокол руками, точно друга, и слезы из его одинокого глаза лились на холодную медь, как на грудь близкого, дорогого существа. А она стояла как камень, бледная и сумрачная, а под длинными поседевшими волосами и где-то в сдавленном сердце колотились не то мысли, не то слова: «Венца сподобился Митюшка, венца нетленного, мученического... А мне, окаянной, венец княженицкой на мою седую косу не выпадет ли?.. О, князь Михайло, князь Михайло! Долго же не идешь ты ко мне на выручку с твоею Литвою...»

— Баба! Когда ж воротится батя и привезет мне большой московской пряник? — встретил ее Исачко, когда она воротилась домой.

Тут и ее жестокое, но все же материнское сердце не выдержало. Она обхватила руками голову внучка и зарыдала. Ей разом, со всею ужасающею ясностью, представилась вся невозвратимость того, что совершилось: никогда, никогда она его больше не увидит, никогда не доскажет ему того, что между ними в течение жизни осталось недосказанным, невыясненным, взаимно непонятым... Все, что он мог думать о ней, все, что думал и как, — все это он взял с собой, и она никогда этого не узнает, как никогда не узнает он многого в ее жизни, что должен был бы знать... Он не увидит ее, не поймет ее... Все кончено и навсегда...

— О, мой птенчик! О, мой сиротинка! — голосила она, захлебываясь слезами и покрывая поцелуями голову внучка.

Ребенок сначала испуганно молчал, потом сам заплакал.

Вошла жена Дмитрия Аграфена. Красивое, молодое лицо ее, как и ясные, голубые, задумчивые глаза выражали что-то глубоко сдержанное, замкнутое в себе. Она не то с испугом, не то с недоверием взглянула на плачущую — что с нею редко случалось — свекровь и на сына, и, точно защищая от кого свою пышную грудь, быстро схватилась за нее, точно боясь, что из нее выскочит сердце.

— О, сироточка! О, мой сыночек! На кого ты нас покинул?

— Дмитрий? — испуганно, едва слышно спросила молодая женщина.

Марфа подняла на нее свои заплаканные глаза, с изумлением, точно не узнавая ее.

— Матушка! — повторила Груша.

— Вдова... да, вдова ты стала... Теперь и в черницы вольна...

Молодая вдова ничего не отвечала. Она только перекрестилась и вышла.

Но вот и ночь настала. Зарево догоревших вокруг Новгорода посадок умаялось то там, то здесь. В иных местах, видимо, тлели догоравшие бревна, в других — пламя, найдя новую пищу, усиливалось и бросало на новгородские церкви и на крепостные стены зловещий багровый цвет.

Зарево освещает и стоящую на стене, у западной башни, какую-то человеческую фигуру. Лицо ее обращено на запад, к ливонской стороне. Она как будто ждет оттуда кого-то.

Зарево вспыхивает и освещает ярко всю фигуру и лицо этой женщины.

То была Марфа. Она не могла спать в эту томительную для нее ночь, и далеко за полночь, но и задолго до рассвета, после вторых петухов, она пошла к детинцу и ей одной знакомым потайным ходом у западной башни вышла на городскую стену. Она с часу на час ждала вестей от посла, отправленного Новгородом к королю Казимиру за помощью, а лично его от себя — к князю Михайле Оленьковичу. Гонец от посла должен был воротиться через западные ворота.

Зарево на много верст освещает за городом дорогу, ведущую в Ливонию, но на ней не видно никаких признаков движения. Гонец, видимо, запоздал. Она ждет, долго ждет...

В зареве пожара рисуется ей лицо обезглавленного сына. Вон и длинные вьющиеся волосы... Нет, это клубы дыма и... огненная кровь на шее... Все это огонь и дым... Она бредит...

А вон и лицо Оленьковича... Нет, все это видения, мечтания помутившегося рассудка...

И белокурый, льяновоолосый «бес-прелестник», Иванушка-боярин, встает в этих видениях... Она любила его, да — его одного только любила она, а он обманул ее. И вон та льяновоолосая чаровница на берегу Волхова, у старых каменоломен... То его лукавая душа, то ее грызущая душу совесть...

А гонца все нет... Уж и восток алеет...

И с вечевой колокольни кто-то смотрит на зарево. Это старому звонарю тоже не спится, и вон его единственный глаз светится, обозревая догорающие посадки. Ворон спит в углу на перекладине, но и на его гладкие, блестящие перья падает свет от пожара. И колокол спит, хотя один бок его, обращенный к пожару, играет, точно живой... Но звонарю не видна за западной башней фигура Марфы...

Кто же это крадется по крепостной стене?.. Он то и дело останавливается... Останавливается он около пушек, расставленных на стене... Что же он с ними делает?.. Вот подходит ближе, нагибается к жерлу пушки... Слышится какой-то глухой стук, точно забивают что в пушку?.. Кому бы это быть...

Звонарь тихонько спускается с колокольни и идет к воротной караулке. Сторожа спят.

— Господи Исусе! Вставайте, братцы!

— Кто тут? Какой леший?

— Я Корнил, вечной звонарь.

— Чего тебе, старина? Али звонить собрался? Мы не колокола, чу...

— Вставайте, ребятки... На стене у нас что-то нездорово...

— Что ты! Перун те ушиби!

— Нездорово, ребятки... Какой-то переветник наряд заколачивает...

Сторожа повскакали. Кинулись на стену. Идут тихонько, крадутся, останавливаются...

— Где, Корнитушко, ты видал его?

— У восточной башни...

Прислушиваются... Явственно слышится глухой стук... Двигаются вперед, в тени...

— Не шелохнись... Тише... Вон, видите?

— Видим... точно... у самого наряда... заколачивает...

Стук продолжается. Корнил и сторожа подкрадываются к пушке и бросаются на нагнувшуюся к жерлу пушки фигуру...

— Ты что тут творишь, окаянный?

— Вяжи его!.. держи!.. так... так!.. И у тебя рука поднялась на Новгород?..

— А-ах! дьяволы!..

Его схватили и тут же скрутили ему назад руки. Он не проронил больше ни одного слова.

XVI. КАЗНЬ УПАДЫША

Схваченный на городской стене неизвестный человек, заколачивавший пушки, был личность слишком хорошо знакомая всему Новгороду: это был Упадыш.

Что побудило его на эту страшную, уже не первую измену своему родному городу?

То были очень сложные причины и очень сложные чувства. Хотя говорят, что чужая душа — потемки, но бывает так, что и собственная душа иногда становится для человека потемками. В таком положении находился Упадыш: в своей душе он ничего не находил, кроме мрака, и выхода из этого мрака для него, казалось, не было.

В ту эпоху, когда люди еще глубоко верили в спасительную мощь аскетизма и в своей детской наивности полагали, что призвание человека — в отчуждении от мира, в отчуждении от себя, как от человека, — в ту эпоху другой на месте Упадыша, не обладавший такою жизненной энергиею, как он, нашел бы выход из этого душевного мрака в монастыре и был бы спокоен, роясь зверем в пещере и убивая свою плоть постом и молитвою. Но для души Упадыша и монастырское самоубийство представляло те же потехи. Он искал жизни со всеми ее треволнениями: в его душу глубоко запал неизвестно когда слышанный им завет самого Бога: «Живите».

Но жизнь с самого момента его рождения толкнула его в изгойство. Упадыш был изгой — существо без роду и племени. А как понималось в то время изгойство, можно судить по древним толкованиям этого слова: «изгойство» же толкуется, как «бесконечная беда, непрестающая слезы, немолчно воздыхание, неусыпающий червь, несогреемая зима, неугасая огонь, нестерпимая гроза, неизлечимая болезнь — вся же та суть без конца». Вот что такое было изгойство.

Изгой, одним словом, был отбросом общества или, говоря современным языком, человек, которого само общество сделало «нелегальным».

Но в Упадыше было слишком много жизненной энергии, ума, красоты, удали и силы, чтоб помириться с «непрестающими слезами» и «немолчными воздыханиями». На вече, среди худых мужиков вечников, он являлся первым говоруном и вечевым воротилой, среди «больших» людей и бояр он был «язва» за свой язык и за беззаветную удаль.

И он был оттерт от всего.

Мало того — у него отняли то, что он любил.

Он, с горя, пошел в ушкуйники, как мы говорили выше.

Воротился домой из своих далеких странствий и нашел Новгород все таким же несправедливым: партия богатых одна ведала счастье жизни, а вся новгородская земля работала на богатых, как некогда евреи в Египте. Правда, этот рабочий скот, эти худые мужики вечники часто брыкались и заставляли богатых трепетать или летать с мосту в воду; но это мужичье самодержавие и кончалось вспышкой: побрыкались — да и опять в ярмо.

Упадышу другого хотелось. Он думал, что это другое есть в Москве, и жестоко ошибся. Но он ступил на этот путь и уже не сворачивал с него.

Он вошел в союз с темной силой — с кудесницей, и вместе с нею они устроили для Новгорода два кровавых пира — под Коростынем и на Шелони. У кудесницы были свои счета с Новгородом.

Шелонская резня, подготовленная им же, произвела на него, в душе совсем не злодея, такое потрясающее действие, что он там же, на берегу Шелони, хотел заколоться, но потом раздумал и воротился в Новгород, чтоб во всем признаться на вече и покаяться всенародно, доказав, что распря с Москвою будет конечной утратой Новгородом своей воли...

Весть о казнях в Русе дала другой исход его отчаянию.

Смерть Димитрия Борецкого делала свободной ту, которую он любил: он захотел жить.

Весь этот день, после веча, где он хотел всенародно каяться и где, напротив, он услышал о смерти мужа той женщины, которая была горькой отравой всей его жизни, — он ходил как помешанный. Перед его глазами носились кровавые картины коростынской и шелонской битв, он слышал ужасный клич москвичей и татар — «Москва! Москва!.. Алла! Алла!..» Неведомые птицы с человеческими лицами веяли на него своими крыльями, и он слышал в шуме ветра, в журчании

вод Волхова: «О, Упадыш! Упадыш!..» Эти живые люди без лиц, ходящие по Новгороду, — это ходит его мрачная совесть. Мрак, ужасный мрак на душе!.. Где же выход из этого мрака?.. Горислава, ломающая руки в виду резни на берегу Ильменя... Что ему до нее и что ей до него?.. А между тем мрак на душе все темнее и темнее...

Та, которую он любил, теперь может принадлежать ему... Что она?..

Но тут же перед ним вставали новые ужасные картины... Москва идет на Новгород: опять предстоит резня, опять польются реки крови, но Новгород не устоит... Чем упорнее будет сопротивление со стороны новгородцев, тем ужаснее должна быть месть москвичей... А месть московская известна: они не пощадят ни жен, ни детей...

Не пощадят жен... Не пощадят и ее, ту, которая одна была солнцем его пасмурной жизни...

«Утопись, утопись, Упадыш, — что-то шептало ему, — тебе один конец...».

И он шел на мост... Но с моста он видел побережье и выходящий на побережье их дом — «чюдный» дом Марфы...

— Отыди, сатано, не смущай, — шептал он и с ужасом отворачивался от воды, которая манила его в свою глубину, и убегал с моста.

«Изменник, изменник, — шептал ему другой голос, — окаянное чадо новгородское...»

— Воистину окаянное...

Он глянул на небо, ища утешения, на святую Софию, на вечерую колокольню... Там, над оконной перекладной, торчит седая голова звонаря...

«Один Корнил любил меня, как приبلудного щенка...»

Он хотел было идти к кудеснице — посоветоваться с ней, но ему стало страшно...»

«Она, всему она виной, окаянная».

Он глянул опять на вечерую колокольню, на угрюмые стены детинца... На стенах чернелись пушки... Ему представилось, как они будут палить в москвичей...

— Забить их, заколотить весь наряд, — сказал он вслух, и сам вздрогнул, — не устоять тогда Новгороду — не быть и кроволитью...

И он исполнил это безумное решение. Но его схватили.

И вот теперь его привели на казнь пред лицо всего Новгорода. Он казался спокойным, только бледнее обыкновенного и задумчивее. Глаза его, видимо, искали кого-то в толпе и не находили... Он грустно качал головой, как

бы говоря: «Нет, не увижу, и в этот последний час не увижу...»

Вечерняя площадь была полна народа, но он безмолвствовал. Не привыкли новгородцы видеть казни. В пылу разгара политических страстей, в порыве всенародного увлечения, они не задумывались забивать камнями посадников и житых людей, топить своих лиходеев в Волхове, как собак; но это делалось в минуты вспышек. А видеть, как человека, который стоял смирно и не защищался, будут убивать обдуманно, хладнокровно — этого видеть вольным новгородцам не доводилось...

И посадник, и все власти смотрели с помоста такими сумрачными. И им казалось тяжким казнить новгородца.

Даже палача для этого дела нельзя было найти в Новгороде: никто не соглашался убивать хладнокровно беззащитного брата своего.

Выискался какой-то «чудин» из «скудельного места» — гробокопатель, и ему вручили огромный, заржавевший, хотя теперь и отточенный топор палача.

Упадыш стоял лицом к помосту. Около него палач с топором и рогожным мешком да несколько ратников с бердышами.

— Господо и братие! — дрожащим голосом сказал посадник. — Вы знаете вины человека сего... За измену святой Софии и Господину Великому Новгороду повинен есть смерти... Право мое слово?

— Право, господине, — нерешительно отозвалось несколько голосов.

Площадь разом всколыхнулась, как волна, и снова точно застыла.

— Верши, человек! — махнул рукой посадник «чудину».

— Постой! — вдруг остановил его Упадыш. — Дай помолиться.

Палач несколько отодвинулся, а Упадыш стал молиться на Софийский храм. Все глаза напряженно следили за ним. Никто не шевелился.

Кончив молиться, осужденный стал кланяться на все четыре стороны, глаза его снова, по-видимому, искали кого-то в толпе.

— Простите меня, окаянного, — надтреснутым голосом произнес он, низко кланяясь, так что густые рыжие волосы покрыли до половины его бледное лицо.

— Бог и святая Софья простят! — прошел ропот по толпе.

— За вас, братцы, умираю... Вам добра искал... не привел Бог... за молодчих, за сирот голову свою полагаю... Простите!

Какой-то смешанный говор прошел по толпе. Все заколыхалось, задвигалось... «Ах, Упадыш! Упадыш! Лучше б тебе не быть в утробе матерней, ечем наречься предателем Новгород!» — явственно прозвучал в толпе чей-то голос.

Осужденный встал на свое место, сложил на груди руки, нагнулся вперед и вытянул шею.

— Я готов — верши, — сам подсказал он палачу и закрыл глаза.

Палач поплевал себе на ладони, обхватил конец топорница и высоко занес топор над головою, словно собираясь рубить бревно.

Топор блеснул в воздухе и глухо ударился о толстую, загорелую шею Упадыша, но и до половины не перерубил ее. Несчастный упал на колени. Кровь брызнула ручьем.

— Ох, Господи! Не осилил! — слышались голоса.

— Не перерубил! Вдругорядь... ах!

Палач снова ударил по тому же месту. Жертва людского безумия валялась уже на земле, в ужасных корчах, истекая кровью. А неумелый палач продолжал добивать ее, рубя, как дрова, как-то растерянно хряская топором то по шее, то по голове...

— Ах, батюшки, жив еще... трепыхается...

— Ах, чудин, чудин! Не за свое дело взялся...

— В Москве бы сразу...

— Москва сему делу навична... Москва на крови стоять...

— Там как пить бы дали...

— Точно... А то на! Вон еще все ручкой шевелит...

— А нога вон отмашкою дрыгнула... Страх какой!

— Сапоги-то, сапоги, братцы, новеньки... Жалость...

— Пропал человек ни за мидну мордку... Ах! И, Боже!

— За нас, чу, пропал — за сирот... Спаси его, душеньку!

— Ах, Упадыш, Упадыш! Лучше бы тебе не быть в утробе матерней, — повторял голос, уже раздававшийся на площади... То был голос летописца Новгородского, настоятеля Хутынского монастыря Нафанаила, который пришел в Новгород посетить свою больную внучку, Остромиру, и угодил на место казни.

С вечевой колокольни смотрел старый звонарь и по сморщенному лицу его текли слезы. Это плакал единственный глаз доброго старика...

— Я твой ворог — я, окаянный, погубил тебя, — шептал он.

Упадыш более не трепыхался. Он плавал в своей собственной крови, разметавши руки и ноги, точно в самом деле собирался уплыть... Да, далеко пришлось теперь плыть старому ушкуйнику...

Палач между тем обтер топор об рогожный мешок, разложил этот мешок на земле и стащил труп с кровавой лужи. Потом он стал усердно запихивать его в свой вместительный мешок... Вот какой саван пришлось надеть Упадышу!... Изгой — изгоем и кончил... Сначала «чудин» впихнул в мешок голову казненного, потом втиснул туда его широкие плечи и стал натягивать рогожу на остальное туловище... Из мешка торчали ноги в сапогах, о которых сейчас пожалел один худой мужичонко вечник... «Чудин» согнул колена мертвому, всунул ноги в мешок, завязал его и, взвалив с трудом на плечи, понес через толпу к великому мосту.

— Прощай, сиротинушка! — шептал с колокольни вечный звонарь, провожая своим единственным глазом изменника Великого Новгорода.

Толпа сопровождала печальное шествие. Со всех концов сбегались женщины и дети, не бывшие на вече и желавшие взглянуть, как будут топить Упадыша.

На мосту «чудин» положил свою тяжелую ношу на землю и привязал к ногам мертвеца огромный булыжник. Приподняв труп, он с трудом положил его на перила моста. Еще не застывшее тело казненного перевесилось на обе стороны перил.

— Прощай, Упадыш, кланяйся Ладоге и моей родной чудкой стороне, — сказал «чудин», перекидывая и ноги трупа за перила.

Еще мгновение — и Упадыш грузно бултыхнул в Волхов...

В толпе послышался отчаянный, душу раздирающий женский крик. Все оглянулись: на земле лежала и колотилась о камни головою какая-то женщина, молодая и богато одетая...

— Матушки! Сестрицы! — взвыли бабы. — Да это никак Марфина посадничихина сноха...

— Она и есть, кормилицы, — Аграфена, Димитриева жена...

— Вдова, скажи, матушка, а не жена... Была женой. О-о-хо-хо! — а ноне сирота горькая...

— И то правда... Что же с нею?.. Али попритчилось?

— Да о муженьку, знамо, убивается... То-то горькая... Не одна она... То-то время-времечко!..

А то место Волхова, которое всколыхнул Упадыш своим падением, давно сравнялось, и вода по-прежнему тихо струилась по направлению к далекой Ладоге, к родине «чудина-скудельника...».

XVII. ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ ВСЕЯ РУССИИ

Наутро опять звонил вечеровой колокол. Опять плачущий голос его разносился по всем концам. Опять вспугнутой ворон делал по небу круги все шире и шире, все выше и выше...

А вечеровой звонарь, колотя что есть мочи в свой колоколушко, горько плакал: слезы так и катились из его одинокого глаза, а ему и утереть их было нечем...

— Что, братцы, об чем вечать? Чего звонит вещун наш?

— Да должно, об хлебе, об борошне: вон, жита не хватило, голод в городе...

— Да пшеница, сказывали, есть — много навезено.

— Да пшеница-то, братец, не про нас, житников, припасена, а про богатых, про пшеничников! Вот что!

— А люди сказывали — за князя-де за московского задаваться удумали.

— Это точно — потому не возмогу...

— А все Марфа, окаянная баба!

— Все Марфица, ни дна б ей ни покрышки... Склизкая баба!

— Пусто б ей! Сулила все своего Коземира да хохлов, а их и след простыл...

— Посла нашего, чу, немцы к Коземиру не пропустили — ни с чем ноне воротился.

— Как же топереву нам быть, братцы?

— Да за князя задаваться пришло, а то измором помер...

— А князь-от головы нам, поди, долой, как в Русе вон Марфичу да Селезневу-Губе с товарищи.

— Ну, нас худых мужиков не про что, — бояр, рази, да житых людей.

Вече готовилось быть бурное. Город наполнен был беглецами со всех новгородских волостей, разоренных московскими ратями, и в Новгороде оказалась нехватка хлеба: уже и теперь чувствовался голод, а что же будет дальше, когда москвичи осадят город! А уже ходят слухи, что великий князь, совершив казни в Русе и отослав важнейших новгородских

пленников в Москву, словно загон татарский, готовился сам идти на Новгород. Между тем хлеба взять и ожидать неоткуда — москвичи потоптали и вытравили его весь на корню. Смерть была неминуемая, если не от московских мечей, то от голода.

Те, которые кричали прежде с голоса Марфы, теперь проклинали ее и ее «литовские посулы»: гнались за журавлями в небе, а потеряли из рук и последнюю синицу.

— Похвалялась море зажечь, синица-то наша, дуй ее горой!

— Осоромотила нас баба, братцы, — а-ах! — волновались бывшие приверженцы Марфы.

Она не смела показываться народу. Да и ее личное горе было слишком велико: кроме потери сына, с которою она еще могла помириться, она потеряла веру в возможность осуществления своих тайных честолюбивых замыслов... Не бывать венцу киевскому и новгородскому на ее буйной голове... В два дня эта голова совсем поседела...

— Это не я, не я, не Марфа! — с ужасом шептала она, увидав себя в металлическом полированном диске, заменявшем тогда зеркало.

Она не верила зеркалу, она брала свои густые косы в руки — и они были седые! Она подносила их к свету, расплетала, наматывала на руки — седые, седые!

— Это не мои косы, это — борода посадника, это волосы Корнила звонаря! — с горечью повторяла она. — Не мои, не мои!

Она снова обращалась к зеркалу, снова всматривалась — в свою голову, в свое лицо, в глаза...

— Глаза не мои, Господи!.. Это старуха! — шептала она в отчаяньи.

Она слышала звон вечерого колокола и догадывалась, в чем дело...

— Кричи, кричи до неба! Кричи до Киева, чтоб слышал мой изменник! Кричи, зови Ивана московского!

Она ломала руки, не находила места... А колокол все звонил-надрывался...

— Звони! Звони по Марфе-посаднице...

— Баба, баба! Какая у тебя головка белая, седенька! То не твоя головка.

Это голос Исачка — и он не узнает свою седую бабушку...

— Что это, баба? Зачем ты седенькая стала?.. И мама лежит — недужная, хворая... Мы с ней вчера ходили смотреть, как Упадыша топили, и мама там с испугу захворала...

Марфа только застонала.

А между тем толпа уже затопила собой вечерую площадь. Это уже было не прежнее самоуверенное вече, хотя еще более бурное, страшное...

— Что — где ваш Коземир? — кричали худые мужики, приступая с кулаками к сторонникам Марфы, к Григоровичу, отцу Остромиры, к Пимену и другим. — Где он? Подавайте его!

— Где ваша сука Марфа, что щенят своих не ублюла? Сказывайте!

Те стояли бледные, безмолвные, ожидая народной расправы — с мосту да в Волхов. Но народу было не до того — слишком тяжело было каждому... Да и чем поможешь Новгороду, коли бояр пометаешь в Волхов? Поздно уж! — надо было пометать туда их всех раньше, когда они еще не довели Новгорода до гибели... А теперь что! — все равно пропадать...

Так думал самодержавный мужик, свергнутый в пропасть людьми не оправдавшими его народного доверия.

— Вот до чего довели вы нас и себя, прелестники, обманщики!

— Литва-де, Коземир — эх! — и укусил бы локтя, да не достанешь!

По другую сторону, на середине помоста, стоял посадник с «большими людьми». Василий Ананьин также успел постареть за это время. Лицо его осунулось, умные, ласковые глаза глубоко запали... Разве легко ему было сознавать, что в его именно посадничество такие великие беды обрушились на его город, на всю его страну!

— Ах, детушки, детушки! Ах, посадничек, посадничек! — горестно качал головою вечерою звонарь, обозревая с высоты целое море голов новгородских. — Горьки, сиротски головушки!..

Мужики посунулись к посаднику и к «большим людям», снявши шапки.

— Простите вы нас, окаянных! — кланялись они со слезами. — Согрубли мы вам — чинили свою волю да волю Марфину.

— Смилуйтесь, господо и братие, простите! — вопили мужики

— Смертный час пришел, батюшки! Научите вы нас.

— Не слушались мы вас, больших умных людей, себе на погибель и послушались безумцев, что и сами наглостною смертью пропали, и нас под беду подвели...

— Смилуйтесь, родные! Теперь уж будем вас во всем слушать...

— Не будем вам перечить — ни-ни! Ни Боже мой!

— Пощадите нас и животишки наши, отцы родные!

— Не дайте Новгороду пропасть пропадом, миленькие!
Идите добывать челом великому князю, чтоб помиловать нас, сирот горьких!

Тогда выдвинулся вперед Лука Клементьев — лукавый старикашка! — тот самый, что воеводил во владычнем стяге и с умыслом, по наказу Феофила, опоздал к коростынской битве.

Он разгладил свою бороду, откашлялся, тряхнул по-московски волосами (он давно снюхался с Москвою, лукавец!)

— Вот то-то, братцы, — начал он, косясь на посадника, — коли б вы баб не слушали и зла не починали, то и беды б такой не сложилось...

Мужики вечники кланялись, охали, усиленно сопели, утирая пот с лиц и с затылков — день был жаркий, упека страх!

— Пусто б ей было, бабе-бесу! — ворчали они.

— Сказано — волос долог...

— Где черт не сможет, туда бабу пошлет...

— Так, так, братцы, — подтверждал Лука-лукавец, — да добро-ста лих-беда научила вас... Добро и то, что хоть топереву грех да безумие свое познали... Токмо мы, братцы, — он глянул на посадника, — не можем за экое дело сами взяться, а пошлем от владыки просить у великого князя опасу: коли даст опас — знак, что смирит свою ярость и не погубит своей отчины до конца.

— К владыке, братцы, к владыке! — заревело вече. — Будем просить опасу!

— На Софийской двор, господо вечники, к отцу Феофилу!

— В ноги ему, батюшке, упадем: смилуйся, пожалуй!

Толпа, как вешние воды через плотину, ринулась на Софийский двор.

Великий князь Иван Васильевич, совершив казни в Русе, двинулся с войском к Новгороду и 27 июля остановился на берегу Ильменя для роздыха.

Вечерело. Солнце серебрило косыми лучами небольшую рябь Ильменя, который, казалось, плавно дышал своею многоводною грудью и отражал в себе розоватые облачка, стоявшие на небе, далеко там, над Новгородом. Над станом стоял обычный гул.

Иван Васильевич вышел из своей палатки и в сопровождении братьев родных — Юрия и Бориса, и двоюродного,

Михайлы Андрича, которые соединились с ним на походе, приблизился к берегу Ильменя. За ними почтительно следовали князья, воеводы, бояре и неизменный ученый посох великого князя — Степан Бородатый.

Иван Васильевич и теперь, как и всегда, казался одинаковым: серьезен, сух и молчалив. Но и на него вид Ильменя с этою массою воды, которая — Иван Васильевич это помнил — принадлежала ему, как и земля, на которой стояли его владетельные козловые с золотом сапоги, с этим мягким голубым небом, которое тоже ему принадлежало, с этим мягким, теплым ветерком, осмелившимся ласкать его русую с рыжцою бороду, — и на него, повторяю, сухого и чуждого всякой поэзии, этот вид произвел впечатление.

Он остановился, глянул на бояр, опять на Ильмень, на небо, на зеленевшие леса. Все подоновились к нему, заметив мягкость — редкое явление — на задумчивом лице своего господина.

— Красно, воистину красно творение рук Божиих! — сказал он со вздохом.

— Воистину, господине княже, — вставил свое слово Бородатый, заметив на себе ласковый взгляд государя, — точно красно... Ино сказано есть в писании: се что добро и се что красно, во еже жити братии вкупе...

— Так, так, — улыбнулся великий князь, — похваляю Степана — горазд воротити писанием.

Все с почтительной завистью посмотрели на счастливица Степана.

Но Иван Васильевич, взглянув на Ильмень, воззрился вдаль и осенил глаза ладонью. Прямо к тому месту, где они стояли, плыло какое-то судно.

— Кажись, новгородское...

— Точно, господине княже, новгородское, — подтвердили бояре, — иха походка...

— Насад, господине княже, и хоругов владычня в аере реет, точно они — иха повадка...

Великий князь направился обратно в свой шатер. Он не шел, а шествовал: он догадался, что гордый Новгород смиряется наконец... «Сокрушил гордыню... то-то — не возноси рога», — стучало его жесткое сердце, и он шествовал плавно, ровно, не ступая по новгородской земле, а попирая ее...

— Эка шествует! — тихо, холопски любовался сзади Степан Бородатый. — Аки пардус...

— Аки лев рыкай, — поддакнул кто-то из бояр.

— Яко орел... Ишь красота! — подхолопил еще кто-то.

Действительно, к берегу пристал новгородский насад. Из насада вышли нареченный владыка Феофил, за ним попы от семи соборов новгородских, старые посадники и тысяцкие и житые люди, по одному от каждого конца. В числе их находились Лука Клементьев — «лукав человек», и Григорович, отец Остромирушки. За ними слуги выкатили и вынесли из насада «всяки поминки» — взятки или подарки для московских бояр, для братьев великого князя и для него самого. Новгородцы уже знали «московски свычай и обычай»: к москвичам нельзя было являться с пустыми руками... «Пустая-де рука ничего не берет, и сухая-де ложка рот дерет».

Тут были и вина, и сукна, и шелка, и обьярь, и всякое заморское узорочье...

Начались поклоны, доклады: доложились боярам и поклонились поминками.

Бояре поминки приняли и покрутили головами: «Мы ничево-ста не можем... и на пресветлые очи показаться не дерзаем... мы-ста холопи... мы-ста черви, а не человеки, поношение человеком... мы-ста доложимся их милостям — рожоным братцам осударя всея Руси...».

Доложились их милостям... Поклонились поминками.

Их милости поминки приняли и головами покрутили: мы-де тоже ничево-ста не можем... мы-де тоже холопи великого князя осударя всея Руси... как он... мы-ста доложимся...

А новгородцы все кланяются... Фу, вот земелька! Все кланяйся да кланяйся... Эх их вышколили татары на поклонах!..»

Доложились великому князю... И слушать не хочет, и на очи не пускает... Заряженный сидит в своей татарской шапке «аки вебрь»...

Братья упрасивают, умаливают сжалиться над своею отчиною — положить гнев на милость...

— Не положу, дондеже не сокрушу...

Но наконец сжалился.

Ввели новгородцев в шатер. Шатер — словно церковь, а на возвышении восседает «сам», холодный, каменный, как Перун... Бояре и князья полукругом — очей поднять не смеют, и Степан Бородатый шепчет псалом четыредесятый: «Помилуй мя, Боже, по велицей... Ох!..»

Новгородцы пали ниц... Перун хоть бы веком пошевелил — камень и холод... «Помяни, Господи, царя Давида», — шепчет «лукав человек» Лука, лежа окарач вместе с прочими... Сопят новгородцы от непривычки кланяться... Приподнялись — не глядит Перун, это не глаза, а стекла — мертвые, холодные...

Владыка складывает дрожащие руки словно на моление.

— Господине! — со слезами в горле восклицает он. — Великий князь Иван Васильевич всея Руси милостивый! — Голос его срывается, взвизгивает. — Господа ради, помилуй виновных пред тобою людей Великого Новгорода, отчины своей... — Владыка не может говорить — всхлипывает.

Моргает и «лукав человек»... У кого губы дрожат, у кого руки... А у Перуна все тот же стеклянный взгляд...

— Покажи, господине, свое жалование! — плачет владыка. — Смилуйся над своею отчиною... Уложи гнев и уйми меч! — выкрикивает он.

Слезы текут по лицу, по бороде... Нет слов, нечего больше говорить... Камень, холодный камень перед ним на возвышении...

— Ох! угаси, господине, огне на земли и не порушай старины земли твоей... Дай света видеть безответным людям твоим! Смилуйся, пожалуй, как Бог положит тебе на сердце!

Молчит, хоть бы слово, хоть бы движение.

Все опять повалились наземь — колотятся головами... А он все такой же каменный...

Стали спрашивать братья. Молчит!

Повалились в ноги бояре — молчит!.. «Сокрушу до конца»...

Бородатый выручил... Он зашуршал бумагой. Великий князь глянул на него и увидел у него бумагу — вспомнил: то была грамота митрополита — сжалиться над Новгородом.

Глаза Перуна ожили, он «прорек», по выражению Бородатого, «словеса огненные»:

— Отдаю нелюбье свое. Унимаю меч и грозу в земли. Отпускаю полон новгородский без окупа. А что залого старые и пошлины — и о всем том укрепимся твердым целованием по старине.

Холодом веяло от этих «огненных словес»... Но на этот раз туча прошла мимо Новгорода.

XVIII. ПОСЛЕДНИЙ ПОСАДНИК И ПОСЛЕДНИЙ ВЕЧНЫЙ ДЬЯК

Дорого обошлась Новгороду несчастная попытка отстоять свою вековечную волю.

— Ах, колоколушко, колоколушко! — изливал вечевой звонарь свое горе перед немым собеседником своим, задумчиво качая седой головой. — Оставили тебя, родимого, нам

на радость вороги наши, насытились, окаянные, новгородскою кровушкой — и прочь пошли... А ты виси, виси, колоколец родной, виси до страшного суда.

А на ворона он все продолжал сердиться за его людоедство.

— Ах ты, человекоядец подлой!.. Може, за твои окаяństwa все это стало... Шутка сказать — сколько народу полегло у Коростыня да у Шелони, а туто еще копейное добивай ему, аспиду, за нашу-де проступку... А какова наша проступка? Старину держать хотим. Эх! Так вот и добивай ему, аспиду, копейное — на рожество полтрети тысячи, да на крещение три тысячи, да на велик день пять тысячей... Легко молвить!.. Да опять-таки и на усиление пять... Эх! — высчитывал он по пальцам то, что Новгород должен был выплатить великому князю «окупа» или «копейного добить» за свою последнюю проступку.

— Вот ты и сочти, сыроядец подлой!.. Что клеветать? Али опять человечину клевал? Чево ж ее не клеветать! По всей земле новгородской аспиды человечины горы наметали, да еще и копейное добили. Эх!.. А с Коземиром-де Новгород ни-ни! — не могли!.. Эх, Марфа, Марфа! Не задалось нам с тобой.

И он опять считал по пальцам, опять поглядывал на колокол...

— Что ж — на то воля Божья... Только живи ты, колоколушко, а мы наше наверстаем: была бы жива с нами наша воля да наш вечной колоколушко, так и мы на ноги станем...

Но трудно уже было Новгороду стать на ноги. Беда за бедой валилась на него.

Когда москвичи ушли с своими ратями восвояси, жители новгородских сел и пригородов, бежавшие в Новгород после московского погрома, теперь стали возвращаться на свои пепелища. Сколько слез они пролили, найдя свои родные гнезда разоренными! Но других постигли иные, более горькие бедствия. Жители Русы и всего заильменского побережья, возвращаясь к своим родным пепелищам, закупили готовые хоромы и на плотях везли их на родину вместе с женами и детьми. Целая вереница судов плыла по Ильменю. Но вдруг потемнело небо, завывали ветры, забушевал Ильмень... Старцы Перыня монастыря видели, как на берегу Ильменя стояла какая-то простоволосая старуха. Ветер рвал ее седые волосы, а она стояла и руками махала на тучи: казалось, она призывала бури, громы и молнии... И громы разразились над Ильменем... Вереница судов и плотов была разбросана по озеру и

попрокидывана: все погибло в разъяренной стихии — и дома и люди... Одних людей потонуло до семи тысяч душ.

Но Новгород все-таки крепился. Старые раны заживали, жизнь снова была ключом. Но московский яд уже делал свое дело в организме вольного города.

Прежде новгородцы во всех своих делах судились у себя дома. Теперь они иногда стали являться в Москву с своими жалобами. Москве это и на руку — лишь бы была прицепка.

Так прошло шесть лет. Марфа-посадница стала окончательно старухой. Она уже не мечтала об Олельковиче и о киевском венце, и с горестью вспоминала бывшее счастье. Исачко подрастал, и уже думал, как он возмужает и отмстит Москве за своего отца и дядю Федора, который томился в московской неволе. Мать его давно была черничкой, а некогда его приятельница, ясноглазая Остромирушка, поврежденная рассудком, была неузнаваема: она все твердила, что ей нечем целовать Христа, и Христос от нее отвернулся...

Все в Новгороде точно постарели и осунулись. Горислава после казни Упадыша по целым часам сидела на берегу Волхова, безмолвно глядя в воду, как бы ожидая, что вот-вот выглянет оттуда рыжая голова и поманит ее за собою; но рыжая голова не показывалась из воды. На берегу Волхова давно уже не было слышно пения Гориславы, которое рыбаки принимали за пение русалки.

Простоватый и добродушный Петра, сердце которого зазнобила эта льняноволосяя русалка, загулял с горя и все собирался в ратники, чтоб прельстить свою недотрогу шеломом и красным щитом.

А к кудеснице все чаще и чаще наведывались новгородцы и все о чем-то с ней шептались. В последнее время к ней чаще всего наведывались вечный дьяк Захар, что так хорошо разрисовал когда-то заставки в грамоте с королем Казимиром и который вместе с прочими был отпущен из московского полона, да подвойский Назар.

И вдруг в феврале месяце 1477 года Захар и Назар отравились зачем-то в Москву.

— Вы почто к нам есте прибыли? — спрашивали их на Москве бояре.

— К осударю великому князю к Иван Васильичу всея Руси с челобитьем.

— К осударю? — переспросили бояре, точно не слышали.

— К осударю-ста, — был вторичный ответ,

— И ты, Захар, к осударю? — новый лукавый вопрос.

— И я-ста к осударю.

— И ты, Назар, к осударю?

— И я-ста к осударю.

Бояре лукаво переглянулись между собою.

— Так стойте на том, что к осударю? — опять заладили бояре.

— Да что вы наладили — к осударю да к осударю! Знамо к осударю, а не к вам, — вспыхнул наконец вечный дьяк.

— Добро-ста... Помните это слово...

— Помним — не забыли...

— По-русскому, чаю, говорим.

— Добро-добро, к осударю...

Бояре оставили челобитчиков и торопливо пошли к великому князю. Они доложили ему, что новгородские челобитчики, вечный дьяк Захар Овинов да подвойский Назар, в челобитях своих назвали его, великого князя, «осударем», и стоят-де на том накрепко.

По бесстрастному, каменному лицу деда Грозного прошло как бы что-то светлое — не луч и не тень, и холодные глаза холодно блеснули....

— Государем именуют — точно? — тихо спросил он.

— Точно, осударем, господине княже.

— И стоят на том?

— Стоят накрепко.

— Хорошо... похваляю вас...

«Собиратель земли русской» глубоко вздохнул, точно бы камень свалился с его груди: он нашел зацепку, которой напрасно искал столько лет... Сами новгородцы назвали его «государем» — «титло государское дали...».

Через полтора месяца в Новгород явились послы великого князя... Как? зачем? — никто ничего не знал.

Заговорил вечерой колокол, замоталась из стороны в сторону седая голова Корнила звонаря.

Собралось вече. Явились на помосте московские послы.

— Шапки! Шапки долой! — послышалось в толпе.

Послы были в шапках, потому, может быть, что видели, что и все вече не сымало шапок.

— Долой шапки перед Господином Великим Новгородом! — закричали уже сотни голосов.

— Перед Новгородом, что перед храмом Божиим, ломай шапку!

— Новгород — та же церква! Сымай шапки, не то сшибем!

Послы сняли шапки, но говорить медлили.

— Сказывайте! Почто есте посланы? — раздавались голоса.

Один посол выступил вперед, поклонился и откашлялся.

— Осударь великий князь Иван Васильевич всея Руси, — начал он немножко дрожащим голосом, — велел спросить Новгород, отчину свою: какого государства он хочет?

Все, казалось, замерли после этих слов, точно все дышать перестали. Так бывает в воздухе перед бурей, когда птицы торопятся под деревья, а деревья как бы головы склоняют от страху.

И буря разразилась. Заходили плечи и головы, замахали руки...

— Государства! Каково государства?

— Мы не хотим никакого государства!

— Не надоть нам государства!

— Мы сами государство!

Посадник, стоявший рядом с послами тоже без шапки, был бледен. На груди его заметно колыхалась золотая гривна.

— Ишь, осерчали детушки, — улыбался с своей колокольни звонарь, — осерчал Господин Великий Новгород. По делом им, татарским обедкам...

Когда буря несколько утихла, московский посол снова откашлялся.

— Дайте слово молвить, — начал он.

— Говори, да помни, где ты!

— Великий Новгород, — продолжал посол, — посылал к великому князю от владыки и от всех людей Великого Новгорода послов своих, Захара да Назара, бить челом о государстве, и послы назвали великого князя государем!

Эти слова вызвали новую бурю.

— Вече никого не называло!

— Вече никогда не называло великого князя государем! Какой он нам государь!

— От века того не бывало, как и земля наша стала, чтоб какого ни на есть князя мы называли государем!.. Не бывало того!

— Всякого князя своего мы называли господином, а не осударем!

— Осударей у нас не бывало и не будет!

— А что вашему князю сказывали, будто мы послали — и то сказывали ложно!

— Давай сюда Захара! где Захар?

— Подавай сюда Назара! Мы их спросим!

Десятские бросились искать Захара и Назара. Голоса то возвышались до крика, то падали. Более степенные люди просили посла объяснить им, какая разница между «господином» и «государем».

— Осударь — титло.

— Что ж такое, что титло?.. а?.. Прислушайте, господо и братие: он об осударевой титле нам скажет.

— О какой такой титле? Знать не хотим никакой титлы!

— Да ты допрежь выслушай, да тогда и ори!

— Я не ору...

— Полно, слушайте, братцы!

Кое-как удалось уговорить крикунов. Они замолчали — и все стихло. Посол заговорил.

— Титло есть слово великое... Коли вы великого князя осударем назвали, и то знак, что вы за него задались, и тогда следует быть его суду в Великом Новгороде, и тиунам его сидеть по всем улицам, и Ярославово дворище великому князю отдать, и в суды его не вступатся...

Опять буря — еще сильнее прежней. Застонало вече.

— Так вот она титла!

— Кака она китла! Она не китла, а петля на шею Великому Новгороду!

— Нашли китлу!.. К черту ее! К черту китлу!

— Не китла, а титла!

— Все едино! Один черт на дьяволе!

— Захара подавайте сюда!

— Назара тащите на вече!.. Как смели они ходить в Москву судиться и крест целовать великому князю как осударю!.. Этого от века не бывало!

— И в докончании сказано, чтобы новгородца не судить на низу, а судить в Новгороде! Тащи сюда тех, кто ездил на них судиться!

— Ишь китлу выдумали!.. И народец же!

Сквозь толпу с трудом протискивались десятские с бердышами. Они вели виновных.

— Пропусти! Вечного дьяка ведут, Захара!

— Назара пропустите, братцы, к помосту!.. Пускай ответ держат!

Бледные и трепещущие подошли виновные к помосту. Они глянули на посадника — тот не смел, по-видимому, поднять на них глаз и глядел в землю.

— Переветник! — схватил за грудки вечного дьяка ближайший новгородец. — Ты был у великого князя, ты целовал ему на наши головы крест?.. Сказывай!

Вечный дьяк заговорил, но слова замирали у него в горле. Он сделал над собой усилие, и крикливо, точно с плачем, бросал слово за словом, размахивая руками.

— Точно — я был у великого князя... целовал ему крест... ино целовал в том, что служить мне великому государю...

— Осударю! Слышите!.. Это китла!

— Служить мне правдою и добра хотеть... токмо не на государя моего Великий Новгород.

— Опять китла!.. И на Новгород китлу накинул, переветник.

— Ни-ни!.. Не на Новгород и не на вас, свою господу и братью...

Голос его совсем порвался. С лица крупными каплями катился пот... Он упал на колени...

— И Назар ходил за китлой!.. Сказывай, Назарыще!

Тот стоял безмолвно и только дрожал.

— Говори! Зачем ходил?

— Посадник...

— Что посадник?

— Посадник посылал...

— А, посадник!.. И посадник переветник!.. Продали нашу волю!

Через несколько минут вместо посадника Василия Ананьина, вечного дьяка Захара Овинова и подвойского Назара на площади, у помоста, валялись безобразные клочки кровавого мяса, да кое-где в затоптанной ногами крови серебрились на солнце прядочки седой бороды и седой головы бедного посадника Господина Великого Новгорода.

— Не дам тебе, подлому, мясца ихово — каркай не каркай, — бормотал звонарь, грозя кружившемуся над площадью и каркавшему ворону и сметая метлой в одну кучу останки тел погибших — посадника, вечного дьяка и подвойского. — Не дам ни волоса, не каркай...

Не много осталось этих останков — реликвий: все прочее разнесли на сапогах да на лаптях худые мужики вечники... Экое времечко!

ХІХ. ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ У ГРОБА ВАРЛААМА ХУТЫНСКОГО

В декабре того же года Новгород обложен был московскими войсками, которые опоясывали его точно кольцом удава, постоянно, день-задень, суживавшимся.

Сначала заняты были монастыри, расположенные с Софийской стороны — Аркаж, Юрьев, Пантелеймонов и Моштищенский вплоть до реки Пидьбы, где находилась рубленая изба нашего старого знакомого — «пидблянина», недруга Гюргяты-богатря.

Потом москвичи заняли Лисичью Горку, Городище, Волоотово, Сквородку, Ковалев, Деревяницу и, наконец, Перынь и Хутынь.

Вечевой звонарь не сходил с колокольни и все наблюдал за движениями неприятеля.

— Вон, аспиды, и Городище опоганили, и Перынь, и Хутынь, поди, конским калом позаметывали, — бормотал он, по целым часам глядя на движения в московском стане.

Ворон опять стал часто пропадать, каждое утро улета за город.

— Что, подлый сыроядец, — ворчал на него старик, — али опять человечиной промышляешь?.. Эх, подлый, подлый!

Но тем дороже становился для него вечевой колокол. Сердце старика чувствовало, что изживают они с ним свои последние деньки, хотя о сдаче Новгорода и об уничтожении веча еще не могло быть и речи.

— Ах, колоколушко, колоколушко! — горестно мотал он головой. — Лучше б умереть мне тутай, на колокольне, чем видеть тебя в московской неволе.

Иногда старик, как бы забывая все окружающее, грозил кому-то кулаком по направлению к московскому стану.

— У-у, мукобряне! Московски мыши! Всю новгородску муку пожрали!

Приближались Рождественские праздники. Смутно было в Новгороде перед этими последними праздниками, но зато особенное оживление проявляли москвичи. С обеих сторон готовились к последнему решительному бою, и Москва дорого бы поплатилась, если б она решилась напасть теперь на это гудевшее отчаянной решимостью гнездо шмелей.

Но московский князь был хитер: он знал, что лучше истомить их истомой, изволочить до отчаяния московской волокитой, взять измором... И он морил их, сидя в своем стане да разъезжая на богомолье по занятым его ратями монастырям.

¹ «Мукобрянами» назывались жившие на Городище московские служилые люди, получавшие от Новгорода продовольствие (от «мука» и «брать»).

— Чего, аспиды мукобряне, развозились, словно мыши в соломе? — ворчал звонарь, заметив одним утром особенное движение у москвичей.

По льду, по Волхову, ехала целая вереница саней, выселись на конях вершники. Шествие, казалось, направлялось к Хутынскому монастырю.

— Али Хутынь поганить поплелись, мукобряне? — продолжал ворчать старик.

Он заметил, что и ворон туда же полетел, и на него тоже поворчал: «Совсем перемосковился».

Это великий князь действительно ехал на богомолье в Хутынский монастырь. Шествие обставлено было всеми признаками величия. Князя сопровождала толпа бояр и дружина латников, а в числе приближенных находился и Степан Бородатый, особенно заповнивший Иоанново сердце мудрыми изречениями из писания, которые он ловко умел подтасовывать под московское мировоззрение.

В монастыре великого князя встретил игумен Нафанаил с братиею. Иван Васильевич прямо из саней направился к церкви, опираясь на дорогой массивный жезл свой, украшенный самоцветными камнями и с рукоятью наподобие жезла Ааронова.

Всходя на паперть, он заметил сидящую на одной из ступенек крыльца молоденькую девушку, которая грустно глядела куда-то в сторону, ни на кого не обращая внимания. Ни приближение великокняжеского поезда, ни топот лошадей всадников, ни самое шествие с паперти князя со свитою и монастырскою братиею — ничто не вывело ее из созерцательного состояния. Она была одета хорошо, даже богато, а милостивое личико приковало к себе общее внимание. Великому князю показалось даже, что это личико ему знакомо, что он видел его где-то, любовался им... Особенно эти задумчиво созерцающие что-то светлые, невинные глаза...

Иван Васильевич невольно остановился.

— Кто сия девица? — тихо спросил он игумена.

— Се агнец, стригущему его безгласен, — был уклончивый ответ.

— Юродивая Христа ради?

— Ни, господине княже: Господь взял у нее разум.

— А каково она роду, отче?

— Болярсково, господине княже.

— И я так гадал в уме своем... Думается мне, я ее допрежь сего видел.

— Не токмо видел, но и на руках своих пестовал, господине княже.

Бесстрастное лицо Ивана Васильевича выразило изумление.

— Пестовал?.. Кто же она?

— Григоровичева дочь, Остромира.

— Остромирушка! — невольно вырвалось восклицание из уст, редко выражавших удивление, а еще реже говоривших то, что чувствовалось.

Он знал Остромиру еще девочкой. Наезжая иногда в Новгород, как в свою отчину, и гостя то у Марфы-посадницы, то у Григоровичей, он любил ласкать эту хорошенькую девочку и часто брал ее к себе на колени, а она, играя его бородой, часто смешила наивными вопросами: «Отчего тебя зовут великим, а батю не зовут, — а батя выше тебя», или: «Отчего у тебя глаза такие, как на образе?» — и т. п. Теперь он узнал ее и подошел к ней.

— Остромирушка! — окликнул он ее.

Девушка как бы опомнилась, поднялась со ступеньки и поглядела своими прекрасными глазами на великого князя.

— И у тебя лица нет, — грустно сказала она, — и тебе нечем Христа целовать... Одни глаза... глаза как на образе — не смеются...

Князь изумленно глянул на Нафанаила.

— Что говорит она?

— Ей видится, господине княже, что у тебя лица нет.

По лицу великого князя прошла тень какого-то суеверного страха. Он перекрестился...

— Господи, спаси... Лица нету...

— Отжени от себя сомнение, господине княже, — успокаивал его старец, — на сем помутился ее разум... Памятуешь, господине княже, коростынскую битву?

— Помню... Что ж из сего?

— В той битве, господине княже, твои ратные люди урезали великое множество носов и губ у новгородских полоняников. А у Остромиры был жених — и у него бысть урезано лицо. Как увидала она безобразие лица жениха своего — с той поры и кажется ей, якобы люди стали без лица... На сем она и помешалась...

При этом рассказе на лицо великого князя легла мрачная тень. Он глянул на Остромиру, которая опять созерцала, казалось, что-то вне всего ее окружающего, и что-то вроде упрека совести заговорило в нем, зашевелилось в сердце, подступило краской к лицу.

— Все бо приемшии нож, ножом погибнут, — как бы про себя проговорил Бородатый.

— Так-так, Степан, воистину, — глянул на него великий князь, — новгородцы на меня прияли нож — и сбывается над ними писание.

— Еже сказах — сказах, — снова подковырнул Степан по-московски.

— Воистину: еже сказах — сказах, — согласился и великий князь.

Бояре рты поразинули от восторга, а старец Нафанаил ничего не сказал, он только вздохнул.

Великий князь, еще раз взглянув на Остромиру, взошел в церковь.

После обычных поклонов и лобызания местных икон, он направился к гробу чудотворца Варлаама и поклонился ему до земли. Губы его что-то судорожно шептали, когда он поднялся с полу... «У тебя лица нет», — все еще, казалось, слышался ему тихий и грустный голос отроковицы Остромиры... Он невольно провел рукою по лицу.

— Почему вы не открываете раки чудотворцевой и не прикладываетесь к мощам его? — спросил он Нафанаила.

— Не дерзаем, господине княже, — был ответ.

— Зачем же?.. У нас на Москве таков обычай, что ко всем мощам прикладываются и целуют их, аки икону.

— У нас такого обычая нету, господине княже.

— А я имею усердие облобызать святителевы мощи.

— Нам, господине княже, неведомы его мощи.

— Как неведомы?

— Не ведаем мы, господине княже, где положены оные — верху ли земли, под землею ли...

— Так подобает открыть их...

— Никто же ставит светильник долу, ино на горе, — опять съехидничал Бородатый из писания.

— Истину говоришь, Степан, похваляю, — одобрил его великий князь, — я хочу поставить светильник Великого Новгородца, отчины моей, мощи Варлаама чудотворца — горе.

Игумен молчал. Братия смущенно поглядывала на него. Бояре заискивающе заглядывали в глаза своего повелителя.

— Точно, с мощами бы куда как охотнее.

— Знамо — и молитва крепче при мощах живет.

— Чего ж лучше!.. При мощах оно точно горазже...

Великий князь глянул на Нафанаила. Тот понял, что это был немой вопрос — надо отвечать.

— Господине княже! — начал он, смущенно перебирая четки. — Искони никто не смел видеть чудотворцевых мощей — ни князи, ни архиепископы, ни бояре... И так пове-

лось искони и до наших дней ведется, дондеже сам Бог не благословит и чудотворец Варлаам сам не явится и не повелит... А сами мы не дерзаем...

Противоречия старого чернеца, притом истого новгородца, начинали, видимо, сердить великого князя. Он и тут начинал усматривать дух непокорства — «новгородчины». Ему казалось, что это делалось в укор ему, в обиду. При всем своем железном самообладании он любил переламявать именно тех, у кого замечал сходные с собою качества... «А, кремень! Так я же высеку из тебя огонь: меня и мощи новгородские послушаются...».

— Что ты говоришь! — сказал он громко, но хладнокровно. — Вон, Иоанн Предтеча не вашему Варлааму чета, а и то руку его показывают в Цареграде... Ведомо тебе сие?

— Ведомо, господине княже.

— То-то же... А то на!.. Самого Крестителя ручку показывают в день его рожества: коли ручка прострется — и тогда Бог дарует земле изобилие, а коли согнет перстиги свои — ино бывает скудость плодов и земное нестроение... Так, Степан?

— Истинно так, господине княже, — поспешил ответить Бородатый, — сам Предтеча, чу, что приди Христа тек, — загнул он филологическую штуку.

Нафанаил опять молчал. Великий князь все более и более каменел в своем упрямстве...

— А то на!.. Варлаама, смердовича, равнять с Предтечею, — видимо волновался он.

— Ина слава солнцу, ина слава луне, ина слава звездам, — подгвоздил Бородатый.

— И звезда бо от звезды разнствует во славе, — погнался было за ним один боярин, но запнулся, — такожде и... по мощам судя... звезда от звезды, значит... потому... потому коли звезда... ну, и значит, сказать б, махонька... Варлаам, сказать бы...

Великий князь задумался. Упрямство Новгорода давно сердило его, и он не показывал этого. Он никому сроду не показывал своей души, а тем паче сердца — есть ли оно у него. Он ничего, по-видимому, не предпринимал сам, ничего не начинал, но подводил так, что другие начинали, а он их только прихлопывал, говоря: «Вы того хотели — на то воля Божия...». Во всяком деле он как-бы был исполнителем «общего хотения»; он во всем советовался с матерью, с братьями, с боярами, всех выслушивал, каждое их слово заносил в свою память, десять раз взвешивал его, перевешивал, уважал чужое

мнение, каково бы оно ни было, держась пословицы — «все умнее одного» и часто повторяя, что «у всей Руси голова больше чем у ее государя», и всегда дела его были как бы отголоском, исполнением заветной думы «всей Руси». Только прислушивался к голосу «всей Руси», он сумел «собрать» ее воедино...

Так и тут, у гроба Варлаама. Он глубоко верил божественной силе мощей. Ему казалось, что если он вынет из-под спуда мощи Варлаама угодника и почтит их, как он почитал мощи московских святителей, — Варлаам будет его невидимым союзником и сломит «рог» упрямого Новгорода... Окружающие его бояре поддерживали в нем это, запавшее в него, хотение. Значит, так надо: он даст Новгороду сокровище нетленное и славу — он горю поставит светильник новгородской земли...

Он решился. Он тотчас же приказал позвать монастырских каменщиков с ломами, заступами, лопатами и велел при себе отрывать мощи угодника.

Глухо стучали о каменный помост тяжелые железные лопы и отдавались в куполе храма. Упорный цемент не легко поддавался усилиям рабочих. Гранитные плиты помоста то и дело брызгали искрами. Игумен и монахи, стоя в стороне, при каждом ударе лома, испуганно крестились и вздыхали, точно железо било их по сердцу. В церкви, в короткий декабрьский день, все более темнело: свечи у образов чуть теплились и бросали длинные тени от раки Варлаама, от аналоев, от бояр, стоявших полукругом, от черных фигур монахов. Все лица казались бледными, мертвенными. И лицо великого князя было сумрачно бледное...

Он думал: хорошо ли он поступает, что, не узнав воли самого святителя, он дерзнул потревожить его прах? А если святителю не пришло время выйти из-под спуда? Что, если он поразит дерзкого своим гневом?

Ему стало страшно. Чернецы, смущенно стоявшие в отдалении, казались ему какими-то призраками, тенями. Из-под железных ломов все более и более сверкали искры. Где-то над церковью каркал ворон, и великому князю слышалось, будто бы он человеческим голосом выговаривает какое-то слово.

Он глянул на лик Спасителя, тускло освещенный лампадкою. Большие очи Христа смотрят с укоризною... «Зачем ты это делаешь?.. Кто благословил тебя?»

А стук ломов все глуше и глуше. Все глубже взрывается каменистая почва могилы святителя. Искры снопами вылетают из темного зева могилы...

«Зачем?.. Кто благословил?..». Глаза Спасителя не отрываются от него, в душу смотрят...

Что-то треснуло в лампадке и вспыхнуло — и еще ярче, еще укоризненнее выглянул лик Спасителя из-за золотого венчика, словно из-под тернового венца... Глубоко смотрят божественные очи, все видят, они зрят незримо — душу его зрят... Какова его душа? Что в ней?.. Не мерзость ли запустения?..

«О, не смотрите, Божественные очи!» — хочется простоять ему, и он слышит, как волосы на голове становятся живыми, шевелятся, отодвигаются друг от дружки, словно сами себя боятся...

И опять каркает ворон...

От входных дверей отделилась какая-то тень и двигается, двигается ближе, к разрываемой могиле...

Не сам ли святитель?.. Не пришел ли он взглянуть, что делают с его вечным жилищем?..

— За что вы лицо его взяли? — шепчет тихий голос.

— О-ох! преподобие, помилуй! — слышится стон из среды чернецов.

Густая белая пыль выходит из отверстия ямы, точно дым... Не дым ли это?.. Не огонь ли поломя?

Церковь колеблется... Каменные плиты под ногами двигаются... Свечи и лампы тускнеют и колеблются — и лик Спасителя отделяется от стены...

Что это?.. Это не чернецы... их лица мертвые... И у бояр мертвые лица, и у Степана Бородатого...

Опять каркнул ворон у самого окна... Что это?.. Он каркает: «Варлам, Варлам!..».

— Дым, дым... огонь из могилы...

— Господи, помилуй!.. Точно дым и огонь.

Великий князь затрепетал — первый раз в жизни он почувствовал неодолимый ужас...

— Бросьте! Бросьте! Не копайте!.. Господи! Помилуй нас... Чудотворче Варлааме! Прости мя, грешного...

И точно гонимый невидимую силою он бросился из церкви, стуча жезлом о каменный помост... «Господи, и тут пламя!..». Из-под железного наконечника жезла вылетали искры...

— Помилуй мя, Боже, по велицей милости... Ох, что это?

Бояре, при всей своей татарской солидности и холопской важности, также испуганно метнулись за великим князем, словно овцы, крестясь и повторяя: «Охте-хте! Батюшки! Свят... свят... свят!..»

А великокняжеский жезл все стучит о гранитные плиты помоста церковного, паперти, крыльца, и огненные брызги по пятам преследуют беглеца...

— Чур... чур... чур!.. Охте нам! Охте!

В конце каменных мостков, ведущих из монастыря, великокняжеский жезл в последний раз ударяется о гранит и извлекает из него искры...

— Карр! Карр! Варрам! Варрам! — каркал над головою ужасный ворон.

Иван Васильевич бросил жезл и торопливо сел в сани, едва успев опереться на плечи отроков.

— В стан! В стан! Домой! — хрипло торопил он возницу и вершников.

Поезд быстро двинулся назад, а вслед ему доносилось карканье страшного ворона.

XX. ПОСЛЕДНИЕ ДНИ НОВГОРОДА

Настали страшные, последние дни для Новгорода.

Москвичи все туже и туже затягивали мертвую петлю, которою они исподволь душили несчастный город. У новгородцев не хватало съестных припасов, а подвоз был отрезан. Начался голод. Люди пухли от голодовки и мерли. В городе начался мор — ужасный бич в те времена, когда еще не существовало ни докторов, ни медицины. Люди заболели и умирали, прибегая к единому врачу и к единственному лекарству — к попу и причастию...

Больные ложились на лавки и с восковыми свечами в руках умирали.

Мертвых хоронить было негде — кладбища были в руках у неприятеля — и новгородцы едва-едва присыпали своих мертвецов снегом да приметывали соломкой да навозом.

«Вечному» ворону уже нечего было летать за добычей в московский стан: человечины вдоволь было и в городе... Новгородское воронье так отъелось за это время, что просто хоть на убой...

Прошли первые святки, ужасные святки, каких никогда не приходилось справлять новгородцам, никогда с той поры, «как и земля их стала»...

Вечевой звонарь только глядел на свой колокол и почти не осушал своего единственного глаза.

— Ах, колоколушко мой, колоколушко!.. На кого-то ты нас покидаешь, кому нас, сирот, приказываешь? — тихо при-

читал он, качая своею бездольною головою, ибо слух прошел, что великий князь порешил: «Вечу не быть, колоколу не быть и посаднику не быть».

Пришло совсем погигать Новгороду — он без войны вымирал «наглою смертью».

Тогда созвонилось последнее вольное вече — звонарь навзрыд рыдал, колотя железным языком в медные края колокола, — и новгородцы в последний раз отправили к великому князю послов: владыку Феофила, всех архимандритов, игуменов и священников семи соборов новгородских, степенных посадников, тысяцких, старост и житых людей от всех концов.

Великий князь велел их позвать к себе на очи. Он стоял в это время на Городище.

И вот в княжескую палату вступило все оставшееся величие Господина Великого Новгорода, все то, чем заправлялась великая северная страна, не знавшая ни войн, ни поборов, а развивавшая свою силу, богатство и энергию вольным трудом и свободой личности.

Робко вступили послы великой страны. Это уже были не те смелые представители воли: воля не спасла вольных людей — их победили, как это всегда бывает, невольники и холопы. Несчастья родины, горе и личные страдания провели неизгладимые борозды — «черты и резы» на их лицах.

Лицо великого князя было все то же — лицо сфинкса, каменное, холодное, неподвижное. И бояре по-прежнему стояли истуканами, и Степан Бородатый смотрел своими круглыми птичьими глазами, точно собирался зловеще каркать от писания.

Послы поклонились земно. Голова великого князя хоть бы шевельнулась.

Владыка первый начал говорить голосом и тоном, каким он обыкновенно молился всенародно об избавлении от огня, меча, труса и нашествия иноплеменных

— Господин великий князь Иван Васильевич всяя Руссии милостивый! — просительно возглашал он. — Я, богомолец твой, и архимандриты, и игумены, и все священници седми соборов новгородских и все люди, бьем тебе челом! Меч твой ходит по новгородской земле, кровь хрестьянская льется...

Владыка захлебывался слезами. Многие из послов также плакали.

— Смилуйся, господине, над своею отчиною — уйми меч, угаси огонь!

Он не мог далее говорить. Его продолжал общий плач посольства, общее рыдание.

Иван Васильевич молчал. Рыдания оглашали палату.

— Смилуйся, господине, не погуби вконец люди твоя, свою отчину... О-о-ох, милостив буди! Не погуби! Пожалей жен и младенцы сосущие... помираем наглою смертью... о-о!

Иван Васильевич поднял свои холодные как стекло глаза к темному потолку, словно призывая небо во свидетели.

— Ты, богомолец мой, владыка Феофил, и вы, отчина моя, Великий Новгород, слушайте глагол мой! — начал он с расстановкою, точно по писанному. — Вы сами гораздо знаете, что присылали есте к нам, великим князем, от нашей отчины, Великого Новгорода, подвойского Назара да вечно-го дьяка Захара, и они назвали нас государями. По вашей присылке и челобитью мы отправили к тебе, владыке, и ко всему Великому Новгороду послов своих и велели спросить, каково есте государства хотите вы в Великом Новгороде? Вы заперлись и сказали есте, что послов-де к нам не присылавали и на нас, великих государей, взваливали, якобы мы чиним над вами насилие, и тем ложь положили на нас, своих государей. Много и иных неисправлений чинится от вас, токмо мы все ждали вашего обращения, а вы есте явились паче того лукавейшими. За сие мы более не возмогли терпеть и положили идти на вас ратью, по Господнему словеси, — при этом оратор покосился на Степана Бородатого: слушай-де как от-деру из писания, — «аще согрешит брат твой, шед, обличи его пред собою и тем единым, и аще послушает тебе — приобрел еси брата твоего...» — Бородатый одобрительно кивал головой: важно-де чешет из писания, — «...аще же не послушает тебе, пойми с собою двои или трои свидетели, при устах бо дву или трех да станет всяк глагол; аще же и тех не послушает — повеждь церкви, аще и о церкви нерадети начнет — буди ти якоже язычник и мытарь» — Бородатый даже крякнул: «Ну и отодрал же... ах!» — Вот мы так и учинили, — продолжал великий князь, хорошо поняв кряк Бородатого, — посылали к вам, отчине своей: престаните от зlob ваших. А вы не восхотели и вменились нам яко чужи... И мы, положа упование на Господа Бога и пречистую его Матерь, и на святых, и на молитвы прародителей своих, пошли на нас за ваше неисправление.

Великий князь умолк. Он сам чувствовал всю неправоту речи своей: не того добивался он от Новгорода, не исправления его, а того, чтобы в конце добить этого опасного, сильного соседа, эту энергичную народность, еще не деморализованную

неволей и восточным холопством. И он вспомнил свое бегство из Хутынского монастыря, мрачную могилу, огонь и дым, карканье ворона, потерю жезла... Ему холодно стало... «Такие у них и угодники разбойники, как они сами», — мелькнуло у него в уме...

Посольство безмолвно плакало. Великий князь сделал неопределенный знак рукой и, шурша шелками своего одеяния, вышел в другую палату.

Новгородцы стояли в каком-то оцепенении... Суровый попрек на все их моления и слезы — и больше ничего... С чем же они воротятся в Новгород?.. Что скажут городу... С чем явятся на вече?

Владыка беспомощно перекрестился.

— Господи! Не яко же мы хоцемы, но яко же хоцещи Ты.

К ним подошел Степан Бородатый и лукаво глянул на своих московских бояр: мекайте-де, я им загну калач московской — не разогнуть...

— Не попригожу вы, отцы и братие, челом бьете, — таинственно сказал он новгородцам, — и как вас великому государю на том челобитье жаловать?.. Не попригожу...

— Почто не попригожу? — удивился владыка.

— Мекайте сами, — загадочно ответил Бородатый. — А захочет Великий Новгород бить челом — и он знает, как ему бить челом.

На слове как он сделал ударение. В этом ударении слышалось что-то роковое для Новгорода, грозное, злоещее — бесповоротное решение его судьбы...

Послы оставались в стане — их не отпускали в Новгород, не давали «опасной грамоты» или пропуска: их с умыслом томили.

А Новгород между тем ждал их возвращения. Что там происходило — того и старец Нафанаил, последний новгородский летописец, не в силах был передать, «за слезами убо не видел ни листа, на чем писать, ниже куда тростию скорописною макать»...

В отчаянии новгородцы все еще укреплялись, насыпали валы острожные, и из мертвых, не доеденных собаками и воронами тел человеческих, прикрытых кое-как мерзлой землей, делали себе бойницы и засеки.

Вече уже не собиралось, а вечерая площадь и все улицы так просто стонали голосами... Вечный звонарь все это видел и, сидя под колоколом, коченеющими руками шил себе саван.

Марфа надела суровую власяницу на свое нежное, пухлое тело и ходила по больным и умирающим, разнося им мило-

стыню успокоения ради душ боярина Димитрия, старшего своего сына, и новопреставленного боярина Феодора, младшего сына, о котором она узнала, что он недавно умер в заточении, где-то в далеком Муроме... Как горькое безумие прошлого, она часто вспоминала о князе Оленьковиче и представляла княжескую корону на своей седой голове... «О, суета суетствий!...» А как сладка была эта суета...

Послы все томились в московском стане, моля допустить их вновь на очи великого князя. Вместо князя к ним являлся Степан Бородатый.

— Не попригожу, не попригожу бьете челом, — твердил он новгородцам, — для чего вы отпираетесь от того, с чем приезжали на Москву Захар да Назар, и не объявили, каково государства хотите вы, и тем возложили на великого государя ложь.

— Мы не лгали, — оправдывались новгородцы.

— А не лгали, так не попригожу бьете челом... А восхождет Великий Новгород великим князем бить челом — и он сам знает, как бить челом, — снова заканчивал он своим ядовитым намеком.

Это было убийственное томление человека, которого присудили к повешению — такова была политика «собирателя русской земли»!.. Зачем-де сами не смекнете, что вам делать?.. Сами-де принесите на себя петлю и сами на ней повесьтесь — такова-де наша воля...

— Не попригожу, не попригожу, — потирал он свои пухлые руки.

Новгородцы, наконец, с отчаяния повинились в том, в чем никогда не были виновны: приняли на себя личную вину Захара да Назара, которыми им постоянно кололи глаза.

— Мы винимся в том, что посылали Назара да Захара и перед послами великого князя заперлись, — проговорили они свой приговор.

Бояре пошли к великому князю и вскоре воротились от него с ответом.

— А коли вы, — отвечал он через бояр, — коли вы, владыка и вся отчина моя, Великий Новгород, пред нами, великими князи, виноватыми сказались и сами на себя свидетельствуете и спрашиваете — какого государства мы хотим...

— Мы о сем не спрашивали и не спрашиваем, — перебил один из новгородцев.

— Не перебивай слово государево, — сердито остановил его Бородатый, — слово государево что литургия — перебивать не годится — ни-ни!

Боярин продолжал по заученному:

— ...и спрашиваете — какого государства в нашей отчине, Великом Новгороде, как у нас в Москве.

Новгородцы в отчаянии опустили руки... Заставили-таки их принести на себя веревку и свить мертвую петлю!.. «О, московское лукавство!» — колотилось в сердце у владыки, но он смолчал.

Тогда новгородцы решились на последнее средство: подействовать на алчность московскую. Они по опыту знали, что это была за бездонная копилка — «казна осударева», как на Москве любили изречение из нового московского Евангелия: «чтобы нашей осударевой казне было поприбыльнее».

— Пускай бы великий князь, — предложили они, — брал с нас на каждый год со всякой сохи по полугривне, держал бы наместников своих и в пригородах, как в Новгороде, токмо чтоб суд был по старине, не было бы вывода людей из новгородской земли и на службу в низовскую землю новгородцев не посылали бы. А мы рады боронить рубежи, что сошлись с новгородскими землями... Да чтоб великий князь в боярские вотчины не вступался.

Опять бояре толкнулись к великому князю и опять вынесли суровую отповедь. Вот слова великого князя:

— Я сказал вам, что мы хотим такого государства, какое в нашей низовской земле — на Москве, а вы нынече сами мне указываете и чините урок нашему государству... Так что ж это за государство!

Ничто не помогало! Одно слово — налагай на себя руки... Но и в петле все еще есть надежда...

— Мы не учиняем урока государства своим государям, великим князьям! — в отчаянье всплеснул руками владыка. — Ино Великий Новгород низовского обычая не знает — как наши государи, великие князья, держат там в низовской земле свое государство?

Почва уходила из-под ног несчастных: они уже сами говорят — «наши государи». А давно ли за одно это слово разнесли на подошвах сапог и лаптей кровавые клочки тел посадника Василия Ананьина да вечного дьяка Захара, да подвойского Назара, а остатки их и волосы, смешанные с кровавою грязью, вечевой звонарь защищал от своего прожорливого ворона!

А теперь уж все пропало — не до слов больше... Государи, так государи — все равно!.. Новгород уж умер.

— Нету послов, нету! — с тоской посматривал звонарь на московский стан. — Померли они, чи и им головы урезали.

И он, словно потерявший рассудок, обращался к ворону.
— Полети, сынок, полети, воронушко, принеси от них весточку...

— Со свя-тыми упо-кой! — раздавался по улицам Новгорода погребальный гимн.

Это пел слепой Тихик: он хоронил новгородскую волю, а сам плакал... И что ему, слепому нищему, была новгородская воля!.. А все жаль... Да вот и мне, пишущему это через четыреста лет после того, как она прошла и быльем поросла, жаль ее. А что мне Новгород?.. Что мне Гекуба?..

Но ворон не приносил звонарю весточки. Ее принесла кудесница, та старая кудесница, что жила за городом в каменоломнях. Она, как знахарка, бродила по московскому стану и там ее все знали.

И вот как она все узнала. На святках, гуляя у князя Холмского, Степан Бородатый хватил через край — перепил маленько. После этого у него сделался «чемер» — болезнь эдакая московская. Так кудесница у него якобы «чемер срывала», а может, была у него и по другим делам. От него она все узнала и рассказала звонарю, своему старому знакомому.

— Впустили это наших к нему, — рассказывала она, — а ён сидит на золотом столе, золоту палка в руках держит... глазищи у ево во каки... А вокруг ево бояре тихеньки-претихеньки, словно песики махоньки... А наши-то стоять и плачут. А ён и возговорить, точно вечной колокол...

— Ну уж, бабка, — обиделся старик, — далеко ему до колокола.

— Ну, не как вечной, а как юрьевской... Ён и молвит: отдайте мне Марфу-посадницу, тогда я отдам вам нелюбье мое.

Дело было, однако же, не совсем так. Истомивши послов напрасным ожиданием, великий князь велел, наконец, пустить их к себе на очи.

Когда послы вошли, то Иван Васильевич, ласково взглянув на них, что с ним редко бывало, подошел к владыке под благословение и, стоя среди палаты, сказал свое последнее, роковое решение:

— Вы мне бьете челом, — произнес он с своею обычною точностью, — чтобы я вам явил, как нашему государству быть в нашей отчине, Великом Новгороде. Ино ведайте — наше государство таково: вечно и колоколу в Новеводе не быть...

Некоторые послы отшатнулись и перекрестились...

— Посаднику не быть...

Он помолчал. В палате, казалось, никто не дышал. Только у владыки хрустнули пальцы... «Вечу и колоколу не быть... посаднику не быть», — шептал, стоя в стороне, Бородатый, словно бы это была молитва.

— Государство свое нам держать, как подобает великим князьям, как держим мы свое государство в нашей низовской земле. И земли великих князей, что за вами, отдать нам, чтоб это наше было. А что вы бьете челом мне, великому князю, чтоб не было вывода из новгородской земли и чтоб мне не вступаться в боярские земли, и мы тем жалуем свою отчину, и суд будет по старине в Новгороде, как в земле суд стоит.

Больше он не сказал ни слова и вышел.

— Вечу и колоколу не быть... посаднику не быть, — рас-
терянно, точно во сне бормотали новгородцы, дико озираясь.

— Новугороду не быть... новгородской воли не быть.

— Господину Великому Новугороду не быть... всем нам не быть...

— Помереть, помереть — ничего боле не осталось.

— Что вы?.. Зачем же? — утешал их Бородатый. — Вон мы-ста живем за осударем, великим князем, а не помираем...

— Живем как в раю, аки у Христа за пазухой, — под-
тверждали другие бояре.

— Аки сыр в масле катаемся...

— Что и говорить!.. Помирать не надобеть...

— Ну и вы, братцы, поживете — свыкнетесь, а свыкнет-
ся — слюбится...

— Вечу не быть... колоколу не быть... посаднику не
быть, — бормотали свое новгородцы, как потерянные, — по-
мереть — одно осталось...

Когда они, наконец, несколько пришли в себя и увидели, что дело их уже бесповоротное, что и их вече, и посадники, и их дорогой вечевой колокол с его живою, для каждого новгородца понятною речью отошли в вечность и похоронены на московском кладбище, — они решились попробовать сбе-
речь хоть что-нибудь, хоть частицу своей воли — свой суд и свою личную неприкосновенность, чтоб их по крайней мере не брали на службу в эту страшную «низовскую землю», в эту ужасную Москву, — не звали туда на «шемякин суд», не «выводили», не угоняли в полон.

Как и прежде, они думали, что то, что сказал сейчас ве-
ликий князь, он скрепит крестным целованием — присягнет, что будет держать свое слово. Так у них велось от старины. Поговорив тихонько между собою, покачав безнадежно голо-
вами и утерев не одну слезу, они снова обратились к боярам:

— Бьем челом, — поклонился боярам владыка, — чтоб великий государь дал крепость своей отчине — грамоту... и крест поцеловал.

Бояре пошли во внутренние покои князя.

— Прощай, наша волюшка! — вздыхали старые новгородцы. — Прощай вольный свет.

Бояре скоро воротились.

— Великий осударь креста целовать не будет, — был короткий ответ.

Новгородцы недоумевающе посмотрели друг на друга. Их уже, казалось, ничто не удивляло — так много они видели и слышали и так глубоко переболели душой, что им уже было почти все равно... Не все ли равно умирать!.. Но они должны были дать отчет Новгороду, отчет тем родным братьям, сестрам и детям, которые доверили им все, что им было дорого на свете, и теперь ожидали их в мучительном неведении и страхе.

— Так вы, братие, целуйте крест за великого государя, — прервал владыка мучительное молчание, глядя робкими глазами в круглые, бесстыжие глаза Бородатого.

Бояре опять пошли к государю.

— И боярам великий государь креста целовать не велит, — вынесли они короткий ответ.

— Так хотя наместник, что будет в Новгороде, пусть крест целует! — взмолился владыка.

Опять ушли и опять воротились.

— Целовать креста не будет и наместник! — был последний ответ великого князя.

Что оставалось послам? Идти и броситься в ноги всему Новгороду — выплакаться, по крайней мере, перед ним, выкричать боль души, позор, отчаяние, да подумать всем Новгородом, вымолить себе помощь у Бога, у святой Софии, у всех сил небесных, а потом умереть на родном пепелище, как умирает волчица, защищая своих детей...

Но дед Грозного подумал об этом раньше. Он знал, что и курица защищается, когда ее режут, что и воробей клюет когти ястреба, пока они не растерзают его, не лишат способности трепыхаться.

Новгород еще трепыхается... Надо его выморить совсем... Притом его, Ивановы рати, рассеявшиеся по обширной новгородской земле от Шелони до самой Печоры, еще не все вырезали и пожгли это живучее змеиное племя новгородское... Надо так «ускромнить» это племя, чтоб его и на семена не осталось, чтоб не взошло оно вновь, не дало новых порослей...

Тогда уже новгородская земля «не отрознится» от низовской земли, от Москвы...

Вот что думал «собиратель земли русской» — и не пустил новгородских послов из своего стана. Он знал, что в городе мор — пусть же вымрут сами змееныши, волею Божией, а не его, великого князя, повелением.

И оно вышло так, как он удумал — «как ему Бог и Пречистая его Матерь на сердце положили».

30 декабря явился в стан последний защитник Новгорода — наш старый знакомый, князь Василий Шуйский-Гребенка.

Послы увидели его, обрадовались было ему, как родному: свой человек, долго жил с ними, бился за Великий Новгород, за святую Софию и за волю новгородскую.

— Что, князь Василий, почто прислан? — спросил его владыка, осеняя крестом.

— Я, владыка святой, не прислан — сам пришел.

— Что так, княже?

— Вчерась откланялся Господину Великому Новгороду.

Феофил, казалось, не понимал его — он не хотел понимать.

— Что, княже?.. Не уразумею я тебя.

— Вчерась, говорю, на вече, пред всеми оставшимися вживе людьми сложил есми с себя крестное целование Господину Великому Новгороду, благодарил за хлеб за соль... Уже я Новгороду не слуга...

Владыка все понял. Но ему страшно было спрашивать дальше — и все-таки спросил:

— А как же мы?

— Надоть покориться — на то воля Божья... Новгород уже, владыка, не Новгород, а, сказать бы, пустой улей — пчелки все, почитай, вымерли, и мед осы растаскали... Я пришел служить Москве.

Великий князь ласково принял последнего потомка некогда могущественных, а потом низложенных владетельных князей суздальских, «захудалого» князя Василия, последнего «кормленого» князя Господина Великого Новгорода.

Узнав от него, в каком отчаянном положении находится Новгород, Иван Васильевич приказал позвать к себе новгородских послов на очи. Они ожидали услышать от него последнюю волю, но услышали опять что-то старое, загадочное, зловещее.

— Вы мне били челом, чтоб я отложил гнев свой, не выводил бы людей из новгородской земли, не вступался в

вотчины и животы людские, чтоб суд был по старине и чтоб вас не наряжать на службу в низовские земли, — проговорил он, глядя неподвижно на наперсный крест Феофила. — Я всем сим жалую отчину свою, Великий Новгород.

И ни слова больше. Поворотился и велел послам уходить. Те поклонились и попятились к дверям... Зачем же звал?.. Они это давно от него слышали... Новое лукавство!

А лукавство было вот в чем. Едва послы вышли, как к ним вышли и бояре.

— Великий князь велел вам сказать вот что: чтоб-де наша отчина, Великий Новгород, дал нам волости и села — нам-де, великим государям, немочно без того держать свое государство на своей отчине, в Великом Новгороде.

Надо было отдать и села, и волости — все отдать! Да еще дань — по полугривне с сохи!..

— Как липку ободрали на лапотки, — хихикал себе в бороду Степан Бородатый, когда новгородские послы, убитые горем и измученные, не смея поднять глаз к родному небу и на святую Софию, возвращались в свой некогда шумный и веселый, а теперь почти вымерший улей.

Проходя мимо вечевой колокольни, они не решались поднять глаз, чтоб взглянуть на свое сокровище — на вечевой колокол, как ни хотелось им видеть и слышать его в последний раз...

Но с этого дня колокол уже не звонил!

— Переставился, колоколушко мой!.. Помер, помер, родной мой батюшка — о-ох! — рыдал навзрыд вечевой звонарь, обнимая и целуя холодную медь...

XXI. УВОЗЯТ ВЕЧЕВОЙ КОЛОКОЛ И МАРФУ-ПОСАДНИЦУ

— Князь великий Иван Васильевич всея Руссии, государь наш, тебе, своему богомольцу, владыке, и своей отчине, Великому Новгороду, глаголет так: «Ты, наш богомолец, Феофил, со всем освященным собором и вся наша отчина, Великий Новгород, били челом нашей братьи о том, чтоб я пожаловал — смиловался и нелюбие сердца сложил. Я, князь великий, ради своей братьи жалую свою отчину и отлагаю нелюбие. Ты, богомолец наш архиепископ и отчина наша написали грамоту, на чем-де били нам челом и целовали крест, — ино пусть теперь все люди новгородские, моя отчина, целуют крест по той же грамоте и оказывают нам дол-

жное. А мы вас, свою отчину, и впредь хотим жаловать по вашему исправлению к нам.

Так говорил князь Иван Юрьич всему Новгороду от имени великого князя. Это было 15 января 1478 г. Он говорил на Софийском дворе — там, где когда-то мы видели весь Новгород при избрании владыки Феофила. С того времени прошло около двенадцати лет. Как изменился с тех пор Новгород! Как редки стали толпы, слушавшие теперь московского оратора, и лица новгородцев стали худы и бледны, а у многих — и совсем лиц не было... То были жертвы коростынского зверства москвичей...

Они точно не понимали, что им говорилось: так дико звучали в их ушах слова — «смиловался», «нелюбие сердца сложил», «жаловать хотим»; так не согласовывались эти слова с тем, что они видели, что пережили... «Где же Бог? — думали они. — Где правда?»

«А вон где Бог, вон где правда: у владыки Феофила в руках, на серебряном кресте... Вон где Бог — на кресте... Правда распята: — вон где правда на земле — на кресте она, правда-то... И ручки и ножки гвоздями пробиты, да крепко-крепко ко кресту приколочены, чтоб и не сойти ей, правде-то, со креста... И ребрышки у правды-то, у Бога, прободены копьем, до самого сердца прободены, за то что любовью к бедным людям билось это сердце... Так вон где Бог... А мы ищем его... Вон Он — и святую головку на плечико склонил», — в каком-то забытьи думал «пидблянин», глядя на распятие, которое сверкало в руках владыки.

— Целуйте слово и крест Спасителя нашего! — возгласил князь Иван Юрьич.

И все стали целовать книгу, что сохранила слова Спасителя, и крест, на котором Его распяли... Это присягали новому государю — уже не Господину Великому Новгороду...

Присяга шла по всем соборам, по всем церквам, во всех пяти концах. Бояре, бывшие посадники, тысяцкие, житые и бывшие власти Новгорода приводились к присяге на Софийской стороне московскими боярами, а на торговой стороне — детьми боярскими и дьяками.

По церквам, площадям и улицам слышался плач. Новгородцы целовались и прощались друг с другом, знакомые и незнакомые, друзья и недруги, кланяясь один другому в землю и словно в прощенный день.

Видя слезы старших, по всему Новгороду плакали дети, отыскивая матерей и отцов, которых гнали к присяге. Слышался лай и вой собак, которые на лицах людей читали что-то

недоброе. Ревел некормленный скот, которого давно и кормить было нечем.

Многие спешили на могилы отцов, чтобы проститься с ними и с новгородскою волею.

Слепой Тихик, ходя по улицам, продолжал петь «со святыми упокой». Во всех церквах шел перезвон, как по покойнику. Это заметили москвичи и не велели звонить. Тогда общий плач стал еще слышнее и раздирательнее.

Павша Полинарьин, бывший жених Остромиры, у которого при Коростыне москвичи обрубали нос и губы до самых челюстей, пригнанный в церковь для присяги вместе с прочими, не хотел целовать креста.

— Целуй слово и крест Спасителя нашего, — напомнил ему Бородатый.

— Мне нечем целовать, — отвечал Павша.

— Как нечем, малый?

— Видишь — мои губы ворон склевал.

— Ну, приложись так.

— Я не пес, чтобы Христа зубами тыкать.

— Так я те в зубы-те крестом!

И Бородатый действительно ударил Павшу в зубы крестом, но получил такой сдачи, что сам потерял три зуба. Павшу взяли «за приставы» — и его белые зубы вместе с челюстями и черепом сгнили потом где-то далеко в «низовской земле», за Окою...

У Ярославова дворища, на вечевой площади, собрались последние вечники, чтобы проститься с колоколом. Но москвичи не пустили их на колокольню: они сами туда отправились снимать колокол.

Старик звонарь заперся было на своей башне, но москвичи выломали дверь и взошли на башню. Звонарь встретил их с оружием в руках — с старым, заржавленным бердышом, которым он в блаженное время лучину себе щипал по зимам; но бердыш у него отняли и сбросили с колокольни, а самого хотели связать. Старик с плачем бросился им в ноги.

— Батюшки! Родимые! Дайте проститься с колоколушком! Родимые, не погубите! — вопил он так горько и беспомощно, что москвичи сжалились над стариком.

— Ну, прощайся, старина... Али он тебе сыном был?

— Батюшки! голубчики!.. сыночек он мне... отец родной... кормилец мой! — бессвязно бормотал старик.

Он обхватил колокол руками, колотился об него головою, целовал, плакал, приговаривая: «Прощай, колоколушко! Прощай, сыночек, золото мое — серебро!.. О-о!»

— Полно, старина, будет тебе плакаться-то!.. Ишь, словно с женой целуется, — смеялись москвичи, — полно... эка невидаль!

— Убейте вы меня, голубчики! Заколите на месте! — плакался несчастный.

Его силой оттащили от колокола и стали снимать новгородскую вековую святыню. Колокол, казалось, стонал, но так глухо, точно в самом деле умирал.

Старик как помешанный бегал то к тому, то к другому, ломая руки.

— Батюшки! голубчики! легче! для Бога легче! Не ушибите вы его, не уроните!.. для Бога прошу легче!.. Не так... не так, кормильцы!.. За ушко-то легче, не отломите!.. Ох! язычок-от не надо... не надо трогать... легче! Не зашибите... Бочком... бочком его, золото мое червонное...

Встревоженный вознею на колокольне ворон заметался и закаркал над самыми головами москвичей, задевая их крыльями.

— Кой черт! ворон!.. Откудова он взялся!.. Ах, аспид! — удивлялись москвичи.

— Чур... чур!.. Ах ты, дьявол!

Крик ворона, казалось, усилил отчаянье старика. Он всплеснул руками.

— Воронушко! миленькой! Смотри... смотри! Берут его, берут колоколец наш... Господи! что ж это будет...

С площади грустно смотрели новгородцы на возню на колокольне и горько качали головами.

— Эх! Христа со креста сымают — и греха на них ниуту... Жиды, сущие жиды!..

Когда колокол спускали с колокольни, он раза два прозвонил.

— Заговорил, заговорил, колоколушко! — кричал старик, сбегая с помоста. — Заговорил: прощается с Новгородом... О-ох!

Площадь уже была полна народом, но ее, для порядка, стеной окружали московские и татарские конники. Тут же, под колокольней, стояли уже сани-дровни, которые должны были везти колокол в московский стан.

— Заговорил батюшка!.. Заплакал колоколец!.. Прощаетца с детушками!

Стоны и вопли новгородцев, смотревших, как тихо, качаясь и вздрагивая, спускалась вниз их древняя святыня, заглушили последние, «незаконные» удары колокола, глашатая утраченной ими воли.

— Прощай, прощай, наш вечной колокол! — раздавались голоса. — Прощай, родимый! Прощай, наша волюшка!

Опускаясь все ниже и ниже, колокол стал прямо на сани. Толпа бросилась было прощаться с ним, но конники всех отпирали от саней. Не отгоняли одного звонаря — так он был жалок. Даже один татарский конник, видя, как старик, голося и причитая, бегал вокруг саней и то соломки под бока колокола подсовывал, «чтоб ему помягче было», то вытирал его полый своего зипунишка, сжалился над стариной.

— Зачем, бачка, плакал? Он и на Москву зыванить будет — ай-ай хорош!

Сани тронулись, сопровождаемые отрядом конников. На облучке саней сидел знакомый уже нам татарин Ахметка, тот самый, что в Русе рубил головы Димитрию Борецкому с товарищами и правил лошадьми. Звонарь следовал за самыми санями и плакал.

За санями же, по сторонам, шли толпы новгородцев. Многие из них также плакали, особенно бабы, а когда сани равнялись с кем-нибудь на улице из прохожих или с чьим-либо домом, то все выбегали за ворота, снимали шапки, кланялись и крестились, точно бы мимо них провозили покойника.

Когда сани с колоколом, выехав из Славенского конца, проследовали через «великий мост» и въезжали в конец Людин, то на самом побережье встретились с другими санями, пошевнями, тоже окруженными конниками и тоже следовавшими по направлению к загородному селу боярина Лошинского, где был стан великого князя.

В пошевнях, в богатой собольей шубе, закутанная черным платком, из-под которого кое-где выбивались прядочки седых волос, сидела старуха, по-видимому, погруженная в глубокую думу. Морщины, такие резкие и отчетливые, бороздили ее некогда красивое лицо. Она, казалось, ничего не видела. Рядом с ее санями шел юноша, высокий и стройный, в богатой шубе и высокой боярской шапке, из-под которой выбивалась целая масса черных, вьющихся кудрей. Он часто оглядывался назад, на Новгород, и, казалось, прощался с ним.

Это везли в московский стан Марфу-посадницу, и рядом с нею шел ее внучек Исачко, теперь уже совсем большой юноша, лет семнадцати-восемнадцати, и уже не Исачко, а Исаак Борецкий — последний из рода Борецких, посадников Господина Великого Новгорода.

Марфа смотрела совсем старухой.

Увидав колокол и плачущего за ним звонаря, она перекрестилась.

В это время, пробившись сквозь ряд конников, к Марфиным саням с плачем бросилась какая-то девушка. Голова ее не была ничем прикрыта и льняные волосы, совсем незаплетенные, трепались по ветру, окутывая и плечи ее, и миловидное личико.

— Матушка моя родимая! Мама моя милая! Возьми меня с собою!.. Для чего ты раньше не признала меня, не сказала мне, что я чадо твое! Матушка!.. Мне крестница все сказала и крест твой отдала мне... О, проклятая я! Сгубила Новгород! Я тебя сгубила, матушка!

Марфа вся задрожала, услышав эти крики девушки. Она приподнялась, протянула руки...

— Иди, иди ко мне, дитячко!.. У меня никого не осталось... Я мать твоя проклятая... Я боялась суда людского — и покинула тебя... Бог наказал меня. Иди же ко мне, чадо мое милое!..

И она закутала шубою молодую девушку, крестя и целуя ее. Это была Горислава, мнимая внучка кудесницы.

Поезд не останавливался. Впереди ехала Марфа, а за нею следовал колокол. Старый звонарь уже не плакал — нечем было.

Зато ворон, видя своего воспитателя в необычном месте и в необычной обстановке, отчаянно каркал, летая над поездом.

Так пал Господин Великий Новгород как независимое государство. Пал он и как народность в смысле гражданском. Герберштейн, посетивший Россию, или, как он ее называет — Московию в следующем за падением Новгорода столетии, говорит о Новгороде и о всей его народности так: это была «гуманнейшая и честнейшая» народность; но когда москвичи внесли в нее «московскую заразу», она сделалась развращеннейшею¹.

¹ Novagardia gentem quoque humanissimam ac honestam habebat: sed quae nunc procul dubio peste moscovitica, quam eo commeantes Mosci secum invexerunt, corruptissima est.

СОДЕРЖАНИЕ

ЛЕТОПИСЕЦ

Вступительная статья

5

ЗА ЧЬИ ГРЕХИ?

Повесть из времен бунта Разина

21

САГАЙДАЧНЫЙ

Историческая повесть

193

ГОСПОДИН ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД

Историческая повесть

391

**ДАНИИЛ ЛУКИЧ
МОРДОВЦЕВ**

**СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В 14 ТОМАХ
ТОМ 1**

Редактор

И. Шурыгина

Художественный редактор

И. Сайко

Технический редактор

Н. Привезенцева

Корректоры

В. Антонова, М. Александрова,

В. Рейбекель

ЛР № 030129 от 02.10.91 г.

Подписано в печать 27.10.95.

Уч.-изд. л. 34,79.

Цена 19 800 р.

**Издательский центр «ТЕРРА». 113184,
Москва, Озерковский пер., 1/18, а/я 27.**

**Оригинал-макет подготовлен
ТОО «Макет». 141700, Московская обл.,
г. Долгопрудный, ул. Первомайская, 21.**

Д.Л. МОРДОВЦЕВ

